УТОПИЯ И **АНТИ**УТОПИЯ **XX** ВЕКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО **ПРОГРЕСС** МОСКВА

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ XX ВЕКА

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ XX ВЕКА

УТОПИЯ И **АНТИ**УТОПИЯ **XX** ВЕКА

О **ДИВНЫЙ** НОВЫЙ МИР

АНГЛИЙСКАЯ АНТИУТОПИЯ

Романы

Выпуск первый

Перевод с английского

МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1990

ББК 84.4Вл
О—11

Составитель, автор предисловия *А. П. Шишкин*

Художник *К. В. Победин*

Редактор *Т. В. Чугунова*

В работе над сборником приняли участие *В. А. Скороденко, Д. М. Урнов*

0-11 О дивный новый мир: Английская антиутопия. Романы: Сборник: Пер. с англ /Сост., авт. предисл. А. П. Шишкин. — М.: Прогресс, 1990.—640 с. илл. (Утопия и антиутопия XX века).

«Золотая книга о наилучшем устройстве государства...» — гласит подзаголовок знаменитой «Утопии» Томаса Мора. Созданный им образ идеального общества и поныне занимает главное место в западной литературе о будущем. Что думают о «наилучшем устройстве государства» английские писатели XX века, наследники Мора — читатель узнает из произведений Э. М. Форстера «Машина останавливается» (1911) Г Уэллса «Спящий пробуждается» (1911), О. Хаксли «О дивный новый мир» (1932) и «Обезьяна и сущность» (1948).

ISBN 5-01-002310-5

О $\frac{4703010100-219}{006 /01/ - 90}$ —94—90 ББК 84.4Вл

«ЕСТЬ ОСТРОВ НА ТОМ ОКЕАНЕ...»

Утопия в мечтах и в реальности

«Кто не помнит прошлого, тому суждено пережить его еще раз». Можно утверждать, что именно эта древняя мысль, столь удачно сформулированная американским философом Джорджем Сантаяной, в том или ином ее истолковании пронизывает и объединяет огромное число порой столь разных по духу и стилю произведений, которые обобщенно называют литературой о будущем. Будущем какой-то страны или всей Земли, человечества или Вселенной. Отталкиваясь от дня вчерашнего и сегодняшнего (который завтра станет вчерашним), эта литература показывает день завтрашний, неизбежно возникающий как их продолжение.

Одной из форм осознания прошлого и его преодоления в будущем, одной из ступеней на пути к идеалу была и остается утопия [1]. И как направление человеческой мысли, мечты, и — у́же — как конкретный и весьма своеобразный литературный жанр, претерпевающий причудливые трансформации в наш полный апокалиптических потрясений век. Данный сборник является первым в ряду изданий, показывающих развитие этого жанра в различных литературах мира сегодня, когда на исходе века особенно острой становится тревога о завтрашнем дне человечества, пережившего две мировые войны, Хиросиму, Чернобыль и прочие кошмары.

По содержанию, богатству идей и образов литературные утопии разнообразны и неповторимы, за долгую историю развития жанр вобрал в себя ценнейший опыт общественной мысли, художественный опыт литератур мира. Однако сегодня важно вспомнить тех, кто стоял у его колыбели

---

[1] О развитии утопической мысли в философии, социологии и культуре см.: О современной буржуазной эстетике. Сб. статей. Вып. 4. Современные социальные утопии и искусство. М.: Искусство, 1976.

и своим творчеством, направлением мысли во многом предопределил судьбу и значение этого жанра, ставших столь явными лишь теперь. Одним был, как известно, Томас Мор [1], выдающийся английский гуманист XVI века, основоположник утопического социализма (и создатель самого слова «утопия»). Нарисованный им образ идеального общества будущего на некоем острове Утопия с тех пор занимает главное место в утопической (и антиутопической) литературе, представители которой стремятся в той или иной форме развить и конкретизировать его либо переосмыслить, а то и развенчать. Как это происходит ныне, в XX веке, в Англии, где утопия по праву считается «национальным» жанром, каковы представления о будущем английских писателей, наследников Мора, читатель узнает из произведений, вошедших в предлагаемый сборник.

Не много найдется книг, которые имели бы такое длительное и глубокое влияние на сознание людей, как небольшое сочинение Мора, широко известное под сокращенным названием «Утопия» (1516). Полное же его заглавие таково: «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии». Уже в нем как бы предсказан тот путь развития жанра, который затем, в наш век, поставит утопию в центр самых жестоких споров о будущем человека и человечества. Рискуя впасть в преувеличение, скажем, что наибольший отклик обычно вызывали утопии, где это будущее связывалось не с преобразованием отдельных сторон жизни — как в научно-технической утопии Френсиса Бэкона «Новая Атлантида» (1623) или утопии полного слияния с природой Генри Дейвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), — а с более или менее конкретным воплощением социального идеала — наилучшим устройством государства. Государства не столько в узком, сколько в широком смысле слова — общества, где достигнута гармония высшей власти и народа, массы и личности. Таковым и было для своего времени утопическое общество Томаса Мора, таковыми представляются иные его законы и сегодня — для нас, только еще мечтающих о правовом государстве. «Имеется постановление, чтобы из дел, касающихся республики, ни одно не приводилось в исполнение, если оно не подвергалось обсуждению в сенате за три дня

[1] Праотцами жанра считаются древнегреческие авторы Эвгемер и Ямбул, чьи произведения, изображающие идеальное государство на некоем острове, дошли до нас в отрывках и пересказе поздних авторов и историков.

до принятия решения. Уголовным преступлением считается принимать решения по общественным делам помимо сената или народного собрания»[1]. После этих слов трудно не вспомнить, как в недавнем прошлом принимались решения по вопросам государственной важности в нашей стране (шла ли речь о введении войск в Афганистан или о повороте северных рек).

Каким же должно быть наилучшее устройство государства? Мыслители прошлого задолго до Мора ставили этот вопрос, актуален он и сейчас и по праву уже обрел статус вечного. Веками боролись в сознании людей (да если бы только в сознании) и те идеи, которые рождались в попытках дать на него ответ. Древнегреческий философ Платон, как известно, считается отцом одной из таких идей, оказавшейся столь живучей и в наш век. Хотя Томас Мор часто ссылается на авторитет Платона в своей «Утопии», сегодня мы вряд ли назовем его безусловно выдающееся сочинение «Государство» золотой книгой в том смысле, в каком говорим о творении английского гуманиста. Книга полезная? Конечно. Забавная? Скорее уж пророчески мрачная.

В ней Платон, исследуя известные ему и отрицательные, на его взгляд, типы государства, противопоставляет им свой, идеальный тип общественного устройства. Однако сейчас в нашем сознании критические и утопические мысли его книги предстают в странной гармонии: «дурное» и идеальное государства сливаются в одно и возникает пусть схематичная, но весьма точная картина общества, которое, особенно уже в XX веке, окажется в центре круга больных проблем нашей цивилизации. Его предскажут политологи и футурологи, его изобразят, вольно или невольно, писатели (утописты и антиутописты в первую очередь). Его контуры обозначатся на картах политиков, его символы останутся в архивах истории. История же, словно соперничая с утопией, будет достраивать и перестраивать «идеальный» полис Платона.

В этом государстве власть находится в руках касты жрецов-философов. Им помогают, как собаки пастухам, воины-стражи: они стерегут «стадо» трудящихся — ремесленников и земледельцев — и охраняют государство в целом. Философы познают «не мнения, а бытие и истину» — только они, избранные, обладающие высшим знанием,

---

[1] Мор Т. Утопия. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1947, с. 110.

могут быть правителями государства. Только при правителях-философах оно будет благоденствовать: «Пока в государствах не будут царствовать философы либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино — государственная власть и философия... государствам не избавиться от зол» [1].

«Толпе не присуще быть философом» — глас народа ничего не значит, все решает правящая каста.

Роль воинов — особая. Их аскетический образ жизни, целиком подчиненный исполнению долга — защите государства от внешних врагов и подавлению внутренних, — становится определяющим для всех остальных членов общества, философов в том числе. Ибо господство корыстных имущественных интересов — беда всех государств, считал Платон. Поэтому всеобщая уравниловка, устраняющая, как ему казалось, богатство и бедность — причины общественных зол и раздоров, — вот идеальный порядок. Казарменный быт воинов, у которых все общее, включая жен и детей, казарменные по сути существование и труд создателей благ, ремесленников и земледельцев, слепо повинующихся философам-аскетам, служителям высшей идеи, — все подчинено «охране свободы государства». Так афористически кратко определил Платон тот принцип, который впоследствии, особенно уже в наш век, послужит теоретическим, идеологическим и философским обоснованием и оправданием деспотических и тоталитарных режимов, то есть такого общества, где залогом высшего блага, некой высшей свободы и процветания всех станет в том или ином виде несвобода каждого, рабство индивидуума. Для члена такого общества свобода и счастье — «две вещи несовместные». Эта мысль — для одних как высшая истина, для других как вечная проблема — станет одной из главных в утопической (да и в мировой) литературе, которая в самых причудливых формах проиллюстрирует живучесть платоновских представлений и предсказаний. Как тех, что касались идеальной, так и порочной форм государства.

В идеальном государстве философы царствуют, а цари философствуют. В действительности, однако, именно эти последние пытались, вольно или невольно, осуществить на деле нечто близкое идеалам Платона. Да и сам он не

---

[1] Платон. Соч. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1971, т. 3, ч. I, с. 275. Далее цитируется указанное издание.

раз пробовал приобщить к ним современных ему тиранов. Результат, правда, обычно доказывал правоту крылатой фразы: «Платон мне друг, но истина дороже». Философствующие государи так или иначе стремились приспособить его идеи к интересам личной власти (в той или иной ее форме). И в реальности платоновская казарма обретала все же черты тех типов общества, которые сам философ называл порочными. Его суждения о них полны глубокого смысла и по сей день. Демократия, например, определяет высшим благом свободу: «В демократическом государстве только и слышишь, как свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природе». Однако такое «ненасытное стремление к одному и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготовляет нужду в тирании», ибо тогда государство «сверх должного опьяняется свободой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы... душа граждан делается крайне чувствительной, даже по мелочам: все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат они... тем, что перестанут считаться даже с законами — писаными или неписаными, — чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем не было над ними власти» [1].

Поскольку же из тех, кто громче всех говорит о свободе, народ «привык особенно отличать кого-то одного, ухаживать за ним и его возвеличивать», то такой «ставленник народа», получая власть, быстро становится тираном. (Как писал в своем сочинении «Политика» младший современник Платона и в известной степени его единомышленник в вопросах государства Аристотель: «Большая часть тиранов вышла, собственно говоря, из демагогов, которые приобрели доверие народа тем, что клеветали на знатных».) Такой человек сразу же велит народу назначить ему телохранителей, «чтобы народный заступник был невредим». Он дает много обещаний обществу, он притворяется милостивым и кротким, но вскоре уничтожает своих врагов. Далее, он постоянно поддерживает в обществе готовность к войне, «чтобы народ испытывал нужду в предводителе». А если же он заподозрит кого-либо «в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, будто они предались неприяте-

---

[1] Платон. Соч., т. 3, ч. 1, с. 379—381.

лю». Как все это происходило не только во времена Платона, мы знаем теперь из собственной истории, не столь уж отдаленной.

История помнит разных правителей, склонных философствовать. Один из них, французский монарх Людовик XIV, король-солнце, согласно легенде, с августейшим высокомерием заявил: «Государство — это я». То был, видимо, пример самого лаконичного утопического сочинения, созданного когда-либо властительной мыслью. Напротив, живший более полувека спустя соотечественник французского короля Максимилиан Робеспьер Неподкупный — к 1794 году фактически диктатор в правительстве революционной Франции — в своих бесконечно длинных речах и докладах рисовал образ некой утопической республики «добродетели», путь к которой лежал через террор. Известно, что утопии сочинял живший в XVIII веке польский король Станислав Лещинский. Об идеальной модели государства рассуждал в своих «Записках», созданных в том же веке, прусский король Фридрих II (Великий). В XX веке «вершиной» подобного сочинительства явилась пресловутая «Майн кампф», созданная «немецким гением с усами Чарли Чаплина», как называл фюрера тоже философствовавший, но несостоявшийся диктатор Л. Д. Троцкий. В этой книге Гитлер «рисует» свою картину будущего с чертами платоновской казармы: огромную империю от Германии до Афганистана, где миллионы немцев тупо маршируют и готовятся к войне.

Образ философствующего властителя в ярких красках запечатлела художественная литература, в том числе литературная утопия. Правда, Мор почти не уделяет внимания этой фигуре в «Утопии», лишь оговаривая в соответствии со своими идеалами, что князя там выбирают тайным голосованием из четырех кандидатов, предложенных народом, и должность его несменяема, если нет подозрения в стремлении к тирании. Напротив, итальянский монах Томмазо Кампанелла, в гораздо большей степени вдохновлявшийся идеями Платона, весьма подробно описывает в своей утопии «Город Солнца» (1602), каким должен быть правитель. По странному на первый взгляд совпадению подданные называют его, как и упомянутого монарха эпохи абсолютизма, Солнце. Однако история здесь опровергает мечту, доказывая, что в таком совпадении гораздо больше от суровой логики реальности, чем от высокого идеала, который, сколь прекрасен на бумаге, столь утопичен на деле.

Как известно, утопия Кампанеллы основана на коммунистических принципах, сходных с платоновскими: отсутствие частной собственности (вплоть до общности жен), всеобщий труд и общественная организация производства и потребления. Казалось бы, он изобразил общество людей, принципиально равных политически и экономически, особенно если вспомнить, что в государстве Платона философов-правителей (да и аппарат власти) никто не выбирает — они царствуют, так сказать, a priori. Здесь же «должностные лица сменяются по воле народа», но это формальная демократия. Четверо высших правителей — Солнце, а также Пон, Син и Мор (Мощь, Мудрость и Любовь) — «несменяемы, если только сами по совещанию между собой не передадут достоинства другому, кого с уверенностью считают мудрейшим, умнейшим и безупречнейшим. Они действительно настолько разумны и честны, — наивно верит Кампанелла, — что охотно уступают мудрейшему и сами у него поучаются, но — оговаривается автор, — такая передача власти случается редко» [1]. Символическая оговорка. Высшая власть абсолютна, сама себя утверждает и контролирует.

Некоторые принципы подобной демократии вполне «современны». Так, на место Солнца, верховного правителя, философа и первосвященника, «избирается» мудрейший и опытнейший, но не моложе тридцати пяти лет, и, как правило, «уже задолго известно», кто им станет. Тем более что обычно это выходец из числа двадцати четырех жрецов, постоянно пребывающих под куполом главного храма и определяющих порядок жизни общества: «часы для оплодотворения, дни посева, жатвы, сбора винограда» и т. д. С народом почти не общаются: «Вниз сходят они лишь завтракать и обедать, подобно духу, нисходящему из головы к желудку и печени. С женщинами сношений они не имеют, за исключением редких случаев, когда это необходимо для здоровья. Ежедневно к ним поднимается Солнце и рассуждает с ними о том, что они измыслили нового на благо Города и всех народов мира» [2].

Однако современен и упрек, который бросает нам сквозь толщу времени Кампанелла устами своих утопийцев, предъявлявших высочайшие требования к своим государственным деятелям и не воздвигавших им памятников

---

[1] Кампанелла Т. Город Солнца. М. — Л.: ACADEMIA, 1934, с. 84.

[2] Там же, с. 92—93.

при жизни: «...вы... ставите главами правительства людей невежественных, считая их пригодными для этого лишь потому, что они либо принадлежат к владетельному роду, либо избраны господствующей партией»[1].

«Блеск и нищета» формальной демократии открылись Кампанелле лишь первой и обманчивой ипостасью, а образ солнцеподобного вождя ослеплял не только его и не только в мечтах. Спустя века иные писатели-путешественники, подобно моровскому Рафаилу Гитлодею или Мореходу Кампанеллы, попадая в неведомую страну за «железным занавесом» и ослепленные пропагандистскими эффектами, с готовностью верили в реальность коммунистической утопии, в провозглашенные свободу и демократию (пока таковые по-прежнему оставались лишь утопической мечтой). Новоявленные гулливеры лицезрели солнцеподобного вождя и порой ощущали себя занесенными с «гнилого Запада» лилипутами перед Ним — «человеком с головой ученого, руками рабочего, в одежде простого солдата» (по восхищенному отзыву Анри Барбюса), перед Его «высокой гуманностью и пониманием высших интересов Советского Союза» (по словам Ромена Роллана), перед всеобщим верноподданническим гипнозом без «призраков, указывающих на искусственность этого чувства» (по признанию Лиона Фейхтвангера). Последний оставил яркое свидетельство того, как прокладывала себе путь в истории, в умах «утопийцев» «солнцеподобная» логика Кампанеллы. В своей книге «Москва 1937» (1937) он приводит следующий разговор, отразивший дух того времени, то (весьма живучее) понимание демократии и культа личности: «Чего вы, собственно, хотите? — спросил меня шутливо один советский филолог, когда мы говорили с ним на эту же тему. — Демократия — это господство народа, диктатура — господство одного человека. Но если этот человек является таким идеальным выразителем народа, как у нас, разве тогда демократия и диктатура не одно и то же?»[2]

Уважаемые литераторы вольно или невольно уподобились в известном смысле той гоголевской вдове, которая сама себя высекла, ибо они восхищались обществом, где литература и искусство навытяжку стояли «с дежурной одой у календаря», как им это и предписывалось еще в платоновском государстве. В упомянутой книге Фейхт-

---

[1] Там же, с. 40.
[2] Фейхтвангер Л. Москва 1937. М.: Гослитиздат, 1937, с. 46.

вангер все же не мог не отметить, что «некоторым (!? — *А. Ш.*) писателям приходится часто вздыхать по поводу того, что политические власти водят их на поводу, и мысль, что Платон намеревался вообще изгнать из своего государства всех писателей, является для них слабым утешением»[1].

«Поэт творит призраки, а не подлинное бытие», — считал Платон. И эти «призраки» опасны для государства, так как обладают могучей силой воздействия на человека. Каким оно будет, таким будет и отношение к поэтам, из которых лишь те достойны быть членами общества, чье творчество приносит «очевидную» пользу в государственном деле, воспитании воинов например, и т. д. Остальные же изгоняются — им нет места в прокрустовой схеме: цели художественной политики и государственной совпадают. Правда, мудрый философ сделал одну оговорку, ограничивающую власть: она не учит художника, как творить, не определяет метод творчества, выражаясь сегодняшним языком.

История дописала Платона: в утопии за «железным занавесом» был определен и метод, установлен и контроль, и «над мыслью времен комиссар с приказанием нависал», и «к штыку приравняли перо», и тем пером перечеркнули жизнь и творчество многих.

История бросает странный отсвет на сочинения и Мора и Кампанеллы. Первое все еще остается в сознании как некий идеальный образ государства «золотого века», второе воспринимается как зеркало, отражаясь в котором золотая мечта перестает быть похожей на саму себя, домысливаемая в умах (а то и на деле). Мор, безусловно, за это не в ответе, однако именно те невинные вроде бы уступки личности обществу, казавшиеся ему воплощением гармонии личного и общественного начал, благом для всех и каждого, перерастают позднее в принципы всеобщей казармы. Как известно, Мор не верил в народное движение, в самостоятельность масс; как метко заметил Карл Каутский: «Его лозунгом было „все для народа, но ничего, что бы народ сделал сам"»[2]. Этот лозунг оказался популярен не только среди утопистов — он даже стал принципом государственной политики в тех обществах, где все совершается по команде сверху.

---

[1] Там же, с. 45.

[2] Цит. по кн.: Мортон А. Л. Английская утопия. М.: Изд-во иностранной литературы, 1956, с. 61.

У Мора, в частности, утопийцам запрещено передвигаться по стране, тем более выезжать за границу, без пропуска от властей. Его, правда, выдают сразу, без долгого оформления. Но живут утопийцы в одинаковых городах, в домах, лишенных роскоши (ибо собственность как таковая упразднена), и ходят в одинаково сшитой одежде. У Кампанеллы, однако, это уже не достаточная гарантия всеобщей одинаковости — залогом ее служит усердие инвалидов, не сидящих без дела. Совмещая приятное для себя с полезным для государства, они своеобразным путем достигают «гармонии» физического и умственного труда: «...ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его хотя бы в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит».

А в романе «Путешествие в Икарию» (1840) идеолога так называемого утопического «мирного коммунизма» (на основе примирения богатых и бедных) Этьенна Кабе одежда шьется по образцам, установленным народным собранием. Все живут в одинаковых домах и едят в коммунальных столовых. Есть там и свой «госплан», определяющий на год вперед список предметов, выпускаемых для общего пользования. Для писателей существует цензурный комитет, решающий судьбы творчества, для журналистов — общегосударственная газета с редакторами, избираемыми народом, вследствие чего они и имеют право освещать в ней только мнение народа, а не чье-то личное. А чтобы такового не возникало, все книги, написанные до эпохи икарийского коммунизма, сожжены (за исключением отдельных музейных экземпляров для обозрения).

В утопии Эдуарда Беллами «Оглядываясь назад»[1] (1888) уже господствует военизированный труд — армия труда набирается из рекрутов, обязанных, как рядовые, в течение трех лет делать любую работу, а потом только выбрать занятие по душе. Нет ни продавцов, ни покупателей, ни денег — все выдается из общественных складов.

Все эти примеры доказывают, что утопизм, как писал Маркс, есть «непонимание необходимого различия между реальной и идеальной структурой буржуазного общества и вытекающее отсюда желание предпринять совершенно излишнее дело: претворить опять в действительность само

---

[1] Другие варианты перевода: «Взгляд в прошлое», «В 2000 году».

идеальное выражение, просветленное... и самой действительностью как таковой из себя отбрасываемое рефлектированное отображение (этой же действительности)»[1]. К тому времени, когда были написаны эти слова, утопизм, точнее, утопический социализм, выражавший идеалы угнетенных масс, уже в достаточной мере показал свою утопичность на деле. Однако у литературы свои законы, она чужда «упадка лжи» (по выражению Оскара Уайльда). И воплощенная в художественной форме утопическая мечта продолжала пленять воображение людей. Не в последнюю, видимо, очередь благодаря искусству слова утопии продолжали претворяться в жизнь; например, икарийские коммуны, как отмечает А. Л. Мортон, просуществовали пятьдесят лет.

«...Утопия? — задавался вопросом упомянутый Оскар Уайльд, рассуждая о будущем в эссе «Душа человека при социализме». — Но если в мире она отсутствует, на такую карту мира не стоит и смотреть, потому что не увидим той земли, куда все время стремится Человечество. Однако, лишь ступив на этот берег, оно оглядывает горизонт и, завидев лучшие земли, устремляет свой парус в иные пределы. Прогресс есть претворение Утопий в жизнь»[2]. Разные литературы мира «плыли» к берегам утопической земли своими путями — в каждой из них жанр утопического романа обретал черты национальной литературной традиции.

Как писал автор капитального труда по истории утопий Александр Свентоховский, утопии, в том числе литературные, «неравномерно распределились по эпохам и по национальностям. Более всего произвели их французы, затем — англичане, менее — немцы и итальянцы, а у славян можно только отыскать слабые зародыши их»[3]. Последнее утверждение не соответствует истине, ибо русская литературная утопия — явление удивительное и неповторимое. Это М. М. Щербатов («Путешествие в землю Офирскую», 1784) и А. Н. Радищев (утопические главы «Путешествия из Петербурга в Москву», 1790), В. Ф. Одоевский («Город без имени», 1839) и А. Д. Улыбышев («Сон», 1819), Г. П. Данилевский («Жизнь через сто лет», 1879) и Н. Д. Федоров («Вечер в 2217 году»,

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 457.

[2] Уальд О., Критик как художник. Манифесты, эссе, лекции, рецензии, письма. М.: Худож. лит., 1900, с. 59.

[3] Свентоховский А. История утопий. М.: 1910, с. 419—420.

1906)[1]. Сочетая жанровые черты классической (моровской) утопии с традиционно русскими «хождениями», «снами», «видениями», русские утописты одними из первых усомнились в идеале сытой уравниловки, озарявшем европейские икарии и города солнца. Казарменный социализм с его культом практицизма сковывал крылья русского Икара — ему светило иное солнце, луч которого он не променял бы «на кусок удобрения» во имя сытости.

Утопические «видения» занимают важное место в произведениях Н. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. М. Достоевского. Именно Достоевский всем своим творчеством очень остро поставил «вечные» вопросы, затрагивающие сущность человеческой жизни (а не существования) в ее стремлении обрести вечные ценности. Ценности, составляющие нравственный облик ЧЕЛОВЕКА, придающие высший смысл его пребыванию на этой земле среди соблазнов и искусов злобы и жестокости, лести и корыстолюбия, власти и славы. Как известно, вопросы эти касались счастья, свободы и красоты для всех и каждого. Но ответы, которые так или иначе давали на них утописты, позволяли усомниться в словах Уайльда об утопиях — двигателях прогресса. Будто вторя Достоевскому и споря с Уайльдом, Свентоховский упрекал утопистов: «Самая ужасная тирания никогда не стремилась к такому безусловному задержанию прогресса, как многие утопии, намеревавшиеся стереть всякую тиранию с лица земли... Тюрьма, хотя бы она была устроена согласно всем требованиям гигиены, комфорта и эстетики, не перестает быть тюрьмой; мягкое и красивое ярмо не перестает быть ярмом. Современное голодное человечество жаждет больше хлеба, чем свободы; но если оно когда-нибудь насытится в будущем общественном строе, оно возжаждет свободы. А тогда его не удовлетворят регламенты, охватывающие глубочайшие тайники жизни. Ни одна из утопий не указала до сих пор, каким узлом соединить личность с коллективом, чтобы этот узел был не давящей петлей, а паутинной нитью, и какой силе естественного притяжения к массе подчинить ее, не прибегая к тягостному насилию. Стрелка утопических часов все движется между коммунистическим принуждением и анархическим своеволием...» Авторов утопий «гораздо больше интересует то, как произвести возможно больше благ, как

---

[1] Подробнее об этом см. в кн.: Русская литературная утопия. М.: Изд-во МГУ, 1986.

всех накормить и одеть, как охранить их существование, чем то, как гарантировать свободу личности, не нарушая прав общества. Дело это отложено и будет решено не прежде, чем предстанет пред судом людей сытых и обеспеченных в своем существовании. Для бедняков, для всех, кто не уверен в завтрашнем дне... отношение личности к обществу представляется теоретическим вопросом, не связанным с жизнью, не стоящим того, чтобы им занимались люди, удрученные заботой и борьбой из-за куска хлеба... Они согласятся даже на монастырь Кампанеллы, лишь бы отдохнуть в нем»[1].

Герои Достоевского, искавшие смысл жизни, задавались вопросами: что прекраснее — Шекспир или сапоги? Рафаэль или петролей (бензин)? Утописты всем содержанием и духом своих творений отвечали лишь одно. Нет, говорили они, Шекспир и Рафаэль, которых за творческое своеволие и свободомыслие следовало бы изгнать из общества, не «выше социализма и химии», а сапоги (да еще выдаваемые всем бесплатно с общественных складов) и коммунальный петролей по талонам важнее. И ни к чему красота (да и от кого и от чего спасать мир?), если она не соответствует уставу сытой казармы, где по указке жрецов полные совокупляются с худыми, а темпераментные со спокойными.

Соблазн дожить до того времени, когда камни обратятся в хлебы и насытят всех, был столь велик, что им с успехом подменяли всякую мысль о свободе, доказывая даже совершеннейший ее вред. И не только на страницах утопий. В упомянутой книге Фейхтвангер приводит следующие слова вождя и отца народов из речи на совещании стахановцев, где тот с присущей ему иезуитской казуистикой говорил: «...К сожалению... одной лишь свободы далеко еще не достаточно. Если не хватает хлеба, не хватает масла и жиров, не хватает мануфактуры, жилища плохие, то на одной лишь свободе далеко не уедешь. Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свободой. Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы дополнялись благами материальными»[2]. А если не дополняются — сейчас или в ближайшем будущем, — то и о самой свободе надо забыть «в сплошной лихорадке буден».

---

[1] Свентоховский А. История утопий, с. 410—411.
[2] Фейхтвангер Л. Москва 1937, с. 44.

Знал ли великий кормчий, кому он вторил вольно или невольно? Тому, чьими устами Достоевский, не имея, возможно, в виду утопистов, гениально изложил все их кредо, сводившееся к трем вопросам. Эти вопросы «страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия» задал Христу в пустыне. Сегодня пророческий смысл этих вопросов, прозвучавших в «Легенде о Великом Инквизиторе», воспринимается как своего рода приговор утопии, с некоторого времени пришедшей в противоречие с самой собой. В этих вопросах «как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более»[1]. Эти вопросы повторил как упрек Иисусу Великий инквизитор, и первый вопрос касался как раз хлеба и свободы: «...видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлеба твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами?.. Приняв «хлебы», ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе — это: «пред кем преклониться?» ...но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, — знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного»[2].

Буквально в нескольких строках раскрыта Достоевским сущность платоновского идеала, который стремились осуществить, навязать человечеству словом и делом многочисленные утописты, философствовавшие правители и мечтавшие о власти философы: «...пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник...»[3]

---

[1] Достоевский Ф. Собр. соч. в 10-ти тт. М.: Гослитиздат, 1958, т. 9, с. 317.

[2] Там же, с. 317—319.

[3] Там же, с. 323.

Во главе этого «муравейника» будут стоять вожди и благодетели: «Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их». От лица их Великий Инквизитор рисует будущее всех людей: «Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что смогли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя... И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — все, судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью»[1].

Идеалом утопистов и было общество, где «послушание куплено хлебами». Однако они вряд ли могли предвидеть, что в реальности на пути к идеалу послушание станет главным — в процессе развития мысли «от утопии к науке» соблазн достичь утопии на практике одним послушанием был столь велик, что с наукой считались лишь в теории. И послушание заслоняло хлебы, далеко не всегда ими вознаграждаемое, да еще в изобилии. Ему стремились придать вселенский масштаб, во имя него поставить мир на голову. Именно так (хотя и в иной связи) охарактеризовал утопическую логику послушания Энгельс в статье «Развитие социализма от утопии к науке»: «...мир был поставлен на голову, сначала в том смысле, что человеческая голова и те положения, которые она открыла посредством своего мышления, выступили с требованием, чтобы их признали основой всех человеческих действий и общественных отношений, а затем и в том более широком смысле,

---

[1] Там же, с. 325—326.

что действительность, противоречившая этим положениям, была фактически перевернута сверху донизу. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь впервые взошло солнце, наступило царство разума, и отныне суеверие, несправедливость, привилегии и угнетение должны уступить место вечной истине, вечной справедливости, равенству, вытекающему из самой природы, и неотъемлемым правам человека»[1].

О том, как торжествовала на практике утопическая логика послушания, игнорировавшая опыт человечества как «старый хлам», мы знаем теперь из собственной истории на примере, в частности, судьбы храма Христа Спасителя в Москве.

Эта логика, как известно, весьма заразительна и может принимать масштабы массового психоза, хотя противоречит и здравому смыслу, и логике истории. «Значение критически-утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. По мере того как развивается и принимает все более определенные формы борьба классов, это фантастическое стремление возвыситься над ней, это преодоление ее фантастическим путем лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания. Поэтому, если основатели этих систем и были во многих отношениях революционны, то их ученики всегда образуют реакционные секты. Они крепко держатся старых воззрений своих учителей, невзирая на дальнейшее историческое развитие... Они все еще мечтают об осуществлении, путем опытов, своих общественных утопий... об устройстве маленькой Икарии...»[2] Мысль об учителях и учениках, крепко держащихся старых воззрений, парадоксальным образом относится и к самим теоретикам марксизма, стремившимся «от утопии к науке». Однако иные их преемники, жаждавшие прежде всего личной власти, переделывая мир «путем опытов», чаще оказывались в плену утопии, нежели в согласии с наукой, которая если и имела место, то сводилась к примитивной лозунговой схеме: «с вождем в башке и с наганом в руке». И так как первого часто путали со вторым, а то и вовсе

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 189—190.

[2] Там же, т. 4, с. 456—457.

не видели разницы между тем и другим, то новый мир представал не столь уж дивным, особенно когда на его карте, созданные по упомянутой «науке», возникали неведомые ранее «архипелаги» (по меткому слову писателя, одно время бывшего «жителем» одного из них). Своими экзотическими названиями они соперничали с утопическими Амауротом, Тапробаной — это СЛОН, ГУЛАГ, КАРЛАГ, ОЛЖИР.

Вполне «научно» обосновывалось и утопическое будущее страны, которое предсказывали философствовавшие лидеры «ордена меченосцев» (по словам их вождя Сталина). Их речи и сегодня звучат весьма «современно» — в духе модных ныне призывов «брать» у Запада все, пока дают, и продавать ему все, что берут: «Мы — коммунисты — стали чуть ли не первыми людьми в мире. Раскройте сейчас любую европейскую или американскую газету, и вы увидите, какое огромное внимание уделено в ней Советской России. Еще два года или даже год тому назад обычное отношение иностранной прессы к нам было злостно-ироническое... Теперь ничего этого нет. Страницы газет наполнены серьезными статьями, в которых мы расцениваемся уже как могучее и организованное государство... Отношение к нам изменилось вовсе не потому, что мы изменились. Мы как были «бандитами», так ими и остались: наше твердое решение — грабить всех эксплуататоров трудящихся — мы выполним до конца... Вся Европа и Америка стремятся теперь завязать с нами торговые отношения. Вот мы, по нашей «бандитской коммерции», все это и рассчитываем. Вспомнили, например, что есть где-то Камчатка — наша земля, записанная в опись государственную. За эти годы напряженнейшей борьбы мы, признаться, об этой Камчатке немного и забыли. А американцы, оказывается, всю ее измерили, вынюхали досконально и предлагают нам сдать ее в аренду. Что нам остается делать? Ясно, что, пока наш Совнархоз доберется до этой самой Камчатки — в правительстве Соединенных Штатов Америки будут уже сидеть коммунисты. *(Аплодисменты.)* С одной стороны, как будто и неудобно сдавать Камчатку в аренду, а с другой стороны, не сдав ее, мы все равно ничего не приобретем. Мы и порешили сдать ее американцам на 66 лет. Выгоды от этой сделки для нас солидны.

То же самое и с лесами в Сибири. Много их у нас там, и не скоро Совнархоз наш доберется до них вплотную. Мы и решили сдать в концессию часть лесов англичанам. Пусть

работают, пусть пересаживают свои капиталы на нашу советскую ниву, а мы уже постараемся извлечь из этого максимум выгод для нашей рабоче-крестьянской Советской Республики. Это будет освежать нашу промышленность и укреплять наше хозяйство»[1].

По законам утопического послушания переделывалась и природа, от которой не ждали милостей, особенно сельское хозяйство, обещавшее «хлебы» из рога изобилия. Этим процессом, подобно жрецам Кампанеллы, руководил, как известно, некий академик, чья фамилия была в неразрешимом противоречии с волосяным покровом его головы, но странным образом соответствовала урожайности зерновых.

Утопия прекрасно подчинила себе науку. Как отметил в своей статье И. Шафаревич[2], еще великий утопист Сен-Симон «утверждал, что построил Историю как «социальную физику» на едином принципе, аналогичном всемирному тяготению», и предлагал, чтобы человечество управлялось великим ньютоновским советом ученых с математиком во главе. В XX веке научно-технический диктат создал угрозу превращения человечества в то стадо, о котором писал Достоевский. Рассматривая утопическую идеологию сталинской командной системы в ее внутреннем родстве с либеральной западной идеологией прогресса (при ярких внешних отличиях), Шафаревич пишет: «Для обоих течений существенна опора на мощную технику и подавление... традиционных сторон жизни... оба течения основываются на разработанной технике управления массовым сознанием». Эта «техника», поставленная на глубокую научную основу, и служит осуществлению инквизиторских принципов: пред кем преклониться, кому вручить совесть и как соединиться всем в общий «согласный» муравейник.

Однако чем яснее вырисовывалось муравьиное будущее человечества, тем резче становилась грань между его идеологами и обличителями. Первые изощрялись в идейно-философском, эстетско-футуристическом и всяком прочем обосновании и воспевании тоталитарно-машинного рая. Вторые от веских сомнений перешли к предупреждениям и мрачным, но не беспочвенным пророчествам, к сожалению слишком долго звучавшим как «глас вопиющего в пустыне»

---

[1] Киров С. М. Избранные статьи и речи (1912—1934). М.: Госполитиздат, 1957, с. 143—144.

[2] Две дороги к одному обрыву. — «Новый мир», 1989, № 7.

(в чем мы убеждаемся сегодня, открывая для себя «забытые» и очерненные имена философа Николая Бердяева, писателей Евгения Замятина или Джорджа Оруэлла). Это противостояние в полной мере отразила утопия, особенно литературная. С конца прошлого века и очень заметно в начале нынешнего в развитии утопической мысли все более на первый план выступает идея власти избранных над массами. Она приобретает надмирный, космический характер, с уклоном в оккультизм и мистику. Этот своего рода космический неоплатонизм, подвергавший оккультному отбору целые народы и расы, причудливо выступал то в теософских писаниях последователей Елены Блаватской[1], рисовавших путь «посвященных» к власти над массами не только в государственном, но и в мировом, космическом масштабе, то в утопических по духу теориях авангардистской эстетики (супрематизм или абстракционизм, отождествлявшие человека лишь с пространственно-временным «элементом»)[2].

Подобные же идеи высказывал обосновавшийся на Западе выходец из России Г. Гурджиев в беллетризованных оккультных трактатах, составивших многотомную серию под общим названием «Всё и вся» («Рассказы Вельзевула своему внуку» и др.). В них «технологию» власти избранных в причудливой форме излагали посланные на Землю из глубин Вселенной «Общекосмические Индивидуумы». Согласно утвердившемуся в оккультно-теософской традиции мнению, Гурджиев оказал влияние на Гитлера и поддерживал с ним контакты.

Нигилистическое отрицание культурного наследия, восприятие человека лишь как материал, подобный неживой природе и пригодный для «социальной геометрии», характеризовали утопические воззрения и литературные сочинения идеолога Пролеткульта Александра Богданова. Автор «Всеобщей организационной науки (тектологии)» (1925—1929), претендовавшей на роль науки наук, игнорировавшей человеческое начало и мораль, еще до революции наглядно проиллюстрировал свои идеи в литературе,

---

[1] Е. П. Блаватская (1831—1891) — основоположница религиозно-мистического учения теософии, носителями которого выступают «посвященные», или «мастера», передающие оккультное «знание» послушным ученикам, массам. В 1875 г. основала в Нью-Йорке теософское общество, активно действующее и ныне.

[2] См.: Байдин В. «Космический бунт» русского авангарда. — В сб.: Российский ежегодник. 2. М.: Советская Россия, 1990.

создав утопический роман «Красная звезда» (1908). В нем изображен высокоорганизованный казарменно-уравнительный марсианский коммунизм. Индивидуальность в марсианском обществе нивелирована.

Предвидя, а скорее, констатируя наступление утопии, Бердяев писал в книге «Новое средневековье» (1924): «...утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать окончательного их осуществления... Утопии осуществимы... Жизнь движется к утопиям. И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к неутопическому обществу, к менее «совершенному» и более свободному обществу»[1]. В его словах отражено резко менявшееся отношение передовых умов своего времени к социальной утопии, воплощавшейся в жизнь своей тоталитарно-технократической ипостасью, ставшей для нас социалистическо-утопической казарменной реальностью. Утопия перестала быть желанным идеалом — к концу века эта мысль уже будет звучать аксиомой. А в начале его она воспринималась как чудовищная крамола и ересь, особенно когда обретала яркую форму литературного образа. Ересь для тех, кто жаждал в революционно-утопическом угаре техноцентризма «оседлать шар земной», повернуть вспять реки, как Иисус Навин, остановить на небе солнце, руку художника «заменить точной машиной», поэта — «заводом, вырабатывающим счастье». А человека как такового уподобить «колесику и винтику», гвоздю, готовому по приказу Вождя и Благодетеля подставить свою шляпку под молоток любой «великой» идеи.

Обвинения в ереси с лихвой достались в свое время на долю Евгения Замятина, автора одной из первых антиутопий (как назовут потом новый вид жанра) — «Мы» (1920), — прекрасным эпиграфом к которой были бы слова Бердяева. Но их взял другой писатель, не русский, а западный — англичанин Олдос Хаксли, создавший другую знаменитую анитиутопию, «О дивный новый мир» (1932). Эти произведения, как две стороны медали, типологически (как говорят литературоведы) сходные явления, возникшие не просто на почве лишь литературного влияния Замятина на Хаксли (факт очевидный). Они раскрывают нам не просто творческое родство, близость восприятий, они говорят

---

[1] Бердяев Н. Новое средневековье. Берлин, 1924, с. 121—122.

об ином, большем родстве. Опровергая будто киплинговскую истину о том, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут», эти романы раскрывают родство «двух дорог к одному обрыву». Именно литература по обе стороны «железного занавеса» показала, что занавес этот не столько изолировал два мира, сколько лишь разграничивал, как межа, два пути, шедших параллельно: западную либеральную идеологию «прогресса» и командную систему [1]. Ибо, подчеркивает Шафаревич, «оба этих исторических феномена представляют собой попытку реализации сциентистски-техницистской утопии. Точнее, это два варианта, два пути такой реализации. Западный путь «прогресса» более мягкий, в большей мере основан на манипулировании, чем на прямом насилии (хотя и оно играет свою роль...). Путь командной системы связан с насилием громадного масштаба. Это различие в методах создает видимость того, что оба течения являются непримиримыми антагонистами, однако на самом деле ими движет один дух и идеальные цели их в принципе совпадают».

Мир этих антиутопий представляет собой доведенную до чудовищного предела конкретизацию платоновского идеала. У Замятина — с присущим командной системе насилием громадного масштаба (слежка «хранителей», публичные казни инакомыслящих, насильственные операции на мозге для искоренения фантазии и т. д.). У Хаксли — путем изящных манипуляций (обязательный для всех прием сомы — легкого наркотика, «творящего» иллюзии, — ссылка тех, в ком «развилось самосознание», на далекие острова для уединенных занятий любимым делом — наукой, искусством и т. д.). Это мир, где запрещен Шекспир, но в изобилии сапоги и прочий ширпотреб, а вместо истины и красоты — счастье и удобство. Счастье «нумеров» без личности и фантазии, удобство жизни в бутыли, «невидимой бутыли рефлексов», особой для каждой касты — альф, бет, гамм, эпсилонов и др. Такова картина общества, оказавшегося в идейно-нравственном, тоталитарно-технократическом тупике по обе стороны «железного занавеса».

Подобные представления о будущем под «железной пятой», мотивы разочарования в утопическом идеале все чаще возникают в европейской прежде всего литературе с конца прошлого века. Характерно, что свои классические

---

[1] Когда писался роман Замятина, эта система еще только складывалась и не была «сталинской», скорее «троцкистской», но суть ее писателем угадана верно.

черты рождавшийся жанр антиутопии обрел в русской литературе (Замятин), всегда стремившейся к идеалам свободы, а не сытости. Символично и то, что Англия, родина классической утопии, «золотой книги о наилучшем устройстве государства», дала миру столь же блистательную (и не одну) книгу о его наихудшем устройстве — обществе свифтовских струльдбругов, у которых «в грядущем нет желаний», которым «прошедшего не жаль».

«Эта книга — история двух островов: Утопии и Британии. У каждого из них своя история. Обе развиваются параллельно и помогают взаимно объяснить одна другую... Люди думали, надеялись, а иногда и боялись, что Утопия есть тот самый остров, в который может вскоре превратиться современная им Британия. Их мысли и чаяния в этом направлении зависели не только от прочитанных ими книг и привычного круга идей, но и от событий, происходивших в реальном, окружающим их мире...»[1]. Так начал свою книгу об английской утопии известный литературовед А. Л. Мортон, исследовавший истоки и развитие этого причудливого жанра, выросшего на почве национальной культуры, выразившего национальный дух и идеал. Все это воплощалось и в других жанрах — нравоописательном романе, детективе, прославивших английскую литературу. Но как непостижимо порой сочетаются жизнь и слово в высшей гармонии, так в национальном сознании плыли навстречу друг другу два острова — вымышленный и реальный.

Одной из причин обилия английских утопий Мортон считает то обстоятельство, что Англия — остров: «...Утопии мы всегда представляем себе в виде острова. Понятие острова заключает в себе представление о чем-то законченном, ограниченном, а возможно, и отдаленном, то есть обладает как раз теми качествами, какие нужны, чтобы дать пищу нашему воображению... подавляющее большинство Утопий помещено на островах»[2]. Впрочем, не только утопий — островная тема всегда волновала воображение англичан. Остров как образ, туманный и загадочный символ, убежище в океане бурь или поле борьбы добра и зла стал традиционным в литературе Англии. Суть этой традиции, думается, блистательно выразил выдающийся

[1] Мортон А. Л. Английская утопия, с. 13.
[2] Там же, с. 14.

английский поэт Джон Донн, размышлявший об одиночестве, жизни и смерти: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе...» Человек и Остров, связанные воедино фантазией художников, проходят через всю английскую литературу. Вспомним остров волшебника Просперо в шекспировской «Буре» и остров Робинзона Крузо, летающий остров Свифта и «Остров сокровищ» Стивенсона, «Остров доктора Моро» Уэллса и остров в романе Голдинга «Повелитель мух», «Остров» Хаксли.

На острове находилась и страна Кокейн, земной рай, — народная утопия, самая ранняя, как отмечает Мортон, форма утопической литературы, исток традиции. Именно о подобной стране счастья, изобилия и социальной справедливости сложена поговорка, взятая английским исследователем как эпиграф к его книге: «Страна, где солнце светит по обе стороны изгороди». Много позже нечто похожее скажут о другой, реальной стране — Британской империи, которая иным покажется уже раем, воплощением утопии, и они назовут ее «страной, где никогда не заходит солнце». Но о той же стране писал Оскар Уайльд в эссе «Критик как художник»: «Англия не станет цивилизованной до той поры, пока список ее колоний не пополнится утопией»[1]. Колоний было много, но утопии среди них так и не оказалось. Наоборот, для рядовых «строителей империи» незаходящее солнце служило скорее не символом процветания в новоявленной стране Кокейн, а вечным напоминанием о тяжком долге, воспетом Киплингом: «Несите бремя белых, — не выпрямлять спины!»

Веками, не разгибая спины, мечтали о справедливости, о наилучшем устройстве государства на своем острове английские йомены — пахари, крестьяне, низшее в иерархии, но главное по значению сословие страны. Их социальные и нравственные идеалы воплотились в поэме «Видение Уильяма о Петре Пахаре» средневекового автора Уильяма Ленгленда, содержащей зачатки наивно-утопических представлений о справедливом общественном устройстве. Среди всех представителей английского общества того времени, изображенных на поле, полном народа, не король, не рыцари и священники, лишь Петр Пахарь знает путь к Правде, к счастливой и праведной жизни. Выступающая как действующее лицо, Правда посылает Петру индульгенцию,

[1] Уайльд О. Критик как художник. Манифесты, эссе, лекции, рецензии, письма. М.: Худож. лит., 1990, с. 186.

в которой отчетливо выражены идеальные представления автора о государстве, обществе, власти. Прощение получают все, кто помогал Пахарю, короли и рыцари, «которые охраняют святую церковь и справедливо в царствах своих управляют народом», епископы, если они «исправляют всех грешных», купцы, если они из своих доходов «улучшали госпитали и помогали несчастным и усердно исправляли дурные дороги и чинили мосты... снабжали пищей бедных людей и заключенных». Прощаются законники, которые защищают бедных и невинных, «не ища подарков», а также «все живущие рабочие, которые живут с помощью рук своих».

Сегодня может показаться, что сама утопическая традиция насчитывает не так уж и много имен: Томас Мор, Фрэнсис Бэкон, Сэмюэл Батлер, Уильям Моррис, Герберт Уэллс. Но это вершины, возвышающиеся над целым потоком менее значительных и интересных утопий, являющихся предметом изучения специалистов.

Однако наряду с утопической мыслью в литературе отражалась и ее, так сказать, теневая сторона — сомнения в наилучшем устройстве общества, в социальном и научно-техническом прогрессе, ироническое, злое порой осмеяние и человека — создателя утопий, и острова — символа идеальных утопических государств. В утопии Мора воплощением презрения к деньгам и богатству являются ночные горшки из золота. Однако в романе Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (1726) в дикой жажде наживы люди в образе йеху становятся столь низменны и внешне отвратительны, что вполне сравнимы с содержимым ночных горшков. А парящий над землей, как утопическая мечта, остров населен лжеучеными и носит название Лапута — в переводе с испанского «проститутка». Это еще не антиутопия, скорее изображение незначительности и убожества человека, будь то йеху или лилипуты, в настоящем, из чего вытекает его неспособность достичь утопического идеала в будущем. Правда, в том же романе Свифт пытался нарисовать идеальное общество и, будто соперничая с Мором, посвятил несколько страниц описанию разумного социального устройства Лилипутии. Там мошенничество строго карается, доносительство осуждено и даже достигнута, говоря сегодняшним языком, гласность, ибо государственные дела не считаются тайной. Но это лишь эпизод, который не может сравниться с масштабами представлений Мора, а сытая жизнь великанов Бробдингнега или

мир разумных лошадей, не ведающих о металлах и технике, как воплощение социального идеала тем более уступает моровской «золотой книге».

Гейне принадлежит высказывание о том, что в Англии машины как люди и люди как машины. Эти слова заставляют вспомнить, что Англия — родина промышленной революции и «мастерская мира», как ее называли в прошлом веке. Это страна, где человек раньше всего и острее всего почувствовал, что на пути прогресса скован цепью с машиной. Одних эта цепь душила, и они стремились ее разорвать, другие старались ее не замечать, третьи хватались за нее, как за ариаднину нить, которая могла вывести к свету прекрасного будущего. Все эти настроения отразила утопия. Луддиты, сторонники Неда Лудда, разрушившего в XVIII веке ткацкий станок, были, возможно, первыми практическими утопистами, пытавшимися защитить свои социальные идеалы — «золотой век» ручного труда без капиталистической эксплуатации. Поэзия ручного труда казалась столь манящим убежищем от ужасов машинной цивилизации, что и век спустя служила почвой для создания утопий — обществ свободных тружеников, неведомо как достигших изобилия без машин. Такова утопия Сэмюела Батлера «Едгин» (1872) — общество победивших луддитов, законом запретивших развитие техники.

Поэзией ручного труда — последнего убежища творческой личности в мире машинного стандарта — пронизана утопия «Вести ниоткуда» (1891) Уильяма Морриса. «Социалист чувства», как называл его Энгельс, Моррис стремился сочетать коммунистические идеалы — бесклассовое общество, отсутствие частной собственности — с утопической патриархальностью свободных ремесленников, чей ручной труд становился экономической основой жизни. Машины отмирали, истончалась цепь, приковывавшая к ним человека, труд лишался скуки и принуждения и становился воплощением творчества, которое, развиваясь во всех направлениях, парадоксальным образом не вело лишь к развитию техники. Машина прогресса останавливалась, общество процветало.

«Машина останавливается» (1911) — именно так назвал свою повесть Эдвард Морган Форстер, показав в ней, что произойдет с обществом, попавшим в рабство к Машине. Морриса и Форстера разделяют каких-то двадцать лет, но это уже две разные эпохи. Первый еще живет надеждами старой утопической традиции, второй сурово пре-

дупреждает о том, что машинная цивилизация — жестокая реальность без иллюзий, которая чревата угрозой порабощения человека. Как возникала подобная угроза, еще в начале прошлого века в романтической форме изобразила Мэри Шелли в романе «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). В нем искусственный человек начинает теснить живого и требует себе «места под солнцем». У Форстера Машина уже заменяет и воплощает в себе солнце для живущего под землей человечества. Ей поклоняются, ей вручают свою совесть и превращаются в единый и «согласный» муравейник. Общество деградирует, утрачивает волю к жизни и не способно спастись в момент катастрофы, являя собой наихудшее воплощение платоновского идеала. Это откровенная антиутопия, открывающая эпоху нового жанра в английской литературе.

Почти тогда же, когда была написана повесть Форстера, завершил свой роман «Спящий пробуждается» писатель, совсем по-иному воспринимавший машинный прогресс. Герберту Уэллсу всегда были чужды сомнения в пользе науки и техники — он свято верил в их великое предназначение в мире людей. Его сомнения касались самого человека — он будет служить машине, или наоборот, — и общества, которое либо использует технический прогресс в гуманных целях, либо деградирует, уподобившись цивилизованным варварам — марсианам в романе «Война миров», 1898. Поэтому он колебался между утопией, ни одной из которых, по словам Мортона, не был удовлетворен, и антиутопией. Научная фантастика способствовала изображению того и другого.

Уже первый роман Уэллса («Машина времени», 1895) несет в себе черты антиутопии, которые затем явственно обозначатся в произведениях Хаксли и Оруэлла. Морлоки, выродившиеся в тоталитарном обществе пролетарии, прямые предшественники полуидиотов низших каст в романе «О дивный новый мир» первого и убогих, ведущих «муравьиное» существование рабочих в романе «1984» (1949) второго.

Еще разительнее перекличка (образная и даже сюжетная) с названными антиутопиями в предлагаемом читателю романе «Спящий пробуждается»[1], являющемся одним из наиболее остросоциальных произведений Уэллса. Роман по

[1] В первой редакции роман вышел в 1899 г. под названием «Когда спящий проснется». Во втором издании автор его переработал и дал новое название.

праву можно назвать семенем, из которого вырастает древо нового жанра, расцветшего под пером Хаксли, Оруэлла, Энтони Бёрджесса и их последователей.

Писатель обращается к английской легенде о короле Артуре, который до срока спит в Уэльсе, чтобы проснуться, когда его призовет народ. В изображаемом тоталитарном обществе эта легенда прекрасно используется для оправдания власти избранных над массами. Научно-фантастический момент в данном случае выявляет всю чудовищность идеи управлять народом от имени то ли спящего, то ли мумии, хранящейся в модернизированном подобии мавзолея и выставляемой для всеобщего поклонения. Заснувший двести лет назад англичанин Грехэм, считавшийся диковиной, «беспримерным феноменом приостановки разложения», благодаря унаследованному им огромному капиталу становится опорой власти правящего от его имени человечеством Белого Совета. Недаром «по распоряжению Совета были применены все новейшие антисептические средства, чтобы как можно дольше сохранить труп». Эта идеологическая и политическая некрофилия с успехом поддерживала статичность, застой общества на протяжении почти двухсот лет. Биография Спящего стала мифом, его именем освящено и узаконено социальное неравенство, прозябание трудящихся, огромный аппарат подавления из четырнадцати видов полиции. Фраза «Когда Спящий проснется» стала поговоркой: для верхов, надеявшихся, что этого не случится, она звучала как оправдание их власти, для низов — как надежда, что новый король Артур, восстав ото сна, восстановит их права. «Все эти годы, пока вы лежали недвижимым, бесчувственным трупом, на вас приходили смотреть тысячи тысяч. Публика допускалась к вам каждое первое число. Вы лежали, прибранный, в белой одежде, и мимо вашего ложа тянулись вереницы народа в почтительной тишине. Я была еще маленькой девочкой, когда меня привели к вам в первый раз. Помню, с каким благоговейным страхом я смотрела на ваше бледное, спокойное лицо», — говорит ожившему герою Элен Уоттон, представительница свободолюбивых сил народа, поднявшегося на борьбу в момент пробуждения Спящего.

Однако во главе революции встают те, кто на обломках старого режима хочет установить новый тоталитаризм. Острог, втолковывающий Грехэму идею всеобщей несвободы во имя стабильности и власти избранных:

«Дни демократизма прошли... царство толпы миновало», — это будущий идеолог казарменности Мустафа Монд в антиутопии Хаксли. А рождение в огне революции не искомой свободы, а диктатуры новой группировки, навязавшей свою власть народу, предвосхищает в романе Уэллса путь установления казарменного социализма партией Старшего Брата в романе Оруэлла «1984». Сам же Старший Брат, от имени которого правит партия, — это трансформация образа Спящего в сверхсовременном тоталитарном государстве, когда уже не нужно выставлять его мумию напоказ. Наоборот, с помощью радио и телевидения легко внушить рабскому сознанию, что Он «вечно живой».

Образ Спящего заключает в себе много общего и с образом Дикаря в романе Хаксли «О дивный новый мир». Вынесенная в заглавие строка из шекспировской «Бури» могла бы быть произнесена ими обоими. Но, познавая новый мир, они приходят к противоположным результатам. Чувствующий себя поначалу дикарем в чужой и неведомой эпохе, Грехэм находит затем общий язык с ее лучшими представителями, с народом, способным создать истинно «дивный новый мир». Относившийся с недоверием к народной стихии, Уэллс в этом романе единственный раз на долгом творческом пути преодолел сомнения и показал, пусть не без романтической наивности, возможный выход из замкнутого круга тоталитаризма, где один диктатор сменяет другого. Напротив, Дикарь, цитирующий запрещенного Шекспира, скоро с ужасом понимает, что произносил не те слова. Смысл жизни, которую он видит, раскрывает иная мысль гения: «это бредовой рассказ кретина», где «смысла не ищи». Ибо эта действительность создана для кретинов и полукретинов разных каст, выращенных в бутылях и не помышляющих ни о какой свободе.

Так Хаксли переосмысливает тему «естественного человека» и «цивилизованного общества», начатую в европейской литературе еще в XVIII веке Жаном Жаком Руссо и Вольтером. Если вольтеровский дикарь, Простодушный из одноименной повести, приобщившись к цивилизации и культуре, мог сказать все же, что «из животного превратился в человека», то в сверхцивилизованном обществе Дикарь Хаксли не находит уже ни человека, ни культуры — лишь голые инстинкты и «эмоциональную инженерию». Не находит он и возможности обрести смысл жизни в свободном труде, пытаясь «возделывать свой сад» подобно Кандиду, другому вольтеровскому герою.

В мире тупого конвейерного труда и столь же тупой механической физиологии свободный, естественный человек — такое же экзотическое развлечение для толпы запрограммированных дикарей, как «стереовоющий фильм о свадьбе горилл» или о «любовной жизни кашалота». Недаром для них Дикарь с его понятиями о добре и любви подобен диковинному зверю, обезьяне, неведомо откуда забредшей в этот «дивный» из миров.

В нем обезьяна и человек поменялись местами. Общество духовно деградировало до уровня предков-приматов, отличаясь от них лишь знанием физиологии и гигиены, и объявило стадность воплощением прогресса. Напротив, не утративший духовности отдельный человек стал ходячим атавизмом, живой обезьяной. Сбылись слова звероподобного Калибана из «Бури», мечтавшего сжечь все книги. Мир заполнили существа, чей «разум приведен в тупик», культура не выше сапога, которым попран Шекспир. Так, под пером Хаксли обрели мрачную конкретность пророческие вопросы Достоевского. Так поразительно совпали в своих прозрениях два выдающихся художника, осененных гением Шекспира. В его пьесах человек представал в разных ипостасях. То он «поступками подобен ангелу, познанием — божеству. Красота мира! Венец творенья!» То он —

Гордец с недолгой и непрочной властью [...]
Безлика его сущность перед небом,
Она так корчит рожи обезьяньи,
Что ангелы рыдают.

Именно в этих словах, подсказавших писателю название другого антиутопического романа, Хаксли прочел предупреждение о том, что будет с человечеством, если оно откажется от духовных ценностей, от Шекспира во имя сапог, физиологии и химии.

Коль скоро прогресс в восприятии Хаксли вел к подобному исходу, то логично, что такое общество не имело права на существование. История подсказала писателю возможный конец «дивного нового мира». Он изображен в написанном после второй мировой войны и Хиросимы романе «Обезьяна и сущность» (1948). Сущность тоталитарно-технократической цивилизации по обе стороны «железного занавеса» в том, что она толкает человека назад к обезьяне — торжество обезьяньего начала символически

изображается во вставных эпизодах романа, написанного как киносценарий, в которых бабуины в маршальской форме командуют великими умами — Фарадеем, Пастером, Эйнштейном. В результате цивилизация гибнет в атомной войне. Остатки человечества, образом жизни уже мало отличаясь от обезьян, поклоняются Велиалу — сатане — и совершают ритуальные убийства детей, рожденных уродами под воздействием радиации.

Сегодня, когда уже произошла чернобыльская катастрофа, когда радиацией и химией отравлены воздух, вода и почва, когда все еще существуют бредовые проекты поворота рек и рытья нелепых каналов, когда расхожей стала фраза о том, что мы плохо знаем общество, в котором живем, роман Хаксли для нас не пустая фантазия пессимиста, утратившего веру в прогресс и человечество. Это мрачная, но истинная, а не ложная веха, предупреждающая, по какому пути мы идем. Ибо изображенный писателем упадок общества есть конечный результат процесса научно-технического и социального насилия над природой и человеком. Отчетливые черты подобного насилия мы видим вокруг себя. Хаксли, как и его предшественники Форстер и Уэллс, нарисовал тот мир, которого никогда быть не должно. Вот главное. В своем стремлении художественно проанализировать, предугадать, пусть в причудливых и на первый взгляд далеких от реальности формах, будущее и, подобно Кассандре, предупредить о том, что готовит нам грядущий день, творцы английской утопии и антиутопии заставляют нас одуматься сейчас. Помогают «познать самого себя» и остаться человеком сегодня и всегда.

Алексей Шишкин

ЭДВАРД МОРГАН **ФОРСТЕР**

МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Перевод Е. Пригожиной

Часть I

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

Попытайтесь представить себе комнатушку восьмиугольной формы, напоминающую ячейку пчелиных сот. В ней нет ни ламп, ни окон, но вся она залита мягким сиянием. Отверстий для вентиляции тоже нет, однако воздух свеж и чист. И хотя не видно ни одного музыкального инструмента, в ту минуту, когда я мысленно ввожу вас сюда, нам навстречу льются нежные и мелодичные звуки. Посреди комнаты стоит кресло, рядом с ним — пюпитр, вот и вся мебель. В кресле какая-то бесформенная, спеленутая туша — женщина ростом не больше пяти футов, с серым, словно плесень, лицом. Это хозяйка комнаты.

Раздается звонок.

Женщина нажимает на кнопку, и музыка смолкает.

«Ничего не поделаешь, придется посмотреть, кто там», — думает женщина и, нажав на другую кнопку, приводит в движение кресло. Оно скользит к противоположной стене, откуда все еще доносится настойчивый звонок.

— Кто это? — кричит женщина. В ее голосе звучит раздражение: вот уже в который раз ей мешают слушать музыку. У нее несколько тысяч знакомых — в известном смысле общение между людьми невероятно расширилось.

Но когда раздается ответ, ее землистое лицо расплывается в морщинистой улыбке.

— Хорошо. Давай поговорим, — соглашается она. — Я сейчас выключусь. Надеюсь, что за пять минут не произойдет ничего существенного. Даю тебе целых пять минут, Куно, а потом я должна читать лекцию о музыке в австралийский период.

Она включает изолирующее устройство, и теперь уже никто другой не сможет говорить с ней. Потом одним прикосновением руки к осветительному аппарату погружает комнату во мрак.

— Скорее! — кричит она, и в голосе ее снова слышится раздражение. — Скорее, Куно, я сижу в темноте и теряю время!

Но проходит еще не меньше пятнадцати секунд, прежде чем круглая металлическая пластинка у нее в руках начинает светиться. Слабый голубой свет переходит в багровый, и вот она уже видит лицо сына, который живет на другой стороне земного шара, и сын видит ее.

— Куно, какой ты копуша, — говорит она.

Он печально улыбается.

— Можно подумать, что тебе нравится бездельничать.

— Я уже несколько раз звонил тебе, мать, — начинает он, — но ты всегда занята или выключена. Мне нужно тебе что-то сказать.

— В чем дело, дорогой? Говори скорее. Почему ты не послал письмо по пневматической почте?

— Мне казалось, что лучше самому сказать тебе это. Я хочу...

— Ну?

— Я хочу, чтобы ты приехала повидаться со мной.

Вашти внимательно всматривается в изображение сына на голубом диске.

— Но ведь я и так тебя вижу! — восклицает она. — Чего же тебе еще?

— Я хочу увидеть тебя не через Машину, — отвечает Куно. — Я хочу поговорить с тобой без этой постылой Машины.

— Замолчи! — прерывает его мать; слова сына покоробили ее. — Ты не должен плохо говорить о Машине.

— Но почему?

— Это недопустимо.

— Ты рассуждаешь так, будто Машину создал какой-то бог, — возмущается сын. — Ты еще, чего доброго, молишься ей, когда у тебя что-нибудь не ладится. Не забывай, что Машину сделали люди. Гениальные, но все же люди. Конечно, Машина — великая вещь, но это еще не все. Я вижу на оптическом диске что-то похожее на тебя, но это не ты. Я слышу по телефону что-то похожее на твой голос, но и это не ты. Вот почему я хочу, чтобы ты приехала. Приезжай, побудь со мной. Ты должна меня навестить, нам нужно повидаться с глазу на глаз, чтобы я мог рассказать тебе о своих надеждах и планах.

Но она говорит, что у нее нет времени ездить в гости.

— Воздушный корабль доставит тебя за два дня.

— Ненавижу воздушные корабли.

— Почему?

— Ненавижу смотреть на эту отвратительную коричневую землю, и на море, и на звезды. В воздушном корабле мне не приходят в голову никакие мысли.

— А мне они только там и приходят.

— Какие же мысли ты можешь почерпнуть из воздуха?

Мгновение он молчит.

— Разве ты не замечала, — говорит он наконец, — четыре большие звезды, образующие прямоугольник, а посредине — три поменьше, близко одна к другой, и от этих трех звезд свисают вниз еще три.

— Нет. Ненавижу звезды. А что, они навели тебя на какую-то мысль? Как интересно! Расскажи.

— Мне пришло в голову, что они похожи на человека. Четыре большие звезды — это плечи и колени. Три звезды посередине — пояс, как когда-то носили, а те три, что свисают вниз, — меч.

— Меч?

— Люди носили при себе меч, чтобы убивать зверей и других людей.

— Твоя мысль не так уж хороша, но, во всяком случае, оригинальна. Когда она у тебя возникла?

— В воздушном корабле... — Он внезапно замолчал, и ей показалось, что ему стало грустно. Правда, она не была в этом уверена. Машина не передавала различия в выражении лица. Она давала только общее представление о людях — для практических целей вполне удовлетворительное, по мнению Вашти.

Машина пренебрегала неуловимыми нюансами человеческих чувств, якобы определяющими, по утверждению уже изжившей себя философии, истинную сущность человеческих отношений, точно так же, как при изготовлении искусственного винограда пренебрегали тем едва уловимым налетом, который мы находим на естественно созревающих плодах. Человечество давно уже привыкло довольствоваться заменителем — «вполне удовлетворительным».

— По правде сказать, — продолжал сын, — мне хочется еще раз взглянуть на эти звезды. Это удивительные звезды. И я хотел бы увидеть их не из окна воздушного корабля, а с поверхности земли, как много тысячелетий назад их видели наши предки. Я хочу подняться на поверхность земли.

И опять его слова покоробили ее.

— Мама, ты должна приехать, — настаивал он, — хотя бы для того, чтобы объяснить мне, что тут дурного.

— Ничего дурного, — отвечала она, взяв себя в руки. — Но и ничего хорошего. Ты найдешь там только грязь и пыль; на поверхности земли не осталось никакой жизни, и тебе понадобится респиратор, иначе холодный воздух убьет тебя. Ведь наружный воздух смертелен.

— Я знаю и, конечно, приму все меры предосторожности.

— К тому же...

— Да?

Она замолчала, подыскивая подходящие слова. У ее сына был нелегкий нрав, а она очень хотела отговорить его от бессмысленной затеи.

— Это противоречит духу времени, — произнесла она наконец.

— Ты хочешь сказать, это противоречит духу Машины?

— В некотором смысле, но...

Его изображение на голубом диске внезапно померкло.

— Куно!

Он отключился.

На мгновение Вашти почувствовала себя одинокой.

Потом она включила свет и при виде своей комнаты, залитой мягким сиянием, усеянной электрическими кнопками, снова оживилась. Кнопками и выключателями были утыканы все стены — кнопки для получения еды, одежды, для включения музыки. Если нажать вот на эту, из-под пола поднимется мраморная ванна, наполненная до краев горячей деодоризованной водой. Для холодной ванны — другая кнопка. И, разумеется, множество кнопок для общения с друзьями. В этой комнате, совершенно пустой, можно было получить все, что угодно.

Вашти выключила изолирующее устройство, и в комнату ворвались телефонные звонки и голоса: все неотложные вопросы, накопившиеся за последние три минуты, обрушились на нее. Как ей понравились новые продукты питания? Рекомендует ли она их для широкого потребления? Не появились ли у нее за последнее время какие-нибудь новые идеи? Нельзя ли поделиться с ней собственными мыслями? Не согласится ли она в ближайшее время, ну, скажем, через месяц, посетить детский сад?

На большинство вопросов она отвечала с раздражением, столь свойственным людям в этот век бешеных темпов. Она считает, что новые продукты отвратительны. Детский

сад посетить не может за отсутствием времени. У нее самой не возникало новых идей, но одну мысль ей только что довелось услышать: четыре звезды и три посредине будто бы напоминают человека; она сомневается, чтобы это представляло интерес. Затем она отключила своих собеседников, потому что пора было начинать лекцию об австралийской музыке.

Громоздкая система общественных сборищ была давным-давно отменена; ни Вашти, ни ее слушатели и не подумали тронуться с места. Она читала лекцию, сидя в своем кресле, а они, тоже оставаясь в своих креслах, имели полную возможность достаточно хорошо видеть и слышать ее. Она начала лекцию с пронизанной юмором краткой характеристики музыкальной культуры в домонгольскую эпоху, после чего рассказала о расцвете песни в период после китайского завоевания. Как ни примитивны и далеки от нашего искусства, заявила она, методы и Сан-со и брисбенской школы, тем не менее, как ей кажется, они представляют определенный интерес для современного музыковеда, так как отличаются свежестью и, что самое главное, в них есть мысли.

Лекция продолжалась десять минут и была хорошо принята публикой, а по окончании ее Вашти и значительная часть ее аудитории прослушали лекцию о море: море будит мысли — лектор недавно сам побывал на море, предварительно надев респиратор. Потом Вашти приняла пищу, побеседовала с друзьями, приняла ванну, опять побеседовала с друзьями и, нажав кнопку, вызвала кровать.

Кровать ей не нравилась — чересчур велика. Однако жаловаться было бесполезно, так как кровати во всем мире изготовлялись по единому образцу и любое отступление от этого шаблона потребовало бы больших изменений в Машине. Вашти выключилась — это было необходимо, так как под землей день не отличался от ночи, — и попыталась припомнить, что произошло с тех пор, когда она в последний раз вызывала кровать. Новые мысли? Их не было. События? Куно пригласил ее к себе — это событие?

На пюпитре рядом с выдвижной кроватью лежала Книга — все, что уцелело от бумажного сора тысячелетий. Это была Книга о Машине. В ней содержались инструкции на все случаи жизни. Если Вашти было жарко или холодно, если у нее болел живот или она затруднялась подобрать нужное слово, ей стоило только раскрыть Книгу, чтобы узнать, какой кнопкой воспользоваться. Книгу издал

Генеральный совет, и ее роскошный переплет вполне отвечал вкусам эпохи.

Привстав в постели, Вашти благоговейно взяла Книгу в руки. Она обвела взглядом свое ослепительно сияющее жилище, будто желая убедиться, что ее никто не видит. Потом чуть стыдливо и в то же время растроганно прошептала: «Машина! О Машина!» — и приложила Книгу к губам. Трижды поцеловала она ее, трижды склонила перед ней голову и трижды испытала пьянящее блаженство смирения. Совершив этот обряд, она раскрыла Книгу на странице 1367, где было приведено расписание полетов воздушных кораблей, отправляющихся с острова в южном полушарии, под поверхностью которого она жила, на остров в северном полушарии, где жил ее сын.

Вашти подумала: «У меня нет на это времени». Она выключила свет и заснула.

Просыпаясь, она включала свет, ела, обменивалась мыслями с друзьями, слушала музыку и лекции, потом выключала свет и засыпала. Вокруг нее — наверху, внизу, со всех сторон — непрерывно гудела Машина, но она не замечала этого гула: с рождения он стоял у нее в ушах. И Земля гудела, вращаясь в безмолвном пространстве, поворачивая Вашти то к невидимому Солнцу, то к невидимым звездам.

Вашти проснулась и включила свет.

— Куно!

— Я не стану с тобой говорить, пока ты не приедешь, — ответил сын.

— Ты поднимался на поверхность земли после нашего предыдущего разговора?

Его изображение на пластинке померкло.

Она снова обратилась к Книге. Волнение охватило ее, и, вся дрожа, она откинулась на спинку кресла. Она была сама не своя.

Наконец она выпрямилась, повернула кресло к стене и нажала на незнакомую кнопку. Стена стала медленно раздвигаться. В образовавшемся проеме показался туннель, который слегка изгибался, так что конца его не было видно. Если она решится навестить сына, здесь начало ее пути.

Разумеется, существующая система передвижения была ей известна. Все очень просто: она вызовет электровагон, и он промчит ее по туннелю к лифту, который сообщается с аэростанцией. Эта система была создана уже очень, очень давно, задолго до повсеместного внедрения Машины.

И конечно, Вашти была знакома с обычаями предшествовавшей цивилизации, когда функции системы понимались превратно и ею пользовались, чтобы доставлять человека к объекту, а не наоборот — объект к человеку. Это были забавные времена: люди отправлялись куда-нибудь подышать свежим воздухом, вместо того чтобы попросту сменить воздух в собственной комнате.

И все же туннель внушал Вашти страх; она не видела его с тех пор, как родился ее последний ребенок. Туннель действительно изгибался, но как-то иначе, чем она себе представляла, он и вправду был ярко освещен, но, пожалуй, не так ярко, как об этом говорилось в лекции. Перспектива непосредственного столкновения с реальной действительностью ужаснула Вашти. Она поспешно отъехала в глубину комнаты, и стена снова сомкнулась.

— Куно, — сказала она, — я не могу к тебе приехать. Я не совсем здорова.

Тотчас же с потолка на нее свалился какой-то огромный аппарат, во рту оказался термометр, а на груди стетоскоп, прижатый к сердцу. Она беспомощно откинулась в кресле. Охлаждающая подушка легко легла ей на лоб. Это Куно протелеграфировал ее врачу. Итак, в недрах Машины еще теплились человеческие чувства.

Вашти проглотила таблетку, которую доктор вложил ей в рот, и аппарат взвился к потолку. Снова раздался голос сына — Куно хотел знать, как она себя чувствует.

— Лучше, — сказала Вашти и добавила раздраженно: — Но почему бы тебе самому ко мне не приехать?

— Я не могу отлучиться.

— Почему?

— Потому что в любую минуту может произойти что-то ужасное.

— Ты уже поднимался на поверхность?

— Нет еще.

— Так в чем же дело?

— Я не хочу говорить об этом через Машину.

Она вернулась к своей повседневной жизни.

Но в памяти ее все чаще вставал образ сына; она вспоминала его ребенком, вспоминала день, когда он родился, и тот день, когда его забрали в детский сад, и как она навещала его там, и как потом он сам навещал ее — эти визиты прекратились, когда Машина предоставила ему комнату на другой стороне Земли. «Родители, их обязанности, — значилось в Книге. — Прекращаются в момент рождения

ребенка» (страница 422 327 488). Верно, и все же в Куно было что-то особенное. В конце концов, если он так настаивает, она просто обязана отважиться на путешествие. Он сказал: «Может случиться что-то ужасное». Что он имел в виду? Скорее всего, глупая мальчишеская болтовня, но все-таки ей придется поехать. Она опять нажала на ту незнакомую кнопку, и опять стена расступилась и открылся туннель, который изгибался, так что конца его не было видно. Сжимая в руках Книгу, она поднялась с кресла, доковыляла до платформы в проеме стены и, ступив на нее, вызвала вагон. Стена сомкнулась за ее спиной, путешествие в северное полушарие началось.

Разумеется, все было очень просто. Вагон подъехал, она села в него; кресла в нем оказались точно такими же, как ее собственное. Потом по ее сигналу вагон остановился, и она проковыляла к лифту. В лифте сидел еще один пассажир — впервые за много месяцев она столкнулась лицом к лицу с другим человеческим существом. Путешествия мало кого привлекали — ведь благодаря прогрессу науки мир повсюду был совершенно одинаков. Развитие средств сообщения, на которое в предшествующую эпоху возлагалось столько надежд, в конце концов привело к обратным результатам. Зачем было ехать в Пекин, если он ничем не отличался от Шрусбери? Чего ради возвращаться в Шрусбери, если он ничем не отличался от Пекина? Человек перестал перемещать свое бренное тело, и только душа его не обрела покоя.

Воздушные корабли были пережитком минувшей эпохи. Они все еще летали, потому что проще было продолжать полеты, чем отменить их совсем или сократить их число, однако население почти перестало нуждаться в этом виде транспорта. Одно судно за другим, взлетая над выходными воронками в Райе или Крайстчерче (я пользуюсь древними наименованиями), поднималось в небо, испещренное черными точками кораблей, и опускалось в гавани южного полушария — без единого пассажира. Система воздухоплавания была так совершенна, что метеорология утратила свое значение; небосвод при любой погоде напоминал огромный калейдоскоп с периодически повторяющимися узорами. Корабль, на котором летела Вашти, отправлялся попеременно то на закате, то на восходе солнца, но всякий раз, пролетая над Реймсом, он шел борт о борт с кораблем, курсировавшим между Гельсингфорсом и Бразилией, а пересекая Альпы, каждый третий раз встречался с Па-

лермской флотилией. Ни ночная тьма, ни ветры, ни штормы, ни приливы и отливы, ни землетрясения — ничто уже не было страшно человеку. Он обуздал Левиафана *. Книги всех времен с их гимнами природе и вечным ужасом перед ее всемогущими силами читались бы теперь как забавные детские сказки.

И все же, когда Вашти увидела огромный борт корабля, на котором проступали пятна от воздействия внешнего воздуха, ее снова охватил страх перед неизбежным соприкосновением с действительностью. Настоящий корабль чем-то отличался от тех, которые появлялись на экране синемавидения. Прежде всего от него исходил запах — нельзя сказать, чтобы неприятный или резкий, но все же достаточно определенный, чтобы с закрытыми глазами можно было угадать присутствие незнакомого предмета. К тому же до него надо было идти пешком, на виду у других пассажиров. Мужчина впереди Вашти уронил свою Книгу — казалось бы, пустяк, однако это вызвало всеобщее замешательство. Ведь если кому-нибудь случалось обронить Книгу у себя в комнате, пол автоматически поднимался, а здесь, в проходе, который вел к кораблю, такое устройство не было предусмотрено, и священная ноша так и осталась лежать там, где упала. Все остановились — это было так неожиданно, — а человек, которому принадлежала Книга, вместо того, чтобы нагнуться и поднять ее, растерянно пощупал мускулы на правой руке, словно недоумевая, как он мог так оплошать. И вдруг кто-то сказал — без микрофона, естественным голосом: «Мы опаздываем», и пассажиры стали гуськом подниматься на корабль, а Вашти впопыхах наступила на раскрытую Книгу.

На борту ей стало совсем не по себе. Оборудование на корабле было старомодное и примитивное. Здесь даже оказалась стюардесса, к которой Вашти должна была обращаться со всеми просьбами. Пассажиров, правда, доставляла в салоны движущаяся платформа, но от платформы до дверей каюты оставалось еще несколько шагов, которые Вашти пришлось пройти самой; к тому же одни каюты были лучше, другие хуже, а Вашти досталась не лучшая. Она сочла это несправедливым, и гнев охватил ее. Однако стеклянные створки дверей уже захлопнулись, возвращаться было поздно. За прозрачной перегородкой в конце вестибюля, в подъемной шахте, бесшумно двигался вверх и вниз лифт, в котором она только что приехала, теперь уже совершенно пустой. А под вестибюлем, облицованным

сверкающим кафелем, глубоко в землю ярус за ярусом уходили комнаты, и в каждой комнате жил человек — ел, спал, накапливал мысли. Где-то, затерянная в этом огромном улье, была и ее комната. Вашти стало страшно.

— Машина! О Машина! — прошептала она, прижимая к себе Книгу, и у нее отлегло от сердца.

Но вот стены аэровокзала слились воедино, как это бывает только во сне, лифт внезапно исчез из виду. Книга, валявшаяся на полу, скользнула влево и пропала, плитки кафеля замелькали сверкающим каскадом, легкая дрожь прошла по корпусу судна — воздушный корабль, вынырнув из туннеля, взмыл над водами тропического океана.

Была ночь. На мгновение Вашти увидела побережье Суматры, окаймленное фосфоресцирующей пеной прибоя, и сверкающие башни маяков, которые все еще излучали никому не нужный свет. Потом исчезли и маяки — остались одни только звезды. Они не стояли на месте, а перекатывались то вправо, то влево, попеременно скопляясь то в одном иллюминаторе, то в другом; казалось, будто кренится не корабль, а вся Вселенная. К тому же, как это бывает в ясные ночи, звезды то уходили ввысь, ярус за ярусом, подчеркивая бесконечную глубь небес; то нависали над землей, точно плоская крыша, скрывающая бесконечность от людского взора. Но в любом случае они были невыносимы.

«Так мы и будем путешествовать в темноте?» — закричали из своих кают возмущенные пассажиры, и стюардесса, проявившая столь непозволительную халатность, поспешила включить свет и опустить металлические шторы. В те времена, когда строились воздушные корабли, человечество еще не утратило желания видеть мир своими глазами. Этим и объяснялось чрезмерное количество иллюминаторов и окон, причинявших цивилизованному человеку с утонченными чувствами немалые неудобства. В каюту Вашти даже проникал сквозь щель в одной из штор тоненький звездный луч, и сон ее был неспокоен, а спустя несколько часов ее разбудило какое-то непривычное свечение — наступил рассвет.

Корабль летел на запад, но, как ни велика была скорость его полета, Земля катилась на восток еще быстрее, увлекая Вашти и ее попутчиков за собой — обратно к Солнцу. Науке удалось продлить течение ночи, но лишь ненамного, а высоким мечтам о нейтрализации суточного вращения Земли не суждено было сбыться, как и некоторым другим,

быть может еще более грандиозным. Не отставать от Солнца или даже обогнать его — такую задачу ставило перед собой человечество в предшествующую эпоху. С этой целью строились самолеты, обладающие огромной скоростью, и водили их величайшие мужи века. Они летали вокруг Земли, устремляясь на запад, всегда на запад, совершая один круг за другим под несмолкающий гром рукоплесканий. Все было напрасно. Земной шар катился на восток еще быстрее. Возникали ужасные катастрофы, и в конце концов Генеральный совет при Машине, который в то время уже становился всевластным, объявил эту гонку противозаконной, антимеханичной и наказуемой лишением крова. (О лишении крова речь еще будет впереди.)

Генеральный совет, несомненно, был прав. Однако после неудавшейся попытки обогнать Солнце человечество никогда более не проявляло интереса к движению небесных тел, да и вообще к чему бы то ни было. Людей уже не объединяло стремление познать то, что лежит за пределами их мира. Солнце вышло из борьбы победителем, но эта победа положила конец его господству над людскими умами. Небесный путь солнечного светила, его восходы и закаты, его годовой круговорот уже не волновали человека, ему просто не было до этого никакого дела, и наука обратила свои взоры в недра земли, чтобы отныне ставить себе только такие задачи, которые сулили безусловный успех.

Когда Вашти, проснувшись, обнаружила, что через занавешенное окно пробивается розоватая полоска света, это вывело ее из себя, и она попыталась поплотнее задернуть штору. Однако железная штора, вырвавшись у нее из рук, взвилась вверх, и Вашти увидела розовые — на голубом — облака, а когда солнце поднялось выше, лучи его хлынули в каюту, и море света стало разливаться по стене. Золотые волны вздымались и падали в такт покачиванию корабля, и море разрасталось и наступало, как в час прилива. Казалось, еще немного — и свет ударит ей прямо в лицо. В ужасе она нажала на звонок, чтобы вызвать стюардессу. Стюардесса тоже ужаснулась, но ничего не могла поделать — починка штор не входила в ее обязанности. Ей оставалось только предложить даме сменить каюту, на что Вашти немедленно согласилась.

Люди во всем мире были теперь похожи друг на друга, но стюардесса, быть может в силу своих неординарных обязанностей, отличалась некоторым своеобразием.

Ей часто приходилось разговаривать с пассажирами, не прибегая к помощи Машины, и от этого в ее манерах появилось что-то эксцентричное и резкое. Когда Вашти с криком отпрянула от заливавшего ее солнечного света, стюардесса позволила себе чудовищную грубость — она протянула руку, чтобы не дать Вашти упасть.

— Как вы смеете! — вскричала возмущенная пассажирка. — Вы забываетесь!

Стюардесса смутилась и поспешила извиниться за то, что хотела поддержать ее. Люди давно уже не дотрагивались друг до друга. Этот обычай устарел в эпоху Машины.

— Где мы сейчас? — сухо спросила Вашти.

— Мы над Азией, — ответила стюардесса, изо всех сил стараясь быть любезной.

— Над Азией?

— Извините, я привыкла называть места, над которыми мы пролетаем, их старыми, немеханичными названиями.

— О, я припоминаю: Азия — это откуда пришли монголы.

— Прямо под нами, на поверхности земли, прежде стоял город, который называли Симла.

— А вы когда-нибудь слышали о монголах и о брисбенской школе?

— Нет.

— Брисбен тоже стоял на поверхности земли.

— А эти горы, направо, разрешите, я покажу их вам, — стюардесса приподняла штору, и далеко внизу показался Гималайский хребет, — эти горы когда-то называли Крышей Мира.

— Как глупо!

— Видите ли, тогда, до эры цивилизации, считалось, что они образуют непреодолимую стену и что эта стена упирается в звезды, а над ней — только боги. Как далеко мы ушли вперед! И все благодаря Машине.

— Все благодаря Машине, — как эхо отозвался пассажир, стоявший в проходе, тот самый, что уронил вчера Книгу.

— А что это за белое вещество — вон там?

— Я забыла, как оно называется.

— Закройте, пожалуйста, окно. Эти горы не будят мыслей.

Северная сторона Гималаев лежала в тени, солнце

освещало склоны, обращенные к Индии. Леса, некогда покрывавшие эти горные громады, в эпоху развития литературы были истреблены — древесина шла на бумагу; снег на оголенных вершинах уже озаряли первые утренние лучи, а в расщелинах Канченджанги еще дремали легкие облака. Внизу, в долине, виднелись развалины городов, и вдоль полуразрушенных стен тонкими ниточками тянулись реки, на берегах которых там и сям чернели отверстия выходных воронок — опознавательные знаки современных городов. И над всем этим взад и вперед проносились воздушные корабли, встречаясь и расходясь, с поразительной легкостью взмывая вверх, чтобы обойти внезапное завихрение в нижних воздушных слоях или пролететь над Крышей Мира.

— Да, мы ушли далеко вперед благодаря Машине, — повторила стюардесса и закрыла Гималаи металлической шторой.

День тянулся медленно. Пассажиры сидели по своим каютам, испытывая почти физическое отвращение при мысли о возможной встрече друг с другом и мечтали поскорее снова очутиться под землей. Их было человек восемь или десять — главным образом молодые мужчины, которых развозили из воспитательных учреждений в различные концы земли, чтобы заселить опустевшие комнаты тех, кто недавно умер. Молодой человек, уронивший Книгу, возвращался домой — его посылали на Суматру в целях продолжения человеческого рода. Одна только Вашти совершала путешествие по собственной воле.

В полдень она еще раз взглянула на землю. Воздушный корабль опять пролетал над горным хребтом, но ей мало что удалось увидеть, потому что небо было затянуто облаками. Нагромождения черных скал смутно вырисовывались где-то внизу, и вершины терялись в серой мгле. Их формы были причудливы, одна из гор напоминала распростертого на земле человека.

— Это не будит мыслей, — пробормотала Вашти и закрыла Кавказский хребет металлической шторой.

Вечером она выглянула опять. Они летели над морем цвета расплавленного золота с множеством мелких островов и одним полуостровом.

— Это не будит мыслей, — повторила про себя Вашти и закрыла Грецию металлической шторой.

Часть II

РЕМОНТНЫЙ АППАРАТ

Снова вестибюль аэровокзала, подземный туннель, платформа, раздвигающиеся двери — и Вашти, проделав тот же путь, только в обратном порядке, оказалась в комнате сына — точно такой же, как и ее собственная. Недаром она считала этот визит совершенно излишним. Те же кнопки и выключатели на стенах, тот же пюпитр с Книгой, та же температура воздуха и то же освещение — никакого отличия ни в чем. И хотя Куно, ее сын, плоть от плоти ее, стоял теперь рядом с ней, разве это что-нибудь меняло? Она была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе пожать ему руку.

Стараясь не встречаться с ним взглядом, она заговорила:

— Ну вот и я. Дорога была ужасной, и я так отстала в своем духовном развитии. Не стоило мне приезжать, Куно, право, не стоило. Мое время слишком дорого. А в пути меня чуть не коснулся солнечный свет и мне пришлось встречаться с ужасными грубиянами. В моем распоряжении всего несколько минут. Говори, что нужно, и я сейчас же уеду.

— Мне угрожает лишение крова.

Теперь она наконец взглянула на него.

— Мне угрожает лишение крова, — повторил он, — не мог же я сказать тебе об этом через Машину.

Лишение крова означало смерть. Осужденного оставляют на открытом воздухе, и он погибает.

— После нашего разговора я все-таки поднялся на поверхность земли. Я осуществил свою мечту, но меня заметили.

— Что же тут такого? — удивилась она. — В том, что ты поднялся на поверхность, нет ничего противозаконного и ничего антимеханичного. Только недавно я слышала лекцию о море — никому не возбраняется побывать там. Нужно только получить респиратор и заказать пропуск на выход. Разумеется, человек мыслящий не станет этого делать, и я пыталась отговорить тебя, но законом это разрешено.

— Я не заказывал пропуска.

— Как же ты очутился снаружи?

— Я нашел другой, свой собственный выход.

Она не поняла, и ему пришлось повторить то, что он сказал.

— Свой собственный выход? — в недоумении пробормотала она. — Но ведь так нельзя.

— Почему?

Этот вопрос показался ей просто неприличным.

— Ты начинаешь обожествлять Машину, — холодно заметил сын. — По-твоему, я вероотступник, потому что посмел сам найти выход. Вот и Генеральный совет так считает, они пригрозили мне лишением крова.

Вашти рассердилась.

— Я ничего не обожествляю! — воскликнула она. — У меня достаточно прогрессивные взгляды. И вовсе не считаю тебя вероотступником, потому что никакой религии давно уже нет. Машина развеяла все страхи и предрассудки. Я только говорю, что искать свой выход было с твоей стороны... да никаких новых выходов и нет.

— До сих пор принято было так считать.

— Подняться на поверхность можно только через одну из воронок, а для этого нужно иметь пропуск, — так сказано в Книге.

— Значит, то, что сказано в Книге, неправда, потому что я выбрался сам, пешком.

Куно был физически неплохо развит. Иметь крепкие мускулы считалось пороком. Все дети при рождении подвергались осмотру, и, если ребенок внушал в этом смысле слишком большие опасения, его уничтожали. Могут возразить, что это противоречит законам гуманности, но оставить будущего атлета жить было бы тоже не слишком гуманно. В тех условиях жизни, которые диктовались Машиной, он никогда не был бы счастлив; он тосковал бы по деревьям, на которые можно лазить, по прозрачным рекам, в которых ему хотелось бы плавать, по лугам и горным вершинам, где он чувствовал бы себя привольно. Разве человек не должен быть приспособлен к окружающей среде? На заре человечества хилых младенцев сбрасывали с вершины Тайгета, на его закате обрекали на гибель сильнейших — во имя Машины, во имя вечного движения Машины!

— Ты ведь знаешь, что мы утратили чувство пространства, — продолжал Куно. — Мы говорим «пространство исчезает», на самом же деле исчезло не пространство, а только наше восприятие его. Мы утратили часть самих себя, и я решил восстановить эту утраченную

часть. Я начал с того, что стал ежедневно ходить взад и вперед по платформе за моей дверью, пока не устану. Так я снова постиг забытые понятия «далеко» и «близко». «Близко» то место, до которого я могу быстро дойти пешком, а не добираться на поезде или воздушном корабле, а «далеко» то, до чего нельзя дойти за короткое время. Выходная воронка «далеко», хотя, вызвав электровагон, можно оказаться там через тридцать восемь секунд. Человек — мера всех вещей *. Я впервые это понял. Его ноги — мера расстояния, руки — мера собственности, а тело — мера всего прекрасного, сильного и желанного.

Я решил пойти еще дальше. Тогда-то я и позвонил тебе в первый раз, но ты не захотела приехать.

Наш город, как ты знаешь, лежит глубоко под землей, и только воронки выходят на поверхность. Походив по платформе за моей дверью, я сел в лифт и доехал до следующей остановки; там я тоже ходил взад и вперед, и так я делал, пока не добрался до самой последней платформы, над которой уже начинается земная поверхность. Все платформы совершенно одинаковы, но оттого, что я шагал по ним, у меня окрепли мускулы и чувство пространства стало острее. Наверное, мне следовало удовольствоваться этим — ведь это уже не так мало, но во время своих прогулок я предавался размышлениям, и мне пришло в голову, что наши города построены еще в те времена, когда люди дышали наружным воздухом, и, значит, там, где велись работы, должны были существовать вентиляционные шахты. С этой минуты я уже не мог думать ни о чем другом. Засыпаны ли шахты, с тех пор как проложили бесчисленные пищепроводы, медикаментопроводы и музыкопроводы, которые входят теперь в систему Машины? Или они еще сохранились, хотя бы частично? Одно было мне совершенно ясно: если и можно где-нибудь обнаружить остатки вентиляционных шахт, то только в железнодорожных туннелях верхнего этажа. На всех других этажах использован каждый дюйм.

Я рассказываю тебе только самую суть, но не думай, что я не трусил, что твои слова не обескураживали меня. Я понимал, что не подобает ходить пешком по туннелю, что это неприлично, немеханично. Я не боялся, что наступлю на рельс и меня убьет током, но одна только мысль о поступке, не предусмотренном Машиной, внушала мне

страх. В конце концов я все же сказал себе: «Человек — мера всех вещей» — и пошел и после долгих поисков отыскал выходное отверстие.

Разумеется, туннели освещены, все залито искусственным светом; темное пятно означало бы брешь в стене. И вот, когда я увидел темный провал между плитками кафеля, я понял, что нашел то, что искал, и у меня дрогнуло сердце. Я сунул туда руку — даже рука проходила с трудом — и в восторге от своего открытия попытался расширить отверстие. Мне удалось высвободить еще одну плитку; я просунул в отверстие голову и крикнул в темноту: «Я иду! Я добьюсь своего!» Мне показалось, что я слышу голоса давно умерших людей, тех, кто когда-то каждый вечер после работы в туннеле возвращался под свет звезд, домой, к жене и детям. Поколения, чья жизнь прошла на поверхности земли, отозвались на мой крик. «Ты идешь. Ты добьешься своего», — словно эхо донеслось до меня.

Куно умолк. Последние его слова, несмотря на всю их нелепость, тронули Вашти. Ведь он недавно обращался в Генеральный совет с просьбой о разрешении стать отцом, но ему было отказано: он не принадлежал к тому типу, который планировался Машиной для потомков.

— В это время проехал поезд, — продолжал Куно свой рассказ. — Он пронесся совсем рядом, но я засунул голову и плечи в дыру. На первый раз с меня было достаточно, я вернулся на платформу, спустился в лифте к себе в комнату и вызвал кровать. Какие сны мне снились в ту ночь! И снова я позвонил тебе, но ты опять отказалась приехать.

Вашти покачала головой.

— Перестань, — попросила она. — Не рассказывай мне обо всех этих ужасах. Мне больно слушать тебя. Ты отрекаешься от цивилизованного мира.

— Я обрел ощущение пространства, — не слушая ее, продолжал сын, — и уже не мог остановиться на полпути. Я решил пролезть в дыру и подняться по вентиляционной шахте. Для этого я начал тренироваться. Ежедневно я проделывал самые причудливые движения, пока мышцы не начинали ныть, и скоро уже мог в течение нескольких минут держать на вытянутых руках подушку и даже висеть на руках. Тогда я нажал на кнопку, получил респиратор и отправился в туннель.

Сначала все шло гладко. Цемент местами раскрошился,

я без большого труда отодрал еще несколько плиток и полез в темную дыру. Духи умерших предков своим незримым присутствием подбадривали меня. Не знаю, как это объяснить, но у меня было именно такое чувство. Я впервые осознал, что человек может бросить вызов смерти и тлению и что, черпая поддержку у мертвых, я в свою очередь протягиваю руку помощи тем, кто еще не родился. Я понял, что существует нечто истинно человеческое и что ему не нужны никакие покровы. Как мне выразить свою мысль? Человечество предстало передо мной нагим, в своем естественном виде: ведь все эти трубы, кнопки и механизмы не появились на свет вместе с нами, и мы не унесем их с собой, когда исчезнем, и не в них самое главное, пока мы живы. Будь я физически более вынослив, я сорвал бы с себя платье и голым вышел бы на поверхность земли. Но, к сожалению, для меня это было невозможно, как, вероятно, и ни для кого из людей моего поколения. Я пополз вперед во всем своем снаряжении — с респиратором, в гигиенической одежде, с диетическими таблетками в кармане! Все же это было лучше, чем оставаться на месте.

Прямо передо мной оказалась лестница из какого-то неизвестного мне, по-видимому, вышедшего из употребления металла. На нижние ее перекладины падал свет из железнодорожного туннеля, и я увидел, что она идет отвесно вверх с усыпанного щебнем дна шахты. Вероятно, те, кто здесь когда-то работал, спускались и поднимались по ней десятки раз в день. Я стал карабкаться вверх по лестнице. Острые края перекладин рвали перчатки и рассекали ладони до крови. Сначала до меня еще доходил свет, но очень скоро я очутился в кромешной тьме. Еще хуже была внезапная тишина — она пронзила меня, как кинжал. Оказывается, Машина гудит! Ты это когда-нибудь замечала? Ее гул заполняет нас, он проникает нам в кровь и, быть может, даже определяет течение наших мыслей, кто знает! Я уходил из-под власти Машины. Я было подумал: «Эта тишина доказывает, что я преступил границы дозволенного». Но тотчас же мне снова послышались голоса, и я опять будто почувствовал чью-то поддержку. — Он засмеялся. — А поддержка была мне очень нужна, потому что в следующую минуту я с треском ударился обо что-то головой.

Вашти вздохнула.

— Оказалось, что это пневматическая пробка, кото-

рой затыкают отверстия, чтобы защитить нас от наружного воздуха. Ты, наверное, видела такие затычки на воздушном корабле. Сам не понимаю, как я остался жив: я стоял на узкой перекладине над черной бездной, и из моих ладоней сочилась кровь. Но мне по-прежнему слышались ободряющие голоса, и я осторожно вытянул руку, пытаясь нащупать задвижку или болт. Пневмопробка была, вероятно, около восьми футов шириной. Я обследовал ее поверхность, насколько хватило руки — почти до середины, — она была абсолютно гладкой. И тут мне явственно послышалось: «Прыгай. Тебе нечего терять. Может быть, посередине есть ручка и, если ты сумеешь ухватиться за нее, ты придешь к нам, как хотел, своим путем. А если ручки нет и ты разобьешься, все равно ты ничего не теряешь — ты все-таки придешь к нам своим путем». Я прыгнул. Там была ручка, и...

Куно замолчал. У Вашти на глазах стояли слезы. Она понимала, что ее сын обречен. Не сегодня-завтра его ждала смерть. В этом мире не было места для таких, как он. Он вызывал у нее брезгливую жалость. Ей, добропорядочной и мыслящей женщине, приходилось стыдиться собственного сына! Неужели это тот самый малыш, которого она учила пользоваться выключателями и кнопками, которого она знакомила с зачатками мудрости, заключенной в Книге? Теперь у него на верхней губе росла безобразная щетина, и это само по себе уже говорило о возврате к какому-то первобытному типу. А с атавизмом Машина мириться не может.

Куно между тем продолжал свой рассказ:

— Я нащупал ручку и ухватился за нее. И вот, оглушенный прыжком, я повис во тьме, и мне снова почудилось отдаленное гудение Машины, похожее на замирающий прощальный шепот. Все вдруг показалось мне мелким и ничтожным — и то, что я когда-то любил, и люди, с которыми я общался только через провода и трубки. Между тем ручка, очевидно под действием тяжести моего тела, начала поворачиваться, увлекая меня за собой, а потом...

Я не в силах описать, что произошло потом. Я лежал на спине, и солнце светило мне в лицо. Из носа и ушей у меня текла кровь. Откуда-то доносился оглушительный рев. Пробку вытолкнуло из отверстия вместе со мной, и теперь воздух, который мы изготовляем под землей, выходил наружу. Он бил фонтаном. Я подполз к краю

отверстия и стал жадно ловить ртом воздушную струю, потому что наружный воздух при каждом вздохе причинял мне боль. Мой респиратор отбросило куда-то в сторону, одежда на мне была разорвана в клочья. Я лежал и глоток за глотком пил животворный газ, пока кровотечение не прекратилось. Трудно даже представить себе эту картину: поросшая травой ложбинка (о ней я еще расскажу потом), солнечный свет, не очень яркий, потому что солнце пробивается сквозь мраморные, в прожилках облака; ощущение покоя, безмятежности, простора; и тут же рядом со мной, так близко, что я ощущаю его прикосновение на своей щеке, бьющий из-под земли фонтан нашего искусственного воздуха! Взглянув вверх, я увидел свой респиратор: он подпрыгивал в струе воздуха высоко над моей головой. А еще выше, в небе, проплывали воздушные корабли. Но с кораблей никогда никто не смотрит на землю, да если бы меня и заметили, разве они смогли бы меня подобрать?! Я был предоставлен самому себе. Я заглянул в шахту: солнечный свет, проникая в нее, выхватывал из мрака верхние перекладины лестницы, но о том, чтобы снова спуститься, не приходилось и думать. Меня либо снова выбросило бы на поверхность воздушным потоком, либо я упал бы в шахту и разбился насмерть. Мне оставалось только лежать на траве и пить из подземного источника, время от времени оглядываясь по сторонам.

Я знал, что нахожусь в Уэссексе *, потому что, перед тем как отправиться в путь, прослушал лекцию. Уэссекс расположен как раз над моей комнатой. Когда-то он представлял собой сильное государство. Его короли владели всем южным побережьем от Андредсвальда до Корнуолла, а с севера королевство защищал Венсдайк. Лекция была посвящена только периоду становления Уэссекса как государства, поэтому я не знаю, как долго он оставался мировой державой. Да и к чему мне были теперь эти познания? Я только посмеялся, вспомнив о лекции. Я лежал в травянистой ложбине, окаймленной зарослями папоротника, под боком у меня валялась пневматическая пробка, над головой прыгал респиратор — я был захлопнут в этой ловушке.

Куно усмехнулся и, снова став серьезным, продолжал:

— Мне повезло, что я оказался в ложбине: воздух, который поступал из-под земли, постепенно наполнял ее, как вода наполняет чашу. Вскоре я уже мог отползти

немного от края отверстия. Потом я поднялся на ноги. Я дышал смесью подземного и наружного воздуха, но всякий раз, когда пытался взобраться на откос, ощущал режущую боль в легких. Все же дела мои обстояли не так плохо. Питательные таблетки были в кармане — я не потерял их при падении, чувствовал я себя удивительно бодро, а что касается Машины, то я попросту забыл о ней. Мною владело теперь только одно стремление — выбраться наверх, туда, где рос папоротник, и посмотреть, что я там найду.

Я взбежал по откосу. Непривычный воздух оказался все еще резким для меня, и я скатился обратно, успев лишь мельком разглядеть что-то большое и серое. Солнце светило теперь еще слабее, и я вспомнил, что оно находится сейчас в созвездии Скорпиона — об этом я тоже узнал из лекции, а если вы в Уэссексе, а солнце — в созвездии Скорпиона, вам лучше поторопиться, потому что скоро совсем стемнеет. (Первый и, вероятно, последний раз в жизни мне пригодилось что-то, о чем я узнал из лекции.) Я стал судорожно вдыхать непривычный воздух, постепенно отходя все дальше от своего маленького воздушного оазиса. Ложбинка наполнялась так медленно! По временам мне уже начинало казаться, что воздушный фонтан иссякает. Мой респиратор как будто опустился пониже, и рев поутих.

Впрочем, тебе это, наверное, не интересно, — внезапно оборвал себя Куно. — А остальное покажется еще скучнее. Это не будит мыслей, и я уже жалею, что просил тебя приехать. Мы с тобой слишком разные люди.

Но она велела ему продолжать.

— Только к вечеру мне удалось подняться на откос. Солнце почти скрылось, и было уже трудно что-нибудь разглядеть. Вероятно, не стоит рассказывать тебе о том, что я увидел, ведь ты только что пролетала над Крышей Мира, а передо мной открылась всего лишь невысокая гряда бесцветных холмов. Но мне эти холмы показались живыми. Под дерном, который служил им кожным покровом, выпукло проступали мускулы, и я знал, что когда-то эти холмы в полный голос говорили с людьми и люди внимали их зову. Теперь они спят и, возможно, уже никогда не проснутся. Но даже их сны обращены к человеку. Счастлив тот, кому удастся их разбудить. Ведь они только уснули — они никогда не умрут.

В голосе Куно внезапно зазвучал гнев.

— Неужели ты не видишь, — воскликнул он, — неужели вы, ученые-лекторы, не видите, что это мы, мы умираем, что у нас под землей в полном смысле слова живет только Машина? Мы создали ее для того, чтобы она нам служила, но мы уже не в силах заставить ее служить нам. Она лишила нас способности осязать вещи и ощущать пространство, она притупила все наши чувства, свела любовь к половому акту, парализовала нашу плоть и нашу волю, а теперь принуждает нас боготворить ее. Машина совершенствуется, но не в том направлении, в каком нам нужно. Машина движется вперед, но не к нашей цели. Мы только кровяные шарики в ее кровеносной системе, и, если бы она могла функционировать без нас, она давно предоставила бы нам возможность умереть. У меня нет способа бороться с Машиной, вернее, я знаю только один способ: снова и снова рассказывать людям о том, что я видел холмы Уэссекса, те самые, на которые смотрел Альфред Великий, изгнавший датчан *.

Так вот, солнце село. Да, я забыл рассказать тебе, что между холмом, у подножия которого я стоял, и другими холмами висело перламутровое облако тумана.

Куно снова замолчал.

— Продолжай, — глухо сказала мать.

Он покачал головой.

— Продолжай. Ты уже ничем не можешь огорчить меня, я ко всему готова.

— Я хотел рассказать тебе все, но не могу, теперь я вижу, что не могу.

Вашти растерялась. Ей было мучительно слушать его кощунственные речи, но любопытство взяло верх.

— Это нечестно, — сказала она. — Я приехала с другого конца света только для того, чтобы выслушать тебя, и я намерена выслушать все до конца. Расскажи мне, только покороче, потому что я и так уже потеряла уйму времени, расскажи, как ты вернулся в цивилизованный мир.

— Ах вот что, — воскликнул Куно, прерывая свои размышления, — тебя интересует цивилизованный мир! Хорошо, я расскажу тебе. Я уже говорил, что мой респиратор упал на землю?

— Нет. Но теперь я все поняла: ты надел респиратор и дошел по поверхности земли до ближайшей воронки, а там о тебе доложили Генеральному совету.

— Ничего похожего.

Куно провел рукой по лбу, как бы пытаясь отогнать какое-то волнующее воспоминание. Потом снова заговорил, все более оживляясь:

— Мой респиратор упал, когда солнце уже садилось. Я ведь, кажется, говорил, что воздушная струя постепенно ослабевала?

— Да.

— Так вот, на закате респиратор упал. Я уже и думать забыл о Машине и потому не придал этому большого значения, я был слишком поглощен другим. Время от времени, когда режущая боль в легких становилась нестерпимой, я нырял в спасительное озерцо подземного воздуха — при тихой погоде оно могло сохраниться в ложбинке в течение многих дней. Только потом, уже слишком поздно, я понял, что означало исчезновение воздушной струи. Отверстие в туннеле было заделано, в действие вступил ремонтный аппарат — Машина выследила меня.

Я мог бы догадаться о грозящей опасности и по некоторым другим признакам, если бы вовремя сумел их осмыслить. К ночи небо стало чище, и время от времени луна, выходя из-за облаков, ярко освещала мою ложбинку. Я стоял на своем посту, на границе двух атмосфер, как вдруг мне почудилось, что внизу, на дне ложбины, промелькнуло что-то черное и тотчас скрылось в отверстии шахты. Я был так глуп, что сбежал с откоса, наклонился над входом в шахту и стал прислушиваться. Мне показалось, что из глубины доносится какое-то шарканье.

И тут — слишком поздно — я насторожился. Я решил надеть респиратор и уйти из лощины. Но респиратор исчез. Я точно помнил место, где он упал: между входом в шахту и валявшейся неподалеку пневматической пробкой в траве еще виднелась оставшаяся от него вмятина. Он исчез; в этом было что-то зловещее, и я понял, что надо бежать: если мне суждено умереть, то пусть смерть настигнет меня на пути к перламутровому облаку тумана. Но я не успел даже сдвинуться с места. Из шахты... это было ужасно... из шахты выполз червь — длинный, белый, он извивался на залитой лунным светом траве.

Я закричал. Я вел себя как нельзя более глупо. Вместо того чтобы броситься бежать, я наступил на червяка ногой, и он тотчас же цепким кольцом охватил мою лодыжку. Я побежал, пытаясь вырваться из тисков, а

червь волочился за мной и все выше обвивался вокруг моей ноги. «Помогите!» — закричал я. (И тут случилось нечто такое, о чем ты никогда не узнаешь; я не стану рассказывать тебе об этом) «Помогите!» (Почему мы не умеем страдать молча?) «Помогите!» — И в ту же минуту я упал, потому что в тисках оказались уже обе ноги, и гад поволок меня по земле, прочь от полюбившихся мне папоротников и от вечно живых холмов, мимо металлической пневмопробки, за которую я попытался ухватиться (об этом я могу тебе рассказать) в надежде, что она еще раз спасет меня. Пробка тоже была обвита червями! Вся ложбина кишела ими. Они рыскали вокруг, оголяя все на своем пути, а из шахты высовывались тупые белые рыльца — новые орды готовы были, если понадобится, ринуться на помощь. Черви тащили за собой все, что можно было сдвинуть с места — сухие ветки, вырванные с корнем папоротники, — и, сплетаясь клубком, вместе со своей добычей скатывались в черную бездну шахты. В эту преисподнюю провалился и я. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем закрылась пробка, были звезды над моей головой, и я подумал, что такой человек, как я, подобен небожителям. Ибо я боролся, боролся до конца, пока, ударившись затылком об лестницу, не потерял сознание. Очнулся я у себя в комнате. Черви исчезли. Я опять жил в искусственной атмосфере, при искусственном освещении, окруженный искусственным покоем, и друзья вопрошали в микрофоны, не появились ли у меня новые мысли.

На этом рассказ был окончен. Говорить что-либо не имело смысла. И Вашти собралась уходить.

— Ты дождешься лишения крова, — сухо заметила она.

— Тем лучше, — отрезал Куно.

— Машина была милостива к тебе.

— Я предпочел бы божью милость.

— Что означает твой суеверный ответ? Ты хочешь сказать, что мог бы жить на поверхности земли?

— Да.

— Ты когда-нибудь видел разбросанные вокруг выходных воронок кости тех, кто был изгнан после Великого Мятежа?

— Да.

— Их оставили лежать там, нам в назидание. Лишь немногим удалось уползти, но и они погибли — разве в этом можно сомневаться? То же случается и с теми,

кого лишают крова в наши дни. На поверхности земли нет жизни.

— В самом деле?

— Там еще могут расти папоротник и трава, но все высшие организмы уже исчезли. Разве с воздушных кораблей когда-нибудь удавалось их обнаружить?

— Нет.

— Разве хоть в одной из лекций упоминалось о них?

— Нет.

— Откуда же у тебя такая уверенность?

— Потому что я видел! — выкрикнул Куно.

— Что видел?

— Я видел ее, я разглядел ее в полутьме, она пришла мне на помощь, когда я закричал, и вокруг нее тоже обвились черви, только ей повезло больше, чем мне, — они сразу задушили её.

Он сошел с ума, это было ясно. Вашти покинула его и потом, захлестнутая потоком событий, ни разу больше не увидела его лица.

Часть III

ЛИШЕННЫЕ КРОВА

Со времени дерзкой вылазки Куно прошло несколько лет, и эти годы ознаменовались двумя важными событиями в истории Машины. События эти, на первый взгляд революционные, были лишь логическим завершением уже давно наметившихся тенденций, и в обоих случаях оказалось, что общественное сознание уже достаточно созрело для них.

Первым важным событием было упразднение респираторов.

Передовые умы, Вашти в том числе, давно уже считали посещение поверхности земли неразумным. В воздушных кораблях еще был, вероятно, какой-то смысл, но стоило ли из одного только любопытства подниматься на поверхность, чтобы с черепашьей скоростью проехать милю-другую в наземном мотокаре? Этот вульгарный и, пожалуй, даже не совсем приличный обычай не давал никакой пищи уму и не имел ничего общего с традициями, представляющими действительную ценность. Поэтому респираторы были упразднены, а вместе с ними, разумеется, и наземные мотокары. Впрочем, за исключением несколь-

ких лекторов, которые жаловались, что их лишили доступа к предмету их лекций, все отнеслись к новой реформе с полнейшим равнодушием. Ведь, в конце концов, если кому-нибудь и захотелось бы узнать, что представляет собой Земля, ему достаточно было прослушать несколько граммофонных пластинок или просмотреть синемавизионную ленту. Да и лекторы легко примирились со своим положением, как только убедились, что лекция о море не утрачивает своей эффективности от того, что она скомпилирована из других, уже ранее читавшихся лекций на ту же тему. «Берегитесь оригинальных идей! — заявил один из самых передовых и ученых лекторов. — Оригинальных идей в буквальном смысле слова вообще не существует. Они являются лишь выражением таких чувств, как страх и любовь, то есть проистекают из чисто физических ощущений, а разве можно построить философскую концепцию на столь примитивной и грубой основе? Пользуйтесь заимствованными идеями, идеями из вторых, а еще лучше из десятых рук, ибо в этом случае они будут очищены от таких нежелательных наслоений, как непосредственное восприятие. Не стремитесь узнать что-либо о самом предмете моей лекции, в данном случае о Французской революции. Постарайтесь лучше понять, что я думаю о том, что думал Энихармон о том, что думал Урсин * о том, что думал Гуч о том, что думал Хо Юнг о том, что думал Ши Босин о том, что думал Лафкадио Хёрн * о том, что думал Карлейль * о том, что говорил Мирабо * о Французской революции. Благодаря последовательным усилиям этих великих умов из крови, пролитой на улицах Парижа, и осколков разбитых окон Версаля выкристаллизуется идея, которой вы сможете с пользой для себя руководствоваться в повседневной жизни. Нужно только, чтобы промежуточные звенья были достаточно многочисленны и разнообразны, потому что в исторической науке один авторитет всегда уравновешивает недостатки другого. Так, Урсин нейтрализует скептицизм Хо Юнга и Энихармона, а я умеряю излишнюю страстность Гуча. Вы, мои слушатели, можете составить себе более обоснованное суждение о Французской революции, чем я. А ваши потомки получат преимущество и перед вами, потому что им будет известно, что думали вы о том, что думал я, и, таким образом, к общей цепи присоединится еще одно звено. А со временем, — голос лектора зазвучал громче, — появится поколение, которое сумеет

окончательно отрешиться от фактов, от собственных впечатлений, поколение, не имеющее своего лица, поколение, божественно свободное от бремени индивидуальных примет, и людям этого поколения французская революция уже будет казаться не такой, какой она была на самом деле, и не такой, какой им хотелось бы ее видеть, они будут воспринимать ее такой, какой она была бы, если бы происходила в век Машины».

Эта лекция была встречена громом аплодисментов, выражавшим общее настроение — безотчетное желание отвернуться от фактов земной жизни — и чувство облегчения от того, что респираторы наконец упразднены. Некоторые предлагали упразднить даже воздушные корабли. Это не было сделано только потому, что воздушные корабли входили в сложную систему Машины. Но ими пользовались год от года все реже, и люди мыслящие уже почти не упоминали о них.

Вторым знаменательным событием было восстановление религии.

И это событие тоже получило выражение в не менее знаменательной лекции. Благоговейный тон заключительной части лекции не оставлял никаких сомнений, и, надо сказать, это нашло живой отклик в сердцах слушателей. Те, кто давно уже втайне обожествлял Машину, теперь заговорили. Они поведали миру о том, какое неизъяснимое чувство покоя нисходит на них, когда они прикасаются к Книге, какое наслаждение они испытывают, повторяя, казалось бы, ничем не примечательные цифры из этого великого труда, с каким восторгом они нажимают на любую, самую незначительную кнопку или дергают шнур электрического звонка.

«Машина, — восклицали они, — кормит и одевает нас, она дает нам кров; мы говорим друг с другом через посредство Машины, мы видим друг друга при помощи Машины, ей мы обязаны всей нашей жизнью! Машина стимулирует мысли и искореняет предрассудки! Машина всемогуща и будет существовать вечно, да здравствует Машина!»

Вскоре это славословие было напечатано на первой странице Книги, а в последующих изданиях оно разрослось в сложное построение из благодарственных молитв и хвалебных гимнов. Слово «религия» избегали произносить, и теоретически Машина по-прежнему считалась творением и орудием человека. Однако на практике все, за исклю-

чением отдельных ретроградов, обожествляли Машину и поклонялись ей. Правда, поклонение это, как правило, не относилось к Машине в целом. Одни верующие благоговели перед оптическими дисками, на которых они видели изображение своих друзей, другие — перед ремонтным аппаратом, который нечестивец Куно осмелился сравнить с клубком червей; третьи — перед подъемными лифтами; четвертые — перед Книгой. И каждый молился обожаемому предмету и просил его о заступничестве перед Машиной. Гонение на инакомыслящих тоже не заставило себя ждать. Оно не достигло своего апогея по причинам, о которых будет сказано ниже. Но оно успело дать ростки, и все, кто не признавал догматов, объединяемых в понятие «генеральная механичность», подвергались опасности лишения крова, что, как мы уже знаем, означало смерть.

Приписывать происшедшие перемены исключительно воле Генерального совета было бы неверно — нельзя так узко смотреть на историю развития общества. Правда, реформы провозглашал Генеральный совет, но он нес за них ответственность не бóльшую, чем короли эпохи империализма за империалистические войны. Более того, совет сам действовал под давлением каких-то неодолимых и неведомых сил, которые после очередного поворота в ходе событий сменялись новыми, не менее могущественными. Такое положение вещей весьма удобно называть прогрессом. Никто не осмелился бы признать, что Машина вышла из-под контроля людей. С каждым годом в обслуживание Машины вкладывалось все больше умения и все меньше разума. Чем лучше человек знал собственные обязанности, тем меньше он понимал, что делает его сосед, и во всем мире не оставалось никого, кто разбирался бы в устройстве чудовищного механизма в целом. Великие умы уже ушли из жизни. Они оставили, правда, подробные инструкции, и их преемники освоили эти инструкции — каждый какую-то одну определенную часть. Человечество в своем стремлении к комфорту зашло в тупик. Оно слишком долго злоупотребляло теми возможностями, которые предоставляла ему природа. В полном благодушии и довольстве общество клонилось к упадку, и прогресс теперь означал только совершенствование Машины.

Что касается Вашти, ее жизнь протекала по-прежнему спокойно вплоть до самого дня катастрофы. Она выключала свет и ложилась спать; просыпалась и снова

включала свет. Она читала лекции и в свою очередь слушала лекции других. Она обменивалась мыслями со своими многочисленными друзьями и была уверена, что духовно растет. Время от времени кого-нибудь из ее друзей подвергали эвтаназии, и он уходил из-под привычного крова в пустоту, которую человеческий ум не в силах объять. Вашти относилась к этому довольно равнодушно. Иногда, после неудачной лекции, она и сама просила, чтобы ей было разрешено умереть. Но смертность регулировалась в строгом соответствии с рождаемостью, и ей пока отказывали в просьбе.

Неприятности начались с мелочей, задолго до того, как она поняла, что происходит.

Однажды Вашти, к своему удивлению, услышала голос сына. Она давно уже не поддерживала связи с ним, потому что у них не было ничего общего, и только случайно узнала, что он жив и переведен из северного полушария, где он вел себя так недостойно, в южное, куда-то неподалеку от нее.

«Уж не хочет ли он, чтобы я приехала к нему? — подумала Вашти. — Ни за что, теперь уж ни за что. У меня и времени нет».

Но выяснилось, что это глупость иного рода.

Куно не захотел показать ей свое лицо и в полной темноте провозгласил:

— Машина останавливается.

— Что ты говоришь? — переспросила она.

— Машина останавливается, я в этом уверен, я знаю симптомы.

Она расхохоталась. Он услышал ее смех и рассердился, и на этом закончился их разговор.

— Вы только подумайте, какая нелепость, — пожаловалась Вашти своей приятельнице, — человек, который когда-то был моим сыном, утверждает, будто Машина останавливается. Я сочла бы это кощунством, если бы не знала, что он просто безумец.

— Машина останавливается? — удивилась приятельница. — Что это значит? Мне это ничего не говорит.

— Мне тоже.

— Ведь он не имеет в виду помехи в последней музыкальной передаче?

— Конечно, нет. Поговорим лучше о музыке.

— Вы жаловались на неполадки в передаче?

— Да. Мне сказали, что, очевидно, требуется какая-то

починка и чтобы я обратилась в Комитет ремонтного аппарата. Я рассказала комитету, что передача симфоний брисбенской школы прерывалась какими-то странными звуками, похожими на хриплые вздохи, будто дышит тяжелобольной. Они меня заверили, что в ближайшее время это будет исправлено.

Подавляя смутное беспокойство, Вашти возобновила свою привычную жизнь. Однако непрекращающиеся помехи раздражали ее. К тому же слова Куно не шли у нее из головы. Если бы он знал о неполадках в передачах — а он не мог этого знать, потому что не выносил музыки, — он непременно повторил бы зловеще: «Машина останавливается». Конечно, он выпалил эти слова просто так, наугад, но неприятное совпадение мучило ее, и она еще раз, уже не скрывая недовольства, обратилась в Комитет ремонтного аппарата.

Ей снова ответили, что неполадки будут в ближайшее время устранены.

— В ближайшее время? Немедленно! — вспылила она. — Почему я должна слушать неполноценную музыку? Все всегда чинится без отлагательств. Если вы немедленно не примете мер, я буду жаловаться Генеральному совету.

— Генеральный совет не принимает жалоб от частных лиц, — ответили ей.

— Через кого же я должна заявить о своей претензии?

— Через нас.

— В таком случае я заявляю вам о ней.

— Ваша жалоба будет передана в установленном порядке.

— А другие не жалуются?

Этот вопрос был немеханичен, и комитет отказался отвечать на него.

— Ужасно! — возмущенно сказала Вашти другой своей приятельнице. — Я чувствую себя просто несчастной. Мне никогда не удается спокойно послушать музыку. С каждым разом она звучит все хуже.

— У меня тоже неприятности, — ответила та, — время от времени я слышу какой-то скрежет, и это мешает мне думать.

— Что за скрежет?

— Никак не пойму, откуда он исходит: не то он у меня в голове, не то где-то в обшивке стены.

— Во всяком случае, об этом следует заявить.

— Я так и сделала. Моя жалоба будет в установленном порядке передана Генеральному совету.

Но прошло некоторое время, и люди перестали замечать дефекты в работе Машины. Неисправности не были устранены, но человеческие органы чувств, привыкшие приспосабливаться ко всем изменениям в Машине, легко адаптировались и на этот раз. Хриплые вздохи в симфониях брисбенской школы уже не раздражали Вашти: она воспринимала их как часть мелодии. И металлический скрежет в голове ее приятельницы или в обшивке стены не мешал больше этой ученой даме думать. Так же обстояло дело и с привкусом гнили в искусственных фруктах, и с неприятным запахом, который с некоторых пор исходил от воды, наполнявшей ванну, и с хромающими рифмами в поэтических опусах стихотворческой машины. Сначала это вызывало всеобщее недовольство, потом становилось привычным и больше не привлекало внимания. Дела шли все хуже и хуже, но никто не протестовал.

Однако, когда отказал спальный механизм, положение изменилось. Это уже была серьезная неприятность. В один и тот же день во всем мире — на Суматре, в Уэссексе, в многочисленных городах Курляндии и Бразилии — усталые люди, готовясь ко сну и нажав на соответствующие кнопки, убедились, что кроватей нет. Как ни странно, но именно этот день можно считать началом краха цивилизации. В комитет, ответственный за спальную аппаратуру, посыпались жалобы; они направлялись, согласно существующему порядку, в Комитет ремонтного аппарата, а Комитет ремонтного аппарата заверял всех, что их заявления будут переданы Генеральному совету. Однако недовольство все возрастало, потому что человеческий организм еще не привык обходиться без сна.

— Кто-то пытается разладить Машину, — говорили одни.

— Кто-то замышляет захватить власть, хочет вернуть единодержавие, — утверждали другие.

— Виновные должны быть наказаны лишением крова.

— Будьте бдительны! Спасайте Машину! Спасайте Машину!

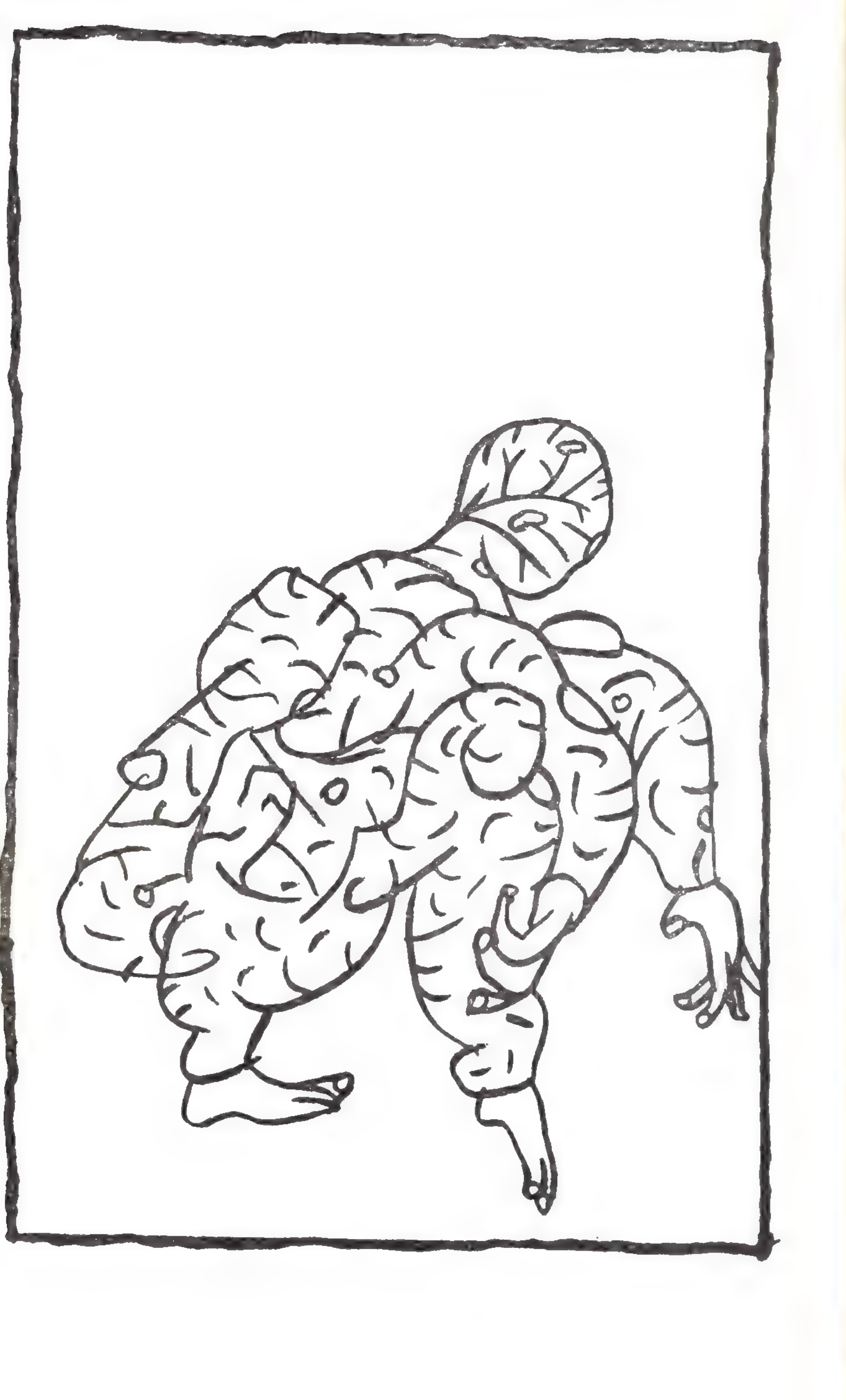
— Защитим Машину! Смерть преступникам!

Но тут на сцену выступил Комитет ремонтного аппарата и очень тактично и осторожно попытался рассеять панику. Комитет признал, что ремонтный аппарат сам нуждается в ремонте.

Такая откровенность произвела должное впечатление. «Теперь, — заявил прославленный лектор, тот самый, что занимался изучением Французской революции и каждый новый провал умел изобразить как блистательную победу, — теперь мы, разумеется, не станем надоедать комитету своими претензиями. Комитет ремонтного аппарата уже так много сделал для нас, что сейчас нам остается только выразить ему свое сочувствие и терпеливо ждать, пока ремонтный аппарат будет налажен. Придет время, и аппарат снова заработает, как прежде. А до тех пор нам придется отказаться от кроватей, от питательных таблеток, словом, несколько ограничить свои потребности. Я убежден, что именно этого ждет от нас Машина».

Слушатели, разбросанные на тысячи миль друг от друга, встретили лекцию единодушными аплодисментами. Машина все еще объединяла их. Глубоко в земле, под морями и океанами, под массивами гор, пролегали провода, которые давали людям возможность видеть и слышать, — огромные глаза и уши, унаследованные ими от прошлых поколений, и гул этих проводов обволакивал их мысли, придавая им единообразие и покорность. Только те, кто был стар и немощен, продолжали еще проявлять беспокойство, потому что прошел слух, будто механизм эвтаназии тоже вышел из строя и людям вновь довелось узнать, что такое боль.

Но вот стало трудно читать — свет, прежде заливавший комнату, потускнел. Иногда Вашти с трудом различала противоположную стену. Воздух был спертым. Крики протеста звучали все громче, и все более тщетны были попытки что-нибудь предпринять, и все настойчивее взывал к своим слушателям лектор. «Мужайтесь! — восклицал он. — Мужайтесь! Помните о главном — Машина работает! А для Машины и свет, и мрак — все едино». И хотя через какое-то время в комнатах стало светлее, прежнего ослепительного сияния уже не удалось добиться — сумерки спустились на мир. То тут, то там раздавались голоса, которые требовали «радикальных мер», «временной диктатуры» или призывали жителей Суматры самолично обследовать работу центральной электростанции, расположенной во Франции. Однако большая часть населения была охвачена страхом, люди растрачивали последние силы в молитвах, преклоняя колени перед Книгой — единственным осязаемым доказательством всемогущества Машины. Волны страха накатывали и отступали, слухи снова будили надежду: ремонтный аппарат уже почти починен; враги



Машины разоблачены; создаются новые «энергетические центры», и Машина будет работать лучше, чем прежде.

Но наступил день, когда вся система коммуникаций совершенно неожиданно вышла из строя — одновременно во всем мире — и мир, как его понимали современники Вашти, перестал существовать.

Вашти в тот день читала лекцию. Сначала ее высказывания то и дело прерывались аплодисментами, потом аудитория замолкла, и даже по окончании не раздалось ни одного хлопка. Вашти, несколько раздосадованная, позвонила приятельнице, лучше других владевшей искусством утешать. Приятельница не отвечала — вероятно, она спала. Однако и другая знакомая тоже не отозвалась; молчали все, кому она пыталась звонить, и тут ей пришли на ум загадочные слова Куно: «Машина останавливается».

Слова эти по-прежнему не имели смысла. Вечность не может остановиться.

В комнате еще было сравнительно светло, и воздух даже несколько улучшился за последние часы. К тому же Книга оставалась на месте, а Книга означала незыблемость бытия.

Но вскоре мужество покинуло Вашти, потому что наступило самое страшное — тишина.

Тишина была до тех пор неведома ей и чуть не убила ее, как убила в одно мгновение тысячи других людей. С самого рождения Вашти привыкла слышать непрерывный равномерный гул. Ее уху этот гул был так же необходим, как легким — искусственный воздух, и, когда гул прекратился, резкая боль иглой вонзилась ей в мозг. Уже не отдавая себе отчета в том, что она делает, Вашти, пошатываясь, шагнула к пульту и нажала на кнопку, открывающую дверь ее комнаты.

Дверь не была подключена к сети, которая питалась иссякающей энергией электроцентрали, находившейся где-то за тысячи миль, во Франции, и потому распахнулась от простого нажатия кнопки. В сердце Вашти вспыхнула надежда — ей показалось, что Машина снова пришла в движение. За дверью открылся полутемный туннель — путь к спасению. Вашти заглянула в него и отпрянула: туннель был забит людьми, она догадалась об опасности одной из последних.

Люди всегда отпугивали ее, а эта толпа показалась ей кошмаром, который можно увидеть только во сне. Мужчины и женщины ползали на четвереньках, кричали,

стонали и задыхались; они хватались друг за друга, барахтались в темноте и падали с платформы на токопроводящий рельс. Одни, распихивая всех вокруг, пытались пробраться к рубильникам, чтобы вызвать поезд, который уже не мог прийти. Другие громко молили об эвтаназии, или требовали, чтобы им дали респиратор, или проклинали Машину. Третьи, подобно Вашти, остановились в дверях, не решаясь ни покинуть свою комнату, ни остаться в ней. А за всем этим гамом стояла огромная тишина, эта тишина была голосом Земли, голосом канувших в вечность поколений.

Нет, одиночество было лучше. Вашти захлопнула дверь, снова села в кресло и стала ждать конца. Мир продолжал рушиться, теперь уже с оглушительным грохотом. Пружины, удерживавшие Медицинский аппарат, очевидно, ослабли, и он косо свисал с потолка. Пол комнаты колебался, так что трудно было усидеть в кресле. Какая-то змеевидная кишка, извиваясь, тянулась к ней. Но вот, как предвестие страшного конца, начал меркнуть свет, и Вашти поняла, что многовековая история цивилизации завершается.

Она в ужасе заметалась по комнате, моля о пощаде, покрывая поцелуями Книгу и лихорадочно нажимая то на одну, то на другую кнопку. Шум за стеной нарастал. Свет становился все слабее, он уже не отражался от металлической поверхности электропульта. Вашти не могла разглядеть в темноте стоявший рядом пюпитр, а вскоре она уже не видела Книгу, хотя держала ее в руках. Вслед за светом исчезал звук, вслед за звуком — воздух, и первозданная пустота возвращалась в глубины земли, где ей так долго не было места. Вашти неистовствовала; словно совершая языческий обряд, она издавала пронзительные вопли, выкрикивала заклинания, без разбору колотила по выключателям и кнопкам израненными в кровь руками.

Ей удалось открыть дверь своей темницы и вырваться на свободу. Я хочу сказать, что душа ее вырвалась на свободу или по крайней мере так представляется мне сейчас, когда мое повествование подходит к концу. Случайно она нажала на кнопку, распахивающую дверь, и, ощутив прикосновение теплого, душного воздуха на своей коже, услышав громкий прерывистый шепот, поняла, что перед ней снова открылся туннель, в котором теснились и толкались люди. Впрочем, теперь они уже не толкались, лишь время от времени из мрака доносились приглушенные голоса и жалобные стоны. Люди умирали сотнями в темном туннеле.

Она разрыдалась.

Кто-то зарыдал в ответ.

Они оплакивали не собственную жизнь, эти двое, они оплакивали гибель человечества. Они не в силах были смириться с мыслью, что это конец.

Прежде чем воцарилась безраздельная тишина, сердца их раскрылись и они познали, что было самым главным на земле. Человек, венец всего живого, благороднейшее из созданий, человек, некогда сотворивший Бога по образу и подобию своему и головой достававший до звезд, человек, рожденный нагим и прекрасным, теперь умирал, запутавшись в одеждах, которые он сам для себя соткал. Век за веком он трудился не покладая рук, и вот какая награда ожидала его. Сначала одежда эта казалась божественно красивой, потому что была соткана из тончайших нитей самоотречения и расшита яркими цветами прогресса. Да она и действительно была хороша до тех пор, пока оставалась всего лишь одеждой, которую человек мог сбросить в любую минуту, по собственной воле, сознавая, что истинную его сущность составляет не она, а его душа и его не менее прекрасное тело. Прегрешения против собственной плоти — вот что они оплакивали сейчас; зло, которое веками причиняли люди собственным мускулам и нервам, собственным органам чувств — единственным источникам познания: зло, прикрывавшееся лицемерными речами об эволюции до тех пор, пока человеческое тело не превратилось в рыхлую бесформенную массу, вместилище жалких и бесцветных мыслей — последних всплесков бессмертного духа, когда-то устремлявшегося ввысь.

— Где ты? — сквозь рыдания вымолвила Вашти.

И голос Куно ответил из темноты:

— Я здесь.

— Осталась ли хоть какая-нибудь надежда?

— Для нас — никакой.

— Где ты?

Она подползла к нему, карабкаясь через трупы, и его кровь оросила ей руки.

— Подвинься ко мне, скорее, — с трудом выговорил он. — Я умираю. Но мы можем дотронуться друг до друга, мы говорим друг с другом без Машины.

Он поцеловал ее.

— Мы вновь обрели самих себя. Мы умираем, но мы победили смерть, как Альфред Великий, изгнавший датчан

из Уэссекса. Мы познали то, что ведомо людям наверху, тем, кто живет в перламутровом облаке тумана.

— Но разве это правда, Куно? Разве есть еще люди на Земле? Разве это все — этот туннель, этот удушающий мрак — не конец?

И он сказал:

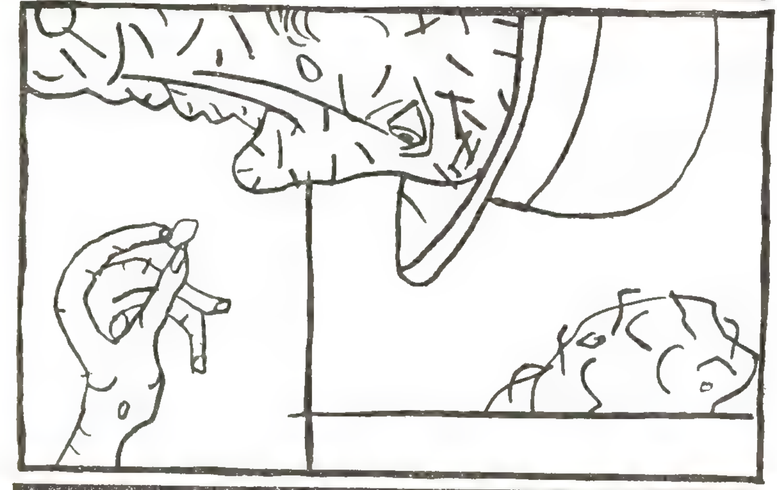
— Я их видел, я говорил с ними, я их полюбил. Они скрываются в тумане или в зарослях папоротника, выжидая, когда погибнет наш подземный мир. Сегодня они лишены крова, завтра...

— Завтра какой-нибудь дурак снова запустит Машину.

— Нет, — возразил Куно, — это уже не повторится. Никогда. Человечество многому научилось.

В эту минуту весь город, напоминавший пчелиные соты, разлетелся на куски. Воздушный корабль спустился в полуразрушенную воронку и рухнул вниз, сокрушая ярус за ярусом своими стальными крыльями. Перед мысленным взором Вашти и Куно прошли многие поколения, жившие до них, но перед смертью, в последнее мгновение они еще увидели кусочек неба, голубого и безоблачного.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС



СПЯЩИЙ ПРОБУЖДАЕТСЯ

Перевод М. Шишмаревой и Э. Пименовой

Глава I

БЕССОННИЦА

Однажды, в жаркий полдень, во время отлива мистер Избистер, молодой художник, проживавший в Боскасле, направлялся из этого местечка к живописной бухточке Пентардгена с тем, чтобы осмотреть тамошние пещеры. Он шел пешком вдоль берега моря и, спускаясь по крутой тропинке к Пентаргену, неожиданно наткнулся на какого-то человека, который сидел под навесом выступавшей в море скалы. Вся поза этого человека говорила о глубоком отчаянии. Он сидел согнувшись; его руки бессильно свесились с колен, красные воспаленные глаза тупо глядели в пространство, и все лицо было мокро от слез.

Он оглянулся, услышав шаги художника. Оба смутились, особенно Избистер. Он невольно остановился и, не зная, как выйти из неловкого положения, с глубокомысленным видом промямлил что-то такое о погоде, «жаркой не по сезону».

— Да, жарко, — коротко отозвался незнакомец. Он помолчал с секунду и добавил однозвучным, вялым тоном: — Я не могу спать.

Избистер резко остановился.

— В самом деле?

Вот все, что он нашелся сказать, но во всей его манере сквозило искреннее желание помочь, насколько это в его власти.

— Это может показаться невероятным, — продолжал незнакомец, поднимая на него усталые глаза и подкрепляя свои слова вялым движением руки, — трудно поверить, но вот уже шесть ночей, как я не спал, совсем не спал, ни минуты.

— Советовались вы с докторами?

— Да. Ни одного путного совета. Микстуры, пилюли. А моя нервная система... Все эти лекарства, может быть,

и хороши для большинства людей... Как бы это объяснить?.. Я не решаюсь принять достаточно сильную дозу.

— Это должно помочь, — заметил Избистер.

Он беспомощно стоял на узкой тропинке, недоумевая, что же делать дальше. «Бедняге хочется поговорить — это ясно», — подумал он и, движимый естественным при данных обстоятельствах побуждением, поспешил поддержать разговор.

— Сам я бессонницей никогда не страдал, — заговорил он беспечным тоном светской болтовни, — но я знаю, что для таких случаев существуют средства...

Незнакомец сделал жест отрицания.

— Я боюсь делать эксперименты.

Он говорил устало, через силу. Оба опять помолчали.

— А моцион? Пробовали вы моцион? — нерешительно спросил Избистер, переводя взгляд с измученного лица своего собеседника на его костюм туриста.

— Пробовал, как раз в эти дни. И, кажется, глупо сделал. Я прошел пешком весь берег от самого Нью-Кея. Я иду уже несколько дней. К умственному утомлению прибавилась физическая усталость — вот и все. Да ведь и началась-то со мной эта история от переутомления и... от забот. Я, видите ли...

Он оборвал речь, точно у него не хватало сил продолжать, потом потер лоб своей тонкой, костлявой рукой и начал снова так, как будто говорил сам с собой:

— Я — одинокий волк, живу уединенно, всем чужой, не принимаю прямого участия в жизни. Нет у меня ни жены, ни детей... Кто это сказал про бездетных людей, что это мертвые сучья на древе жизни?.. У меня нет жены, нет детей, нет обязанностей. Даже желаний нет в моем сердце. Я долго не находил себе задачи, цели в жизни. Но наконец нашел. Я решил сделать одно дело. Я сказал себе: я хочу это сделать и сделаю. И для того, чтоб сделать это, чтоб побороть инертность своего вялого тела, я прибегал к лекарствам. Боже ты мой! Сколько я их проглотил! Не знаю, все ли чувствуют то, что чувствовал я тогда. Сознаете ли вы, например, все неудобство иметь тело, ощущаете ли всю тяжесть его, чувствуете ли с отчаянием, как много времени оно отнимает у вашей души — времени и жизни?.. Жизнь! Да разве мы живем? Мы живем лишь урывками. Нам надо есть. Мы едим и получаем тупое пищеварительное удовлетворение или, наоборот, раздражение. Нам нужны движение, воздух, иначе наше мышле-

ние замедляется, ум тупеет, мысль отвлекается внешними и внутренними впечатлениями и забредает в тупики. А там наступает дремота и сон. Люди и живут-то, кажется, только затем, чтобы спать. Даже в лучшем случае человеку принадлежит такая ничтожная часть его дня. А тут еще приходят на подмогу эти наши друзья-предатели — алкалоиды, которые заглушают естественное чувство усталости и убивают покой. Черный кофе, кокаин...

— Да, да, понимаю, — вставил Избистер.

— Но я окончил свое дело, — сказал раздражительно бедный больной. — Я добился своего.

— Ценою бессонницы?

— Да.

С минуту оба молчали.

— Вы себе представить не можете, до чего я жажду покоя, алчу и жажду, — снова заговорил незнакомец. — Все эти шесть долгих суток, с той минуты, как я кончил работу, в моей несчастной голове кипит водоворот. Мысли вихрем кружатся на одном месте, быстро, непрерывно... несутся бешеным потоком неведомо куда... — Он помолчал и кончил: — В бездну.

— Вам надо заснуть, — сказал Избистер с таким решительным видом, точно открыл радикальное средство. — Вам положительно необходимо заснуть.

— Мысли мои вполне ясны — яснее, чем когда-либо. И все-таки я знаю, чувствую, что меня захватил водоворот. Видали вы когда-нибудь, как в водоворот затягивает щепку? Разве она может бороться? Вот она кружится, кружится... все глубже, все ниже... прочь от света дня, прочь из счастливого мира живых... все дальше в пучину, на дно.

— Но позвольте... — возразил было Избистер.

Незнакомец вытянул руку решительным жестом.

— Я знаю, что я сделаю: я убью себя. — Глаза его сверкали безумием, голос звенел. — Я добьюсь покоя, если не где-нибудь еще, то там, у подножия этих скал, где зияет черная бездна, где волны так зелены, где то вздымается, то падает белая пена прибоя, где дрожит легкой рябью вон та узкая полоска воды. Там я, во всяком случае, найду... сон.

— Ну, уж это совсем неразумно, — проговорил Избистер, пораженный истерическим волнением незнакомца. — Наркотики все-таки лучше.

— Там я найду сон, — повторил тот не слушая.

Избистер смотрел на него.

— Найдете сон, вы говорите? Ну, знаете, это еще вопрос. В Лалворт-Коувс есть такая же скала, во всяком случае, не ниже этой. Так вот с нее упала девушка — с самой верхушки, и что ж бы вы думали? Цела и невредима. Живет и по сей день.

— А эти скалы внизу? Разве можно упасть на них и не разбиться?

— Разбиться-то разобьетесь, конечно, и будете лежать всю ночь с переломанными костями, дрогнуть под брызгами холодной воды, мучиться... Что, хорошо?

Их взгляды встретились.

— Мне жаль разочаровывать вас, — прибавил Избистер беспечно. «С дьявольской находчивостью», — подумал он про себя. — Но бросаться с этой скалы, да и со всякой вообще... Такой род самоубийства — я говорю с точки зрения художника (он засмеялся), — право, это уже чересчур по-любительски.

— Но что же мне делать? — прокричал почти с гневом незнакомец. — Когда ночь за ночью не спишь ни секунды... Ведь от этого с ума можно сойти!

— Скажите: всю эту длинную дорогу по берегу вы проделали один?

— Да.

— Неостроумно. Простите, что я так говорю. Один! Еще бы, как тут не свихнуться? Вы правильно тогда сказали: физическая усталость — плохое лекарство против переутомления мозга. И кто вам посоветовал это средство? Ходьба — хорошо говорить! Жара, солнцепек, одиночество — с утра до ночи, день за днем... А вечером вы, наверно, ложились в постель и силились заснуть, а?

Избистер замолчал, устремив на страдальца лукаво-проницательный взгляд.

— Посмотрите на эти скалы! — крикнул вдруг тот, не отвечая на вопрос. Он взволнованно и сильно жестикулировал руками. — Посмотрите на это море, которое вечно сверкает и волнуется, как сейчас! Видите, как плещет и рассыпается белая пена вон под тем высоким утесом и снова исчезает в темной глубине. А этот синий купол со своим ослепительным солнцем, которое нещадно льет на землю горячие лучи? Это ваш мир. Вы его любите, вы чувствуете себя в нем как рыба в воде. Вас он согревает, живит, дает вам наслаждение. А для меня...

Он повернулся к своему собеседнику и показал ему свое истощенное, бледное лицо, тусклые, налитые кровью

глаза и бескровные губы. Он говорил почти шепотом.

— Для меня все это, весь этот мир — лишь внешняя оболочка моего страдания... моего горя.

Избистер обвел глазами дикую красоту сверкавших в высоте, залитых солнцем вершин, потом взгляд его снова упал на поднятое к нему человеческое лицо, на котором было написано такое отчаяние, и он не нашелся, что сказать. Но вдруг он вскинул голову нетерпеливым движением.

— Вам надо выспаться — вот и все. Проспите как следует ночь, и все покажется вам в другом свете, вот увидите.

Теперь он был уже убежден в предопределенности этой встречи. Каких-нибудь полчаса тому назад он не знал, куда деваться от скуки; и вот ему представлялось занятие, которое могло дать вполне законное удовлетворение всякому порядочному человеку. Одна мысль о предстоящей задаче поднимала его в собственных глазах, и он жадно ухватился за нее. Он решил, что этому несчастному прежде всего нужно общество, а потому, недолго думая, опустился на поросший травой выступ холма рядом с неподвижно сидевшей фигурой и принялся болтать о чем попало.

Но незнакомец, по-видимому, не слушал его: он снова погрузился в апатию. Угрюмым, неподвижным взглядом смотрел он на море, отвечая только на прямые вопросы, да и то не на все, но ничем, однако, не протестуя против непрошеного участия своего новоявленного друга.

Бедняга был как будто даже благодарен ему — по-своему, безмолвно и апатично, — и, когда Избистер, чувствуя, что его разговорные ресурсы, не встречая поддержки, скоро иссякнут, предложил снова подняться на кручу и вместе вернуться в Боскасль, тот спокойно согласился. Не прошли они и половины подъема, как незнакомец принялся говорить сам с собой, потом вдруг повернул помертвелое лицо к своему спутнику.

— Что это? Что это?.. Вертится, вертится — быстро-быстро, как веретено. Все вертится... и без конца.

Он показал рукою, как все вертится.

— Ничего, милейший, все вздор, — проговорил Избистер тоном старого друга. — Вы только не волнуйтесь, положитесь на меня.

Тот опустил руку и пошел дальше. И все время, пока они огибали гребень горы по узкой тропинке, где можно было идти только гуськом, и потом, когда, миновав Пинолли,

они подходили к плоскогорью, измученный человек размахивал руками, бессвязно бормоча все о том же — как у него вертится в мозгу. На мыске, перед выходом на плоскогорье, в том месте, откуда открывается вид на черную яму Блэкапита, они присели отдохнуть. Еще раньше, как только тропинка настолько расширилась, что можно было идти рядом, Избистер снова начал болтать. Только он стал распространяться о том, как трудно в непогоду войти в Боскасльскую гавань, как вдруг его спутник, перебив его на полуслове, опять заговорил:

— Положительно что-то странное творится с моей головой. — Он усиленно жестикулировал, должно быть, оттого, что ему не хватало достаточно выразительных слов. — Раньше этого не было. Что-то давит мне мозг, точно гнет какой-то навалился... Нет, это не от бессонницы. Это не дремотное состояние. Хорошо, если бы так! Это как тень, как густая завеса, которая вдруг упадет и закроет от тебя главное, самое нужное, над чем ты хочешь подумать. И мысль твоя продолжает кружиться в темноте. О, какая сумятица мыслей, какой ужасный хаос! Кругом, кругом, все в одну сторону... все вертится, вертится и жужжит... Я не могу этого выразить... не могу сосредоточиться настолько, чтобы ясно выразить это в словах.

Он замолчал, обессилев.

— Успокойтесь, голубчик, — сказал Избистер. — Я вас, кажется, понимаю. Да, впрочем, и не стоит объяснять: право, это не так важно.

Незнакомец с усилием поднес руки к лицу и долго протирал глаза. Все это время Избистер, не умолкая, болтал. Вдруг его осенила новая мысль.

— Знаете что, зайдемте ко мне, — предложил он. — Выкурим по трубочке. Я покажу вам мои наброски Блэкапита. Хотите?

Больной послушно встал и последовал за ним по начинавшемуся спуску. Он шел очень тихо, нетвердыми шагами. Несколько раз Избистер слышал, как он спотыкался.

— Так, значит, решено: вы зайдете ко мне. Выкурите трубку или сигару. А заодно, может быть, захотите испробовать благодетельное действие алкоголя. Вы пьете вино?

Они стояли у садовой калитки перед домом, где жил Избистер.

Незнакомец не отвечал и не двигался с места. Он, кажется, уже перестал сознавать, где он и что делает.

— Я не пью, — медленно выговорил он наконец, направляясь тем не менее к дому по садовой дорожке. Немного погодя он рассеянно повторил: — Нет, я не пью... А оно все вертится, все вертится...

В дверях он споткнулся и вошел в дом, как человек, который ничего не видит перед собой.

Он тяжело опустился, почти упал в кресло, нагнулся вперед, подпер голову руками и застыл в этой позе. Через несколько секунд послышались какие-то слабые звуки вроде хрипения.

Избистер двигался по комнате с нервной торопливостью неопытного хозяина, роняя изредка отрывочные фразы, не требовавшие ответа. Он перешел комнату, достал свою папку с этюдами и положил ее на стол. Потом взглянул на часы, стоявшие на камине.

— Хотите, может быть, поужинать со мной? — проговорил он, держа в руках незакуренную сигару. В эту минуту он ломал голову над вопросом, нельзя ли как-нибудь незаметно подсунуть гостю хорошую дозу хлорала. — У меня ничего нет, кроме холодной баранины, — продолжал он. — Но баранина первый сорт — из Уэльса. Ах, да, есть еще, кажется, торт.

Выждав немного и не получив ответа, он повторил эти слова. Но человек, сидевший в кресле, продолжал молчать. Избистер тоже замолчал и смотрел на него с зажженной спичкой в руке.

Тишина не прерывалась. Спичка догорела и погасла, незакуренная сигара была отложена в сторону. Гость был до странности неподвижен.

Избистер снова взялся за свою папку, раскрыл ее и задумался, собираясь что-то сказать.

— Может быть... — нерешительно начал было он пониженным голосом и замолчал. Взглянул на дверь, на неподвижную фигуру, сидевшую перед ним. Потом на цыпочках, стараясь ступать как можно осторожнее и беспрестанно оглядываясь на своего странного гостя, вышел из комнаты и бесшумно притворил за собой дверь.

Наружная дверь была не заперта. Он вышел в сад и встал у средней клумбы. Отсюда через открытое окно его комнаты ему была видна склоненная фигура в кресле. Незнакомец не изменил позы: он, видимо, не шелохнулся с тех пор, как его оставили одного.

Какие-то ребятишки, бежавшие гурьбой по дороге, остановились и с любопытством глазели на художника.

Знакомый лодочник, проходя, поздоровался с ним. Ему становилось неловко торчать так, без всякого дела: он чувствовал, что его положение наблюдателя должно казаться публике странным и необъяснимым. Может быть, оно выйдет естественнее, если закурить? Он достал из кармана кисет с табаком и стал не спеша набивать трубку.

— Что же это будет, однако, хотел бы я знать? — пробормотал он уже с некоторым оттенком досады. — Ну, да уж пусть себе спит, не будить же его. — Он храбро чиркнул спичкой и закурил.

Вдруг он услышал за собой шаги своей хозяйки. Она шла с зажженной лампой из кухни в его комнату. Он обернулся и замахал на нее трубкой, шепча ей, чтоб она не входила к нему. Не без труда удалось ему объяснить ей положение дел: ведь она даже не знала, что у него сидит гость. Она отправилась обратно со своей лампой, видимо заинтригованная такой таинственностью, а он снова занял свой наблюдательный пост у клумбы, взволнованный и не в духе.

На дворе совсем стемнело. В воздухе замелькали летучие мыши. Он давно уже докурил свою трубку, а человек в кресле все не шевелился. Хорошо бы взглянуть на него поближе... Но всякие сложные соображения удерживали его. Наконец любопытство превозмогло. Тихонько прокрался он в свою комнату, где теперь было совершенно темно, и остановился на пороге. Незнакомец сидел в прежней позе, выделяясь темным пятном на светлом квадрате окна. За окном стояла полная тишина; только со стороны гавани слабо доносилось пение: должно быть, матросы пели на одном из стоявших там мелких судов. Высокие стебли дельфиниума на клумбе слабо вырисовывались на буром фоне ближнего холма.

Вдруг Избистер вздрогнул: у него мелькнула одна мысль. Он нагнулся над столом и прислушался. Его подозрение окрепло. Мало-помалу оно превратилось в уверенность. Ему стало страшно... Если человек этот спит, так отчего же не слышно его дыхания?..

Бесшумно, осторожно, поминутно прислушиваясь, Избистер обошел вокруг стола. Вот он положил руку на спинку кресла и нагнулся над спящим, почти касаясь головой его головы. Потом нагнулся еще ниже, заглянул ему в лицо и откинулся назад с криком испуга: вместо глаз на него глядели белые стекляшки. «Глаза открыты, а зрачки закатились под лоб, — сообразил он, всмотревшись при-

стальнее. — Что же такое, наконец, с этим человеком?»

Его испуг превратился в ужас. Он взял незнакомца за плечо и принялся трясти его.

— Вы спите? — спросил он дрогнувшим голосом и, не получив ответа, повторил тоном ниже: — Вы спите?

Человек этот умер — теперь он был в этом убежден. Он вдруг засуетился: быстрыми шагами перешел комнату, наткнувшись при этом на стол, и сильно позвонил.

— Пожалуйста, свету! — крикнул он своей хозяйке в коридор. — С моим знакомым что-то случилось.

Потом он вернулся к своему неподвижному гостю и снова взял его за плечо. Он тряс его, кричал ему в ухо — напрасно. Комната вдруг осветилась желтым светом: хозяйка внесла лампу. На ее лице было написано изумление. Он повернулся к ней бледный, мигая от внезапного света.

— Я побегу за доктором, — сказал он. — С ним, должно быть, припадок, если только это... не смерть. Есть у вас доктор в деревне? Где он живет?

Глава II

ТРАНС

Состояние каталептического столбняка, в которое впал незнакомец, продолжалось беспримерно долгое время. Со временем его окоченелые члены приобрели прежнюю гибкость. Тогда стало возможным закрыть ему глаза, и он производил впечатление человека, спящего спокойным сном.

Из квартиры художника его перенесли в больницу в Боскасле, а из больницы через несколько недель отправили в Лондон. Но все усилия врачей вывести его из этого состояния оставались бесплодными. Спустя некоторое время по причинам, о которых речь впереди, было решено оставить эти попытки. Долго, очень долго пролежал он таким образом, инертный, недвижимый — не мертвый, не живой, остановившись, так сказать, на полдороге между жизнью и небытием. Спячка его была абсолютною тьмою, в которую не проникал ни один луч мысли или сознания; это был сон без сновидений, длительный, глубокий покой. Его душевная буря, все разрастаясь, достигла своего предела и сразу сменилась полной тишиной. Где был человек

в это время? Где была его душа? Где витает вообще душа человека, когда он теряет сознание?

— Мне кажется, это было вчера, так ясно я это помню, — сказал Избистер. — Право, я не мог бы помнить яснее, если бы все это случилось вчера.

Это был тот самый молодой художник, с которым мы познакомились в предыдущей главе, но теперь он уже не был молодым. Его когда-то густые темные волосы, которые были у него всегда немного длиннее, чем это принято у мужчин, теперь были острижены под гребенку и серебрились сединой. Его когда-то свежее, розовое лицо огрубело и стало красным. Теперь он носил бородку клином, и в ней было по крайней мере наполовину седых волос.

Он разговаривал с другим пожилым человеком в легком летнем костюме. Это был Уорминг, лондонский адвокат и ближайший родственник Грехэма — того самого больного, который впал в транс. Оба стояли в комнате рядом и смотрели на распростертое тело того, о ком они говорили.

Это было сухое желтое тело с вялыми членами и непомерно отросшими ногтями, с осунувшимся лицом и щетинистой бородой. Прикрытое только длинной рубахой, оно лежало на налитом водою гуттаперчевом матрасе, в высоком ящике из тонкого стекла. Эти стеклянные стенки как будто отграничивали спящего от реальной жизни, отделяли его от мира живых, как аномалию, как диковинку, как странное уродство. Двое живых стояли у самого ящика, заглядывая в него.

— Признаюсь, я очень тогда испугался, — снова заговорил Избистер. — Меня и теперь бросает в дрожь, когда вспомню эти белые глаза. Они у него, знаете, совсем закатились тогда, так что видны были только белки. Все это так живо мне вспоминается теперь... когда я смотрю на него.

— А вы с тех пор ни разу его не видали? — спросил адвокат.

— Много раз думал зайти посмотреть, да все дела мешали. Дела в наше время не много оставляют человеку досуга. Я ведь большей частью жил в Америке все эти годы.

— Вы, кажется, живописец, насколько я припоминаю? — спросил Уорминг.

— Был. Потом, когда я женился, я скоро понял, что мне надо распрощаться с искусством. Искусство — роскошь, по крайней мере для нашего брата — людей среднего дарования. Я занялся практическим делом, и успешно.

Видали вы в Дувре на скалах рекламы? Все это работа моей мастерской.

— Хорошие рекламы, — сказал Уорминг, — хоть, признаюсь, мне неприятно было встретить их там.

— Работа прочная: продержится, пока стоят сами скалы, ручаюсь! — самодовольно воскликнул Избистер. — Эх, как меняется жизнь! Двадцать лет тому назад, когда он уснул, я проживал в Боскасле свободным художником. Благородное старомодное честолюбие да ящик с акварельными красками составляли все мое имущество. Не думал я тогда, что моим кистям выпадет со временем честь размалевать весь берег милой старой Англии от Лэндс-Энда вплоть до Лизарда. Да-а, удача часто приходит, откуда меньше всего ее ждешь.

У Уорминга, видимо, были кое-какие сомнения насчет такой удачи, но он сказал только:

— Помнится, мы тогда чуть-чуть не встретились с вами в Боскасле. Вы уехали за час до моего приезда.

— Да. Вы приехали тем самым дилижансом, который отвез меня на станцию. Это было в день юбилея Виктории *: я помню, еще флаги развевались на Вестминстере * и на улицах была страшная давка. Мой извозчик на кого-то наехал в Челси, и вышла целая история...

— Да, это был второй юбилей — бриллиантовый, — заметил Уорминг.

— Да, да. Во время первого, главного, когда праздновалось пятидесятилетие, я был еще мальчишкой и жил в провинции, так что ничего не видал... о господи — я опять возвращаюсь к Грехэму, — какой это был переполох тогда, если б вы знали! Моя хозяйка ни за что не хотела оставить его у себя. И в самом деле, он был такой страшный! Пришлось перенести его в гостиницу. Боскасльский доктор — не теперешний молодой, а прежний, старичок — провозился с ним до двух часов ночи. Мы с хозяином гостиницы помогали ему: держали свечи, подавали все нужное, бегали в аптеку... Ничего не помогло.

— Вначале это был, кажется, обыкновенный столбняк?

— Да. Он был деревянный: как ни согни, так и остается. Если б его на голову поставить, он и то бы стоял. Ничего подобного я никогда не видал. То, что вы теперь видите (он указал на распростертую фигуру движением головы), совершенно другое... А этот старикашка доктор... как бишь его звали?

— Смитерс?

— Да, Смитерс... Он просто ошибся. Он ведь надеялся очень скоро привести его в чувство. Чего он только не испробовал! Мороз по коже подирает, как вспомнишь. И горчицу, и нюхательный табак, и щипки. А потом притащил еще эту проклятую машинку... динамо не динамо, а как ее?

— Индукционную катушку?

— Да. И пустил ее в ход. Если бы вы видели, как его дергало! Каждый мускул прыгал. Вы только представьте себе: полутемная комната... лишь у кровати горят две свечи, которые мы оба держим в руках... пламя колеблется... на стенках дрожат тени... маленький доктор нервничает, суетится, а тот весь корчится под током, точно автомат на пружинах... Уф! Мне и теперь часто снится эта картина.

Молчание.

— Да, странное явление, — сказал Уорминг.

— Очень странное. Человек в этом состоянии, можно сказать, отсутствует вполне. Остается только тело без души — не мертвое, но и не живое. Это все равно как стул в каком-нибудь общественном месте — пустой, но на котором написано «занят». Ни ощущений, ни пищеварения, ни биения сердца. Взгляните: ну кто скажет, что это живой человек? В известном смысле он мертвее мертвого, потому что у него даже волосы перестали расти, — так я слышал от врачей. А у мертвецов ведь волосы еще некоторое время...

— Да, я знаю, — перебил его Уорминг с оттенком неудовольствия.

Они еще раз заглянули в стекло. Действительно, престранный феномен представлял этот спящий. Во всей истории медицины не было подобных примеров. Бывали случаи, что спячка продолжалась около года, но к концу этого срока она всегда заканчивалась или пробуждением, или смертью. Случалось и так, что вслед за пробуждением наступала смерть.

Избистер заметил на теле спящего несколько следов, оставшихся после впрыскиваний под кожу питательных веществ (в первое время врачи прибегали к этому средству, чтобы предупредить паралич сердца). Он указал на них Уормингу, который и сам давно их заметил, но старался не смотреть.

— Подумать только, как много перемен произошло в моей жизни с тех пор, как он здесь лежит! — продолжал Избистер с эгоистическим самодовольством здорового че-

ловека, который любит жизнь. — Я успел жениться, обзавестись семьей. Мой старший сын — в то время я и не помышлял ни о каких сыновьях, — мой старший сын уже американский гражданин и скоро кончает университет. Я постарел, поседел. А этот человек ни на один день не состарился и ни на йоту не стал умнее — в практическом смысле, хочу сказать, — чем был я в дни моей зеленой юности. Курьезно!

Уорминг повернулся к нему.

— Я тоже стариком стал. Мы с ним в крикет играли мальчишками, а он все еще выглядит молодым человеком. Пожелтел, это правда. Но все-таки еще молодой человек.

— А сколько событий совершилось за эти годы. Война...

— И началась и кончилась, и забыли о ней...

— У него, я слыхал, было небольшое состояние? — спросил Избистер, помолчав.

— Как же! — подтвердил, принужденно покашливая, Уорминг. — Я хорошо это знаю, так как был назначен его опекуном.

— А-а... — Избистер опять помолчал, потом нерешительно заговорил: — Вероятно... ведь содержание его здесь недорого стоит... вероятно, за эти годы его состояние возросло?

— Конечно. Он проснется — если только проснется — богатым человеком, значительно богаче, чем был.

— Видите ли, меня как делового человека, естественно, занимает этот вопрос, — сказал Избистер. — Мне даже приходило иногда в голову, что эта спячка была для него очень выгодна. Он, можно сказать, весьма предусмотрительно поступил, заснув на такой большой срок. Если б он продолжал жить...

— Сомневаюсь, чтобы он загадывал вперед на такой долгий срок, — перебил Уорминг. — Он никогда не отличался предусмотрительностью. Мы с ним всегда расходились по этому пункту. Он был очень неблагоразумен во всем, и я поневоле должен был его опекать. Вам, как человеку практическому, должно быть понятно, что... Впрочем, не в этом вопрос. Выгодна или невыгодна для него эта спячка — во всяком случае, сомнительно, чтоб он вернулся к жизни. Такой сон истощает, медленно, но все же истощает. Тихонько, незаметно человек катится вниз... вы меня понимаете?

— Очень жаль, если так. Воображаю его изумление, если бы он проснулся!

— Жаль будет, если мы этого не увидим. Столько было перемен за эти двадцать лет! Словно возвратившийся Рип Ван Винкль *.

— Куча перемен, — сказал Уорминг. — Да, перемен было немало для каждого из нас. Для меня, например: я теперь старик.

— Я бы этого не сказал, — нерешительно пробормотал Избистер, изобразив удивление на своем лице. Но удивление вышло несколько запоздалым.

— Мне было сорок три в тот год, когда я получил уведомление от его банкиров об этом казусе. Это вы ведь тогда телеграфировали им, помните?

— Да. Я нашел их адрес в чековой книжке, которая оказалась у него в кармане, — сказал Избистер.

— Ну-с, сорок три да двадцать... сумму нетрудно подсчитать.

Избистеру очень хотелось задать один вопрос. Выждав приличную паузу, он наконец решился дать волю своему любопытству.

— Ведь это может затянуться на многие годы, — начал он. Потом он немного замялся и продолжал: — Надо прямо смотреть в глаза будущему. В один прекрасный день опека над его состоянием может перейти... в другие руки, не так ли? Что тогда?

— Поверьте, мистер Избистер, я и сам много думал об этом. Дело в том, что между моими близкими нет никого, кому бы можно было доверить такую опеку... Да, положение не из обыкновенных, беспримерное, можно сказать.

— Мне кажется, в подобных случаях опекуном следовало бы назначать какое-нибудь официальное лицо, — сказал Избистер.

— Скорее официальное учреждение. Тут нужен бы бессмертный опекун — конечно, если он очнется и будет жить, как полагают многие из врачей... Я даже обращался по этому поводу в некоторые учреждения, но пока безуспешно.

— А что ж бы вы думали? Чудесная мысль! Сдать его на попечение Британскому музею, например, или Королевской коллегии врачей *. Оно странно звучит, это правда, но ведь и весь-то случай странный.

— Вы говорите: сдать медицинской коллегии. А как вы убедите их принять его? В этом главное затруднение.

— Вы правы. Этот их формализм, канцелярщина...
Новая пауза.

— Да, прекурьезная история, могу сказать, — снова заговорил Избистер. — Заметили вы, как у него нос заострился и как провалились глаза?

Уорминг поглядел на спящего и ответил не сразу.

— Я сомневаюсь, чтобы он проснулся когда-нибудь.

— Я никогда не мог хорошенько понять, отчего с ним это приключилось, — сказал Избистер. — Он говорил мне что-то такое о переутомлении. Так неужели только от этого? Мне очень хотелось бы знать.

— Он был человек одаренный, но чересчур впечатлительный, нервный, порывистый во всем. У него были серьезные домашние неприятности. Он разошелся с женой и, вероятно, чтобы как-нибудь забыться, очертя голову бросился в политику. Он был фанатик-радикал, вернее, социалист — энергичный, необузданный, дикий. Он вел жестокую полемику со своими противниками, работал как лошадь и надорвался. Я помню его памфлет. Любопытное произведение. Какой-то бред сумасшедшего, но с огоньком. Там было много пророчеств. Большая часть из них провалилась, но два-три сбылись. Впрочем, вообще говоря, читать такие вещи — значит время терять... Да, от многого придется ему отказаться и многому поучиться, когда он проснется... если только проснется.

— Дорого бы я дал, чтобы видеть этот момент... послушать, что он скажет, когда оглядится и узнает, как долго он спал, — сказал Избистер.

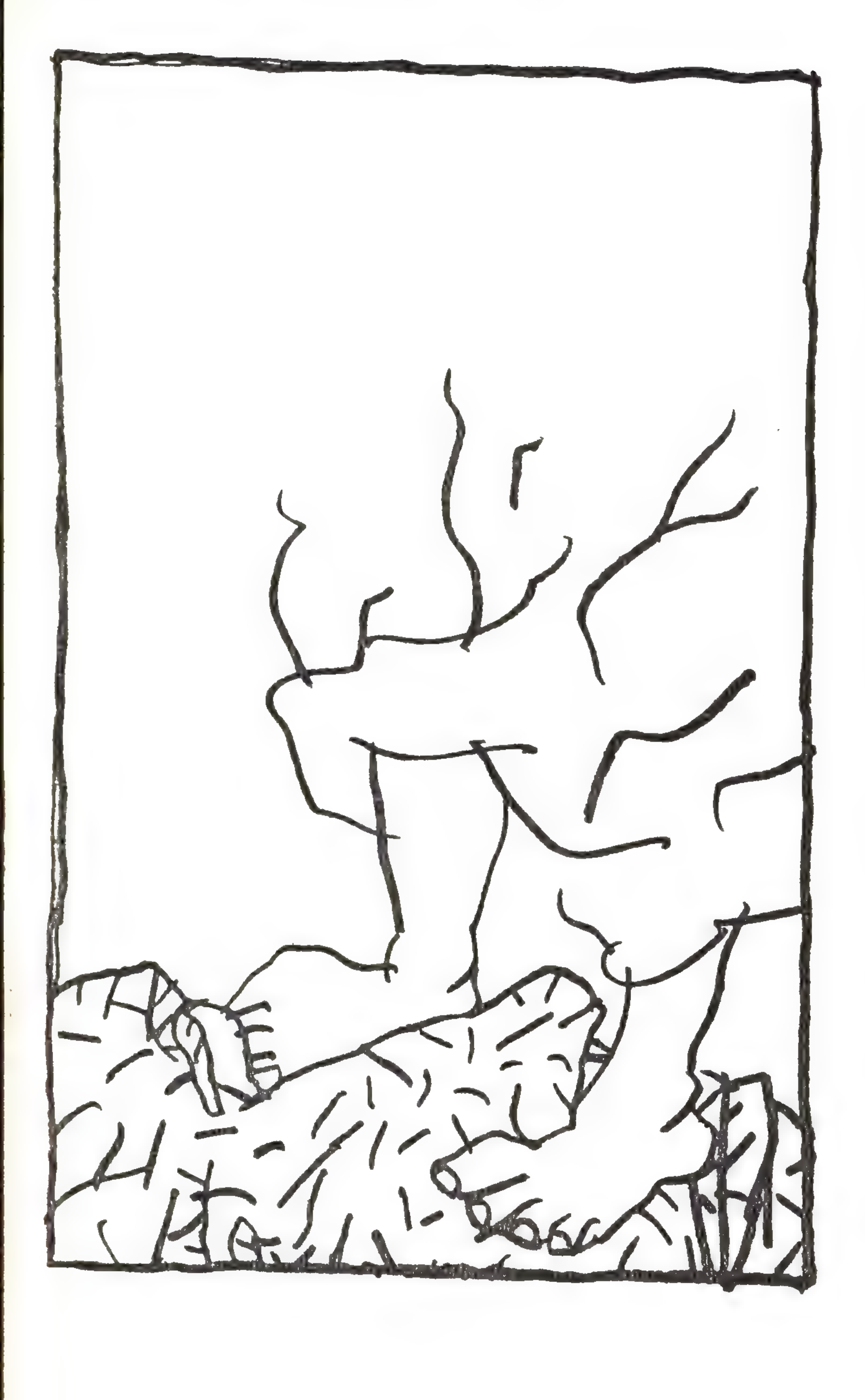
— И я хотел бы видеть, очень хотел бы, — проговорил Уорминг с недовольным чувством жалости к себе, какое часто бывает у старых людей. — Но я никогда не увижу. — Он замолчал и задумчиво смотрел на восковое лицо спящего. — Этот человек никогда не проснется, — прибавил он и вздохнул. — Никогда.

Глава III

ПРОБУЖДЕНИЕ

Но Уорминг ошибся: Грехэм проснулся.

Что за сложное целое представляет собою эта кажущаяся столь простою единица, которую мы называем человеческим «я». Кто проследит, как происходит ее реинтегра-



ция изо дня в день в момент нашего пробуждения, как растут, переплетаются и сливаются составляющие ее бесчисленные факторы? Кто проследит эти первые движения пробуждающейся души, этот переход от бессознательного к полусознательному вплоть до того момента, когда оно озарится полным светом сознания и мы вновь обретем себя? Так бывает почти с каждым из нас даже после одной ночи крепкого сна. Так было и с Грехэмом после его долгой спячки. Туманное облако еще не осознанных ощущений сменилось странным чувством жути, и он осознал себя, довольно смутно правда, слабым, очень слабым, но живым.

Это странствование во мраке в поисках своего «я» заняло, казалось ему, целые века. Чудовищные сны, бывшие для него в свое время страшной действительностью, оставили в его памяти неясные, но тревожные следы, туманные образы странных существ, небывалых пейзажей, точно с другой планеты. Было еще впечатление какого-то важного разговора... Какое-то имя — он никак не мог припомнить чье — вертелось у него в голове; потом явилось странное, давно забытое ощущение собственного тела... мучительное сознание бесплодных усилий выплыть на свет, как это бывает с утопающими... Затем перед ним встала незнакомая панорама, в которой все колебалось и сливалось, ослепляя его.

Грехэм понял, что глаза у него открыты, что он смотрит на какой-то непонятный предмет.

Это было что-то белое, похожее на ребро деревянной рамы. Он слегка повернул голову, чтобы лучше рассмотреть этот предмет, но ему не видно было, где он кончается. Он попробовал было отдать себе отчет, где он. Да, впрочем, не все ли равно, когда он чувствует себя таким бессильным и жалким? Мрачное уныние — таков был общий тон его мыслей. Он испытывал чувство беспричинной, неопределенной тоски, как бывает, когда проснешься незадолго до рассвета. Потом ему показалось, что он как будто слышит шепот и поспешно удаляющиеся шаги.

Попытка повернуть голову вызвала в нем ощущение крайней физической слабости. Он думал, что лежит в постели, в гостинице той деревушки, где он останавливался в последний раз; но такой белой рамы над постелью там, помнится ему, не было. Он, очевидно, долго спал. Теперь он припомнил, что у него была бессонница. Вспомнилась ему скала, водопад и как он разговаривал с каким-то прохожим...

Долго ли он спал? Кто это сейчас убежал из комнаты? И что это за гомон вдали, который то разрастается, то затихает, точно шум прибоя? Он с усилием протянул руку, чтобы взять часы, которые он всегда клал на ночь на стул возле себя, и наткнулся на что-то гладкое и твердое, похожее на стекло. Это было так неожиданно, что он испугался. Он разом повернулся на бок, с минуту в недоумении смотрел перед собой, потом сделал усилие, чтобы сесть. Это оказалось гораздо труднее, чем он ожидал: у него закружилась голова, он совсем ослабел... «Да что же это такое? Где же я, наконец?»

Он протер глаза. Загадочность того, что его окружало, приводила его в тупик, но ход его мыслей был вполне логичен: ясно, что сон освежил его ум. Он заметил, что он совершенно раздет и лежит не на кровати, а на какой-то мягкой, упругой подстилке, в ящике из цветного стекла. Подстилка была полупрозрачная, что он заметил с некоторым страхом, а под ней было зеркало, в котором смутно отражалось его тело. К его руке — он испугался, увидев, как высохла и пожелтела его кожа, — был так искусно прикреплен какой-то гуттаперчевый прибор, что он, казалось, представлял с ней одно целое. И это странное ложе помещалось в ящике из зеленоватого стекла — так ему по крайней мере казалось. Одна из перекладин белой рамы этого ящика и привлекла его внимание в первый момент. В углу ящика стояла подставка с какими-то незнакомыми ему блестящими приборами очень тонкой работы, между которыми он различил только максимальный и минимальный термометры.

Зеленоватый цвет стекловидного вещества, окружавшего его со всех сторон, мешал ему хорошо рассмотреть, что было за ящиком, но он все-таки мог видеть огромный великолепный зал с огромной, лишенной всяких орнаментов аркой, находившейся прямо против него. У самой его клетки была расставлена мебель: стол, накрытый скатертью, серебристой, как рыбья чешуя; два-три изящных кресла. На столе стояли разные яства, бутылка и два стакана. Тут только он почувствовал, как он голоден.

В комнате не было ни души. После минутного колебания он сполз со своей прозрачной подстилки и попробовал встать на чистый, белый пол своей клетки. Но он плохо рассчитал свои силы, пошатнулся и, чтобы не упасть, уперся рукой в стекловидную стенку ящика. Она удержала его руку на мгновение, растягиваясь и выпячиваясь наружу,

потом вдруг лопнула с легким треском и исчезла, как мыльный пузырь. Ошеломленный, он вылетел из ящика, ухватился за стол, чтоб удержаться на ногах, столкнув при этом на пол один из стаканов, который зазвенел, но не разбился, и опустился в кресло.

Когда он немного опомнился, он взял бутылку, наполнил оставшийся на столе стакан и выпил. Это была бесцветная жидкость, но не вода; она имела очень приятный вкус и запах и обладала свойством быстро восстанавливать силы. Он поставил стакан и стал осматриваться кругом.

Огромный зал ничуть не потерял своего великолепия после того, как исчезла зеленоватая оболочка, сквозь которую он смотрел перед этим. По ту сторону находившейся перед ним высокой арки начиналась лестница, которая вела вниз, в широкую галерею. Вдоль этой галереи, по обе стороны, тянулись колонны из какого-то блестящего камня цвета ультрамарина с белыми прожилками. Оттуда доносился гул человеческих голосов и какое-то ровное и непрерывное гудение.

Теперь Грехэм совершенно очнулся. Он сидел выпрямившись и прислушивался с таким напряженным вниманием, что даже забыл о еде. Вдруг ему стало неловко: он вспомнил, что он раздет. Отыскивая глазами, чем бы прикрыться, он увидел на стуле возле себя длинный черный плащ. Он завернулся в этот плащ и снова опустился в кресло, весь дрожа.

Он был совершенно ошеломлен и терялся в догадках. Одно было ему ясно: он спал очень долго, и его куда-то перенесли во время сна. Но куда? И кто эти люди там, за голубыми колоннами, эта толпа, кричащая вдали? Не может быть, чтобы все это было в Боскасле. Он налил из бутылки еще стакан бесцветной жидкости и выпил.

Что это за здание? Где находится этот великолепный зал? И почему ему кажется, что эти стены все время дрожат, точно живые. Он обвел взглядом изящный, простой, без всяких архитектурных украшений зал и увидел в потолке большое круглое отверстие, сквозь которое сверху лился яркий свет. Вдруг он заметил, что на этот светлый круг набежала какая-то тень и скрылась, потом еще и еще. «Тррр, тррр...» — у этой мелькающей тени был свой самостоятельный звук, отчетливо слышный сквозь глухой ропот толпы, наполнявший воздух.

Он хотел крикнуть, позвать, но голос изменил ему. Он встал и неверными шагами, как пьяный, направился

к арке. Спотыкаясь, он кое-как спустился с лестницы, наступил на край бывшего на нем плаща и еле удержался на ногах, ухватившись за колонну.

Он очутился в галерее; перед ним открылась широкая перспектива с преобладанием голубого и пурпурного тонов. Галерея заканчивалась перед ним открытым выступом, обнесенным решеткой, чем-то вроде балкона. Балкон был ярко освещен и висел на большой высоте, но, по-видимому, все вместе представляло внутренность какого-то гигантского здания, потому что за балконом, как сквозь дымку, виднелись вдали величественные очертания причудливых архитектурных форм. Теперь голоса доносились до него громко и явственно. На балконе спиной к нему стояли, сильно жестикулируя и оживленно о чем-то разговаривая, три человека в роскошных костюмах широкого, свободного покроя и ярких цветов. Раз ему показалось, что мимо промелькнула верхушка знамени или флага; потом в воздухе пронеслось что-то бледно-голубое, может быть подброшенная вверх шляпа, и, описав дугу, упало. Кричали как будто по-английски: очень часто повторялось слово «проснись». Потом он услышал чей-то пронзительный крик, и вдруг три человека на балконе стали громко смеяться.

— Ха-ха-ха! — покатывался один из них, рыжеволосый, в ярко-красном плаще. — Когда проснется Спящий! Ха-ха-ха!

Еще со смехом в глазах он оглянулся назад, в сторону галереи, — и замер. Лицо его сразу изменилось. У него вырвался возглас испуга. Двое других быстро обернулись в ту же сторону и тоже окаменели. На их лицах выразилась растерянность, почти ужас.

У Грехэма вдруг подогнулись колени. Его рука, державшаяся за колонну, соскользнула. Он покачнулся и упал ничком.

Глава IV

ОТГОЛОСКИ ВОЛНЕНИЙ

Последним впечатлением Грехэма, прежде чем он лишился чувств, был оглушительный звон колоколов. Впоследствии ему рассказали, что час он был без сознания, между жизнью и смертью. Когда он наконец пришел в себя, он снова лежал на своем прозрачном гуттаперчевом ложе.

Во всем теле и сердце он ощущал живительную теплоту. Он заметил, что рука его по-прежнему забинтована, но странный резиновый прибор был снят. Его окружала все та же белая рама, но заполнявшее ее зеленоватое стекловидное вещество исчезло. Над ним стоял человек в темно-лиловом плаще — один из тех троих, которых он застал на балконе, — и внимательно всматривался в его лицо.

Откуда-то издалека слабо, но назойливо доносился трезвон и смешанный многоголосый гул. В его воображении встала картина огромной кричащей толпы. Потом сквозь этот шум до него долетел короткий резкий стук, как будто где-то вдали захлопнулась тяжелая дверь.

Он повернул голову.

— Что все это значит? Где я? — с усилием выговорил он.

Тут он увидел рыжего человека — того самого, который первым заметил его. Чей-то голос, ему показалось, спросил:

— Что он говорит?

И другой ответил шепотом:

— Молчите.

Потом заговорил человек в лиловом. Он говорил по-английски, с легким иностранным акцентом.

— Не бойтесь, вы в безопасности, — сказал он пониженным голосом, как говорят с больными. — Из того места, где вы заснули, вас перенесли сюда. Вы пролежали здесь довольно долго. Все это время вы спали. У вас была спячка, транс.

Он сказал еще что-то, чего Грехэм не расслышал, потом взял поданный ему кем-то флакон. Грехэм ощутил на лбу прохладную струю какой-то ароматической жидкости, которая удивительно освежила его. Ощущение было такое приятное, что у него от удовольствия сами собой закрылись глаза. Когда он их снова открыл, человек в лиловом спросил его:

— Что, теперь лучше? — Это был еще молодой человек, лет тридцати, с остроконечной белокурой бородкой и с приятным лицом. Его лиловый плащ был застегнут у горла золотою пряжкой. — Лучше вам теперь?

— Да, — ответил Грехэм.

— Вы проспали... некоторое время. Это был каталептический сон. Вы слышите? Каталепсия!.. У вас, должно быть, теперь очень странное ощущение. Но вы не волнуйтесь: все будет хорошо.

Грехэм молчал, но эти слова возымели свое действие: он успокоился. Взгляд его с выражением вопроса перебегал поочередно на каждого из троих окружавших его людей. Они тоже смотрели на него как-то особенно. Он знал, что он должен быть где-то в Корнуолле, но представление о Корнуолле совершенно не вязалось с этими новыми впечатлениями. Вдруг он припомнил то, о чем он думал в Боскасле в последние дни перед своим каталептическим сном. Тогда это было у него почти принятым решением, но почему-то он все не мог собраться привести его в исполнение. Он откашлялся и спросил:

— Телеграфировали ли моему двоюродному брату Уормингу? Улица Чэнсери-Лэйн, двадцать семь?

Они внимательно слушали, стараясь понять. Но ему пришлось повторить свой вопрос.

— Как странно он произносит слова, — шепнул рыжий молодому человеку с белокурой бородой.

— Он имеет в виду электрический телеграф, — пояснил третий, юноша лет девятнадцати-двадцати с очень милым лицом.

— Ах я дурак! И не догадался! — вскрикнул белокурый. — Не беспокойтесь, будет сделано все возможное, — прибавил он, обращаясь к Грехэму. — Только, боюсь, трудновато будет... телеграфировать вашему кузену. Его нет в Лондоне... Но, главное, вы не волнуйтесь и не утомляйте себя этими мелочами. Вы проспали очень долго, и вам необходимо окрепнуть — это прежде всего.

— А-а, — протянул Грехэм неопределенно и замолчал.

Все это было очень загадочно, но, очевидно, эти люди в необыкновенных костюмах знали лучше, что нужно делать. А все-таки странные люди, и комната странная... Должно быть, он попал в какое-нибудь только что основанное учреждение... Тут его осенила новая мысль... подозрение. Может быть, это помещение какой-нибудь публичной выставки? И он пролежал здесь все это время? Как мог Уорминг допустить это?.. Ну хорошо же: если так, он ему покажет, он с ним поговорит!.. Но нет, не может быть. На выставку не похоже. Да и где же видано, чтобы выставляли напоказ голого человека?

И вдруг неожиданно для себя он понял, что с ним случилось. В один миг, без всякого заметного перехода от подозрения к уверенности, он понял, что спячка его длилась бесконечно долго. Теперь он знал так твердо, словно разгадал каким-то таинственным путем чтения

мыслей, что означал этот почтительный, почти благоговейный страх, написанный на лицах окружавших его людей. Он смотрел пронзительным взглядом. И в этом взгляде они, казалось, тоже прочли его мысль. Губы его зашевелились: он хотел заговорить и не мог. И почти в то же мгновение у него явилось необъяснимое побуждение утаить свое открытие от этих людей, желание говорить совершенно прошло. Он молча смотрел на свои голые ноги, весь дрожа.

Ему дали выпить какой-то розовой жидкости с зеленоватой флуоресценцией и с привкусом мяса, и силы его быстро поднялись.

— Это... помогает... Мне лучше теперь, — выговорил он с трудом.

Кругом послышался почтительный шепот одобрения.

Так и есть: он спал страшно долго. Может быть, год или больше. Теперь он знает наверное. Он снова сделал попытку заговорить, но снова ничего не вышло. Он поднес руку к горлу, откашлялся и с новым отчаянным усилием попробовал в третий раз.

— Долго ли... — начал он, стараясь говорить ровным голосом, — долго ли я спал?

— Да, довольно долго, — ответил белокурый молодой человек, быстро переглянувшись с остальными.

— Сколько времени?

— Очень долго.

Грехэм вдруг рассердился.

— Ну, да, я понимаю, — сказал он с нетерпением. — Понимаю, что долго. Но я хочу... хочу знать, как долго. Год? Или, может быть, больше? Несколько лет, может быть? Я хотел еще что-то... Забыл что... У меня путаются мысли. Но вы... — он вдруг зарыдал, — зачем вы от меня скрываете? Скажите, сколько времени...

Больше он не смог говорить. Тяжело дыша и утирая слезы, он молча сидел, ожидая ответа.

Они вполголоса о чем-то советовались между собой.

— Ну что же? Сколько лет? — спросил он слабым голосом. — Пять? Шесть?.. Неужели больше?

— Гораздо больше.

— Больше?!

— Да.

Он смотрел на них вопрошающим взглядом. От волнения у него дергалось все лицо.

— Вы проспали много лет, — сказал рыжий.

Грехэм выпрямился. Он смахнул набежавшие слезы прозрачной рукой и повторил:

— Много лет... — Потом закрыл глаза, опять открыл и в недоумении озирался вокруг, останавливая взгляд то на одном, то на другом, то на третьем чужом, незнакомом лице.

— Сколько же? — спросил он наконец.

— Вы должны приготовиться... Вы очень удивитесь.

— Ну?

— Более г р о с с а лет.

Это незнакомое слово вывело его из себя.

— Больше чего? Как вы сказали?

Двое старших стали шептаться. До него долетели слова «десятичная система», но, к чему они относились, он не разобрал.

— Сколько, вы сказали? — повторил он с гневом свой вопрос. — Говорите же! Не глядите на меня так. Говорите!

Они продолжали шептаться. На этот раз он уловил конец фразы: «...Больше двух столетий».

— Что? — вскрикнул он, быстро поворачиваясь к самому молодому, который, как ему показалось, произнес эти слова. — Кто это сказал? Что такое? Два столетия?

— Да, — ответил рыжий, — двести лет.

Грехэм машинально повторил: «Двести лет». Он приготовился услышать большую, очень большую цифру, но это конкретное «двести лет» ошеломило его.

— Двести лет! — повторил он еще раз, напрасно силясь охватить воображением необъятную бездну, разверзшуюся перед ним. — Ах, нет, не может быть!

Они молчали.

— Как вы сказали? Повторите еще.

— Двести лет. Ровно два столетия, — повторил рыжий.

Наступила пауза. Грехэм со слабой надеждой смотрел то на одного, то на другого... Но нет, они не смеялись: лица их были серьезны. Он понял, что ему сказали правду.

— Не может быть, — повторил он упрямо, уже и сам не веря себе. — Должно быть, я еще сплю и вижу сон... Вы говорите: спячка. Но спячка никогда не длится так долго. Какое право вы имеете так издеваться надо мной? Скажите правду: ведь это было недавно, несколько дней тому назад, что я шел пешком вдоль берега в Корнуолле? Потом я был в Боскасле...

Тут голос изменил ему.

Белокурый молодой человек вопросительно взглянул на друга и нерешительно проговорил:

— Я не силен в истории...

— Боскасль?.. Совершенно верно, — подхватил самый младший из троих. — На юго-западе старого герцогства Корнуолл было такое местечко. Там еще уцелел один дом — я видел его.

Грехэм повернулся к говорившему.

— В мое время это был целый поселок. Маленькая деревушка... Я заснул где-то там... не припомню в точности где... — Он сдвинул брови и прошептал: — Двести с лишком лет... — Ледяной холод сжимал ему сердце.

Вдруг он заговорил быстро-быстро:

— Но ведь если с тех пор прошло двести лет, то, стало быть, не осталось в живых ни души... ни одного человеческого существа, которое я бы знал? Все, все, кого я когда-нибудь видел, с кем я говорил, — все до единого умерли?

Ответа не было.

— Все умерли — богатые и бедные, простые и знатные, — все до одного? Ни нашей королевы нет, ни королевского семейства, ни министров — моих современников, ни одного из государственных деятелей, которые были при мне?.. Может быть, и Англии нет?.. Англия, вы говорите, существует? Ну, слава богу, хоть одно утешение!.. А Лондон?.. Это Лондон, да? Мы в Лондоне теперь?.. А вы кто же?.. Постойте, я знаю, вы мои сторожа. — Он смотрел на них почти безумным взглядом. — Но отчего же я здесь?.. Молчите! Не говорите! Дайте мне...

Он умолк и закрыл лицо руками. Когда он снова поднял голову, перед ним держали наготове второй стаканчик подкрепляющей розовой жидкости. Он выпил все. Лекарство почти мгновенно оказало свое действие. Из глаз его полились обильные слезы и облегчили его.

Наплакавшись вволю, он поднял глаза на своих караульщиков и неожиданно, совсем по-детски засмеялся сквозь слезы.

— Две-сти лет! — выговорил он.

Губы его передернулись гримасой, и он опять истерически зарыдал и закрыл руками лицо.

Через несколько минут он успокоился. Он сидел, свесив руки с колен, — в той самой позе, в какой его застал Избистер у скалы в Пентаргене два века тому назад. Вдруг он услышал приближающиеся шаги, и чей-то громкий, повелительный голос сказал:

— Что же это вы делаете? Отчего мне не дали знать?

Это была ваша обязанность. Вы за это ответите! Никого не пускайте к нему. Заперты двери? Все?.. Его не надо беспокоить: не надо ему говорить. Ему ничего не сказали?

Белокурый что-то ответил вполголоса. Грехэм повернул голову и увидел подходившего к нему человека маленького роста, толстого, коренастого, с короткой шеей, гладко выбритым лицом, двойным подбородком и орлиным носом. Густые, черные, почти сходящиеся на переносице и слегка нависшие брови, из-под которых смотрели пронзительные серые глаза, придавали его лицу что-то внушительное, почти наводящее страх. Он бросил беглый взгляд на Грехэма и повернулся к белокурому.

— Зачем тут эти двое? — резко спросил он. — Они здесь лишние.

— Прикажете уйти? — спросил рыжий.

— Конечно, уходите пока. Да не забудьте запереть за собой двери.

Двое людей, к которым относилось это приказание, мельком взглянув на Грехэма, послушно повернулись и пошли, но не к арке, как он ожидал, а в противоположную сторону, где была глухая стена. Тут случилась престранная вещь: средняя часть стены с легким треском отделилась в виде широкой вертикальной полосы и начала подниматься, свертываясь валиком, как штора. Пропустив уходивших, она опять упала и слилась со стеной. В комнате теперь осталось только трое: Грехэм, белокурый молодой человек и вновь прибывший.

В первые минуты этот человек не обращал никакого внимания на Грехэма: он продолжал допрашивать белокурого, очевидно своего подчиненного, насчет подробностей важного события — «пробуждения Спящего». Он говорил громко, произносил отчетливо каждое слово, но Грехэму были понятны далеко не все слова. Пробуждение его не столько поразило этого человека, но, судя по тому, как он был взволнован, доставило ему много неприятных хлопот.

— Я вас покорно прошу ничего ему не рассказывать. Не надо его волновать, — твердил он без конца.

Получив ответы на свои вопросы, он быстро повернулся к Грехэму и остановил на нем испытующий взгляд.

— Очень странно вы себя чувствуете?

— Да.

— Вас поражает то, что вы видите? Жизнь очень изменилась, а?

— Что делать, придется привыкать.

— Да, я полагаю...

— Прежде всего... я хотел бы одеться.

— Да, да, вы сейчас получите платье.

Толстяк сделал знак белокурому, и тот вышел.

— Скажите, это правда, что я проспал два столетия? — спросил Грехэм.

— А, вам уже успели сообщить... Да, двести три года, уж если вы хотите знать.

Итак, это был неоспоримый факт. Приходилось примириться с ним. Грехэм ничего не сказал, только брови его сдвинулись и опустились углы рта. Помолчав, он спросил:

— Что это так трещит за стеной? Мельница, верно, работает поблизости или динамо-машина? — И, не дожидаясь ответа, прибавил: — Впрочем, может быть, теперь уже нет ни мельниц, ни динамо-машин? Условия жизни, я думаю, страшно изменились... Что значат эти крики? — задал он новый вопрос, видя, что толстяк молчит.

— Ничего особенного, — ответил тот нетерпеливо. — На улице кричат. Вы все равно не поймете... Потом, может быть, когда узнаете... Вы сами сказали: многое изменилось. — Он говорил отрывисто, хмурил брови и беспрестанно оглядывался, как человек, который попал в трудное положение и старается найти выход. — Подождите немного: скоро вам дадут одежду, а пока побудьте здесь: сюда никто не войдет. Вам еще побриться надо.

Грехэм машинально потрогал свою давно не бритую бороду.

В это время вернулся белокурый молодой человек. Он подошел к ним, но вдруг остановился, прислушиваясь, потом взглянул вопросительно на своего начальника и выбежал через арку на балкон. Долетавшие оттуда крики становились все громче. Толстяк повернул голову и тоже прислушался. Вдруг он пробормотал какое-то проклятие и бросил на Грехэма неприязненный взгляд. Между тем рев толпы все разрастался, то поднимаясь, то падая, как морской прибой. Гневные возгласы, визг, хохот — все сливалось в этом тысячеголосом вое. Один раз послышались короткие, отрывистые звуки, как будто звуки ударов и резкий крик отдаленных голосов, потом что-то щелкало и трещало, точно ломали сухие прутья или хлопали бичом. Грехэм тщетно напрягал слух, стараясь что-нибудь понять в этом гаме.

Но вот он уловил целую фразу, повторенную много раз.

Что это? Не может быть! Он не верил ушам... Но нет, он не ошибся. Там кричали: «Покажите нам Спящего! Покажите нам Спящего!»

Толстяк бросился к арке.

— Безумцы! — закричал он. — Как они узнали? Кто им сказал?.. Да знают ли они — или только догадываются?

Должно быть, ему что-то ответили, потому что он продолжал:

— Я не могу выйти. Мне за ним надо смотреть. Крикните им с балкона.

Опять последовал какой-то ответ.

— Скажите им, что он и не думал просыпаться. Скажите что-нибудь, что хотите! — Он поспешно вернулся к Грехэму. — Вам надо поскорее одеться. Вам здесь нельзя оставаться. Невозможно будет...

И он выбежал вон, не отвечая на вопросы, которыми Грехэм его осыпал. Через минуту он опять вернулся.

— Не спрашивайте. Я ничего не могу вам сказать. Объяснять слишком сложно. Узнаете потом. Сейчас вы получите платье, сию минуту. А потом вы пойдете со мной... Здесь вам быть нельзя. У нас свои неприятности... Вы скоро поймете, в чем дело... слишком скоро, может быть.

— Но что это за голоса? Они кричат...

— О Спящем? Это вы. Они забрали себе в голову... Впрочем, я и сам хорошенько не знаю. Я ничего не знаю. Я...

В комнате раздался резкий звонок, покрывший своим треском долетавший снаружи смешанный шум. Толстяк сломя голову бросился к батарее каких-то приборов, стоявшей в углу. С минуту он внимательно слушал, уставившись глазами на какой-то хрустальный шарик, потом кивнул головой, пробормотал невнятно несколько слов и подошел к стене, через которую ушли те двое. От стены опять отделилась средняя полоса и закатилась вверх, как штора. Толстяк стоял, чего-то ожидая.

Грехэм поднял руку и с удивлением почувствовал, как много у него прибавилось сил. Очевидно, это было действие укрепляющих лекарств. Он спустил с постели одну ногу, потом другую. Голова больше не кружилась. Так приятно было чувствовать себя здоровым и бодрым. Он с наслаждением ощупывал свое тело: ему просто не верилось, что это он.

Из-под арки снова появился белокурый молодой человек, и почти в ту же минуту в отверстии раскрытой стены показалась клетка спускавшегося откуда-то лифта. Когда она остановилась, из нее вышел сухопарый, седобородый

человек в темно-зеленом в обтяжку костюме с длинным свертком в руках.

— Вот ваш портной, — сказал толстяк Грехэму. — Вам нельзя носить черное. Не понимаю, как попал сюда этот плащ. Такой беспорядок!.. Ну, да мы это разберем... Надеюсь, вы не замешкаетесь? — прибавил он, обращаясь к портному.

Темно-зеленый поклонился, подошел к Грехэму и присел возле него на постель. Держался он очень спокойно, и только сверкавшие любопытством глаза выдавали его.

— Вы найдете моды сильно изменившимися, сэр, — вежливо сказал он Грехэму и бросил взгляд исподлобья на толстяка.

Быстрым, привычным движение он развернул свой сверток и разложил у себя на коленях образцы каких-то блестящих материй.

— Вы жили, сэр, в эпоху по преимуществу цилиндрическую — в эпоху викторианскую. Тогда вообще имели слабость к закруглениям: полушарие преобладало даже в головных уборах. А теперь...

Он достал какой-то приборчик, размерами и формой напоминавший карманные часы, нажал в нем какую-то кнопку, и на циферблате прибора, как на экране кинематографа, задвигалась человеческая фигурка в белом. Портной выбрал образчик голубоватой шелковой материи.

— Вот, мне кажется, именно то, что вам требуется, — сказал он.

К ним подошел толстяк и заглянул через плечо Грехэма.

— Пожалуйста, поскорее: время дорого, — сказал он.

— Положитесь на меня, — ответил портной. — Мою машину сейчас привезут... Ну-с, что же вы об этом думаете, сэр? — обратился он к Грехэму.

— Что это у вас за прибор? — спросил в свою очередь человек девятнадцатого века.

— Вот, видите ли, в ваши времена были модные журналы. Теперь их вытеснила вот эта самая штучка. Преостроумное изобретение. Смотрите.

Он снова нажал кнопку, и на циферблате прибора выскочила та же фигурка, но уже в новом наряде более широкого покроя. Щелк, щелк — и опять человечек переменил костюм. Все это портной проделал очень быстро, поглядывая в то же время на отверстие в стене, где опускался лифт.

Вот наконец там что-то загрохотало, и снова показа-

лась клетка лифта. На этот раз из нее вышел анемичный, коротко остриженный парень монгольского типа в светло-голубом балахоне из грубого холста. Вместе с ним приехала какая-то сложная машина на колесах, которую он бесшумно вкатил в зал. Портной убрал свой приборчик, попросил Грехэма стать против машины и начал отдавать инструкции своему анемичному подмастерью, который отвечал на каком-то гортанном наречии, совершенно незнакомом Грехэму. После этого парень отправился в угол, где стояла батарея. Портной между тем вытягивал из машины какие-то рычажки, из которых каждый заканчивался маленьким диском. Потом одним ловким поворотом он направил все эти рычажки таким образом, что каждый диск прилег вплотную к телу Грехэма: два пришлись на плечи, два на локти, один на шею и так далее — на все сгибы. В это время лифт привез еще одного пассажира. Грехэм не мог его видеть, так как стоял спиною к стене. Приладив свои рычажки, портной повернул рукоятку машины, и она заработала с легким ритмическим стуком. Еще минута — и он снял рычажки, остановив машину. Грехэм был свободен. На него опять накинули плащ, и белокурый молодой человек поднес ему стаканчик с розовым питьем. Тут только он увидел новоприбывшего — юношу с очень бледным лицом, который разглядывал его с нескрываемым любопытством.

Все это время толстяк нервно шагал из угла в угол, косясь на Грехэма. Теперь он вдруг повернулся и вышел через арку на балкон, откуда по-прежнему доносился, то разрастаясь, то замирая, смешанный шум волнующейся толпы.

Между тем подмастерье подал своему хозяину кусок шелковой голубой материи, и они принялись вдвоем всовывать его в машину примерно так, как в девятнадцатом столетии вкладывали бумагу в печатные станки. Затем они откатили машину в противоположный угол зала, где со стены свободной петлей свешивался тонкий кабель. Конец этого кабеля они соединили с машиной, и она сейчас же очень энергично заработала.

— Скажите, какою силой приводятся в действие ваши машины? — спросил Грехэм у белокурого, указывая рукой на суетившихся у кабеля людей и стараясь не замечать преследовавшего его неотступного взгляда бледного юноши. — А этот кабель, верно, проводник энергии? Да?

— Да, — ответил белокурый.

— А кто такой этот человек?

Он указал в сторону арки, куда скрылся толстяк.

Белокурый замялся, нерешительно погладил свою бородку и ответил, понижая голос:

— Это Говард, ваш главный хранитель. Вот видите ли, сэр... Довольно трудно это объяснить... Совет назначил вам трех хранителей — главного и двух помощников. В этот зал допускалась публика — с некоторыми ограничениями, конечно. Каждому, естественно, хотелось удовлетворить свое любопытство, и нам пришлось уступить желанию народа... Но вы меня извините, я не могу... Пусть лучше он сам вам объяснит.

— Странно! — пробормотал Грехэм. — Хранители... Совет... Ничего не пойму! — Потом, повернувшись спиной к новоприбывшему, он спросил вполголоса: — Отчего этот человек так пялит на меня глаза? Он, верно, магнетизер?

— Магнетизер?! О нет. Он капиллотомист, и притом это в своем роде художник — артист своего дела. Он получает в год до шести дюжин львов.

Это звучало уже совсем дико. Грехэм подумал, уж не сходит ли он с ума.

— Шесть дюжин львов? — переспросил он растерянно.

— Ах, да, я и забыл, что в ваше время не было львов. Вы считали по-старинному, на фунты стерлингов... Лев — это наша монетная единица... Да, правда, все изменилось, даже в мелочах. Вы жили в эпоху десятичной системы, арабской. Десятки, сотни, тысячи — такой был у вас счет. У нас же теперь одиннадцать арифметических знаков. Десять и одиннадцать изображаются одним знаком, и только двенадцать — двумя. Двенадцать дюжин составляют гросс, двенадцать гроссов — дозанду, а двенадцать дозанд — мириаду. Совсем просто... А вот и ваше платье готово, — прибавил белокурый, взглянув через плечо Грехэма.

Грехэм быстро оглянулся: за ним стоял, улыбаясь, портной и держал новое платье, бережно перекинув его через руку, а его подмастерье уже откатывал свою странную машину к клетке лифта, подталкивая ее одним пальцем. Грехэм вытаращил глаза.

— Да неужто вы уже успели... — начал было он.

— Только что кончил, — ответил портной.

Он положил платье возле Грехэма, отошел к постели, на которой тот недавно лежал, откинул прозрачный матрац и приподнял бывшее под ним зеркало таким образом, чтобы можно было смотреться в него.

В это время в углу раздался неистовый трезвон. Толстяк бросился туда со всех ног. Белокурый побежал за ним, спросил его о чем-то и выбежал в галерею.

Покуда портной помогал Грехэму натянуть нижний костюм — темно-красное трико, заменявшее чулки, панталоны и сорочку, белокурый вернулся с балкона, и толстяк, увидев его, быстро пошел ему навстречу. Они стали торопливо шептаться. В манере обоих, в каждом их движении чувствовались тревога и страх.

Когда на Грехэма поверх трико накинули какое-то сложное, но красивого покроя одеяние из голубоватой ткани, он представлял из себя довольной странную фигуру: небритый, с желтым лицом, еще дрожащий от слабости. Но теперь он был по крайней мере одет, и даже по последней моде. Он погляделся в зеркало и остался доволен собой.

— Мне надо еще побриться, — сказал он.

— Сию минуту, — отозвался Говард.

При этих словах бледный юноша, преследовавший Грехэма неотступным взглядом, выступил вперед. Он на секунду зажмурился, снова широко раскрыл глаза и подошел к нему вплотную. Потом остановился, оглянулся назад и сделал плавный жест рукой.

— Подайте стул, — нетерпеливо приказал Говард. Белокурый засуетился, и в один миг за спиной у Грехэма очутился стул.

— Садитесь, — сказал ему Говард.

Грехэм заметил, что в правой руке у пучеглазого сверкнула сталь. Он не решался сесть, опасливо поглядывая на него.

— Что же вы, сэр? Или вы не поняли? — напомнил ему белокурый учтиво, но с ноткой нетерпения в голосе. — Садитесь. Он вас побреет и острижет.

— Ах вот что... — пробормотал Грехэм с облегчением.

— Но вы сказали, кажется, что он...

— Капиллотомист? Ну да. Он лучший художник в мире в этой области.

Грехэм сел. Белокурый куда-то исчез. Пучеглазый, грациозно изгибаясь, ощупал Грехэму затылок, темя, уши и, вероятно, еще долго производил бы свое исследование, если бы Говард не торопил его. Видя, что приходится поторопиться, он приступил к делу. Ловко и быстро пуская в ход один за другим какие-то невиданные инструменты, он выбрил Грехэму подбородок, подправил усы, постриг и причесал волосы. Всю эту операцию он проделал, не проронив ни звука, с вдохновенным видом поэта. Как только он кончил, Грехэму подали башмаки.

Вдруг из угла, где стояли таинственные приборы, раздался громкий голос: «Скорее! Скорее! Народ узнал. Весь

город в волнении. Прекращают работу. Не мешкайте ни минуты. Идите!»

Это воззвание страшно взволновало Говарда. Он заметался от арки к лифту и от лифта к углу, не зная, куда ему кинуться прежде. Потом, очевидно решившись, направился в угол и погрузился в созерцание хрустального шарика. Между тем глухой гул голосов, непрерывно долетавший со стороны арки, все усиливался. На один миг он превратился в дикий рев и снова стал замирать, точно раскат удаляющегося грома. Грехэма неудержимо потянуло туда, в галерею. Он бросил исподтишка быстрый взгляд на Говарда и, отдаваясь своему порыву, юркнул под арку. В два прыжка он очутился внизу и в следующий момент уже стоял на том самом балконе, где после пробуждения он застал трех человек.

Глава V

ДВИЖУЩИЕСЯ УЛИЦЫ

Он подбежал к решетке балкона. Откуда-то снизу до него донеслись громкие крики кишевшей на огромном пространстве волнующейся толпы. При его появлении в этих криках послышалось изумление.

Подавляющая грандиозность того, что он увидел, — вот первое, что поразило его. Под ним была площадь необычайных размеров, окруженная гигантскими зданиями. Вокруг всего широкого пространства площади стояли колоссальные кариатиды, поддерживая узорчатую, необыкновенно тонкой работы крышу из какого-то прозрачного вещества. Подвешенные наверху громадные шарообразные фонари разливали кругом такой ослепительно яркий свет, что перед ним меркли солнечные лучи, проникающие сквозь переплет крыши. Там и сям над этой глубиной висели легкие, как паутина, мостики, усеянные прохожими. В воздухе по всем направлениям были протянуты тонкие кабели.

Он видел над собой массивный фронтон ближайшего здания, противоположный же фасад был так далеко, что представлялся ему как в тумане: весь он был прорезан какими-то арками, большими круглыми отверстиями вроде бойниц, усеян балконами, башенками, широкими окнами и какими-то мудреными барельефами и испещрен по всем направлениям надписями, составленными из непонятных букв. В круглые отверстия, проделанные в стене этого

здания, были проведены особенно толстые кабели, прикрепленные под крышей площади в разных местах. Едва успел Грехэм заметить эти кабели, как внимание его привлекла крошечная человеческая фигура в светло-голубом. Человечек лепился под самой крышей на каменном выступе у места прикрепления одного из кабелей. Свесившись вперед, он возился с какими-то проводами, соединенными с главным кабелем, почти невидным на таком расстоянии. Вдруг он так стремительно бросился вниз, что у Грехэма замерло сердце, и, скользя по кабелю с головокружительной быстротой, исчез в одном из круглых отверстий здания по ту сторону площади.

До сих пор Грехэм смотрел только вверх и прямо перед собой, и то, что он видел, до такой степени завладело его вниманием, что он долго не замечал ничего другого. Но каково же было его изумление, когда он взглянул наконец вниз! Под ним была улица, но совсем не такая, к каким он привык. В девятнадцатом столетии улицами назывались полосы твердого, неподвижного грунта, вдоль которых посредине ехали экипажи, а по бокам шли пешеходы. А эта улица была футов в триста шириною и... двигалась. Двигалась вся, за исключением середины, которая была ниже краев. В первый момент это ошеломило его, но потом он понял, в чем дело.

Под балконом, где он стоял, эта необыкновенная улица неслась слева направо, неслась непрерывным потоком со скоростью курьерского поезда девятнадцатого века. Это была бесконечная платформа, составленная из отдельных, сцепленных между собою площадок, что позволяло ей следовать по всем поворотам пути. По всей платформе были расставлены скамьи, местами виднелись киоски. Но все это мчалось с такой быстротой, что он не мог рассмотреть подробностей. Таких движущихся платформ было несколько, все они шли параллельно одна другой. Ближайшая к нему, наружная, платформа двигалась с наибольшей быстротою; смежная с ней, бывшая немного пониже, двигалась тише; следующая — еще тише и так далее. Разница в скорости движения была так мала, что позволяла легко переходить с одной платформы на другую и таким образом перебираться на середину улицы, которая была неподвижна. А за этой неподвижной средней полосой начинался новый ряд платформ, которые тоже двигались с постепенно увеличивающейся быстротой, но только в обратную сторону, справа налево. Все эти платформы

кишели народом. Это была необыкновенно пестрая толпа. Одни на наружных платформах сидели группами, как в вагонах, другие переходили с платформы на платформу, направляясь к середине на неподвижной полосе.

— Вам нельзя здесь быть! — закричал Говард, неожиданно очутившийся возле него. — Сейчас же уходите!

Грехэм ничего не ответил. Он слышал слова, не вникая в них. Бегущие платформы грохотали, народ кричал. В этой проносившейся мимо толпе особенно выделялись молодые женщины, с распущенными волосами, в необыкновенно красивых и оригинальных нарядах, с какими-то перевязями на груди. Потом он заметил, что преобладающим цветом в этом калейдоскопе костюмов был светло-голубой. Он вспомнил, что такого цвета платье было и на подмастерье портного. До него донеслись крики: «Где Спящий?! Что сделали со Спящим?!» И вдруг вся ближайшая к нему платформа покрылась светлыми пятнами человеческих лиц. Поднимались руки, на него указывали пальцами. Он заметил, что на том месте неподвижной полосы улицы, которое приходилось против балкона, выросла густая толпа людей в голубом. Там завязалась какая-то борьба. Людей разгоняли в обе стороны, толкая на бегущие платформы, которые и увозили их против воли. Но, отъехав на приличное расстояние от места свалки, они сейчас же соскакивали опять на середину улицы и возвращались назад.

— Это Спящий, право, это Спящий! — кричали одни.

— Да нет, совсем не он! — перебивали другие. Все больше и больше лиц обращалось вверх, к балкону.

Грехэм заметил, что по всей длине средней полосы улицы, на равных расстояниях один от другого темнели открытые люки, служившие, по-видимому, началом лестниц, уходивших вниз, под землю. По всем этим лестницам вверх и вниз сновали люди. Один из ближайших к нему люков оказался центром разгоревшейся борьбы. Сюда сбегались голубые с движущихся платформ, ловко перепрыгивая с одной на другую. Внимание толпы на внешних платформах делилось между этим люком и балконом. Десятка два дюжих молодцов в ярко-красной форме, действовавших очень методично и дружно, были, по-видимому, приставлены к люку, чтобы никого не пускать вниз. Толпа вокруг них быстро росла. Яркий цвет их мундиров резко отличался от светло-голубых костюмов их противников — да, противников, так как было ясно, что между красными и голубыми происходит борьба.

Грехэм с жадным любопытством смотрел на эту картину, не обращая внимания на Говарда, который что-то кричал ему в ухо и тряс его за плечо. Потом Говард вдруг куда-то исчез, и Грехэм остался один.

Толпа продолжала кричать: «Вон Спящий, смотрите!» — и все новые и новые голоса подхватывали этот крик. Сидевшие на наружной, ближайшей к Грехэму, платформе вставали, и он заметил, что люди покидали ее по мере удаления от балкона. То же происходило и по ту сторону улицы на наружной платформе, мчавшейся в противоположном направлении: к балкону она приближалась, переполненная народом, а удалялась пустая. Толпа в середине улицы росла с невероятной быстротой: это было какое-то живое, волнующееся море. Отдельные крики «Спящий! Спящий!» слились в один сплошной, непрерывный ликующий рев. Махали платками, слышались крики: «Остановить улицы!» Выкрикивалось еще какое-то имя, совершенно незнакомое Грехэму: «Острог» или что-то в этом роде. Нижние платформы вскоре тоже переполнились народом, бежавшим навстречу их движению, чтобы не удаляться от балкона.

«Остановите, остановите улицы!» — раздавалось со всех сторон. Многие быстро перебегали с середины улицы на ближайшую к нему наружную платформу, проносились мимо, выкрикивая какие-то непонятные слова, потом соскакивали на смежные платформы и бегом возвращались назад с криком: «Да, да, это Спящий, это он!»

Сначала Грехэм стоял не шевелясь, но мало-помалу он понял, что эти крики относятся к нему. Эта неожиданная популярность очень польстила ему, и, желая как-нибудь выразить свою признательность, он поклонился и помахал рукой. Это вызвало такую бурю восторга, что он был поражен.

Свалка у люка приняла ожесточенный характер. Балконы переполнились людьми. Люди скользили по кабелям, проносились по воздуху через всю огромную площадь, сидя на каких-то трапециях. Он услышал за собой голоса: по лестнице, со стороны арки, бежало несколько человек. Он вдруг почувствовал, что его схватили за руку, и, обернувшись, увидел перед собой Говарда, кричавшего ему что-то, чего он за шумом не мог разобрать. Говард был бледен как полотно.

— Уйдите отсюда, — расслышал он наконец. — Они остановят улицы. Поднимется настоящий содом.

Грехэм увидел, что по галерее между колоннами бегут еще люди. Впереди была его стража — рыжий и белокурый — и еще какой-то высокий человек в красном мундире, а за ним бежала целая толпа других в такой же форме с жезлами в руках. У всех были встревоженные, перепуганные лица.

— Уведите его! — закричал им Говард.

— Зачем? — спросил Грехэм. — Я не понимаю...

— Говорят вам — уходите! — сказал человек в красном решительным тоном. Не менее решительным было и выражение его глаз. Грехэм обвел взглядом окружавшие его лица и тут в первый раз испытал самое неприятное ощущение из всех, какие бывают у человека, — сознание бессилия против грубой силы. Кто-то схватил его за руку... Его потащили с балкона. Тогда шум, доносившийся с улицы, удвоился и изменил характер: казалось, половина кричавших там голосов перенеслась наверх, в галерею огромного здания, в котором был он. Ошеломленного, растерявшегося, тщетно пытающегося сопротивляться Грехэма протащили через всю галерею, и не успел он опомниться, как очутился один с Говардом в клетке лифта, быстро уносившего их вверх.

Глава VI

ЗАЛ АТЛАСА *

С того момента, как ушел портной, и до того, когда Грехэм с Говардом очутились в лифте, прошло не более пяти минут.

Грехэма все еще окутывал туман его бесконечно долгой спячки: все еще непривычное для него сознание того, что он жив и живет в столь далекую от его прежней жизни эпоху, придавало в его глазах всему окружающему отпечаток чудесного, сказочного. Все, что он видел, было для него сном наяву. Он все еще был недоумевающим зрителем, оторванным от жизни, участвовавшим в ней лишь наполовину. Все его новые впечатления, особенно эта бушующая, ревущая толпа, которую он видел в рамке балкона, имела для него характер театрального представления, как будто он смотрел из ложи на сцену.

— Я не понимаю, — сказал он. — Из-за чего вся эта кутерьма? У меня мутится ум. Чего они требуют? Кому грозит опасность?

— Мы переживаем смутное время, — ответил Говард, избегая пытливого взгляда Грехэма. — Дело в том, что ваше появление, ваше пробуждение именно в данный момент как раз совпало с...

Он круто оборвал речь. Он говорил вообще с трудом, точно у него перехватило дыхание.

— Я не понимаю, — сказал Грехэм.

— Поймете позже, — отвечал Говард.

Он с беспокойством поглядел вверх, как будто ему казалось, что лифт поднимается слишком тихо.

— Надеюсь, что пойму, когда немного осмотрюсь, — проговорил Грехэм неуверенно. — А пока все это ошеломляет меня. Все кажется возможным, всему можно поверить, всему... У вас и счет, как я слышал, другой.

Лифт остановился. Они вышли и очутились между высокими стенами длинного узкого коридора, вдоль которого тянулись сотни толстых кабелей и труб.

— Неужели мы все в одном и том же здании? — спросил Грехэм. — Где мы?

— Это центральная сеть проводов, служащих для разных общественных надобностей, — освещения и так далее.

— А что это было на улице, под балконом? Бунт? Какое у вас управление? Полиция у вас еще есть?

— И даже не одна, — ответил Говард.

— Не одна?

— Да, целых четырнадцать видов.

— Ничего не понимаю.

— Ничего нет удивительного. Наш общественный строй, наверное, покажется вам очень сложным. А по правде сказать, я и сам плохо разбираюсь. Да и не я один... Вы, может быть, поймете со временем... Ну, идемте в Совет.

Внимание Грехэма все время раздваивалось. Ему хотелось успеть побольше расспросить Говарда обо всем, но его беспрестанно отвлекали новые впечатления, новые встречи в коридорах и залах, по которым они проходили. Мысли его то сосредоточивались на Говарде и его уклончивых ответах, то обрывались под ярким впечатлением чего-нибудь нового, неожиданного. Половина людей, попадавшихся им в коридорах и залах, были в красных мундирах. Светло-голубых холщовых костюмов, которые преобладали на движущихся улицах, здесь не было и следа. Все эти люди с любопытством смотрели на него и кланялись ему и Говарду.

Помнилось ему также, что они проходили каким-то длинным коридором, где было много маленьких девочек. Все они сидели рядами на низких скамейках, точно в классе. Учителя не было, а вместо него стоял какой-то невиданный аппарат, из которого, как ему показалось, исходил человеческий голос. Девочки с удивлением и любопытством разглядывали его и провожатого. Но его увлекли дальше, прежде чем он успел отдать себе отчет, что это было за сборище детей. Он решил про себя, что внимание попадавшихся им навстречу людей относилось не к нему, а к Говарду. Говард был, по-видимому, важной персоной, его же, Грехэма, ведь никто не знал. А между тем тот же Говард был приставлен к нему сторожем. Странно!..

Потом ему, как во сне, представлялся другой проход, над которым висел пешеходный мостик на такой высоте, что видны были только ноги проходивших по нему. У него осталось смутное впечатление еще каких-то переходов и встречных прохожих, которые оборачивались и с изумлением глядели вслед им обоим и сопровождавшему их конвойному в красном мундире!

Действие подкрепляющего питья, которое ему давали раньше, начинало проходить. Он скоро устал от быстрой ходьбы и попросил Говарда идти потише. Вскоре они опять сидели в клетке лифта. В ней было окно, выходившее на ту самую площадь, на которую он смотрел с балкона. Но окно было из не вполне прозрачного стекла и закрыто, и, кроме того, они были на большой высоте, откуда нельзя было различать движущихся улиц. Но зато он видел, как люди проносились в воздухе, скользя по кабелям, и сновали по хрупким, легким, как кружева, мостикам.

Потом они вышли из лифта и перешли улицу по узкому стеклянному крытому мосту, висевшему над ней на огромной высоте. Пол моста был тоже стеклянный, так что у него голова закружилась, когда он нечаянно посмотрел вниз. Ему вспомнились скалы между Нью-Кеем и Боскаслем, которые он представил себе так живо, как будто видел их вчера, и он решил, что этот мост должен находиться на высоте футов четырехсот над движущимися улицами. Он остановился и посмотрел себе под ноги, вниз, на копошившуюся там красно-голубую толпу людей, казавшихся крошечными на таком расстоянии, по-прежнему махавших руками и продиравшихся к балкону — к игрушечному балкончику, каким он ему представлялся теперь и на котором он недавно стоял. На этой высоте свет огромных освети-

тельных шаров был так ярок, что по контрасту с ним все, что было внизу, казалось подернутым мглою.

Вдруг откуда-то сверху, с еще более высокого пункта, сорвался человек, сидевший в открытой корзинке, — сорвался так стремительно, точно упал, — и, скользя по кабелю, пронесся мимо них. Глаза Грехэма невольно приковались к этому странному путешественнику, и, только когда тот исчез в круглом отверстии стены ниже моста, взгляд его опять обратился на бушевавшую внизу толпу.

Одна из наружных платформ мчалась, вся красная от покрывавшей ее сплошной массы красных мундиров. Когда она поравнялась с балконом, эта красная масса распалась на отдельные красные пятнышки и полилась с платформы на платформу к тому месту у люка, где происходила борьба.

Оказалось, что все эти красные люди были вооружены дубинками, которыми они действовали очень ловко, расшвыривая толпу. Раздался тысячеголосый яростный вопль, долетевшей до Грехэма наполовину заглушенным.

— Вперед! — крикнул Говард, толкая его.

В эту минуту еще какой-то человек бросился по кабелю вниз. Грехэм хотел посмотреть, откуда он слетел, и, взглянув вверх, увидел сквозь стеклянную крышу моста и сквозь сеть переплетавшихся над ней кабелей неясные очертания вертящихся лопастей, напоминавших крылья ветряных мельниц, и между ними просветы далекого бледного неба. Но тут Говард опять потащил его вперед.

— Я хочу посмотреть, — начал было Грехэм упираясь.

— Нет, нет, нельзя останавливаться, идите за мной! — закричал Говард, еще крепче сжимая его руку. Красные конвойные, сопровождавшие их, уже готовы были, как ему показалось, подкрепить это приказание более осязательным воздействием, и он должен был покориться. Вскоре они вошли в узкий коридор, все стены которого были испещрены геометрическими фигурами.

В глубине коридора показалось несколько негров в черных с желтым мундирах с узким перехватом у талии, отчего они были похожи на ос. Один из них поспешно отодвинул к стене какой-то щит, оказавшийся дверью, дал им пройти и повел их куда-то дальше. Они очутились в галерее, выступавшей в виде хор над одним концом высокого зала или, вернее, огромного вестибюля. На противоположном конце поднимавшиеся вверх ступени широкой лестницы вели к величественному порталу, полузавешенному тяже-

лой драпировкой. Здесь тоже стояли навытяжку негры в черных с желтым мундирах и белые люди в красном. Сквозь портал был виден другой зал, еще больших размеров.

Сопровождавший их черный служитель прошел вперед, отодвинул второй щит и остановился в ожидании. Проходя по галерее, Грехэм слышал, как шептались внизу, и видел, что все головы поворачивались в его сторону. «Спящий! Спящий!» — донеслось до него. Через узкий проход, проделанный в стене вестибюля, они вышли в другую галерею, железную, ажурной работы. Она тянулась вокруг того самого большого зала, который он уже увидел сквозь портал. Только теперь, очутившись в этом зале, он получил полное представление о его колоссальных размерах. Черный служитель с тонкой, как у осы, талией отступил в сторону, как подобает хорошо выдрессированному рабу, и задвинул за ними щит.

Все то, что Грехэм видел до сих пор, по роскоши убранства не могло идти в сравнение с этими хоромами. В противоположном конце зала, ярко освещенная, стояла гигантская, могучая белая фигура Атласа, в напряженной позе, с земным шаром на согнутой спине. Эта фигура поразила его: она была так колоссальна, так реальна в своем терпеливом страдании, так проста... Если не считать этой гигантской фигуры да высокой эстрады посредине зала, он был совершенно пуст. Эстрада терялась в огромном пространстве этой пустыни, и только группа из семи человек, стоявших на ней вокруг стола, давала понятие об ее настоящих размерах. Все эти люди были в белых мантиях. По-видимому, они поднялись со своих мест при появлении Грехэма и теперь в упор смотрели на него. На одном конце стола сверкала сталь каких-то механических приборов.

Говард провел его по галерее до того места, которое приходилось прямо против могучей, согнувшейся под тяжестью своей ноши фигуры. Тут они остановились. Два красных конвоира, не отстававших от них ни на шаг, стали по бокам Грехэма.

— Постойте здесь, я сейчас вернусь, — пробормотал Говард, и, не дожидаясь ответа, побежал куда-то дальше по галерее.

— Позвольте, — начал Грехэм и двинулся было вслед за Говардом, но один из красных загородил ему дорогу.

— Извольте оставаться здесь, сэр, — сказал он. — Так приказано.

— Кем?

— Все равно кем. Приказ.

Грехэм покорился.

— Что это за здание, — спросил он, — и кто эти люди?

— Члены Совета, сэр.

— Какого Совета?

— У нас один Совет.

— А... — пробормотал Грехэм и после безуспешной попытки заговорить с другим конвойным подошел к решетке галереи и стал смотреть на людей в белом, которые стояли внизу и в свою очередь смотрели на него, о чем-то перешептываясь.

Теперь он насчитал их восемь человек, хотя и не заметил, когда появился восьмой. Ни один из них не сделал ему знака приветствия. Они стояли и смотрели на него, как в девятнадцатом столетии остановившаяся на улице кучка людей могла бы смотреть на воздушный шар, неожиданно показавшийся вверху. Что это за таинственное собрание? Кто эти восемь человек, стоящие у ног внушительного белого колосса среди пустыни этого огромного зала, где их не могут подслушать ничьи нескромные уши? Зачем его поставили перед ними и зачем они так странно смотрят на него и говорят о нем шепотом, так что он не может их слышать? Внизу появился Говард. Он быстро шел через зал, направляясь к эстраде. Перед ступенями эстрады он остановился, отвесил глубокий поклон и проделал ряд своеобразных движений, как это, очевидно, полагалось по церемониалу. Потом он поднялся по ступенькам и стал у того конца стола, где были расставлены таинственные приборы. С ним заговорил один из членов Совета.

Грехэм с любопытством следил за их неслышной беседой. Он видел, как собеседник Говарда поглядывал наверх, в его сторону. Он тщетно напрягал слух: до него не долетало ни звука. Но, судя по энергичной жестикуляции обоих собеседников, разговор принимал все более и более оживленный характер. В недоумении он поднял вопрошающий взгляд на своих сторожей, но их бесстрастные лица ничего не сказали ему... Когда он снова взглянул вниз, он увидел, как Говард разводил руками и качал головой, явно протестуя. Его прервал один из белых сановников, ударив рукой по столу.

Разговор тянулся бесконечно долго — так по крайней мере казалось Грехэму. Он поднял глаза на безмолвного великана, у ног которого заседал Совет, потом взгляд его стал блуждать по стенам. Они были сплошь покрыты рисун-

ками в японском вкусе, вставленными в рамы из темного металла. Воздушная грация этих рисунков еще более усиливала внушительное впечатление, которое производила могучая белая фигура гиганта, застывшего в своей напряженной позе.

В то время как Грехэм вспомнил о Совете и снова посмотрел вниз, Говард спускался с эстрады. Когда он подошел настолько близко, что можно было рассмотреть его лицо, Грехэм заметил, что он очень красен и отдувается, как человек, только что покончивший с трудной задачей. Следы волнения еще оставались на его лице даже и тогда, когда он поднялся на галерею.

— Сюда, — сказал он коротко, и все четверо направились к маленькой двери, которая отворилась при их приближении. Красные конвойные стали по бокам этой двери, а Говард попросил Грехэма войти. На пороге тот обернулся назад и увидел, что белые члены Совета все еще стоят на прежнем месте тесной группой и смотрят ему вслед. Потом тяжелая дверь затворилась за ними, и в первый раз с момента своего пробуждения Грехэм очутился в полной тишине. Даже пол был затянут войлоком, так что не слышно было шагов.

Говард отворил вторую дверь, и они вошли в первую из двух смежных комнат, в которой все убранство было белого и зеленого цвета.

— Что это за Совет? — спросил Грехэм. — О чем они совещались? Что они намерены сделать со мной?

Говард тщательно запер дверь, тяжело перевел дух и что-то пробурчал себе под нос, потом прошелся по комнате и остановился перед Грехэмом, отдуваясь.

— Уф! — вырвалось у него с облегчением.

Грехэм смотрел на него и ждал.

— Надо вам знать, — начал Говард, избегая его взгляда, — что наш общественный строй очень сложен. Всякое неполное объяснение может дать вам совершенно ложное представление о нем. Все дело тут отчасти в том, что ваш маленький капитал вместе с завещанным вам состоянием вашего кузена Уорминга, увеличиваясь из года в год процентами и процентами на проценты, вырос до чудовищной цифры. А кроме того, и по другим причинам — я не могу вам объяснить почему — вы стали важным лицом, настолько важным, что можете влиять на судьбы мира.

Он замолчал.

— Ну и что же? — спросил Грехэм.

— У нас теперь трудное время... Народ волнуется...
— Ну?
— Ну, словом, дела обстоят таким образом, что признано целесообразным изолировать вас.
— То есть посадить меня под замок?
— Нет... только попросить вас побыть некоторое время в уединении.
— Это по меньшей мере странно, — возмутился Грехэм.
— Вам не сделают никакого вреда, но вам придется посидеть...
— Пока мне не растолкуют, какое отношение имеет моя личность к вашим общественным делам?
— Именно.
— Прекрасно. Так начинайте же ваши объяснения. Почему вы сказали: «Не сделают вреда»? Разве и это было под сомнением?
— Сейчас я не могу ответить на этот вопрос.
— Почему?
— Это слишком длинная история, сэр.
— Тем больше причин начать ее не откладывая. Вы говорите, я важная особа. В таком случае вы должны исполнить моё требование. Я хочу знать, что значат крики толпы, которые я слышал с балкона? Какое отношение они имеют к тому, что я очнулся от моей многолетней спячки? И кто те люди в белом, которые сейчас совещались обо мне?
— Все в свое время, не торопитесь, — сказал Говард. — Мы переживаем переходное время: никто ни в чем не уверен. Ваше пробуждение... Никто не ожидал, что вы проснетесь. Это событие и обсуждает Совет.
— Какой Совет?
— Тот, который вы видели.
Грехэм сделал порывистое движение.
— Это черт знает что! Вы обязаны все мне рассказать!
— Вооружитесь терпением. Я очень вас прошу, подождите.
Грехэм резко опустился на стул.
— Я так долго ждал возвращения к жизни, что, очевидно, могу и еще подождать, — сказал он.
— Вот так-то лучше, — одобрил Говард. — А теперь мне придется оставить вас... ненадолго. Мне нужно быть в Совете... Извините.
Он направился к выходу, приостановился было в нере-

шительности, потом бесшумно отворил дверь и исчез.

Грехэм попробовал дверь и убедился, что она заперта каким-то особенным, неизвестным ему способом, потом повернулся, походил из угла в угол и сел. Он долго сидел неподвижно со скрещенными руками, с нахмуренным лбом, стараясь связать в одно целое все пестрые впечатления первых часов своей новой жизни. Эти гигантские сети протянутых в воздухе кабелей, паутина висячих мостов, эти огромные залы, бесконечные переходы; эта бурная волна народного движения, заливающая улицы, потом эта кучка белых людей у ног колоссального Атласа, — людей, явно недоброжелательно к нему настроенных; загадочное поведение Говарда, его обмолвки о каком-то огромном капитале, который по праву принадлежит ему, Грехэму, но которым, может быть, уже успели распорядиться без него; намеки на чуть ли не мировое значение его личности — всего этого никак не мог вместить его ум. Что он должен делать? Вернее, что он может сделать? Эти законопаченные комнаты красноречиво говорили о том, что он узник.

На одну минуту ему показалось несомненным, что весь этот ряд подавляющих впечатлений — просто сон. Он попробовал закрыть глаза, что оказалось не трудно, но это освященное временем средство не привело к пробуждению.

Потом он принялся исследовать все незнакомые детали обстановки обеих маленьких комнат, куда его заперли.

В большом овальном зеркале он увидел свое отражение и был поражен: на нем был изящный костюм, пунцовый со светло-голубым. Остроконечная, с легкой проседью бородка и полуседые волосы, оригинально, но красиво зачесанные надо лбом, совершенно меняли его лицо. Теперь ему можно было дать на вид лет сорок пять. В первую минуту он не узнал себя. И громко расхохотался, когда наконец узнал.

«Вот зайти бы к Уормингу в таком виде и предложить ему пойти со мной позавтракать в ресторан!» — мелькнуло у него в голове.

Продолжая смеяться, он стал перебирать одного за другим тех немногих близких друзей своей молодости, над кем можно было бы теперь так хорошо пошутить, и вдруг вспомнил, что из всех этих людей не осталось в живых ни души, что они умерли много десятков лет тому назад. Сердце его сжалось острой болью, смех разом обор-

вался и сменился выражением отчаяния на побледневшем лице.

Но потом более яркая, волнующая картина огромных зданий и этих удивительных движущихся улиц, запруженных народом, снова выступила на первый план. Отчетливо, как живые, представились ему толпы кричащих людей и эти неслышно совещающиеся вдали сановники в белом, в которых он чувствовал врагов. Какую маленькую, ничтожную фигурку представляет он собою! Как он бессилен и жалок при всем своем «мировом значении»! И как странно, как непонятно все, что его окружает, — весь мир!

Глава VII

В ПОКОЯХ БЕЗМОЛВИЯ

Но надо было жить, надо было чем-нибудь наполнять свое время. Грехэм вздохнул и принялся за осмотр своего помещения. Любопытство пересиливало и усталость, и тоску.

Первая комната была очень высока, с потолком в виде купола. Посредине этого купола был овальный прорез, выходящий на крышу воронкой, и снизу были видны широкие лопасти вращавшегося в нем колеса — очевидно, приспособления для вентиляции. Слабое гудение колеса было единственным звуком, нарушавшим тишину. В промежутках между тихо вертевшимися лопастями мелькали полоски темного неба, и вдруг Грехэм увидел звезду.

Это очень его удивило и заставило обратить внимание на тот факт, что в комнате не было окон. Он осмотрел ее внимательнее и заметил, что своим ярким освещением, не уступавшим дневному свету, она была обязана маленьким лампочкам, которыми были усеяны все карнизы. Тогда он стал припоминать и вспомнил, что ни в одном из огромных коридоров и залов, которыми они с Говардом проходили, он не заметил окон. Правда, он видел несколько окон, выходивших на улицу, но для освещения ли предназначались они? Быть может, они имели другое назначение. Может быть, этот город освещается искусственным светом и ночью, и днем, так что в нем никогда не бывает темно?

Поразила его еще одна вещь: ни в той, ни в другой комнате не было камина. Может быть, на дворе стояло лето и эти комнаты были летним помещением? Или, быть может, весь город равномерно отапливается зимой и так же равномерно охлаждается летом? Его это заинтересовало. Он

тщательно ощупал гладкие стены, осмотрел все карнизы, углы: нигде не было и следов каких-нибудь проводов для отопления. В одном углу стояла кровать, на вид очень простая, но с целым ассортиментом остроумных приспособлений, позволявших обходиться без посторонних услуг. Все вообще поражало полным отсутствием вычурных украшений при необыкновенной красоте форм и таком приятном сочетании цветов, что нельзя было оторвать глаз. На всем лежал отпечаток изящной простоты. Эта кровать да несколько удобных кресел вокруг легкого небольшого стола составляли всю меблировку. На столе стояли стаканы, бутылки с напитками и два блюда с каким-то полупрозрачным кушаньем, похожим на желе. Но странно: не было ни книг, ни газет, ни письменных принадлежностей. «И вправду, видно, свет переменился», — подумал Грехэм.

Во второй комнате вдоль одной стены тянулся длинный ряд небольших цилиндров с зелеными надписями по белому фону, что вполне гармонировало с убранством этой комнаты. Посредине этого ряда цилиндров выступал вперед, в виде квадратного ящика около ярда длиной и шириной, какой-то аппарат. Одна его сторона, обращенная к комнате, представляла собой гладкую белую доску. Перед аппаратом стоял стул.

Сначала Грехэм занялся цилиндрами. «Уж не заменяют ли им книги эти приборы?» — мелькнуло у него в голове. Надписей он долго не мог разобрать. В первую минуту ему показалось, что они на русском языке, но потом по некоторым словам он догадался, что это сокращенные английские фразы. «Человек, котор хтел быть королем», — прочел он на одном цилиндре.

— А-а, «Человек, который хотел быть королем». Фонетическое правописание!

Он вспомнил, что читал когда-то повесть под этим заглавием; припомнил и саму повесть, одну из лучших в мире. Затем он разобрал еще два заглавия на двух других цилиндрах: «Сердце тьмы» и «Мадонна будущего». О таких книгах он никогда не слышал. Если они существуют, то, значит, их авторы жили не в царствование Виктории, а позднее. Он повертел в руках еще один цилиндрик и поставил на место. Потом перешел к четырехугольному аппарату. «Это уж, во всяком случае, не книга». Он снял крышку. Внутри оказался такой же цилиндрик, как и остальные, только с кнопкой на верхнем конце вроде кнопки электрического звонка. Он нажал эту кнопку. Что-то затрещало,

и, когда треск прекратился, он услышал музыку и голоса, а на белой поверхности передней доски появились цветные движущиеся тени. Тогда он понял, что это за аппарат. Он отступил на шаг и стал смотреть.

На гладкой поверхности передней доски отчетливо выступила картина. Фигуры на ней двигались, как живые. И не только двигались, но и говорили, правда, слабыми, как будто издалека доносившимися голосами. Получалось такое впечатление, как если бы смотреть на сцену в перевернутый бинокль и слушать через длинную трубку.

Начало представления сразу заинтересовало его. Действующих лиц было двое — мужчина и женщина, очень хорошенькая. Мужчина — молодой человек — в волнении расхаживал по сцене, осыпал гневными упреками женщину, которая дерзко возражала ему. Оба были в живописных костюмах своего времени, казавшихся такими странными человеку девятнадцатого столетия. «Я работал, — говорит мужчина, — а что делала ты?»

— Ого! Да это любопытно! — пробормотал Грехэм и опустился на стул перед экраном.

Он так увлекся миниатюрным спектаклем, что забыл обо всем. Через пять минут он с удивлением убедился, что маленькие фигурки вдруг упомянули о нем. «Когда проснется Спящий!» — услышал он. Это было сказано в ироническом смысле. Фраза, очевидно, вошла в поговорку и применялась в таких случаях, когда говорили о чем-нибудь очень далеком, несбыточном, невероятном. С большим интересом он прослушал всю пьесу, заканчивавшуюся трагически, и оба ее главных героя стали ему близки и понятны.

Что за странная была эта жизнь, — жизнь другой, чуждой эпохи! Что за странный уголок незнакомого мира, в который ему довелось заглянуть! Поистине удивительный мир беззастенчивых энергичных людей, людей с тонким вкусом, жаждущих наслаждений, и вместе с тем мир экономической борьбы... В пьесе было много такого, чего он не понял, да и не мог понять: какие-то намеки на злободневные вопросы и тому подобное. Но по некоторым маленьким черточкам можно было судить, как радикально изменились за два века нравственные идеалы. Голубой холст, занимавший так много места в его первых впечатлениях от нового Лондона, и здесь фигурировал много раз — и всегда как одеяние простолюдина. Пьеса была, несомненно, из современного быта и отличалась глубоким реализмом.

Он еще долго сидел, погруженный в раздумье, после того как она кончилась и экран опустел.

Но вот он наконец встряхнулся, протирая глаза. Новейший суррогат нашего теперешнего «романа» так всецело завладел его воображением, что, увидев себя опять в зеленой с белым комнате, где стояли цилиндры, он удивился почти не меньше, чем при пробуждении от своего двухсотлетнего сна.

Он встал, оглянулся кругом и сразу вернулся из мира фантазии в страну реальных чудес. Яркое впечатление маленькой драмы, разыгранной на экране кинетоскопа, побледнело, и перед ним опять встали картина борьбы на необъятном пространстве движущихся улиц, таинственный Совет в зале Атласа и все быстрые фазы его переживаний с минуты пробуждения. В пьесе говорилось о Совете как о власти неограниченной, самодержавной. Много раз упоминалось и о Спящем... Это его почти не поразило тогда; до его сознания в то время как-то не доходило, что ведь он-то и есть этот Спящий... И он стал припоминать, что именно говорили о нем.

Потом он машинально снова прошел в первую комнату, спальню, и стал смотреть на небо в промежутках между вертящимися лопастями колеса. Если не считать ритмического слабого стука лопастей, кругом стояла мертвая тишина. Комната по-прежнему была ярко освещена неугасимым искусственным светом, но он заметил, что мелькавшие вверху узкие полоски неба теперь казались почти черными и были усеяны звездами.

От нечего делать он снова принялся бродить по комнатам. Наружной двери, обитой чем-то мягким, он никак не мог отворить, как ни старался. Хотел позвонить, но не нашел ни звонка, ни каких-либо других приспособлений, чтобы вызвать прислугу. Чудеса новой жизни уже не удивляли его, но ему страстно хотелось разобраться в своем положении, хотелось знать, какое место занимает он среди новых людей. Он убеждал себя успокоиться и терпеливо ожидать, пока к нему придут, но не мог справиться со своим волнением. Желание знать и жажда новых ощущений томили его.

Он опять вернулся в комнату с кинетоскопом. Он давно уже догадался, что в нем можно менять цилиндры, и теперь ему хотелось узнать, как это делается. Он долго копался, прежде чем ему удалось найти секрет. «А эти цилиндрики, должно быть, много поспособствовали закреплению языка.

5 Заказ 122

Он так мало изменился за эти два столетия, что я свободно понимаю его», — подумалось ему. Он взял наудачу первый попавшийся цилиндр и вставил его в аппарат. Аппарат на этот раз воспроизвел оперу. Музыка была незнакомая, но фабулу он сразу узнал. Это была история Тангейзера * в переделке на современные нравы. Сначала ему очень понравилось. Играли живо и с большим реализмом. Но что это такое? Этот Тангейзер посещает не Грот Венеры, а Город Наслаждений... Что это? Фу, какая гадость! Не может быть, чтобы это было списано с жизни! Это просто плод фантазии — разнузданной фантазии развратного писаки... Нет, положительно ему не нравилась эта опера: очень уж она била на животные инстинкты человека. И чем дальше, тем хуже. Он возмутился. Какое это искусство? Где же тут идеализация действительности? Это просто фотографические снимки самых грубых сторон человеческой жизни... Нет, нет, довольно с него этих Венер двадцать второго столетия!..

Он и забыл, какую роль играл прототип этих самых Венер в «Тангейзере» девятнадцатого века, и отдался своему архаическому негодованию. Ему стало стыдно. Он поднялся со стула, почти сердясь на себя за то, что мог себе позволить смотреть на эту мерзость, хотя бы и без свидетелей. Нетерпеливым движением он пододвинул к себе аппарат и принялся трогать то тот, то другой рычажок, чтобы остановить механизм. Что-то щелкнуло. Блеснула фиолетовая искра, ему свело руку и обожгло палец. Машина стала. Когда на другой день он хотел заменить цилиндрик с «Тангейзером» чем-нибудь другим, то аппарат оказался испорченным.

Он принялся ходить из угла в угол, стараясь справиться со всей этой массой впечатлений, которые давили его. То, что он уже успел подметить из действительной жизни нового Лондона, и то, что ему открыли цилиндрики, сбивало его с толку своим противоречием. Странная вещь: никогда раньше, дожив до тридцати с лишним лет, он не представлял себе такой картины грядущих времен. «Мы в наше время созидали будущее, — думал он, — и ни одному из нас не приходило в голову задаться вопросом, какое будущее мы создаем... Так вот оно, это будущее! К чему идут эти слепцы? Чего они достигли? О, зачем моя злая судьба привела меня к ним?..

Его не поражала грандиозность улиц и зданий, не поражало и многолюдство. Но эти рукопашные схватки! Этот

жестокий антагонизм между согражданами! И это систематическое потакание своим низменным инстинктам среди богатых классов...

Он вспомнил социалистическую утопию Беллами *, так далеко опередившую то, что он нашел здесь, проспав двести лет. Нет, этого никто не назовет утопией. Где тут социалистический строй? Он уже достаточно видел теперь, чтобы убедиться, что исконное противоречие между роскошью, расточительностью, удовлетворением чувственности, с одной стороны, и позорной бедностью — с другой, оставалось во всей своей силе. Главнейшие факторы человеческой жизни были ему настолько хорошо известны, что он ясно понимал все значение такого соотношения. Не только здания в этом городе были колоссальны. Не только колоссальны были толпы народа, запрудившие его. Колоссально было и всеобщее недовольство. О нем кричали люди на улицах, о нем говорила растерянность Говарда: оно носилось в воздухе; все было пропитано им. Где он? В какой стране? Как будто в Англии. А между тем все здесь чуждо ему... такое все «не свое»... Он попробовал представить себе остальной мир, но мысль его остановилась перед завесой тумана, за которой все было загадкой.

Ломая голову над этими вопросами, он метался из комнаты в комнату, как зверь в клетке. От усталости он дошел до той степени лихорадочного возбуждения, когда уже не можешь ни сидеть, ни лежать. Он то становился под вентилятор и прислушивался, стараясь уловить далекие отголоски уличных волнений, которые, он был уверен, все еще продолжались, то принимался говорить сам с собой.

«Двести три года, — твердил он без конца, смеясь бессмысленным смехом. — Мне, стало быть, теперь двести тридцать три. Старейший из живущих... Надеюсь, они еще не упразднили прав старшинства. Мои права неоспоримы — права человека девятнадцатого столетия. Что ни говори, а великий был наш век... Великий? А болгарская война? А турецкие зверства?* Ха-ха!»

В первую минуту он и сам удивился, поймав себя на этом смехе, а потом стал опять хохотать громко, без удержу. Сообразил, что ведет себя как сумасшедший. «Полно, полно! Возьми себя в руки», — сказал он себе. Он умерил шаги, стараясь ходить ровнее. «Новый мир... Не понимаю я его... Почему все пришло к этому? Кто мне ответит?.. Должно быть, они теперь умеют летать и мало ли что еще... Надо припомнить, как начиналось у нас с этими полетами...»

И он перенесся воображением на двести лет назад. Мало-помалу воспоминания его приняли личный характер. Год за годом перебирал он первые тридцать лет своей жизни. Сначала ему казалось, что память его ослабла, что многое он забыл. Мелькали какие-то обрывки воспоминаний, все больше мелочи, случайные встречи, не игравшие в его жизни никакой роли. Ярче другого вспоминалось детство, школьные годы, школьные книги. Но потом постепенно стало оживать и дальнейшее: знаменательные события, трагические моменты... Образ давно умершей жены, ее когда-то столь магические для него чары. Ожили и другие забытые образы — лица соперников, друзей и врагов. Вспомнились тяжелые минуты колебаний, минуты быстрых решений и, наконец, последние годы сомнений и внутренней борьбы, закончившиеся напряженной умственной работой. Вскоре он убедился, что прошлое вернулось к нему немного потускневшее, быть может, как металл, долго пролежавший без употребления, но не утерявшее ни одной черточки, так что его можно было освежить. Освежить? Но зачем? Что принесет ему это, кроме гнетущей тоски? Каким-то чудом он был оторван от жизни, ставшей невыносимой. Надо благодарить за это судьбу.

Мысль его вернулась к настоящему. Тщетно он старался осмыслить факты, разобраться в невылазной путанице новых впечатлений... Он поднял глаза к вентилятору в потолке и увидел, что небо порозовело. «Скоро солнце взойдет, надо уснуть», — подумал он. «Уснуть! Какое блаженство!» Только теперь он почувствовал, как отяжелели его члены, как он жестоко устал. Он подошел к простенькой маленькой кровати с мудреными приспособлениями, лег и мгновенно заснул.

Ему пришлось познакомиться со своей тюрьмой ближе, чем он думал, ибо его продержали в заточении трое суток. Странная, непостижимая судьба: вернуться к жизни только затем, чтобы быть оторванным от нее и обреченным на полное одиночество! Перед загадочностью этого заточения бледнело даже чудо его воскрешения из мертвых после двухсотлетнего сна.

За все трое суток к нему не входил никто, кроме Говарда, который в определенные часы приносил ему пищу и питье. И кушанья, и напитки были очень вкусны, и питательны, но совершенно незнакомы Грехэму. Говард, входя, всякий раз очень тщательно запирал за собою дверь. Он был всегда очень любезен, охотно разговари-

вал о пустяках, но уклонялся от всяких объяснений насчет того, что особенно занимало Грехэма и из-за чего, как он был уверен, все еще продолжалась борьба за этими глухими стенами. Стоило только задать вопрос об общем положении дел в государстве, как тот заговаривал о другом.

Чего только не передумал Грехэм за эти трое суток! Зачем его держат взаперти? Зачем умышленно оставляют в неведении? Зачем им непременно нужно, чтоб он ничего не видел и не знал? Чтобы объяснить себе эту загадку, он старательно припоминал то, чему был свидетелем, но ни одно объяснение не удовлетворяло его. Кругом него и с ним самим творились такие чудеса, что все становилось возможным и вероятным. Теперь его ничто не удивит; он был готов ко всему. Таким образом, когда пришла наконец минута освобождения, она его не застала врасплох.

Уже и раньше он догадывался, что во всем совершающемся не последнюю роль играет личность Спящего, то есть собственная его особа, и поведение Говарда только укрепляло его в этой догадке. Беззвучно отворяясь и затворяясь за этим хитрецом, тяжелая мягкая дверь, казалось, пропускала отголоски происходивших за нею важных событий. И даже на самые настойчивые, прямые вопросы он отвечал одними увертками.

— Пробуждения вашего не предвидели, а тут, как на грех, оно еще совпало с критическим моментом социального переворота, — твердил он на разные лады. — Чтобы объяснить вам все, пришлось бы рассказать историю страны за полтора гросса лет.

— Я понимаю, в чем дело, — сказал Грехэм. — Вы боитесь меня: боитесь, что я могу вам повредить... Очевидно, у меня есть какая-то власть... или могла бы быть, если б...

— Нет, не то. Прямой власти у вас нет, но... Это я вам, пожалуй, скажу. Ваше громадное состояние (оно возросло до чудовищной цифры за эти двести лет) дает вам опасную возможность вмешательства в общественные дела. Могут оказать нежелательное влияние и ваши допотопные понятия восемнадцатого века.

— Девятнадцатого, — поправил Грехэм.

— Это не меняет дела. Понятия остаются все-таки допотопными, раз вам не знакома ни одна черта нашего общественного строя.

— Скажите, вы считаете меня дураком?

— Конечно, нет.

— Так отчего же вы думаете, что я буду действовать безрассудно?

— Мы, видите ли, не ожидали, что вы вообще когда-нибудь будете действовать. На ваше пробуждение никто не рассчитывал. Ну разве можно было думать, что вы проснетесь? Все были уверены, что вы давно умерли. На вас смотрели, как на диковину, как на беспримерный феномен приостановки разложения — и только. По распоряжению Совета были применены все новейшие антисептические средства, чтобы как можно дольше сохранить ваш труп. И вот... Но это слишком сложно объяснять. Я не могу так, сразу, без всякой подготовки... Вы ведь еще не совсем проснулись.

— Постойте, не виляйте! — остановил его Грехэм. — Вы говорите, опасное влияние... допотопные понятия... Допустим, что это так. Но отчего же в таком случае вы не поделитесь со мной вашей мудростью? Вам следовало бы с утра до ночи, не теряя времени, знакомить меня с фактами, с новыми условиями жизни, чтобы я мог употребить свое влияние с пользой. А я... Чему я научился, что я узнал за эти два дня, с тех пор как проснулся?

Говард поджал губы.

— Я отлично вижу все сложные махинации этого вашего Совета, Комитета или как его там. Вы — его креатура. Говорите же, зачем меня прячут? Кому это нужно? Неужели причина — мое несчастное богатство? Может быть, пока я здесь сижу, ваш Совет стряпает отчет о моих деньгах, который и представит мне потом?

— Такое подозрение... — начал было Говард.

— Э, что там! Не в том дело, — перебил Грехэм. — Скажу вам только, это не пройдет даром тем, кто меня сюда засадил. Не пройдет, попомните мое слово! Я жив. Жив, могу вас уверить. С каждым днем мой пульс бьется сильнее и яснее работает ум. Довольно опеки! Я вернулся к жизни и хочу жить.

— Жить?!

Лицо Говарда осветилось какой-то новой мыслью. Он подошел к Грехэму и заговорил конфиденциальным, дружеским тоном:

— Совет поместил вас сюда для вашего же блага. Но вас это волнует. Понятное дело: вы человек энергичный. Вам здесь скучно. Но все, чего бы вы ни хотели... всякое ваше желание будет исполнено — мы уж позаботимся об этом... Может быть, вы хотели бы... общества?

Он сделал многозначительную паузу.

— Да, хотел бы, — подумав, ответил Грехэм.

— Так и есть! Как это мы упустили из виду?

— Я хотел бы видеть народ: тех людей, что кричали на улицах...

— Ну, это, боюсь... — Говард замялся. — Но всякое другое общество...

Грехэм стал ходить по комнате, не отвечая. Говард стоял у двери, наблюдая за ним. «Что хочет он сказать своим предложением? Что значат его намеки?» Грехэму это было не совсем ясно. «Общество!» А что, если поймать его на слове и потребовать себе собеседника, все равно кого. Может быть, можно было бы вытянуть из этого человека хоть что-нибудь относительно общественных событий? Узнать по крайней мере, чем кончилась междоусобица, разыгравшаяся в момент его пробуждения?

Он все ходил, соображая, и вдруг догадался, на что намекал Говард. Он круто повернулся к нему.

— Что вы хотели сказать? Какое общество вы мне предлагали?

Говард поднял на него испытующий взгляд и пожал плечами.

— Общество человеческих существ, разумеется, — проговорил он с двусмысленной улыбкой на своем деревянном лице. — Надо вам сказать, что в отношении моральных идей, как и во многом другом, мы шагнули вперед сравнительно с вашей эпохой. Если бы вы пожелали, например, развлечься в вашем уединении... женским обществом, мы не нашли бы в этом ничего зазорного, уверяю вас. Мы сумели освободиться от предрассудков. В нашем городе существует особый класс женщин — необходимый класс, — отнюдь не заклейменный всеобщим презрением, как это было в ваше время, и...

Грехэм остановился перед ним и слушал, что будет дальше.

— Это вас развлекло бы, помогло бы вам скоротать время, — продолжал Говард. — Мне следовало бы раньше вспомнить... Но я так озабочен... У нас там такое творится, что голова идет кругом.

И он махнул рукой в сторону двери.

Грехэм колебался. На один миг в его воображении встал образ красивой женщины и своей доступностью соблазнительно манил его к себе. Но минута слабости прошла. В нем закипело негодование.

— Нет! — крикнул он резко и снова принялся нервно шагать из угла в угол.

— Я понимаю, в чем тут дело, — заговорил он опять минуту спустя. — Все, что вы делаете, все, что вы говорите, убеждает меня, что с моей особой связан исход каких-то важных событий, что от меня зависит, какой они примут оборот. И вы рассчитываете усыпить меня развратом. Так знайте же: я не хочу развлекаться, как вы это называете. Конечно, и распутство тоже жизнь в известном смысле. А что потом? Вечная смерть, забвение... В прежней моей жизни я много думал над этим проклятым вопросом. Я решил его для себя ценою страдания и не намерен начинать сначала. Мне нужны люди, народ, а вы держите меня здесь, как кролика в мешке...

Он дал волю душившему его бешенству. Он потрясал кулаками, выкрикивал архаические проклятия своего века, топал ногами, грозил.

— Я не имею понятия, какой вы партии, каковы ваши симпатии, кто вы такой вообще. Я ничего не знаю, и вы нарочно не пускаете меня к свету. Но что вы меня заперли не с добрыми намерениями, это я знаю. И я предупреждаю вас, предупреждаю: берегитесь последствий! Как только я буду у власти...

Он вдруг остановился, сообразив, что такие угрозы могут быть для него роковыми. Говард смотрел на него с каким-то странным выражением в глазах.

— Прикажете передать это Совету? — спросил он.

Грехэму вдруг захотелось броситься на этого негодяя, ударить его, придушить. Должно быть, это отразилось на его лице, потому что Говард мгновенно очутился у двери. В следующую секунду она беззвучно затворилась за ним, и человек девятнадцатого века остался один.

С минуту он стоял в оцепенении, забыв даже опустить свои сжатые кулаки. Потом ударил себя по лбу с криком: «Какой я дурак! О господи, как глупо я себя вел!» — и снова забегал по комнате в бессильной злости.

Он долго еще бесновался, проклиная судьбу, браня себя за глупость, меча громы и молнии на мерзавцев, которые заперли его. Он бесновался, потому что не решался хладнокровно взглянуть на свое положение и постараться вникнуть в него. Он злился и взвинчивал себя, потому что боялся понять, боялся того страха, который его охватит, когда он поймет. Мало-помалу он успокоился настолько, что был в состоянии рассуждать. «Я не могу себе объяснить, зачем

они меня заперли, — говорил он себе. — Но ведь есть же у них законы, новые, свои. Стало быть, у них допускаются такие меры, и со мной поступают по закону. Цивилизация ушла вперед на целых два столетия, и, значит, эти люди далеко опередили мое поколение. Не может быть, чтобы они были менее гуманны, чем мы. А между тем — как это сказал Говард? — они сумели освободиться от предрассудков. Что, если гуманность для них такой же предрассудок, как целомудрие?»

Его фантазия стала усиленно работать, рисуя не очень приятные картины того, что могут с ним сделать. И как он ни старался отвязаться от этих картин, призывая на помощь рассудок, это плохо ему удавалось.

«Ну что ж, будь что будет! — решил он наконец. — В крайнем случае я уступлю, исполню их требования. Но каковы их требования? Чего они хотят? И отчего не скажут прямо, чего им от меня нужно, вместо того чтобы держать меня под замком?»

И опять пошли бесконечные догадки о том, как намерен Совет распорядиться его особой. Снова и снова припоминал он в мельчайших подробностях поведение Говарда, его зловещие взгляды, необъяснимые увертки, замалчивания... Некоторое время мысли его упорно кружились на одном месте, изыскивая способы побега. Но если б даже удалось бежать, куда он денется в этом огромном, чужом ему мире? Это все равно, как если бы какой-нибудь древнесаксонский крестьянин неожиданно очутился в Лондоне девятнадцатого столетия. Да и есть ли возможность убежать из этих законопаченных комнат?

«Может быть, они решили меня уморить. Но кому может быть выгодна моя смерть?»

Ему вспомнилась волнующаяся толпа, рукопашные схватки на улицах, гневные крики — все признаки близкого социального переворота, центром которого каким-то непостижимым образом был он сам. Из темных глубин его памяти ни с того ни с сего всплыли слова, когда-то сказанные другим Советом:

«Во имя общего блага пусть один человек умрет за народ».

Глава VIII

НА КРЫШАХ

Через овальную прорезь в потолке первой комнаты

долетали снаружи какие-то неопределенные звуки. Мелькавшие между лопастями колеса промежутки, теперь почти совсем черные, показывали, что на дворе была ночь. Поглощенный мрачными мыслями о том, как с ним поступят в конце концов неведомые власти, которым он так опрометчиво бросил вызов, Грехэм стоял под вентилятором, забыв об окружающем. Вдруг он вздрогнул от нового неожиданного звука: он услышал над собой человеческий голос.

Он поднял голову и сквозь просветы между вертевшимися лопастями различил смутные очертания лица и плеч человека, смотревшего на него. Вот протянулась темная рука. Ближайшая лопасть, пролетая, ударила по ней острым ребром, и сверху на пол закапало что-то жидкое.

Грехэм нагнулся: на полу была кровь. В испуге он снова вскинул голову к потолку. Фигура исчезла.

Он не пошевелился, напряженно всматриваясь в мигавшую между лопастями черноту ночи. Он заметил, что в воздухе над вентилятором плавают какие-то пушинки: они то налетали порывами, то скрывались из глаз, относимые ветром, который поднимали лопасти колеса. Откуда-то неожиданно блеснул яркий луч света. Пушинки сверкнули в нем белыми искорками, и затем все снова погрузилось в темноту. Стало быть, за стенами его теплой, ярко освещенной тюрьмы была зима и шел снег.

Он машинально прошелся по комнате и снова стал под вентилятор. Там теперь опять торчала человеческая голова. Он услышал шепот. Потом раздался резкий звук удара по металлу, послышалась возня, глухой говор, и колесо остановилось. В комнату вихрем ворвались снежные хлопья и растаяли, не долетев до полу.

— Не бойтесь, — донеслось до него сверху.

— Кто вы? — прошептал он в ответ.

С минуту нельзя было различить ничего, кроме лопастей колеса, которые еще слегка раскачивались по инерции. Потом в один из промежутков осторожно просунулась человеческая голова. Человек этот висел почти вверх ногами, уцепившись рукой за что-то невидимое в темноте — должно быть, за край вентиляционной трубы. Судя по тому, как у него на лбу вздулись жилы, надо было думать, что ему очень трудно удерживаться в этой позе. Его темные волосы были мокры от снега. Лица нельзя было хорошо рассмотреть при таком положении тела. Видно было только, что это молодое лицо с блестящими большими глазами.

Несколько секунд оба молчали, разглядывая друг друга.

— Это вы Спящий? — спросил наконец незнакомец.

— Да, — ответил Грехэм. — Что вам от меня нужно?

— Я от Острога, сэр.

— От Острога?

Продолжая висеть в вентиляторе, человек повернул голову так, что лицо оказалось в профиль к Грехэму: он, очевидно, прислушивался. Вдруг раздался испуганный возглас; и он быстро откинулся назад, еле успев увернуться от лопасти колеса, которое опять завертелось. И как ни всматривался после того Грехэм в черную дыру вентилятора, он не видел ничего, кроме вертящихся лопастей, мелькающих полосок неба да тихо падающих снежных хлопьев.

Так прошло с четверть часа. Но наконец наверху опять послышались какие-то звуки. Опять раздался удар по металлу: колесо стало, и между лопастями показалось то же лицо. Все это время Грехэм не сходил с места; он стоял, прислушиваясь, напряженно всматриваясь в пустоту и весь дрожа от волнения.

— Кто вы? Что вам нужно? — повторил он свой вопрос.

— Нам надо поговорить с вами, сэр, — отвечал человек. — Мы хотим... Ох, как трудно держаться! Рука затекла... Вот уже три дня, как мы пытаемся пробраться к вам.

— Освобождение? Побег? — проговорил Грехэм прерывистым шепотом.

— Да, сэр, если вы захотите.

— Вы — моя партия? Партия Спящего?

— Да, сэр.

— Так говорите, что мне надо делать?

Вверху послышалась возня. Между лопастями просунулась рука, пальцы были в крови. Потом на краю прорези показались колени. Раздался громкий шепот: «Посторонитесь» — вслед за тем к ногам Грехэма свалился человек, тяжело упав на руки и стукнувшись об пол плечом. Освобожденный вентилятор с шумом завертелся. Нежданный гость ловко повернулся, вскочил на ноги и с любопытством смотрел на Грехэма своими живыми глазами, тяжело дыша и потирая ушибленное плечо.

— Да вы и в самом деле Спящий, — сказал он. — Я вас узнаю. Я видел вас еще в то время, когда к вам разрешалось ходить всем, без всяких ограничений.

— Да, я тот самый человек, что пролежал в летаргии

двести с лишним лет, — ответил Грехэм. — А теперь меня посадили в тюрьму. Вот уже по крайней мере три дня, как я здесь сижу, почти с тех пор, как проснулся.

Незнакомец хотел было что-то сказать, но вдруг насторожился, бросил быстрый взгляд в сторону двери и кинулся туда, бормоча что-то невнятное и позабыв о Грехэме. В руке его сверкнуло стальное лезвие, и он принялся изо всех сил колотить по петлям двери.

— Эй, тише вы там! — послышалось с потолка.

Грехэм поднял голову, увидел подошвы двух спускающихся ног и не успел опомниться, как на спину ему обрушилась какая-то тяжесть, свалив его на пол. Он упал на четвереньки, лицом вперед, и груз перекатился через его голову. Он привстал на колени: перед ним сидел второй гость.

— Простите, сэр, я вас сверху не заметил, — сказал, с трудом переводя дух, этот человек. Он встал и помог Грехэму подняться. — Я вас очень ушиб?

В эту минуту снова послышался ряд тяжелых ударов в вентиляторе. Сверху слетело что-то большое, чуть не задев Грехэма по лицу, со звоном упало на пол, подпрыгнуло, опять упало и, дребезжа, улеглось на месте, оказавшись большим куском лопасти вентилятора из какого-то белого металла.

— Что это значит? — вскрикнул Грехэм, в недоумении поднимая глаза к прорези. — Кто вы такой, наконец? Что вы хотите делать? Я ничего не понимаю.

— Посторонитесь, сэр! — сказал второй незнакомец и еле успел оттащить его из-под вентилятора, как с потолка свалился второй тяжелый кусок металла.

— Мы за вами пришли, — проговорил тот же человек прерывистым шепотом. Грехэм взглянул на него и увидел, что у него рассечен лоб и из пореза выступают капельки крови. — Нас прислал ваш народ. Народ зовет вас...

— Мой народ, говорите вы? Куда же мне идти?..

— В зал Большого театра, что на Рыночной площади. Здесь ваша жизнь в опасности. У нас есть свои шпионы. Хорошо еще, что мы узнали вовремя. Совет решил или убить вас, или снова усыпить не далее как сегодня. У нас все готово. Есть своя милиция. Служащие в Управлении ветряных двигателей, инженеры и половина кондукторов движущихся улиц на нашей стороне. Все публичные залы переполнены народом, вас ждут. Весь город восстал против Совета. У нас есть оружие...

Он вытер кровь со лба.

— Оружие? Зачем?

— Чтобы вас защищать. Народ не даст вас в обиду... Что такое?

Он быстро обернулся на неожиданно раздавшийся резкий свист. Это свистнул его товарищ, возившийся около двери. Грехэм тоже взглянул в ту сторону и увидел, что тот показывает им знаками, чтоб они спрятались, а сам торопливо пятится за дверь. Дверь тихонько отворилась, и на пороге показался Говард. Он нес в руках нагруженный поднос, осторожно ступая и не поднимая глаз. Но не успел он войти, как дверь захлопнулась за ним с громким стуком. Он вздрогнул, поднял голову и выронил поднос: стальное лезвие рассекло ему шею. Он упал как подкошенный лицом вниз и растянулся поперек комнаты ногами к двери. Ударивший его человек поспешно нагнулся, заглянул ему в лицо, потом спокойно выпрямился и как ни в чем не бывало занялся опять своей работой у двери.

— Вот ваша отрава, — шепнул Грехэму на ухо второй незнакомец, указывая на поднос с его ужином, валявшийся на полу.

В этот момент обе комнаты вдруг погрузились в темноту: бесчисленные лампочки, горевшие по карнизам, разом погасли. Овал прорези в потолке выступил светлым пятном в этом мраке. Грехэму было видно, как там кружился снег и торопливо двигались какие-то темные фигуры. Вот три из них опустились на колени у края прорези. Вот в комнату стал спускаться какой-то темный предмет, оказавшийся приставной лестницей. Потом показалась рука, державшая горящий факел.

На одну минуту Грехэма взяло сомнение. Но все поведение этих людей, их неподдельное волнение, их решительность, все их слова так совпадали с его собственными чувствами, с его страхом перед Советом, с его желанием вырваться на свободу, что он, не колеблясь, отбросил свои опасения. О чем тут думать? Ведь его ждет народ.

— Я ничего не понимаю во всем этом, но я вам верю, — сказал он. — Говорите, что я должен делать.

Человек с рассеченным лбом схватил его за руку и сказал:

— Взбирайтесь наверх. Скорее! Может быть, они уже заметили...

Вытянув в темноте руки, Грехэм нащупал лестницу и поставил ногу на нижнюю ступеньку. Но, прежде чем

начать подниматься, он обернулся назад и, заглянув через плечо незнакомца, стоявшего ближе к нему, увидел при желтом мерцающем свете факела, что товарищ его, сидя верхом на трупе Говарда, продолжает работать над дверью. Он отвернулся и полез наверх, подталкиваемый своим провожатым. Не успел он коснуться ногой верхней ступеньки, как его подхватило несколько услужливых рук, и в следующий момент он стоял под открытым небом, возле воронки вентилятора, на чем-то твердом, холодном и скользком.

Его стала пробирать дрожь: разница в температуре между наружным воздухом и теплым помещением его тюрьмы была очень велика. Его окружали какие-то люди — человек шесть или семь. Легкие снежные хлопья падали на руки и на лицо и сейчас же таяли. Сначала было темно. Но вот бледный фиолетовый луч на миг прорезал темноту, после чего она, казалось, стала еще гуще.

При этом мимолетном свете Грехэм увидел, что он стоит на крыше огромнейшего здания, занимавшего, по всей вероятности, несколько кварталов прежнего Лондона. Крыша была плоская, и по ней во всех направлениях были протянуты толстые кабели. Из темноты сквозь завесу снежной метели выступали неясные силуэты гигантских ветряных двигателей, гудя своими колесами то громче, то тише, смотря по силе ветра. Откуда-то снизу лился перемежающийся бледный свет, и каждая снежинка горела золотым огнем, попадая в полосу этого света, а вдали поднимались гигантскими призраками еще какие-то машины, отбрасывавшие бледно-зеленые искры.

— Все это дошло до его сознания лишь смутно и урывками за те немногие минуты, пока его избавители о чем-то торопливо совещались между собой. Вот кто-то накинул на него теплый плащ из какой-то пушистой материи и пристегнул его ремнями у пояса и на плечах. Все говорилось и делалось быстро, решительно. Прежде чем он успел опомниться, какая-то темная фигура взяла его за руку и, указывая вдоль плоской крыши в ту сторону, откуда лился мглистый, призрачный свет, сказала: «Сюда!» — и потянула его за собой. Он повиновался.

— Осторожнее! — раздался тот же голос, когда он споткнулся о кабель. — Между ними идите, а не шагайте через них... Скорее!

— Где же народ? — спросил Грехэм. — Народ ждет меня, мне сказали?

Ответа не последовало. Дорожка между кабелями становилась все уже. Проводник Грехэма выпустил его руку и быстро зашагал вперед. Грехэм шел за ним, не оглядываясь по сторонам, думая только о том, как бы не отстать. Они почти бежали.

— А где остальные? Они тоже идут? — спросил он, задыхаясь от бега, но опять не получил ответа. Проводник только оглянулся на него и побежал дальше. Вскоре они добрались до открытого прохода с металлическими перилами по бокам, тянувшегося под углом к той дорожке, по которой они раньше шли. Они свернули в этот проход. Грехэм оглянулся назад, но за падающим снегом не было видно, идут ли за ними остальные.

— Бегите за мной! Не отставайте! — сказал проводник, и они опять побежали.

— Нагнитесь! — услышал Грехэм, и они благополучно увернулись от бесконечного приводного ремня, который несся вверх, к шкиву колеса небольшого ветряного двигателя, торчавшего у них над головами.

— Сюда! — И они очутились по щиколотку в мокром снегу. — Постойте, я пойду вперед, — сказал проводник.

Грехэм плотнее завернулся в свой плащ и пошел за ним.

Теперь они пробирались по узкому открытому желобу, отгороженному с обеих сторон металлическими стенками в половину человеческого роста. В одном месте желоб был переброшен с крыши на крышу. Грехэм нечаянно заглянул через стенку и вдруг увидел под собой узкий черный провал. На один миг он пожалел, что согласился бежать. У него закружилась голова. Он машинально месил ногами мокрый снег, не смея поднять глаз, боясь только одного: как бы ему не сделалось дурно.

Выбравшись из желоба, они снова оказались на широкой плоской крыше, мокрой от снега и местами, очевидно, полупрозрачной, потому что снизу проходил слабый свет и можно было даже видеть мелькающие огоньки. Грехэм со страхом ступал по этому прозрачному полу: ему казалось, что он идет по тонкому льду. Но проводник его бежал вперед как ни в чем не бывало, и это успокоило его. Пройдя эту крышу, они вскарабкались по скользким ступенькам на широкий карниз большого стеклянного купола и обогнули его. Из-под купола долетали звуки музыки, прорываясь отдельными нотами сквозь шум ветра. Внизу толпились люди: кажется, там танцевали. Но останавливаться было некогда: проводник все время торопил его.

Они полезли куда-то еще выше и очутились на широком ровном пространстве, сплошь уставленном ветряными двигателями. Один из них был так велик, что можно было различить только нижнюю половину его колеса: вертящиеся лопасти становились видимы, пролетая низом и, уносясь вверх, терялись в темноте. Они довольно долго пробирались между колоссальными металлическими скреплениями этого двигателя и наконец вышли на другую прозрачную, но покатую крышу. Грехэм с удивлением увидел себя над площадью движущихся улиц, таких же, как те, на которые он смотрел с балкона три дня тому назад. На гладкой покатой поверхности крыши было так скользко, что им пришлось ползти на четвереньках.

Вся крыша была покрыта мокрым снегом, так что трудно было хорошо рассмотреть, что находится под ней. Где-то внизу виднелись лишь контуры зданий, настолько неясные, что нельзя было даже определить расстояния. Но ближе к коньку крыши стекло оказалось чистым и, заглянув вниз, Грехэм увидел под собой страшную глубину. У него голова закружилась, руки и ноги онемели и, несмотря на настойчивые понукания проводника, он лег ничком на скате крыши и лежал пластом не в силах шевельнуться. Далеко внизу, на дне глубокой ямы, копошились какие-то букашки — жители бессонного города с его неугасимым искусственным светом, неслись платформы движущихся улиц, совершая свой нескончаемый путь. Рассыльные, почтальоны, люди, спешившие по всевозможным неизвестным делам, стремглав летели вниз, скользя по кабелям. Хрупкие висячие мостики были тоже переполнены людьми. Ему казалось, что под ним гигантский улей, населенный людьми вместо пчел, и только тонкое стекло — он даже не знал, насколько крепкое, — не давало ему свалиться в этот улей с головокружительной высоты. Там, внизу, было светло и тепло, а он промок до костей и продрог. Неизвестно, как долго пролежал бы он на одном месте в полузабытьи, если б проводник не закричал ему с ужасом в голосе:

— Идите! Что же вы лежите! Идите скорей!

Он напряг все свои силы и взобрался на конек крыши. Тут, следуя примеру проводника, он сел и быстро съехал вниз по противоположному скату. «Хорошо, если в стекле нет трещин. Что, если я попаду на такую трещину?» — невольно подумал он, пока стремглав катился с этой скользкой горы. Но вот его ноги уперлись во что-то, и в следующую секунду он стоял на железной закраине

крыши по щиколотку в талом снегу, благодаря судьбу за то, что под ним не было больше предательского прозрачного пола. Проводник его уже перелез через железную решетку на ровную площадь соседней крыши, где опять тянулись ряды огромных ветряных двигателей с вертящимися лопастями. Грехэм последовал за ним. Сквозь частый дождь снежных хлопьев смутно вырисовывались переплеты гигантских скреплений и доносилось ровное гудение колес. Вдруг в этот монотонный шум ворвались пронзительные звуки свистков. Необыкновенно сильные и резкие, они, казалось, неслись со всех сторон.

— Нас ищут! — вскрикнул проводник Грехэма в невыразимом ужасе.

В тот же миг кругом разлился ослепительный свет: ночь разом превратилась в сияющий день. На верхушках ветряных двигателей выросли высокие шесты с прикрепленными к ним осветительными шарами, испускающими целые снопы ярких белых лучей. Шесты с такими шарами тянулись по всем направлениям, теряясь в бесконечной перспективе. Шары горели впереди, сзади, повсюду, насколько можно было видеть сквозь снежную пелену.

— Становитесь сюда! — крикнул Грехэму проводник и толкнул его на металлическую решетку, тянувшуюся по крыше узкой темной лентой между двумя снежными сугробами. Грехэма удивило, что это место было свободно от снега, но, когда он стал на него, его окоченевшие ноги почувствовали тепло, и тут только он заметил, что от решетки шел пар.

— Бегите за мной! — раздался голос проводника уже в десяти ярдах дальше. И, не дожидаясь ответа, он бросился бежать по ярко освещенному пространству между двумя рядами ветряных двигателей. Грехэм, подгоняемый страхом, пустился за ним так скоро, как только несли его ноги. Его ищут... ловят... могут поймать! Нет, все, что угодно, только не попадаться больше в лапы Совету...

Через несколько секунд они уже ныряли между железными переплетами гигантских скреплений, под чудовищными движущимися колесами и рычагами, то исчезая в их тени, то снова появляясь в пятне яркого света. Вдруг проводник юркнул куда-то вбок и скрылся в полосе густой черной тени у подножия огромной подпорки. В следующую минуту Грехэм был подле него.

Они присели на корточки и выглядывали из своей засады, с трудом переводя дыхание.

Перед ними была странная, фантастическая картина. Снег перестал идти; лишь изредка то здесь, то там лениво опускался сверху запоздалый пушистый комок. Но вся окружавшая их широкая ровная площадь сверкала белизной, отчего тянувшиеся по ней движущиеся тени исполинских машин выступали еще рельефнее, еще резче и казались живыми титанами мрака. Кругом, куда ни взгляни, торчали переплеты металлических скреплений, сказочно огромных, работы нечеловеческих рук, и медленно в наступившем затишье двигались широкие ободы гигантских колес, уходя сверкающими полукругами все выше и выше в светящуюся мглу. В тех местах, где падали усеянные блестками снежинок снопы света, было видно, как с яростной, неукротимой настойчивостью работали рычаги и неслись вверх и вниз бесконечные ремни, исчезая в черноте собственной тени. И несмотря на всю эту мощную деятельность, на эту безустанную работу, так громко говорившую о сознательном плане, эти чудовищные машины среди снежной пустыни исключали всякую мысль о близком присутствии человека: казалось, что они существуют сами по себе, — такие же безлюдные, неприступные и заброшенные, как какая-нибудь снеговая вершина Альп.

— За нами гонятся! — шепнул Грехэму проводник. — Мы не прошли еще и полдороги. Сидеть страшно холодно, но что поделаешь! Придется переждать, по крайней мере пока снег пойдет гуще.

У него стучали зубы от холода.

— Где же Рыночная площадь? Где народ? — спросил Грехэм озираясь.

Но тот ничего не ответил.

В это время опять поднялся ветер и повалил снег.

— Смотрите! Что это? — вскрикнул в испуге Грехэм, невольно съеживаясь еще больше.

Из-за крутящегося снежного вихря, в чернеющей пасти далекого неба, скользя по воздуху порывистыми взмахами и описывая неправильные круги, показалось что-то серое, бесформенное, быстро летевшее вниз. Остановившись на миг почти прямо над ними, оно описало круглую дугу и, широко распустив огромные крылья и волоча за собой хвост густого белого пара, понеслось в обратную сторону. Легко, как птица, оно скользнуло вверх, пролетело немного в горизонтальном направлении, описав полукруг, и скрылось за метелью. И между ребрами этого странного тела Грехэм успел рассмотреть двух маленьких человечков, занятых

важным делом. Они осматривали местность — это было ясно: каждый держал перед собой что-то длинное, очень похожее на подзорную трубу. С секунду они были отчетливо видны, потом стали быстро удаляться, становились все меньше и меньше, пока их не застлало снежной пеленой.

Проводник дернул Грехэма за рукав.

— Теперь бежим. Скорее! — сказал он.

И оба опять побежали под аркой железных подпорок, ныряя под колеса и рычаги. Вдруг проводник круто повернул назад. Грехэм, не ожидавший этого, налетел на него. Ярдах в двенадцати впереди чернела глубокая пропасть. Она тянулась направо и налево и, насколько можно было видеть, совершенно преграждала им путь.

— Делайте теперь то же, что я, — шепнул проводник.

Он лег на живот, подполз к краю обрыва, повернулся и осторожно спустил одну ногу. Потом, нащупав, очевидно, то, что искал, начал спускаться и исчез. Через секунду высунулась его голова.

— Это закраина крыши, — прошептал он. — Здесь мы можем все время пробираться в тени. Ползите за мной.

После минутного колебания Грехэм стал на четвереньки, подполз к провалу, заглянул в его черную глубину и обмер. На него напал такой страх, что он не мог шевельнуться, не мог даже заставить себя вернуться назад. Но это продолжалось недолго: минута слабости прошла. Он сел, осторожно свесил одну ногу, за которую тотчас же ухватились руки проводника, с ужасом почувствовал, что скользит вниз, в темную бездну... и вдруг стал обеими ногами на что-то твердое, расплескав жидкую грязь. Он мог только догадываться, что стоит в желобе крыши, так как кругом была непроницаемая тьма.

— Сюда! — услышал он у себя над ухом голос проводника и ощупью пополз за ним вдоль желоба, прижимаясь к стене. Это путешествие продолжалось не больше десяти минут, но ему оно показалось целым веком. Не было, кажется, той степени волнения и страха, которой он не пережил бы за эти десять минут. Он не чувствовал ни рук, ни ног от холода и усталости.

Желоб постепенно спускался. Вскоре они ползли уже на половине высоты здания. Над ними тянулись ряды каких-то длинных светлых пятен, похожих на привидения. «Завешенные окна», — догадался Грехэм. От одного из этих призраков-окон спускался кабель, чуть-чуть серея в темноте и исчезая нижним концом в черной части провала. В ту ми-

нуту, когда они подползали к этому кабелю, Грехэм почувствовал на своей руке руку проводника.

— Тише! — шепнул ему тот.

Он поднял голову в испуге и на голубовато-сером фоне туманного неба увидел распростертые крылья летательной машины, медленно и бесшумно скользившей по отлогому наклону вниз. Через минуту машина описала полукруг, стала снова подниматься и скрылась.

— Не шевелитесь: они еще могут повернуть.

На мгновение оба окаменели. Потом проводник тихонько поднялся на ноги, нащупал в темноте спускавшийся от окна конец кабеля и стал что-то делать с ним.

— Что вы там делаете? — спросил его Грехэм.

В ответ раздался слабый крик. Проводник весь скорчился и прижался к стене. Грехэм нагнулся и заглянул ему в лицо: широко раскрытыми от ужаса глазами тот всматривался в светлевшую над ними полосу неба. Грехэм перевел глаза в ту сторону и высоко-высоко над собой увидел в воздухе маленькое светлое пятнышко: это была летательная машина. Он видел потом, как расправились ее крылья, как она повернула и начала спускаться, вырастая с каждой минутой. Вот она долетела до угла крыши и, приняв горизонтальное направление, понеслась прямо на них.

Проводник снова схватился за кабель и лихорадочно принялся что-то с ним делать. Он бросил Грехэму какой-то предмет. Тот поймал его на лету и нащупал большой деревянный крест. Крест оказался прикрепленным к кабелю тонкими шнурами с петлями для рук из какого-то упругого вещества.

— Садитесь верхом на эту штуку, а руками возьмитесь за петли. Да смотрите крепче держитесь! — прошептал вне себя от волнения проводник.

Грэхэм исполнил все в точности.

— Теперь прыгайте... Прыгайте ради самого бога!

Страшную минуту пережил Грэхэм. Он радовался одному — что в темноте нельзя было видеть его лица. Он хотел ответить, спросить... но язык не слушался его. Он начал дрожать мелкой дрожью. Одним мгновенным испуганным взглядом он охватил парившую над ним тень, которая, как ему показалось, застилала собою все небо и быстро надвигалась на них.

— Прыгайте же! Прыгайте скорее, или мы будем в их руках! — закричал проводник в отчаянии и, видя, что Грехэм не слушается, толкнул его в спину.

Он невольно качнулся вперед и в ту самую минуту, когда летательная машина была уже над его головой, с безумным рыдающим криком, которого он не мог удержать, ринулся в черную бездну, сидя на деревянном кресте и судорожно вцепившись руками в петли шнура. Что-то затрещало над ним, что-то быстро проползло, царапая по стене и встало. В своем быстром полете он слышал, как терлись о кабель шнуры его креста, слышал крики аэронавтов. На один миг он почувствовал на своей спине чьи-то колени... Может быть, его хотели схватить... Но он стремглав несся вниз, падал всей тяжестью своего тела со все возраставшей быстротой. Вся его сила сосредоточилась в руках. Он не кричал только потому, что задыхался.

Вдруг в глаза ему блеснул ослепительный свет, что заставило его еще крепче сжать в руках петли шнура. Мимо него промелькнули осветительные шары, висячие мостики, сети переплетающихся кабелей. Под ним была большая площадь движущихся улиц: он узнал ее. Все это неслось вверх мимо него. На один миг в мозгу его мелькнуло впечатление большого круглого отверстия в стене, зиявшего ему навстречу.

Он снова очутился в темноте и падал, все падал, сжимая немеющими пальцами петли шнура. Потом... Что это? Опять потоки света... и голоса... Много, много кричащих человеческих голосов. И он влетает в ярко освещенную огромную комнату, переполненную ревущей толпой. Народ! Его народ!.. Навстречу ему несутся какие-то подмостки, напоминающие сцену в театре. Кабель его начинает загибаться петлей, направляясь к круглому отверстию вправо. Его полет замедляется. Вот он уже различает отдельные возгласы: «Спящий с нами! Повелитель и властелин! Спасен!» Подмостки приближаются со все уменьшающейся быстротой. И вдруг...

Он услышал испуганный крик человека — проводника, сидевшего у него за спиной, и снизу этот крик был подхвачен тысячью голосов. Он почувствовал, что уже не скользит больше по кабелю, а падает вместе с ним. Зал огласился дикими воплями. Он уперся во что-то мягкое протянутой рукой, навалившись на нее всем своим весом, и это ослабило силу падения...

Когда он очнулся, он понял, что лежит неподвижно. Ему не хотелось шевелиться, но его подняли и понесли. Потом, когда он вспоминал об этом, ему казалось, что его положили на каком-то возвышении и дали ему выпить

чего-то, но он не помнил наверное. Про своего проводника он как-то совершенно забыл и не заметил, куда тот девался. Когда сознание окончательно вернулось к нему, он был на ногах, его поддерживал десяток заботливых рук. Он стоял в небольшой комнатке, открытой в сторону зала и напоминавшей глубокую нишу, или альков, или, пожалуй, ложу бенуара, какие обыкновенно бывали в театрах его времени. И в самом деле, уж не театр ли это помещение, куда он попал?

У него звенело в ушах от несмолкаемого крика, который раздавался кругом. Толпа ревела тысячами глоток: «Спящий! Спящий! Это он! Он с нами наконец! С нами наш повелитель и властелин! Он жив! Он спасен!»

Грехэм не различал отдельных людей. Он видел лишь общую картину огромного зала, битком набитого народом. Перед ним белели ряды обращенных к нему человеческих лиц, мелькали машущие руки, развевающиеся одежды. Это человеческое море влекло его к себе таинственными, непреодолимыми чарами. Перед ним тянулись галереи, балконы, зияли огромные арки, позволяя видеть широкие коридоры, уходящие вдаль. И все это было заполнено людьми, густой плотной толпой, ликующей и кричащей. На подмостках сцены недалеко от него лежал, свернувшись гигантской змеей, упавший кабель, подрезанный аэронавтами у верхнего конца. Теперь его убирали какие-то люди. Но все это проносилось перед ним, как во сне. От неистовых криков звенело в ушах, и все предметы прыгали перед глазами.

Шатаясь на нетвердых ногах, он оглянулся на окружавших его. Кто-то поддержал его под локоть.

— Проведите меня в маленькую комнату... в маленькую, — повторил он, почти плача.

Больше он ничего не мог сказать.

Кругом засуетились. Какой-то человек в черном выступил вперед и взял его за свободную руку. Перед ним поспешно распахнули дверь. Он шел, шатаясь как пьяный. Его подвели к стулу. Он тяжело опустился на него и закрыл лицо руками. Он весь дрожал, как в лихорадке: он не владел собой. С него сняли тяжелый теплый плащ, но, когда и кто — он не помнил. Он заметил только, что его пунцовые брюки совсем почернели от грязи. Вокруг него бегали, о чем-то хлопотали, что-то делали, но все это проходило мимо его сознания, не задевая его.

Итак, он спасся. Об этом кричали сотни голосов.

Он спасся, он жив. Он среди своих сторонников, среди друзей.

Он судорожно вздыхал, борясь со своим волнением, стараясь подавить рыдания, подступавшие ему к горлу; потом затих и остался сидеть, как сидел, закрывшись руками. А из зала неслись ликующие крики народа, который его спас.

Глава IX

НАРОД ИДЕТ

Кто-то протягивал ему стакан с каким-то прозрачным напитком. Он поднял голову и увидел перед собой черноволосого молодого человека в желтом костюме. Он выпил все залпом и ожил. Около него, указывая рукой на полуоткрытую дверь, которая вела в зал, стоял еще какой-то высокий человек в черной мантии и что-то кричал ему в ухо, но что именно, нельзя было разобрать за оглушительным шумом, доносившимся из зала. Немного подальше стояла молодая девушка в серебристо-сером платье, и Грехэм, несмотря на всю свою растерянность, заметил, что она очень хороша собою. Ее темные глаза смотрели на него с удивлением и любопытством; ее губы дрожали. В полуоткрытую дверь была видна часть зала, битком набитого народом. Оттуда несся неровный гул голосов, стук топочущих ног, рукоплескания и крики. Весь этот гам то замирал, то опять разрастался, оглушая, как гром. Так продолжалось все время, пока Грехэм был в маленькой комнате. По движению губ человека в черном он догадывался, что тот старается ему что-то объяснить.

С минуту он бессмысленно смотрел перед собой, потом вскочил и схватил за руку этого кричащего человека:

— Скажите мне: кто я? кто я?

Стоявшие кругом подались вперед, стараясь расслышать, что он сказал.

— Кто я? — повторил он, с волнением всматриваясь в окружавшие его лица.

— Они ничего ему не сказали? — воскликнула девушка в сером.

— Говорите же, говорите! — кричал Грехэм.

— Вы — властелин земли: вам принадлежит полмира.

Он не верил своим ушам, не смел верить. Не хотел ни слышать, ни понимать.

Он опять прокричал во весь голос:

— Три дня, как я проснулся, три дня, как я в тюрьме, догадываюсь: у вас в этом городе идет какая-то борьба... Ведь это Лондон?

— Да, — ответил темноволосый человек.

— Ну, а те, что совещались в большом зале, где статуя Атласа? Кто они? Какое отношение они имеют ко мне? Я чувствую, что они говорили обо мне. Мне кажется, что, пока я спал, или весь мир сошел с ума, или я сам. Что они хотели сделать со мной? Ведь они нарочно усыпляли меня? Зачем им это понадобилось?

— Чтобы не дать вам очнуться, — сказал человек в желтом. — Чтобы не допустить вашего вмешательства.

— Но почему?

— Потому что вы Атлас, сэр. Мир держится на ваших плечах. Они правят вашим именем.

Шум и крики, доносившиеся из зала, уже несколько минут как затихли. Раздавался только чей-то один ровный голос. Но не успел человек в желтом договорить своей последней фразы, как в зале, покрывая его слова, снова поднялся оглушительный гвалт: рев, топот ног, ликующие возгласы; доносились и отдельные голоса, хриплые и пронзительные, перебивавшие друг друга. И все время, пока продолжался этот гам, люди, находившиеся в маленькой комнате, не могли разговаривать между собой.

У Грехэма все смешалось в голове. То, что он сейчас узнал, никак не укладывалось в его сознании.

— Совет, — повторил он растерянно. Потом, хватаясь за неожиданно всплывшее в его памяти имя, спросил: — А кто такой Острог?

— Это наш вождь, организатор восстания, и мы действуем вашим именем.

— Моим именем? А вы кто? И почему его здесь нет?

— Он послал нас. Я его брат, сводный брат. Мое имя Линкольн. Он хочет, чтобы вы показались народу, а потом будет просить вас прийти к нему. Затем-то он нас и послал, а сам он отдает приказания в Главном управлении ветряных двигателей. Народ скоро двинется. Он восстает...

— От вашего имени! — подхватил темноволосый молодой человек. — Они давили, угнетали нас, делали, что хотели и, наконец, даже...

— От моего имени! От имени властелина земли?

Среди затишья, наступившего в зале в эту минуту, отчетливо прозвучал голос темноволосого молодого челове-

ка, громкий и негодующий. Весь дрожа от волнения, он прокричал:

— Никто не ожидал, что вы проснетесь. Они ловко действовали, проклятые тираны. Но они ошиблись в расчете. Они не могли решить, что с вами делать теперь: усыпить ли вас снова или просто убить.

Опять гул в зале покрыл собой все звуки.

Человек, назвавший себя Линкольном, подошел вплотную к Грехэму.

— Острог уже все подготовил. Говорят, скоро начнется сражение. План его уже выработан. Острог — вполне верный человек! Вы можете на него положиться. Народ организован. Мы захватим все кабели. Может быть, Острог уже распорядился сделать это. А потом...

— Здесь, в этом театре, собралась только часть наших сил, — вмешался молодой человек в желтом. — У нас пять мириад обученных людей.

— У нас есть оружие, есть предводитель, — закончил Линкольн. — Их полиция покинула улицы и заперлась в... — конца фразы нельзя было расслышать за шумом. — Теперь или никогда! Совет висит на волоске. Они не могут положиться даже на армию.

— Слышите, народ вас зовет!

Мысли Грехэма кружились, не находя выхода в этом хаосе. Его душевное состояние напоминало бурную лунную ночь, когда месяц то вынырнет из-за туч бледным призраком, то снова спрячется, и все погрузится в безнадежную тьму.

Он — властелин земли, и этот властелин земли промок, как губка, ползая на крышах по грязному талому снегу. Вся быстрая смена впечатлений представляла непрерывный ряд контрастов. С одной стороны, Белый Совет — каких-то восемь человек, но за ними власть и дисциплина, — тот самый Белый Совет, от которого он только что убежал. С другой — эти многотысячные толпы, плотная масса людей, взывающих к нему, провозглашающих его властелином. Та сторона держала его в заточении, решала, жить ему или умереть. Эти же тысячи народа, кричащего вон за той маленькой дверью, спасли его, помогли ему вырваться на волю. Но почему так делалось и зачем, он не понимал.

Вдруг дверь из зала распахнулась. Голос Линкольна потонул в ворвавшемся гаме. Вслед за тем в маленькую комнату ввалилась толпа. Бывшие впереди, оживленно жестикулируя, подбежали к Линкольну. Губы их шевели-

лись, но слов нельзя было разобрать, можно было лишь догадаться по доносившемуся из зала тысячеголосому крику, что они говорили: «Покажите нам Спящего!» К этому примешивались отдельные голоса, призывавшие к тишине и порядку.

Грехэм взглянул в открытую дверь и увидел, как картину в рамке, часть зала, представлявшего сплошную массу взволнованных человеческих лиц — мужских и женских, — поднятых рук и развевающихся светло-голубых одеяний. Все эти люди кричали. Какой-то оборванец в темно-коричневом балахоне, худой, как скелет, стоял на стуле и размахивал черным флагом.

Грехэм встретил взгляд девушки в сером и прочел в нем удивление и ожидание. Чего хотят от него эти люди? Каким-то чутьем он угадал, что настроение толпы изменилось: теперь в этих криках, в этом общем реве слышался призыв к бою. В его душе что-то перевернулось. Он сам не понимал, какое влияние так преобразило его. Но минута слабости, растерянности прошла. Стараясь изо всех сил, чтобы его услышали, он стал спрашивать ближайших к нему, чего от него хочет народ.

Линькольн кричал ему в ухо, но он не слышал его. Все остальные, кроме молодой девушки, энергичными жестами приглашали его войти в зал.

Что он слышит? Дикий гам сменился стройным пением. Пели все поголовно, отбивая такт ногами. Это было необыкновенное пение: человеческие голоса как будто неслись в волнах могучего потока инструментальной музыки, напоминавшей орган. Звуки сливались, переплетались, рисуя картину марширующих войск, развевающихся знамен, всей торжественной обстановки выступления в бой.

Грехэма увлекали к двери. Он машинально повиновался. Это мощное пение захватило его, приподняло, вдохнуло в него мужество. Перед ним открылся весь зал: широкое, волнующееся море цветных одежд и флагов.

— Сделайте им рукой знак приветствия, — сказал ему Линкольн.

— Подождите, накиньте на него вот это, — раздался голос с другой стороны.

Чьи-то руки задержали его в дверях, и на плечах у него очутился длинный черный плащ, ниспадающий мягкими складками. Он высвободил одну руку и пошел за Линкольном. Возле себя он увидел девушку в сером. Лицо ее сияло одушевлением, рука была протянута вперед.

Она казалась ему в эту минуту воплощением чудной музыки, которая так преобразила его. Он прошел в дверь и очутился в том самом алькове, куда он свалился, когда перерезали канат, и в тот же миг широкая разлившаяся волна музыки упала и рассыпалась пеною ликующих возгласов. Альков действительно оказался ложею огромного театра, очень сложной архитектуры, со множеством балконов, галерей, расположенных амфитеатром, ярусов и высоких арок в глубине. Продолжая следовать за Линкольном, Грехэм прошел на сцену и стал лицом к собравшейся толпе. В глубине театра, прямо против себя, он увидел устье широкого открытого прохода, переполненного людьми, как и весь зал. Из всей этой живой колышущейся массы вдруг выделялась какая-нибудь отдельная фигура или лицо, на один миг овладевала его вниманием и потом снова сливалась с толпой. Прямо против сцены мелькнуло лицо хорошенькой женщины. Ее несли трое мужчин, высоко приподняв над головами. С развевающимися волосами, горящими глазами, она смотрела в его сторону и махала зеленым жезлом. Недалеко от этой группы какой-то старик с бледным изнуренным лицом с трудом отстаивал свое место в общей давке, а за ним виднелась лысая голова с широко разинутым беззубым ртом. Какой-то голос выкликал таинственное имя Острог. Но все эти мимолетные впечатления потонули в том море неизведанных чувств, которые поднялись в нем, когда возобновилось мощное пение под музыку. Все начали снова отбивать такт. Зеленые жезлы склонялись в воздухе в знак приветствия. Вдруг он увидел, что ближайшие к сцене ряды тронулись с места. Они прошли мимо него, направляясь к высокой арке, с криком: «В Совет! В Совет!» Он поднял руку. Раздался восторженный рев. Он чувствовал, что надо бы сказать им что-нибудь ободряющее. На языке у него вертелись смелые, вдохновенные слова. Он протянул руку по направлению к арке и закричал: «Вперед!» Теперь они уже не отбивали такт на месте; они маршировали под музыку. Кого только не было в этой толпе: бородатые, взрослые люди, старики, юноши, нарядные женщины с обнаженными руками, молоденькие девушки — все люди нового века. Богатые наряды и потерявшие цвет лохмотья перемешивались в этом стремительном вихре голубых одежд. Огромное черное знамя, колыхаясь над головами, повернуло вправо. Мимо него промелькнули негр в голубом балахоне, сморщенная старуха в желтом платье, два китай-

ца. Какой-то высокий темноволосый юноша с болезненным лицом и горящими глазами подбежал к самой рампе, прокричал какое-то приветствие и снова пошел за другими, оглядываясь назад. Головы, руки, флаги, жезлы — все колыхалось в такт.

Перед ним выплывали отдельные лица, встречались с ним глазами и уносились дальше общим потоком. Ему делали приветственные знаки, кричали что-то дружелюбное, хотя он и не слышал их слов. Лица были большей частью красные, возбужденные, но попадались и смертельно бледные, отмеченные печатью болезней; и не одна рука, посылавшая ему привет, поражала своей худобой. Вот они, люди нового века! Странное, фантастическое сборище! По мере того как этот широкий живой поток проносился мимо него слева направо, боковые ярусы и коридоры зала, как притоки, беспрерывно вливали в него все новые и новые массы людей. Основной мотив песни обогащался гулкими отголосками, которые со всех сторон посылали величественные своды арок. Звуки плыли, летели вперед; стремительно шли вперед и люди. Казалось, весь мир марширует в такт этим звукам. Он чувствовал, что и сердце его бьется в такт. Людской поток все расширялся и ускорял свой бег.

Линкольн потянул его за собой. Бессознательно подчиняясь движению его руки, Грехэм повернул в сторону арки и, сам того не замечая, тоже зашагал в такт, подгоняемый бодрящими звуками песни. Все это шествие двигалось вниз по отлогому спуску. Он смутно сознавал, что перед ним расчищают дорогу, что его окружает почетный караул и что Линкольн не отстает от него ни на шаг. Услужливые руки расталкивали толпу в обе стороны. Он видел перед собой черные плащи своих телохранителей, маршировавших по трое в ряд. Его провели по узкому проходу с железными решетками по бокам, и вдруг он увидел себя над улицей, на открытой галерее, под которой двигалась вся масса народа, не переставая приветствовать его громкими криками. Он не знал, куда его ведут, да и не стремился узнать.

Глава X

БИТВА В ТЕМНОТЕ

Они шли по галерее, висевшей на большой высоте. Перед ним и за ним маршировал его караул. Все широкое

русло движущихся улиц внизу кипело народом, быстро двигавшимся влево. Люди кричали, махали шляпами, протягивали к нему руки... Они кричали, приближаясь, кричали, проходя мимо, кричали, удаляясь, пока непокрытые головы их не исчезали в далекой, постепенно суживающейся перспективе электрических огней.

Теперь песня гремела при поддержке оркестра и разливалась вольнее. К размеренному топоту марширующих ног примешивались беспорядочные шаги людей, сбегавшихся из боковых улиц.

Но странная вещь: здания на противоположной стороне улицы казались пустыми, висячие мосты были безлюдны, и ни одной души не спускалось по кабелям, переплетавшимся над всем этим широким пространством. Это его поразило. Он невольно подумал, что и тут должно было бы царить такое же оживление, как и внизу.

У него вдруг явилось странное, беспокойное ощущение, как будто что-то колебалось, дрожало у него внутри. Он остановился. Его телохранители, бывшие впереди, продолжали идти прежним шагом, задние остановились вместе с ним. Их лица были обращены в одну сторону. Он взглянул в этом же направлении и понял, в чем дело: дрожали огни осветительных шаров.

Сначала он подумал, что это случайное явление, не имеющее никакого отношения к тому, что делается внизу. Каждый из огромных шаров ослепительно белого цвета то съеживался и почти угасал, точно его сжимали невидимые лапы, то опять разгорался, отчего свет быстро чередовался с темнотой.

Но скоро Грехэм догадался, что это мерцание огней отнюдь не случайность. Вся картина — общий вид домов, улиц и толпы, проходившей внизу, — резко изменилась: все спуталось, перемешалось в этой борьбе света с тьмой. Отовсюду выскакивали чудовищные тени; они подпрыгивали вверх, расширялись, росли с неимоверной быстротой, на миг отступали, затем вновь устремлялись вперед еще более грозно. Пение и размеренный топот тысячи марширующих ног прекратился. Слышались только поспешные шаги групп, бегущих в разных направлениях, да крики: «Гасят огни! Гасят огни!» Грехэм взглянул вниз. При судорожно пляшущем в предсмертной агонии свете огней он увидел, что все широкое пространство улицы превратилось в арену жестокой борьбы. Огромные белые шары света помутнели, затянулись красноватой дымкой; они

мигали быстрее и быстрее, как будто не решаясь ни разгореться, ни погаснуть, потом перестали мигать и превратились в красные угольки, чуть тлеющие среди надвинувшейся тьмы. В десять секунд все погасло, и не осталось ничего, кроме торжествующего мрака, который, как черный дракон, поглотил все эти мириады людей.

Грехэм почувствовал, что его схватили за руки. Кто-то наступил ему на ногу. Чей-то голос прокричал ему в ухо:

— Не бойтесь, мы с вами.

Грехэм стряхнул с себя оцепенение, овладевшее им в первую минуту, быстро повернулся и, стукнувшись лбом о голову Линкольна, прокричал в свою очередь:

— Что значит эта темнота?

— Совет распорядился перерезать провода, которые служат для освещения города. Придется подождать, пока... народ заставит их...

Его голос потерялся, заглушенный ревом толпы. Раздавались голоса: «Спасайте Спящего! Берегите Спящего!» Один из телохранителей Грехэма наткнулся на него в темноте и больно ушиб ему руку.

Вокруг него, как вихрь, носился дикий гам, все разрастаясь, становясь все громче, все яростнее. До него долетели отдельные слова, обрывки фраз, но прежде, чем он успевал их осмыслить, они тонули в море других оглушительных звуков. Голоса перекликались, отдавая противоречивые приказания. Где-то очень близко раздались пронзительные крики.

Кто-то крикнул над его ухом: «Красная полиция!»

Вдали послышался треск, и вслед за тем вдоль улицы по краям запрыгали слабые искры. При этом мимолетном свете Грехэм различил головы и фигуры вооруженных людей, резко выступавшие при каждой вспышке искры и тотчас же снова исчезавшие в темноте. Треск все усиливался, приближаясь; искры вспыхивали по всей улице, то там, то здесь, чаще и чаще.

Вдруг темнота расступилась, точно отдернули черную завесу. Сноп ярких лучей света почти ослепил его на мгновение. Он заглянул вниз и в ужасе отшатнулся: там кипела отчаянная борьба. По улице понеслись угрожающие крики. Он взглянул вверх, чтоб узнать, откуда идет этот ослепительный свет. Высоко над его головой висел на кабеле человек, держа в руке сверкающую звезду, свет которой разгонял темноту. На этом человеке был красный мундир.

Взгляд Грехэма снова скользнул вниз. Ему бросилась в глаза кучка людей, выделявшаяся красным пятном неподалеку от галереи. Вскоре он убедился, что это были солдаты красной полиции. Толпа оттеснила их на одну из крайних верхних платформ, и теперь они стояли, прижавшись спинами к выступу какого-то здания, и защищались, как могли. Оружие сверкало, зеленые жезлы взвивались вверх и опускались, поражая противника струйками сероватого дыма. Люди падали, и на их месте тотчас же вырастали другие.

Вдруг свет звезды погас, и кромешная тьма поглотила эту сцену кровавой борьбы.

Грехэм почувствовал, что его толкают назад, вдоль галереи. Возле него прокричали какую-то фразу, но он был слишком ошеломлен, чтобы вслушиваться. Его прижали к стене, и он слышал, как мимо него бежали люди. Ему показалось, что между его телохранителями завязалась борьба.

Вдруг снова вспыхнула звезда, и все опять залилось ослепительным белым светом. Грехэм увидел, что отряд красной полиции увеличился и подвинулся ближе, передние ряды спустились уже почти до середины улицы.

На нижних галереях противоположных зданий тоже появилось много красных солдат. Они стреляли через головы товарищей в самую гущу толпы, нападавшей на них. Тут только понял Грехэм, что все это значило: народ в самом начале своего выступления попал в засаду. Все, естественно, пришли в замешательство, когда погасли огни, и красная полиция воспользовалась этим для нападения. Вдруг он заметил, что его оставили одного: его караул и Линкольн были далеко в том конце галереи, откуда его привели. Они отчаянно махали руками и бежали к нему. В эту минуту по улице пронесся дикий крик. Весь фасад противоположного здания покрылся красными мундирами полицейских. Все они показывали пальцами в его сторону, что-то крича. И в то же время народ внизу кричал в ужасе: «Спящий, Спящий! Спасайте Спящего!»

Что-то ударилось в стену над его головой. Он поднял глаза и увидел на стене звездообразный серебристый отпечаток расплющившейся пули. Кто-то схватил его за руку. Он обернулся. Подле него стоял Линкольн. Хлоп! — опять удар в стену... В него стреляли два раза и оба раза промахнулись — он только теперь об этом догадался. Он взглянул в сторону улицы — все опять скрылось; вторая звезда погасла.

Крепко держа его за руку, Линкольн потащил его за собой.

— Скорей, скорей, пока темно, — кричал он.

Энергия Линкольна заразила Грехэма. Как ни велико было его оцепенение, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Им овладел животный страх смерти. Он бежал без оглядки, спотыкаясь в темноте, наткнулся на своих телохранителей, ожидавших его, и побежал дальше вместе с ними. Единственною его мыслью было: «Скорее! Скорее! Подальше от этой страшной галереи, где он служит мишенью».

Почти сразу же после второй звезды загорелась третья. Вместе с появлением света раздался торжествующий крик по ту сторону улицы и другой, ответный, снизу. Вся середина улицы, как он успел заметить, была уже занята красными солдатами. Их лица были обращены к нему. Они тоже кричали.

Во всем этом было что-то фантастическое, непостижимое, и все это касалось его, Грехэма, вращалось вокруг него, как вокруг центра. Ведь эти красные солдаты — гвардия Совета, задавшегося целью снова захватить его.

Грехэм не знал, что направленные в него выстрелы были первыми за последние полтораста лет и что только благодаря этому он остался цел. Он слышал, как пули шлепались о стены, один раз ему обожгло ухо брызгами расплавленного металла. Он видел, не глядя, что весь отряд красной полиции, засевший в противоположном здании, целится только в него.

Один человек из его караула, бежавший впереди, упал. Грехэм уже не мог остановиться. Он перескочил через извивавшееся в предсмертных муках тело.

В следующий момент он очутился в каком-то совершенно темном проходе и с разбегу налетел на кого-то, бежавшего, очевидно, навстречу. Потом почти скатился с лестницы в наступившей темноте, еще раз наткнулся на кого-то, ударился руками в стену и только благодаря этому устоял на ногах. Тут на него навалилась толпа бежавших следом за ним. Общим течением его отнесло куда-то вправо, его прижали к стене и так сдавили, что чуть не переломали ему ребра. Был момент, когда он думал, что сейчас задохнется. Но толпа, захватившая его в своем стремительном беге, понесла его дальше. Его жали со всех сторон, минутами ноги его не касались пола. Он тоже толкался, стараясь выбраться из давки, но безуспешно. Он слышал

испуганные крики: «Они идут! Они идут!» Где-то совсем близко раздался подавленный стон, и вслед за тем он почувствовал под ногами что-то мягкое, живое... Кругом раздавался треск выстрелов. Кричали: «Спящий! Где Спящий?» Но он был так ошеломлен всем происходящим, что не мог заставить себя заговорить. Он потерял свою личную волю, превратился на время в слепую бессознательную частицу охваченного паникой целого. Вместе с другими он пробирался вперед, сопротивляясь натиску задних рядов, насколько у него было сил. Споткнувшись о какую-то ступеньку, он чуть не упал и вслед за тем почувствовал, что он поднимается вверх по какому-то крутому уклону. Вдруг лица окружавших его людей вынырнули из темноты, испуганные, растерянные, мертвенно-бледные под яркими лучами ослепительно-белого света. Совсем близко от себя, через два-три человека, он увидел молодое лицо — лицо юноши, которое даже не особенно поразило его в тот момент, но потом долго вспоминалось ему. Этот юноша, казалось, шел вместе с другими, но его несло напором толпы: перед тем он получил смертельную рану и теперь был уже мертв.

Очевидно, загорелась четвертая звезда. Ее ослепительный свет широкими потоками вливался через огромные окна и арки какого-то гигантского здания, в котором очутился Грехэм. Теперь он видел, что его окружает плотная масса черных фигур и что он вместе со всеми идет по партеру того самого театра, откуда он так торжественно вышел несколько часов тому назад. Но теперь полосы яркого света снаружи перемежались с резкими тенями, падавшими от простенков, и это придавало всей картине что-то зловещее, призрачное. Неподалеку от Грехэма красная полиция прокладывала себе путь через толпу. Он не знал, заметили ли его красные. Он стал искать глазами Линкольна и скоро увидел его возле сцены, окруженного плотной черной кучкой революционеров. Он тоже озирался во все стороны, как будто отыскивая его, Грехэма. Их разделяла вся масса толпы.

Позади Грехэма, за низким барьером, поднимались места амфитеатра, в ту минуту пустые. У него вдруг блеснула новая мысль. Он стал протискиваться к барьеру. В тот момент, когда он наконец добрался до него, свет погас. Пользуясь этим, он сбросил с себя черный плащ, который не только стеснял его движения, но и делал его слишком заметным, потом перелез через барьер и пу-

6 Заказ 122

стился наугад в темноту, пробираясь между креслами амфитеатра. С наступлением темноты выстрелы прекратились и крики затихли. Вдруг он споткнулся о ступеньку, которой не ожидал, и упал. В эту минуту все снова осветилось ярким светом. Лучи пятой звезды лились в широкие окна театра. Снова затрещали выстрелы, снова поднялась буря криков.

Грехэм хотел встать, но его опять сшибли с ног. Он увидел возле себя небольшую кучку черных: прячась за креслами, они стреляли в красную полицию, расположившуюся внизу. Шальные пули попадали в стены, в мягкую обивку кресел, оставляя блестящие выемки на их металлических ручках. Грехэм инстинктивно присел за спинку кресла. Так же инстинктивно запомнил он расположение выходов и наметил ближайший из них, с тем чтобы пробраться в него, как только наступит темнота.

Перепрыгивая через ряды кресел, в его сторону бежал с зеленым жезлом в руке молодой человек в светло-голубом.

— Эй, посторонись! — закричал он, чуть не задев его ногой по голове и соскакивая на пол возле него. Потом посмотрел на него во все глаза, очевидно не узнавая, повернулся назад, выстрелил и, крикнув «к черту Совет!», приготовился снова стрелять. В этот момент Грехэму показалось, что у молодого человека вдруг исчезла половина шеи, и на своей щеке он почувствовал теплую струю. Зеленый жезл остановился на полдороге, не успев выпустить заряда. Человек в голубом на секунду застыл в той позе, как стоял, потом начал тихо склоняться вперед. Лицо его потеряло выражение, ноги подвернулись, и он упал. И в тот же миг погасла пятая звезда и все погрузилось во мрак. В смертельном ужасе Грехэм вскочил, бросился к проходу, споткнулся обо что-то в темноте, упал, снова вскочил на ноги и побежал дальше. Когда загоралась шестая звезда, он был уже под сводами коридора. Теперь он мог еще прибавить ходу. Он пробежал весь коридор, и в ту минуту, когда он поворачивал за угол, свет снова погас. Кто-то налетел на него. Его сшибли с ног, чуть не раздавили. Не без усилий он поднялся и очутился в невидимой толпе таких же беглецов, как и он, мчавшихся в одном направлении. Их всех поглощала одна мысль — бежать подальше от этого страшного места, где лилась кровь. Его толкали, толкал и он; несколько раз он терял почву из-под ног, сжатый со всех сторон, как тисками; но, как только путь становился свободен, снова пускался бежать.

Несколько минут он бежал в темноте извилистым коридором, который вывел его на открытое место. Тут он увидел широкую лестницу и вместе с другими спустился по ней на большую площадь. Здесь тоже толпился народ. Кричали: «Они идут! Идут красные! Стреляют! Бегите! Скорее на Седьмую улицу! Там безопаснее!» В толпе были женщины и дети. Все протискивались к узким сводчатым воротам, смутно видневшимся в конце площади. Грехэм в числе прочих прошел в эти ворота и очутился на другой площади, еще больших размеров. Откуда-то сверху сюда проникал тусклый свет. Окружавшие его черные фигуры рассыпались вправо и влево, и, насколько можно было рассмотреть при этом тусклом свете, побежали вверх по низким широким ступеням. Он наудачу последовал за теми, которые повернули направо. Поднявшись на верхнюю ступеньку и почувствовав себя на просторе, он остановился. Перед ним тянулись ряды скамеек и возвышался небольшой киоск. Он спрятался в тени его широкой крыши и стал осматриваться, тяжело переводя дух. Теперь только он догадался, где он: широкие ступени, по которым он только что поднялся, были платформами движущихся улиц, стоявшими на месте. Они поднимались террасами в обе стороны. За ними огромными призраками вставали гигантские здания с чуть заметными надписями покрывавших их реклам, а над ними, сквозь переплеты висячих мостов и сети кабелей, тянулась полоса бледного неба. Мимо него пробежали несколько человек. Судя по их воинственным возгласам, они спешили присоединиться к сражающимся.

С дальнего конца улицы доносился треск выстрелов. Там, очевидно, сражались. Но это была не та улица, на которую выходил театр и где он сам чуть не был убит в общей свалке. Отсюда уже не могло быть слышно выстрелов: это было слишком далеко.

Дрались из-за него — смешно подумать! Эта мысль поразила его: он был как человек, который с увлечением читал интересную книгу и вдруг начал анализировать то, что раньше воспринимал непосредственно чувством. До сих пор он почти не замечал деталей: слишком уж сильно было общее впечатление. Странно: перед ним ярко вставали побег из тюрьмы, огромная толпа в театре, нападение красной полиции на народ; но ему стоило больше усилий восстановить в памяти момент своего пробуждения, однообразные часы, проведенные им в заточении, и то, о чем он

думал тогда. Мысли его как-то сами собой перескакивали через этот промежуток времени и переносили его в далекое прошлое, к мрачным красотам корнуэльского берега и к той скале у Пентарджена, под которой он сидел два века тому назад. Контраст между прошлым и настоящим был так резок, что не верилось в реальность всего окружающего. Только теперь эта пропасть понемногу заполнялась, и он начинал уяснять себе свое положение.

Теперь оно больше не было для него загадкой, как в дни его одиночного заключения. Разгадка уже намечалась в общих чертах. Каким-то непонятным образом он оказался владетелем половины мира, и крупные политические партии боролись из-за него. На одной стороне был Белый Совет с его красной полицией, твердо решившийся присвоить его права, а может быть, и лишить его жизни; на другой — освободивший его революционный народ со своим невидимым вождем Острогом. Весь гигантский город содрогается от агонии этой междоусобной борьбы. Так вот к чему пришел мир, его мир!

— Не понимаю, ничего не понимаю! — вырвалось у него.

Ему посчастливилось ускользнуть от обеих враждующих партий. Здесь, под прикрытием темноты, он свободен пока. Ну, а дальше что? Что будет с ним дальше и что происходит теперь там? Он живо представил себе, как рыщут красные, разыскивая его и обращая в бегство революционеров в черном.

Так или иначе, благодаря счастливой случайности у него есть время передохнуть. В этом укромном уголке его никто не заметит, и он может без помехи наблюдать. Его взгляд машинально скользил по смутным очертаниям гигантских зданий, и он с невольным изумлением спрашивал себя: неужели и над этой громадой хитроумных сооружений восходит солнце и сияет природа все тем же знакомым милым светом дня?

Мало-помалу он отдохнул и пришел в себя. Его платье высохло. Он решился выйти из своей засады и отправился бродить. Много миль прошел он по полутемным улицам, ни с кем не заговаривая и не привлекая ничьего внимания к себе, — такая же незаметная темная фигура, как и все другие, попадавшиеся ему на пути. Никому и в голову не приходило, что это тот самый человек из далекого прошлого, который стал предметом всех вожделений, нечаянно оказавшись собственником половины мира.

Всякий раз, как он попадал на освещенное место или слышал впереди оживленные голоса собравшейся толпы, он поскорее сворачивал в сторону, в какой-нибудь глухой переулок, боясь, чтобы его не узнали. И хоть он ни разу больше не натолкнулся на сражающихся, в воздухе тем не менее чувствовалась война. Один раз ему пришлось спрятаться, чтобы не попасться на глаза быстро проходившему по улице отряду, который по пути все увеличивался новыми добровольцами. Тут были не только мужчины, но и женщины, и все были вооружены. Борьба сосредоточивалась, по-видимому, в той части города, которую он оставил за собой. Минутами до него долетали издали треск выстрелов и крики, показывавшие, что там еще дерутся. В нем боролись любопытство и страх. Страх одержал верх, и, насколько он мог ориентироваться, он продолжал удаляться от места сражения. Ни в ком не возбуждая подозрений, он спокойно шел в полутьме и вскоре перестал слышать даже отголоски битвы. Навстречу ему попадалось все меньше и меньше народу. Чем дальше он шел, тем проще становилась архитектура зданий, наконец потянулись постройки, не похожие на жилые дома: очевидно, он попал на окраину, где были товарные склады. Теперь на улице, кроме него, не было ни души. Он замедлил шаги.

Усталость давала себя знать. Иногда он сворачивал в сторону и присаживался на какую-нибудь из многочисленных скамеек верхних платформ, но от сознания своей причастности к происходящей борьбе на него всякий раз нападало такое лихорадочное беспокойство, что он не мог долго усидеть на месте.

Вдруг его отбросило в сторону. Раздался оглушительный грохот; по улице пронесся порыв холодного ветра. Кругом зазвенели стекла. Посыпались кирпичи, как от землетрясения. Не дальше как в ста ярдах он него обрушился железный переплет стеклянной крыши. Где-то вдали слышались крики и топот бегущих ног. Он заметался в паническом ужасе, бросаясь вперед, назад, сам не зная зачем.

Навстречу ему бежал человек.

— Ведь это взрыв! Что они взорвали? — спросил он на бегу, поравнявшись с Грехэмом, и, прежде чем тот успел заговорить, пробежал дальше.

Кругом поднимались огромные здания, окутанные таинственным полумраком, хотя светлая полоса неба над ними показывала, что наступал уже рассвет. Не странно ли, что все или почти все эти дома-великаны принадлежат

ему? Ему снова живо представилась необычайность всего случившегося с ним. Он сделал такой невероятный скачок во времени, какой позволяют себе только романисты. Он помнил, как трудно было ему поверить в реальность этой сказки, но наконец факт был признан, и он решился приладиться к действительности и стать в положение постороннего зрителя, ожидающего увидеть интересное представление. И вдруг вместо этого ему грозит опасность — неопределенная, но тем более пугающая. Со всех сторон его обступают враждебные тени. Где-то в темном лабиринте этого города его подстерегает смерть. Неужели же его убьют, прежде чем он успеет увидеть новый мир? Как знать, быть может, его ждет гибель за ближайшим углом? В нем заговорило страстное желание жить, жить, чтобы увидеть, узнать.

Он начал бояться углов. Ходить опасно: лучше уж спрятаться куда-нибудь. Но куда? Как сделать, чтобы его не заметили, когда улицу опять осветят? Он сел на скамейку в тени киоска на одной из верхних платформ и в полной уверенности, что здесь он один, закрыл свои усталые глаза.

А что если, когда он их снова откроет, он увидит, что все исчезло, что нет больше ни этого чернеющего внизу русла параллельных платформ, ни этого нестерпимого ряда гигантских зданий напротив? Что если все события этих последних дней — его пробуждение, эта кричащая толпа, эта битва впотьмах — не что иное, как фантасмагория, сон, слишком уж все непоследовательно, бессмысленно — так не бывает наяву. Ведь если он действительно проспал двести лет, то человечество должно было поумнеть за это время. Каким же образом оно может смотреть на него, Грехэма, как на своего властелина?

Все это он передумывал, сидя с закрытыми глазами. Почти надеясь, вопреки всему, увидеть какую-нибудь знакомую картину из жизни девятнадцатого столетия — деревушку Боскасль, быть может, утесы Пентарджена или спальню своего дома, — он открыл глаза. Но факты не считаются с нашими надеждами. Мимо него вдоль улицы шел, маршируя в ногу, отряд вооруженных людей с черным знаменем, а перед ним тянулась все та же бесконечная высокая стена зданий с чуть светящимися на них в полумраке непонятными надписями.

— Нет, это не сон... не сон! — прошептал он и безнадежно уронил голову на руки.

Глава XI

СТАРИК, КОТОРЫЙ ВСЕ ЗНАЕТ

Он вздрогнул, неожиданно услышав чей-то кашель, и, быстро обернувшись, увидел в двух шагах от себя тщедушную фигурку, сидевшую скорчившись за спинкой одной из скамеек.

— Какие новости? — послышался дребезжащий старческий голос.

— Никаких, — не сразу ответил Грехэм.

— Вот сижу здесь, дожидаюсь, пока зажгут свет, — сказал старик. — Куда ни сунься, везде наткнешься на этих головорезов-голубых.

Грехэм ответил неопределенным мычанием. В темноте он не мог разглядеть лица своего собеседника. Ему очень хотелось поговорить, но он не знал, как начать.

— Чертовски темно, — снова заговорил старик. — Пришлось выйти на улицу, а тут что ни шаг, то опасность.

— Да, скверное положение, — пробормотал Грехэм.

— Главное — проклятая темнота. Плохо в темноте старым людям. Все точно взбесились. Стреляют, дерутся. Полицию расколотили, повсюду хозяйничают разбойники. Не понимаю, отчего не вытребуют негров, они бы защитили нас... Не хочу я больше бродить один в темноте. Сейчас я наткнулся на труп и упал... В компании все-таки веселее... конечно, в хорошей компании. — Он поднялся на ноги, подошел к Грехэму и стал всматриваться в его лицо. Осмотр, очевидно, удовлетворил его. Он опустился на скамейку с заметным облегчением и продолжал: — Да, времена, нечего сказать! Резня, везде валяются трупы; здоровые сильные люди пропадают ни за грош. У меня три сына. Где-то они в эту минуту? Бог знает!

Старик замолчал, потом повторил дрожащим голосом:

— Где-то они?

Грехэм молчал, придумывая, в какой бы форме предложить вопрос, чтобы не выдать своего незнания современной жизни. Старик снова прервал паузу.

— Острог победит. Победит! — сказал он. — А какой толк из этого выйдет, это уж трудно сказать. Мои сыновья служат при ветряных двигателях, все трое. Моя невестка была его любовницей — самого Острога! Мы не какие-нибудь! А вот мне, старику, все-таки пришлось скитаться

ночью без приюта... Я знал, что к этому придет. Давно знал, раньше других. Не думал я, что доживу до таких ужасных времен.

Было слышно, как у него хрипело в груди.

— Вы говорите, Острог... — начал было Грехэм.

— О! Это голова!

— У Совета, кажется, мало друзей среди народа, — заметил Грехэм, не зная что сказать...

— Очень мало, да и те ненадежные. Белый Совет отжил свое время. Его два раза выбирали. А Острога... Ну, а теперь прорвалось, и уж ничто не поможет. Два раза Острог провалился на выборах. Надо было видеть, как он бесновался! Он был страшен. Теперь разве только бог поможет белым, а то их дело пропало. Острог поднял на них рабочие союзы. Никто другой не посмел бы. Вся эта голубая сволочь вооружена и идет напролом. А тот не остановится: он уж доведет до конца!

Старик помолчал.

— А Спящий... — заговорил он опять и остановился.

— Ну! — сказал Грехэм.

Дребезжащий голос понизился до конфиденциального шепота. Чуть белевшее в темноте старческое лицо придвинулось к лицу Грехэма.

— Настоящий Спящий давным-давно умер!

— Что?!

— Да, умер дюжины лет тому назад.

— Ну что вы! Быть не может!

— Верно говорю: умер. А тот Спящий, который проснулся теперь, — подставной, какой-то жалкий нищий, полуидиот, которого они опоили... Мало ли что я знаю, только лучше помолчу.

Старик стал бормотать что-то бессвязное. Он знал, очевидно, так много, что не мог удержать всего при себе.

— Я не знаю, кто подсунул ему сонного зелья — меня в то время еще на свете не было, — но зато я знаю, кто ему впрыскивал возбуждающее, чтобы разбудить его. Разбудить или убить — середины быть не могло. Решительная мера, совершенно в духе Острога.

Грехэм был так поражен, что несколько раз прерывал и переспрашивал старика, пока наконец вполне уяснил себе весь дикий смысл его слов. Так, стало быть, его пробуждение не было естественным! Или, может быть, все это просто стариковские бредни? Неужели же в них есть хоть доля правды? Он напряженно рылся в тайниках своей

памяти и припомнил кое-что из тогдашних своих впечатлений, что можно было объяснить именно таким образом. «Хорошо, что я встретил этого старика; может быть, от него я узнаю что-нибудь о новых людях», — подумалось ему.

Старик закашлялся, сплюнул, и опять задребезжал его слабый старческий голос:

— В первый раз его провалили. Я хорошо это помню.

— Провалили? Кого? Спящего?

— Да, нет, нет, Острога. Как он тогда обозлился! Он рвал и метал! Его тогда умаслили кое-как, пообещали, что в следующий раз он будет выбран наверное, и успокоились, перестали бояться его. Вот дураки-то! А теперь весь город в его руках; он измелет всех нас в порошок. И раньше, конечно, не все было тихо у голубых; случалось, что рабочий зарежет какого-нибудь китайца или надсмотрщика, но хоть нас-то по крайней мере не трогали. Ну, а как принялся работать Острог, пошла сплошная резня! На улицах — трупы, в домах — грабеж, везде — темнота! Никто не запомнит таких дел за целый гросс лет. Да по пословице: от распри великих страдают малые.

— Как вы сказали: никто не запомнит... чего?

— А? — переспросил старик и, проворчав что-то такое насчет того, как скучно, когда глотают слова, заставил Грехэма повторить вопрос.

— Никто не запомнит такой смуты, вот что хотел я сказать. Слыханное ли дело: ходят с ножами, с ружьями, убивают друг друга, орут «свобода! свобода!» и тому подобную чепуху... Ничего похожего я не видал за всю свою жизнь. Совсем как в старые времена — три гросса лет тому назад, — когда взбунтовалась парижская чернь. Ну, да это должно было повториться: так все идет на свете. Кому и знать, как не мне. Вот уже пять лет, как Острог делает свое дело, и все эти пять лет мы не выходим из смуты: голод, мятежные речи, угрозы, резня. Голубые бунтуют. Никто не спокоен за свою жизнь. Все разваливается. Совету приходит конец — вот до чего дожили!

— Вы, я вижу, действительно много знаете, — сказал Грехэм.

— Люди говорят, а я слушаю. Я не зря болтаю.

— Так вы наверняка знаете, что это Острог поднял восстание и подстроил так, что Спящий проснулся? И сделал это, чтобы захватить власть и отомстить за то, что его не выбрали в Совет?

— Ну, разумеется, всякий дурак это знает, — ответил

старик. — Он решил так или иначе стать первым лицом. В Совете или не в Совете — все равно. Кто ж этого не знает! И вот теперь — можем радоваться! Междоусобица, убийства, трупы! Да, господи, уж не с луны ли вы свалились? Неужели вы ничего не слыхали о ссоре Острога с Вернеями? А как вы думаете, из-за чего все эти волнения? Из-за Спящего? А? Неужели вы верите, что этот Спящий — настоящий Спящий и проснулся сам, без чужой помощи?

— Я, видите ли, человек нелюдимый, притом я старше, чем кажется, и память у меня плохая, — сказал Грехэм. — Многое из того, что случилось за последние годы, как-то ускользнуло он меня. Будь я сам Спящий, я и тогда, сказать вам по правде, знал бы не больше.

— Ну, будто вы так уж стары? Вы совсем не выглядите стариком. Правда, впрочем, не у всякого сохраняется память до глубокой старости, как у меня. Но такие вещи, какие творятся теперь, трудно забыть. А все-таки который вам год? Ведь вы, наверное, много моложе меня? Впрочем, нельзя судить по себе. Я молод для такого старика, как я, а вы, может быть, стары для своих лет.

— Вот именно, — сказал Грехэм. — Моя жизнь, надо заметить, сложилась не совсем обыкновенно. Я очень мало знаю, а истории и вовсе не знаю, можно сказать. Ваш Спящий или Юлий Цезарь — для меня все одно: их имена одинаково мало мне говорят. Может быть, вы еще что-нибудь расскажете, мне интересно послушать.

— Да, я таки знаю кое-что, — прошамкал старик. — Но что это? Слышите?..

Оба притихли. Что-то загрохотало. Платформа под ними затряслась. Они увидели, что все прохожие останавливаются и что-то кричат друг другу. Старик заволновался и стал в свою очередь окликать проходивших мимо, засыпая их вопросами. Ободренный его примером, Грехэм встал и подошел к столпившимся на улице людям. Никто не знал, что случилось.

Он вернулся назад. Старик сидел на прежнем месте, бормоча себе под нос.

У Грехэма пропала охота разговаривать. Его угнетал загадочный смысл гигантской борьбы, так близко его касавшейся и столь чуждой ему. Кто прав, этот старик или революционеры? И правду ли он говорит, что победа будет за ними? Каждую минуту пожар мятежа мог охватить и эту глухую часть города; тогда его непременно узнают и ему придется действовать так или иначе. Необ-

ходимо выведать все, что можно, от этого старика, пока есть еще время.

Он сделал было движение, собираясь заговорить, но старик предупредил его.

— Да, дела! — забормотал он. — Вот хоть бы взять этого Спящего, в которого так верят наши дураки. Я хорошо знаю эту историю. Да мало ли я их знаю! Ведь когда я был мальчишкой, я еще печатные книги читал — вот сколько я живу на свете! Трудно поверить, не правда ли? Вы, я думаю, никогда не видели печатной книги? Но все-таки они имели и свои преимущества. По ним можно было многому научиться. А эта новая выдумка — говорильные машины, бог с ней совсем. Слушать-то ее — никакого труда, но что легко дается, легко забывается... Ну, а историю Спящего я знаю, как свои пять пальцев, с начала до конца.

— Вы не поверите, — заговорил Грехэм нерешительно, — я такой невежда во всем... я всегда был так поглощен моими личными делами и жизнь моя сложилась так странно, что я ровно ничего не знаю о Спящем. Кто он был такой?

— Кто он был? Я-то знаю! — сказал старик. — Он был неважная птица, так себе человек, как и все. И влюбился он, бедняга, в ветреную женщину, которая обманула его. От горя с ним сделался столбняк, а потом спячка. Постойте, как это называлось в те времена? Фотография? Такая машина, которая снимала людей? Так вот, сохранились бумажки, на которых он изображен спящим еще полтора гросса лет тому назад. Полтора гросса.

— Влюбился в дурную женщину, которая обманула его, — прошептал задумчиво Грехэм. — Ну, что же дальше? Продолжайте.

— Ну-с, был у него двоюродный брат по фамилии Уорминг, человек одинокий, бездетный. Он составил огромное состояние, спекулируя на акциях только что изобретенных в то время идамитных дорог. Вы, верно, слышали об этом. Нет? Неужели! Он скупил все акции и стал хозяином предприятия. В те времена были еще мелкие частные предприятия — тысячи всевозможных акционерных обществ. Не прошло и двух дюжин лет, как его дороги убили старые железные дороги. Он не хотел ни принимать пайщиков в свое дело, ни дробить свое состояние и придумал целиком завещать его Спящему. Он сам назначил Совет опекунов, сам написал устав для него. Он знал ведь,

что Спящий никогда не проснется, а будет спать, пока не умрет. Он отлично знал. И вдруг, представьте такой случай, умирает в Америке один богач. У него, надо вам сказать, были два сына, и оба утонули, — и тоже завещает Спящему весь свой капитал. Таким образом, в руках Совета опекунов с самого начала оказалось около дюжины мириад львов.

— А как его звали?

— Грехэм.

— Нет, я спрашиваю, как звали того американца.

— Избистер.

— Избистер? Никогда не слыхал этого имени!

— Конечно, не слыхали, — сказал старик. — Не многому научишься в нынешних школах. Наша молодежь ничего не знает. Ну, а я знаю. Этот американец был выходец из Англии. Он оставил Спящему еще больше, чем Уорминг. Как он разбогател, я не знаю. Он изобрел какой-то особый машинный способ писания картин или что-то в этом роде. Но суть в том, что и его огромное состояние попало в Совет опекунов Спящего. Отсюда-то и произошел теперешний Белый Совет.

— Как же он достиг такой власти?

— Э-э, да вы совсем невинный младенец! Ведь деньги к деньгам льнут, разве вы не знаете? Это одно. А другое: ум — хорошо, а два — лучше. И они ловко сыграли игру, можно сказать. Они вершили политические дела своими деньгами, а так как биржевые курсы и тарифы зависели от них, то капитал продолжал все расти. Долгие годы двенадцать опекунов скрывали его рост от народа. Совет подчинял себе вся и всех, то ссужая деньгами под проценты, то входя крупным пайщиком во всевозможные предприятия. Он подкупал политические партии, закупил все газеты. Если бы вы знали историю последнего гросса лет, вы бы не спрашивали, как и почему росла власть Совета. А теперь имущество Спящего исчисляется биллионами биллионов львов. И смешно сказать, все это произошло из-за каприза какого-то Уорминга, которому пришла фантазия оставить такое странное завещание, и из-за несчастного случая с сыновьями другого чудака Избистера... Да, странные бывают люди, — сказал старик, помолчав. — Но для меня всего страннее то, как могли члены Совета действовать так дружно столько лет! Целых двенадцать человек! А все-таки проиграли игру! Я помню, в дни моей молодости о Совете говорили как о божественной власти.

Никто и подумать не смел, что Совет может грешить. Никто и не подозревал, что эти боги развратничают не хуже обыкновенных смертных. И я их почитал за богов. Ну, а теперь стал умнее. Да, поумнел на старости лет. Ведь мне восьмая дюжина пошла. А я вот учу уму-разуму вас, молодого. Восьмая дюжина, а я еще вижу и слышу. Слышу, положим, лучше, чем вижу. И голова еще свежа. За всем слежу, все понимаю... Да, немало я перевидал в своей жизни. Мне было лет тридцать, когда Острог появился на свет. Я помню его молодым человеком задолго до того, как он стал во главе Управления ветряных двигателей. Много перемен случилось на моих глазах. Я и голубую блузу носил, и кем только я не был! И вот под старость дожил до этого разгрома. Проклятая темнота! На улицах кучами валяются трупы. Война между своими. И все это дело его рук!

Речь старика перешла в бессвязное бормотание. Грехэм молчал, обдумывая все то, что узнал от него.

— Позвольте, верно ли я вас понял, — сказал он наконец и стал считать по пальцам. — Спящий спал — это первое.

— Его подменили, — вставил старик.

— Допустим. А тем временем имущество Спящего все росло да росло в руках двенадцати членов Совета, пока не поглотило почти всю частную собственность на земле. Таким образом, Совет фактически завладел миром. И понятно: ведь он платящая сила, вроде той, какой был английский парламент прежних времен.

— Вот-вот, это вы верно сравнили, — подхватил старик. — Вы, я вижу, не так непонятливы...

— Теперь второе. Острог революционизировал весь мир тем, что разбудил Спящего, того самого Спящего, в пробуждение которого верили только самые невежественные люди. Разбудил его затем, чтобы он потребовал у Совета отчета в своих деньгах за все двести лет.

Старик многозначительно крякнул и сказал:

— Как странно видеть человека, который только сегодня в первый раз узнает обо всех этих вещах.

— Да, пожалуй, что и странно, — согласился Грехэм.

— Бывали вы когда-нибудь в Веселых Городах? — спросил старик. — Всю жизнь я мечтал. — Он засмеялся. — Я и теперь бы еще мог позабавиться. Хоть поглядеть на других.

Он пробормотал что-то такое, чего уже совсем нельзя было разобрать.

— Скажите, когда проснулся Спящий? — спросил вдруг Грехэм.

— Три дня тому назад.

— Где же он теперь?

— У Острога. Совет посадил его под замок, но он убежал. Не больше четырех часов тому назад. Да где вы были все это время, что ничего не знаете? Он был в театре на Рыночной площади, где потом сражались. Да, он бежал. Весь город об этом кричал. Все говорильные машины. Даже дуракам, которые стоят за Совет, пришлось в это поверить. Все бежали смотреть на него, всякий запасался оружием. Что вы, пьяны были или спали? Да нет, вы просто шутите, прикидываетесь дурачком. Ведь затем они и электричество потушили, чтобы остановить говорильные машины и помешать народу собираться. Оттого-то мы и очутились в этой проклятой темноте. Неужели вы хотите сказать...

— Да, я знаю, что Спящего освободили, я слышал об этом, — сказал Грехэм. — Но позвольте, вы точно знаете, что он у Острога?

— Точно. И уж Острог его не выпустит, будьте покойны.

— А вы уверены, что этот Спящий — подставной?

— Дураки-то считают его настоящим. Мало ли во что верит народ. Ну, а Острогу не все ли равно, настоящий он или подставной. Ему лишь бы провести свою линию. Я хорошо его знаю. Я ведь, кажется, говорил вам, что он мне в некотором роде родня. Через мою невестку.

— Едва ли этому Спящему удастся вырваться из-под опеки, как вы думаете? Должно быть, он сделается простой марионеткой в руках Острога или Совета.

— Ну уж, конечно, в руках Острога. Да и чего ему надо? Какого еще положения? Все к его услугам, требуй, чего хочешь, развлекайся, как хочешь. Чем ему мешает эта опека?

— А что это за Веселые Города, о которых вы говорили? — спросил вдруг Грехэм.

Ему пришлось повторить свой вопрос. Когда наконец старик убедился, что он не ослышался, он захихикал и, лукаво подтолкнув Грехэма локтем в бок, сказал:

— Нет, это уж чересчур. Вы смеетесь надо мной, стариком. Я давно уже начинаю догадываться, что вы только

прикидываетесь простачком, а знаете побольше моего.

— Может быть, кое-что я и знаю, — сказал Грехэм, — но я не знаю, что такое Веселые Города, уверяю вас.

Старик конфиденциально подмигнул, продолжая хихикать.

— Мало того, я даже не умею ни читать, ни считать по-вашему, не знаю ваших монет, не знаю, какие теперь на свете народы и страны, не знаю, где я. У меня нет приюта, и я не знаю, где добыть себе еду и питье.

— Ну, рассказывайте, — перебил старик. — А дать вам стаканчик вина, так небось не выльете его себе в ухо, а отправите прямо в рот.

— Даю вам слово, что я не шучу. Ничего этого я не знаю и буду очень благодарен, если вы меня просветите.

— Хе-хе! Известное дело, кто ходит в шелку, тот любит позабавиться, — и он провел сморщенной рукой по рукаву Грехэма. — Да, шелк. Ну все равно, не в этом дело... А хотел бы я, признаться, очутиться на месте Спящего. Недурная жизнь его ждет. И удовольствие, и почет. Я ведь видел его. Когда к нему пускали всех без разбора, я, помню, тоже добыл себе билет и ходил посмотреть. Странное у него было лицо, желтое, как лимон. Как две капли воды похож на настоящего, каким тот изображен на прежних фотографиях. Совершенный мертвец. Ну, ничего, откормится. Бывает же такая удача. Его, верно, на Капри пошлют поправляться.

Тут на него опять напал кашель, и несколько секунд он не мог говорить.

— Везет людям, везет... — завистливо забормотал он потом. — Всю жизнь просидел я в Лондоне на одном месте. Все ждал, все надеялся, не посчастливится ли и мне...

— А почему вы знаете, что настоящий Спящий умер? — прервал его Грехэм.

Старик заставил его повторить вопрос, прежде чем ответил.

— Люди не живут дольше десяти дюжин лет. Это против законов природы. Дураки могут верить сказке про Спящего, а я не верю. Я не дурак.

Грехэма наконец рассердила эта самоуверенность старика.

— Дурак вы или нет, — сказал он, — а только насчет Спящего вы ошиблись.

— Что?

— Вы ошиблись насчет Спящего, я говорю.

— Да вы-то как можете это знать? Вы только что сказали, что вы ровно ничего не знаете. Не знаете даже, что такое Веселые Города.

Грехэм помолчал.

— Так знайте же: я — Спящий, — сказал он наконец.

Старик смотрел на него во все глаза, не понимая, Грехэм должен был повторить свое заявление.

— Извините меня, сэр, это глупая шутка с вашей стороны, — сказал старик. — Такие слова могут дорого вам обойтись в это смутное время.

Грехэм немного смутился, но повторил свое заявление.

— Я вам сказал, что я — Спящий. Много-много лет тому назад я заснул в одной деревушке. Случилось это в те дни, когда еще были деревни с живыми изгородями, с постоялыми дворами, с мелкими участками пахотной земли. Разве вы никогда не слыхали о тех временах? И это я, я, который говорит с вами, проснулся четыре дня тому назад.

— Четыре дня тому назад! Спящий? Но Спящий у них. Они добрались до него и уж не выпустят теперь. Вздор. До сих пор вы говорили, как человек разумный, и вдруг... Линкольн его хорошо сторожит; я это наверное знаю. Можете быть уверены, что его не пустят разгуливать по улицам одного. Чудак вы, право; любите шутить. Теперь я понимаю, отчего вы так смешно коверкали слова! Так я и поверю, что Острог выпустил бы Спящего из своих рук! Конечно, не поверю, не на такого напали. Не понимаю, к чему вы ведете всю эту игру.

Грехэм встал.

— Я вам серьезно говорю: я — Спящий, — сказал он.

— Странный вы человек, — проговорил с негодованием старик. — Сидит один в темноте, ломает английский язык и сочиняет небылицы!

Грехэм, который уже готов был выйти из себя, после этих слов старика взглянул на свое положение глазами постороннего зрителя и разразился смехом.

— Фу, какая бессмыслица! Когда же кончится этот сон? Он становится все более диким. Чего я сижу тут, в этой проклятой темноте, каким-то живым анахронизмом и стараюсь убедить старого дурака в том, что я — я! Нет, довольно!

Он круто повернулся и зашагал прочь. Старик бросился за ним.

— Не уходите, — кричал он, — не уходите! Я старый

дурак, ваша правда. Не уходите, не оставляйте меня одного в темноте!

Грехэм приостановился, не зная, что делать, но вдруг он сообразил, как неблагоразумно было с его стороны выдавать свою тайну.

— Я не хотел вас обидеть, — забормотал старик подходя. — Называйте себя Спящим, если вам так нравится, или кем хотите, какая в этом беда?..

С минуту Грехэм колебался, потом, не говоря ни слова, повернулся и пошел своей дорогой.

Некоторое время он еще слышал за собой ковыляющие шаги старика и его постепенно удаляющиеся крики. Но наконец все затихло, и темнота поглотила его.

Глава XII

ОСТРОГ

Теперь Грехэм мог лучше разобраться в своем положении. После разговора со стариком ему стало ясно, что необходимо прежде всего разыскать Острога. На этом решении он и остановился. Во всяком случае, несомненно было одно: главари восстания очень ловко сумели скрыть исчезновение Спящего. Но каждую минуту он ожидал услышать известие о своей смерти или о том, что он, Спящий, снова попал в руки Совета.

Он еще долго бродил по полутемным улицам. На одном перекрестке он столкнулся с каким-то человеком.

— Слышали новость? — спросил тот, останавливаясь.

— Нет. А что такое? — спросил в свою очередь встревоженный Грехэм.

— Около дозанды! Целая дозанда людей! — И человек побежал дальше.

Потом мимо него прошла кучка мужчин и между ними одна женщина. Все оживленно жестикулировали и громко разговаривали между собой.

— Сдались! Целая дозанда погибших!

— Не одна дозанда, а две!

— Ура Острогу!

Не успели затихнуть вдали эти возгласы, как появилась новая толпа прохожих, тоже что-то кричавших. Некоторое время все внимание Грехэма было поглощено доносившимися до него обрывками фраз. Он начинал сомневаться, по-английски ли говорили все эти люди, до такой степени

они коверкали слова. Сам он не решался заговорить. Но настроение всех попадавшихся ему навстречу людей вполне согласовывалось с его собственным представлением о вероятном исходе борьбы и со слепой верой старика в великого Острога. Ему трудно было освоиться с мыслью, что эти люди празднуют победу над Советом — тем самым всемогущим Советом, который всего несколько часов тому назад так неотступно преследовал его, а теперь оказался слабейшей стороной в борьбе. И если это так, если власть белых чиновников действительно пала, то интересно знать, как это отразится на нем.

Он все присматривался к прохожим, выбирая, к кому бы обратиться с вопросом, и все не решался. Он долго шел следом за одним толстяком, наружность которого показалась ему более располагающей, но так и не мог собраться с духом и заговорить.

Наконец ему пришло в голову, что самое простое — обратиться в Управление ветряных двигателей, которым заведовал Острог. Оставалось только спросить первого встречного прохожего, где оно помещается. На первый вопрос он получил короткий ответ: «Возле Вестминстера». На второй ему ответили указанием кратчайшего пути, на котором он тотчас же заблудился. Потом ему посоветовали с большой широкой улицы, по которой он шел, свернуть куда-то в темный переулок, где он чуть не свалился с лестницы, спускавшейся вниз. Тут начались приключения другого характера, но тоже не из приятных. Он столкнулся в темноте с каким-то невидимым существом, которое принялось осипшим голосом изливать на него потоки брани на неизвестном языке; только по некоторым отдельным словам можно было догадаться, что все это говорилось по-английски. Затем из темноты донесся женский голос, напевавший веселенький мотив. Голос быстро приближался. Женщина наткнулась на Грехэма — не совсем неумышленно, как ему показалось. Она обняла его, должно быть, в виде извинения, засмеялась и принялась было болтать что-то такое о своей сестре, которую она ищет, но, получив довольно резкий отпор, оставила его в покое и снова скрылась в темноте.

Кругом становилось люднее. Пешеходы спотыкались впотьмах, натыкались друг на друга. Слышались восклицания, возбужденные голоса. Кричали: «Сдались! Совет сдался!», «Не может быть!», «Нет, правда, все говорят!» Переулок сделался шире. Еще поворот, и Грехэм очутился

на широкой площади, в глубине которой толпился народ. Он обратился к проходившей мимо него темной фигуре, спрашивая дорогу к Вестминстеру. «Все прямо через площадь», — ответил женский голос. Он двинулся по указанному направлению, но сейчас же наткнулся на какой-то столик, уставленный посудой. Глаза его теперь привыкли к темноте, и, хорошенько всмотревшись, он различил целых два ряда таких столиков, тянувшихся через всю площадь, оставляя посредине узкий проход. Он пошел вдоль этого прохода. Со стороны некоторых столиков доносился звон стаканов и стук ножей и вилок. Нашлись, стало быть, храбрые люди, которые могли спокойно есть, несмотря на грозные события дня и удручающую темноту.

Далеко впереди откуда-то сверху падало полукруглое пятно света. Когда он подошел ближе, пятно исчезло, точно наверху задернули темную занавеску. Он опять чуть не скатился со ступенек, спускавшихся вниз, и очутился в узкой галерее с железными перилами по бокам. Вдруг в нескольких шагах впереди он услышал рыдания и, всмотревшись, увидел двух маленьких девочек. Они сидели на полу, скорчившись, крепко прижавшись к перилам, и плакали навзрыд. Но как только он подошел, они затихли, точно испуганные зверьки. Он пробовал спрашивать, уговаривать, но они упорно молчали. Пришлось оставить их в покое. Не успел он отойти, как снова услышал за собою плач.

Вскоре он очутился у подножия большой лестницы, на которую падал сверху слабый свет. Он поднялся наверх и оказался на площади движущихся улиц. Тут шумно сновала взад и вперед беспорядочная толпа. Кричали, пели революционные песни и пели прескверно — кто в лес, кто по дрова. Кое-где горели факелы, отбрасывая фантастические дрожащие тени. Он стал было опять спрашивать дорогу к Вестминстеру, но два раза был поставлен в тупик ответами на том же диком жаргоне. Наконец в третий раз ему посчастливилось получить удобопонятный ответ: оказалось, что до Вестминстера остается еще две мили и надо идти прямой дорогой. Чем ближе подходил он к Вестминстеру, тем чаще попадались толпы поющих и кричащих людей, и, судя по всеобщему оживлению, по этим ликующим крикам, а главное, по тому, что город был теперь опять освещен, падение Совета можно было считать совершившимся фактом. Но странно: никто из встречных ни словом не обмолвился об исчезновении Спящего.

Освещение города восстановилось внезапно. В один миг по улицам разлился яркий свет, так что все идущие, и Грехэм в том числе, остановились, ослепленные. Свет застал его почти уже у цели пути: среди возбужденной толпы, которая запрудила всю улицу, ведущую к Управлению ветряных двигателей. И вместе с появлением света в нем поднялось беспокойное чувство от сознания, что теперь его могут узнать, и его смутное намерение разыскать Острога превратилось в определенное желание, нетерпеливое и тревожное.

Немного не доходя до здания Управления, он попал в такую давку, что уж и не чаял выбраться из нее: его совсем затолкали. Кругом в толпе раздавалось его имя. Осипшие от крика голоса орали: «Спящий! Спящий!» Многие были в повязках. Все эти люди проливали кровь за него, за его дело... Передний фасад огромного здания ярко светился: на нем медленно двигалась картина, освещенная изнутри. Но с того места, где стоял Грехэм, ничего нельзя было рассмотреть, а протискаться ближе ему, несмотря на все усилия, никак не удавалось. Из долетавших до него отрывочных фраз он понял, что картина воспроизводит последние моменты борьбы вокруг зала Атласа. Глядя перед собой на высокий фасад, в котором не было ни одного подъезда, и недоумевая, как он проберется внутрь здания, Грехэм медленно продирался вперед, пока по особенно густой толпе, теснившейся посреди улицы у люка подземной лестницы, не догадался, что это-то и есть вход в Управление. Но добраться до люка было не так-то легко. А когда наконец это ему удалось, то оказалось, что вход охраняется стражей. Ему пришлось долго пререкаться, пока его пропустили. Когда, в виде последнего аргумента, он объявил было, что он Спящий, над ним принялись хохотать, как над сумасшедшим, и препроводили его во вторую караулку для опроса. На этот раз он был умнее и, умолчав о Спящем, сказал просто, что принес очень важное известие, которое может передать только самому Острогу с глазу на глаз. Один из солдат неохотно отправился с докладом. Грехэм долго ждал в прихожей возле лифта. Но вот наконец отворилась дверь, и появился Линкольн, взволнованный, удивленный. Он приостановился на пороге, всмотрелся в таинственного посетителя и вдруг бросился к нему с радостным возгласом:

— Как! Это вы? Вы живы!

Грехэм рассказал свои похождения в кратких словах.

— Брат здесь, в Управлении. Он вас ждет, — сказал Линкольн. — Мы боялись, что вас убили в театре. Мы до поры до времени решили скрывать ваше исчезновение. Положение наше далеко не завидное, надо вам сказать, хоть мы и трубим о победе для ушей непосвященных. Поэтому мы пока не решались разыскивать вас.

Они сели в лифт, поднялись в один из верхних этажей, прошли по узкому коридору, миновали большой зал (совершенно пустой, если не считать попавшихся им навстречу двух человек, бежавших со всех ног по каким-то поручениям) и вошли в сравнительно небольшую комнату. Всю обстановку этой комнаты составляли длинная оттоманка и подвешенный на кабелях у стены большой овальный диск, по поверхности которого медленно ползли какие-то мутносерые тени. Линкольн попросил Грехэма обождать и ушел, предоставив ему разгадывать, как умеет, назначение странного диска.

Но вскоре его внимание было привлечено другим. До него вдруг донесся рев толпы, очень далекий, но, несомненно, ликующий рев. Он раздался внезапно и так же внезапно затих, словно прорвавшись сквозь щелку на минуту приотворившейся двери. Затем в соседней комнате послышались торопливые шаги, мелодический звон металла о металл, шелест платья, и женский голос произнес: «А вот и Острог». Вслед за тем порывисто зазвенел тоненький колокольчик, и все опять стихло.

Но вот за дверью снова началось движение: доносились шаги, голоса. Вскоре среди всех этих смешанных звуков выделились твердые, размеренные шаги одного человека и стали быстро приближаться. Дверь отворилась, портьера тихо приподнялась, и на пороге показался высокий седой человек в шелковом плаще молочно-белого цвета. Он остановился и, придерживая одной рукой портьеру, смотрел на Грехэма. Потом рука его опустилась, и он ступил шаг вперед. Первым впечатлением Грехэма были: большой, широкий лоб, глубоко сидящие светло-голубые глаза под густыми седыми бровями, орлиный нос и резко очерченные, крепко сжатые губы. Только тяжелые складки над глазами да опущенные углы энергичного рта выдавали возраст этого человека, совершенно не гармонируя с его прямой, стройной фигурой и бодрой осанкой. Грехэм инстинктивно поднялся ему навстречу. С минуту оба они стояли и молча смотрели друг на друга.

— Вы Острог? — спросил наконец Грехэм.

— Да, я Острог.

— Вождь восстания?

— Да, так говорят.

Опять наступила неловкая пауза.

— Это вам, кажется, я обязан своим спасением? — нерешительно проговорил Грехэм.

— А мы уже боялись, что вас убили, — сказал Острог, не отвечая на вопрос. — Убили, или, вежливо выражаясь, усыпили навсегда. Нам стоило большого труда сохранить нашу тайну — скрыть ваше исчезновение, хочу я сказать... Где вы пропадали? И как попали сюда?

Грехэм повторил свой рассказ.

Острог внимательно слушал.

— А знаете, чем я занимался, когда пришли мне доложить о вашем приходе? — сказал он, чуть-чуть улыбнувшись, когда Грехэм замолчал.

— Понятия не имею.

— Готовил вашего двойника.

— Моего двойника?

— Ну да. Мы разыскали человека, похожего на вас. Чтобы облегчить ему его роль, мы решили загипнотизировать его. Нам невозможно обойтись без Спящего. Все восстание держится на этой идее: народ уверен, что Спящий проснулся, что он жив и с нами. Да вот и сейчас в театре собралась огромная толпа народа; хотят вас видеть, требуют, чтобы им показали вас. Они даже нам не вполне доверяют... Вам ведь, конечно, известно, какое вы занимаете положение?

— Очень смутно, — отвечал Грехэм.

— Так слушайте, — Острог прошелся по комнате, потом повернулся к Грехэму и продолжал: — Вы — собственник половины земного шара. Значит, фактически вы все равно что король. Ваша власть, правда, ограничена разными сложными законами, но тем не менее вы — центральная фигура: в глазах народа вы — символ правительственной власти. Этот Белый Совет, или Совет опекунов, как его называют...

— Да, я кое-что уже слышал обо всем этом.

— Вот как! От кого же?

— Я столкнулся сегодня с одним болтливым старикашкой, и он...

— А, понимаю... Итак, народные массы — это словечко перешло к нам еще от ваших времен: у нас ведь тоже есть народные массы, как вам известно; народные массы смот-

рят на вас как на своего законного господина, правителя — совершенно так, как в ваши дни смотрели на королей. И вот народ всего земного шара недоволен правлением ваших опекунов. Вообще говоря, это все та же старая история, старое недовольство: протест бедняка против бедности, против рабства труда, против дисциплины и собственной неприспособленности. Но нельзя не признать, что ваши опекуны правили дурно. Во многом — в своем отношении к рабочим союзам, например, — они вели себя крайне неразумно и дали много поводов к недовольству. Мы, партия народа, подняли агитацию в пользу реформ задолго до того, как вы проснулись. А тут нежданно-негаданно произошло ваше пробуждение... Да, будь оно даже нарочно подстроено нами, оно не могло прийтись более кстати для успеха нашего дела. — Он улыбнулся. — В уме народа давно уже мелькала фантастическая мысль разбудить вас и обратиться к вам с жалобой, как к верховному судье. Ничего не значит, что вы десятки лет провели в состоянии небытия: народ ведь не принимает в расчет таких мелочей... И вдруг вы проснулись...

Он жестом показал, какой эффект произвело это событие. Грехэм молча кивнул головой.

— Совет был совершенно ошеломлен. Все они там перессорились. Впрочем, они и раньше вечно грызлись между собой. В первый момент они не могли решить, что им с вами делать. Чтобы выиграть время, они, как вам известно, посадили вас под замок.

— Да, да, я знаю. Ну, а теперь мы побеждаем?

— Мы побеждаем, это несомненно. С сегодняшнего дня за пять коротких часов победа перешла на нашу сторону. Мы разбили их на всех пунктах. К нам примкнули все служащие в Управлении ветряных двигателей, весь Рабочий союз со своими миллионами членов. Мы завладели аэропланами.

— Да? — спросил Грехэм.

— Это было очень важно. Иначе они могли бы бежать... Весь город восстал. Треть населения оказалась в рядах борцов за свободу. На нашей стороне все голубые, все общественные учреждения — словом, почти все, за исключением нескольких человек аэронавтов да половины состава красной полиции. А та половина, которая осталась им верна, разбита: частью обезоружена, частью перебита, кроме нескольких десятков солдат, которые заперлись в ратуше. Теперь, если не считать ратуши, весь Лондон

в наших руках. Вас освободили. Половина их красной полиции погибла в безумной попытке снова захватить вас. Потеряв вас, они потеряли головы. Все свои силы они направили на театр, а мы, пользуясь этим, отрезали их от ратуши. Нынешняя ночь была поистине ночью победы. Мы победили вашим именем. Еще вчера Белый Совет был верховным правителем, каким он был целый гросс лет — полтора века, по-вашему, — и вдруг... Довольно было шепнуть, что Спящий проснулся, и нет больше Совета.

— Простите, все это для меня китайская грамота, — перебил Грехэм. — Мне не совсем ясны условия этой борьбы. Если бы вы объяснили... Где теперь Белый Совет? Кончена борьба или все еще продолжается?

Острог, не отвечая, перешел комнату. Послышался короткий металлический звон, и вслед за тем они очутились в полной темноте. Только овальный диск выделялся на стене светлым пятном.

Очнувшись от первого изумления, Грехэм заметил, что мутно-серая поверхность диска начала углубляться и приняла вид большого овального окна, за которым происходила странная сцена.

Он смотрел не отрываясь, но сначала ничего не понимал. Он видел только, что действие происходит при дневном свете — при свете серого, зимнего дня. На втором плане картины сверху донизу тянулся толстый кабель из белой скрученной проволоки. Затем шли ряды огромных ветряных колес с широкими промежутками темноты между ними. Все это было очень похоже на то, что он видел во время своего бегства из ратуши. Он заметил еще, что по всему свободному пространству в этой полутьме шагали по два в ряд люди в красных мундирах между двумя плотными рядами черных фигур, и понял еще прежде, чем Острог заговорил, что перед ним верхний этаж современного Лондона — лондонские крыши. Но теперь на них не было снега, как накануне. «Должно быть, это новейшее усовершенствование камеры-обскуры, — подумал он про овальный экран. — Однако что за странность: ведь эти красные фигуры двигаются слева направо, а между тем исчезают в левом углу». Но он скоро сообразил, что вся картина, как панорама, медленно передвигалась справа налево.

— Сейчас вы увидите сражение, — сказал Острог. — Заметили вы людей в красном? Это наши пленные. Место действия — площадь лондонских крыш. Теперь ведь наши

крыши представляют одну сплошную площадь. У нас и улицы под крышами, и общественные скверы: у нас нет промежутков между отдельными домами, как было в ваше время.

В эту минуту половина картины закрылась какой-то движущейся тенью, — судя по очертаниям, тенью человека. Сверкнула искра, отбросив металлический отблеск на противоположную стену. По поверхности диска проползла мутная пленка, и картина опять осветилась. Теперь на экране между колесами ветряных двигателей бегали люди, целясь друг в друга из каких-то особенных ружей, выбрасывавших маленькие дымящиеся искорки. Направо толпа становилась все гуще и гуще. Люди отчаянно жестикулировали и, должно быть, кричали, но о последнем можно было только догадываться. И все вместе — и люди, и колеса — ровно и медленно передвигались по экрану в одну сторону, постепенно скрываясь из глаз.

— Сейчас покажется ратуша, — сказал Острог.

С правого края экрана стало медленно выдвигаться что-то черное, оказавшееся огромным черным провалом пожарища между уцелевшими зданиями, провалом, от которого к бледному зимнему небу тянулись тоненькие струйки дыма. Кое-где среди этого разрушения уныло торчали обгорелые остовы массивных колонн — остатки прежнего великолепия, — а между ними бегали, лазили, копошились миниатюрные фигурки людей.

— Вот она, ратуша, — сказал опять Острог. — Это их последний оплот. Чтобы предупредить нашу атаку, они взорвали соседние здания, пожертвовав огромным запасом пороха, с которым можно было продержаться еще по крайней мере месяц. Безумцы! Вы слышали взрыв? Им выбиты все оконные стекла в ближайшей половине города.

Пока он говорил, на экране показалось высоко вздымавшееся над дымящимися развалинами массивное белое здание, оторванное разрушением от окружающих домов. Часть его передней стены обвалилась, оставив раскрытыми огромные великолепные залы. Что-то зловещее было в их роскошном убранстве при тусклом свете этого серого зимнего дня. Местами зияли черные впадины коридоров с висящими по стенам оборванными концами кабелей и металлических проводов. И среди этого разрушения повсюду двигались красные крапинки — красные мундиры защитников Совета. Время от времени вспыхивали бледные искры, освещая на миг эту картину смерти. В первый

момент Грехэму показалось, что защитники белого здания отражают атаку, но потом он рассмотрел, что революционеры не переходят в нападение, а только поддерживают перестрелку с гарнизоном крепости, пользуясь как прикрытием колоссальными развалинами ближайших домов.

Как странно подумать, что каких-нибудь десять часов тому назад он стоял под вентилятором в маленькой комнатке этого белого здания, теряясь в догадках по поводу того, что происходит за его стенами!

Острог между тем продолжал в коротких и точных словах описывать события дня. Бесстрастным тоном говорил он об огромной потере людей, о чудовищном опустошении, которое произвел этот взрыв. Он указал Грехэму на груды развалин, похоронивших под собою сотни человеческих трупов, на двигавшиеся между ними лазаретные фуры и на крошечные фигурки санитаров, подбиравших раненых среди хаоса, бывшего еще вчера площадью движущихся улиц. Гораздо больше интереса проявил он, когда заговорил о тактических приемах противника, о расположении отдельных частей гарнизона и о том, как долго может он еще продержаться. Вскоре междоусобная борьба, разыгравшаяся в новом Лондоне, не представляла больше тайны для Грехэма. Это не была война равных противников: это был великолепно организованный переворот. Острог поражал знанием всех мельчайших подробностей этой борьбы: ему, казалось, было известно, чем занята и чего добивается каждая маленькая кучка красных и черных фигурок, ползающих по экрану.

Вот его рука протянулась к ярко освещенной картине, отбросив на нее огромную черную тень. Он показал Грехэму комнату, где его держали в заточении, и, водя пальцем по экрану от одного полуразрушенного дома к другому, наметил весь путь его бегства. Грехэм узнал тот черный провал между домами, через который был перекинут желоб, узнал колеса ветряного двигателя, под которым он прятался от летательной машины. Остальной части его пути нельзя было проследить, так как дома, по крышам которых он шел, были разрушены взрывом. Он снова взглянул на картину: половина ратуши уже продвинулась за экран, а справа, как в тумане, выдвигался какой-то холм с разбросанными по нему домами и башенками.

— Итак, Совет низвержен, говорите вы? — спросил Грехэм.

— Окончательно! — ответил Острог.

— А я? Неужели правда, что...

— Вы собственник половины мира.

— Но почему же это белое знамя...

— Это знамя Совета, знамя владычества над миром. Оно падет. Борьба окончена. Их нападение на театр было последней отчаянной попыткой. У них осталось не больше тысячи человек, да и те ненадежны. Запасы пороха у них почти вышли. А мы решили тряхнуть стариной: льем пушки.

— Но позвольте: ведь к ним может подоспеть подкрепление. Не кончается же мир этим городом, полагаю?

— Для них, пожалуй, да. Все остальные города и страны или восстали вместе с нами, или сохраняют нейтралитет в ожидании исхода борьбы. Ваше пробуждение ошеломило весь мир: все колеблется, никто не может решить, что ему делать.

— Ну, а летательные машины? Разве в распоряжении защитников Совета нет летательных машин? Отчего они не пускают их в ход?

— Они пробовали. Но большинство аэронавтов оказалось на нашей стороне. Правда, аэронавты не посмели открыто выступить на защиту восставших, но они отказались действовать против нас... Нам, впрочем, пришлось-таки повозиться с этими господами. Половина сочувствовала нам, а другая половина знала это. Ну вот, как только им стало известно, что вы бежали, все летательные машины, бывшие в действии, спустились — все, кроме одной. Час тому назад мы убили человека, стрелявшего в вас... Да, надо заметить, что с первой же минуты мы позаботились занять по возможности все станции летательных аппаратов во всех городах. Таким образом, в наших руках оказались почти все аэропланы. Ну, а легких летчиков мы не боимся: по тем из них, которым удалось подняться, мы все время поддерживали ружейный огонь и не допускали их к ратуше. А если бы какой-нибудь и спустился поблизости, ему все равно не пришлось бы больше подняться, так как там нет ни одной площадки, достаточно широкой для взлета. Некоторые из аппаратов были подбиты нашими выстрелами, многие спустились добровольно и сдались, остальные улетели на континент искать союзников, которые поддержали бы их дело. Большинство аэронавтов, надо сказать, сами добивались, чтобы их взяли в плен и лишили возможности действовать. Да и в самом деле,

упасть с высоты — перспектива не из приятных... Итак, вы видите теперь, что Совету не на что надеяться и с этой стороны. Совет погиб, дни его сочтены.

Он засмеялся и снова повернулся к экрану, чтобы показать на нем Грехэму станции летательных аппаратов. Но даже четыре ближайшие станции были далеко, и трудно было что-нибудь рассмотреть за густой пеленой утреннего тумана. Грехэм заметил только, что это сооружения колоссальных размеров даже по сравнению с огромными зданиями, окружавшими их.

Картина между тем все передвигалась влево. Исчезла ратуша, скрылись из виду холмы, и справа опять показалась та самая площадь крыш, на которой Грехэм перед тем видел красные мундиры пленных, шагавших под конвоем. А там опять потянулись черные развалины зданий, снова выдвинулась одиноко торчащая среди них белая твердыня ратуши. Но теперь она уже не имела того зловеще-призрачного вида, как при первом своем появлении: утренние тучи рассеялись, и все белое здание было залито солнцем. Возня пигмеев вокруг этого великана все еще продолжалась, но вяло: его красные защитники уже почти не стреляли.

Таким-то образом человек девятнадцатого столетия, не выходя из полутемной запертой комнаты, увидел на освещенном экране заключительную сцену великой борьбы двадцать второго века. Не сходя с места, он проследил все последние перипетии восстания, поднятого его именем в целях укрепления его владычества над миром. И, как откровение, блеснула у него новая мысль, что этот мир, теперешний мир, близок ему, а не тот, который он оставил так далеко за собой, и что видел он сейчас на экране не театральное представление, которое посмотришь и забудешь, а реальную жизнь; что ему самому предстоит участвовать в этой жизни и принять на себя свою долю ее опасностей, обязанностей и ответственности. Он повернулся к Острогу с готовыми вопросами на губах. Острог начал было отвечать, но перебил себя на полуслове.

— Нет, лучше я вам все это потом объясню. Сначала нужно исполнить все дела и обязанности. Народ из всех частей города стекается толпами к этому дому. Все рынки, все театры переполнены. Вы подоспели как раз вовремя. Вас хотят видеть. И не только Лондон хочет вас видеть, а все города: Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Денвер, Капри... Тысячи городов поднялись и требуют, чтобы вы им показались.

Народ всего мира давно уже, многие годы, требовал, чтобы вас разбудили, а теперь, когда ваше пробуждение стало свершившимся фактом, они не верят...

— Послушайте, не могу же я объехать весь мир.

Но Острог был уже на другом конце комнаты. Он нажал там какую-то кнопку: комната разом осветилась, а картина на экране побледнела и расплылась. И только тогда он ответил:

— В этом нет никакой надобности. На то существует кинетотелефотография. Если вы здесь, в Лондоне, ответите поклоном на приветствия толпы, его увидят мириады людей, разбросанных по всему миру. Им нужно будет для этого только собраться в темных помещениях, снабженных надлежащими приборами. Эти приборы передают только черный и белый цвета так, что они увидят ваше неокрашенное отражение, но увидят вполне отчетливо. А вы здесь услышите их приветственные крики... Есть у нас, кроме того, еще один оптический прибор, которым пользуются иногда танцовщицы и акробаты. Вам он, верно, не знаком. Мы и его пустим в дело. Действует он так: ставят человека в фокусе ярких лучей света, причем на экране отбрасывается его отражение в настолько увеличенном виде, что публика, даже сидящие в задних рядах самой дальней галереи, могут сосчитать все волоски на его ресницах.

Чувствуя, что ему все равно не осилить всего, что он слышит, Грехэм в отчаянии ухватился за один из множества вопросов, вертевшихся у него в голове.

— Как велико население теперешнего Лондона? — спросил он.

— Двадцать восемь мириад жителей.

— Я не понимаю...

— Свыше тридцати трех миллионов.

Воображение Грехэма решительно отказывалось охватить эту цифру.

— Итак, решено: вы покажетесь народу, — продолжал Острог. — Само собой, разумеется, что вам придется что-нибудь им сказать. Не спич, конечно, как это называлось в ваше время, а, как говорят по-нашему, слово, то есть одну небольшую фразу из пяти-шести слов. Ну, например, в таком роде: «Я проснулся, и сердце мое с вами». Этого вполне достаточно.

— Как вы сказали? — переспросил Грехэм.

— «Я проснулся, и сердце мое с вами». При этом вы поклонитесь по- царски... Но прежде вас надо переодеть.

Ваш цвет черный. Вы явитесь им в черном. Согласны?.. Ну, а когда они вас увидят, они успокоятся и мирно разойдутся по домам.

Грехэм немного замялся.

— Ну что ж, делайте что хотите; я ведь в вашей власти, — сказал он наконец.

Острог был, видимо, того же мнения. После минутного раздумья он подошел к портьере и отдал несколько приказаний кому-то невидимому. Через секунду явился слуга с черным плащом в руке. «Точь-в-точь такой, какой они накинули на меня в театре», — подумал Грехэм. Слуга набросил ему на плечи этот плащ, и в ту же минуту в соседней комнате зазвенел пронзительный звонок. Острог повернулся было к слуге с готовым вопросом, но вдруг передумал, раздвинул портьеру и скрылся.

С минуту Грехэм в недоумении смотрел на стоявшего перед ним навытяжку лакея, прислушиваясь к удалявшимся шагам Острога. Из-за двери доносился шум торопливых шагов, слышались возбужденные голоса, шел быстрый обмен вопросами и ответами. Но вот портьера снова раздвинулась, и снова показался Острог. Его крупное выразительное лицо горело от волнения. Большими, быстрыми шагами он перешел комнату, одним поворотом руки погасил освещение, потом схватил Грехэма за руку, указывая на осветившийся экран.

— Смотрите: не успели мы отвернуться, как они... События не ждут.

Огромная черная тень его указательного пальца упиралась в здание ратуши, резко выступавшее на ярко освещенном экране. Грехэм ничего не понимал. Но, всмотревшись внимательнее, он заметил, что высокий шест на крыше ратуши, на котором раньше развевалось белое знамя, теперь опустел.

— Неужели?.. — начал было он.

— Совет сдался. Владычество его пало, пало навсегда... Взгляните.

По шесту теперь медленно поднималось свернутое черное знамя, развертываясь на ходу.

Картина вдруг побледнела; в комнату вошло новое лицо, впустив за собой в открытую дверь полосу света. Это был Линкольн с докладом.

— Они там беснуются, — сказал он.

Острог крепче сжал руку Грехэма.

— Мы подняли народ. Мы раздали ему оружие, и он от-

стоял наше дело. Так хоть сегодня мы — его слуги. Надо исполнить его желание. Сегодня для вас его воля — закон.

Линкольн молча откинул портьеру и посторонился, пропуская вперед Грехэма и Острога...

Из всего, что видел Грехэм по дороге к Рыночной площади, у него осталась в памяти только длинная узкая комната с выбеленными стенами и с правильными рядами коек по бокам. Оттуда еще издали доносились стоны и вопли. Люди в неизменных голубых холщовых балахонах беспрерывно выносили оттуда тяжелые носилки, покрытые белыми простынями, а вокруг коек суетились другие люди в красных хламидах (очевидно, форменный цвет медицинского персонала больниц). Грехэму смутно припоминалась потом пустая койка с окровавленным постельным бельем, бледные, измученные люди с перепачканными кровью повязками, лежавшие на других койках... Но все это он видел лишь мельком, с высоты тянувшихся под потолком этой комнаты висячих мостков, по которым они проходили, а потом массивная колонна скрыла от них тяжелую картину, и они продолжали путь.

Рев толпы, долетавший с Рыночной площади, все приближался. Еще один поворот, и звуки хлынули бурной волной, прокатились, как гром. Впереди, в глубине длинного перехода, Грехэм увидел развевающиеся черные знамена, волнующееся море голубых и коричневых одежд: перед ним открылось широкое пространство зала, того самого колоссального театра, куда он спустился по кабелю, где был свидетелем кровавой борьбы и откуда потом бежал, спасаясь от красной полиции. В этот раз он вошел сюда по верхней галерее, приходившейся значительно выше сцены. Театр был теперь ярко освещен. Грехэм машинально искал глазами тот проход между креслами амфитеатра, по которому он пробирался ползком, прячась от выстрелов, но не мог отличить его среди множества других таких же проходов. За густой толпой не видно было никаких следов недавней борьбы. Толпа заполняла весь партер, все ложи, все места, кроме сцены.

Как только Грехэм с Острогом показались на галерее, крики замолкли, пение прекратилось и все лица обратились кверху. Все это разнокалиберное, беспорядочно оравшее скопище людей притихло, как один человек, сливаясь в одном всепоглощающем чувстве. И каждый с жадным любопытством, не отрываясь, смотрел на того, кто спал, и проснулся, и теперь вступил в свои права.

Глава XIII

КОНЕЦ СТАРОГО СТРОЯ

По соображениям Грехэма, было около полудня, когда опустилось белое знамя Совета. Но нужно было еще несколько часов на выполнение всех формальностей сдачи, и потому, сказав свое «слово», он вернулся назад, в Управление ветряных двигателей, и удалился в отведенное ему там помещение. Он был так утомлен волнениями последнего дня, что даже любопытство его притупилось. Он долго сидел не шевелясь, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и не думая ни о чем. Потом лег и заснул. Проснувшись, он увидел возле себя двух врачей, явившихся с каким-то подкрепляющим средством, которое должно было придать ему сил для участия в дальнейших церемониях этого дня. Он выпил лекарство, принял холодную ванну, и бодрость вернулась к нему. Охотно, с большим интересом отправился он после этого в сопровождении Острога на заключительную сцену сдачи Белого Совета.

Ему казалось, что они прошли несколько миль, спускаясь и поднимаясь на лифтах, кружа по извилистым переходам бесконечного лабиринта зданий. Наконец на повороте одного коридора перед ними открылся широкий вид на окруженное развалинами белое здание ратуши и на нависшие над ним облака, позолоченные отблеском заходящего солнца. Вместе с этим их обдало волною оглушительных звуков. В следующий момент они уже стояли на выступе крыши одного из полуразрушенных домов. Несмотря на то что это место смерти было уже знакомо Грехэму по отражению на экране, оно поразило его своим зловеще-безотрадным видом. Оно представляло собой неправильный амфитеатр разрушенных зданий, тянувшихся почти на милю кругом. Развалины, сверкающие золотом заката с левой стороны, направо и внизу, казались мертвыми и холодными, исчезая в тени. Над мрачной крепостью Белого Совета, занимавшей центр, по-прежнему висело черное знамя победителей, ниспадая тяжелыми неправильными складками в безветренном воздухе. Развороченные взрывом огромные залы и коридоры зияли темными впадинами, как разверстые пасти чудовищ. Отовсюду свешивались, точно морская трава, оборванные сети металлических проводов и концы переплетающихся кабе-

лей, а снизу из этого хаоса неслись звуки труб и неистовый рев бесчисленных голосов. Белая громада последнего оплота Совета стояла словно посреди кладбища: ее кольцом окружали почерневшие остовы каменных зданий, обломки балок, груды массивного камня от обвалившихся гигантских стен. Внизу, между развалинами, бежала, сверкая, вода, а вдали виднелся торчавший футов на двести кверху конец обломанной водопроводной трубы, из которого вода била широким фонтаном. Повсюду, куда ни взгляни, тысячные толпы народа.

Люди лепились на каждом выступе, на каждой площадке — везде, где только можно было стать ногой. На таком расстоянии они казались крошечными фигурками, отчетливо видными в каждом уголке, кроме тех мест, которые были залиты сплошным золотом прощальных солнечных лучей. Люди карабкались по полуразвалившимся стенам, взбирались целыми группами на высокие колонны, кишели, как муравьи, по всему амфитеатру развалин, проталкиваясь, продираясь к центру. Воздух звенел от их крика.

Верхние этажи ратуши казались совершенно пустыми: там не показывалось ни одной живой души. Только над крышей слабо шевелилось тяжелое черное знамя, выделяясь черным призраком против света. Мертвые лежали внутри здания, или их уже успели убрать, или, может быть, их не было видно за толпой. Только пять-шесть забытых трупов валялись среди обломков в самом низу, где бежала вода.

— Благоволите показаться народу, государь, — сказал Острог Грехэму. — Все жаждут видеть вас.

После минутного колебания Грехэм шагнул вперед и остановился на краю выступа.

Довольно долго простоял он, никем не замечаемый снизу, резко выделяясь своею высокой черной фигурой на светлом фоне неба. Но наконец его заметили. Внизу произошло движение, пронесся рокот восторга. Все лица обратились кверху. Он видел, что его узнали. «Надо чем-нибудь выразить им мои чувства», — подумалось ему. Он молча указал на белую твердыню ратуши и выразительно махнул рукой в знак того, что владечество Совета пало. Крики внизу слились в единодушный рев и понеслись к нему ликующей, бурной волной.

В это время вдали показался небольшой отряд солдат в черных мундирах, медленно приближавшийся к ратуше, с трудом проталкиваясь сквозь толпу.

7 Заказ 122

Полоса неба на западе из багровой превратилась в бледно-зеленую, и звезды заблестели на небесном своде, а церемония капитуляции все еще была впереди. Вверху шла своим чередом обычная неспешная смена бесстрастных светил: тихо подходила ночь, ясная и прекрасная. А внизу была суматоха, волнение... Выкрикивались противоречивые приказания, гул голосов то разрастался в рев, то падал, сменяясь тишиной. Видно было, как люди в черных мундирах, подгоняемые окриками своего начальства и криками толпы, вытаскивали из ратуши трупы ее защитников, погибших в рукопашных схватках среди лабиринта ее коридоров и залов.

Теперь уже недолго оставалось ждать. С минуты на минуту должны были показаться побежденные — члены Белого Совета. Черный отряд выстроился в две шеренги по всему пути, которым ему было назначено проходить. Толпа замерла в ожидании. Повсюду, куда мог проникнуть взгляд сквозь голубую мглу надвигавшейся ночи, на всех карнизах отбитого у врагов белого здания, на каждом выступе ближайших полуразрушенных домов стояли и сидели люди, и даже теперь, когда никто не кричал, человеческий говор шумел, поднимаясь и падая, как море, набегающее на прибрежные камни.

По приказанию Острога на одной высокой груде развалин построили на крепких металлических подпорках деревянный помост с возвышением посредине. Сюда-то и перешли теперь Грехэм и Острог и Линкольн со свитой подчиненных Острога. Весь помост вокруг возвышения заняли черные солдаты революционных войск со своими зелеными «ружьями», как называл это странное оружие Грехэм про себя. Стоявшие возле него заметили, как взгляд его беспрестанно переходил от копошившейся внизу толпы народа к хмурому зданию ратуши, откуда должны были появиться члены Совета, а потом поднимался к призрачным остовам окружающих зданий и снова опускался вниз.

Но вот раздался угрожающий рев. Вдали, в черной пасти наружных сводчатых ворот ратуши, показались члены Совета — маленькая, жалкая кучка белых фигур. Они приостановились в воротах, жмурясь от света: там, у себя, в своей крепости, они сидели впотьмах. Грехэм видел, как они медленно приближались, минуя одну за другой яркие звезды электрического света, зажженные по всему их пути. Грозный ропот народа преследовал их по пятам. По мере их приближения все яснее выступали их бледные,

измученные, перепуганные лица. Поравнявшись с помостом, все они подняли головы и бросили тревожный взгляд на своих победителей. Грехэму припомнилось, как холодно-враждебно смотрели на него эти самые люди три дня тому назад, когда он стоял перед ними в зале Атласа... Он узнал в лицо некоторых из них — того, который гневно ударил рукой по столу в ответ на что-то, сказанное Говардом; узнал и другого, человека с грубым лицом и рыжей бородой, и еще одного — невысокого роста брюнета с вытянутым черепом и тонкими чертами лица. Он заметил, что двое из них все время шептались и все оглядывались на Острога. Последним шел высокий, черноволосый, очень красивый человек. Он шел потупившись, низко опустив голову. Только подходя к помосту, он вдруг поднял глаза, на минуту встретился взглядом с Грехэмом, потом взглянул на Острога и снова потупился. Дорога для шествия побежденных была проложена таким образом, что они должны были пройти мимо помоста победителей, потом повернуть и по дощатым мосткам подняться на эстраду, где должна была свершиться официальная церемония сдачи.

— Наш господин! Государь! Бог и государь! К черту Совет! — кричал народ.

Грехэм окинул взглядом эти несчетные массы людей, заполнявшие все видимое пространство внизу и тонувшие во мгле дали, потом взглянул на Острога, стоявшего подле него с бледным застывшим лицом... на маленькую кучку белых фигурок, медленно двигавшихся по мосткам с поникшими головами... Все это было так чуждо, так непривычно! Он поднял голову, увидел над собой тихие звезды, и в душе его с особенной силой заговорило сознание того чудесного, необычайного, что он пережил за последние дни. Неужели та скромная жизнь, что так странно оборвалась два века тому назад и так живо сохранилась в его памяти, была его жизнь? И неужели это он же, тот самый человек, живет теперь?

Глава XIV

«ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО»

Итак, после жестокой борьбы, сломившей все преграды к его воцарению, человек девятнадцатого столетия прочно занял свое положение главы нового сложного мира.

Когда после своего освобождения и после сдачи Совета он очнулся от долгого глубокого сна, он в первый миг не мог отдать себе отчета, где он и что с ним было. Усилием воли Грехэм, однако, поймал оборвавшуюся нить воспоминаний, и все случившееся за последние дни мало-помалу воскресло перед ним: сначала как что-то далекое, чужое, как сказка, которую он слышал или читал. Но даже прежде, чем память его окончательно прояснилась, в душе его проснулись радость возвращения к жизни, сознание своего нового положения и изумление перед необычайностью судьбы, вознесшей его на такую высоту. Он — собственник половины земного шара, властелин земли! Новый мир нового века принадлежит ему в полном значении этого слова. Теперь ему уже не хотелось проснуться и убедиться, что все им пережитое было лишь сном; теперь он страстно желал, чтобы этот сон оказался действительностью.

При утреннем его туалете присутствовал величавый гофмейстер — маленький человечек, несомненно, японского типа, хотя по-английски он говорил, как англичанин, — отдававший краткие приказания услужливому до раболепства камердинеру, который помогал ему одеваться. От этого человека он узнал кое-что новое о положении дел в стране. Государственный переворот был теперь общепризнанным фактом. В городе уже возобновилась правильная повседневная жизнь. За границей почти повсеместно падение Белого Совета было принято с восторгом. Совет никогда и нигде не пользовался большой популярностью, и сотни городов Западной Америки, которые и теперь, как двести лет тому назад, старались ни в чем не отставать от Лондона, Нью-Йорка и вообще Востока, единодушно восстали при первом же известии о заточении Спящего. В Париже шла междоусобная война. Все остальные города земного шара придерживались выжидательной политики, и ни один не перешел на сторону Совета.

Когда Грехэм сидел за завтраком, в углу вдруг зазвонил телефон, и гофмейстер доложил ему, что это Острог справляется, хорошо ли он провел ночь. Грехэм встал из-за стола и ответил. Вскоре после этого явился Линкольн. Грехэм поспешил заявить о своем непременном желании видеть людей и как можно скорее ознакомиться с новой жизнью, куда его бросила судьба. Линкольн сказал ему на это, что через три часа назначено собрание главных сановников города, на которое приглашены и их жены. Собрание это состоится в парадных апартаментах директо-

ра Управления. Что же касается желания Грехэма осмотреть город, то с этим придется обождать, так как народ еще слишком возбужден. Но если он хочет, то может хоть сейчас увидеть город с высоты птичьего полета, со сторожевого поста надзирателя ветряных двигателей — с так называемого «вороньего гнезда». Грехэм охотно согласился. Тогда Линкольн, сославшись на неотложные дела, извинился, что не может иметь удовольствия сопутствовать ему, и сдал его на попечение гофмейстера, с которым Грехэм и отправился к «вороньему гнезду».

Высоко, над самыми высокими ветряными двигателями, на добрых тысячу футов выше крыш, висело это «воронье гнездо», казавшееся снизу крошечным кружочком, насаженным на тонкий металлический шпиль. Грехэма подняли туда по проволочному кабелю в корзинке. На половине высоты шпиля была прикреплена легкая, как кружево, круглая галерейка, вокруг которой спускался ряд каких-то труб, вращавшихся на общем кольце. Все эти трубы были соединены с зеркалами, помещенными в «вороньем гнезде», и составляли новейшее оптическое приспособление, при помощи которого из Управления ветряных двигателей можно было в каждый данный момент увидеть, что происходит в любой части города. Этим-то приспособлением и воспользовался Острог, чтобы показать Грехэму на экране ход междоусобной борьбы, закончившейся восстановлением прав народа и Спящего.

Японец-гофмейстер по фамилии Асано первым поднялся на верхушку. Они пробыли там целый час. Грехэм расспрашивал, а спутник его добросовестно отвечал.

День выдался чудный — ясный, совершенно весенний. Дыхание легкого ветерка обдавало теплом. На ярко-голубом небе ни облачка. Вся необъятная ширь раскинувшегося во все стороны города сверкала серебром в лучах восходящего солнца. Прозрачный воздух, не застилаемый ни дымом, ни туманом, был чист, как воздух горных вершин.

Если бы не развалины, тянувшиеся вокруг ратуши неправильным кругом, да не черное знамя над ее крышей, напоминавшее о недавней борьбе, на всем протяжении огромного города нельзя было с этой высоты подметить никаких признаков внезапного переворота, в какие-нибудь сутки изменившего судьбы всего мира. В развалинах все еще копошились люди-муравьи, и видневшиеся вдали гигантские открытые станции воздухоплавательных аппаратов, с которых в мирное время отбывали аэропланы во все

большие города Европы и Америки, сплошь чернели черными плащами революционеров. На узких временных мостках, перекинутых через площадь развалин, суетились рабочие над починкой оборванных кабелей и проводов: надо было восстановить сообщение между городом и ратушей, куда Острог был намерен перенести свою главную квартиру.

Остальная панорама дышала такой невозмутимой тишиной, что, когда взгляд Грехэма, оторвавшись от беспокойного муравейника, наполнявшего развалины, останавливался на этой залитой солнцем картине жизни мирного города, он почти забывал о тех тысячах людей, что лежали скрытые от посторонних глаз где-то там, в закоулках этого подземного лабиринта, уже умершие или умирающие от ран, забывал о десятках сиделок и хирургов, хлопотавших вокруг них, и о сотнях носильщиков, не успевавших вытаскивать мертвецов, — забывал, одним словом, обо всех ужасах и обо всех чудесах этого нового мира с его неугасимым электрическим светом. Там, внизу, в крытых галереях человеческого муравейника, торжествовала революция — он хорошо это знал. На улицах там царил революционный черный цвет: черные значки, черные знамена, черная драпировка на домах. А здесь, вверху, под ярким утренним солнцем, вне кратера недавно кипевшей борьбы, тянулся выросший за полтора столетия лес ветряных двигателей, мирно гудевших за своей неустанной работой, как будто никакого переворота не совершилось на земле.

Вдали, тоже усеянные ветряными двигателями, туманной голубовато-сизой линией вставали гребни Еррейских холмов. Поближе, с северной стороны, выступили резкими очертаниями холмы Хайгетский и Масвеллский с таким же лесом торчащих на них колес и лопастей. И так везде, везде — он это знал. На каждой вершине каждого холмика, где некогда переплетались живые цветущие изгороди, где под тенистыми деревьями ютились коттеджи, фермы, церкви, деревенские гостиницы, теперь отбрасывали свои колеблющиеся тени вертящиеся колеса таких же бездушных гигантов, какие он видел кругом, — все те же неумолимые порождения нового века, безустанно накоплявшие электрическую энергию и рассылавшие ее по жизненным артериям городов. А у подножия холмов паслись неисчислимые стада Британского пищевого треста, его собственности, охраняемые одинокими пастухами.

Это полчище зловещих призраков-машин с их машущи-

ми крыльями-лопастями совершенно изменило общий вид местности. Нигде ни одного знакомого очертания. Собор Святого Павла * и некоторые из старинных зданий Вестминстера, как он слыхал, уцелели, но они были скрыты от глаз, погребены под сводами гигантских надстроек нового великого века. Ни одна струйка бегущей воды не оживляла этой каменной громады. Не серебрилась больше на солнце веселая Темза: жадные трубы водопроводов еще далеко от города выпивали каждую каплю ее воды. Ее прежнее русло, углубленное и расширенное, наполнилось морской водой, и по этому каналу тащились теперь целые караваны грязных барж и барок, подвозя, так сказать, прямо к ногам рабочего весь нужный строительный материал. Вдали, на востоке, над линией горизонта, тянулся, словно повисший в воздухе, частый лес высоких мачт парусного океанского флота, ибо весь тяжелый груз доставлялся с разных концов света на больших парусных судах и только такие товары, в которых была неотложная надобность, подвозились на быстроходных пароходах.

К югу по гребню холмов тянулись колоссальные ходы водопроводов, доставлявших морскую воду на фабрики, и, расходясь радиусами по трем направлениям, белели ленты идамитных дорог, усеянных какими-то движущимися серыми крапинками. Грехэм решил при первой же возможности осмотреть эти дороги. Насколько можно было понять из описания гофмейстера, каждая такая дорога состояла из двух отдельных полос, слегка покатых к бокам. По каждой полосе можно было ездить только в одну сторону. Идамит был искусственным составом, напоминавшим стекло. По идамитным дорогам ездили в особых, очень узких одноколесных, двух- и четырехколесных повозках на резиновых шинах. Эти повозки неслись со скоростью от одной до шести миль в минуту. Железные дороги канули в вечность; лишь кое-где уцелели железнодорожные насыпи — остатки седой старины. Некоторые из них послужили фундаментом для идамитных дорог.

В числе других диковинок нового века бросался в глаза огромный флот воздушных шаров, развозивших рекламы. Непрерывными вереницами летели они к северу и к югу по линиям пути аэропланов. Но аэропланы не показывались: их рейсы пока прекратились, и только где-то высоко-высоко над Серрейскими холмами, в голубой дали неба, чуть виднелось крошечное пятнышко — парящий небольшой моноплан.

Грехэм уже знал, хотя никак не мог себе этого представить, что в Англии исчезли почти все провинциальные города и все деревни. Только местами, в поле у дороги, на больших расстояниях одно от другого, стояли колоссальные здания гостиниц, сохранявших названия тех городков, которые они собой заменили. Так, например, были гостиницы «Борнмут», «Уэрхем», «Свэнедж». Такое исчезновение маленьких городков было неизбежным следствием роста культуры, как объяснил Грехэму его спутник. При старом строе по всей стране были рассыпаны фермы; через каждые две-три мили попадался помещичий дом или деревенька с ее непременными атрибутами: церковью, молочной лавочкой и сапожной мастерской. На каждые восемь-десять миль приходился рыночный городок, где имели свою постоянную резиденцию местный адвокат, местный лабазник, шорник, торговец шерстью, врач, ветеринар, портной и так далее. Окрестным фермерам надо было ездить на рынок, и десять миль в два конца было как раз такое расстояние, какое они могли проехать, не слишком утруждая лошадь и себя. Но с постепенным введением более быстрых способов сообщения — сначала железных дорог, потом автомобилей и, наконец, идамитных дорог, вытеснивших все остальные, — исчезла надобность в маленьких рыночных городках. Все они умерли своей смертью, но зато большие города разрослись. Приманкой неисчерпаемых (или казавшихся неисчерпаемыми) источников заработка они стянули к себе всю рабочую силу, а нанимателей привлекли приманкой неистощимого запаса рабочих рук.

По мере того как возрастали требования комфорта и усложнялась жизнь, бедным людям становилось почти невозможно жить не в городе или приходилось отказаться от всяких удобств. С упразднением сельских церквей и мелких поместий, с перекочевкой ремесленников в города деревня утратила последние следы культуры. А когда телефон, кинематограф и фонограф окончательно вытеснили газету, книгу и школьного учителя, то жить вне поля действия электрических проводов было бы все равно, что жить дикарем, отрезанным от цивилизованного мира. В деревне нельзя было ни одеваться, ни питаться так, как того требовал изощрившийся вкус нового века. В деревне не было ни порядочных врачей, ни общества, ни поприща для деятельности.

Постоянное усовершенствование земледельческих

машин все более и более сокращало надобность в рабочих руках: один инженер мог заменить тридцать рабочих. Таким образом, для сельскохозяйственных рабочих создалось положение, обратное положению лондонских писцов и конторщиков в старые времена: теперь рабочие с раннего утра покидали город, неслись на автомобилях и летели по воздуху к месту своей работы, а к вечеру тем же путем мчались обратно в город отдыхать и наслаждаться благами культуры. Город поглотил человечество.

Человек вступил в новую стадию своего развития. Он был кочевником, охотником, потом земледельцем в стране, где города и торговые гавани служили лишь рынками, передаточными пунктами для деревни. Наконец он перекочевал в города. И это скопление людей в городах было лишь логическим завершением эпохи изобретений.

Это положительно не укладывалось в голове Грехэма, как ни просто должно оно было казаться людям двадцать второго столетия. А когда он попробовал представить себе континент в виде огромного пустыря с десятком разбросанных по нему городов, фантазия окончательно изменила ему... Ничего, кроме городов! Один огромный город на сотни миль равнины... Города у больших рек, города вдоль морских берегов, города среди снежных вершин... На земле почти повсеместно господствует английский язык. Со своими разветвлениями — наречиями испано-американским, англо-индийским, англо-негритянским и англо-китайским — он стал родным языком двух третей населения земного шара. На континенте, как любопытные пережитки далекой старины, удерживались еще только три языка: немецкий, господствующий к востоку до Антиохии и к западу до Генуи и сталкивающийся в Кадисе с испано-американским; галлицизированный русский, сталкивающийся с англо-индийским в Персии и в Курдистане и с англо-китайским в Пекине, и французский, сохранившийся во всей своей чистоте и блеске, поделивший Средиземное море с немецким и англо-индусским и достигающий пределов Конго в виде франко-негритянского наречия.

На протяжении всего земного шара, кроме «черного пояса» тропиков, находящегося под протекторатом цивилизованных городов, утвердился единый общественный строй. Весь мир цивилизован; весь мир состоит из городов, и весь или почти весь этот мир от полюсов до экватора — его, Спящего, собственность!..

На юго-западе в туманной дали поднимались роскош-

ные Веселые Города — страшные города, о которых говорил кинемофонограф и о которых он слышал на улице от болтливого старика. Какое странное явление эти Веселые Города! При взгляде на них невольно вспоминался легендарный Сибарис *. Там жили красота и искусство — продажное искусство и продажная красота. Печальное, безотрадное место, где вечно веселились, где не умолкала музыка, куда прибегали за отдыхом и развлечением все те, кто выходил победителем в жестокой, бесславной экономической борьбе, которая никогда не затихала в сверкающем лабиринте огромного города, раскинувшегося внизу...

Борьба была, несомненно, жестокая. Об этом можно было судить уже по тому, что об экономических взаимоотношениях труда и капитала в Англии девятнадцатого века теперешние люди говорили как о какой-то идиллии. Взгляд Грехэма блуждал по необъятному пространству современного Лондона, отыскивая трубы фабрик и заводов в этой громаде зданий!

Глава XV

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Если б Грехэм из той привычной обстановки, которая окружала его в девятнадцатом столетии, попал прямо в парадные приемы Управления ветряных двигателей, они поразили бы его своею грандиозностью и вычурностью своих орнаментов. Но он уже начинал привыкать к широким замашкам нового века, и никакая роскошь, никакие размеры не могли его удивить. Эти чертоги нельзя было даже назвать комнатами или залами. Это была какая-то путаница арок, мостов, коридоров и галерей, соединявших собою все части одного колоссального зала. Бродя по этим переходам, он вышел наконец к отлогому гладкому спуску, какие ему уже не раз случалось видеть в последние дни, и спустился на открытую площадку, от которой шли вниз широкие, очень отлогие ступени роскошной мраморной лестницы. Мужчины и женщины в блестящих нарядах спускались и поднимались по ней непрерывной пестрой толпой. Грехэму с его места была видна начинавшаяся у подножия лестницы длинная перспектива необыкновенно

сложных архитектурных украшений, в которых преобладали белый, матово-желтый и пурпурный цвета и бесконечная сеть легких мостиков филигранной работы и галереек, точно сделанных из фарфора. Все это заканчивалось таинственной дымкой каких-то полупрозрачных ширм или портьер.

Взглянув вверх, он увидел над собой такую же паутину легких галерей, наполненных такой же нарядной толпой. И все эти люди глядели вниз, на него: все лица были обращены в его сторону. В воздухе стоял сдержанный говор бесчисленных голосов, а откуда-то сверху (откуда именно, он не мог разобрать) неслись веселые, бравурные звуки музыки.

Центральная часть громадного помещения была полна народу: там собралось по меньшей мере пять тысяч человек. И, несмотря на это, не чувствовалось тесноты. Костюмы поражали великолепием. Попадалось много фантастических костюмов, не только женских, но и мужских: влияние пуританских понятий на цвет и покрой мужского платья давно уже отошло в вечность. Некоторые из мужчин, правда немногие, щеголяли в женских прическах. У одного, которого Линкольн назвал Грехэму таинственным наименованием «амориста», ровно ничего ему не объяснившим, волосы были заплетены в две косы, как у гётевской Маргариты *. Длинные волосы у мужчин встречались, впрочем, редко. Но у всех они были завиты щипцами на самый разнообразный манер. Плешивых совсем не было видно: этот порок, очевидно, исчез с лица земли. Много было китайских косичек. Вообще не было заметно какой-нибудь преобладающей моды. Статные, стройные люди, по-видимому, предпочитали платье в обтяжку, тогда как изъяны фигуры у других прикрывались большей частью буфами и широкими складками. Там и сям мелькали тоги и хитоны. Сильно сказывалось также влияние эстетических понятий Востока. Толстяки, которые во времена Виктории сочли бы верхом неприличия не затянуться в наглухо застегнутый сюртук, теперь преспокойно распускали свое брюшко под длинными ниспадающими складками какой-нибудь хламиды. Грехэму, представителю строгой эпохи, совсем не нравились все эти люди: и внешность их, костюмы и манеры были чересчур изысканны, на его взгляд, и слишком уж экспансивно делились они своими впечатлениями. Желая показать свое удивление или восторг, они не в меру жестикулировали, кричали, хохотали,

а главное, с изумительной откровенностью выражали те чувства, которые возбуждали в них присутствующие дамы. Дамы здесь, к слову сказать, были в значительном большинстве: это сразу бросалось в глаза.

Костюмы дам были не менее изящны и отличались еще большей вычурностью, чем у мужчин. Одни щеголяли классической простотой или почти полным отсутствием складок и прямыми линиями мод Первой французской империи *. На других были платья в обтяжку, перехваченные поясом у талии. У многих были мантии на плечах. Но все они одинаково сверкали белизною обнаженных рук и плеч; очевидно, промежуток двух столетий ничуть не ослабил милой откровенности вечерних туалетов дам.

Грехэм заметил еще, что все эти люди отличались необыкновенной грацией движений. Когда он сказал об этом Линкольну, тот объяснил ему, что пластика движений составляет у них существенную часть воспитания каждого богатого человека.

Появление владыки было встречено сдержанным гулом приветствий, но это общество было слишком хорошо воспитано, чтобы надоедать человеку своим любопытством. Грехэма здесь не обступали толпой, не провожали назойливыми взглядами, когда он спускался с лестницы в центральный зал.

Он узнал от Линкольна, что здесь собрались все крупные представители современного лондонского общества: чуть ли не каждый из присутствующих или занимал какую-нибудь важную государственную должность, или приходился родней кому-нибудь из власть имущих. Многие явились с континента, из тамошних Веселых Городов, где они развлекались; они нарочно приехали, чтобы присутствовать на чествовании властелина земли. Ведомство воздухоплавания в лице начальников своих отделений, сыгравшее некоторую, довольно, впрочем, пассивную роль в падении Совета, положительно чувствовало себя именинником и как-то особенно лезло всем в глаза. Не отставало от него и Управление ветряных двигателей. В числе других гостей были и уполномоченные от крупных торговых фирм. Между ними особенно выдавался своею меланхолически интересной наружностью и цинически-наглым обращением главный директор Правления общеевропейских свиных заводов. Мимо Грехэма, чуть не задев его плечом, прошел епископ в полном облачении, поглощенный беседой с господином в тоге и в лавровом венке.

— Кто это? — вырвалось у Грехэма.

— Лондонский епископ, — ответил Линкольн.

— Нет, другой... с которым он говорит.

— Поэт-лауреат *.

— Как? Вы до сих пор еще...

— О нет, само собою разумеется, что он не пишет стихов. Но он приходится двоюродным братом Уоттону, одному из членов Совета, и состоит, кроме того, членом клуба роялистов Алой Розы *, а они там свято чтут традиции.

— Асано мне говорил, что у вас есть король.

— Да. Но он не принадлежит к этому клубу. Его пришлось исключить. Он ведь Стюарт по крови *.

Все это было не совсем вразумительно, но Грехэм не успел попросить объяснения, так как в эту минуту началась церемония представления гостей. Грехэму скоро стало ясно, что и теперь, в двадцать втором столетии, продолжало процветать различие общественных положений, ибо Линкольн счел возможным представить ему только самых высокопоставленных лиц — немногих избранных. В первую очередь попал директор Общества аэронавтов, оказавшийся важной персоной благодаря своей своевременной измене Совету. Мужественное, загорелое лицо этого господина резко выделялось среди других изнеженных лиц. Приятно поразили Грехэма и манеры его своею простотой. В его говоре не слышалось того непривычного для Грехэма акцента новых англичан, который так резал ему ухо. После нескольких банальных, ничего не значащих фраз он осведомился о здоровье владыки и выразил ему, в довольно грубой форме, свою неизменную преданность. Затем без всякого перехода отрекомендовал себя «воздушным волком» старого закала, без всяких претензий, человеком, который ничего не боится, ученостью похвастать не может, но знает, что знает, а чего не знает, того не стоит и знать. Выложив все это одним духом, он так же круто оборвал речь, поклонился весьма независимо и отошел.

— Я рад, что этот тип еще сохранился, — сказал Грехэм Линкольну.

— Самодовольный дурак, — заметил тот презрительно. — Но это он правду сказал: он знает то, что знает.

Грехэм еще раз взглянул вслед удалявшейся неуклюжей фигуре. В ней было для него что-то знакомое, напоминавшее ему его прежнюю жизнь.

— Уж если говорить всю правду, так мы его купили, —

продолжал Линкольн. — Частью купили, а частью он перешел на нашу сторону потому, что боялся Острога. А нам было очень важно его заполучить: весь успех нашего дела зависел от него.

С этими словами он повернулся в сторону нового подходящего гостя и представил Грехэму генерального инспектора Общественных школ. Это была довольно деревянная фигура в форменном серо-зеленом мундире. Беседуя с Грехэмом, он озарял его благосклонными взглядами сквозь золотое пенсне и подкреплял свои слова красивыми жестами выхоленных рук.

Грехэму было интересно знать, как поставлено школьное дело в современном мире, и он задал деревянному господину несколько прямых вопросов в этом смысле. Тот был, видимо, удивлен таким горячим проявлением интереса к столь сухому предмету. Он что-то такое промямлил насчет монополии народного образования, принадлежащей их компании, о контрактах между Синдикатом и лондонскими муниципалитетами и с большим увлечением распространился об успехах воспитания, достигнутых со времен королевы Виктории.

— В наших школах совершенно отсутствует зубрежка: экзаменов у нас не бывает, — сказал он. — Разве это не прогресс?

— Как же вы добиваетесь от детей, чтоб они учились? — спросил Грехэм.

— Мы стараемся сделать ученье привлекательным. А когда это не удается, предоставляем детей самим себе. — И он перешел к подробностям, к отдельным примерам.

Разговор затянулся. Грехэм узнал, что народные университеты еще существуют, но в измененном виде. По поводу женского образования инспектор снисходительно заметил:

— Да, между молодыми девушками, несомненно, встречается тип с серьезным складом ума, с горячим стремлением к знанию... если оно не слишком трудно дается. Таких девушек немало: их насчитываются тысячи. В настоящий момент у нас около пятисот фонографов в разных частях Лондона читают для женщин лекции о влиянии Платона и Свифта на любовные дела Шелли *, Хоэзлитта * и Бёрнса *. По окончании лекции каждая слушательница напишет реферат на эту тему, и фамилии тех из них, чьи рефераты будут признаны лучшими, будут занесены на золотую доску...

Вы видите теперь, что семена, посеянные в ваше время, не заглохли... У нас...

— Простите, я хотел еще спросить вас о начальных школах, — перебил Грехэм. — Существует у вас какой-нибудь контроль над ними?

— О, да, очень строгий контроль, — был ответ.

Грехэм, очень интересовавшийся начальным образованием в последние годы своей прежней жизни, уцепился за эти слова и приступил к своему собеседнику с новыми вопросами. Но он не услышал ничего нового.

— Зубрежки мы не признаем, — повторил деревянный инспектор, становясь почти сентиментальным.

— Вы, по-видимому, учите очень немногому.

— Школа для ребенка, — продолжал инспектор, — должна быть таким местом, где ему весело и легко. Об этом-то мы и хлопочем. Главные правила поведения — послушание, правдивость, и довольно с него. Успеет еще поработать. Ведь этим бедным детям предстоит жизнь, полная тяжелого труда. Наука приводит народ только к недовольству и смутам. Мы в наших школах забавляем детей. Но даже теперь, при всей нашей предусмотрительности, среди рабочих бывают беспорядки. И откуда только они набираются социалистических идей, не понимаю! Друг от друга, должно быть. Это все еще бродит старая закваска — социалистические бредни. Туда же — социализм, анархизм!.. Ну и агитаторы, конечно, не зевают: от них не убережешься. Мы же, я лично по крайней мере, всегда считали и считаем своей первейшей обязанностью бороться с народным недовольством. Зачем делать людей несчастными?

— Ну, это как смотреть... — пробормотал Грехэм нерешительно и, помолчав, добавил: — Я, собственно, желал бы знать...

Но тут Линкольн, все время зорко следивший за выражением его лица, прервал их беседу:

— Простите, государь, другие ждут, — сказал он вполголоса.

Инспектор школ почтительно откланялся и отошел.

— Вы, может быть, желали бы познакомиться с кем-нибудь из дам? — сказал Линкольн Грехэму, перехватив случайно брошенный им взгляд, и через минуту представил ему дочь главного директора Правления общеевропейских свиных заводов. Это была молодая особа с ярко-рыжими волосами и живыми голубыми глазами. Грехэм не мог не

признать, что она очень хороша собой. Линкольн скромно удалился, чтобы не мешать их беседе, и молодая девица сейчас же пустилась болтать о «добром старом времени», которое должен был так хорошо знать ее собеседник. Болтая, она улыбалась, а глазки ее смеялись так задорно, что нельзя было не улыбаться в ответ.

— Сколько раз я старалась вообразить это милое романтическое время, — говорила она. — Какой вы счастливец! Вы жили в те годы, вы их помните. Каким странным, должно быть, вам кажется теперешний мир! Я видела фотографии из вашей эпохи. Так смешно: маленькие отдельные домики, закопченные дымом из труб... кирпичные домики... Ведь кирпичи, кажется, делались из обожженной глины? Потом эти мосты над головой с мчащимися по ним поездами. А эта простота реклам! Рекламы в виде надписей — так дико! А эти смешные, торжественные фигуры в черных пуританских костюмах! Черные сюртуки... высокие шляпы, фи! На улицах лошади, чуть ли не коровы. Даже собаки бегают на свободе... Да, странная жизнь. И после всего этого вдруг проснуться в наш век оторванным от прошлого, от всего, что было так близко и дорого. Ужасно!..

— В моей прежней жизни не много было счастья. Я не жалею о ней, — сказал Грехэм.

Она бросила на него быстрый взгляд, потом сочувственно вздохнула.

— Не жалеете?

— Нет. Ненужная жизнь ненужного человека — о чем тут жалеть? Но теперь... Мы в наше время считали мир в достаточной мере цивилизованным, и жизнь казалась нам слишком сложной. А теперь — хоть не прошло еще и четырех суток, как я вновь народился на свет, — теперь, оглядываясь на свое прошлое, я вижу, какие это были варварские, дикие времена. Это была только заря цивилизации. Да, ранняя заря. Вы и представить не можете, каким я себя чувствую дикарем, как мало я знаю.

— Спрашивайте, если хотите, я буду отвечать, — проговорила она улыбаясь.

— Хорошо. Прежде всего скажите, что это за общество здесь собралось? Я никого не знаю. Мне говорили, что здесь будут все важные особы, генералы.

— Военные? Таких у нас нет.

— Нет, не военные. Я разумел — начальники управлений, государственные деятели, вообще люди с положением... Вон тот, например, седой человек с такой внушительной наружностью... Кто он такой?

— Ах, этот... Он действительно важная особа — главный директор Компании производства противожелчных пилюль. Фамилия его Морден. Рабочими этой компании, говорят, изготовляется до мириады мириад пилюль в двадцать четыре часа. Вы только представьте себе: мириада мириад!..

— Да-а. Неудивительно после этого, что у него такой высокомерный вид, — сказал Грехэм. — Фабрикант пилюль! Особа!.. Да, странные времена!.. Ну а этот, в красном?

— Этот, строго говоря, не принадлежит к «сливкам» общества, но мы любим его. Он очень умен, с ним интересно, знаете. Это один из главных пайщиков компании медицинского факультета при Лондонском университете. Теперь ведь все факультеты принадлежат компании на паях, и все наши врачи — пайщики этих компаний. Красный цвет — их форменный цвет. У нас, конечно, уважают медицину, но люди, которым платят за труд, это все-таки, понимаете...

Она презрительно улыбнулась, как будто говоря: «На какое же положение в обществе могут они претендовать?»

— А нет ли здесь кого-нибудь из великих художников или писателей? — спросил Грехэм.

— Писателей? О нет! Это такой невозможный народ... так много о себе воображают. Они вечно друг с другом ссорятся. Есть даже такие, что готовы подраться из-за того, кому первому войти в дверь. Ужасные люди!.. А из художников здесь, кажется, только Рэйсбери, модный капиллотомист из Капри.

— Капиллотомист? Ах, припоминаю. Художник! Почему нет?

— Нам, видите ли, приходится его ублажать, — сказала молодая девица, как будто оправдываясь. — Ведь наши головы в его руках. — И она кокетливо улыбнулась.

Но Грехэм ответил на ее вызов только новым вопросом:

— Ну а искусства у вас процветают? Я думаю, живопись сделала большие успехи за эти двести лет?

Она взглянула на него с недоумением и вдруг засмеялась.

— Я в первую минуту было подумала, что вы говорите... — Она опять засмеялась. — Теперь понимаю. Вы спрашиваете о тех чудаках, которых так ценили в ваше время за то, что они расписывали масляными красками огромные четырехугольные куски холста. Их вставляли в золоченые рамы и развешивали по четырехугольным стенам... Нет, у нас это давно вывелось. Людям надоела эта мазня.

— А что же вы подумали в первую минуту, когда я спросил?

Она многозначительно указала пальчиком на свою щеку, горевшую, несомненно, неподдельным румянцем, потом провела по своим ресницам и бровям.

— Я думала, вы вот про что, — сказала она и улыбнулась вызывающе-лукавой улыбкой, отчего сделалась обворожительно мила.

Грехэму стало неприятно. Он вспомнил дам, своих современниц, так часто прибегавших к «живописи», на которую намекала эта рыжеволосая девица, и устыдился нравов своего века. Он как-то разом осознал, что на него обращены тысячи глаз, и почувствовал, что краснеет.

— О да, понимаю, — смущенно пробормотал он в ответ на объяснение своей дамы и неловко отвернулся, чтобы не видеть игривого выражения ее лица. Он оглянулся кругом и встретил целый ряд любопытных глаз, в упор смотревших на него. Но это продолжалось лишь миг: все поспешили скромно потупиться и сделать вид, что они заняты разговором со своими соседями.

— Кто этот мужчина, что разговаривает с дамой в желтом? — спросил он свою собеседницу, избегая смотреть на нее.

Человек этот оказался одним из самых крупных антрепренеров американских театров, только что поставивший в Мексике грандиозную драму, прогремевшую на весь свет. Его лицо напоминало Грехэму Калигулу *. Следующая знаменитость оказалась главным организатором «Черного труда». В ту минуту Грехэм как-то пропустил мимо ушей это определение, но впоследствии ему пришлось вспомнить о нем. Между тем рыжеволосая девица продолжала с прежней развязностью давать ему характеристики разных лиц. В числе других она указала ему на прехорошенькую дамочку, отрекомендовав ее одной из «субсидиарных» жен лондонского епископа англиканской церкви. Она при этом рассыпалась в похвалах гражданскому мужеству его преосвященства, решившегося пойти против допотопного закона, по которому для духовенства была обязательна моногамия и который создавал «в высшей степени противоестественное и неудобное положение вещей».

— С какой стати человек должен подавлять свои естественные влечения и калечить себя только потому, что он духовное лицо? — прибавила просвещенная барышня.

Грехэм собрался пуститься в расспросы по поводу

«субсидиарных жен», но появление Линкольна прервало на самом интересном месте этот интересный разговор. Линкольн повел его в другой конец зала, где почтительно ожидали своей очереди представиться государю какой-то высокий человек, весь в пунцовом, и две очаровательные дамочки в бухарских халатах — так по крайней мере показалось Грехэму. Обменявшись со всеми троими несколькими банальными любезностями, он по указанию Линкольна направился к другой группе.

Мало-помалу новые пестрые впечатления начали укладываться в его голове в нечто цельное, принимать определенный характер. Сначала эта блестящая толпа пробудила в нем враждебные чувства, насмешливый протест демократа. Но трудно устоять против всеобщего поклонения, против лести; это не в человеческой натуре. Вскоре эта мелодичная музыка, яркий свет, игра живых красок, ослепительная белизна оголенных женских плеч, мягкие пожатия рук, мелькающие мимо оживленные лица, журчащий ропот сдержанных голосов, сознание интереса и благоговения, которое он возбуждал в этой толпе, — все это соткало вокруг него нежную, ласкающую атмосферу, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Он забыл свои широкие замыслы, свои великодушные решения. Невольно, незаметно поддался он опьянению властью. Поступь его стала увереннее, обращение свободнее, голос окреп. Черный плащ ниспадал с его плеч смелыми, гордыми складками. Во всей его фигуре было теперь что-то царственное. Да, что ни говори, а этот новый мир был интересный, блестящий, заманчивый!..

Случайно подняв голову, он увидел видение. Наверху по перекинутому через зал воздушному мостику проходила молодая девушка, которую он встретил в ложе театра в день своего бегства из ратуши. Она смотрела вниз, на него. Ее лицо только промелькнуло перед ним и сейчас же скрылось, но он успел уловить на этом лице выражение жадного и нетерпеливого ожидания, относившееся к нему.

Сначала он не мог даже припомнить, где он видел ее, но вместе с воскресшим воспоминанием об их первой встрече в душе его пробудились и те волнующие чувства, которые она вызывала в нем. Он вдруг почувствовал, что его раздражает назойливо-веселая музыка, мешающая ему припомнить торжественный напев революционной песни, под которую маршировала толпа.

Новая его собеседница, которую ему только что пред-

ставил Линкольн, принуждена была повторить свое замечание, не получая ответа. Грехэм очнулся и, сделав над собой усилие, вернулся к действительности.

Но с этой минуты он не мог отделаться от смутного беспокойства. Он был недоволен собой: он забыл свои обязанности, не исполнял своего долга. Ослепленный роскошью и блеском, он упустил из виду самое важное, и это мучило его. Чары окружавших его блестящих красавиц, околдовавшие его, начинали терять свою силу. Их кокетливые заигрывания, в истинном смысле которых он больше не мог сомневаться, не вызывали теперь с его стороны тех уклончивых, смущенных ответов, под которыми таилось удовлетворенное самолюбие. Глаза его невольно искали в толпе эту девушку, олицетворяющую восстание.

— «Где же я ее видел?»

Уже в самом конце раута он стоял на одной из верхних галерей, поджидая Линкольна, который обещал устроить ему в этот день полет, если позволит погода, и теперь пошел отдать необходимые распоряжения, оставив его в обществе новой элегантной дамочки с веселыми глазками и сказав, что он скоро вернется. Грехэм и его собеседница говорили об идамите (тема, надо сказать, была выбрана им, а не ею).

И вдруг, прорываясь сквозь журчащие переливы легкой музыки, все приближаясь и разрастаясь, грубо и властно зазвучала Песня Восстания — могучая песня, которую он слышал в театре. А! Теперь он вспомнил! Он поднял голову, пораженный. Над ним в стене было круглое окно, открытое настежь; через него-то и врывались эти звуки. За окном, на фоне голубоватой дымки наступившего вечера, виднелась сеть переплетающихся кабелей и тянулись ряды висячих осветительных шаров. Подхваченная тысячью голосов, песня разлилась широкой волной и вдруг оборвалась и смолкла. Теперь до Грехэма явственно доносились гуденье бегущих платформ и рокот многотысячной толпы. Он понял — не сознанием, а чутьем, — что вся эта огромная толпа там, снаружи, пришла сюда ради него.

Могучая Песня Восстания оборвалась; в ушах его опять раздавалась игривая музыка вальса; но торжественный, благородный напев, раз прозвучав, остался жить в его душе.

Дама с веселыми глазками все еще болтала об идамите, когда он вдруг опять увидел девушку, которую встретил в театре. Теперь она шла по галерее, быстро приближаясь к нему. Она не видела его; он заметил ее первый. На ней

было все то же блестящее светло-серое платье. Пышные волосы темной короной возвышались над ее белым лбом. На ее опущенную голову из круглого окна падала полоса холодного, бледного света.

Собеседница Грехэма поймала его взгляд и обрадовалась удобному предлогу избавиться от него.

— Вы желали бы познакомиться в этой девушкой, государь? — храбро спросила она. — Это Элен Уоттон, племянница Острога. Она очень образованна, много знает. Нет, кажется, женщины серьезнее ее. Вам она, наверное, понравится.

Минуту спустя Грехэм уже разговаривал с девушкой в сером, а быстроглазая дамочка упорхнула.

— Я хорошо вас помню, — говорил Грехэм. — Вы были в театре в тот день, когда народ перед своим выступлением пел революционную песню. Помните? Все пели хором и отбивали такт. Вы стояли в ложе недалеко от меня. А потом я вышел в зал.

Ее минутное смущение уже прошло. Она взглянула на него спокойно и твердо.

— Да, это была чудная минута, — сказала она и замолчала. Ей, видимо, хотелось что-то прибавить, но она не решилась. Наконец, сделав усилие над собой, она продолжала: — Все эти люди готовы были умереть за вас, государь. Многие и умерли в ту ночь.

Лицо ее горело. Она быстро оглянулась, как будто испугавшись, не подслушивает ли их кто-нибудь. В другом конце галереи показался Линкольн. Он пробирался в толпе, направляясь к ним. Она увидела его и, быстро повернувшись к Грехэму и, видимо, спеша высказаться, заговорила совсем новым, дружески конфиденциальным тоном:

— Государь! Сейчас я не могу... здесь неудобно. Но знайте, что народ очень несчастлив. Его угнетают, обманывают. Не забудьте же о народе, который шел умирать, чтобы сохранить вам жизнь.

— Я ничего не знаю... — начал было Грехэм.

— Теперь я не могу вам объяснить.

Перед ними выросла как из-под земли физиономия Линкольна. Он поклонился девушке и извинился, что прерывает их разговор.

— Надеюсь, государь, вам понравился новый мир? — обратился он затем к Грехэму, почтительно улыбаясь и обводя широким жестом огромное пространство освещенного зала и наполнившую его нарядную толпу. —

Во всяком случае, вы, наверно, нашли, что мир изменился.

— Да, изменился, пожалуй... но, в сущности, не так радикально, как можно было ожидать.

— Посмотрим, государь, что-то вы скажете, когда мы поднимемся на воздух... Ветер утих. Аэроплан вас ждет. Итак, если угодно...

Девушка стояла молча в выжидательной позе. Грехэм взглянул на нее, хотел было задать ей вопрос, но по выражению ее лица увидел, что лучше не говорить. Он низко поклонился ей и пошел за Линкольном.

Глава XVI

МОНОПЛАН

Лондонские станции летающих машин были сосредоточены на южной стороне реки. Они опоясали город неправильной дугой, образуя три группы, по две станции в каждой. За ними сохранились названия шести старинных городских поместий: Рогемптона, Уимблдон-парка, Стритхема, Норвуда, Блэкхита и Шутерс-Хилла. Все шесть станций были построены по одному образцу и представляли собой гигантские помосты, подымавшиеся высоко над крышами домов. Каждый помост имел до четырех тысяч ярдов в длину и около тысячи в ширину и держался на толстых подпорках, отлитых из какого-то нового сплава алюминия с железом, заменившего в архитектуре чистое железо. Под помостами, между переплетами стропил и скреплений, тянулись длинные ряды лестниц и подъемных машин. Сами же помосты представляли совершенно ровную площадь, где всегда стояли наготове подъемные подвижные платформы и куда спускались прибывшие аэропланы.

Грехэм отправился на станцию по движущимся улицам в сопровождении Асано: Линкольн не мог его сопровождать, так как его вызвал Острог по каким-то неотложным делам. Сильный полицейский отряд ожидал государя у подъезда Управления ветряных двигателей и поспешил очистить ему место на одной из верхних движущихся платформ. Никто не знал о его предполагавшемся путешествии, тем не менее вокруг него тотчас же собралась довольно большая толпа, последовавшая за ним до места его назначения. Он слышал, подъезжая, как со всех сторон выкрикивалось

его имя, и видел, как тысячи мужчин, детей и женщин в голубых балахонах стремглав взбегали по лестницам на среднюю полосу улицы, жестикулируя и что-то крича ему вслед, но что именно — он не мог разобрать. Как только он сошел наконец с движущейся платформы, значительно выросшая возбужденная толпа окружила его плотным кольцом, так что сопровождавшему его караулу пришлось расчищать ему путь. Потом он узнал, что многие явились, чтобы подать прошения государю, но так и не могли пробиться к нему.

На западной станции его ожидал моноплан с опытным пилотом у руля. До сих пор он видел монопланы только издали, на большой высоте, откуда они казались маленькими птичками. Но теперь раскинувшийся на подъемной платформе летательной станции алюминиевый кузов этой машины казался очень внушительным. Он был не меньше кузова двадцатитонной яхты. Его боковые крылья-паруса из какого-то искусственного стекловидного состава в раме из тонких металлических прутьев и с такими же металлическими прожилками по поверхности, отчего они напоминали крылья пчелы, отбрасывали тень на несколько сот ярдов кругом. Между ребрами кузова в задней его части были подвешены каким-то очень хитрым способом два кресла: одно — для пилота, другое — для пассажира. Кресло пассажира было снабжено пневматическими подушками, навесом и подвижной рамой, которую можно было по желанию раздвинуть или сдвинуть для защиты от непогоды. Когда рама была сдвинута, пассажир сидел, как в карете. Но Грехэм, жаждавший новых впечатлений, пожелал оставить ее открытой. Перед креслом пилота было стекло, защищавшее его лицо от встречного ветра. Пассажир мог привязать себя к креслу ремнями, что было даже необходимо, особенно при спуске. Он мог также, держась за поручень, передвинуться по рельсикам вместе с креслом в носовую часть кузова, где помещался небольшой ящик с его теплыми вещами и походной аптечкой. Этот ящик служил в то же время противовесом тем частям машины, которые выступали в корму.

На станции не было никого, кроме Асано и свиты. По знаку пилота Грехэм вошел на моноплан и уселся в висячее кресло. Асано спустился с подъемной платформы на помост станции и в знак прощального приветствия махнул рукой. И в тот же миг и Асано, и свита, и станция покатились вправо и скрылись из глаз.

Мерно стучала машина, винт быстро вертелся. Скользящие мимо здания с секунду неслись в горизонтальном направлении, потом все вдруг опрокинулось набок. Грехэм инстинктивно ухватился за поручни кресла. Он чувствовал, что мчится вверх; слышал, как свистела вдоль навеса встречная струя воздуха; слышал сильные ритмические удары винта; раз-два-три — пауза, раз-два-три — пауза... В кузове машины ощущалось колебательное движение, уже не прекращавшееся во все время полета. Площади крыш, мимо которых они теперь проносились, летели вправо и вниз, быстро уменьшаясь. Грехэм вопросительно взглянул на пилота: тот был спокоен. Он с усилием отвел глаза от его лица и заглянул через борт машины. Он не увидел ничего особенно поразительного: такое же приблизительно впечатление могло бы получиться в вагоне фуникулерной железной дороги при очень быстром ходе. Он узнал здание ратуши, узнал Хайгетский мост. Тогда он наконец решился заглянуть вниз, в дыру между двумя перекладинами дна кузова, в которые упирались его ноги.

Его обуял животный ужас, вытеснив из его души все, кроме ощущения непрочности его положения и неминуемой гибели, которая его ждет. Пальцы его крепко вцепились в железные поручни кресла. Он не мог оторвать глаз от бездны, зиявшей у него под ногами. Футов на сто под ним вертелось колесо одного из ветряных двигателей юго-западной части Лондона. Дальше виднелась южная летательная станция, усеянная черными точками — людьми. Все это падало, падало, проваливалось в пропасть с ужасающей быстротой, уносясь от него. На миг у него появилось непреодолимое побуждение самому броситься вниз, догнать уходящую землю. Он стиснул зубы и, сделав над собой усилие, поднял глаза. Минута паники миновала.

Довольно долго просидел он так, со стиснутыми зубами, держась за поручни и тупо глядя в небо. «Тук-тук-тук... тук-тук-тук», — назойливо стучала машина. Крепче сжав поручни, он перевел глаза на пилота и увидел улыбку на его загорелом лице. Он попробовал улыбнуться в ответ, вышло немножко натянуто.

— Престранное ощущение с непривычки! — заорал он, стараясь перекричать свист ветра и совершенно забывая о своем монаршем достоинстве.

Он все еще не решался заглянуть вниз и долго смотрел через голову пилота на бледно-голубую полосу неба, тянувшуюся впереди. Он все никак не мог отвязаться от мысли

о возможных случайностях, грозивших моноплану. Что, если в машине испортится какой-нибудь винт? Что тогда?.. Нет, лучше не думать... А моноплан между тем все выше и выше улетал в прозрачное, ясное небо.

Мало-помалу Грехэму удалось взять себя в руки и удручающая мысль об опасности отошла на второй план. И как только прошло это потрясающее сознание движения в воздушном пространстве без всякой опоры, прошли и все неприятные ощущения. Грехэм почувствовал себя очень хорошо. Его предупреждали о морской болезни, которой аэронавты подвергаются не менее моряков. Но он находил, что колебательное, пульсирующее движение летящего моноплана, по крайней мере при слабом ветре, какой был теперь, ничем не хуже ныряньья лодки по волнам в свежую погоду; а на лодке его не укачивало. Острота же разреженного воздуха, по мере того как они поднимались, вызывала в нем ощущение какой-то особенной легкости, как от действия веселящего газа. Голубая полоса неба впереди затянулась перистыми облачками. Взгляд его осторожно скользнул ниже. Сквозь ребра кузова мелькнула сверкающая стая белых птиц, паривших в воздухе с ним наравне. Он долго любовался ими. Потом, набравшись храбрости, заглянул опять себе под ноги — прямо вниз; тонкий шпиль «вороньего гнезда» с торчащей на нем вышкой, уменьшавшейся с каждой минутой, отливал золотом в ярких лучах заходящего солнца. Теперь он не боялся смотреть. Вот показалась синяя гряда холмов... А вот, уже с подветренной стороны, и запутанный лабиринт крыш удаляющегося Лондона. Резко выделялась ближайшая окраина города. Она так поразила Грехэма своим видом, что последние остатки его страха высоты мигом улетучились. Новый Лондон кончался обрывом — отвесной стеной футов в триста-четыреста вышиною. Стена эта местами прерывалась террасами и в общем представляла собою очень сложный и красивый фасад.

От широкой сети предместий, составлявшей в девятнадцатом веке, так сказать, переходную ступень от города к деревне, не оставалось и следа. Теперь вокруг Лондона тянулся пустырь с разбросанными по нему развалинами домов и остатками разнообразных растений, украшавших когда-то сады бывших пригородных вилл. Местами среди этой одичавшей растительности бурели полосы земли, вспаханной под огороды, зеленели поля, засеянные зимними травами, и под ними торчали одинокими островками

голые стены обвалившихся домов, десятки лет тому назад покинутых своими обитателями, но почему-то пощаженных новой культурой. Кое-где среди этого хаоса жалких остатков старины, еще пытавшихся бороться с завоеваниями нового века, гордо возвышались дворцы современных увеселительных заведений, соединенные с городом целой сетью металлических проводов. В этот зимний день они казались покинутыми.

Да, Лондон неузнаваем. Границы города очерчены так резко, как это было, пожалуй, только в средние века, когда городские ворота запирались с наступлением ночи и шайки грабителей рыскали вокруг стен.

Там, где некогда тянулась улица Бэт, теперь из широкой полукруглой пасти главных ворот выливался на идамитную дорогу поток вывозимых товаров и вливался обратный поток. Лондон кончался, начиналась деревня. Грехэм увидел под собой возделанные поля долины Темзы — бесчисленные крошечные буроватые полоски земли, перерезанные сверкающими ниточками оросительных каналов.

Его возбуждение быстро росло. Он был точно пьяный. Он втягивал в себя воздух большими глотками и не мог надышаться. Он громко смеялся: ему хотелось петь, кричать. И, не в силах бороться дальше с этим желанием, он запел.

Постепенно они начали заворачивать к югу. В общем, они не поднимались и не опускались; но двигались не по горизонтальной линии, а по волнистой: короткие крутые подъемы чередовались с отлогими длинными спусками, во время которых кормовой винт совершенно бездействовал. С каждым подъемом Грехэм испытывал какую-то странную гордость от сознания усилия, увенчавшегося успехом, а на спусках у него захватывало дух и замирало в груди — ощущение жуткое, но необыкновенно приятное, вроде того, как когда катишься в санках с ледяной горы. Так бы, кажется, и летел всю жизнь в этом разреженном живительном воздухе, никогда бы не спускался на землю.

Но вскоре он опять увлекся созерцанием расстилавшегося внизу, быстро уносившегося к северу ландшафта и залюбовался подробностями. Удивительно живописными казались с высоты развалины домов; но ему было больно смотреть на эти развалины, больно сознавать, что это было все, что осталось от ферм и деревень, которыми была когда-то усеяна эта безлесная, безлюдная равнина. Он знал и раньше об исчезновении в Англии деревень, но большая

разница — знать от других или видеть своими глазами. Он пробовал, не распознает ли он знакомые места в этой пустой котловине, зиявшей под ним, но с той минуты, как долина Темзы скрылась из виду, не попадалось больше никаких примет, по которым можно было бы ориентироваться. Но вот вдали показались острые вершины меловой гряды холмов, и по знакомым очертаниям ее восточного ущелья да еще по развалинам города, тянувшегося вдоль его боков, он узнал Гилдфорд на Хогсбэкской гряде. Теперь уже легко было распознать и другие места: Лейс-Хилл, песчаные пустыри Олдершота и так далее. В Даунсе весь гребень холма был усеян гигантскими ветряными двигателями. Колеса их медленно, словно нехотя, вертелись, чуть-чуть подталкиваемые слабым юго-западным ветром. Лондонские ветряные двигатели были ничто в сравнении с ними. Самый большой из тех, какие до сих пор видел Грехэм, мог бы сойти разве за младшего брата этих великанов. Долина Уэя вся заросла кустами и деревьями, кроме одной широкой полосы, где на месте прежней железной дороги пролегла широкая идамитная дорога в Портсмут, в эту минуту густо усеянная движущимися черными точками. Там и сям мелькали зеленые пятна лугов, покрытых стадами овец Британского треста пищевых продуктов. Затем под кузовом моноплана пронеслись высоты Уилдена, гряда Хиндхедских холмов, Питч-Хилл и Лейс-Хилл со вторым внушительным рядом ветряных двигателей, которые, казалось, отбивали у конкурентов и ту слабую струю ветра, какая долетала до них. Подальше краснело поле вереска, окрапленное желтыми пятнами дрока, и по нему бегало стадо черных быков, подгоняемое двумя пастухами верхом на лошадях. Все это пронеслось мимо и расплылось в туманной дали.

Грехэм устал смотреть и задумался. Писк какой-то маленькой птички, раздавшийся над самым его ухом, вывел его из забытья. Они пролетали теперь над Южным Даунсом. Он оглянулся через плечо и увидел холмы Портсдауна и выступавшие над ними зубчатые стены Портсмута. Вслед за тем показались ярко освещенные солнцем, уменьшенные расстоянием, но отчетливо видимые белые утесы Ниддлс. Еще минута, и перед ними выросли мачты кораблей — густой лес мачт, целый плавучий город, — и впереди сверкнула стальным блеском узкая полоска воды. Вот внизу промелькнул остров Уайт, а за ним раскинулась широкая гладь открытого моря, то отливающая пурпуром в лучах солнца, то мутно-серая под набежавшим облачком, то се-

ребристо-зеркальная с зеленоватым оттенком, как стекло. Позади уже не видно было земли. Прошло еще несколько минут. От серой гряды облаков, застилавших горизонт, отделилась внизу длинная полоса с твердыми, определенными очертаниями и вскоре оказалась линией берега — северного берега Франции. Эта сверкающая на солнце полоска земли быстро вырастала в длину и в вышину и гостеприимно манила к себе все новыми и новыми деталями развертывавшегося веселого ландшафта.

Вскоре из-за горизонта выплыл Париж, дал одну минутку полюбоваться собой и снова погрузился за линию горизонта: моноплан, описав широкий полукруг, стал опять заворачивать к северу. Грехэм успел, однако, заметить Эйфелеву башню (она, стало быть, уцелела) и рядом с ней огромный купол какого-то нового здания, увенчанный высоким шпилем. Заметил он еще (хоть и не понял в то время значения этого явления), что со стороны города тянулся густой столб дыма. Пилот пробормотал что-то такое о беспорядках на подземных дорогах, но он пропустил это мимо ушей. Бесчисленные минареты и башенки, высоко поднимавшие свои головы над лесом ветряных двигателей в своих порывах к небу, поразили его грандиозной легкостью своих очертаний: уже по одному этому он мог убедиться, что по части красоты и изящества Париж стоит, как и двести лет тому назад, впереди своего огромного соперника Лондона.

Грехэм повернул голову, чтобы бросить прощальный взгляд на удалявшуюся чудную панораму, и вдруг увидел, что над городом поднялось что-то голубоватое, легкое, как тень, и полетело по ветру, точно перышко или опавший лист. Потом описало дугу и понеслось прямо на них, быстро увеличиваясь в объеме. Пилот что-то сказал в пояснение.

— Что такое? — переспросил, не дослышав, Грехэм, не отрывавший глаз от голубого облачка, казавшегося живым.

— Лондонский аэроплан, государь! — прокричал пилот ему в ухо, указывая рукой на приближавшуюся тень.

Они взвились кверху, продолжая лететь на север. Аэроплан быстро нагонял. Вот он все ближе и ближе, все больше и больше... Какими слабыми казались удары их маленького кормового винта, какою ничтожною — работа их машины в сравнении со стремительным полетом этого чудовища. Широко раскинув свои перепончатые прозрачные крылья, оно пронеслось под ними, точно живое существо. Перед Грехэмом мелькнули на миг эти могучие распластанные

крылья; ряды закутанных пассажиров в свободно подвешенных креслах за стеклянными рамами, наглухо закрытыми от ветра; скорчившаяся за стеклянным щитом фигура пилота, вся в белом... В ушах его пронесся грохот машины, мерный стук работающего винта.

Обогнав их, аэроплан стал подниматься. Крылья их маленького моноплана затрепетали от струи ветра, которую оставлял за собой великан в своем стремительном полете. Жадными глазами смотрел Грехэм ему вслед. Дикий восторг наполнял его грудь... Но не успел он опомниться, как аэроплан был уже далеко впереди. Он снова начал опускаться, становясь все меньше и меньше. И не успели они, кажется, сдвинуться с места, как он опять превратился в голубое пятнышко, чуть видное в прозрачном воздухе.

Это был аэроплан, совершавший постоянные рейсы между Лондоном и Парижем. В мирное время и в безветренные дни он делал по четыре перелета в день, считая в оба конца.

Спустя несколько минут они снова летели над каналом — летели очень тихо, как казалось Грехэму, только теперь получившему истинное представление о скорости воздушных полетов. С левой стороны впереди показалась линия берега.

— Земля! — закричал пилот, но голоса его почти не слышно было за свистом встречной струи воздуха, ударявшейся о навес. — Земля!

— Нет еще! — отозвался со смехом Грехэм, тоже крича во все горло. — Нет еще, не земля!.. Прежде я хочу хорошенько ознакомиться с этой машиной...

— Простите, государь, но я... — начал было пилот.

— Я хочу ознакомиться с этой машиной, — упрямо повторил Грехэм. — Я иду к вам.

Он быстро высвободился из своего кресла, поднялся на ноги и шагнул к месту пилота, держась за перила прохода, разделявшего их. На один миг у него закружилась голова; он побледнел и крепче уцепился за перила, но сейчас же овладел собой и в два шага очутился подле пилота. Ему сдавило грудь от напора воздуха. С него сорвало шляпу. Ветер трепал его волосы. Он с трудом удерживался на ногах. Пилот поспешно передвигал в машине какие-то гайки, чтобы восстановить нарушенное равновесие.

— Объясните мне, как вы управляете машиной, — сказал ему Грехэм. — Что нужно сделать, чтобы пустить ее в ход?

Пилот замялся.

— Машина эта очень сложного устройства, государь... — нерешительно пробормотал он.

— Все равно, объясните! — прокричал Грехэм. Пилот молчал.

— Я, право, не знаю... — начал он наконец. — Воздухоплавание составляет привилегию... секрет...

— Знаю. Но я ваш повелитель и хочу знать этот секрет.

Он захохотал, возбужденный опьяняющим воздухом и непривычным сознанием своей власти.

Моноплан сделал крутой поворот к западу. Холодный ветер резанул Грехэма по лицу и закрутил плащ вокруг его ног. Два человека молча глядели друг другу в глаза.

— Государь! — заговорил пилот. — У нас существуют правила...

— Только не для меня, — перебил Грехэм. — Вы, кажется, забываете...

Пилот внимательно всматривался в его лицо.

— Нет, государь, я помню, — сказал он. — Но до сих пор ни один человек на земле, никто, кроме профессиональных пилотов, связанных обетом молчания, не управлял летательными аппаратами. Пассажиров не посвящают в этот секрет.

— Все это я уже слышал. Я не стану терять времени на пререкания с вами. Хотите знать, для чего я проспал двести лет? Хотите? Так я вам скажу: чтобы проснуться и летать.

— Но, государь, если я нарушу наши правила, меня ждет...

Величественным взмахом руки Грехэм снял со своего подданного всю ответственность за нарушение правил.

— В таком случае я подчиняюсь, — сказал пилот. — Извольте смотреть...

— Нет! — заорал Грехэм, покачнувшись и хватаясь за перила. Моноплан неожиданно повернулся носом кверху: начинался подъем. — Нет, не смотреть! Я хочу сам управлять. Сам, хотя бы мне пришлось сломать себе шею!.. Я сяду рядом с вами. Подвиньтесь, вот так. Я твердо решил научиться летать — пусть даже ценой моей жизни. Не даром же я спал столько лет! Летать было всегда моей заветной мечтой. И теперь... Ну, пустите руки!

— Государь! За мной следят дюжины шпионов...

Грехэм вышел из себя. Ему доставляло какое-то особенное наслаждение давать волю своему гнезу. С прокляти-

ем оттолкнул он пилота и нагнулся к рычагам. Машина закачалась.

— Кто господин здесь, на земле, — я или вы с вашим обществом?.. Прочь руки! Я сам возьмусь за руль, а вы держите меня за руки. Так. Теперь говорите: как сделать, чтобы мы опустились.

— Государь!..

— Ну что там еще?

— Вы защитите меня?

— Да, да! Весь Лондон спалю, а не дам вас в обиду.

Этим обещанием Грехэм заплатил за свой первый урок воздухоплавания. Пилот покорился.

— Для вас же лучше, если вы научите меня править. Как вы не понимаете, что это в ваших интересах? — говорил Грехэм с громким смехом, все больше и больше пьянея. — Ну-с, в какую сторону поворачивать руль? Сюда? Ага, понимаю!.. Ах как хорошо!

— Назад, назад, государь!

— Назад? Ладно! Назад так назад... Раз, два, три! О господи, как хорошо!.. Теперь мы вверх полетели... Вот это значит жить!

И вот аппарат начал выделывать в воздухе самые невероятные пируэты. Он то принимался кружиться спиралью, то стрелой взвивался вверх, то кидался вниз, как коршун на добычу, и, как ястреб, взмахом крыльев снова поднимался вверх. Во время одного из своих бешеных спусков он чуть не налетел на караван аэростатов, тянувшийся на юг, и только неожиданно ловким поворотом руля кое-как избежал столкновения в последний момент. Возбуждающее действие разреженного воздуха, необыкновенная быстрота и плавность движения и то ни с чем не сравнимое ощущение легкости во всем теле, которое они вызывали, окончательно опьянили Грехэма: он совсем обезумел.

Его отрезвило одно маленькое происшествие, заставив вернуться к грубой действительности, к той чуждой жизни с ее неразрешимыми загадками, которая ожидала его на земле. Ныряя в воздухе, моноплан столкнулся с чем-то живым, и Грехэм почувствовал, что на щеку ему упала теплая капля. Он оглянулся: за кормой кружилось что-то белое, падая вниз.

— Что это? — спросил он растерянно, забывая править рулем.

Моноплан клюнул носом и стал быстро спускаться.

Пилот испуганно схватился за руль, и только когда машина приняла опять горизонтальное положение, он глубоко перевел дух и ответил:

— Это был лебедь. Мы убили его...

— Я его не заметил!.. — сказал Грехэм.

Пилот промолчал. Сконфуженный Грехэм предоставил ему править и перебрался на свое пассажирское место.

Некоторое время они летели в горизонтальном направлении, потом начали круто спускаться. Грехэм заглянул вниз: навстречу им, быстро вырастая, поднималась из темноты платформа летательной станции. Они спускались на землю, и вместе с ними опускалось солнце, садясь за тянувшиеся на западе меловые холмы и заливая небо золотым заревом своих прощальных лучей.

Вскоре можно уже было различить людей, толпившихся на платформе. Снизу доносился глухой шум, напоминавший гул морского прибоя. Грехэм оглянулся кругом: крыши домов вокруг станции чернели народом, собравшимся встречать своего властелина и ликовавшим по случаю его благополучного возвращения. Под арками помоста станции тоже стояла густая толпа: в темноте чуть белели бесчисленные ряды человеческих лиц, и в воздухе радостно мелькали белые носовые платки.

Глава XVII

ТРИ ДНЯ

Линкольн дожидался Грехэма в помещении под арками летательной станции. Он горел нетерпением узнать, как ему понравилось воздушное путешествие, и вышел ему навстречу. Грехэм был в неописуемом восторге.

— Я должен научиться управлять машиной, — говорил он. — И непременно научусь. Это совсем не так трудно, стоит только захотеть. А я хочу летать. Я жалею несчастных, которые умерли, не изведав этого блаженства. Купаться в чудном, живительном воздухе... нестись навстречу вольному ветру... Ничто не сравнится с этим дивным ощущением!

— Наш новый век, я надеюсь, доставит вам еще много таких ощущений, — заметил Линкольн. — Скажите, чем бы вы желали развлечься теперь? У нас есть, например, новый род музыки, которая может быть...

— Нет. Пока я поглощен воздушными полетами и не могу думать ни о чем другом. Я хотел бы основательно ознакомиться с этим делом. Но ваш пилот мне сказал, что управление летательными аппаратами составляет профессиональную тайну, которую строго воспрещено открывать посторонним...

— Совершенно верно. Но вы — другое дело. Только прикажите, и мы завтра же зачислим вас в профессиональные аэронавты.

Грехэм горячо ухватился за это предложение и принялся опять распространяться о своих ощущениях во время полета.

— Ну а дела как? — спросил он, неожиданно перебивая себя на полуслове. — Я и забыл про дела.

Линкольн ответил с деланой небрежностью:

— Завтра Острог сам вам расскажет подробно... Говоря вообще, все постепенно входит в норму. Революция восторжествовала во всем мире. Кое-какие трения, разумеется, всегда неизбежны, но ваша власть теперь крепка как никогда. Пока Острог печется о ваших интересах, вы можете спать спокойно.

— А нельзя ли, — заговорил Грехэм после паузы, — зачислить меня в эти, как вы их называете... присяжные аэронавты... теперь же, сегодня? Тогда я мог бы завтра с утра начать мои уроки воздухоплавания.

— Что ж, это можно, — сказал, подумав, Линкольн. — Я вам это устрою. — Он засмеялся. — Я было шел сюда с блестящими предложениями... думал предложить вам развлечься. Но вы, я вижу, уже выбрали себе развлечение. Тем лучше. Сейчас я протелеграфирую в Департамент воздухоплавания, а потом мы вернемся в Управление, в ваши апартаменты. Вы пообедаете, а тем временем явятся и аэронавты... Но, может быть, после обеда вы предпочли бы...

Он запнулся.

— Что? — спросил Грехэм.

— Мы, видите ли, думали угостить вас балетом. Нарочно для вас выписали танцовщиц с Капри. Тамошний театр славится своим балетом...

— Я ненавижу балет, — сухо ответил Грехэм. — Всегда ненавидел. И потом это слишком старо. Танцовщицы существовали еще в древнем Египте.

— Это правда. Но наши танцовщицы...

— Я не нуждаюсь в развлечениях. Танцовщицы могут

подождать. Теперь я займусь воздухоплаванием. Меня вообще очень интересует устройство новых машин. Я хочу расспросить ваших техников...

— Весь мир к вашим услугам, — сказал Линкольн. — У вас широкий выбор. Вам остается только приказывать: все будет исполнено.

Явился Асано, и, как и прежде, под охраной полиции они вернулись тем же путем в апартаменты Грехэма. Толпа на улицах была теперь еще гуще. Народ провожал своего властелина громкими, радостными криками. Ответы Линкольна на нескончаемые вопросы Грехэма тонули в этом гаме. Сначала Грехэм отвечал улыбками и поклонами на приветствия, раздававшиеся со всех сторон, но Линкольн сделал ему маленькое внушение, объяснив, что такая простота обращения по современным понятиям не подобает его высокому сану и может быть сочтена неуместной, после чего человек девятнадцатого столетия, которому и самому надоело поминутно кивать головой, с большим удовольствием забыл о своих подданных на весь остаток пути.

Как только они вернулись в Управление ветряных двигателей, Линкольн по требованию Грехэма разослал гонцов за моделями всевозможных машин, по которым можно было бы наглядно уяснить себе успехи механики за последние два века. Асано со своей стороны вызвался продемонстрировать кинематографические снимки машин в действии. Небольшая моделька усовершенствованного телеграфа до такой степени заинтересовала Грехэма, что тонкий гастрономический обед, ожидавший его на столе, сервированном ловкими руками хорошеньких служанок, долго оставался нетронутым. Куренье табака давно уже стало архаической модой, но как только Грехэм выразил желание покурить, во все концы света полетели заказы, и к десерту на столе появился ящик превосходных сигар, доставленных из Флориды пневматической почтой.

Затем явились аэронавты и модели машин в сопровождении опытного инженера. Достижения новейшей техники одно за другим проходили перед изумленным взором Грехэма. Необыкновенная чистота и точность работы некоторых машин поразили его, и можно смело сказать, что все эти арифмометры, автоматические строители, элеваторы, прядильные станки, моторы, косилки и молотилки были для него в данный момент гораздо привлекательнее самой обворожительной баядерки.

— Мы были дикарями! — твердил он в экстазе. — Как посмотришь на все эти чудеса, так подумаешь, что мы жили

в каменном веке... Ну-с, что же вы мне еще покажете, господа?..

Тут выступили на сцену ученые по другим отраслям знания. Перед Грехэмом были проделаны очень интересные опыты гипнотизма. Его современники, вероятно, удивились бы, если бы знали, какой известностью будут пользоваться в XXII веке имена Милна Бромуэлла, Фехнера *, Либо, Уильяма Джеймса *, Майерса и Гарни *. Научные изыскания в области психологии получили теперь много практических применений, ставших общим достоянием. Лечение внушением почти окончательно вытеснило порошки и пилюли, антисептические и анестезирующие средства; к нему прибегали и все те, кто занимался умственным трудом. Благодаря гипнозу значительно расширилось поле интеллектуальной работы, доступной человеческим силам. Известные фокусы быстрого «счета в уме», поражавшие умением некоторых людей справляться с невероятно огромными числами, и «чудеса» месмеристов *, какими привык Грехэм считать подобные явления, теперь могли быть проделаны каждым, кто мог оплатить услуги опытного гипнотизера. Старая система преподавания в школах была давным-давно упразднена и заменена новыми приемами. Экзаменов больше не существовало. Вместо того чтобы тратить годы на зубрежку, учащиеся прибегали к гипнозу. В течение нескольких недель с перерывами юношу усыпляли гипнозом. Гипнотизер читал ему параграф за параграфом учебную книгу, которую надо было пройти, и затем внушал, чтобы он все это запомнил. Особенно полезен был этот способ запоминания при изучении математических наук. Им пользовались также и многие игроки в шахматы. Короче говоря, все виды умственной работы, где мысль идет строго определенным логическим путем, были совершенно освобождены от бесплодных блужданий фантазии и доведены до идеальной точности мышления. Все дети рабочего класса, как только они достигали такого возраста, что могли выдержать гипноз, превращались этим способом в прекрасно обученных мастеров и ремесленников и, таким образом, избавлялись от долгого искуса подготовки. Ученики училищ воздухоплавания, страдавшие головокружением во время полета, тем же способом вылечивались от своих воображаемых страхов. На каждом перекрестке можно было встретить гипнотизера, готового за самую дешевую плату прийти на помощь вашей слабой памяти и навеки запечатлеть в ней желаемый факт, имя,

ряд чисел, мотив песни, ее слова. И наоборот: вы могли, если хотели, изгладить из своей памяти любое воспоминание, отделаться от неудобных привычек, искоренить в себе то или другое желание. Такого рода психохирургические операции немало облегчали жизнь: человек забывал все, что было недостойного и унизительного в его прошлом; неутешные вдовы переставали оплакивать своих умерших мужей; ревнивые любовники освобождались от рабства любви. Но исполнение желаний было все еще неразрешенным вопросом, и факты передачи мыслей оставались лишь случайными фактами.

Гипнотизер, демонстрировавший свое искусство перед Грехэмом, закончил представление несколькими поразительными мнемоническими опытами над жалкими бледнолицыми детьми в голубых балахонах.

Грехэм, как и большинство его современников, боялся действия гипноза, иначе он мог бы давно облегчить свою душу от многих тягот. Но он держался того устарелого мнения, что, подвергаясь гипнозу, человек до известной степени теряет индивидуальность, отказывается от своей воли. Поэтому теперь, как ни убеждал его Линкольн, он решительно не пожелал отдать себя в руки гипнотизера. На этом блестящем пиршестве последних приобретений науки он хотел оставаться самим собой.

Так прошел день, еще день и еще. Наглядное ознакомление со всевозможными машинами чередовалось с уроками воздухоплавания, доставлявшими истинное наслаждение ученику. На третий день Грехэм пролетел над всей Францией и видел вдали снежные вершины Альп. Здоровая усталость после движения на воздухе приносила ему крепкий сон. Он чувствовал себя бодрее и сильнее с каждым днем: от той безвольной анемии, которую он никак не мог стряхнуть с себя в первые дни после своего пробуждения, не оставалось и следов. Те часы, когда он не летал и не спал, заполнялись благодаря усердию Линкольна разнообразными развлечениями. Все, что было нового и любопытного в жизни двадцать второго столетия, проходило перед глазами Грехэма. Можно было бы наполнить целые тома описанием тех диковин, которые ему пришлось теперь увидеть, так что при всем его интересе к новизне он в конце концов почувствовал пресыщение.

Часа полтора ежедневно у него уходило на официальный прием. Его общий расплывчатый интерес к новым современникам, которых ему послала судьба, очень скоро стал

приобретать личный характер: он начал разбираться в людях, у него явились симпатии и антипатии. Вначале все непривычное, каждая странность, которую он подмечал, поражала его: вычурность костюмов, какая-нибудь особенность в манерах и обращении, расходившаяся с его понятиями о приличиях, неприятно резала ему глаза и поднимала в нем враждебное чувство к этим, как он их называл про себя, «чудакам». Но потом это прошло, прошло так бесследно, что ему самому казалось странным, как он мог так чувствовать когда-нибудь. Он совершенно освоился со своим положением, вошел в новую жизнь, и его прошлое, времена королевы Виктории, отошли бог знает куда, в туманную даль.

В течение этих трех дней он несколько раз встречался с хорошенькой рыжеволосой дочкой директора Общеевропейских свиных заводов и только теперь вполне оценил ее общество. На второй день его водили в балет, где он видел современную знаменитость — танцовщицу новой школы — и не мог не признать ее необыкновенной артисткой. В конце третьего дня Линкольн деликатно намекнул Грехэму, не угодно ли ему будет теперь посетить Веселые Города, но тот решительно не пожелал понять намека. Не менее решительно отказался он и от услуг гипнотизеров, которые, как уверял Линкольн, могли посредством внушения сделать вполне безопасными его эксперименты воздухоплавания.

Он все больше кружился над Лондоном в своих воздушных полетах. К Лондону его привязывала нить старых воспоминаний. Узнавать знакомые места было для него неисчерпаемым источником интереса. «Вот здесь, прямо под нами, был ресторан, где я обыкновенно обедал в мои студенческие годы, — говорил он. — А здесь была станция Ватерлооской железной дороги. Какая там кипела жизнь! Можно было запутаться во всех этих приходящих и отходящих поездах. Сколько раз я бывало стоял на платформе в ожидании своего поезда с саквояжем в руке и смотрел вперед вдоль полотна на бесконечные ряды сменявшихся сигналов. Не думал я тогда, что буду через много-много лет пролетать над этим местом на моноплане».

В эти три дня внимание Грехэма было до такой степени поглощено всякими новинками во всех областях знания, что он совсем забыл о важных политических событиях, разыгрывавшихся за стенами его палат. Никто из окружающих не говорил о политических делах. Правда, к нему

ежедневно являлся его великий визирь, его мажордом Острог, и в туманных выражениях докладывал ему о дальнейшем ходе укрепления его власти, упоминая при этом о «небольших беспорядках» в таком-то городе или о «недовольстве» в другом; но все это говорилось как-то вскользь и всегда заканчивалось успокоительным заверением, что «все будет скоро улажено, и тогда...». Ни разу за все это время не долетал до слуха Грехэма и торжественный напев революционного гимна: он не знал, что пение этого гимна было запрещено в черте города. И мало-помалу в душе его засыпали благородные чувства, так волновавшие его в ту минуту, когда он смотрел на город с вышки «вороньего гнезда».

Но уже к концу второго дня, несмотря на весь его интерес к рыжеволосой красавице, а может быть, даже именно благодаря частым разговорам с нею и той ассоциации, которую они вызывали, его начало тревожить воспоминание об Элен Уоттон и об ее таинственных словах во время их последнего свидания. Образ этой девушки глубоко запечатлелся в его душе. Беспрерывная смена впечатлений за последние дни заставила померкнуть этот образ на время, но теперь он снова ожил и манил его к себе. Что значили ее отрывочные странные намеки? Что она хотела сказать?.. По мере того как ему приедались эти «последние слова» техники и всякие новинки, которыми его угощали, ему все чаще вспоминались ее строгие глаза и глубокое волнение, так ясно читавшееся на ее благородном лице.

Глава XVIII

ГРЕХЭМ ВСПОМИНАЕТ

Они встретились в галерее, соединявшей его парадные покои с помещением Управления. Галерея была узкая и длинная, с рядами сводчатых ниш по бокам. В каждой нише было большое окно, выходившее в роскошный сад.

Он наткнулся на нее неожиданно: она сидела в одной из ниш. Она повернула голову на шум шагов и вздрогнула, увидев его. Румянец сбежал с ее лица. Она быстро встала, шагнула ему навстречу и остановилась в нерешительности. Он подошел и тоже остановился, выжидая, что она скажет. Он понял, что она его ждала, искала встречи с ним, иначе

зачем бы она очутилась в этой галерее? Она хотела заговорить и не могла: волнение душило ее.

— Я хотел вас видеть! — сказал он. — Все это время я думал о вас и хотел вас видеть. Несколько дней тому назад вы начали говорить... вы мне хотели что-то сказать... что-то такое о народе... Что вы хотели сказать?

Она взглянула на него: в ее глазах была тревога.

— Вы говорили тогда, что народ очень несчастлив...

С секунду она продолжала молчать, потом сказала резко:

— Я вас, должно быть, удивила тогда.

— Удивили. Но вы...

— Я сказала сущую правду. — Она опять подняла на него глаза, не решаясь продолжать. Наконец глубоко перевела дух и заговорила с усилием: — Вы... забываете народ.

— То есть как?

— Вы забываете народ, — повторила она.

Он смотрел на нее вопросительно, не понимая.

— Я знаю, вы удивлены. И немудрено: вы не понимаете, что вы значите для народа. Вы не знаете, что творится кругом. Вам многое непонятно.

— Вы, пожалуй, правы. Но если так, объясните...

Она повернулась к нему с внезапной решимостью.

— Это очень трудно объяснить. Я думала... я давно хотела с вами поговорить. А теперь не знаю как. Нет слов... То, что с вами случилось, так необыкновенно... Ваш сон, ваше пробуждение — чудо. Для меня по крайней мере и для всего народа. Вы жили, страдали и умерли простым гражданином, а проснулись властелином земли.

— Властелином земли, — повторил он задумчиво. — Да, так мне говорят. Но вы постарайтесь ясно представить себе, как я был далек от этой мысли и как мне теперь трудно понять... Эта чуждая, новая жизнь... царство городов, крупных предприятий... все эти тресты, рабочие союзы... Потом эта власть и почет... Да, власть. Я слышал, как они кричали мне вслед. Я властелин — я знаю. Если хотите — царь с великим визирем Острогом, который...

Он не договорил.

Ее глаза с пристальным вниманием остановились на его лице.

— Что же дальше? — спросила она.

Он улыбнулся.

— ... который готов принять на себя всю ответственность.

— Вот именно этого мы и боялись, — сказала она

и после минутного молчания продолжала спокойно и твердо: — Нет. За все отвечаете вы, а не он. Вы должны принять на себя всю ответственность. На вас все упования народа. Послушайте, — заговорила она мягче, — в течение по крайней мере половины тех лет, которые вы проспали, миллионы народа из поколения в поколение молились о том, чтобы вы проснулись. Молились!

Он сделал движение, хотел что-то сказать и не мог.

Она тоже молчала, собираясь с силами, чтобы продолжать. Слабый румянец выступил у нее на щеках.

— Знаете ли вы, что для этих миллионов людей вы были королем Артуром *, Барбароссой *... Они верили, что этот король пробудится от сна, когда пробьет его час, и восстановит их права.

— Но ведь народная фантазия всегда...

— Слыхали вы нашу поговорку: «Когда проснется Спящий»? Все эти годы, пока вы лежали недвижимым, бесчувственным трупом, на вас приходили смотреть тысячи тысяч. Публика допускалась к вам каждое первое число. Вы лежали, прибранный, в белой одежде, и мимо вашего ложа тянулись вереницы народа в почтительной тишине. Я была еще маленькой девочкой, когда меня привели к вам в первый раз. Помню, с каким благоговейным страхом я смотрела на ваше бледное, спокойное лицо.

Она отвернулась и, не глядя на него, упавшим голосом продолжала:

— Я смотрела тогда на ваше лицо, и мне казалось, что вы только ждете... что вы не просыпаетесь и молчите только потому, что еще не исполнилась мера вашего долготерпения. — Она опять повернулась к нему. — Вот что я... что все мы о вас думали. Вот каким вы нам представлялись. — Глаза ее блестели, голос звенел. — И в этом городе и повсюду по всей земле мириады мириад мужчин и женщин ловят каждое ваше слово, каждое ваше движение. Все ждут от вас чуда — всего! И если...

— Если?

— Если ожидания их будут обмануты, ответственность ляжет не на Острога, а на вас.

Он с удивлением глядел на ее сияющее, вдохновенное лицо. Как трудно было ей заговорить и как свободно лилась, каким горячим чувством звучала теперь ее речь!

— Неужели вы думаете, — говорила она, — что вы, маленький человек, проживший свою маленькую жизнь в далеком прошлом, стоите чего-нибудь сами по себе?

Неужели все это чудо — чудо вашего векового сна и вашего пробуждения — совершилось только затем, чтобы вы могли прожить вторую никому не нужную жизнь? На вас сосредоточилась вся любовь, все благоговение, все надежды половины мира. И неужели после этого вы считаете себя вправе свалить ответственность на другого?

— Я знаю... — начал он запинаясь, — все говорят, что власть моя велика, по крайней мере в глазах народа. Но насколько она реальна, действительна — вот вопрос. Я не могу в нее поверить. Это какая-то сказка, сон... Может быть, моя власть — просто мыльный пузырь, который лопнет от первого толчка.

— Испытайте!

— Впрочем, в сущности, ведь и всякая власть есть лишь иллюзия в умах людей, которые в нее верят. В этой-то вере вся моя власть. Но крепка ли моя власть?

— Испытайте! — повторила она. — Вы говорите — власть в вере людей. Но ведь этих людей миллионы, и пока они верят, они будут повиноваться.

— Но поймите же: я ничего не знаю. Я как впотьмах... Совсем другое Острог, члены Совета. Они в курсе дела. Весь ход событий, все условия современной жизни известны им до последних мелочей. Им легко прийти к тому или другому решению. Вот вы сказали, что народ несчастлив. А в чем его несчастье, как мне знать? Научите меня ради бога...

Он растерянно протянул к ней руки.

— Я только слабая женщина, и не мне вас учить, — проговорила она. — Но я скажу вам, что я думаю. О, сколько раз я горячо молилась дожить до этого часа, увидеть вас и все вам рассказать... Так знайте же, земля залита морем человеческих слез. Мир полон горя. Мир страшно изменился. От тех времен, когда жили вы и ваши современники, ничего не осталось. Точно какая-то неизлечимая смертельная язва поразила человечество и высосала из него жизнь.

Она подняла на него свои строгие глаза, горевшие мучительным волнением, и заговорила с новой энергией:

— Ваши дни были днями свободы. Да. Я всегда так думала, думала с завистью, потому что не знала счастья в моей жизни. За эти два столетия люди потеряли свободу и не сделались ни выше, ни лучше, чем были в ваше время. Знайте: этот город — тюрьма. Теперь каждый город — тюрьма, и ключи от всех этих тюрем у Маммоны *. Несчетные мириады людей трудятся как каторжные

от колыбели до могилы, без всякого просвета впереди. Неужели это справедливо? И неужели так будет всегда? О да, у нас гораздо, несравненно хуже, чем было у вас. Кругом, куда ни взгляни, ничего, кроме нужды и горя. Те блага житейские, те суетные удовольствия, которые вас окружают, соседствуют с такой нищетой, таким страданием, что их не перескажешь словами. Только беднякам известно, как они страдают. И тысячи таких бедняков приняли за вас смерть в последние дни. Да, вы обязаны им жизнью.

— Я обязан им жизнью, я знаю, — печально повторил Грехэм.

— В ваше время тирания городов только еще зарождалась, — продолжала она. — А эта самая ужасная тирания. В ваше время господство лордов, феодалов, уже отошло в прошлое, а господство новой денежной аристократии еще не утвердилось. Половина человечества жила по деревням, среди природы. Города еще не поглотили людей. Помню, мне в детстве рассказывали повести из книг того времени... О, тогда была настоящая аристократия, истинное благородство! Да и простые смертные жили полной человеческой жизнью. Они знали, что такое честь, что такое любовь. И вы это знаете: вы пришли из того мира.

— Простите, вы немножко идеализируете... Но все равно. Допустим, что в мое время человечество знало много хороших вещей. Ну а теперь?

— Теперь оно знает наживу и Веселые Города, да еще рабство — вечное, позорное рабство.

— Рабство...

— Да, рабство.

— Неужели вы хотите сказать, что в ваше время люди владеют людьми, как скотом или недвижимой собственностью?

— Хуже. Вы ничего не знаете. От вас скрывают. Вас развлекают, чтобы отвлечь ваше внимание... Скоро вас повезут в Веселые Города. Но надо, чтобы вы узнали правду. Видели вы на улицах людей в голубом — мужчин, детей и женщин с испитыми, желтыми-желтыми лицами, с потускневшими глазами?

— Еще бы! Их целые тысячи. На них натыкаешься на каждом шагу.

— Все они говорят на отвратительном жаргоне, очень слабо напоминающем английский язык.

— Да, я заметил.

— Это невольники — ваши невольники. Рабы Рабочего общества, которого вы хозяин.

— Рабочего общества?.. Позвольте, я, кажется, припоминаю... Когда я блуждал по городу после своего побега, я видел несколько домов... Огромные дома казарменной постройки, все на один образец, выкрашены голубой краской. Так это...

— Ну да, это дома Рабочего общества. Как бы вам объяснить?.. Вас, конечно, поразило это преобладание голубого цвета, это однообразие костюмов... точно казенный мундир... Так вот почти треть населения нашего города носит этот мундир. А скоро будет носить половина. Рабочее общество разрослось незаметно.

— Но что же это за общество? Объясните.

— Скажите, как поступали в ваше время с людьми, которым грозила голодная смерть?

— У нас были работные дома, содержавшиеся на счет городских приходов.

— Ах, да, работные дома. Я помню, о них говорится в истории. Так вот Рабочее общество поглотило, вытеснило работные дома. Оно выросло из этой, как она называлась?.. — вы, наверно, помните — из Армии Спасения *. Но с течением времени из религиозной организации она превратилась в коммерческое предприятие. Благотворительность — такова была первоначальная идея этого учреждения. Оно задавалось целью доставлять заработок голодному, бездомному люду, спасало его от работных домов. Но потом Совет ваших опекунов прибрал Рабочее общество к своим рукам — к слову сказать, это было одно из первых приобретений Совета... Совет купил вашу Армию Спасения, и с тех пор характер учреждения совершенно изменился. Оно разбогатело и невероятно разрослось. Теперь нет ни работных домов, ни приютов, ни богаделен. Есть только Рабочее общество. Его отделения разбросаны по всему миру. Повсюду вы увидите проклятый голубой мундир. Всякий рабочий — будь то мужчина, женщина или ребенок, — если он заболел или лишился заработка, в конце концов непременно попадет в лапы Рабочего общества. Всем бесприютным и голодным только две дороги: или в голубую казарму или в омут головой. Веселые Города, где так хорошо и незаметно помогают отправиться на тот свет, этим людям не по карману: легкой смерти не бывает для бедняков. А в казармах

Рабочего общества в любой час дня и ночи они находят кров и пищу, но под непременным условием — облечься в голубой мундир. С каждого приходящего за каждый день приюта берут день работы, а затем возвращают ему его платье и отпускают на все четыре стороны.

— Он, стало быть, свободен?

— Вам кажется, что это совсем не так ужасно? В ваше время люди умирали с голоду на улицах. Казалось, чего уж хуже. Но они умирали людьми. А эти, в голубой холстине... У нас есть пословица: «Голубую блузу только надень — в ней ляжешь и в могилу». Рабочее общество живет трудом бедняков и уж, конечно, принимает меры, чтобы закрепить за собой этот труд. Является голодный, беспомощный человек, его кормят, дают ему выспаться, а там — изволь работать. Если он хорошо поработал, ему в поощрение дают два-три пенса на дешевое место в театре, в кинематографе, в танцевальном зале, на общественном обеде или на гонках. А на другой день что ему делать? Куда идти? Просить милостыню запрещено: городская полиция строго преследует нищих. Да никто и не подаст милостыни. И возвращается человек день за днем все в ту же голубую казарму. Собственное его платье наконец изнашивается, превращается в такие лохмотья, что стыдно показаться на улице. Надо проработать несколько месяцев, чтобы скопить на новое. Да и зачем ему свое платье? Ведь он уже казенный человек. Огромное большинство детей рабочих классов родится в родильных приютах Рабочего общества.

За каждого такого ребенка мать обязана проработать месяц на Общество. Ребенка кормят, одевают и учат до четырнадцати лет, и за это он расплачивается двухлетней работой. И такой ребенок уж никогда не снимет голубой блузы — будьте уверены... Вот как Рабочее общество обделывает свои дела.

— У вас, стало быть, нет ни нищих, ни бродяг?

— Нет. Все кандидаты в бродяги работают на Общество или сидят в тюрьме.

— А если такой кандидат не хочет работать?

— Заставят. От голубой казармы ему не уйти. А у них там умеют справляться с непокорными. У них есть целая градация взысканий за леность: лишение обеда и мало ли что еще... Нет, у нас не допускаются бродяги. Уехать же из города бедный человек не имеет возможности. Проезд до Парижа стоит два льва. Бедняки должны

сидеть на месте, работать и не протестовать. А для непокорных у нас есть тюрьмы — темные, отвратительные. За малейший проступок — тюрьма.

— Вы говорите, почти треть населения ходит в голубой холстине?

— Теперь уже более трети. Страшно подумать: чуть ли не половина народа живет жизнью рабочего скота. Ни радости, ни надежды, никаких человеческих чувств. Единственное развлечение: слушать рассказы про Веселые Города, существующие словно в насмешку над позорной жизнью бедняка, его нищетой и страданиями. По всему миру разбросаны эти миллионы искалеченных, безгласных людей, не знающих ничего, кроме вечных лишений и неудовлетворенных желаний. Они родятся, живут как скот и умирают. Вот до какого состояния мы дошли!

Грехэм молчал, совершенно подавленный.

— Но ведь теперь все это изменилось, — проговорил он наконец. — Недаром же была революция. Острог...

— Да, на революцию была вся надежда. Весь мир ее ждал. Но только не Острог даст народу то, что ему нужно. Острог — политик. Он не верит в лучшее будущее, да и не желает его. Страдания народа, по его мнению, неизбежное зло. Впрочем, таково мнение всех сильных мира, всех богатых и счастливых людей. Народ им нужен для достижения их политических целей: ведь унижением народа они только и живут... Но вы пришли из другой, более светлой эпохи. Все свои упования народ возлагает на вас.

Он не отрываясь глядел на нее. В ее глазах блестели слезы. Горячая волна прихлынула ему к сердцу. В этот миг он забыл и народ, за который она так горячо ратовала, и голос совести, заговоривший в нем, — забыл все на свете под непосредственным впечатлением ее одухотворенной красоты.

— Но что же мне делать? Говорите! — вымолвил он, не сводя с нее глаз.

Она наклонилась к нему и ответила почти шепотом:

— Править. Править миром, как никто еще не правил до сих пор, — на благо и счастье людей. Вы это сможете, если захотите. Народ зашевелился везде, во всех концах мира. Даже средние классы недовольны существующим порядком вещей. Довольно одного слова, чтобы все восстали, как один человек. Скажите это слово. Вы не знаете, что творится кругом. Вам не говорят. Народ не хочет больше возвращаться к своему рабскому труду. Народ отказывается сложить оружие... Не думал Острог,

что, разбудив в нем надежды, он разбудит спящего льва.

У Грехэма сердце так билось, что он не мог говорить. Он старался справиться со своим волнением и вдуматься в ее слова.

— Народ ждет только вождя, — продолжала она. — Будьте же этим вождем: вы — властелин мира.

Он наконец отвел глаза от ее лица и сел. Наступило молчание.

— Старые мечты... старые грезы: свобода, всеобщее счастье! — заговорил он тихо. — Я сам когда-то об этом мечтал. Но может ли один человек... один?

Голос его пресекся, он замолчал.

— Нет, не один, а все, все человечество, все люди! Им нужен только вождь, человек, который смело высказал бы то, по чему они томятся, чего они хотят.

Он грустно покачал головой. С минуту оба молчали. Вдруг он поднял голову. Глаза их встретились.

— У меня нет вашей веры, нет вашей молодости, — сказал он. — И я далеко не всесилен. Моя власть — только призрак власти... Постойте, дайте договорить... Я искренне хочу — не скажу: дать человечеству счастье, это не в моих силах, — а облегчить ему жизнь. Не от меня зависит, чтобы на земле наступил золотой век. Но вы правы: я должен действовать. И я буду действовать — это я твердо решил. Вы меня разбудили. Я укрощу Острога: он узнает свое место. Рабство рабочих прекратится — это я, во всяком случае, вам обещаю.

— Так вы будете править? Да?

— Да, но с условием...

— С каким?

— Вы будете мне помогать.

— Я?! Но что же я могу?

— Неужели вы не понимаете, что и я один не могу? Ведь я совсем, совсем один...

Она подняла на него глаза, и взгляд ее смягчился.

— Нужно ли говорить, что я готова прийти вам на помощь? — сказала она.

— Я так беспомощен...

— Отец и хозяин, — сказала она. — Мир — ваш.

Они молчали. Вдруг ударил колокол, отбивающий часы.

— Хорошо, я буду править, — проговорил он медленно и, помолчав, докончил: — С вами.

Опять наступила длинная пауза. Часы пробили час. Она продолжала молчать. Грехэм встал.

— Острог меня ждет. — Он смотрел на нее, собираясь еще что-то сказать. — Когда я стал было расспрашивать его, он... Но все равно, я и сам все узнаю. Все то, о чем вы мне говорили, я хочу видеть своими глазами. Я обойду город и посмотрю. А когда я вернусь...

— Я буду знать о вашем возвращении и буду ждать вас здесь.

Он постоял еще немного, ожидая, не прибавит ли она чего-нибудь, но она молчала. Они еще раз посмотрели друг другу в глаза испытующим взглядом: потом он повернулся и пошел в приемные комнаты Управления.

Глава XIX

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ОСТРОГА

Острог уже ждал Грехэма, чтобы отдать ему обычный отчет о событиях дня. Насколько прежде Грехэм всегда спешил отбыть эту церемонию, чтобы поскорее отдаться своему любимому занятию — урокам воздухоплавания, настолько же теперь он затягивал ее, поминутно прерывая докладчика короткими, быстрыми вопросами. Ему не терпелось взять бразды правления в свои руки и показать свою власть. Известия Острога о положении дел за границей были самые утешительные. В Париже и Берлине, правда, произошли небольшие волнения, но то был лишь «слабый, неорганизованный протест», и в обоих городах порядок скоро был восстановлен.

— Дело в том, — прибавил Острог, понукаемый настойчивыми расспросами Грехэма, — что за последние годы Коммуна снова подняла голову. В этом-то, собственно говоря, и коренится главная причина теперешней борьбы.

Тогда Грехэм, становившийся с виду тем спокойнее, чем больше он волновался, спросил, не было ли в городе вооруженных столкновений.

— Было одно небольшое... в одном только квартале. Но, к счастью, на место вовремя подоспели аэропланы с Сенегальской дивизией нашей африканской сельской полиции. Полиция Соединенного Африканского общества прекрасно обучена... Мы ожидали беспорядков в континентальных городах и в Америке. Но в Америке все спокойно. Все очень довольны низвержением Совета, по крайней мере пока.

— А почему вы ожидали беспорядков? — резко спросил Грехэм.

— В низах идет брожение. Народ недоволен существующим строем.

— Рабочим обществом, может быть?

— Вы быстро учитесь, я вижу, — вырвалось у Острога. Но он сейчас же спохватился и ответил спокойно: — Да, недовольны они главным образом Рабочим обществом. Это недовольство и было первой причиной, вызвавшей революцию. А ваше пробуждение послужило для нее ближайшим толчком.

— А затем?

Острог улыбнулся.

— Ну-с, все это было нам как нельзя более на руку. — Он становился совсем откровенным. — Мы постарались расшевелить это недовольство. Мы воскресили старые идеалы всеобщего счастья, покоившиеся мирным сном в течение двух столетий. Старые, отжившие идеи: все равны... все благоденствуют... каждый имеет свою долю на жизненном пиру и так далее, и так далее. Вам это, конечно, знакомо. Несбыточные глупые бредни! Но нам они пригодились: без них мы бы не могли низвергнуть Совет. А теперь...

— Теперь?

— Теперь революция завершилась. Совет пал, но народ продолжает волноваться. Видно, мало усмиряли... Правда, мы сами раззадорили его обещаниями. Удивительно, с какой силой и быстротой оживает и разрастается этот расплывчатый гуманизм вашей допотопной эпохи. Даже мы были поражены успехами революции — мы, сами посеявшие ее семя... Пришлось прибегнуть к силе. В Париже, как я вам уже говорил, мы были вынуждены вызвать подкрепление из-за границы.

— А здесь?

— И здесь не все идет гладко. Десятки тысяч рабочих не хотят возвращаться к работе: объявили всеобщую забастовку. Половина фабрик пустует. Народ толпится на улицах. Толкуют про Коммуну. Человек в приличном костюме не может показаться на улице, чтобы не подвергнуться оскорблениям. Голубые ждут от вас великих и богатых милостей. Но вам нечего беспокоиться. Мы приняли меры. Говорильные машины расставлены во всех частях города и красноречиво призывают к порядку. Стоит только не выпускать из рук узды, и мы их усмирим. Мы действуем смело.

Грехэм ответил не сразу. Он обдумывал свои возраже-

ния, не желая быть слишком резким.

— Я знаю, — проговорил он наконец очень сдержанно, — вы даже негров из Африки вызываете для усмирений.

— Негры — полезный народ, — заметил спокойно Острог. — Хорошая рабочая сила. Здоровые, послушные животные, не зараженные вредными идеями, как наша здешняя сволочь. Если б Совет в свое время организовал из негров городскую полицию, дела могли бы принять другой оборот... Но вам-то, повторяю, нечего бояться, здесь ничего не может произойти, кроме отдельных маленьких вспышек. И, наконец, в крайнем случае у вас есть собственные крылья, и в случае нужды вы улетите на Капри: вы ведь теперь умеете летать... Все главные ресурсы современной техники в нашем распоряжении. Наши инженеры ветряных двигателей получают такое огромное жалованье, что уж, конечно, останутся нам верны. То же самое и аэронавты. Все летательные аппараты, таким образом, в наших руках, и мы полные господа воздушной стихии. А в наше время быть господином воздуха — значит быть господином земли. Против нас не может организоваться никакая сколько-нибудь крупная сила. У них нет даже вождей, если не считать вожаков нескольких отделов тайного сообщества, которое мы же и учредили незадолго до вашего пробуждения. Все это мелкие честолюбцы или сентиментальные дураки. Все завидуют друг другу и грызутся между собой. Ни один не может стать центральной фигурой. Стихийное движение, народный мятеж — вот единственное, чего еще мы можем опасаться. Это возможно, не скрою. Но это не помешает вашим воздушным полетам. Те времена, когда народные массы могли делать перевороты, давно миновали.

— Кажется, что так, — задумчиво проговорил Грехэм. — Вообще ваш век, должен сознаться, поражает меня неожиданностями. Мы в наше время, помню, бредили демократическим строем, мечтали о наступлении блаженной поры, когда все люди будут как братья и не будет обездоленных на земле.

Острог бросил на него острый взгляд.

— Дни демократизма прошли, — сказал он. — Прошли и не вернутся. Они кончились с той минуты, когда народные массы перестали одерживать победы, когда на смену лучникам Кресси * и марширующей пехоте пришли дорогостоящие пушки, броненосцы и стратегические железные дороги. Мы живем в эпоху торжества капитала. Влады-

чество денег никогда еще не было так велико. Деньги подчинили себе землю, море и небо. И за теми, кто владеет этой новой силой, вся власть. Таковы факты, а с фактами приходится считаться... Мир для толпы?! Толпа — властелин мира?.. Помилуйте! Да даже в ваше время это положение было отвергнуто как нелепость. Теперь же оно имеет лишь одного сторонника — бессильного, ничтожного — человека толпы.

Грехэм молчал, подавленный мрачными думами.

— Но царство толпы миновало, — продолжал Острог. — Люди толпы еще могли развернуться в деревне, на просторе полей. Тогда народилась первая аристократия — аристократия захвата власти. То были смельчаки, проявлявшие свое удальство набегами, поединками, грабежами. Но их строго усмирили. Первая долговечная аристократия, закованная в железные доспехи, возникла вместе с укрепленными замками. Но и она не устояла перед пушкой и ружьем. Ныне наступило царство второй аристократии — настоящей. Дни огнестрельного оружия были сравнительно еще днями демократизма. Теперь же человек толпы — ничтожество, ноль. Наш век — век колоссальных предприятий, гигантских машин, чудовищных городов. Где же рядовому человеку разобраться в этом сложном механизме общественных отношений?

— Однако же вы сами говорите, что у вас не все идет гладко, — заметил Грехэм. — Есть какая-то сила, которую вам приходится сдерживать, подавлять.

— О, на этот счет можете быть спокойны, — ответил с принужденной улыбкой Острог, отмахнувшись от всех затруднений величественным жестом руки. — Поверьте, не затем я поднял эту силу, чтобы она обрушилась на меня.

Грехэм вдруг выпрямился и заговорил другим голосом:

— Не в этом вопрос.

Острог насторожился.

— Неужели так будет всегда? — продолжал Грехэм уже с нескрываемым волнением. — Неужели так должно быть? Неужели напрасны были все наши надежды?

— Что вы хотите сказать? Какие надежды? — спросил растерянно Острог.

— Я жил в демократический век. Спустя двести лет я попадаю в другую, новую эпоху, и что же я застаю? Аристократическую тиранию!

— Да. Но вы забываете, что вы сами — главный тиран.

Грехэм сдвинул брови.

— Но хорошо, оставим в стороне личности, — сказал Острог. — В том, что вы видите кругом, нет ничего ненормального. Господство аристократии, то есть избранных, лучших, страдания и вымирание неприспособленных — таков естественный ход прогресса.

— Вы говорите — аристократия. Да неужели же все эти господа, с которыми я теперь встречаюсь...

— О нет, не эти! — перебил Острог. — Это конченые люди. Легкая жизнь и разврат очень скоро сведут их в могилу. Все они умрут, не оставив потомства. Такие типы заранее обречены на вымирание; конечно, если человечество пойдет тем путем, каким оно шло до сих пор, и не свернет на другую дорогу. Широкий простор для всевозможных эксцессов, облегчение перехода к небытию для прожигателей жизни!

— Все это прекрасно, — сказал Грехэм. — Но, кроме прожигателей жизни, есть еще толпа — миллионы трудящегося бедного люда. А этим что же остается? Тоже вымирать?.. Нет, эти не вымрут, они будут жить. Но они страдают, и страдания их — такая сила, которую даже вы...

Острог нетерпеливо дернул плечом, и, когда он снова заговорил, голос его звучал уже далеко не так елейно:

— Напрасно вы волнуетесь. Дня через три-четыре все будет улажено. Толпа — большое глупое животное, и не нам бояться ее. Толпа не вымрет, вы правы, но толпу укрощают и ведут за собой. Я ненавижу рабов. Вы, верно, слышали два дня тому назад, как орала и пела на улицах эта сволочь. Это они с чужого голоса пели. Если б вы попросили любого из них объяснить, ради чего он так надсаживается, он не сумел бы ответить. Они воображают, что старались для вас, хотели доказать вам свою верность и преданность. Еще вчера они готовы были своими руками передушить всех членов Совета, а сегодня уже ропщут на нас за то, что мы низвергли Совет.

— Неправда! — перебил Грехэм. — Они ропщут потому, что у них не осталось больше терпения, потому что их жизнь — сплошная мука. Они взывают ко мне, потому что верят в меня и надеются...

— На что надеются? И на каком основании? Какие их права? Получать щедрую плату за никуда не годную работу — вот чего они требуют, чего хотят... На что они могут надеяться? На что и вообще-то может надеяться человечество? Что придет день, когда на земле воцарится сверхчеловек, когда все низшее, слабое, скотское будет

или вычеркнуто из жизни, или покорено. Убогим, слабоумным выродкам нет места в этом мире. Их прямой долг, святая обязанность — умереть. Смерть неудачникам! Лишь этим путем вымирания слабых могла инфузория дорасти до человека, и этот же путь, надо надеяться, поможет человеку дорасти до существа высшего порядка.

Острог прошелся по комнате, что-то обдумывая, потом снова повернулся к Грехэму:

— Я представляю себе, какой должна казаться наша сложная жизнь англичанину времен Виктории. Вам жаль старых обычаев. Выборное начало... Даже и нас, людей двадцать второго столетия, еще тревожат призраки этих отживших учреждений. Вас возмущают наши Веселые Города. Мне следовало раньше об этом подумать, но я был так занят, что упустил из виду... Но все равно: вы скоро сами поймете и взглянете на дело иначе. Наша чернь готова, пожалуй, сочувствовать нашим теперешним взглядам — из зависти. Ей недоступны дорогие развлечения, и вот она кричит на улицах: «Долой Веселые Города!» Но Веселые Города необходимы. Это наши клоаки, через которые государство извергает свои нечистоты. Из года в год они своими приманками стягивают к себе все слабое, безвольное и порочное, все, что только есть ленивого и непригодного к жизни в стране, и незаметно, шаг за шагом, приводят все эти отбросы человечества к беспечальной смерти. Люди едут туда, живут, веселятся и умирают бездетными, ибо у женщин легкого поведения не бывает детей, а человечество остается только в выигрыше. Если б народ не был так глуп, он бы не завидовал богачам. Вы говорите, мы поработили народ, вы хотели бы улучшить его положение, облегчить ему жизнь. Но ведь трудящиеся классы — это рабочий скот, и если они опустились так низко, значит на лучшее они не способны. — Он улыбнулся так цинично, что Грехэму захотелось ударить его. — Вы скоро сами в этом убедитесь, вот увидите. Мне хорошо знакомы все эти высокопарные, великодушные идеи: в ранней юности я читал вашего Шелли и тоже бредил свободой. Теперь-то я знаю, что все это химеры. Только ум, знания и сильная воля делают человека свободным. Свобода внутри нас. Если бы этому стаду безмозглых баранов в синей холстине сегодня удалось освободиться от нашего ига, поверьте, оно завтра же нашло бы новых господ. Пока на свете есть овцы, будут и хищные звери. Пришествие аристократии — фатальная необходимость: весь вопрос лишь во времени. И сколько

там ни протестуй глупое человечество, в конце концов мы придем к сверхчеловеку. Пусть чернь бунтует, пусть даже останется победительницей и перебьет всех нас, своих господ. На наше место явятся другие. Конец будет все тот же.

— Я все-таки не понимаю...

Грехэм не докончил. С минуту он сидел потупившись, не глядя на Острога, потом вдруг поднял голову и заговорил мягко, но решительно:

— Вот что: я сам посмотрю. Я ни на чем не могу остановиться, пока не увижу своими глазами. Я хочу знать, что делается на свете. И я должен предупредить вас, Острог: я не намерен быть веселым царем ваших Веселых Городов. Это меня совсем не прельщает. Я не желаю больше развлекаться. И так уже слишком много времени потрачено на аэронавтику и на прочие затеи. Теперь я хочу видеть, как живет мой народ, как сложилась будничная, серая жизнь простолюдина: как он работает, женится, растит детей и умирает.

Острог всполошился.

— Все это вы можете узнать из наших реалистических романов, — заметил он осторожно, стараясь скрыть свое беспокойство.

— Мне нужен не реализм, а действительность, — сказал Грехэм.

— Вот видите ли... — Острог замялся. — Есть некоторые затруднения... Но, впрочем, если вы непременно хотите...

— Непременно хочу.

— Хорошо, дайте подумать... Вы желаете, говорите вы, присмотреться к быту простого народа? Для этого вам надо обойти пешком весь город. — Он на секунду задумался и вдруг пришел к решению: — Вам придется переодеться. Народ очень возбужден, и, если ваше появление на улицах будет открыто, может произойти страшнейшая кутерьма. Надо действовать крайне осторожно... А знаете, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю вас: это ваше желание обойти город и самолично удостовериться... это, пожалуй, недурная идея... Немножко трудно будет. Но так или иначе я это устрою. Вы повелитель, и раз вы серьезно решили отправиться в эту экскурсию, никто не может вам помешать. Асано позаботится о вашем костюме, он, разумеется, будет вас сопровождать... Что же, идите, идите, это положительно хорошая мысль.

У Грехэма вдруг мелькнуло одно подозрение.

— А вам не понадобится мое присутствие в эти дни? — неожиданно спросил он.

— О, нет, не думаю. Во всяком случае, на такое короткое время вы можете, мне кажется, доверить мне дела, — проговорил Острог улыбаясь. — Если бы даже мы расходились в мнениях...

Грехэм зорко взглянул на него.

— В ближайшем будущем не ожидается вооруженных столкновений?

— Нет, нет!

— Я хотел только сказать... Я вспомнил о вашей африканской полиции... Об этих неграх. Не думаю, чтобы народ был враждебно настроен против меня... Да, наконец, не в этом дело. Я не хочу, чтобы негры вызывались в Лондон для усмирений. Слышите?! Не хочу! Я ваш повелитель, и такова моя воля. Может быть, это предрассудок архаического человека, но у меня свои понятия о взаимных отношениях европейцев и подчиненных рас.

Острог из-под насупленных бровей внимательно наблюдал за выражением лица своего собеседника.

— Я не собирался вызывать в Лондон негров, — проговорил он нехотя, — но если...

— Вооруженные негры не явятся в Лондон ни в каком случае, — сказал Грехэм. — Что бы ни произошло. Это я твердо решил.

Острог почтительно поклонился, рассудив за благо не отвечать.

Глава XX
НА УЛИЦАХ

В тот же вечер Грехэм, сохраняя полное инкогнито, в народной форме низшего служащего при Управлении ветряных двигателей, сопровождаемый Асано в рабочей синей блузе, осматривал город, по улицам которого несколько дней тому назад он бродил в темноте. Теперь он видел этот город при полном освещении, бодрствующим и кипящим жизнью. Несмотря на бурную волну революции, только что пронесшуюся над страной, несмотря на раздававшийся кругом ропот недовольства — предвестник новой великой борьбы, в которой та первая вспышка была лишь прелюдией, — торговая жизнь текла здесь по-прежнему

широкой, могучей рекой. Грехэм уже знал кое-что о гигантском размахе нового века, но тем не менее подробности поражали его на каждом шагу, ослепляя бесконечной сменой ярких впечатлений, пестрыми волнами красок.

Впервые за все время своей новой жизни он так близко соприкасался с народом. Он понял теперь, что все им виденное раньше, если не считать мимолетных впечатлений от рынков и театров, имело исключительный характер, не выходило из относительно узкой области политики и что все его переживания до сих пор вертелись около вопроса о его собственном положении. Теперь же перед ним был город в самые оживленные часы ночи; он видел народ, уже вернувшийся в значительной мере к своим обычным занятиям, видел повседневную будничную жизнь, нравы и обычаи новой эпохи.

Не успели они выйти на первую улицу, как наткнулись на огромную толпу: все подвижные платформы на противоположной стороне были битком набиты рабочими в голубых ливреях. Грехэм сейчас же заметил, что эта толпа составляла часть процессии. Странно было видеть процессию, совершающую свое шествие сидя. Многие держали знамена из толстой красной материи с грубо наляпанными на них воззваниями в таком духе: «Не складывать оружия!», «Зачем нам разоружаться?», «Будьте на страже!» и так далее. Знамя мелькало за знаменем — целый поток красных знамен, и, наконец, раздалась Песня Восстания под громкий аккомпанемент каких-то неизвестных инструментов.

— Это все забастовщики, которым следовало бы быть на работе, — сказал Асано. — Все они уже два дня не ели, кроме, может быть, немногих, которым посчастливилось что-нибудь украсть.

Мало кто спал в городе в эту ночь: все высыпали на улицу. Кругом слышались возбужденные голоса. Народ со всех сторон теснил Грехэма; толпа сменяла толпу. У него мутилось в уме от этого неумолчного гама, от криков и загадочных обрывков фраз. Все это были недвусмысленные признаки разгоревшейся великой борьбы. И повсюду его, Грехэма, популярность подчеркивалась черными знаменами и черными драпировками, украшавшими стены домов. Он то и дело ловил слова на грубом уличном жаргоне, каким говорили необразованные классы, еще не доросшие до науки учителей-фонографов. И всюду в воздухе носился все тот же клич: «Не разоружайтесь!» — тревожный клич, требовавший, очевидно, безотлагательных мер, о чем он

не слышал ни намека за все время, что просидел в Управлении ветряных двигателей. И он дал себе слово, как только вернется, переговорить с Острогом в более решительном тоне, чем он говорил до сих пор: и об этом странном призыве не разоружаться, и о том, что выражает этот призыв.

Дух тревоги и возмущенного протеста, царивший в городе в ту ночь, до такой степени поглощал его внимание с самого начала их скитаний, что он просмотрел много странных вещей, которые иначе непременно бросились бы ему в глаза. Его преследовала неотвязная мысль о значении этой тревоги, благодаря чему впечатления его были бессвязны, отрывочны. И все-таки кругом было столько странного, поражающего, что самое сосредоточенное настроение не могло бы сохраниться во всей своей цельности и не уступить иной раз место впечатлению какой-нибудь яркой картины. Бывали моменты, когда революционное движение совершенно вылетало у него из головы перед какой-нибудь поразительной бытовой сценкой нового века. Сама Элен, заставившая заговорить в нем голос совести, поднявшая в его душе мучительный вопрос о долге, минутами отступала куда-то далеко за пределы его сознания.

Один раз, например, он заметил, что они пересекают церковный квартал (подвижные улицы создавали такую легкость сообщений, что не было больше надобности иметь отдельные молельни в каждой части города), и внимание его было привлечено фасадом здания, принадлежавшего одной из христианских сект. Они ехали с большой скоростью, сидя на одной из верхних быстроходных платформ, и этот фасад вынырнул перед ними на повороте улицы, быстро приближаясь. Весь он сверху донизу был испещрен крупными надписями — белыми буквами по голубому. Но посередине вместо надписей светилась большая кинематографическая картина, изображающая очень реально сцену из Нового завета под черной драпировкой в знак того, что господствующая религия идет рука об руку с политикой момента. Грехэм уже настолько освоился с фонетическим написанием, что без труда разбирал надписи. Они поразили его, как невероятное кощунство: «Спасение души в первом этаже направо», «Копите денежки и не забывайте вашего творца», «Самое скорое в Лондоне обращение грешников — опытные мастера: не зевайте!», «Что сказал бы Спящему Христос?», «Идите по стопам святых вашего века», «Будь христианином, но не в ущерб твоим коммерческим делам», «На кафедре

сегодня все знаменитые епископы. Цены обыкновенные», «Молитвы на скорую руку для деловых людей».

Таковы были самые безобидные начертания.

— Возмутительно! — вырвалось у Грехэма, когда это оглушительное меркантильное благочестие развернулось перед ними во всей красе.

— Что такое? — спросил его маленький адъютант, пробегая глазами надпись за надписью и, видимо, не понимая, что могло так его поразить.

— Все! Где ж тут вера? Где душа, сущность религии?

Асано удивленно взглянул на него.

— Ах, это! Вас это шокирует? — протянул он тоном человека, сделавшего открытие. — Впрочем, оно и понятно. Я забыл. В наше время конкуренция так обострилась, что ничего не поделаешь без рекламы. А с другой стороны, люди так заняты, что не могут уделить времени заботам о душе. Не то что в старину. — Он улыбнулся. — У вас, в ваши дни, была идиллия — деревенский простор, тихие субботние вечера, посвящавшиеся молитве. Впрочем, я где-то читал, что начиная с вечера воскресенья и у вас уже...

— Нет, но это! — повторил Грехэм, оглядываясь назад, на отступающую вдаль голубую с белым пестроту реклам. — И это, наверное, не единственная религиозная община, прибегающая к таким...

— Их у нас сотни, и прибегают они к самым разнообразным приемам для рекламы. Но ведь если секта скромно молчит, она не имеет дохода. Религия, как и все прочее, шагнула вперед вместе с веком. Есть у нас секты для высших классов: те поприличнее. Там вы увидите и дорогие обряды с ладаном, и приличную исповедь, и все такое. Но такие, как эта, гораздо популярнее и богаче. Вот за это самое помещение, что мы сейчас видели, они платят несколько дюжин львов Совету, то есть вам.

Грехэм все еще плохо разбирался в новой монетной системе. Но упоминание о «львах» напомнило ему об этой системе, и в один миг он забыл все эти крикливые новые храмы с их меркантильной паствой, заинтересовавшись новым вопросом. Ответы Асано подтвердили то, о чем он и раньше догадывался: золото и серебро как монетная единица давно вышли из употребления, и золотая чеканная монета, воцарившаяся в мире с легкой руки финикийских купцов, была развенчана. Перемена эта совершилась постепенно, но быстро благодаря скорому распространению системы чеков, которая уже и в его времена на практике

почти совершенно вытеснила золото во всех крупных торговых сделках. Теперь же вся городская, да и вся мировая торговля производилась при помощи маленьких чеков Совета на предъявителя — коричневых, зеленых и розовых в зависимости от суммы платежа. У Асано было с собой несколько штук таких чеков, которыми он и расплачивался, когда приходилось платить. Напечатаны они были не на бумаге, а на полупрозрачной шелковистой ткани, очень прочной на вид, и на всех стояло факсимиле подписи Грехэма. Таким образом, в первый раз после двухсот с лишним лет он снова увидел знакомые изгибы и завитушки своего автографа.

Затем начались новые впечатления, но ни одно из них не было особенно ярко, так что мысли его постоянно возвращались к вопросу о разоружении. Больше всего другого поразила его вывеска одного теософского храма, сулившая «Чудеса». «Чудеса» эти были выведены огромными огненными буквами, которые то вспыхивали, то гасли.

На Нортумберлендском проспекте перед ними открылось здание общественной столовой. Это заинтересовало его. Благодаря энергии Асано он скоро получил возможность хорошо осмотреть внутренность этой столовой с крытой галерейкой, предназначавшейся для прислуги. В обширный обеденный зал, над которым тянулась галерейка, доносился какой-то странный заглушенный рев, минутами переходивший в резкий визг. Грехэм не понимал значения этих звуков, но они напоминали ему тот таинственный сдавленный голос говорильной машины, который он услышал в ночь своих одиноких скитаний по городу в тот момент, когда снова зажглись осветительные шары.

Он уже привык к чудовищным размерам зданий и к многолюдству, и тем не менее эта картина огромного зала, наполненного жующими людьми, поразила его. И лишь после того, как он хорошо присмотрелся к сервировке стола и получил ответы на свои бесчисленные вопросы по поводу различных деталей, ему стало ясно значение этой колоссальной общей трапезы нескольких тысяч человек.

Вообще он постоянно замечал с удивлением, что многое такое из жизни новой эпохи, что, казалось бы, должно было сразу броситься ему в глаза, не производило на него впечатления до тех пор, пока его не заинтересовывала своею загадочностью и не наводила на размышления какая-нибудь подробность. Так и теперь: до этой минуты он не догадывался, что все эти обширные залы и коридоры

громадного города, слившегося в одно непрерывное целое под общей крышей и не боящегося таких случайностей, как перемена погоды, означают уничтожение домашнего очага; что типичный «свой дом» времен королевы Виктории — маленький кирпичный особнячок с кухней и кладовой, со спальнями и столовой — стерт с лица земли (если не считать развалин, торчащих кое-где на пустыре, окружавшем город) так же окончательно и бесповоротно, как шалаш дикаря. И теперь только он понял то, что мог бы заметить с самого начала, а именно что Лондон, рассматриваемый с точки зрения жизни его населения, представляет собой уже не агрегат отдельных домов, а гигантскую гостиницу с бесконечной градацией житейских удобств, с десятком тысяч общих столовых, часовен, театров, рынков и всяких публичных мест — целый синтез предприятий, которых он, Грехэм, был главным хозяином. Жильцы имели свои спальни, быть может, даже уборные, вполне удовлетворяющие санитарным условиям, хоть и разных степеней комфорта, а день проводили приблизительно так же, как проводили его и при Виктории обитатели новых больших отелей: или занимались спортом, разговаривали, читали, думали — все на людях! — или же отбывали свою работу в промышленных кварталах, или сидели в торговых конторах.

Он видел теперь, что новый город был лишь логическим, неизбежным развитием того типа города, какой существовал и в его время. Экономия труда посредством кооперации — такова была основная причина возникновения новейших городов. Еще при его современниках главной помехой к исчезновению домашнего очага была сравнительная некультурность народа, страсти и предрассудки, сильно укоренившееся варварское чувство личной гордости, зависть, соперничество и грубость низших и средних классов, исключавшие всякую возможность слияния смежных хозяйств. Но народ уже и тогда быстро приручался. Ему самому за короткий тридцатилетний период его прежней жизни приходилось наблюдать, как быстро распространялся обычай обедать вне дома, как маленькие кофейни вытеснялись просторными и людными общественными столовыми, как вырастали один за другим женские клубы, читальни, библиотеки и другие публичные места. То, что тогда было лишь в зачаточном виде, теперь выросло и расцвело. Замкнутый домашний очаг, защищенный крепкими запорами от посторонних вторжений, отошел

в область преданий.

Те люди, что сидели внизу, принадлежали, как оказалось, к низшим слоям среднего класса, стоявшим лишь ступенью повыше синих рабочих, — к тем самым слоям, для которых во времена Виктории было до такой степени непривычным делом есть не в тесном домашнем кругу, что, когда такой человек случайно попадал на обед в публичном месте, он старался скрыть свое смущение под напускным весельем и вызывающей развязностью манер. Эти же люди в ярких, хоть и дешевых костюмах не отличались большой общительностью, но и не дичились друг друга; они ели быстро, с деловым видом и держались свободно и просто.

Он заметил еще один маленький, но характерный факт. Обеденный стол на всем своем протяжении оставался безукоризненно чистым во время еды: ни тени того хаоса хлебных крошек, пятен соуса и пролитого вина, разбросанных ножей и вилок, каким была бы непременно отмечена шумная трапеза эпохи Виктории. И убранство стола было другое: никаких украшений — ни ваз, ни цветов. Не было даже скатерти, ибо верхняя крышка стола была сделана, как ему сказали, из какого-то прочного состава, похожего видом на камку, и вся она была покрыта рекламами, расположенными изящным узором.

Возле каждого обедающего стоял открытый шкафчик с очень сложным столовым прибором. Тарелки были белого фарфора; ножи, вилки и ложки — тоже белые, из какого-то красивого металла. Но всего этого было только по одной перемене, и после каждого блюда каждый обедающий сам мыл свой прибор, пользуясь двумя кранами с холодной и горячей летучей жидкостью, бывшими у него под рукой.

Суп и вошедшее во всеобщее употребление искусственное вино получались из таких же кранов, а остальные кушанья, разложенные на блюдах с большим вкусом, автоматически двигались по серебряным рельсам вдоль стола. Каждый останавливал то или другое блюдо по своему выбору и брал сколько хотел. Кушанья появлялись из дверцы на одном конце стола и исчезали на другом. То извращенное демократическое чувство, та ложная гордость, которая видит нечто постыдное в оказании друг другу мелких услуг, была, очевидно, очень сильна у этих людей.

Грехэм был так поглощен всеми этими наблюдениями, что, только выходя, заметил огромную диораму реклам, торжественно передвигавшуюся вокруг зала вдоль верхней

части стен и предлагавшую публике самые заманчивые вещи по части всяких житейских удобств.

Они перешли в другой зал, тоже битком набитый народом, и здесь-то он открыл источник загадочного рева, долетавшего в первый зал. На одну секунду они остановились у рогатки, заплатили за вход и вошли, Грехэм услышал оглушительный вой; а затем раздался скрипучий механический голос:

— Властелин спокойно почивает! Он в добром здоровье, остаток жизни хочет посвятить аэронавтике. «Женщины теперь прекраснее прежнего», — говорит он... Га-га! Наша образцовая цивилизация поражает его превыше всякой меры. Превыше всякой меры! Га-га! Он вполне полагается на Острога. Безусловно, доверяет ему. Острог — голова, Острог будет его первым министром. Он уполномочен сменять и назначать чиновников. Все казенные места в его руках. Все места в руках Острога. Члены Совета отправлены в свою собственную тюрьму, что над залом Атласа...

Грехэм застыл на месте при первой же фразе. В недоумении озираясь кругом, он поднял голову и увидел глупую рожу автомата с разинутым ртом, из которого вылетал этот рев. Это была говорильная машина для репортерских сообщений. С минуту она как будто набиралась духу: было слышно, как что-то пыхтит внутри ее цилиндрического тела. Потом опять раздалось оглушительное «га-га», и опять она заревела:

— Париж усмирен! Сопротивление подавлено! Га! Га! Все важные стратегические пункты заняты черной полицией. Черные храбро дрались, во время боя пели песни, написанные в честь их предков поэтом Киплингом *. Случилось, правда, раза два, что они вышли из повиновения. Досталось-таки тогда пленным инсургентам — пленным и раненым. Ни мужчин, ни женщин не щадили. А мораль — не бунтуйте! Га! Га!.. Молодцы ребята эти негры! Ни перед чем не останавливаются. Так и надо! Пусть это будет уроком нашей разнузданной черни. Да, черни, подонкам человечества. Га! Га!..

Голос умолк. В зале пронесся ропот:

— Проклятые негры!

Вдруг возле них какой-то человек заговорил, обращаясь к толпе:

— Так вот как поступает наш повелитель, ребята! Вот как он поступает!

— Черная полиция? — пробормотал Грехэм. — Что это значит? Неужели?..

Асано тронул его за плечо и посмотрел на него предостерегающим взглядом. В это время другая говорильная машина пронзительно взвизгнула и заорала диким голосом:

— Ха-ха-ха! Послушайте живую газету! Живую газету! Ха-ха!.. Возмутительные насилия в Париже! Доведенные до отчаяния черной полицией, парижане избивают ее. Ужасные репрессии! Возвращаются варварские времена. Кровь! Кровь! Ха-ха!..

Тут первая машина гаркнула во все горло: «Га-га!», заглушив последнюю фразу противника, и посыпала, но уже тоном пониже, новыми комментариями по поводу ужасов происходящей смуты:

— Закон и порядок прежде всего! Прежде всего закон и порядок! — трещала она.

— Но как же... — начал было Грехэм.

— Не возражайте, — шепнул ему Асано. — Может выйти спор, и тогда...

— Ну так уйдем, — сказал Грехэм. — Я хочу видеть все своими глазами.

Только теперь, проталкиваясь со своим спутником к выходу в возбужденной толпе, окружавшей машины, он вполне оценил размеры этого зала. Всех говорильных машин, больших и малых, визжащих и ревущих, лепечущих и скрипящих, в нем было около тысячи, и возле каждой стояла своя толпа взволнованных слушателей, все больше мужчин в синей холстине. Машины были всех размеров, начиная с маленького болтливого аппаратика, пересыпавшего глупым хихиканьем свои сентенции и остроты, и кончая такими пятидесятифутовыми гигантами, как тот ревун, который оглушил Грехэма при входе.

Необычайное стечение публики объяснялось тем, что все с горячим интересом следили за ходом событий в Париже. Борьба была, очевидно, гораздо ожесточеннее, чем говорил Острог. Все машины были заняты обсуждением этой борьбы. Их слова повторялись толпой, и огромный улей гудел отрывистыми фразами: «Народ казнил полицейских», «Женщин жгли живьем».

— Но как допускает это повелитель? — спросил один из толпы, мимо которого они проходили. — Так-то начинает свое правление наш государь?

«Так-то начинает свое правление государь?» И долго

после того, как они вышли из зала, преследовала Грехэма эта фраза и рев и визг машин: «Га-га!.. Ха-ха-ха! Так-то начинает свое правление государь?»

Как только они вышли на улицу, он пристал к Асано с вопросами о причинах парижских событий.

— Зачем это разоружение? Из-за чего волнуется народ? Что все это значит?

Асано, видимо, старался об одном: уверить его, что «все благополучно».

— Но эти жестокости! Чем вы их объясните?

— Лес рубят — щепки летят, сами знаете, — сказал Асано. — Бунтует только чернь, да и то лишь в одном квартале. Все остальные спокойны. Нет во всем мире более необузданных дикарей, чем парижские рабочие... да еще наши, пожалуй.

— Как! Лондонские?

— Нет, японцы. Им нельзя давать спуску.

— Но жечь женщин живьем!..

— Коммунаров, — поправил Асано. — Разве вы не знаете коммунаров? Ведь это грабители. Вы господин земли; мир — ваша собственность. А им только позволь: они отнимут у вас все и отдадут землю во власть черни... Но у нас не будет Коммуны. Нам черная полиция не понадобится... Их долго щадили. Им и теперь оказано снисхождение. Ведь это все их собственные негры — из французских колоний: сенегальские полки, с Нигера, из Тимбукту.

— Полки? — переспросил Грехэм. — Я думал, что только один...

Асано искоса посмотрел на него.

— Ну нет, не один... немного побольше.

Грехэм почувствовал себя совершенно беспомощным.

— Я не думал... — начал было он, но вдруг круто оборвал на полуслове и перешел к расспросам насчет говорильных машин.

Говорильными машинами в публичных местах, как объяснил ему Асано, пользовались только низшие классы (и действительно, толпа, которую они видели в зале машин, состояла из очень бедно одетых людей, почти из оборванцев). У людей зажиточных классов были свои машины. В каждой приличной квартире устанавливалась от города говорильная машина, которую квартирохозяин мог соединить проводами с любым из крупных газетных синдикатов по своему выбору.

— Почему же нет говорильной машины в моем помещении? — спросил Грехэм, выслушав это объяснение.

Асано удивился.

— Разве нет? Я и не знал, — сказал он. — Должно быть, Острог приказал убрать.

Грехэма покоробило.

— Мне он ничего не сказал. Почему же я мог знать? — вырвалось у него.

— Может быть, он думал, что так вам будет покойнее, — заметил Асано.

Грехэм немного подумал, потом сказал:

— Сейчас же, как только мы вернемся, я велю снова поставить на место машину.

Не без труда уразумел он тот факт, что этот обеденный и газетный залы были не главными центральными учреждениями такого рода, что такие точно залы были во множестве разбросаны по всему городу. Но потом, во время их ночной экспедиции, в каждом новом квартале, куда они попадали, до ушей его сквозь уличный гам поминутно доносилось или своеобразное «га-га!» гигантской говорильной машины, органа Острога, или пронзительное «ха-ха-ха! Слушайте живую газету» — его главного конкурента.

Не менее распространенным в городе учреждением были детские ясли. Одно из таких заведений они посетили теперь, отправившись туда прямо из общественной столовой. Поднявшись на лифте, они перешли стеклянный мост, перекинутый над обеденным залом и над ближайшей из подвижных улиц, и очутились у входа в первое отделение яслей. Здесь они предъявили особый билет за собственноручной подписью Спящего, без чего посторонних не пропускали. Перед ними немедленно вырос человек в лиловом плаще с золотой пряжкой (атрибут практикующих врачей) и объявил с почтительным поклоном, что он готов их сопровождать. По обращению этого господина Грехэм догадался, что инкогнито его открыто, и, уже не стесняясь, принялся расспрашивать об устройстве заведения и о странных приспособлениях, попадавшихся ему на глаза.

По обе стороны коридора, устланного мягкой дорожкой, заглушавшей шаги, тянулись узенькие дверки, размерами и видом напоминавшие двери тюремных одиночных камер эпохи Виктории. Но верхняя часть каждой дверки была из того самого зеленоватого прозрачного вещества, которое окружало его при его пробуждении, и в каждой камере сквозь эту прозрачную пленку виднелись неясные очертания

мягкого гнездышка — колыбели с новорожденным младенцем внутри. При каждой колыбельке был сложный аппарат, контролировавший температуру и влажность и подававший звонок в центральное управление при малейшем уклонении от нормы. Система таких яслей, как узнал Грехэм, почти окончательно вытеснила старомодный способ вскармливания новорожденных, зависевший от стольких случайностей и сопряженный с риском. Их проводник не замедлил обратить его внимание на кормилиц-автоматов с удивительно реально подделанными под живое тело руками, плечами и грудью, но вместо ног имевших медные подставки, а вместо лица — плоский круг с объявлениями для матерей, которые приходили навещать младенцев.

Из всех странных вещей, на каждом шагу поражавших Грехэма в ту ночь, ничто не шло до такой степени вразрез с его понятиями, с привычками всей его жизни, как эти детские ясли. Маленькое, беспомощное красное существо с крошечными ручками и ножками, слабо шевелящееся в своих первых робких попытках к движению, — и уже покинуто, уже не знает материнской ласки, материнского поцелуя! Его отталкивало, ему претило это зрелище. Но сопровождавший их доктор был другого мнения. Его статистика доказывала с бесспорной очевидностью, что во времена королевы Виктории самым опасным периодом в жизни ребенка был период кормления грудью и что детская смертность за этот период достигала ужасающей цифры, тогда как Международный синдикат детских яслей не терял и полупроцента из миллиона младенцев, находившихся на его попечении. Но даже эти убедительные цифры не могли поколебать предубеждения Грехэма.

В одном из коридоров они наткнулись на молодую чету в синей холстине, стоявшую у одной из узеньких дверок. Оба — и муж и жена — хохотали до слез, заглядывая сквозь прозрачную дверь на лысую голову своего первенца. Должно быть, по лицу Грехэма они прочли, что он думал о них, ибо веселье их мигом прекратилось и уступило место смущению. Этот маленький инцидент только укрепил в нем сознание той пропасти, которая лежала между его взглядами, его симпатиями и нравами нового века. Глубоко взволнованный и возмущенный, прошел он вслед за своим провожатым во второе отделение, предназначенное для детей, уже начинающих ползать, и затем в детский сад. Бесконечная анфилада комнат для игр была совершенно пуста. Слава богу! Современные дети еще спали по ночам.

9 Заказ 122

Маленький японец мимоходом обратил его внимание на игрушки нового типа, представлявшие, впрочем, лишь дальнейшее развитие идей вдохновенного сентименталиста Фребеля*. В этом отделении были живые няньки, но многое и здесь исполнялось машинами. Машины забавляли детей, пели, плясали, нянчили и укачивали.

Но все-таки Грехэму далеко не все было ясно.

— Как жаль: столько сирот, — проговорил он задумчиво, невольно возвращаясь к своему первому впечатлению, и во второй раз услышал, что среди этих детей почти нет сирот.

Когда они вышли из яслей, он с ужасом заговорил о бедных малютках, которых выращивают искусственным способом, точно растения в парниках.

— Неужто нет более материнства? — говорил он. — Или оно было просто ломаньем?.. Нет, материнство, несомненно, инстинкт... А это... это так неестественно, так ужасно!..

— Отсюда мы пройдем в танцевальный зал, — сказал Асано вместо ответа. — Там, наверное, полно: политические неурядицы этому не мешают. Наши женщины, за немногим исключением, не слишком-то интересуются политикой. Там вы увидите современных матерей. В Лондоне большинство молодых женщин имеет детей. В наших средних классах редко бывает больше одного ребенка в семье, но иметь одного считается почти обязательным: это доказывает, так сказать, жизненность организма. Ну, а что касается материнского инстинкта, то он не заглох, могу вас уверить. Матери очень гордятся своими детьми: часто приходят сюда взглянуть на свое потомство.

— Вы вот сказали: не больше одного ребенка в семье. Так, значит, население земного шара...

— Убывает? Да. Но только не в среде голубых. Этот народ так беспечен.

Воздух вдруг зазвенел звуками плясовой музыки. Перед ними открылся широкий проход с рядами великолепных колонн, судя по виду из чистого аметиста, и вдоль этого прохода мимо них (они подходили сбоку) неслась веселая ватага танцующих с криками и смехом. Мелькали пышные прически, локоны, венки на головах, пестрая смесь ярких красок, шелестящие складки развевающихся одежд. Все это мчалось и кружилось в торжествующем бешеном вихре.

— Да, мир изменился, — проговорил Асано со слабой усмешкой. — Сейчас вы увидите матерей новой эры...

Свернемте сюда. Скоро мы опять увидим эту толпу, только сверху.

Они поднялись сперва на одном лифте, очень быстро, потом на другом, значительно медленнее. По мере того как они поднимались, музыка становилась все громче. Но вот задорные, резвые звуки, словно вырвавшись на свободу, разлились бурной волной, они стали наконец различать топот многих сотен танцующих ног. Заплатив за вход у рогатки, они вошли в широкую галерею, висевшую над танцевальным залом, и перед ними предстала изумительная картина — волшебное сплетение движения и звуков, красок и форм.

— Вот матери и отцы тех детей, которых вы только что видели, — сказал Асано.

Этот зал не отличался такою пышностью убранства, как зал Атласа, но по размерам это было самое грандиозное из всего, что видел до сих пор Грехэм. Прекрасные белоснежные статуи, поддерживавшие на своих плечах своды галерей, еще раз напоминали ему о возрождении скульптуры в новом веке. Как красиво, причудливо изгибались их стройные тела, как заманчиво улыбались их губы. Источник музыки, гремевшей в зале, был невидим, но звуки ее наполняли каждый его уголок, и все пространство блестящего гладкого пола было усеяно танцующими парами.

— Взгляните на них, на этих матерей, — шепнул Грехэму маленький японец. — Как видите, они умеют веселиться.

Галерея, на которой они стояли, тянулась вдоль верхнего края внутренней стены, не доходившей до потолка и отделявшей танцевальный зал от другого, наружного, с широкими открытыми арками, так что с галереи видно было непрерывное движение и был слышен грохот мчащихся подвижных платформ. В наружном зале тоже была толпа, не менее многолюдная, чем та, что плясала внутри, но далеко не в таких блестящих костюмах; большинство было в неизменной синей форме Рабочего общества, так хорошо теперь знакомой Грехэму. Эти не могли попасть на бал за неимением денег, но были не в силах уйти от соблазнительных звуков. Многие, недолго думая, тут же расчистили себе место и в своих развевающихся лохмотьях отплясывали с большим увлечением, гикая в такт и выкрикивая какие-то шуточки, которых Грехэм не понимал. Кто-то в темном углу принялся было насвистывать припев революционного гимна, но сейчас же умолк, точно ему

заткнули рот. Из-за темноты Грехэм не мог рассмотреть, что там произошло. Он опять повернулся к танцевальному залу. Над кариатидами выступали бюсты знаменитых людей — всех тех, кого новый век признавал своими эмансипаторами и пионерами в различных областях человеческой мысли. Их имена по большей части были незнакомы Грехэму, но он узнал между ними Гранта Аллена *, Ле Галиенна *, Ницше, Шелли, Годвина *. Ниспадавшие крупными складками фестоны черной драпировки заставляли еще резче выступать огромную надпись, красовавшуюся под огромным потолком. «Праздник пробуждения», о котором она возвещала, был, видимо, в полном разгаре.

— Мириады людей решили отпраздновать этот день, — сказал Асано. — А рабочие бастуют сами по себе, по другим причинам. Этот народ всегда рад задать себе праздник, лишь бы увильнуть от работы.

Грехэм подошел к парапету и, перегнувшись вниз, стал смотреть на танцующих. Если не считать двух-трех нежных парочек, шептавшихся по углам, на галерее были только он да его провожатый. Снизу поднималось теплое дыхание жизни, бьющей ключом. Воздух был пропитан запахом духов. Все танцующие — как женщины, так и мужчины — были очень легко одеты, с обнаженными руками, с открытой шеей. У многих мужчин были длинные локоны, придававшие им женоподобный вид. Все были бритые, некоторые нарумянены. Между женщинами было много очень красивых, и все они были одеты с утонченным кокетством. Грехэм с любопытством следил за проносившимися парами. Да, положительно, эта толпа наслаждалась до самозабвения. Это видно было по возбужденным пылающим лицам, по томно полуоткрытым глазам.

— К какому классу принадлежат эти люди? — неожиданно спросил он.

— К классу рабочих, привилегированных рабочих. Или, по-вашему, к среднему классу. Мелкие независимые ремесленники давно исчезли с лица земли. А эти все больше служащие в крупных предприятиях, мастера по всем специальностям, техники. Сегодня праздник, и все танцевальные залы переполнены. Все церкви и молельни — тоже.

— А женщины?

— То же самое. У нас существует бесчисленное множество отраслей женского труда. Впрочем, тип женщины-работницы народился еще в ваше время. Теперь же большинство женщин живет независимо, своим трудом.

Но почти все они замужем... более или менее — у нас имеется много видов брака. Это увеличивает их годовой доход и дает возможность веселиться.

— Вижу, — сказал Грехэм, глядя на раскрасневшиеся лица, кружившиеся в бешеном вихре, и будучи не в силах отделаться от кошмара красненьких детских ножек и ручек, беспомощно взывавших о ласке. — Все это матери, говорите вы?..

— Да, большинство.

— Чем ближе я смотрю, тем сложнее кажется мне ваша жизнь... вообще проблемы жизни. Вот это, например, совершенный сюрприз для меня — такой же, как события в Париже.

Он помолчал и снова заговорил:

— Все это матери. Так. Когда-нибудь, надеюсь, я усвою себе современные взгляды. Я слишком сжился со старыми привычками, порожденными, вероятно, старыми потребностями, которые уже отжили свое время. В мое время считалось, что дело женщины не только рожать детей, но и растить, лелеять, отдавать им всю себя, воспитывать их. В мое время ребенок был обязан матери всем, что было самого существенного в его умственном и нравственном воспитании. Или он совсем не получал воспитания. Правда, тогда было много детей, которые росли без всякого присмотра. Теперь же, очевидно, нет больше надобности в материнском уходе: детей выращивают, как личинки. Все это прекрасно, но зато прежде был идеал — образ серьезной, терпеливой женщины с ясной душой, кроткой царицы домашнего очага, матери, творящей людей. Любовь к матери была своего рода религией...

Он опять помолчал и повторил задумчиво:

— Да, религией.

— С изменением потребностей меняются идеалы, — заметил маленький японец.

Ему пришлось повторить свои слова, потому что Грехэм их не слышал.

— Вы правы, — сказал он, когда очнулся от своего минутного забытья и вернулся к действительности. — Что существует, то разумно, я и сам понимаю. Воздержание, самоограничение, вдумчивость, самоотвержение были нужны в эпоху варварства, когда жизнь была полна опасностей. Аскетизм — дань человека непобежденной природе. Но ныне человек покорил природу для всех своих практических целей. Общественные дела вершатся мастерами

вроде Острога с их черной полицией, и люди наслаждаются жизнью...

Он снова посмотрел на танцующих.

— Наслаждаются от души.

— Бывают и у них тяжелые минуты, — проговорил Асано.

— Все они здесь выглядят молодыми. Я был бы самым старым между этими людьми. А в мое время я считался человеком средних лет.

Да, здесь все молодежь. В наших городах мало стариков среди этого класса.

— Как так?

— Жизнь старика в наше время не слишком приятна, если только он недостаточно богат, чтобы нанимать себе сиделок и любовниц. Поэтому у нас имеется особое учреждение, так называемая Эвтаназия...

— А, знаю, легкий переход к смерти.

— Да. Это последнее удовольствие в жизни — и очень дорогое. Компания Эвтаназии знает свое дело. Вы уплачиваете определенную сумму вперед, затем отправляетесь в Веселые Города и возвращаетесь усталым, истощенным, живым мертвецом.

— Не скоро я пойму ваши порядки, — заметил после паузы Грехэм. — Но я вижу, что во всем этом есть логическая связь. Наша броня суровой добродетели, жестоких самоограничений была необходимым оплотом против опасностей и шаткости жизни. Но уже и в наше время стоики и пуритане были вымирающим типом. В старину человек ограждал себя от страдания, теперь он ищет наслаждений. В этом вся разница. Цивилизация изгнала страдания и опасность для обеспеченных людей. А ведь у вас только обеспеченные идут в счет... Я проспал двести лет...

С минуту они стояли у парапета, любуясь запутанными фигурами танца. Картина была действительно очень красивая.

— Клянусь богом, — сказал вдруг Грехэм, — я предпочел бы быть солдатом и умирать от ран или замерзать в снегу, стоя на часах, чем быть одним из этих нарумяненных дураков.

— Может быть, замерзая в снегу, вы думали бы иначе, — заметил Асано.

— Я недостаточно цивилизован, и в этом все мое горе, — продолжал Грехэм, не слушая его. — Я первобытный дикарь, человек каменного века. А у этих людей уже

заглох источник гнева, страха и негодования. Привычка, жажда жизни берут свое, и они чувствуют себя весело, легко и свободно. А меня это глубоко возмущает. Что делать, вам придется примириться с моими допотопными понятиями. Эти люди — привилегированные рабочие, говорите вы. И вот, пока они здесь пляшут, другие люди сражаются, умирают в Париже за спасение мира, чтобы они могли плясать.

Асано чуть-чуть улыбнулся.

— Ну, уж коли на то пошло, так и в Лондоне люди умирают.

Грехэм ничего не ответил.

— А где спят все эти люди? — спросил он после минутной паузы.

— Выше и ниже этого зала все этажи заняты спальнями, — сказал Асано.

— Значит, тут они и живут? А работают где?

— Сегодня вы едва ли застанете кого-нибудь на работе. Половина рабочих или шатается по улицам, или стоит под ружьем. А остальные празднуют. Но если вы хотите, мы обойдем те места, где происходят работы.

Грехэм постоял еще немного, следя за танцующими, потом вдруг отвернулся.

— Довольно с меня, я хочу видеть рабочих, — сказал он.

Асано повел его вдоль галереи, пересекавшей зал. Вскоре они дошли до поперечного прохода, откуда тянуло свежим воздухом. Асано взглянул в ту сторону, проходя, потом вдруг повернул назад и, улыбаясь, обратился к Грехэму:

— Государь, здесь есть кое-что вам знакомое... и все-таки... Но нет, я вам не скажу. Идемте!

И он пошел вперед по крытому проходу. Грехэму сразу стало холодно. По изменившемуся звуку шагов он догадался, что они идут по крытому мосту. Спустя минуту они вышли в круглую галерею, забранную стеклами для защиты от наружного воздуха и огибавшую кольцом большую круглую комнату, которая показалась ему знакомой, хоть он и не мог припомнить в точности, бывал ли он тут раньше и когда. В этой комнате стояла приставная лестница — первая, которую он видел после своего пробуждения. Они поднялись по ней и очутились в холодном, темном помещении, где увидели другую такую же лестницу, стоявшую почти вертикально. Грехэм все еще не понимал, что это было за место. Но когда они поднялись наверх по

второй лестнице, он догадался, где они: он увидел металлическую решетку, за которую держались его пальцы. Он был на куполе Собора святого Павла.

Собор лишь немного возвышался над общей площадью городских крыш, уходя верхушкой в тихий сумрак ночи. Округлые очертания купола, отливавшие жирным блеском под светом далеких огней, покато спускались и исчезали в зияющей внизу темноте.

Он взглянул вверх, на безоблачное небо: звезды сияли по-прежнему. На западе виднелась Капелла, вставала Вега, а прямо над ним, свершая свой путь вокруг полюса, торжественно плыли семь ярких звезд Большой Медведицы.

Все эти созвездия были ясно видны, ибо с этой стороны ничто не застилало неба. Но на востоке и на юге гигантские круглые тени вертящихся колес ветряных двигателей совершенно закрывали вид: за ними не видно было даже ослепительного света огней вокруг ратуши. На юго-западе, над заревом, отсвечивавшим в небе от осветительных шаров, висел Орион и, как бледный призрак, выглядывал из-за тонкого переплета железных скреплений. Со стороны одной из летательных станций доносился вой сирены, возвещавшей о том, что аэроплан готовится к отлету.

С минуту Грехэм молча смотрел на огни летательной станции, потом взгляд его снова обратился к звездам. Он долго молчал и наконец сказал, улыбаясь в темноте:

— Как странно, что я опять стою на куполе святого Павла и опять вижу эти знакомые тихие звезды... Положительно, это самое странное из всего.

Затем Асано повел его дальше. После бесконечных поворотов длинного перехода они пришли в торговые кварталы, где происходила, между прочим, крупная биржевая игра и где в какой-нибудь час наживались и терялись состояния. Перед Грехэмом открылась нескончаемая анфилада высоких залов с нагороженными один над другим рядами галерей, на которые выходили тысячи контор, с запутанной сетью пешеходных мостиков, воздушных рельсовых путей, трапеций и кабелей. Сильнее, чем где-либо, бился здесь пульс интенсивной жизни, торопливой работы, не поддающейся никакому учету. Повсюду лезли в глаза назойливые рекламы. Мутилось в голове от этой пестроты красок и огней. Бесчисленные говорильные машины наполняли воздух резкими выкриками на идиотском жаргоне: «Разуйте глаза и не зевайте!», «Валите сюда, дурачье, и хватайте!».

Вся анфилада залов и галерей была переполнена народом, и все эти люди были или поглощены темными гешефтами, или охвачены горячкой игры — так по крайней мере казалось Грехэму.

С большим удивлением он узнал, что за последние дни в этих кварталах было сравнительно безлюдно, так как недавний политический переворот сократил до небывалого минимума количество коммерческих сделок. Один огромный зал был весь занят столами с рулеткой, и вокруг каждого стола стояла возбужденная, потерявшая человеческий образ толпа игроков. В другом зале был настоящий содом: женщины и мужчины с перекошенными бледными лицами, с надувшимися от напряжения красными шеями визжали и ревели во всю глотку, продавая акции какого-то абсолютно фиктивного предприятия, выдававшего каждые пять минут дивиденд в десять процентов и погашавшего в то же время некоторую часть своих акций при помощи лотерейного колеса.

Во все эти дела и делишки вкладывалось столько энергии, что, казалось, вот-вот начнется общая свалка. Пройдя несколько шагов, Грехэм увидел густую толпу и посредине ее двух почтенных коммерсантов, которые ругались, как извозчики, и уже готовы были вцепиться друг в друга, поспорив из-за какого-то щекотливого пункта коммерческой этики. Очевидно, в жизни еще оставалось кое-что, из-за чего стоило драться. Подальше он наткнулся на крикливое объявление, горевшее кроваво-красным пламенем огромных букв, в два раза больше человеческого роста: «ГАРАНТИРУЮТ ХОЗЯИНА».

— Какого хозяина? — спросил он.

— Вас.

— В чем же меня гарантируют? Не понимаю.

— Разве в ваше время не было гарантий?

Грехэм подумал.

— Может быть, вы хотите сказать — страхования?

— Ну да, гарантия, страхование... это одно и то же. Так это называлось в старину, теперь припоминаю. Страхуется ваша жизнь. Полисы раскупаются дозандами народа, на вас ставят мириады львов. Это та же игра. Играют и на других — на всех известных людей. Смотрите!

Толпа шарахнулась вперед, заревела, и Грехэм увидел, что большой черный экран загорелся новой кроваво-красной надписью еще больших размеров: «Годовая рента на хозяина — 5 пр. 7». Общий рев еще усилился. Несколько

человек, запыхавшиеся, с дико выпученными глазами, простирая вперед жадные руки, ловя воздух хищно скрюченными пальцами, пробежали мимо. У тесного входа началась неистовая давка.

Асано наскоро сделал подсчет.

— Семнадцать процентов в год с гарантируемой суммы. Не дали бы они так много, государь, если бы увидели вас в эту минуту. Но они не знают. Прежде страхование вашей жизни было верным помещением капитала, но теперь, разумеется, это не что иное, как азартная игра. Эта последняя ставка — безнадежное дело. Сомневаюсь, чтобы спекулирующие выручили свои деньги.

Толпа, прибывавшая с каждой минутой, так крепко стиснула их, что они не могли податься ни вперед, ни назад. В числе спекулирующих Грехэм заметил очень много женщин и вспомнил то, что говорил ему Асано об экономической независимости прекрасного пола в двадцать втором столетии. Современные дамы ничуть не терялись в толпе и отлично умели постоять за себя, очень ловко работая локтями, в чем ему пришлось убедиться на собственных боках. Одна интересная особа с кудряшками на лбу, затертая в давке в двух шагах от него, сперва все поглядывала на него очень внимательно (он даже подумал, уж не узнала ли она его), потом протиснулась ближе, толкнула его плечом — едва ли случайно — и взглядом, древним, как мир, дала ему понять, что он заслужил ее благосклонность. Их скоро разлучил, став между ними клином, почтенный седобородый старец, очень высокий и худой. В своем благородном стремлении к самопомощи, вспотевший, как мышь, от доблестных усилий, он продирался вперед, слепой ко всему земному, кроме сверкавшей перед ним приманки «5 пр. 7».

— Я не хочу больше этого видеть, — сказал Грехэм Асано. — Не затем я вышел на улицу. Покажите мне рабочий народ. Я хочу видеть людей в синей холстине. А эти сумасшедшие паразиты...

Но тут его сдавило напором толпы.

Глава XXI

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Из делового квартала они направились в отдаленную часть города, где было сосредоточено производство. Доро-

гой они дважды пересекли Темзу и прошли через широкий виадук, идущий поперек одной из больших дорог, ведущих в город с севера. Впечатление в обоих случаях получилось беглое, но яркое. Река представляла широкую, блестящую, покрытую рябью полосу черной воды, протекающую под арками зданий и исчезающую в темноте, где мерцали блестки отраженных огней. Ряд темных барок, управляемых людьми в синих блузах, двигался по направлению к морю. Дорога представляла длинный, очень широкий и высокий тоннель, вдоль которого бесшумно и быстро двигались громадные колеса машин. И здесь тоже в изобилии виднелись синие мундиры Рабочего общества. Грехэма больше всего поразила плавность движения двойных платформ и величина и легкость огромных пневматических колес сравнительно с размерами вагонов, которые они приводили в движение. Его внимание почему-то особенно приковал к себе очень узкий и высокий вагон с продольными металлическими перекладинами, на которых были подвешены сотни свежих бараньих туш. Край арки внезапно заслонил перед его глазами дальнейшую картину.

Однако они скоро покинули движущуюся платформу и спустились на лифте в наклонный проход. Они дошли таким образом до другого лифта, на котором опять спустились, и тут картина изменилась. Даже намек на какие бы то ни было архитектурные орнаменты исчез здесь совершенно; огней стало меньше, и они были тусклее, а здания по мере углубления в фабричные кварталы становились все массивнее по отношению к занимаемому ими пространству. И всюду — в пыльном воздухе гончарных мастерских, среди колес машины, размалывающей полевой шпат, около горнов в металлических мастерских и среди озер пылающего, необработанного идамита — виднелись синие блузы мужчин, женщин и детей.

Многие из этих огромных, пыльных галерей, ведущих в машинные отделения, были пусты и безмолвны. Виднелся бесконечный ряд потухших горнов, указывавший на революционную приостановку работ. Но всюду, где работы еще производились, они исполнялись медленно и вяло рабочими, одетыми в синие холщовые блузы. Единственными людьми, не одетыми в синий холст, были надсмотрщики и рабочая полиция в оранжевых мундирах.

Под свежим впечатлением раскрасневшихся лиц в танцевальных залах и деятельной энергии делового квартала Грехэм невольно обратил теперь внимание на утомленные

глаза, впалые щеки и слабые мускулы большинства рабочих новой эпохи. Те, которых он видел здесь, на работе, были явно ниже в физическом отношении нескольких старших надсмотрщиков и надсмотрщиц, одетых в светлые цвета и руководивших работами. Дюжие работники времен королевы Виктории отошли в прошлое вслед за ломовыми лошадьми и тому подобными производителями силы и совершенно исчезли. Их драгоценные мускулы заменились остроумными машинами. Рабочий позднейших времен — как мужчина, так и женщина — главным образом представлял собой разум машины и был ее кормильцем, слугой и помощником или даже артистом, действующим, впрочем, всегда под чужим руководством.

Женщины в сравнении с теми, которые сохранились в памяти Грехэма, отличались как на подбор невзрачностью и плоскогрудостью. Двести лет эмансипации от всех нравственных стеснений, налагаемых пуританской религией, двести лет городской жизни сделали свое дело и уничтожили женскую красоту и силу этой бесчисленной толпы работниц в синих холщовых блузах. Красота и ум, привлекательность и исключительность всегда прокладывали дорогу к освобождению от грязной работы и открывали доступ в Веселые Города с их наслаждениями и великолепием и далее — к Эвтаназии и покою. Вряд ли можно было ожидать, чтобы эти люди, получающие такую скудную умственную пищу, могли устоять против подобных искушений. Во время прежней жизни Грехэма новые, накапливающиеся в молодых, развивающихся городах рабочие массы представляли собою разнообразную толпу, подчиняющуюся традициям личной чести и высшей нравственности. Теперь же они дифференцировались в отдельный класс, имевший свои физические и нравственные особенности и даже свой собственный диалект.

Они спускались все ниже по направлению к фабричным кварталам. Скоро они очутились под одной из подвижных улиц и увидели ее платформы, двигавшиеся по рельсам прямо над их головами, и полоски белого света, пробивавшиеся сквозь щели между ее поперечными перекладинами. Те фабрики, где работы не производились, были скудно освещены. Грехэму казалось, что они погружались в темноту вместе со своими гигантскими машинами. Впрочем, и там, где работы не прекращались, освещение все же было довольно скудное по сравнению с городскими улицами.

По ту сторону огненных озер расплавленного идамита находились заповедные мастерские ювелиров. Грехэм лишь с затруднением и только при помощи своей подписи был допущен в эти галереи, высокие, темные и скорее даже прохладные. В первой из них несколько человек были заняты выделкой золотых филигранных украшений. Каждый из этих рабочих сидел отдельно, на маленькой скамейке, возле маленькой лампы под абажуром. Странное впечатление производил длинный ряд этих светлых пятен вдоль темной галереи. Ярко освещенные, проворные пальцы, быстро перебирающие желтые блестящие полоски металла, и напряженные, внимательные лица, склонившиеся над работой, казались призрачными видениями, вынырнувшими из окружающей темноты.

Работа исполнялась превосходно. Однако не было ни малейшего намека на самостоятельность и изобретательность. Большей частью выделывались разные причудливые орнаменты или же исполнялись сложные геометрические фигуры. Рабочие тут носили особую белую форму, без всяких карманов и рукавов. Они надевали ее, когда приходили на работу, а вечером перед уходом снимали ее и подвергались осмотру, прежде чем оставляли владения компании. Однако полисмен рабочей компании сказал вполголоса Грехэму, что, несмотря на все эти предосторожности, компанию все же нередко обкрадывают.

В следующей галерее женщины гранили и оправляли пластинки искусственного рубина. Рядом с этой галереей мужчины и женщины были заняты выделыванием медной сети, служащей основой для рубиновых пластинок. У многих из этих рабочих губы и ноздри были синевато-белого цвета, что было результатом особой болезни, развившейся под влиянием работы с пурпуровой эмалью, которая была тогда в большой моде.

Асано старался оправдаться перед Грехэмом в том, что повел его такой дорогой, где вид обезображенных лиц мог произвести на него неприятное впечатление. Но эта дорога была удобнее.

— Это как раз то, что я хотел видеть, — сказал Грехэм, стараясь не показать своего ужаса при виде особенно обезображенного лица, внезапно очутившегося перед ним.

— Она могла бы быть осторожнее и не так обезобразить себя, — заметил Асано.

Грехэм возмутился.

— Но сэр, — возразил Асано, — без пурпура мы не можем приготовить этих вещей. В ваши дни люди могли выносить грубые изделия, но ведь они были ближе к варварству на целых двести лет!

Они продолжали идти вдоль одной из самых нижних галерей фабрики изделий из рубина и пришли к маленькому мосту, образующему род свода. Взглянув через перила вниз, Грехэм увидел пристань под такими огромными арками, каких он еще никогда не видел. Три баржи, наполовину скрытые в облаках белой мучнистой пыли, выгружали при помощи целой толпы кашляющих людей груз размолотого полевого шпата. Каждый рабочий двигал маленькую тележку. Пыль наполняла все пространство, образуя удушливый туман, придававший желтый оттенок электрическому свету. Жестикулирующие тени рабочих то появлялись, то исчезали на длинной белой известковой стене. То и дело какой-нибудь из них останавливался и начинал кашлять.

Туманная масса громадных каменных сооружений, поднимавшихся над чернильными водами реки, напомнила Грехэму о множестве дорог, галерей и лифтов, которые, поднимаясь этажами над его головой, отделяли его от поверхности земли. Люди работали молча, под наблюдением двух полисменов рабочей полиции, и только шаги их производили глухой звук, когда они ступали по плитам.

В то время как Грехэм наблюдал эти сцены, в темноте раздался чей-то голос, начавший петь.

— Молчать! — крикнул полицейский, но его приказание не было исполнено. Сначала один, а потом и все покрытые белой пылью рабочие вызывающе подхватили припев Песни Восстания. Шаги рабочих, ступающих по плитам, отбивали такт этой песни: «Трамп! трамп! трамп!» Полицейский, отдавший приказание, взглянул на своего товарища, и Грехэм увидел, что тот пожал плечами. Он больше не делал попыток прекратить пение.

Так ходили они по фабрикам и местам, где трудился народ, и видели много тяжелых и прискорбных вещей.

Эта прогулка оставила в уме Грехэма вереницу смутных и постоянно меняющихся картин. Он видел громадные залы, битком набитые целыми толпами людей, гигантские своды, исчезающие в облаках пыли, сложные машины, длинные ряды ткацких станков с бегущими нитями, слышал тяжелые удары дробильных машин, грохот и скрип ремней и машинных приборов, видел плохо освещенные

подземные боковые отделения для спальных мест и бесконечный ряд тусклых огней. В одном месте он ощутил запах дубильной кожи, в другом — запах пивоварни, в третьем — испарения, не поддающегося никакому определению. И везде он видел столбы и арки такой массивной постройки, каких он никогда не встречал доселе. Это были кирпичные титаны, на которых опиралась громадная тяжесть этого сложного мирового города, давящего своею сложностью миллионы живущих в нем анемичных людей. И потому он видел бледные лица, тощие, изможденные члены, уродство и вырождение.

Три раза Грехэм слышал Песню Восстания во время своего долгого и неприятного странствования по этим местам. В конце одного прохода он увидел беспорядочную свалку. Это были крепостные рабочие, захватившие свой хлеб раньше окончания работ. Поднимаясь по направлению к улицам, Грехэм увидал детей в синих блузах, бегущих в поперечный проход, и тотчас же понял причину их паники, так как увидел отряд рабочей полиции, вооруженный дубинками и направляющийся скорым шагом в ту сторону, где произошли какие-то беспорядки. Где-то вдали начиналась смута, но большинство из этих оставшихся рабочих продолжало работать, работать без всякой надежды. Все то воодушевление, которое еще сохранилось у этого падшего человечества, сосредоточилось в эту ночь наверху, на улицах, где раздавались громкие крики, звавшие повелителя, и где люди шумно и мужественно хватались за оружие.

Грехэм и его спутник снова очутились на движущейся платформе, ослепленные ярким светом центрального прохода. Они скоро различили отдаленный лязг и визг машин одного из отделов службы всеобщих известий. Но вдруг показались бегущие люди, и вдоль платформы и на улицах послышались крики и возгласы. Пробежала женщина, на побледневшем лице которой выражался безмолвный ужас. Другая бежала за ней, задыхаясь и пронзительно крича.

— Что такое случилось? — спросил с недоумением Грехэм, так как он не мог понять их жаргона. Только когда он услышал настоящую английскую речь, он понял, в чем дело, и узнал, о чем кричали все эти люди, пробегая мимо, что заставляло женщин визжать от страха и что внезапно разнеслось по всему городу, как первый предвестник надвигающейся грозы, вселяя повсюду ужас и содрогание.

— Острог вызвал черную полицию в Лондон! Черная полиция идет сюда из Южной Африки! Черная полиция!.. Черная полиция...

Лицо Асано побледнело, и на нем выразилось удивление. Он с минуту колебался, затем взглянул на Грехэма и рассказал ему то, что сам уже слышал раньше.

— Но как они узнали об этом? — спрашивал он себя с изумлением.

Грехэм услышал, как кто-то крикнул:

— Прекратите всякую работу! Прекратите всякую работу!

Какой-то смуглый горбун, смешно и пестро одетый в зеленое с золотом, вскочил на движущуюся платформу, громко крича на хорошем английском языке:

— Это сделал Острог! Острог — негодяй! Повелитель обманут!..

Голос его хрипел, и тонкая струйка пены капала из его отвратительного кричащего рта. В его криках слышался невыразимый ужас, вызванный действиями черной полиции в Париже. Он удалился, продолжая выкрикивать: «Острог — негодяй!»

На мгновение Грехэм остановился, так как ему снова пришло в голову, что это сон. Он взглянул на громады высоких зданий по обеим сторонам пути, исчезающих в голубоватом тумане поверх фонарей, посмотрел вниз на жужжащие ярусы движущихся платформ, на бегущих, кричащих и жестикулирующих людей...

— Повелитель обманут!.. Повелитель обманут!..

И вдруг он понял действительное положение вещей. Его сердце забилось сильнее.

— Настало, — сказал он. — Я должен был бы знать это! Час настал!..

Он поспешно прибавил:

— Что же мне делать?

— Вернитесь назад, в Дом Совета, — сказал Асано.

— Но отчего бы мне не обратиться?.. Ведь народ находится здесь!

— Вы только потеряете время. Они будут сомневаться, не поверят, что это вы. Но они непременно соберутся около Дома Совета. Там вы найдете их вождей. Ваша сила там, с ними!

— Быть может, это только слух?

— Но это похоже на правду, — возразил Асано.

— Подождем фактов!

Асано пожал плечами.

— Лучше идти к Дому Совета, — закричал он. — Именно туда они все направятся. Пожалуй, уже теперь нельзя пройти через развалины.

Грехэм нерешительно взглянул на него, но все же последовал за ним.

Они поднялись на верхнюю быстроходную платформу, и там Асано заговорил с одним рабочим, который отвечал ему на простонародном жаргоне.

— Что он говорит? — спросил Грехэм.

— Он знает очень мало. Впрочем, он сказал, что черная полиция явилась бы сюда раньше, чем кому-нибудь это стало известно, если б кто-то в Управлении ветряных двигателей не проведал про это и не разгласил этого. Он говорит, что это была девушка...

— Девушка?

— Он так сказал. Но он не знает, кто она такая. Она вышла из Дома Совета, громко крича, и рассказала об этом людям, работавшим в развалинах.

Снова раздался крик, давший определенное направление беспорядочному народному движению. Этот крик пронесся, точно ветер, вдоль улиц.

— Все по местам! Все по местам! Каждый человек получает оружие! Каждый пусть идет на свое место!..

Глава XXII

БОРЬБА В ДОМЕ СОВЕТА

Асано и Грехэм направились к развалинам около Дома Совета, повсюду встречая возбужденную толпу. Волнение все возрастало. «Все по местам! Все по местам!» — поминутно раздавались крики. Мужчины и женщины, бросив свою подземную работу, бежали к лестницам подземного прохода. В одном месте Грехэм увидел арсенал революционного комитета, осажденный толпой кричащих людей. В другом несколько человек, одетых в ненавистную оранжевую форму рабочей полиции, спасаясь от преследующей толпы, перескочили на быстроходную платформу, движущуюся в противоположном направлении.

По мере того как Грехэм и его спутник приближались к правительственным зданиям, призыв «По местам!» пре-

вратился в один общий несмолкаемый крик. Что кричали отдельные люди, разобрать было нельзя.

— Острог обманул нас! — рычал какой-то человек охрипшим голосом, и эта фраза, повторяемая несколько раз над самым ухом Грехэма, оглушала и преследовала его. Этот человек стоял рядом с ним на быстроходной платформе и кричал что-то тем, которые толпились на нижних платформах. Его крик относительно Острога сменялся по временам какими-то непонятными приказаниями, которые он отдавал. Но вскоре он спрыгнул вниз и исчез.

В ушах Грехэма продолжал звучать этот крик. У него не было никакого определенного плана, и он не знал, как поступить. Он думал о том, чтобы обратиться к толпе с какого-нибудь возвышения и чтобы встретиться с Острогом лицом к лицу. В душе его закипало бешенство. Он чувствовал сильнейшее возбуждение, мускулы у него были напряжены и руки невольно сжимались.

Путь к Дому Совета через развалины был уже невозможен, но Асано обошел это затруднение и провел Грехэма через центральное почтовое управление. Оно номинально продолжало работать, но почтальоны в синей одежде лениво передвигались, постоянно останавливаясь под арками галереи, чтобы посмотреть на бегущих мимо и кричащих людей. «Пусть каждый отправляется на свое место!.. Каждый должен быть на своем месте!..» Здесь Грехэм по совету Асано открыл, кто он такой.

Они переправились в Дом Совета в кабине, движущейся по канату. В короткий промежуток времени после капитуляции советников произошли большие перемены в наружном виде развалин. Каскады морской воды, низвергавшиеся с шумом из разорванных труб, были перекрыты, и громадные временные трубы были проложены вверху над головами, поддерживаемые рядами непрочных на вид балок. Небо снова заслонила сеть восстановленных кабелей и проволок, обслуживавших Дом Совета. А слева от белого здания выдавалась масса подъемных кранов и строительных машин, которые двигались взад и вперед.

Подвижные пути, проходящие через эту область, были тоже восстановлены, хотя они теперь еще двигались под открытым небом. Это были те самые пути, которые Грехэм видел с маленького балкона в тот час, когда проснулся, девять дней тому назад. В некотором отдалении отсюда находился раньше зал, где он лежал в спячке; теперь на

этом месте была лишь груда бесформенных каменных обломков.

Был уже день, и солнце ярко светило на небе. Быстроходные платформы, появляясь из освещенных голубым электрическим светом подземных проходов, были наполнены людьми, которые все более и более густой толпой собирались над обломками и хаосом развалин. Воздух был наполнен их криками, и все устремлялись и теснились к центральному зданию. Грехэм заметил, что среди этой толпы существовало стремление установить нечто вроде грубой дисциплины, но большинство все же представляло бесформенную массу. И повсюду раздавались голоса, взывавшие к порядку: «Все на свои места! На свои места!»

Кабель доставил их в зал, в котором Грехэм тотчас же узнал преддверие зала Атласа, находившегося над галереей, по которой он проходил с Говардом через час после своего пробуждения, чтобы показаться Совету, который теперь исчез. Но тут было пусто, и только два служителя при кабеле еще оставались на своих местах. Они, по-видимому, были чрезвычайно удивлены, узнав в человеке, соскочившем вниз, Спящего, который тотчас же спросил их:

— Где Острог? Я должен немедленно видеть Острога! Он ослушался меня. Я вернулся, чтобы взять власть из его рук...

Не дожидаясь Асано, Грехэм поднялся по ступеням в дальнем конце зала и, отвернув занавес, очутился перед лицом вечно работающего Титана.

Зал был пуст. Он, однако, сильно изменился после того, как он его видел в первый раз. Он довольно-таки сильно пострадал от первого революционного взрыва. С правой стороны огромной статуи верхняя часть стены была разрушена на протяжении двухсот футов, и пролом был заткнут такой же стекловидной перепонкой, какая окружала Грехэма, когда он проснулся. Это до некоторой степени заглушало гул толпы, доносившийся снаружи. «По местам!.. По местам!.. По местам!..» — все еще кричали там. Сквозь эту перепонку просвечивали балки и подпорки железных подмостков, которые то поднимались, то опускались, управляемые целой толпой рабочих. На зеленоватом фоне этой картины виднелась строительная машина, неподвижно простиравшая теперь свои огромные рычаги, выкрашенные в красный цвет, точно тонкие металлические руки, которые служили

для того, чтобы брать глыбы пластического минерального теста и аккуратно прилаживать их, придавая им нужную форму и положение. Около машины стояли рабочие и смотрели на гудящую внизу толпу.

Грехэм на минуту остановился, смотря на эту картину, и Асано догнал его.

— Острог находится там, в маленьких комнатах правления, — сказал он.

Асано был мертвенно бледен и всматривался в лицо Грехэма.

Они не прошли и десяти шагов, как с левой стороны Атласа поднялась вверх узкая панель в стене и оттуда вышел Острог в сопровождении Линкольна и двух одетых в черные и желтые цвета негров. Он прошел через зал по направлению к другой панели, которая тоже раскрылась перед ним.

— Острог! — крикнул Грехэм, и при звуках его голоса маленькая группа с удивлением повернулась.

Острог что-то сказал Линкольну и один подошел к Грехэму. Грехэм заговорил, и голос его звучал повелительно и громко.

— Что это я слышу? — спросил он. — Вы призываете сюда негров, чтобы удержать в повиновении народ?..

— Давно пора! — отвечал Острог. — Они все больше и больше отбиваются от рук после восстания. Я слишком легко отнесся к этому.

— Не хотите ли вы сказать, что эти проклятые негры находятся уже в дороге?

— Да. Но ведь вы же видели, что делается там, снаружи?

— Ничего удивительного! Но после всего, о чем вы говорили... Вы слишком много берете на себя, Острог!

Острог ничего не ответил, но подошел ближе.

— Эти негры не должны являться в Лондон. Я повелитель здесь, и они не должны приезжать сюда!

Острог взглянул на Линкольна, который тотчас же приблизился к нему вместе со своими двумя служителями.

— Отчего же нет? — спросил Острог.

— Белые люди должны управляться только белыми. Притом же...

— Но негры здесь только орудие!...

— Это не имеет отношения к делу. Я тут повелитель и хочу им оставаться! Говорю вам: негры не должны быть здесь!

— Народ...

— Я верю в народ!

— Потому что вы сами анахронизм — вы человек прошлого, случайность! Вы, быть может, владеете половиной собственности всего мира, но повелителем его вы не можете быть. Вы слишком мало знаете для этого!

Острог снова взглянул на Линкольна и прибавил:

— Я знаю теперь, что вы думаете, и догадываюсь о том, что вы намерены делать. Но и теперь еще не поздно предостеречь вас. Вы мечтаете о человеческом равенстве, о социалистическом порядке! В вашем уме сохранились в полной силе эти обветшалые мечты девятнадцатого века. И вы хотите управлять этим веком, которого вы не понимаете!

— Прислушайтесь! — сказал Грехэм. — Вы слышите этот звук? Точно бушующее море! Тут нет отдельных голосов, а есть только единый голос! Понимаете ли вы сами это?

— Мы научили их этому...

— Может быть. Однако можете ли вы научить их теперь забыть это? Но довольно разговоров. Негры не должны быть здесь!

Острог взглянул ему в глаза.

— Они будут!

— Я запрещаю! — сказал Грехэм.

— Они уже отправились...

— Я не хочу этого!

— Нет! — возразил Острог. — Как мне ни грустно следовать методу Совета... Ради вашего блага вы не должны становиться на сторону... беспорядка. А теперь, когда вы здесь... Вы очень хорошо сделали, что пришли сюда!

Линкольн подошел и положил свою руку на плечо Грехэма. Внезапно Грехэм понял, какую громадную ошибку он сделал, придя к Дому Совета. Он повернулся к занавесу, отделявшему прихожую от зала, но цепкая рука Асано помешала ему. В следующую минуту Линкольн схватил Грехэма за платье.

Грехэм повернулся и ударил Линкольна по лицу, но тотчас же негр схватил его за ворот и рукав. Грехэм вырвался, разорвав с треском рукав, и отскочил назад, но его сшиб с ног другой служитель. Он тяжело упал на землю и несколько мгновений лежал, глядя на высокий потолок зала...

Потом он вскрикнул и, ворочаясь, старался вскочить.

Он схватил одного из служителей за ногу и бросил его головой вниз. Линкольн подбежал к нему, но тотчас же тяжело упал, сраженный ударом в челюсть, и остался недвижим.

Поднявшись, Грехэм сделал два шага шатаясь. Но Острог схватил его за горло и повалил навзничь. Руки его были прижаты к земле. После нескольких отчаянных усилий освободиться Грехэм вдруг прекратил борьбу. Он лежал и смотрел на тяжело дышащего Острога.

— Вы... пленник! — проговорил, задыхаясь и торжествуя, Острог. — Вы... были безумцем... возвратившись назад!

Грехэм повернул голову и заметил сквозь неправильное зеленоватое окно в стенах зала, что люди, работавшие с подъемными кранами, с жаром жестикулируют, сообщая что-то толпе, находящейся внизу. Они видели!..

Острог заметил, куда он смотрит, и тоже повернулся. Он крикнул что-то Линкольну, но Линкольн не двигался. Пуля ударилась в лепные украшения над Атласом. Две полосы прозрачного вещества, прикрывавшие щель, разлетелись, края образовавшейся трещины потемнели, свернулись и быстро отодвинулись в сторону. В одно мгновение комната Совета оказалась открытой, и струя холодного ветра проникла через отверстие, принося с собой гул голосов снаружи, из развалин, точно таинственный шепот каких-то духов.

— Спасите повелителя!.. Что они делают с ним? Его предали.

Грехэм заметил, что внимание Острога чем-то отвлечено и нажим его рук несколько ослаб. Осторожно освободив свою руку, Грехэм поднялся на колени и в следующее мгновение повалил Острога на спину, стоя на одном колене и держа его за горло, в то время как рука Острога вцепилась в его шелковый воротник.

Но к ним уже устремлялись люди с эстрад — люди, намерения которых были непонятны ему. Он увидел мельком человека, бегущего по направлению к портьерам прихожей, и в тот же миг Острог разжал руки, а вновь прибывшие люди бросились на него и, к величайшему изумлению Грехэма, схватили его. Они повиновались крикам Острога.

Его протащили шагов двенадцать, пока он понял наконец, что это не были друзья и что они тащили его к открытой панели. Когда он увидел это, то начал упирать-

ся, пробовал бросаться на землю и звал на помощь изо всех сил. И на этот раз он услышал ответные крики.

Руки, державшие его за шею, ослабели, и вдруг в нижнем углу пролома показалась сначала одна, а потом множество черных фигур, кричащих и размахивающих оружием. Они прыгали через отверстие в светлую галерею, которая вела в Комнаты Молчания. Они бежали по галерее и были так близко от него, что Грехэм мог различить ружья в их руках. Затем Острог что-то крикнул над самым его ухом людям, державшим его, и он должен был употребить все свои силы, чтобы не дать себя подтащить к отверстию, которое зияло перед ним.

— Они не могут сойти вниз! — кричал, задыхаясь, Острог. — Стрелять они не смеют! Все прекрасно! Мы и на этот раз уведем его от них!..

Грехэму показалось, что эта постыдная неравная борьба продолжалась довольно долго. Его платье было изодрано во многих местах, он был весь в пыли, и одна рука у него была отдавлена. Он слышал крики своих приверженцев и даже слышал выстрелы. Но он чувствовал, что силы его слабеют и что все его попытки бесцельны и бесполезны. Помощь не приходила, и зияющее темное отверстие неуклонно приближалось к нему...

Однако вдруг тиски рук, державших его, опять ослабели, и он с трудом приподнялся с земли. Тут он увидел удаляющуюся от него седую голову Острога и понял, что его уже никто не держит. Он повернулся и очутился лицом к лицу с человеком, одетым в черное. Одно из зеленых ружей щелкнуло как раз около него, прямо ему в лицо пахнула струя едкого дыма, и мелькнул стальной клинок. Огромный зал закружился у него перед глазами...

Почти у самого его лица какой-то человек в бледно-голубом заколол кинжалом одного из черно-желтых слуг. Затем его снова схватили чьи-то руки...

Его тащили в две разные стороны. Ему казалось, что люди что-то кричат ему. Он хотел понять, но не мог. Кто-то обхватил его за ноги и поднял, несмотря на его отчаянное сопротивление.

Внезапно он понял, в чем дело, и перестал бороться. Его подняли на плечи и унесли прочь от зияющей дыры в панели, точно ожидавшей его, чтобы проглотить. Раздались радостные, ликующие крики...

Он видел теперь, что люди в синем и черном преследуют отступающих приверженцев Острога и стреляют им вслед.

Он видел с высоты, на которой находился, все пространство зала около изображения Атласа и понял, что его несут к высокой эстраде, находящейся в центре. В дальнем конце зала собиралась толпа, и оттуда люди бежали к нему. Они смотрели на него и радостно кричали.

Он скоро заметил, что его окружал как бы отряд телохранителей. Какие-то люди около него выкрикивали приказания, и усатый человек, одетый в желтое, которого он видел раньше среди тех, кто приветствовал его в театре в день его пробуждения, тоже находился тут же и давал какие-то указания. Зал был уже густо наполнен волнующейся толпой, и маленькая металлическая галерея гнулась под тяжестью кричащих людей. Занавес в конце зала был сорван, и в передней тоже кишел народ.

Кругом был такой оглушительный шум, что человек, стоящий возле Грехэма, с трудом расслышал его вопрос:

— Куда девался Острог?

Человек, спрошенный им, указал ему через головы толпы на нижние панели зала с противоположной стороны пролома. Эти панели были открыты, и вооруженные люди, одетые в синее с черными шарфами, вбегали туда и исчезали в комнатах и коридорах, находившихся за ними. Грехэму показалось, что до него доносятся звуки выстрелов и происходящей там борьбы.

Его подняли и пронесли, описывая ломаную линию, через огромный зал к отверстию возле пролома. Он заметил, что окружающие его люди, соблюдая известную дисциплину, стараются удерживать толпу, так чтобы около него всегда оставалось свободное пространство.

Вынесенный из зала, он увидел прямо перед собой неотделанную новую стену, упирающуюся, казалось, в голубое небо. Его поставили на ноги, кто-то взял его за руку и повел. Какой-то человек в желтом шел около него.

Его вели по узкой кирпичной лестнице, и рядом с ним возвышались выкрашенные в красную краску краны, рычаги и остальные части огромной строительной машины.

Когда он достиг вершины лестницы, его повели дальше по узенькому проходу с перилами, и тут внезапно перед ним открылся амфитеатр развалин, откуда раздавались крики:

— Повелитель с нами! Повелитель! Повелитель!

Грехэм заметил, что его более не окружают люди и что он стоит на маленькой временной платформе из белого металла, составлявшей часть лесов, окружавших главные

постройки Дома Совета. Все громадное пространство развалин было покрыто волнующейся несметной кричащей толпой, и в разных местах уже развевались черные знамена революционных обществ, образующие нечто вроде центров, вокруг которых среди всеобщего невообразимого хаоса группировались люди. Отвесные лестницы, стены и леса, по которым его освободители добрались до отверстия в зале Атласа, теперь унизаны были народом, а на всех выступах и столбах повисли маленькие, энергичные черные фигурки, взбиравшиеся все выше и старавшиеся увлечь за собой остальную массу. Позади него, на самом возвышенном пункте лесов, группа людей пыталась укрепить как можно выше огромное черное знамя, которое развевалось и хлопало во все стороны. Через зияющее отверстие в стене перед собой он мог рассмотреть напряженно-внимательную толпу, наполнявшую зал Атласа. К югу ясно и отчетливо виднелись отдаленные летательные станции, казавшиеся близкими вследствие необычайной прозрачности воздуха. Одинокий моноплан поднялся с центральной станции, быть может, навстречу прибывающим аэропланам...

— Что стало с Острогом? — спросил Грехэм.

Задавая этот вопрос, он увидел, что все глаза обращены на верхушку крыши Дома Совета. Он тоже посмотрел в ту сторону, которая так привлекла всеобщее внимание. Сначала он ничего не видел, кроме зубчатого угла стены, резко выделяющегося на безоблачном синем небе. Затем мало-помалу он начал различать внутренности какой-то комнаты и с удивлением узнал зеленые и белые украшения своей прежней тюрьмы. Какая-то маленькая белая фигура, за которой следовали две другие, казавшиеся еще меньше и одетые в черное с желтым, быстро прошла через комнату и направилась к самому краю развалин.

Человек, стоявший около него, воскликнул:

— Острог!

Грехэм обернулся, чтобы спросить, но не успел, потому что раздалось испуганное восклицание другого человека, стоявшего возле него и указывавшего на что-то своим тощим пальцем. Грехэм посмотрел туда и увидел, что моноплан, только что перед этим поднявшийся с летательной станции, теперь несся прямо на них. Такой быстрый, плавный полет был для него новинкой и поэтому привлек его внимание.

Моноплан все приближался, быстро увеличиваясь в

размерах. Проскользнув над отдаленным краем развалин, он очутился в поле зрения густой народной массы, столпившейся внизу. Он спустился, пересекая это пространство, и снова поднялся и пронесся над головами людей, затем взвился еще выше, чтобы обогнуть громаду Дома Совета. Он казался хрупким и прозрачным, и из-за его ребер виднелся одинокий аэронавт. Он исчез за линией развалин, темневшей на фоне небесного свода.

Внимание Грехэма сосредоточилось теперь на Остроге, который делал какие-то знаки руками. Его помощники торопливо разрушали около него стену. В следующий момент снова показался моноплан в виде далекой маленькой точки, которая теперь медленно приближалась, описывая дугу.

Вдруг человек в желтом крикнул:

— Что они делают? Чего народ смотрит? Зачем оставили там Острога? Почему его не взяли в плен? Ведь они поднимут его теперь. Моноплан унесет его! А-а!..

На его восклицание отвечали, словно эхо, громкие крики в развалинах. Треск зеленых ружей донесся через пропасть к Грехэму, и, взглянув вниз, он увидел множество людей в черно-желтых мундирах, бегущих по одной из галерей с проломленной стеной, находящейся под тем выступом, на котором стоял Острог. Они стреляли на бегу в каких-то невидимых людей. Затем показались гнавшиеся за ними синие фигуры. Эти крошечные сражающиеся фигурки производили самое странное впечатление. Издали они казались какими-то маленькими игрушечными солдатиками. Необъятный вид дома, внутренность которого была раскрыта вследствие пролома стен, придавал этой битве среди мебели и проходов какой-то нереальный характер. Это происходило, быть может, за двести ярдов от него и приблизительно на высоте пятидесяти ярдов, над головами тех, кто находился в развалинах внизу.

Люди в черном с желтым вбежали на какую-то открытую арку и, обернувшись, дали залп, один из синих преследователей, бежавший впереди, у самого края пролома, как-то странно взмахнул руками и качнулся вбок. Грехэму показалось, что он повис над краем на несколько мгновений и затем свалился вниз. Грехэм видел, как он на лету стукнулся о выступающий угол, отскочил в сторону и, перекувырнувшись несколько раз в воздухе, скрылся за красными рычагами строительной машины.

Какая-то тень на мгновение заслонила солнце, Грехэм взглянул вверх — небо было чисто. Он понял, что это промелькнул моноплан.

Острог исчез! Человек в желтом протиснулся вперед и, возбужденно жестикулируя, кричал:

— Они пристают! Они пристают! Скажите людям, чтоб они стреляли в него! Скажите им это!...

Грехэм ничего не понимал. Он только слышал громкие голоса, повторявшие эти загадочные приказания.

Вдруг из-за края развалин показался моноплан. Скользнув над стеной, он подпрыгнул и сразу остановился. Грехэм тут понял, что моноплан пристал для того, чтобы дать Острогу возможность бежать на нем. В то же время он заметил голубоватый дым и сообразил, что люди внизу стреляют по выступающей части машины.

Какой-то человек возле него хрипло издал одобрительный возглас. Грехэм увидел, что синие достигли арки, которую защищали за несколько мгновений перед этим черно-желтые, и, опрокинув их, непрерывным потоком ринулись в открытый проход.

И вдруг моноплан соскользнул с края стены и стал падать. Он падал под углом в 45 градусов и так круто, что Грехэму показалось — да и всем другим точно так же, — что он уже не в состоянии будет подняться вверх.

Он пролетел так близко, что Грехэм мог разглядеть Острога, цепляющегося за поручни сиденья. Его седые волосы развевались. Аэронавт с мертвенно-бледным лицом налегал изо всей силы на рычаг двигательной машины. Он слышал, как ахнула в ожидании толпа внизу...

Грехэм схватился за перила и замер, напряженно всматриваясь. Минута казалась ему вечностью. Нижнее крыло опускавшегося моноплана чуть не задело людей внизу, кричавших и толкавших друг друга.

Затем он поднялся.

В первую минуту казалось, что он, во всяком случае, не в состоянии будет пронестись над стеной или что он заденет ветряные колеса, вращавшиеся вверху.

Но он преодолел все эти препятствия и поднялся. Он накренился на один бок, но улетал все дальше и дальше в синеве небес...

Напряженное ожидание разрешилось яростью, когда люди поняли, что Острог ушел от них. С запоздалой энергией они возобновили стрельбу, пока треск отдельных выстрелов не превратился в сплошной гул и все пространство не

заволокло синей мглой, а воздух пропитался едким дымом.

Слишком поздно! Моноплан, улетая, становился все меньше и меньше и наконец, описав дугу, плавно спустился к летательной станции, откуда он недавно поднялся.

Несколько мгновений продолжалось смутное гудение толпы в развалинах, а затем всеобщее внимание обратилось на Грехэма, стоявшего на самом верху, среди лесов. Он увидел, что лица всех обращены к нему, и услыхал громкие радостные крики по поводу своего избавления. И вдруг раздалась Песнь Восстания, и она пронеслась, как дуновение бури, над волнующимся морем людей...

Маленькая группа людей около него поздравляла его со спасением. Человек в желтом, стоявший рядом с ним, смотрел на него сияющими глазами. А звуки песни все росли и становились громче. «Трамп! Трамп! Трамп!..»

Полное и ясное сознание того, что произошло, пришло к нему не сразу, но Грехэм наконец понял, что его положение быстро изменилось. Острог, всегда стоявший рядом с ним, когда бы он ни смотрел на кричащую толпу, теперь был далеко, стал его противником! Не было никого, кто бы мог управлять за него. Даже все эти люди, стоявшие около него, вожди и организаторы толпы, и те смотрели на него, ожидая, что он сделает, ожидая его поступков и приказаний. Он был настоящим королем теперь. Его прежнее игрушечное царствование пришло к концу.

Он был воодушевлен желанием сделать то, что ожидали от него. Его нервы, мускулы дрожали от напряжения. Он чувствовал, быть может, некоторое смущение, но ни страха, ни гнева у него не было. Только его придавленная рука распухла и горела.

Однако он был несколько смущен своим внешним видом. Он не чувствовал страха, но боялся, что может показаться испуганным.

В своей прежней жизни он не раз испытывал сильнейшее возбуждение во время разных игр, требующих ловкости. Теперь его охватила жажда немедленной деятельности. Он понимал, что не должен слишком вдумываться в подробности этой грандиозной по своей сложности борьбы, так как сознание ее необычайной запутанности могло бы парализовать его силы...

Там, вдали, синели четырехугольные очертания летательных станций, напоминая об Остроге. Он будет бороться с Острогом за будущее мира!

Глава XXIII

ГРЕХЭМ ГОВОРИТ СВОЕ СЛОВО

В течение некоторого времени повелитель земли не мог даже управлять своими собственными мыслями. Даже его воля не казалась ему больше его собственной волей, и его собственные поступки изумляли его, как будто и они были только частью странных переживаний, нахлынувших на него откуда-то со стороны. Но одно было совершенно ясно: аэропланы приближаются! Элен Уоттон оповестила об этом народ.

Ясно было также, что он — повелитель земли. Каждый из этих фактов как будто боролся с другими за исключительное обладание его мыслями. Они выступали перед ним везде: в залах, где кишел народ, в возвышенных проходах, в комнатах, где собирались вожди отдельных частей для совещания, в помещениях для телефона и кинематографа и в окнах, через которые он видел шумную толпу двигающихся людей.

Трудно было сказать, увлекает ли его за собой человек в желтом и те, кого он считал вождями отдельных частей, или же они сами послушно следуют за ним? Вероятно, было и то, и другое. Но, быть может, какая-то сила, невидимая и неподозреваемая, толкала их всех.

Он вдруг сообразил, что ему нужно обратиться с воззванием к народам земли и что в мозгу уже слагаются грандиозные фразы, выражающие его мысли, затем произошло много разных мелких событий, и вот он очутился рядом с человеком в желтом, и они вместе вошли в комнату, где должно было быть произнесено его воззвание.

Эта комната была причудливым воплощением современности, со всеми ее позднейшими приспособлениями. В центре виднелся яркий овал, образуемый падавшим сверху электрическим светом. Все было в тени, а двойные, плотно закрывающиеся двери, через которые вошел Грехэм из зала Атласа, обеспечивали полную тишину. Глухой звук закрывающейся за ним двери, внезапное прекращение шума, среди которого он жил несколько долгих часов, трепещущий круг света, шепот и быстрые, бесшумные движения слуг, едва различимых в тени, — все это производило на Грехэма странное впечатление. Огромные уши фонографического механизма зияли в батарее, словно готовясь слушать его слова, а черные глаза огромной фото-

графической камеры ловили его движения. Дальше тускло блестели металлические прутья и катушки, и что-то с жужжанием вертелось наверху. Он вошел в середину освещенного овала, и его тень съежилась и превратилась у его ног в маленькое и резкое черное пятно.

В его уме уже сложилось в смутных чертах все то, что он намеревался сказать. Но он не ожидал ни этой внезапной тишины, ни этого уединения, ни полного отсутствия людей, заражавших его своим воодушевлением, ни такой безмолвной аудитории, какую представляли эти машины, слушающие и видящие. Он как будто сразу потерял всякую опору, и ему показалось, что он очутился здесь неожиданно для себя и теперь не знает, что делать. В нем сразу произошла перемена, и он почувствовал страх, что не справится со своей задачей. Он боялся показаться слишком театральным, боялся за свой голос, за свой ум, и, удивленный тем, что в нем происходило, он обернулся с умоляющим жестом к человеку в желтом.

— На минутку подождите, — сказал он. — Сейчас я не могу. Я не ожидал, что так будет! Мне еще надо обдумать то, что я хочу сказать.

Пока он сомневался, явился взволнованный человек с известием, что передовые аэропланы уже прошли над Мадридом.

— Какие получены вести с летательных станций? — спросил Грехэм.

— Люди юго-западных частей готовы.

— Готовы?

Он нетерпеливо обернулся к блестящим линзам аппарата и сказал:

— Я думаю, что мне надо произнести нечто вроде речи. Если бы только я знал, что надо сказать! Аэропланы в Мадриде! Они, должно быть, отправились раньше главного флота. А люди еще только готовятся? Наверное... Впрочем, не все ли равно, буду ли я говорить хорошо или дурно! — вдруг сказал он сам себе и заметил, что свет стал ярче.

Он уже составил в уме несколько неопределенных фраз, выражающих чувства, но внезапно им снова овладели сомнения. Уверенность в своих героических качествах и в своем призвании как будто покинула его. Ощущение бесцельности и непонятности того, что совершалось, заслонило перед ним все. Внезапно ему стало совершенно ясно, что это восстание против Острога было преждевре-

менным и было обречено на неудачу. Это был страстный импульс, побуждающий к борьбе с неизбежностью. Грехэм думал о быстром полете аэропланов, видел в нем неумолимый перст рока. Его несказанно удивляло, что он может рассматривать теперь вещи с другой точки зрения. Но он боролся со своими сомнениями и наконец, решительно отбросив их в сторону, сказал себе, что он должен пройти через это испытание и сделать то, что он намеревался сделать.

Однако он все еще не находил слов, чтобы начать. Но, в то время как он стоял в нерешительности и с уст его уже готовы были слететь слова извинения, снаружи вдруг донесся шум и крики бегающих взад и вперед людей.

— Подождите! — крикнул кто-то, и дверь отворилась.

— Она идет!.. — послышались голоса. Грехэм повернулся, и огни, освещавшие его, померкли.

В открытую дверь он увидел легкую серую фигуру, которая проходила через обширную залу. Его сердце дрогнуло. Это была Элен Уоттон...

За ней и кругом нее раздавались аплодисменты. Человек в желтом, стоявший в тени, вошел в круг света.

— Это та самая девушка, которая сообщила нам, что сделал Острог, — сказал он.

Она вошла очень спокойно и стояла молча, словно не желая говорить с Грехэмом. Но все его сомнения и вопросы исчезли в ее присутствии, и он вспомнил все, что хотел сказать народу.

Он встал против камеры, и свет вокруг него засиял ярче. Повернувшись к Элен, он сказал:

— Вы помогли! Вы очень мне помогли! Все это так трудно.

Он замолчал на минуту. Потом, обратившись к невидимым народным массам, которые как будто взирали на него сквозь черные глаза камеры, медленно заговорил:

— Мужчины и женщины новой эпохи! — начал он. — Вы восстали, чтобы биться за человеческую расу! Но легкой победы тут не может быть...

Он остановился, ища слова. Мысли, уже сложившиеся в его уме до ее прихода, теперь возвращались к нему, но без примеси сомнений в их уместности.

— Эта ночь представляет собой только начало! — сказал он. — Предстоящая битва, та, которая надвигается на нас в эту ночь, — только начало! Возможно, что

вам придется бороться всю вашу жизнь. Но не падайте духом даже в том случае, если я буду побежден, если я буду совершенно раздавлен...

Однако то, что он хотел бы выразить, было слишком неопределенно и в слова не укладывалось. Он на мгновение остановился и снова начал повторять те же неопределенные фразы, которыми хотел поддержать бодрость. Но вот наконец слова вернулись к нему и потоком полились из его уст...

Многое из того, что он говорил, представляло лишь общие места гуманитарных взглядов прошлого века. Но убеждение, звучавшее в его голосе, придавало им жизненность. Он говорил о прежних временах этому народу новой эпохи и женщине, стоявшей около него.

— Я пришел к вам из прошлого, — сказал он, — с воспоминанием о веке, который жил надеждой. Мой век был веком мечтаний, веком начинаний и благородных надежд. Мы покончили с рабством во всем мире; мы распространили по всему миру желание и надежду, что скоро прекратятся войны, что все, мужчины и женщины, будут вести благородную жизнь в мире и свободе... Так надеялись мы в эти минувшие дни! Но что сталось с этими надеждами? Что сталось с человечеством по прошествии двухсот лет?

Огромные города, могущественные силы, величие коллективной работы превзошли наши мечты. Мы не стремились к этому, но это пришло. Но что же сталось с маленькими жизнями, созидающими эту великую жизнь? Как вообще живут теперь люди? Как и раньше было, человек продолжает жить в горе и труде, живет скудно и чувствует неудовлетворенность, живет, искушаемый властью, богатством, неразумно расходует свою жизнь и совершает безумства. Старые верования вымерли и изменились. А новая вера... Да существует ли новая вера?

И он почувствовал вдруг, что начинает верить в то, во что ему так хотелось верить. Он окунулся в эту веру и крепко ухватился за нее, некоторое время продержавшись на ее высоте. Он говорил порывисто, отрывочными фразами, но вкладывал в них всю силу и искренность той новой веры, которая теперь была в нем. Он говорил о величии самоотречения, о вере в бессмертную жизнь человечества, с которой мы живем, двигаемся и осуществляем свою жизнь. Его голос то повышался, то падал, и воспринимающие аппараты, казалось, одобрительным жужжанием отмечали его речь. Слуги в тени комнаты молча прислушивались

к его словам. Присутствие же безмолвной слушательницы, стоявшей возле него, поддерживало в сомнительных местах его воодушевление и его искренность.

В течение нескольких блестящих моментов, подхваченный волной своего воодушевления, он уже не сомневался более в себе, верил в силу своих героических слов, и эти слова как будто сами собой рождались у него. Его красноречие лилось свободной рекой. Наконец, он произнес заключительные слова:

— В этот момент и здесь я передаю вам свою волю! — сказал он. — Все, что принадлежит мне в этом мире, я отдаю народу мира. Отдаю это вам и себя самого тоже отдаю вам! И как богу будет угодно, я буду жить для вас или умру!..

Он кончил, сделав красноречивый жест, и повернулся.

На лице девушки отражалось его собственное воодушевление. Глаза их встретились. В ее глазах блестели слезы энтузиазма.

— Я знаю, — прошептала она. — О! Повелитель мира, государь, вы должны были это сказать.

— Я сказал что мог, — ответил он медленно и на мгновение взял ее протянутую руку.

Человек в желтом очутился возле них. Никто не видал, как он подошел. Он сказал им, что юго-западные части уже выступили.

— Я не ожидал этого так скоро! — кричал он. — Они сделали чудеса. Вы должны послать им слово одобрения, чтобы поддержать их.

Грехэм рассеянно взглянул на него, словно не понимая, о чем идет речь. Но вдруг он вспомнил, и прежняя тревога относительно летательных станций снова вернулась к нему.

— Да, — сказал он. — Это хорошо, очень хорошо. Скажите же им: «Хорошо сделано, юго-запад!»

Он снова посмотрел на Элен. Его лицо отражало борьбу, которая происходила в нем.

— Мы должны захватить летательные станции, — пояснил он. — Если мы этого не сделаем, то они высадят негров. Мы во что бы то ни стало должны предупредить это...

Но произнося эти слова, он уже почувствовал, что говорит не то, что было у него в уме за мгновение перед этим. Он заметил легкое изумление в ее глазах. Она как будто собиралась что-то сказать, но пронзительный звон заглушил ее голос.

Грехэму тотчас же пришло в голову: она ждала от него, что он будет предводительствовать народами и что именно это он и должен был сделать!

Он обратился к человеку в желтом и сказал ему. Но говорил он для нее и видел радость в ее глазах!

— Здесь я ничего не сделаю, — заметил он.

— Это невозможно! — протестовал человек в желтом. — Ваше место здесь...

Он начал подробно объяснять ему и указал комнату, где он должен был ждать.

— Иначе поступать нельзя, — сказал он. — Мы должны знать, где вы находитесь. Каждую минуту может наступить кризис, и потребуется ваше присутствие и ваше решение.

В его уме пронеслась картина великой драматической борьбы масс, происходившей здесь, в развалинах. Но теперь грандиозного зрелища не будет. Ему остается только ждать в уединении и тревоге — ждать того, что будет!

Только после полудня ему удалось получить некоторое представление о битве, невидимой и неслышной, бушевавшей в четырех милях от него, под Рогемптонской станцией. Странное и небывалое сражение, распадавшееся на сотни тысяч маленьких битв, происходивших среди сети путей и каналов, где люди сражались, не видя ни неба, ни солнца, в сиянии электрического света, сражались в полном беспорядке, как не обученные военному делу и поощряемые только отдельными возгласами. Это были народные массы, отупевшие под влиянием бессмысленного труда и обессиленные двухвековым рабством, доставлявшим им обеспеченное существование. Они сражались с массами, деморализованными чувственной распущенностью и продажными привилегиями, которыми они пользовались. У них не было ни артиллерии, ни разделений по родам оружия. И с той, и с другой стороны единственным оружием был маленький зеленый металлический карабин, тайное изготовление которого и внезапная раздача в огромных количествах были одним из главных актов Острога, действовавшего против Совета. Но мало кто имел какое-нибудь понятие о том, как надо обращаться с таким оружием. Многие еще ни разу не держали его в руках раньше, другие же явились без снарядов. Более дикой стрельбы еще не бывало в истории войн! Это была битва добровольцев, не бывавших на войне, отвратительная бойня, где люди учились военному делу на опыте. Вооруженные мятежники, подстрекаемые

словами и дикими звуками Песни Восстания, сражались с такими же вооруженными мятежниками и, побуждаемые сочувствием других, бросались бесчисленными толпами к узким путям, по испорченным лифтам к галереям, скользким от крови, к залам и проходам, наполненным дымом, вблизи летательных станций и там на опыте знакомились, когда отступление было отрезано, с древними мистериями войны...

А вверху, за исключением нескольких искусных стрелков на крыше и нескольких полосок и клубов дыма и пара, ничто не смущало ясности дня. Только к вечеру число их увеличилось, и они сгустились и потемнели. Острог, по-видимому, не имел в своем распоряжении бомб, в ранних же стадиях битвы летательные машины не принимали участия. Ни единое облачко не омрачало блестящей синевы неба, которое оставалось пустынным, точно застыло в ожидании появления аэропланов.

Известия о них приходили из разных пунктов, все более и более близких: сначала из испанских городов, потом из Франции. Но о новых пушках, отлитых Острогом, которые должны были находиться в городе, Грехэм ничего не узнал, несмотря на свои настойчивые расспросы. Не было также получено никаких известий о каком-либо успехе в битвах, охвативших кольцом летательные станции. Секции Рабочего общества одна за другой извещали о том, что они выступили в поход, затем о них не было больше никаких известий, и они исчезали внизу в лабиринте боя.

Что же происходило там? Даже деятельные вожди отдельных частей не знали ничего!

Несмотря на стук отворяемых и затворяемых дверей, на голоса торопливых гонцов, на звон колокольчиков и постоянную трескотню передающих приборов, Грехэм все же чувствовал себя изолированным и как-то странно бездеятельным и бесполезным.

И изолированность в эти минуты казалась ему временами наиболее странной и неожиданной вещью из всего того, что ему пришлось пережить после своего пробуждения. В этом было нечто, напоминавшее ему ту неподвижность, которую человек испытывает во сне. Оглушительный шум и неожиданное открытие, что между ним и Острогом разгорелась мировая борьба, и затем это заключение в тихой маленькой комнате, с ее говорильными и звуковыми приборами и разбитым зеркалом!..

Вот закрывается дверь, и Грехэм и Элен остаются одни,

отделенные от этой небывалой мировой бури, бушующей снаружи, и чувствующие только присутствие друг друга и занятые только друг другом! Но когда вновь открывается дверь и входят гонцы или резкий звон нарушает спокойствие их убежища, то это производит такое впечатление, словно ураганом внезапно раскрывается окно в хорошо освещенном и прочно выстроенном доме. Тогда к ним врываются мрачная суетливость, суматоха, напряжение и ярость борьбы и на время захватывают их.

Но они были не участниками событий, а только простыми зрителями и лишь воспринимали впечатления этой страшной борьбы. И даже самим себе они казались не реальными, а какими-то бесконечно малыми изображениями жизни. Единственно реальными были: город, трепещущий, гудящий, охваченный яростью, и аэропланы, неуклонно стремящиеся к нему через воздушные пространства...

Несколько минут они ничего не слышали, между тем за дверью послышался топот и раздались крики. Девушка вздрогнула и вся превратилась в напряженное внимание.

— Что это? — закричала она и вскочила, безмолвная, сомневающаяся, но уже торжествующая.

Грехэм тоже услышал. Металлические голоса кричали: «Победа!»

В комнату, быстро отдернув портьеры, вбежал человек в желтом, растрепанный и дрожащий от сильнейшего волнения.

— Победа! — кричал он. — Победа! Народ одолевает. Люди Острога поддались!

Элен привстала.

— Победа? — переспросила она.

— Что такое? — спросил Грехэм. — Скажите, что такое?

— Мы вытеснили их из нижних галерей в Норвуде, Стритхэм весь в огне, а Рогемптон наш!.. Наш!.. И мы захватили моноплан.

Раздался пронзительный звон. Из комнаты начальников отдельных частей вышел взволнованный седой человек.

— Все кончено! — крикнул он.

— Что из того, что Рогемптон в наших руках! Аэропланы уже показались в Булони!

— Канал, — сказал человек в желтом и быстро сделал подсчет.

— Через полчаса.

— В их руках еще три летательные станции, — сказал седой человек.

— А пушки? — вскричал Грехэм.

— Мы не можем их снарядить в полчаса.

— Значит, они найдены?

— Слишком поздно, — сказал старик.

— Если бы их можно было задержать еще хоть на полчаса! — воскликнул человек в желтом.

— Ничто не может остановить их теперь, — заметил старик. — У них почти сто монопланов в первом отряде.

— Еще один час? — спросил Грехэм.

— Быть так близко от победы... теперь, когда мы нашли пушки! — вскрикнул человек в желтом. — Так близко!.. Если б мы могли поднять их на крыши!

— А сколько времени потребуется на это? — внезапно спросил Грехэм.

— Час, конечно.

— Слишком поздно! — вскричал начальник части. — Слишком поздно!

— Слишком поздно? — переспросил Грехэм. — Даже теперь... Ведь только час!

У него вдруг блеснула мысль о возможности найти выход. Он старался говорить спокойно, но лицо его было бледно.

— У нас есть еще один шанс. Вы говорили, что там есть моноплан? — спросил Грехэм.

— Да, на Рогемптонской станции, сэр.

— Испорчен?

— Нет. Он лежит поперек дороги. Поставить его на рельсы не стоит труда. Но у нас нет аэронавтов!

Грехэм посмотрел на них и на Элен и, помолчав, опять спросил:

— У нас нет аэронавтов?

— Ни одного.

— Аэропланы неповоротливы в сравнении с монопланами, — сказал он задумчиво.

Он внезапно повернулся к Элен. Его решение было принято.

— Я должен это сделать! — сказал он.

— Что такое? — спросила она.

— Я должен пойти на эту летательную станцию, где лежит моноплан.

— Что же вы хотите сделать?

— Я ведь аэронавт. Во всяком случае... эти дни, за которые вы упрекали меня, не пропали даром!

Он повернулся к человеку в желтом и сказал:

— Велите им поставить моноплан на рельсы.

Человек в желтом стоял в нерешительности.

— Что вы хотите сделать? — вскричала Элен.

— Ведь моноплан... это для нас еще один шанс...

— Неужели вы хотите?..

— Сражаться, да. Сражаться в воздухе. Я уже думал об этом раньше. Аэропланы ведь неповоротливы. Какой-нибудь решительный человек...

— Но никогда, с тех пор как началось воздухоплавание!.. — воскликнул человек в желтом.

— Не было надобности, — перебил его Грехэм. — А теперь время пришло. Скажите им это... передайте мое приказание... пусть поставят моноплан на рельсы.

Старик с немым вопросом взглянул на человека в желтом, потом кивнул головой и поспешил вон из комнаты.

Элен подошла к Грехэму. Она была бледна как смерть.

— Как? Разве один человек может сражаться? Ведь вас убьют!..

— Быть может. Но если не сделать этого... или заставить кого-нибудь другого попытаться...

— Но вас убьют, — повторила она.

— Я уже сказал свое слово. Разве вы не видите? Нужно спасти Лондон.

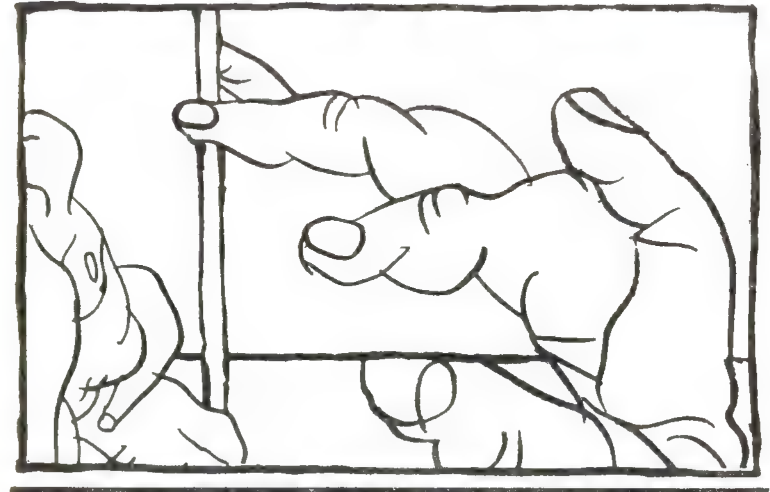
Он замолчал. Говорить он больше не мог, только сделал жест, означающий, что нет другого выбора. Они молча посмотрели друг на друга.

Ничего не произошло между ними; ни объятий, ни прощания, мысль о личной любви отошла в сторону перед жестокой необходимостью действовать. Ее лицо выразило нежность и одобрение. Легким движением руки она указала ему его судьбу.

Он повернулся к человеку в желтом.

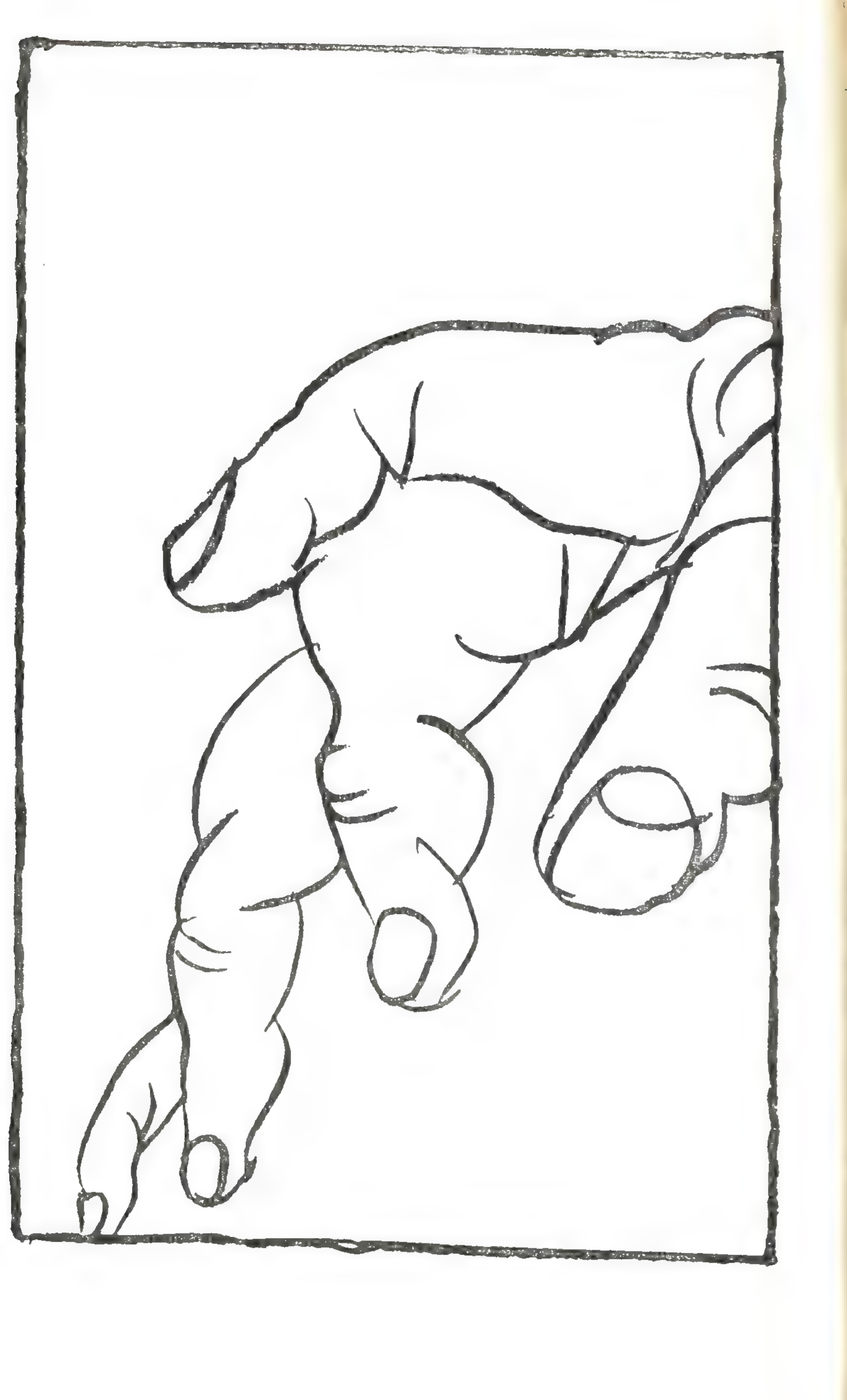
— Я готов, — сказал он.

ОЛДОС ХАКСЛИ



О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР

Перевод О. Сороки



Предисловие

Затяжное самогрызенье, по согласному мнению всех моралистов, является занятием самым нежелательным. Поступив скверно, раскайся, загладь, насколько можешь, вину и нацель себя на то, чтобы в следующий раз поступить лучше. Ни в коем случае не предавайся нескончаемой скорби над своим грехом. Барахтанье в дерьме — не лучший способ очищения.

В искусстве тоже существуют свои этические правила, и многие из них тождественны или, во всяком случае, аналогичны правилам морали житейской. К примеру, нескончаемо каяться что в грехах поведения, что в грехах литературных — одинаково малополезно. Упущения следует выискивать и, найдя и признав, по возможности не повторять их в будущем. Но бесконечно корпеть над изъянами двадцатилетней давности, доводить с помощью заплаток старую работу до совершенства, не достигнутого изначально, в зрелом возрасте пытаться править ошибки, совершенные и завещанные тебе тем другим человеком, каким ты был в молодости, безусловно, пустая и напрасная затея. Вот почему этот новоиздаваемый «О дивный новый мир» ничем не отличается от прежнего. Дефекты его как произведения искусства существенны; но, чтобы исправить их, мне пришлось бы переписать вещь заново — и в процессе этой переписки, как человек постаревший и ставший другим, я бы, вероятно, избавил книгу не только от коекаких недостатков, но и от тех достоинств, которыми книга обладает. И потому, преодолев соблазн побарахтаться в литературных скорбях, предпочитаю оставить все, как было, и нацелить мысль на что-нибудь иное.

Стоит, однако, упомянуть хотя бы о самом серьезном дефекте книги, который заключается в следующем. Дикарю предлагают лишь выбор между безумной жизнью в Утопии и первобытной жизнью в индейском селении, более человеческой в некоторых отношениях, но в других — едва ль менее странной и ненормальной. Когда я писал эту книгу,

мысль, что людям на то дана свобода воли, чтобы выбирать между двумя видами безумия, — мысль эта казалась мне забавной и, вполне возможно, верной. Для пущего эффекта я позволил, однако, речам Дикаря часто звучать разумней, чем то вяжется с его воспитанием в среде приверженцев религии, представляющей собой культ плодородия пополам со свирепым культом penitente *. Даже знакомство Дикаря с твореньями Шекспира неспособно в реальной жизни оправдать такую разумность речей. В финале-то он у меня отбрасывает здравомыслие; индейский культ завладевает им снова, и он, отчаявшись, кончает исступленным самобичеванием и самоубийством. Таков был плачевный конец этой притчи — что и требовалось доказать усмешливому скептику-эстету, каким был тогда автор книги.

Сегодня я уже не стремлюсь доказать недостижимость здравомыслия. Напротив, хоть я и ныне печально сознаю, что в прошлом оно встречалось весьма редко, но убежден, что его можно достичь, и желал бы видеть побольше здравомыслия вокруг. За это свое убеждение и желание, выраженные в нескольких недавних книгах, а главное, за то, что я составил антологию высказываний здравомыслящих людей о здравомыслии и о путях его достижения, я удостоился награды: известный ученый критик оценил меня как грустный симптом краха интеллигенции в годину кризиса. Понимать это следует, видимо, так, что сам профессор и его коллеги являют собой радостный симптом успеха. Благодетелей человечества до́лжно чествовать и увековечивать. Давайте же воздвигнем Пантеон для профессуры. Возведем его на пепелище одного из разбомбленных городов Европы или Японии, а над входом в усыпальницу я начертал бы двухметровыми буквами простые слова: «Посвящается памяти ученых воспитателей планеты. Si monumentum requiris circumspice»[1].

Но вернемся к теме будущего... Если бы я стал сейчас переписывать книгу, то предложил бы Дикарю третий вариант. Между утопической и первобытной крайностями легла бы у меня возможность здравомыслия — возможность, отчасти уже осуществленная в сообществе изгнанников и беглецов из Дивного нового мира, живущих в пределах Резервации. В этом сообществе экономика велась бы в духе децентрализма и Генри Джорджа * политика — в духе Кропоткина * и кооперативизма. Наука и техника применялись бы по принципу «суббота для чело-

[1] Если ищешь памятник — оглядись вокруг (*лат.*).

века, а не человек для субботы», то есть приспособлялись бы к человеку, а не приспособляли и порабощали его (как в нынешнем мире, а тем более в Дивном новом мире). Религия была бы сознательным и разумным устремлением к Конечной Цели человечества, к единящему познанию имманентного Дао или Лагоса *, трансцендентального Божества или Брахмана. А господствующей философией была бы разновидность Высшего Утилитаризма, в которой принцип Наибольшего Счастья отступил бы на второй план перед принципом Конечной Цели, — так что в каждой жизненной ситуации ставился и решался бы прежде всего вопрос: «Как данное соображение или действие помогут (или помешают) мне и наибольшему возможному числу других личностей в достижении Конечной Цели человечества?»

Выросший среди людей первобытных, Дикарь (в этом гипотетическом новом варианте романа), прежде чем быть перенесенным в Утопию, получил бы возможность непосредственно ознакомиться с природой общества, состоящего из свободно сотрудничающих личностей, посвятивших себя осуществлению здравомыслия. Переделанный подобным образом, «О дивный новый мир» обрел бы художественную и (если позволено употребить такое высокое слово по отношению к роману) философскую законченность, которой в теперешнем своем виде он явно лишен.

Но «О дивный новый мир» — это книга о будущем, и, каковы бы ни были ее художественные или философские качества, книга о будущем способна интересовать нас, только если содержащиеся в ней предвидения склонны осуществиться. С нынешнего временно́го пункта новейшей истории — через пятнадцать лет нашего дальнейшего сползанья по ее наклонной плоскости — оправданно ли выглядят те предсказания? Подтверждаются или опровергаются сделанные в 1931 году прогнозы горькими событиями, произошедшими с тех пор?

Одно крупнейшее упущение немедленно бросается в глаза. В «О дивном новом мире» ни разу не упомянуто о расщеплении атомного ядра. И это, в сущности, довольно странно, ибо возможности атомной энергии стали популярной темой разговоров задолго до написания книги. Мой старый друг, Роберт Николз *, даже сочинил об этом пьесу, шедшую с успехом, и вспоминаю, что сам я вскользь упомянул о ней в романе, вышедшем в конце двадцатых годов. Так что, повторяю, кажется весьма странным, что в

седьмом столетии эры Форда ракеты и вертопланы работают не на атомном топливе. Хоть упущенье это и малопростительно, оно, во всяком случае, легко объяснимо. Темой книги является не сам по себе прогресс науки, а то, как этот прогресс влияет на личность человека. Победы физики, химии, техники молча принимаются там как нечто само собою разумеющееся. Конкретно изображены лишь те научные успехи, те будущие изысканья в сфере биологии, физиологии и психологии, результаты которых непосредственно применены у меня к людям. Жизнь может быть радикально изменена в своем качестве только с помощью наук о жизни. Науки же о материи, употребленные определенным образом, способны уничтожить жизнь либо сделать ее донельзя сложной и тягостной; но только лишь как инструменты в руках биологов и психологов могут они видоизменить естественные формы и проявления жизни. Освобождение атомной энергии означает великую революцию в истории человечества, но не наиглубиннейшую и окончательную (если только мы не взорвем, не разнесем себя на куски, тем положив конец истории).

Революцию действительно революционную осуществить возможно не во внешнем мире, а лишь в душе и теле человека. Живя во времена Французской революции, маркиз де Сад *, как и следовало ожидать, использовал эту теорию революций, дабы придать внешнюю разумность своей разновидности безумия. Робеспьер осуществил революцию самую поверхностную — политическую. Идя несколько глубже, Бабёф попытался произвести экономическую революцию *. Сад же считал себя апостолом действительно революционной революции, заходящей за пределы политики и экономики, — революции внутри каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка, чьи тела отныне стали бы общим сексуальным достоянием, а души были бы очищены от всех естественных приличий, от всех с таким трудом усвоенных запретов традиционной цивилизации. Понятно, что между ученьем Сада и поистине революционной революцией нет непременной или неизбежной связи. Сад был безумен, и задуманная им революция имела своей сознательной или полусознательной целью всеобщий хаос и уничтожение. Пусть тех, кто управляет Дивным новым миром, и нельзя назвать разумными (в абсолютном, так сказать, смысле этого слова); но они не безумцы, и цель их — не анархия, а социальная стабильность. Именно для того, чтобы достичь стабильности, и осуществляют они научными

средствами последнюю, внутриличностную, поистине революционную революцию.

Но покамест мы находимся в первой фазе того, что является, пожалуй, предпоследней революцией. Следующей ее фазой может стать атомная война, и в этом случае прогнозы будущего нам будут уже ни к чему. Но не исключено, что у нас хватит здравого смысла если уж не отказаться от военных действий полностью, то хоть вести себя столь же рассудительно, как наши предки в восемнадцатом веке. Невообразимые ужасы Тридцатилетней войны * преподали тогда людям урок, и затем на протяжении столетия с лишним европейские политики и генералы сознательно противились соблазну употребить свои военные ресурсы во всю их истребительную мощь либо (в большинстве конфликтов) продолжать сражаться вплоть до полного уничтожения противника. Они были, конечно, агрессорами, жадными до наживы и славы; но они были также и консерваторами, намеренными во что бы то ни стало сохранить свой мир в целости и дееспособности. Теперь же, последние лет тридцать, консерваторов уже нет; есть только радикальные националисты правого и левого толка. Последним консерватором среди государственных деятелей был пятый маркиз Лэнсдаун *; и когда он послал письмо в «Таймс» с предложением, чтобы воюющие стороны кончили первую мировую войну компромиссом, подобным тем, какими кончалась бо́льшая часть войн восемнадцатого столетия, то редактор этой в прошлом консервативной газеты отказался письмо напечатать. Радикальные националисты повели дело по-своему, и последствия всем нам известны: большевизм, фашизм, инфляция, кризис, Гитлер, вторая мировая война и голод почти всемирный.

Итак, допуская, что мы способны извлечь такой же урок из Хиросимы, как наши предки — из Магдебурга *, мы можем надеяться на ждущий нас период пусть и не мира, но ограниченных и несущих лишь частичное разрушение войн. Позволительно предположить, что в течение этого периода ядерная энергия будет взнуздана — применена в промышленности. Ясно, что это приведет к ряду экономических и социальных перемен, небывало быстрых и всеобъемлющих. Весь существующий уклад человеческой жизни будет порушен, и придется спешно создать новый, согласующийся с нечеловеческим фактом атомной энергии. Ученый-атомщик, этот Прокруст в современном одеянье *, приготовит ложе, на котором назначено улечься челове-

честву; и если ложе это будет не по мерке, тем хуже для человечества. Придется человека обрубать, растягивать — с тех пор как прикладная наука по-настоящему взялась за свое дело, к этому и прежде постоянно прибегали, но на сей раз ампутации и растяжки предстоят нам куда более радикальные. Руководить этими весьма болезненными операциями будут высокоцентрализованные тоталитарные правительства. Уж это неизбежно, ибо близкому будущему присуща схожесть с недавним прошлым, а в недавнем прошлом быстрые технологические перемены, происходившие в условиях массового производства среди населения в основном неимущего, всегда склонны были порождать экономическую и социальную сумятицу. А чтобы справиться с ней, власть централизовалась и контроль правительства усиливался. Вероятно, все правительства мира станут полностью или почти полностью тоталитарными еще даже до взнуздания атомной энергии; а что они будут тоталитарными во время и после этого взнуздания, кажется почти несомненным. Только широкомасштабное народное движение к децентрализации и самопомощи может остановить современную тенденцию к этатизму. Но в данный момент не видно признаков такого движения.

Разумеется, новый тоталитаризм вовсе не обязан походить на старый. Управление с помощью дубинок и расстрелов, искусственно созданного голода, массового заключения в тюрьмы и массовых депортаций является не просто бесчеловечным (никто теперь особо не заботится о человечности), но и явно неэффективным, а в наш век передовой техники неэффективность, непроизводительность — это грех перед Святым Духом. В тоталитарном государстве по-настоящему эффективном всемогущая когорта политических боссов и подчиненная им армия администраторов будут править населением, состоящим из рабов, которых не надобно принуждать, ибо они любят свое рабство. Задача воспитания в них этой любви возложена в нынешних тоталитарных государствах на министерства пропаганды, на редакторов газет и на школьных учителей. Но методы их все еще грубы и ненаучны. Старое утверждение иезуитов, будто каждый воспитанный ими ребенок навсегда сохранит внедренные в него религиозные взгляды, было всего лишь похвальбой. А современный педагог, пожалуй, намного слабей в деле привития своим ученикам условных рефлексов, чем преподобные отцы, воспитавшие Вольтера *. Наибольшие триумфы пропаганды достигнуты

не путем внедрения, а путем умолчания. Велика сила правды, но еще могущественнее — с практической точки зрения — умолчание правды. Просто-напросто замалчивая определенные темы, отгораживая массы «железным занавесом» (как выразился м-р Черчилль*) от тех фактов или аргументов, которые рассматриваются местными политическими боссами как нежелательные, тоталитаристские пропагандисты влияют на мнения гораздо действеннее, чем с помощью самых красноречивых обличений, самых убедительных логических опровержений. Но умолчания недостаточно. Чтобы обойтись без преследований, ликвидаций и других симптомов социального конфликта, надо позитивные аспекты пропаганды сделать столь же действенными, как и негативные. Самыми важными «манхэттенскими проектами»* грядущего будут грандиозные, организованные правительствами исследования того, что политики и привлеченные к участию научные работники назовут «проблемой счастья», имея в виду проблему привития людям любви к рабству. Однако любовь к рабству недостижима при отсутствии экономической обеспеченности; в целях краткости я делаю здесь допущение, что всемогущей исполнительной власти и ее администраторам удастся разрешить проблему этой постоянной обеспеченности. Но к обеспеченности люди очень быстро привыкают и начинают считать ее в порядке вещей. Достижение обеспеченности — это лишь внешняя, поверхностная революция. Любовь к рабству может утвердиться только как результат глубинной, внутриличностной революции в людских душах и телах. Чтобы осуществить эту революцию, нам требуются, в числе прочих, следующие открытия и изобретения. Во-первых, значительно усовершенствованные методы внушения — через привитие малым детям условных рефлексов и, для старших возрастов, применение таких лекарственных средств, как скополамин. Во-вторых, детально разработанная наука о различиях между людьми, которая позволит государственным администраторам определять каждого человека на подходящее ему (или ей) место в общественной и экономической иерархии. (Люди неприкаянные, чувствующие себя не на месте, склонны питать опасные мысли о социальном строе и заражать других своим недовольством.) В-третьих (поскольку люди частенько ощущают нужду в отдыхе от действительности, какой бы утопической она ни была), заменитель алкоголя и других наркотиков, и менее вред-

ный, и дающий большее наслаждение, чем джин или героин. И в-четвертых (но это будет долговременный проект — понадобятся многие десятилетия тоталитарного контроля, чтобы успешно выполнить его), надежная система евгеники *, предназначенная для того, чтобы стандартизовать человека и тем самым облегчить задачу администраторов. В «О дивном новом мире» эта стандартизация изготовляемых людей доведена до фантастических — хотя, наверно, и осуществимых — крайностей. В техническом и идеологическом отношении нам еще предстоит немалый путь до обутыленных младенцев и выпускаемых серийно, методом Бокановского, полукретинов. Но и не такое может осуществиться к шестисотому году эры Форда! Что же касается первых трех черт этого более счастливого и стабильного мира, то эквиваленты сомы, обучения во сне и научной системы каст отстоят от нас, вероятно, не дальше, чем на три-четыре поколения. Да и сексуальный промискуитет [1] «О дивного нового мира» не столь уж от нас отдален. Уже и сейчас в некоторых крупных городах Соединенных Штатов число разводов сравнялось с числом браков. Пройдет немного лет, и, без сомнения, можно будет покупать разрешение на брак, подобно разрешению держать собаку, сроком на год, причем вы будете вольны менять свою собаку или держать нескольких одновременно. По мере того как политическая и экономическая свобода уменьшается, свобода сексуальная имеет склонность возрастать в качестве компенсации. И диктатор (если он не нуждается в пушечном мясе либо в семьях для колонизации безлюдных или завоеванных территорий) умно поступит, поощряя сексуальную свободу. В сочетании со свободой грезить под действием наркотиков, кинофильмов и радиопрограмм она поможет примирить подданных с рабством, на которое те обречены.

Если все это учесть, то похоже, что Утопия гораздо ближе к нам, чем кто-либо мог вообразить всего пятнадцать лет назад. Тогда она виделась мне в дальнем будущем, через шесть столетий. Сейчас мне кажется вполне возможным, что не пройдет и сотни лет, как мы очутимся во власти этого кошмара. При условии, конечно, что прежде не разнесем себя на мелкие кусочки. По сути дела, если мы не изберем путь децентрализации и прикладную

---

[1] Ничем не ограниченные отношения между полами. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

науку не станем применять как средство для создания сообщества свободных личностей (а не как цель, для которой люди назначены служить лишь средством), то нам останутся только два варианта: либо некое число национальных, милитаризованных тоталитарных государств, имеющих своим корнем страх перед атомной бомбой, а следствием своим — гибель цивилизации (или, если военные действия будут ограничены, увековечение милитаризма), либо же одно наднациональное тоталитарное государство, порожденное социальным хаосом — результатом быстрого технического прогресса вообще и атомной революции в частности; и государство это под воздействием нужды в эффективности и стабильности разовьется в благоденственную тиранию, воплощенную в Утопии. Плати, хозяин, деньги и бери, которую из трех облюбовал.

1946

Но утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать окончательного их осуществления [...] Утопии осуществимы. [...] Жизнь движется к утопиям. И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к не утопическому обществу, к менее «совершенному» и более свободному обществу.

Николай Бердяев

Глава первая

Серое приземистое здание всего лишь в тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись «ЦЕНРАЛЬНО-ЛОНДОНСКИЙ ИНКУБАТОРИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» и на геральдическом щите девиз Мирового Государства: «ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ».

Огромный зал на первом этаже обращен окнами на север, точно художественная студия. На дворе лето, в зале и вовсе тропически жарко, но по-зимнему холоден и водянист свет, что жадно течет в эти окна в поисках живописно драпированных манекенов или нагой натуры, пусть блеклой и пупырчатой, — и находит лишь никель, стекло, холодно блестящий фарфор лаборатории. Зиму встречает зима. Белы халаты лаборантов, на руках пер-

чатки из белесой, трупного цвета резины. Свет заморожен, мертвен, призрачен. Только на желтых тубусах микроскопов он как бы сочнеет, заимствуя живую желтизну, словно сливочным маслом мажет эти полированные трубки, вставшие длинным строем на рабочих столах.

— Здесь у нас Зал оплодотворения, — сказал Директор Инкубатория и Воспитательного Центра, открывая дверь.

Склонясь к микроскопам, триста оплодотворителей были погружены в тишину почти бездыханную, разве что рассеянно мурлыкнет кто-нибудь или посвистит себе под нос в отрешенной сосредоточенности. По пятам за Директором робко и не без подобострастия следовала стайка новоприбывших студентов, юных, розовых и неоперившихся. При каждом птенце был блокнот, и, как только великий человек раскрывал рот, студенты принимались яро строчить карандашами. Из мудрых уст — из первых рук. Не каждый день такая привилегия и честь. Директор Центрально-Лондонского ИВЦ считал всегдашним своим долгом самолично провести студентов-новичков по залам и отделам. «Чтобы дать вам общую идею», — пояснял он цель обхода. Ибо, конечно, общую идею хоть какую-то дать надо — для того, чтобы делали дело с пониманием, — но дать лишь в минимальной дозе, иначе из них не выйдет хороших и счастливых членов общества. Ведь как всем известно, если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частностей; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом. Не философы, а собиратели марок и выпиливатели рамочек составляют становой хребет общества.

— Завтра, — прибавлял он, улыбаясь им ласково и чуточку грозно, — наступит пора приниматься за серьезную работу. Для обобщений у вас не останется времени. Пока же...

Пока же честь оказана большая. Из мудрых уст — и прямиком в блокноты. Юнцы строчили как заведенные.

Высокий, сухощавый, но нимало не сутулый, Директор вошел в зал. У Директора был длинный подбородок, крупные зубы слегка выпирали из-под свежих, полных губ. Стар он или молод? Тридцать ему лет? Пятьдесят? Пятьдесят пять? Сказать было трудно. Да и не возникал у вас этот вопрос; ныне, на 632-м году эры стабильности, эры Форда, подобные вопросы в голову не приходили.

— Начнем с начала, — сказал Директор, и самые

усердные юнцы тут же запротоколировали: «Начнем с начала». — Вот здесь, — указал он рукой, — у нас инкубаторы. — Открыл теплонепроницаемую дверь, и взорам предстали ряды нумерованных пробирок — штативы за штативами, стеллажи за стеллажами. — Недельная партия яйцеклеток. Хранятся, — продолжал он, — при 37 градусах; что же касается мужских гамет, — тут он открыл другую дверь, — то их надо хранить при тридцати пяти. Температура крови обесплодила бы их. (Барана ватой обложив, приплода не получишь.)

И, не сходя с места, он приступил к краткому изложению современного оплодотворительного процесса — а карандаши так и забегали, неразборчиво строча, по бумаге; начал он, разумеется, с хирургической увертюры к процессу — с операции, «на которую ложатся добровольно, ради блага общества, не говоря уже о вознаграждении, равном полугодовому окладу»; затем коснулся способа, которым сохраняют жизненность и развивают продуктивность вырезанного яичника; сказал об оптимальных температуре, вязкости, солевом содержании; о питательной жидкости, в которой хранятся отделенные и вызревшие яйца; и, подведя своих подопечных к рабочим столам, наглядно познакомил с тем, как жидкость эту набирают из пробирок; как выпускают капля за каплей на специально подогретые предметные стекла микроскопов, как яйцеклетки в каждой капле проверяют на дефекты, пересчитывают и помещают в пористый яйцеприемничек; как (он провел студентов дальше, дал понаблюдать и за этим) яйцеприемник погружают в теплый бульон со свободно плавающими сперматозоидами, концентрация которых, подчеркнул он, должна быть не ниже ста тысяч на миллилитр; и как через десять минут приемник вынимают из бульона и содержимое опять смотрят; как, если не все яйцеклетки оказались оплодотворенными, сосудец снова погружают, а потребуется, то и в третий раз; как оплодотворенные яйца возвращают в инкубаторы и там альфы и беты остаются вплоть до укупорки, а гаммы, дельты и эпсилоны через тридцать шесть часов снова уже путешествуют с полок для обработки по методу Бокановского.

— По методу Бокановского, — повторил Директор, и студенты подчеркнули в блокнотах эти слова.

Одно яйцо, один зародыш, одна взрослая особь — вот схема природного развития. Яйцо же, подвергаемое бокановскизации, будет пролиферировать — почковаться.

Оно даст от восьми до девяноста шести почек, и каждая почка разовьется в полностью оформленный зародыш, и каждый зародыш — во взрослую особь обычных размеров. И получаем девяносто шесть человек, где прежде вырастал лишь один. Прогресс!

— По существу, — говорил далее Директор, — бокановскизация состоит из серии процедур, угнетающих развитие. Мы глушим нормальный рост, и, как это ни парадоксально, в ответ яйцо почкуется.

«Яйцо почкуется», — строчили карандаши.

Он указал направо. Конвейерная лента, несущая на себе целую батарею пробирок, очень медленно вдвигалась в большой металлический ящик, а с другой стороны ящика выползала батарея уже обработанная. Тихо гудели машины.

— Обработка штатива с пробирками длится восемь минут, — сообщил Директор. — Восемь минут жесткого рентгеновского облучения — для яиц это предел, пожалуй. Некоторые не выдерживают, гибнут; из остальных самые стойкие разделяются надвое; большинство дает четыре почки; иные даже восемь; все яйца затем возвращаются в инкубаторы, где почки начинают развиваться; затем, через двое суток, их внезапно охлаждают, тормозя рост. В ответ они опять пролиферируют — каждая почка дает две, четыре, восемь новых почек, и тут же их чуть не насмерть глушат спиртом; в результате они снова, в третий раз, почкуются, после чего уж им дают спокойно развиваться, ибо дальнейшее глушение роста приводит, как правило, к гибели. Итак, из одного первоначального яйца имеем что-нибудь от восьми до девяноста шести зародышей — согласитесь, улучшение природного процесса фантастическое. Причем это однояйцевые, тождественные близнецы — и не жалкие двойняшки или тройняшки, как в прежние живородящие времена, когда яйцо по чистой случайности изредка делилось, а десятки близнецов.

— Десятки, — повторил Директор, широко распахивая руки, точно одаряя благодатью. — Десятки и десятки.

Один из студентов оказался, однако, до того непонятлив, что спросил, а в чем тут выгода.

— Милейший юноша! — Директор обернулся к нему круто. — Неужели вам неясно? Неужели не-яс-но? — Он вознес руку; выражение лица его стало торжественным. — Бокановскизация — одно из главнейших орудий общественной стабильности.

«Главнейших орудий общественной стабильности», — запечатлелось в блокнотах.

Она дает стандартных людей. Равномерными и одинаковыми порциями. Целый небольшой завод комплектуется выводком из одного бокановскизированного яйца.

— Девяносто шесть тождественных близнецов, работающих на девяноста шести тождественных станках! — Голос у Директора слегка вибрировал от воодушевления. — Тут уж мы стоим на твердой почве. Впервые в истории. «Общность, Одинаковость, Стабильность», — проскандировал он девиз планеты. Величественные слова. — Если бы можно было бокановскизировать беспредельно, то решена была бы вся проблема.

Ее решили бы стандартные гаммы, тождественные дельты, одинаковые эпсилоны. Миллионы однояйцевых, единообразных близнецов. Принцип массового производства, наконец-то примененный в биологии.

— Но, к сожалению, — покачал Директор головой, — идеал недостижим, беспредельно бокановскизировать нельзя.

Девяносто шесть — предел, по-видимому; а хорошая средняя цифра — семьдесят два. Приблизиться же к идеалу (увы, лишь приблизиться) можно единственно тем, чтобы производить побольше бокановскизированных выводков от гамет одного самца, из яйцеклеток одного яичника. Но даже и это непросто.

— Ибо в природных условиях на то, чтобы яичник дал две сотни зрелых яиц, уходит тридцать лет. Нам же требуется стабилизация народонаселения безотлагательно и постоянно. Производить близнецов через год по столовой ложке, растянув дело на четверть столетия, — куда это годилось бы?

Ясно, что никуда бы это не годилось. Однако процесс созревания в огромной степени ускорен благодаря методике Подснапа. Она обеспечивает получение от яичника не менее полутораста зрелых яиц в короткий срок — в два года. А оплодотвори и бокановскизируй эти яйца — иначе говоря, умножь на семьдесят два, — и полтораста близнецовых выводков составят в совокупности почти одиннадцать тысяч братцев и сестриц всего лишь с двухгодичной максимальной разницей в возрасте.

— В исключительных же случаях удается получить от одного яичника более пятнадцати тысяч взрослых особей.

В это время мимо проходил белокурый, румяный молодой человек. Директор окликнул его: «Мистер Фостер», сделал приглашающий жест. Румяный молодой человек подошел.

— Назовите нам, мистер Фостер, рекордную цифру производительности для яичника.

— В нашем Центре она составляет шестнадцать тысяч двенадцать, — ответил мистер Фостер без запинки, блестя живыми голубыми глазами. Он говорил очень быстро и явно рад был сыпать цифрами. — Шестнадцать тысяч двенадцать в ста восьмидесяти девяти однояйцевых выводках. Но, конечно, — продолжал он тараторить, — в некоторых тропических центрах показатели намного выше. Сингапур не раз уже переваливал за шестнадцать тысяч пятьсот, а Момбаса достигла даже семнадцатитысячного рубежа. Но разве это состязание на равных? Видели бы вы, как негритянский яичник реагирует на вытяжку гипофиза! Нас, работающих с европейским материалом, это просто ошеломляет. И все-таки, — прибавил он с добродушным смешком (но в глазах его зажегся боевой огонь, и с вызовом выпятился подбородок), — все-таки мы еще с ними потягаемся. В данное время у меня работает чудесный дельта-минусовый яичник. Всего полтора года, как задействован. А уже более двенадцати тысяч семисот детей, раскупоренных или на ленте. И по-прежнему работает вовсю. Мы их еще побьем.

— Люблю энтузиастов! — воскликнул Директор и похлопал мистера Фостера по плечу. — Присоединяйтесь к нам, пусть эти юноши воспользуются вашей эрудицией.

Мистер Фостер скромно улыбнулся:

— С удовольствием.

И все вместе они продолжили обход.

В Укупорочном зале кипела деятельность дружная и упорядоченная. Из подвалов Органохранилища на скоростных грузоподъемниках сюда доставлялись лоскуты свежей свиной брюшины, выкроенные под размер. Вззз! и затем — щелк! — крышка подъемника отскакивает; устильщице остается лишь протянуть руку, взять лоскут, вложить в бутыль, расправить, и еще не успела устланная бутыль отъехать, как уже — вззз, щелк! — новый лоскут взлетает из недр хранилища, готовый лечь в очередную из бутылей, нескончаемой вереницей следующих по конвейеру.

Тут же за устильщицами стоят зарядчицы. Лента ползет; одно за другим переселяют яйца из пробирок в бутыли:

быстрый надрез устилки, легла на место морула [1], залит солевой раствор... и уже бутыль проехала, и очередь действовать этикетчицам. Наследственность, дата оплодотворения, группа Бокановского — все эти сведения переносятся с пробирки на бутыль. Теперь уже не безымянные, а паспортизованные, бутыли продолжают медленный маршрут и через окошко в стене медленно и мерно вступают в Зал социального предопределения.

— Восемьдесят восемь кубических метров — объем картотеки! — объявил, просмаковав цифру, мистер Фостер при входе в зал.

— Здесь вся относящаяся к делу информация, — прибавил Директор.

— Каждое утро она дополняется новейшими данными.

— И к середине дня увязка завершается.

— На основании которой делаются расчеты нужных контингентов.

— Заявки на таких-то особей таких-то качеств, — пояснил мистер Фостер.

— В таких-то конкретных количествах.

— Задается оптимальный темп раскупорки на текущий момент.

— Непредвиденная убыль кадров восполняется незамедлительно.

— Незамедлительно, — подхватил мистер Фостер. — Знали бы вы, какой сверхурочной работой обернулось для меня последнее японское землетрясение! — Добродушно засмеявшись, он покачал головой.

— Предопределители шлют свои заявки оплодотворителям.

— И те дают им требуемых эмбрионов.

— И бутыли приходят сюда для детального предопределения.

— После чего следуют вниз, в Эмбрионарий.

— Куда и мы проследуем сейчас.

И, открыв дверь на лестницу, мистер Фостер первым стал спускаться в цокольный этаж.

Температура и тут была тропическая. Сгущался постепенно сумрак. Дверь, коридор с двумя поворотами и снова дверь, чтобы исключить всякое проникновение дневного света.

---

[1] Морула (от *лат.* morum — тутовая ягода) — одна из ранних стадий развития зародыша. На этой стадии он внешне напоминает ягоду тутовника.

— Зародыши подобны фотопленке, — юмористически заметил мистер Фостер, толкая вторую дверь. — Иного света, кроме красного, не выносят.

И в самом деле, знойный мрак, в который вступили студенты, рдел зримо, вишнево, как рдеет яркий день сквозь сомкнутые веки. Выпуклые бока бутылей, ряд за рядом уходивших вдаль и ввысь, играли бессчетными рубинами, и среди рубиновых отсветов двигались мглисто-красные призраки мужчин и женщин с багряными глазами и багровыми, как при волчанке, лицами. Приглушенный ропот, гул машин слегка колебал тишину.

— Попотчуйте юношей цифрами, мистер Фостер, — сказал Директор, пожелавший дать себе передышку.

Мистер Фостер с великой радостью принялся потчевать цифрами.

Длина Эмбрионария — двести двадцать метров, ширина — двести, высота — десять. Он указал вверх. Как пьющие куры, студенты задрали головы к далекому потолку.

Бесконечными лентами тянулись рабочие линии: нижние, средние, верхние. Куда ни взглянешь, уходила во мрак, растворяясь, стальная паутина ярусов. Неподалеку три красных привидения деловито сгружали бутыли с движущейся лестницы.

— Эскалатор этот — из Зала предопределения.

Прибывшая оттуда бутыль ставится на одну из пятнадцати лент, и каждая такая лента является конвейером, ползет неприметно для глаза с часовой скоростью в тридцать три и одну треть сантиметра. Двести шестьдесят семь суток, по восемь метров в сутки. Итого две тысячи сто тридцать шесть метров. Круговой маршрут внизу, затем по среднему ярусу, еще полкруга по верхнему, а на двести шестьдесят седьмое утро — Зал раскупорки и появление на свет, на дневной свет. Выход в так называемое самостоятельное существование.

— Но до раскупорки, — заключил мистер Фостер, — мы успеваем плодотворно поработать над ними. О-очень плодотворно, — хохотнул он многозначительно и победоносно.

— Люблю энтузиастов, — похвалил опять Директор. — Теперь пройдемтесь по маршруту. Потчуйте их знаниями, мистер Фостер, не скупитесь.

И мистер Фостер не стал скупиться.

Он поведал им о зародыше, растущем на своей подстилке из брюшины. Дал каждому студенту попробовать

насыщенный питательными веществами кровезаменитель, которым кормится зародыш. Объяснил, почему необходима стимулирующая добавка плацентина и тироксина. Рассказал об экстракте желтого тела. Показал инжекторы, посредством которых этот экстракт автоматически впрыскивается через каждые двенадцать метров по всему пути следования вплоть до 2040-го метра. Сказал о постепенно возрастающих дозах гипофизарной вытяжки, вводимых на финальных девяноста шести метрах маршрута. Описал систему искусственного материнского кровообращения, которой оснащается бутыль на 112-м метре, показал резервуар с кровезаменителем и центробежный насос, прогоняющий без остановки эту синтетическую кровь через плаценту, сквозь искусственное легкое и фильтр очистки. Упомянул о неприятной склонности зародыша к малокровию и о необходимых в связи с этим крупных дозах экстрактов свиного желудка и печени лошадиного эмбриона.

Показал им простой механизм, с помощью которого бутыли на двух последних метрах каждого восьмиметрового отрезка пути встряхиваются все сразу, чтобы приучить зародыши к движению. Дал понять об опасности так называемой «раскупорочной травмы» и перечислил принимаемые контрмеры — рассказал о специальной тренировке обутыленных зародышей. Сообщил об определении пола, производимом в районе 200-го метра. Привел условные обозначения: «Т» — для мужского пола, «О» — для женского, а для будущих «неплод» — черный вопросительный знак на белом фоне.

— Понятно ведь, — сказал мистер Фостер, — что в подавляющем большинстве случаев плодоспособность является только помехой. Для наших целей был бы, в сущности, вполне достаточен один плодоносящий яичник на каждые тысячу двести женских особей. Но хочется иметь хороший выбор. И, разумеется, должен всегда быть обеспечен огромный аварийный резерв плодоспособных яичников. Поэтому мы позволяем целым тридцати процентам женских зародышей развиваться нормально. Остальные же получают дозу мужского полового гормона через каждые двадцать четыре метра дальнейшего маршрута. В результате к моменту раскупорки они уже являются неплодами — в структурном отношении вполне нормальными особями (с той, правда, оговоркой, что у них чуточку заметна тенденция к волосистости щек), но неспособными давать потомство. Гарантированно, абсолютно неспособными. Что наконец-то

позволяет нам, — продолжал мистер Фостер, — перейти из сферы простого рабского подражания природе в куда более увлекательный мир человеческой изобретательности.

Он удовлетворенно потер руки.

— Вынашивать плод и корова умеет; довольствоваться этим мы не можем. Сверх этого мы предопределяем и приспособляем, формируем. Младенцы наши раскупориваются уже подготовленными к жизни в обществе — как альфы и эпсилоны, как будущие работники канализационной сети или же как будущие... — он хотел было сказать «главноуправители», но вовремя поправился: — как будущие директора инкубаториев.

Директор улыбкой поблагодарил за комплимент.

Остановились далее у ленты 11, на 320-м метре. Молодой техник, бета-минусовик, настраивал там отверткой и гаечным ключом кровенасос очередной бутыли. Он затягивал гайки, и гул электромотора понижался, густел понемногу. Ниже, ниже... Последний поворот ключа, взгляд на счетчик, и дело сделано. Затем два шага вдоль конвейера, и началась настройка следующего насоса.

— Убавлено число оборотов, — объяснил мистер Фостер. — Кровезаменитель циркулирует теперь медленнее; следовательно, реже проходит через легкое; следовательно, дает зародышу меньше кислорода. А ничто так не снижает умственно-телесный уровень, как нехватка кислорода.

— А зачем нужно снижать уровень? — спросил один наивный студент.

Длинная пауза.

— Осел! — произнес Директор. — Как это не сообразить, что у эпсилон-зародыша должна быть не только наследственность эпсилона, но и питательная среда эпсилона.

Несообразительный студент готов был сквозь землю провалиться от стыда.

— Чем ниже каста, — сказал мистер Фостер, — тем меньше поступление кислорода. Нехватка прежде всего действует на мозг. Затем на скелет. При семидесяти процентах кислородной нормы получаются карлики. А ниже семидесяти — безглазые уродцы. Которые ни к чему уж не пригодны, — отметил мистер Фостер.

— А вот изобрети мы только, — мистер Фостер взволнованно и таинственно понизил голос, — найди мы только способ сократить время взросления, и какая бы это была победа, какое благо для общества! Обратимся для сравнения к лошади.

Слушатели обратились мыслями к лошади. В шесть лет она уже взрослая. Слон взрослеет к десяти годам. А человек и к тринадцати еще не созрел сексуально; полностью же вырастает к двадцати. Отсюда, понятно, и этот продукт замедленного развития — человеческий разум.

— Но от эпсилонов, — весьма убедительно вел далее мысль мистер Фостер, — нам человеческий разум не требуется.

Не требуется, стало быть, и не формируется. Но хотя мозг эпсилона кончает развитие в десятилетнем возрасте, тело эпсилона лишь к восемнадцати годам созревает для взрослой работы. Долгие потерянные годы непроизводительной незрелости. Если бы физическое развитие можно было ускорить, сделать таким же незамедленным, как, скажем, у коровы, — какая бы гигантская получилась экономическая выгода для общества!

— Гигантская! — шепотом воскликнули студенты, зараженные энтузиазмом мистера Фостера.

Он углубился в ученые детали: повел речь об анормальной координации эндокринных желез, вследствие которой люди и растут так медленно; ненормальность эту можно объяснить зародышевой мутацией. А можно ли устранить последствия этой мутации? Можно ли с помощью надлежащей методики вернуть каждый отдельный эпсилон-зародыш к былой нормальной, как у собак и у коров, скорости развития? Вот в чем проблема. И ее уже чуть было не решили.

Пилкингтону удалось в Момбасе получить особи, половозрелые к четырем годам и вполне выросшие к шести с половиной. Триумф науки! Но в общественном аспекте бесполезный. Шестилетние мужчины и женщины слишком глупы — не справляются даже с работой эпсилонов. А метод Пилкингтона таков, что середины нет — либо все, либо ничего не получаешь, никакого сокращения сроков. В Момбасе продолжаются поиски золотой середины между взрослением в двадцать и взрослением в шесть лет. Но пока безуспешные. Мистер Фостер вздохнул и покачал головой.

Странствия в вишневом сумраке привели студентов к ленте 9, к 170-му метру. Начиная от этой точки, лента 9 была закрыта с боков и сверху; бутыли совершали дальше свой маршрут как бы в туннеле; лишь кое-где виднелись открытые промежутки в два-три метра длиной.

— Формирование любви к теплу, — сказал мистер Фостер. — Горячие туннели чередуются с прохладными.

Прохлада связана с дискомфортом в виде жестких рентгеновских лучей. К моменту раскупорки зародыши уже люто боятся холода. Им предназначено поселиться в тропиках или стать горнорабочими, прясть ацетатный шелк, плавить сталь. Телесная боязнь холода будет позже подкреплена воспитанием мозга. Мы приучаем их тело благоденствовать в тепле. А наши коллеги на верхних этажах внедрят любовь к теплу в их сознание, — заключил мистер Фостер.

— И в этом, — добавил назидательно Директор, — весь секрет счастья и добродетели: люби то, что тебе предначертано. Все воспитание тела и мозга как раз и имеет целью привить людям любовь к их неизбежной социальной судьбе.

В одном из межтуннельных промежутков действовала шприцем медицинская сестра — осторожно втыкала длинную тонкую иглу в студенистое содержимое очередной бутыли. Студенты и оба наставника с минуту понаблюдали за ней молча.

— Привет, Ленайна *, — сказал мистер Фостер, когда она вынула наконец иглу и распрямилась.

Девушка, вздрогнув, обернулась. Даже в этой мгле, багрянившей ее глаза и кожу, видно было, что она необычайно хороша собой — как куколка.

— Генри! — Она блеснула на него алой улыбкой, коралловым ровным оскалом зубов.

— О-ча-ро-вательна, — заворковал Директор, ласково потрепал ее сзади, в ответ на что девушка и его подарила улыбкой, но весьма почтительной.

— Какие производишь инъекции? — спросил мистер Фостер сугубо уже деловым тоном.

— Да обычные уколы, от брюшного тифа и сонной болезни.

— Работников для тропической зоны начинаем колоть на 150-м метре, — объяснил мистер Фостер студентам, — когда у зародыша еще жабры. Иммунизируем рыбу против болезней будущего человека. — И, повернувшись опять к Ленайне, сказал ей: — Сегодня, как всегда, без десяти пять на крыше.

— Очаровательна, — бормотнул снова Директор, дал прощальный шлепочек и отошел, присоединившись к остальным.

У грядущего поколения химиков — у длинной вереницы бутылей на ленте 10 — формировалась стойкость к свинцу, каустической соде, смолам, хлору. На ленте 3 партия из двухсот пятидесяти зародышей, предназначенных в борт-

механики ракетопланов, как раз подошла к тысяча сотому метру. Специальный механизм безостановочно переворачивал эти бутыли.

— Чтобы усовершенствовать их чувство равновесия, — разъяснил мистер Фостер. — Работа их ждет сложная: производить ремонт на внешней обшивке ракеты во время полета непросто. При нормальном положении бутыли скорость кровотока мы снижаем, и в это время организм зародыша голодает; зато в момент, когда зародыш повернут вниз головой, мы удваиваем приток кровезаменителя. Они приучаются связывать перевернутое положение с отличным самочувствием, и счастливы они по-настоящему бывают в жизни лишь тогда, когда находятся вверх тормашками.

— А теперь, — продолжал мистер Фостер, — я хотел бы показать вам кое-какие весьма интересные приемы формовки интеллектуалов альфа-плюс. Сейчас пропускаем по ленте 5 большую их партию. Нет, не на нижнем ярусе, на среднем, — остановил он двух студентов, двинувшихся было вниз.

— Это в районе 900-го метра, — пояснил он. — Формовку интеллекта практически бесполезно начинать прежде, чем зародыш становится бесхвостым. Пойдемте.

Но Директор уже поглядел на часы.

— Без десяти минут три, — сказал он. — К сожалению, на интеллектуалов у нас не осталось времени. Нужно подняться в Питомник до того, как у детей кончится мертвый час.

Мистер Фостер огорчился.

— Тогда хоть на минуту заглянем в Зал раскупорки, — сказал он просяще.

— Согласен, — Директор снисходительно улыбнулся. — Но только на минуту.

Глава вторая

Оставив мистера Фостера в Зале раскупорки, Директор и студенты вошли в ближайший лифт и поднялись на шестой этаж.

«МЛАДОПИТОМНИК. ЗАЛЫ НЕОПАВЛОВСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСОВ», — гласила доска при входе.

Директор открыл дверь. Они очутились в большом голом зале, очень светлом и солнечном: южная стена его была одно сплошное окно. Пять или шесть нянь в форменных брючных костюмах из белого вискозного полотна и в белых асептических, скрывающих волосы шапочках были заняты тем, что расставляли на полу цветы. Ставили в длинную линию большие вазы, переполненные пышными розами. Лепестки их были шелковисто гладки, словно щеки тысячного сонма ангелов — нежно-румяных индоевропейских херувимов, и лучезарно-чайных китайчат, и мексиканских смуглячков, и пурпурных от чрезмерного усердия небесных трубачей, и ангелов бледных как смерть, бледных мраморной надгробной белизною.

Директор вошел — няни встали смирно.

— Книги по местам, — сказал он коротко.

Няни без слов повиновались. Между вазами они разместили стоймя и раскрыли большеформатные детские книги, манящие пестро раскрашенными изображениями зверей, рыб, птиц.

— Привезти ползунков.

Няни побежали выполнять приказание и минуты через две возвратились; каждая катила высокую, в четыре сетчатых этажа, тележку, груженную восьмимесячными младенцами, как две капли воды похожими друг на друга (явно из одной группы Бокановского) и одетыми все в хаки (отличительный цвет касты «дельта»).

— Снять на пол.

Младенцев сгрузили с проволочных сеток.

— Повернуть лицом к цветам и книгам.

Завидя книги и цветы, детские шеренги смолкли и двинулись ползком к этим скопленьям цвета, к этим красочным образам, таким празднично-пестрым на белых страницах. А тут и солнце вышло из-за облачка. Розы вспыхнули, точно воспламененные внезапной страстью; глянцевитые страницы книг как бы озарились новым и глубинным смыслом. Младенцы поползли быстрей, возбужденно попискивая, гукая и щебеча от удовольствия.

— Превосходно! — сказал Директор, потирая руки. — Как по заказу получилось.

Самые резвые из ползунков достигли уже цели. Ручонки протянулись неуверенно, дотронулись, схватили, обрывая лепестки преображенных солнцем роз, комкая цветистые картинки. Директор подождал, пока все дети не присоединились к этому радостному занятию.

— Следите внимательно! — сказал он студентам. И подал знак вскинутой рукой.

Старшая няня, стоявшая у щита управления в другом конце зала, включила рубильник.

Что-то бахнуло, загрохотало. Завыла сирена, с каждой секундой все пронзительнее. Бешено зазвенели сигнальные звонки.

Дети трепыхнулись, заплакали в голос; личики их исказились от ужаса.

— А сейчас, — не сказал, а прокричал Директор (ибо шум стоял оглушительный), — сейчас мы слегка подействуем на них электротоком, чтобы закрепить преподанный урок.

Он опять взмахнул рукой, и Старшая включила второй рубильник. Плач детей сменился отчаянными воплями. Было что-то дикое, почти безумное в их резких судорожных вскриках. Детские тельца вздрагивали, цепенели; руки и ноги дергались, как у марионеток.

— Весь этот участок пола теперь под током, — проорал Директор в пояснение. — Но достаточно, — подал он знак Старшей.

Грохот и звон прекратился, вой сирены стих, иссяк. Тельца перестали дергаться, бесноватые вскрики и взрыды перешли в прежний нормальный перепуганный рев.

— Предложить им снова цветы и книги.

Няни послушно подвинули вазы, раскрыли картинки; но при виде роз и веселых кисок-мурок, петушков-золотых гребешков и черненьких бяшек дети съежились в ужасе; рев моментально усилился.

— Видите! — сказал Директор торжествующе. — Видите!

В младенческом мозгу книги и цветы уже опорочены, связаны с грохотом, электрошоком; а после двухсот повторений того же или сходного урока связь эта станет нерасторжимой. Что человек соединил, природа разделить бессильна.

— Они вырастут, неся в себе то, что психологи когда-то называли «инстинктивным» отвращением к природе. Рефлекс, привитый на всю жизнь. Мы их навсегда обезопасим от книг и от ботаники. — Директор повернулся к няням: — Увезти.

Все еще ревущих младенцев в хаки погрузили на тележки и укатили, остался только кисломолочный запах, и наконец-то наступила тишина.

Один из студентов поднял руку: он, конечно, вполне понимает, почему нельзя, чтобы низшие касты расходовали время Общества на чтение книг, и притом они всегда ведь рискуют прочесть что-нибудь могущее нежелательно расстроить тот или иной рефлекс, но вот цветы... насчет цветов неясно. Зачем класть труд на то, чтобы для дельт сделалась психологически невозможной любовь к цветам?

Директор терпеливо стал объяснять. Если младенцы теперь встречают розу ревом, то прививается это из высоких экономических соображений. Не так давно (лет сто назад) у гамм, дельт и даже у эпсилонов культивировалась любовь к цветам и к природе вообще. Идея была та, чтобы в часы досуга их непременно тянуло за город, в лес и поле, и, таким образом, они загружали бы транспорт.

— И что же, разве они не пользовались транспортом? — спросил студент.

— Транспортом-то пользовались, — ответил Директор. — Но на этом хозяйственная польза и кончалась. У цветочков и пейзажей тот существенный изъян, что это блага даровые, подчеркнул Директор. Любовь к природе не загружает фабрик заказами. И решено было отменить любовь к природе — во всяком случае, у низших каст; отменить, но так, чтобы загрузка транспорта не снизилась. Оставалось существенно важным, чтобы за город ездили по-прежнему, хоть и питая отвращение к природе. Требовалось лишь подыскать более разумную с хозяйственной точки зрения причину для пользования транспортом, чем простая тяга к цветочкам и пейзажам. И причина была подыскана.

— Мы прививаем массам нелюбовь к природе. Но одновременно мы внедряем в них любовь к загородным видам спорта. Причем именно к таким, где необходимо сложное оборудование. Чтобы не только транспорт был загружен, но и фабрики спортивного инвентаря. Вот из чего проистекает связь цветов с электрошоком, — закруглил мысль Директор.

— Понятно, — произнес студент и смолк в безмолвном восхищении.

Пауза; откашлянувшись, Директор заговорил опять:

— В давние времена, еще до успения господа нашего Форда, жил-был мальчик по имени Рувим Рабинович. Родители Рувима говорили по-польски. — Директор приостановился. — Полагаю, вам известно, что такое «польский»?

— Это язык, мертвый язык.

— Как и французский, и как немецкий, — заторопился другой студент выказать свои познания.

— А «родители»? — вопросил Директор.

Неловкое молчание. Иные из студентов покраснели. Они еще не научились проводить существенное, но зачастую весьма тонкое различие между непристойностями и строго научной терминологией. Наконец один набрался храбрости и поднял руку.

— Люди были раньше... — Он замялся; щеки его залила краска. — Были, значит, живородящими.

— Совершенно верно. — Директор одобрительно кивнул.

— И когда у них дети раскупоривались...

— Рождались, — поправил Директор.

Тогда, значит, они становились родителями, то есть не дети, конечно, а те, у кого... — Бедный юноша смутился окончательно.

— Короче, — резюмировал Директор, — родителями назывались отец и мать.

Гулко упали (трах! тарах!) в сконфуженную тишину эти ругательства, а в данном случае — научные термины.

— Мать, — повторил Директор громко, закрепляя термин, и, откинувшись в кресле, веско сказал: — Факты это неприятные, согласен. Но большинство исторических фактов принадлежит к разряду неприятных. Однако вернемся к Рувиму. Как-то вечером отец и мать (трах! тарах!) забыли выключить в комнате у Рувима радиоприемник. А вы должны помнить, что тогда, в эпоху грубого живородящего размножения, детей растили их родители, а не государственные воспитательные центры.

Мальчик спал, а в это время неожиданно в эфире зазвучала передача из Лондона; и на следующее утро, к изумлению его отца и матери (те из юнцов, что посмелей, отважились поднять глаза, перемигнуться, ухмыльнуться), проснувшийся Рувимчик слово в слово повторил переданную по радио длинную беседу Джорджа Бернарда Шоу. («Этот старинный писатель-чудак — один из весьма немногих литераторов, чьим произведениям было позволено дойти до нас».) По преданию, довольно достоверному, в тот вечер темой беседы была его, Шоу, гениальность. Рувимовы отец и мать (перемигиванье, тайные смешки) ни слова, конечно, не поняли и, вообразив, что их ребенок сошел с ума, позвали врача. К счастью, тот понимал по-английски, распознал текст вчерашней радиобеседы, уразумел важность случив-

шегося и послал сообщение в медицинский журнал.

— Так открыли принцип гипнопедии, то есть обучения во сне. — Директор сделал внушительную паузу.

Открыть-то открыли; но много, много еще лет минуло, прежде чем нашли этому принципу полезное применение.

— Происшествие с Рувимом случилось всего лишь через двадцать три года после того, как господь наш Форд выпустил на автомобильный рынок первую модель «Т» *. — При сих словах Директор перекрестил себе живот знаком Т, и все студенты набожно последовали его примеру. — Но прошло еще...

Карандаши с бешеной быстротой бегали по бумаге. «Гипнопедия впервые официально применена в 214 г. э. Ф. Почему не раньше? По двум причинам. 1) ...»

— Эти ранние экспериментаторы, — говорил Директор, — действовали в ложном направлении. Они полагали, что гипнопедию можно сделать средством образования...

(Малыш, спящий на правом боку; правая рука свесилась с кроватки. Из репродуктора, из сетчатого круглого отверстия, звучит тихий голос:

— Нил — самая длинная река в Африке и вторая по длине среди рек земного шара. Хотя Нил и короче Миссисипи — Миссури, но он стоит на первом месте по протяженности бассейна, раскинувшегося на 35 градусов с юга на север...

Утром, когда малыш завтракает, его спрашивают:

— Томми, а какая река в Африке длиннее всех, ты знаешь?

— Нет, — мотает головой Томми.

— Но разве ты не помнишь, как начинается: «Нил — самая...»?

— «Нил-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая-по-длине-среди-рек-земного-шара. — Слова льются потоком. — Хотя-Нил-и-короче...»

— Так какая же река длиннее всех в Африке?

Глаза мальчугана ясны и пусты.

— Не знаю.

— А как же Нил?

— «Нил-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая...»

— Ну, так какая же река длинней всех, а, Томми?

Томми разражается слезами.

— Не знаю, — ревет он.)

Этот горестный рев обескураживал ранних исследователей, подчеркнул Директор. Эксперименты прекратились.

Были оставлены попытки дать детям во сне понятие о длине Нила. И правильно сделали, что бросили эти попытки. Нельзя усвоить науку без понимания, без вникания в смысл.

— Но вот если бы они занялись нравственным воспитанием, — говорил Директор, ведя студентов к двери, а те продолжали поспешно записывать и на ходу, и пока поднимались в лифте. — Вот нравственное-то воспитание никогда, ни в коем случае не должно основываться на понимании.

— Тише... Тише... — зашелестел репродуктор, когда они вышли из лифта на пятнадцатом этаже, и шелестенье это сопровождало их по коридорам, неустанно исходя из раструба репродукторов, размещенных через равные промежутки. Студенты и даже сам Директор невольно пошли на цыпочках. Все они, конечно, были альфы; но и у альф рефлексы выработаны неплохо. «Тише... Тише...» — весь пятнадцатый этаж шелестел этим категорическим императивом.

Пройдя на цыпочках шагов сто, Директор осторожно открыл дверь. Они вошли и оказались в сумраке зашторенного спального зала. У стены стояли в ряд восемьдесят кроваток. Слышалось легкое, ровное дыхание и некий непрерывный бормоток, точно слабенькие голоса журчали в отдалении.

Навстречу вошедшим встала воспитательница и застыла навытяжку перед Директором.

— Какой проводите урок? — спросил он.

— Первые сорок минут были уделены началам секса, — ответила она. — А теперь переключила на основы кастового самосознания.

Директор медленно пошел вдоль шеренги кроваток. Восемьдесят мальчиков и девочек тихо дышали, разрумянившись от сна. Из-под каждой подушки тек шепот. Директор остановился и, нагнувшись над кроваткой, вслушался.

— Основы, говорите вы, кастового самосознания? Дадим-ка чуть погромче, через рупор.

В конце зала, на стене укреплен был громкоговоритель. Директор подошел, включил его.

— ...ходят в зеленом, — с полуфразы начал тихий, но очень отчетливый голос, — а дельты в хаки. Нет, нет, не хочу я играть с детьми-дельтами. А эпсилоны еще хуже. Они вовсе глупые, ни читать, ни писать не умеют. Да еще ходят в черном, а это такой гадкий цвет. Как хорошо, что я бета.

Дети-альфы ходят в сером. У альф работа гораздо

трудней, чем у нас, потому что альфы страшно умные. Прямо чудесно, что я бета, что у нас работа легче. И мы гораздо лучше гамм и дельт. Гаммы глупые. Они ходят в зеленом, а дельты в хаки. Нет, нет, не хочу я играть с детьми-дельтами. А эпсилоны еще хуже. Они вовсе глупые, ни...

Директор нажал выключатель. Голос умолк. Остался только его призрак — слабый шепот, по-прежнему идущий из-под восьмидесяти подушек.

— До подъема им повторят это еще разочков сорок или пятьдесят; затем снова в четверг и в субботу. Трижды в неделю по сто двадцать раз в продолжение тридцати месяцев. После чего они перейдут к другому, усложненному уроку.

Розы и электрошок, дельты в хаки и струя чесночной вони — эта связь уже нерасторжимо закреплена, прежде чем ребенок научился говорить. Но бессловесное внедрение рефлексов действует грубо, огульно; с помощью его нельзя сформировать более тонкие и сложные шаблоны поведения. Для этой цели требуются слова, но вдумывания не нужно. Короче, требуется гипнопедия.

— Величайшая нравоучительная сила всех времен, готовящая к жизни в обществе.

Студенты записали это изречение в блокноты. Прямехонько из мудрых уст.

Директор опять включил рупор.

— ...страшно умные, — работал тихий, задушевный, неутомимый голос. — Прямо чудесно, что я бета, что у нас...

Словно это падает вода, капля за каплей, а ведь вода способна проточить самый твердый гранит; или, вернее, словно капает жидкий сургуч, и капли налипают, обволакивают и пропитывают, покуда бывший камень весь не обратится в ало-восковой комок.

— Покуда наконец все сознание ребенка не заполнится тем, что внушил голос, и то, что внушено, не станет в сумме своей сознанием ребенка. И не только ребенка, а и взрослого — на всю жизнь. Мозг рассуждающий, желающий, решающий — весь насквозь будет состоять из того, что внушено. Внушено нами! — воскликнул Директор торжествуя. — Внушено Государством! — Он ударил рукой по столику. — И, следовательно...

Шум заставил его обернуться.

— О господи Форде! — произнес он сокрушенно. — Надо же, детей перебудил.

Глава третья

За зданием, в парке, было время игр. Под теплым июньским солнцем шестьсот-семьсот голеньких мальчиков и девочек бегали со звонким криком по газонам, играли в мяч или же уединялись по двое и по трое, присев и примолкнув в цветущих кустах. Благоухали розы, два соловья распевали в ветвях, кукушка куковала среди лип, слегка сбиваясь с тона. В воздухе плавало дремотное жужжанье пчел и вертопланов.

Директор со студентами постояли, понаблюдали, как детвора играет в центробежную лапту. Десятка два детей окружали башенку из хромистой стали. Мяч, закинутый на верхнюю ее площадку, скатывался внутрь и попадал на быстро вертящийся диск, так что мяч выбрасывало с силой через одно из многих отверстий в цилиндрическом корпусе башни, а дети, вставшие кружком, ловили.

— Странно, — размышлял вслух Директор, когда пошли дальше, — странно подумать, что даже при господе нашем Форде для большинства игр еще не требовалось ничего, кроме одного-двух мячей да нескольких клюшек или там сетки. Какая это была глупость — допускать игры, пусть и замысловатые, но нимало не способствующие росту потребления. Дикая глупость. Теперь же главноуправители не разрешают никакой новой игры, не удостоверясь прежде, что для нее необходимо по крайней мере столько же спортивного инвентаря, как для самой сложной из уже допущенных игр... Что за очаровательная парочка, — указал он вдруг рукой.

В траве на лужайке среди древовидного вереска двое детей — мальчик лет семи и девочка примерно годом старше — очень сосредоточенно, со всей серьезностью ученых, углубившихся в научный поиск, играли в примитивную сексуальную игру.

— Очаровательно, очаровательно! — повторил сентиментально Директор.

— Очаровательно, — вежливо поддакнули юнцы. Но в улыбке их сквозило снисходительное презрение. Сами лишь недавно оставив позади подобные детские забавы, они не могли теперь смотреть на это иначе, как свысока. Очаровательно? Да просто малыши балуются, и больше ничего. Возня младенческая.

— Я всегда вспоминаю, — продолжал Директор тем же слащавым тоном, но тут послышался громкий плач.

Из соседних кустов вышла няня, ведя за руку плачущего мальчугана. Следом семенила встревоженная девочка.

— Что случилось? — спросил Директор.

Няня пожала плечами.

— Ничего особенного, — ответила она. — Просто этот мальчик не слишком охотно участвует в обычной эротической игре. Я уже и раньше замечала. А сегодня опять. Расплакался вот...

— Ей-форду, — встрепенулась девочка, — я ничего такого нехорошего ему не делала. Ей-форду.

— Ну конечно же, милая, — успокоила ее няня. — И теперь, — продолжала она, обращаясь к Директору, — веду его к помощнику старшего психолога, чтобы проверить, нет ли каких ненормальностей.

— Правильно, ведите, — одобрил Директор, и няня направилась дальше со своим по-прежнему ревущим питомцем. — А ты останься в саду, деточка. Как тебя зовут?

— Полли Троцкая.

— Превосходнейшее имя, — похвалил Директор. — Беги-ка поищи себе другого напарничка.

Девочка вприпрыжку побежала прочь и скрылась в кустарнике.

— Прелестная малютка, — молвил Директор, глядя ей вслед, затем, повернувшись к студентам, сказал: — То, что я вам сообщу сейчас, возможно, прозвучит как небылица. Но для непривычного уха факты исторического прошлого в большинстве звучат как небылица.

И он сообщил им поразительную вещь. В течение долгих столетий до эры Форда и даже потом еще на протяжении нескольких поколений эротические игры детей считались чем-то ненормальным (взрыв смеха) и, мало того, аморальным («Да что вы!») и были поэтому под строгим запретом.

Студенты слушали изумленно и недоверчиво. Неужели бедным малышам не позволяли забавляться? Да как же так?

— Даже подросткам не позволяли, — продолжал Директор, — даже юношам, как вы...

— Быть того не может!

— И они, за исключением гомосексуализма и самоуслаждения, практикуемых украдкой и урывками, не имели ровно ничего.

— Ни-че-го?

— Да, в большинстве случаев ничего — до двадцатилетнего возраста.

— Двадцатилетнего? — хором ахнули студенты, не веря своим ушам.

— Двадцатилетнего, а то и дольше. Я ведь говорил вам, что историческая правда прозвучит как небылица.

— И к чему же это вело? — спросили студенты. — Что же получалось в результате?

— Результаты были ужасающие, — неожиданно вступил в разговор звучный бас.

Они оглянулись. Сбоку стоял незнакомый черноволосый человек, среднего роста, горбоносый, с сочными красными губами, с глазами очень проницательными и темными.

— Ужасающие, — повторил он.

Директор, присевший было на одну из каучуково-стальных скамей, удобно размещенных там и сям по парку, вскочил при виде незнакомца и ринулся к нему, широко распахнув руки, скаля все свои зубы, шумно ликуя.

— Главноуправитель! Какая радостная неожиданность! Представьте себе, юноши, сам Главноуправитель, Его Фордейшество Мустафа Монд!

Во всех четырех тысячах зал и комнат Центра четыре тысячи электрических часов одновременно пробили четыре. Зазвучали из репродукторов бесплотные голоса:

— Главная дневная смена кончена. Заступает вторая дневная. Главная дневная смена...

В лифте, поднимаясь к раздевальням, Генри Фостер и помощник главного Предопределителя подчеркнуто повренулись спиной к Бернарду Марксу, специалисту из отдела психологии, — отстранились от человечка со скверной репутацией.

Глухой рокот и гул машин по-прежнему колебал вишнево-сумрачную тишь эмбрионария. Смены могут приходить и уходить, одно лицо волчаночного цвета сменяться другим; но величаво и безостановочно ползут вперед конвейерные ленты, груженные будущими людьми.

Ленайна Краун упругим шагом пошла к выходу.

Его Фордейшество Мустафа Монд! Глаза дружно приветствующих студентов чуть не выскакивали из орбит. Мустафа Монд! Постоянный Главноуправитель Западной Европы! Один из десяти Главноуправителей мира. Один из Десяти, а запросто сел на скамью рядом с Директором —

и посидит, побудет с ними, побеседует... да, да, они услышат слова из фордейших уст. Считай, из самих уст господних.

Двое детишек, бурых от загара, как вареные креветки, явились из зарослей, поглядели большими, удивленными глазами и вернулись в кусты к прежним играм.

— Все вы помните, — сказал Главноуправитель своим звучным басом, — все вы, я думаю, помните прекрасное и вдохновенное изречение господа нашего Форда: «История — сплошная чушь». История, — повторил он не спеша, — сплошная чушь.

Он сделал сметающий жест, словно невидимой метелкой смахнул горсть пыли, и пыль та была Ур Халдейский * и Хараппа *, смел древние паутинки, и то были Фивы *, Вавилон *, Кносс *, Микены *. Ширк, ширк метелочкой, — и где ты, Одиссей, где Иов *, где Юпитер, Гаутама *, Иисус? Ширк! — и прочь полетели крупинки античного праха, именуемые Афинами и Римом, Иерусалимом и Средним царством *. Ширк! — и пусто место, где была Италия. Ширк! — сметены соборы; ширк, ширк! — прощай, «Король Лир» и Паскалевы «Мысли»*. Прощайте, «Страсти»*, ау, «Реквием»; прощай, симфония; ширк! ширк!..

— Летишь вечером в ощущалку, Генри? — спросил помощник Предопределителя. — Я слышал, сегодня в «Альгамбре» первоклассная новая лента. Там любовная сцена есть на медвежьей шкуре, говорят, изумительная. Воспроизведен каждый медвежий волосок. Потрясающие осязательные эффекты.

— Потому-то вам и не преподают историю, — продолжал Главноуправитель. — Но теперь пришло время...

Директор взглянул на него обеспокоенно. Ходят ведь странные слухи о старых запрещенных книгах, спрятанных у Монда в кабинете, в сейфе. Поэзия, библии всякие — Форд знает что.

Мустафа Монд заметил этот беспокойный взгляд, и уголки его красных губ иронически дернулись.

— Не тревожьтесь, Директор, — сказал он с легкой насмешкой, — они не развратятся от моей беседы.

Директор устыженно промолчал.

Презирающих тебя сам встречай презрением. На лице

Бернарда застыла надменная улыбка. Медвежий волосок — вот что они ценят.

— Обязательно слетаю, — сказал Генри Фостер.

Мустафа Монд подался вперед, к слушателям, потряс поднятым пальцем.

— Вообразите только, — произнес он таким тоном, что у юнцов под ложечкой похолодело, задрожало. — Попытайтесь вообразить, что это означало — иметь живородящую мать.

Опять это непристойное слово. Но теперь ни у кого на лице не мелькнуло и тени улыбки.

— Попытайтесь лишь представить, что означало «жить в семье».

Студенты попытались, но видно было, что без всякого успеха.

— А известно ли вам, что такое было «родной дом»?

— Нет, — покачали они головой.

Из своего сумрачно-вишневого подземелья Ленайна Краун взлетела в лифте на семнадцатый этаж и, выйдя там, повернула направо, прошла длинный коридор, открыла дверь с табличкой «ЖЕНСКАЯ РАЗДЕВАЛЬНАЯ» и окунулась в шум, гомон, хаос рук, грудей и женского белья. Потоки горячей воды с плеском вливались в сотню ванн, с бульканьем выливались. Все восемьдесят вибровакуумных массажных аппаратов трудились, гудя и шипя, разминая, сосуще массируя тугие загорелые тела восьмидесяти превосходных экземпляров женской особи, наперебой галдящих. Из автомата синтетической музыки звучала сольная трель суперкорнета.

— Привет, Фанни, — поздоровалась Ленайна с молоденькой своей соседкой по шкафчику.

Фанни работала в Укупорочном зале; фамилия ее была тоже Краун. Но поскольку на два миллиарда жителей планеты приходилось всего десять тысяч имен и фамилий, это совпадение не столь уж поражало.

Ленайна четырежды дернула книзу свои застежки-молнии: на курточке, справа и слева на брюках (быстрым движением обеих рук) и на комбилифчике. Сняв одежду, она в чулках и туфлях пошла к ванным кабинам.

Родной, родимый дом — в комнатенках его, как сельди в бочке, обитатели: мужчина, периодически рожающая

женщина и разновозрастный сброд мальчишек и девчонок. Духота, теснота; настоящая тюрьма, притом антисанитарная; темень, болезни, вонь.

(Главноуправитель рисовал эту тюрьму так живо, что один студент, повпечатлительнее прочих, побледнел и его чуть не стошнило.)

Ленайна вышла из ванны, обтерлась насухо, взялась за длинный свисающий со стены шланг, приставила дульце к груди, точно собираясь застрелиться, и нажала гашетку. Струя подогретого воздуха обдула ее тончайшей тальковою пудрой. Восемь особых краников предусмотрено было над раковиной — восемь разных одеколонов и духов. Она отвернула третий слева, надушилась «Шипром» и с туфлями в руке направилась из кабины к освободившемуся виброваку.

А в духовном смысле родной дом был так же мерзок и грязен, как в физическом. Психологически это была мусорная яма, кроличья нора, жарко нагретая взаимным трением стиснутых в ней жизней, смердящая душевными переживаниями. Какая душная психологическая близость, какие опасные, дикие, смрадные взаимоотношения между членами семейной группы! Как помешанная, тряслась мать над своими детьми (своими! родными!) — ни дать ни взять как кошка над котятами, но кошка, умеющая говорить, умеющая повторять без устали: «Моя детка, моя крохотка». «О моя детка, как он проголодался, прильнул к груди, о эти ручонки, эта невыразимо сладостная мука! А вот и уснула моя крохотка, уснула моя детка, и на губах белеет пузырик молока. Спит мой родной...»

— Да, — покивал головой Мустафа Монд, — вас недаром дрожь берет.

— С кем развлекаешься сегодня вечером?

— Ни с кем.

Ленайна удивленно подняла брови.

— В последнее время я как-то не так себя чувствую, — объяснила Фанни. — Доктор Уэллс прописал мне курс псевдобеременности.

— Но, милая, тебе всего только девятнадцать. А первая псевдобеременность не обязательна до двадцати одного года.

— Знаю, милочка. Но некоторым полезно начать

раньше. Мне доктор Уотс говорил, что таким, как я, брюнеткам с широким тазом следует пройти первую псевдобеременность уже в семнадцать лет. Так что я не на два года раньше времени, а уже с опозданием на два года.

Открыв дверцу своего шкафчика, Фанни указала на верхнюю полку, уставленную коробочками и флаконами.

— «Сироп желтого тела, — стала Ленайна читать этикетки вслух. — Оварин, свежесть гарантируется; годен до 1 августа 632 г. э. Ф. Экстракт молочной железы; принимать три раза в день перед едой, разведя в небольшом количестве воды. Плацентин; по 5 миллилитров через каждые два дня внутривенно...» Брр! — поежилась Ленайна. — Ненавижу внутривенные.

— И я их тоже не люблю. Но раз они полезны...

Фанни была девушка чрезвычайно благоразумная.

Господь наш Форд — или Фрейд, как он по неисповедимой некой причине именовал себя, трактуя о психологических проблемах, — господь наш Фрейд первый раскрыл гибельные опасности семейной жизни. Мир кишел отцами — а значит, страданиями; кишел матерями — а значит, извращениями всех сортов, от садизма до целомудрия; кишел братьями, сестрами, дядьями, тетками — кишел помешательствами и самоубийствами.

— А в то же время у самоанских дикарей, на некоторых островах близ берегов Новой Гвинеи...

Тропическим солнцем, словно горячим медом, облиты нагие тела детей, резвящихся и обнимающихся без разбора среди цветущей зелени. А дом для них — любая из двадцати хижин, крытых пальмовыми листьями. На островах Тробриан зачатие приписывали духам предков; об отцовстве, об отцах там не было и речи.

— Крайности, — отметил Главноуправитель, — сходятся. Ибо так и задумано было, чтобы они сходились.

— Доктор Уэллс сказал, что трехмесячный курс псевдобеременности поднимет тонус, оздоровит меня на три-четыре года.

— Что ж, если так, — сказала Ленайна. — Но, Фанни, выходит, ты целых три месяца не должна будешь...

— Ну что ты, милая. Всего неделю-две, не больше. Я проведу сегодня вечер в клубе, за музыкальным бриджем.

А ты, конечно, полетишь развлекаться?

Ленайна кивнула.

— С кем сегодня?

— С Генри Фостером.

— Опять? — сказала Фанни с удивленно-нахмуренным выражением, не идущим к ее круглому, как луна, добродушному лицу. — Неужели ты до сих пор все с Генри Фостером? — укорила она огорченно.

Отцы и матери, братья и сестры. Но были еще и мужья, жены, возлюбленные. Было еще единобрачие и романтическая любовь.

— Впрочем, вам эти слова, вероятно, ничего не говорят, — сказал Мустафа Монд.

— «Ничего», — помотали головами студенты.

Семья, единобрачие, любовная романтика. Повсюду исключительность и замкнутость, сосредоточенность влечения на одном предмете; порыв и энергия направлены в узкое русло.

— А ведь каждый принадлежит всем остальным, — привел Мустафа гипнопедическую пословицу.

Студенты кивнули в знак полного согласия с утверждением, которое от шестидесяти двух с лишним тысяч повторений в сумраке спальни сделалось не просто справедливым, а стало истиной бесспорной, самоочевидной и не требующей доказательств.

— Но, — возразила Ленайна, — я с Генри всего месяца четыре.

— Всего четыре месяца! Ничего себе! И вдобавок, — обвиняюще ткнула Фанни пальцем, — все это время, кроме Генри, ты ни с кем. Ведь ни с кем же?

Ленайна залилась румянцем. Но в глазах и в голосе ее осталась непокорность.

— Да, ни с кем, — огрызнулась она. — И не знаю, с какой такой стати я должна еще с кем-то.

— Она, видите ли, не знает, с какой стати, — повторила Фанни, обращаясь словно к незримому слушателю, вставшему за плечом у Ленайны, но тут же переменила тон. — Ну кроме шуток, — сказала она, — ну прошу тебя, веди ты себя осторожней. Нельзя же так долго все с одним да с одним — это ужасно неприлично. Уж пусть бы тебе

было сорок или тридцать пять — тогда бы простительнее. Но в твоем-то возрасте, Ленайна! Нет, это никуда не годится. И ты же знаешь, как решительно наш Директор против всего чрезмерно пылкого и затянувшегося. Четыре месяца все с Генри Фостером и ни с кем кроме — да узнай Директор, он был бы вне себя...

— Представьте себе воду в трубе под напором. — Студенты представили себе такую трубу. — Пробейте в металле отверстие, — продолжал Главноуправитель. — Какой ударит фонтан! Если же проделать не одно отверстие, а двадцать, получим два десятка слабых струек.

То же и с эмоциями. «Моя детка. Моя крохотка!.. Мама!» — Безумие чувств заразительно. — «Любимый, единственный мой, дорогой и бесценный...»

Материнство, единобрачие, романтика любви. Ввысь бьет фонтан; неистово ярится пенная струя. У чувства одна узенькая отдушина. Мой любимый. Моя детка. Немудрено, что эти горемыки, люди дофордовских времен, были безумны, порочны и несчастны. Мир, окружавший их, не позволял жить беспечально, не давал им быть здоровыми, добродетельными, счастливыми. Материнство и влюбленность, на каждом шагу запрет (а рефлекс повиновения запрету не сформирован), соблазн и одинокое потом раскаяние, всевозможные болезни, нескончаемая боль, отгораживающая от людей, шаткое будущее, нищета — все это обрекало их на сильные переживания. А при сильных переживаниях — притом в одиночестве, в безнадежной разобщенности и обособленности — какая уж могла быть речь о стабильности?

— Разумеется, необязательно отказываться от Генри совсем. Чередуй его с другими, вот и все. Ведь он же не только с тобой?

— Не только, — сказала Ленайна.

— Ну разумеется. Уж Генри Фостер не нарушит правил жизни, он всегда корректен и порядочен. А подумай о Директоре. Ведь как неукоснительно Директор соблюдает этикет.

Ленайна кивнула:

— Да, он сегодня потрепал меня по ягодицам.

— Ну вот видишь, — торжествующе сказала Фанни. —

Вот тебе пример того, как строжайше он держится приличий.

— Стабильность, — подчеркнул Главноуправитель, — устойчивость, прочность. Без стабильного общества немыслима цивилизация. А стабильное общество немыслимо без стабильного члена общества. — Голос Мустафы звучал как труба, в груди у слушателей теплело и ширилось.

Машина вертится, работает и должна вертеться непрерывно и вечно. Остановка означает смерть. Копошился прежде на земной коре миллиард обитателей. Завертелись шестерни машин. И через сто пятьдесят лет стало два миллиарда. Остановите машины. Через сто пятьдесят не лет, а недель население земли сократится вполовину. Один миллиард умрет с голоду.

Машины должны работать без перебоев, но они требуют ухода. Их должны обслуживать люди — такие же надежные, стабильные, как шестеренки и колеса, люди здоровые духом и телом, послушные, постоянно довольные.

А горемыкам, восклицавшим: «Моя детка, моя мама, мой любимый и единственный», стонавшим: «Мой грех, мой грозный Бог», кричавшим от боли, бредившим в лихорадке, оплакивавшим нищету и старость, — по плечу ли тем несчастным обслуживание машин? А если не будет обслуживания?.. Трупы миллиарда людей непросто было бы зарыть или сжечь.

— И в конце концов, — мягко уговаривала Фанни, — разве это тягостно, мучительно — иметь еще одного-двух в дополнение к Генри? Ведь не тяжело тебе, а значит, обязательно надо разнообразить мужчин...

— Стабильность, — подчеркнул опять Главноуправитель, — стабильность. Первооснова и краеугольный камень. Стабильность. Для достижения ее — все это. — Широким жестом он охватил громадные здания Центра, парк и детей, бегающих нагишом или укромно играющих в кустах.

Ленайна покачала головой, сказала в раздумье:

— Что-то в последнее время не тянет меня к разно-

образию. А разве у тебя, Фанни, не бывает временами, что не хочется разнообразить?

Фанни кивнула сочувственно и понимающе.

— Но надо прилагать старания, — наставительно сказала она, — надо жить по правилам. Что ни говори, а каждый принадлежит всем остальным.

— Да, каждый принадлежит всем остальным, — повторила медленно Ленайна и, вздохнув, помолчала. Затем, взяв руку подруги, слегка сжала в своей: — Ты абсолютно права, Фанни. Ты всегда права. Я приложу старания.

Поток, задержанный преградой, взбухает и переливается, позыв обращается в порыв, в страсть, даже в помешательство; сила потока множится на высоту и прочность препятствия. Когда же преграды нет, поток стекает плавно по назначенному руслу в тихое море благоденствия.

— Зародыш голоден, и день-деньской питает его кровезаменителем насос, давая свои восемьсот оборотов в минуту. Заплакал раскупоренный младенец, и тут же подошла няня с бутылочкой млечно-секреторного продукта.

Эмоция таится в промежутке между позывом и его удовлетворением. Сократи этот промежуток, устрани все прежние ненужные препятствия.

— Счастливцы вы! — воскликнул Главноуправитель. — На вас не жалели трудов, чтобы сделать вашу жизнь в эмоциональном отношении легкой, оградить вас, насколько возможно, от эмоций и переживаний вообще.

— Форд в своем «форде» — и в мире покой, — продекламировал вполголоса Директор.

— Ленайна Краун? — застегнув брюки на молнию, отозвался Генри Фостер. — О, это девушка великолепная. Донельзя пневматична. Удивляюсь, как это ты не отведал ее до сих пор.

— Я и сам удивляюсь, — сказал помощник Предопределителя. — Непременно отведаю. При первой же возможности.

Со своего раздевального места в ряду напротив Бернард услышал этот разговор и побледнел.

— Признаться, — сказала Ленайна, — мне и самой это

чуточку прискучивать начинает, каждый день Генри да Генри. — Она натянула левый чулок. — Ты Бернарда Маркса знаешь? — спросила она слишком уж нарочито-небрежным тоном.

— Ты хочешь с Бернардом? — вскинулась Фанни.

— А что? Бернард ведь альфа-плюсовик. К тому же он приглашает меня слетать с ним в дикарский заповедник — в индейскую резервацию. А я всегда хотела побывать у дикарей.

— Но у Бернарда дурная репутация!

— А мне что за дело до его репутации?

— Говорят, он гольфа не любит.

— Говорят, говорят, — передразнила Ленайна.

— И потом он большую часть времени проводит нелюдимо, один, — с сильнейшим отвращением сказала Фанни.

— Ну, со мной-то он не будет один. И вообще, отчего все к нему так по-свински относятся? По-моему, он милый. — Она улыбнулась, вспомнив, как до смешного робок он был в разговоре. Почти испуган, как будто она Главноуправитель мира, а он дельта-минусовик из машинной обслуги.

— Поройтесь-ка в памяти, — сказал Мустафа Монд. — Наталкивались ли вы хоть раз на непреодолимые препятствия?

Студенты ответили молчанием, означавшим, что нет, не наталкивались.

— А приходилось ли кому-нибудь из вас долгое время пребывать в этом промежутке между позывом и его удовлетворением?

— У меня... — начал один из юнцов и замялся.

— Говорите же, — сказал Директор. — Его Фордейшество ждет.

— Мне однажды пришлось чуть не месяц ожидать, пока девушка согласилась.

— И, соответственно, желание усилилось?

— До невыносимости!

— Вот именно, до невыносимости, — сказал Главноуправитель. — Наши предки были так глупы и близоруки, что когда явились первые преобразователи и указали путь избавления от этих невыносимых эмоций, то их не желали слушать.

«Точно речь о бараньей котлете, — скрипнул зубами Бернард. — Не отведал, отведаю. Как будто она кусок мяса. Низводят ее до уровня бифштекса... Она сказала мне, что подумает, что даст до пятницы ответ. О господи Форде. Подойти бы да в физиономию им со всего размаха, да еще раз, да еще».

— Я тебе настоятельно ее рекомендую, — говорил между тем Генри Фостер приятелю.

— Взять хоть эктогенез. Пфицнер и Кавагучи разработали весь этот внетелесный метод размножения. Но правительства и во внимание его не приняли. Мешало нечто, именовавшееся христианством. Женщин и дальше заставляли быть живородящими.

— Он же страшненький! — сказала Фанни.

— А мне нравится, как он выглядит.

— И такого маленького роста, — поморщилась Фанни. (Низкорослость — типичный мерзкий признак низших каст.)

— А по-моему, он милый, — сказала Ленайна. — Его так и хочется погладить. Ну, как котеночка.

Фанни брезгливо сказала:

— Говорят, когда он еще был в бутыли, кто-то ошибся, подумал, он гамма, и влил ему спирту в кровезаменитель. Оттого он и щуплый вышел.

— Вздор какой! — возмутилась Ленайна.

— В Англии запретили даже обучение во сне. Было тогда нечто, именовавшееся либерализмом. Парламент (известно ли вам это старинное понятие?) принял закон против гипнопедии. Сохранились архивы парламентских актов. Записи речей о свободе британского подданного. О праве быть неудачником и горемыкой. Неприкаянным, неприспособленным к жизни.

— Да что ты, дружище, я буду только рад. Милости прошу. — Генри Фостер похлопал друга по плечу. — Ведь каждый принадлежит всем остальным.

«По сотне повторений три раза в неделю в течение

четырех лет, — презрительно подумал Бернард; он был специалист-гипнопед. — Шестьдесят две тысячи четыреста повторений — и готова истина. Идиоты!»

— Или взять систему каст. Постоянно предлагалась, и постоянно отвергалась. Мешало нечто, именовавшееся демократией. Как будто равенство людей заходит дальше физико-химического равенства.

— А я все равно полечу с ним, — сказала Ленайна.

«Ненавижу, ненавижу, — кипел внутренне Бернард. — Но их двое, они рослые, они сильные».

— Девятилетняя война началась в 141-м году эры Форда.

— Все равно, даже если бы ему и правда влили тогда спирту в кровезаменитель.

— Фосген, хлорпикрин, йодуксусный этил, дифенилцианарсин, слезоточивый газ, иприт. Не говоря уже о синильной кислоте.

— А никто не подливал, неправда, и не верю.

— Вообразите гул четырнадцати тысяч самолетов, налетающих широким фронтом. Сами же разрывы бомб, начиненных сибирской язвой, звучали на Курфюрстендамм и в восьмом парижском округе не громче бумажной хлопушки.

— А потому что хочу побывать в диком заповеднике.

— $CH_3C_6H_2(NO_2)_3 + H(CO)_2$, и что же в сумме? Большая воронка, груда щебня, куски мяса, комки слизи,

нога в солдатском башмаке летит по воздуху и — шлеп! — приземляется среди ярко-красных гераней, так пышно цветших в то лето.

— Ты неисправима, Ленайна, — остается лишь махнуть рукой.

— Русский способ заражать водоснабжение был особенно остроумен.

Повернувшись друг к дружке спиной, Фанни и Ленайна продолжали одеваться уже молча.

— Девятилетняя война, Великий экономический крах. Выбор был лишь между всемирной властью и полным разрушением. Между стабильностью и...

— Фанни Краун тоже девушка приятная, — сказал помощник Предопределителя.

В Питомнике уже отдолбили основы кастового самосознания, голоса теперь готовили будущего потребителя промышленных товаров. «Я так люблю летать, — шептали голоса, — я так люблю летать, так люблю носить все новое, так люблю...»

— Конечно, сибирская язва покончила с либерализмом, но все же нельзя было строить общество на принуждении.

— Но Ленайна гораздо пневматичней. Гораздо, гораздо.

— А старая одежда — бяка, — продолжалось неутомимое нашептывание. — Старье мы выбрасываем. Овчинки не стоят починки. Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое чинить, лучше...

— Править надо умом, а не кнутом. Не кулаками действовать, а на мозги воздействовать. Чтоб заднице не больно, а привольно. Есть у нас опыт: потребление уже однажды обращали в повинность.

— Вот я и готова, — сказала Ленайна, но Фанни по-прежнему молчала, не глядела. — Ну Фанни, милая, давай помиримся.

— Каждого мужчину, женщину, ребенка обязали ежегодно потреблять столько-то. Для процветания промышленности. А вызвали этим единственно лишь...

— Чем старое чинить, лучше новое купить. Прорехи зашивать — беднеть и горевать; прорехи зашивать — беднеть и...

— Не сегодня-завтра, — раздельно и мрачно произнесла Фанни, — твое поведение доведет тебя до беды.

— ...гражданское неповиновение в широчайшем масштабе. Движение за отказ от потребления. За возврат к природе.

— Я так люблю летать, я так люблю летать.

— За возврат к культуре. Даже к культуре, да-да. Ведь сидя за книгой, много не потребишь.

— Ну, как я выгляжу? — спросила Ленайна. На ней был ацетатный жакет бутылочного цвета, с зеленой вискозной опушкой на воротнике и рукавах.

— Уложили восемьсот сторонников простой жизни на Голдерс-Грин, скосили пулеметами.

— Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое чинить, чше новое купить.

Зеленые плисовые шорты и белые, вискозной шерсти чулочки до колен.

— Затем устроили Мор книгочеев: переморили горчичным газом в читальне Британского музея две тысячи человек.

Бело-зеленый жокейский картузик с затеняющим глаза козырьком. Туфли на Ленайне ярко-зеленые, отлакированные.

— В конце концов, — продолжал Мустафа Монд, — Главноуправители поняли, что насилием немногого добьешься. Хоть и медленней, но несравнимо верней другой способ — способ эктогенеза, формирования рефлексов и гипнопедии...

А вокруг талии — широкий, из зеленого искусственного сафьяна, отделанный серебром пояс-патронташ, набитый уставным комплектом противозачаточных средств (ибо Ленайна не была неплодой).

— Применили наконец открытия Пфицнера и Кавагучи. Широко развернута была агитация против живородящего размножения.

— Прелестно, — воскликнула Фанни в восторге, она не умела долго противиться чарам Ленайны. — А какой дивный мальтузианский пояс! *

— И одновременно начат поход против Прошлого, закрыты музеи, взорваны исторические памятники (большинство из них, слава Форду, и без того уже сравняла с землей Девятилетняя война); изъяты книги, выпущенные до 150-го года э.Ф.

— Обязательно и себе такой достану, — сказала Фанни.

— Были, например, сооружения, именовавшиеся пирамидами.

— Мой старый чернолаковый наплечный патронташ...

— И был некто, именовавшийся Шекспиром. Вас, конечно, не обременяли всеми этими наименованиями.

— Просто стыдно надевать мой чернолаковый.

— Таковы преимущества подлинно научного образования.

— Овчинки не стоят починки, овчинки не стоят...

— Дату выпуска первой модели «Т» господом нашим Фордом...

— Я уже чуть не три месяца его ношу.

— ...избрали начальной датой Новой эры.

— Чем старое чинить, лучше новое купить; чем старое...

— Как я уже упоминал, было тогда нечто, именовавшееся христианством.

— Лучше новое купить.

— Мораль и философия недопотребления...

— Люблю новое носить, люблю новое носить, люблю...

— ...была существенно необходима во времена недопроизводства; но в век машин, в эпоху, когда люди научились связывать свободный азот воздуха, недопотребление стало прямым преступлением против общества.

— Мне его Генри Фостер подарил.

— У всех крестов спилили верх — преобразовали в знаки Т. Было тогда некое понятие, именовавшееся Богом.

— Это настоящий искусственный сафьян.

— Теперь у нас Мировое Государство. И мы ежегодно празднуем День Форда, мы устраиваем вечера песнословия и сходки единения.

«Господи Форде, как я их ненавижу», — думал Бернард.

— Было нечто, именовавшееся Небесами; но тем не менее спиртное пили в огромном количестве.

«Как бифштекс, как кусок мяса».

— Было некое понятие — душа, и некое понятие — бессмертие.

— Пожалуйста, узнай у Генри, где он его достал.

— Но тем не менее употребляли морфий и кокаин.

«А хуже всего то, что она и сама думает о себе, как о куске мяса».

— В 178-м году э.Ф. были соединены усилия и финансированы изыскания двух тысяч фармакологов и биохимиков.

— А хмурый у малого вид, — сказал помощник Предопределителя, кивнув на Бернарда.

— Через шесть лет был налажен уже широкий выпуск. Наркотик получился идеальный.

— Давай-ка подразним его.

— Успокаивает, дает радостный настрой, вызывает приятные галлюцинации.

— Хмуримся, Бернард, хмуримся. — От хлопка по плечу Бернард вздрогнул, поднял глаза: это Генри Фостер, скотина отъявленная.
— Грамм сомы принять надо.

— Все плюсы христианства и алкоголя — и ни единого их минуса.

«Убил бы скотину». Но вслух он сказал только: — Спасибо, не надо, — и отстранил протянутые таблетки.

— Захотелось, и тут же устраиваешь себе сомотдых — отдых от реальности, и голова с похмелья не болит потом, и не засорена никакой мифологией.

— Да бери ты, — не отставал Генри Фостер, — бери.

— Это практически обеспечило стабильность.

— «Сомы грамм — и нету драм», — ввернул помощник

Предопределителя из кладезя гипнопедической мудрости.

— Оставалось лишь победить старческую немощь.

— Катитесь вы от меня! — взорвался Бернард.
— Скажи пожалуйста, какие мы горячие.

— Половые гормоны, соли магния, вливание молодой крови...

— К чему весь тарарам, прими-ка сомы грамм. — И, посмеиваясь, они вышли из раздевальной.

— Все телесные недуги старости были устранены. А вместе с ними, конечно..

— Так не забудь, спроси у него насчет пояса, — сказала Фанни.

— А с ними исчезли и все старческие особенности психики. Характер теперь остается на протяжении жизни неизменным.

— ...до темноты успеть сыграть два тура гольфа с препятствиями. Надо лететь.

— Работа, игры — в шестьдесят лет наши силы и склонности те же, что были в семнадцать. В недобрые прежние времена старики отрекались от жизни, уходили от мира в религию, проводили время в чтении, в раздумье — сидели и думали!

«Идиоты, свиньи!» — повторял про себя Бернард, идя по коридору к лифту.

— Теперь же настолько шагнул прогресс — старые люди работают, совокупляются, беспрестанно развлекаются; сидеть и думать им некогда и недосуг, а если уж не повезет и в сплошной череде развлечений обнаружится разрыв, расселина, то ведь всегда есть сома, сладчайшая сома: принял полграмма — и получай небольшой сомотдых; принял грамм — нырнул в сомотдых вдвое глубже; два грамма унесут тебя в грезу роскошного Востока, а три умчат к луне на блаженную темную вечность. А возвратясь, окажешься уже на той стороне расселины, и снова ты на твердой и надежной почве ежедневных трудов и утех, снова резво порхаешь от ощущалки к ощущалке, от одной упругой девушки к другой, от электромагнитного гольфа к...

— Уходи, девочка! — прикрикнул Директор сердито. — Уходи, мальчик! Не видите разве, что мешаете Его Фордейшеству? Найдите себе другое место для эротических игр.

— Пустите детей приходить ко мне [1], — произнес Главноуправитель.

Величаво, медленно, под тихий гул машин подвигались конвейеры — на тридцать три сантиметра в час. Мерцали в красном сумраке бессчетные рубины.

Глава четвертая

1

Лифт был заполнен мужчинами из альфа-раздевален, и Ленайну встретили дружеские, дружные улыбки и кивки. Ее в обществе любили; почти со всеми ними — с одним раньше, с другим позже — провела она ночь.

Милые ребята, думала она, отвечая на приветствия. Чудные ребята! Жаль только, что Джордж Эдзел лопоух (быть может, ему крошечку лишнего впрыснули гормона паращитовидки на 328-м метре?). А взглянув на Бенито

[1] Монд цитирует Евангелие от Маркса: 10, 14.

Гувера, она невольно вспомнила, что в раздетом виде он, право, чересчур уж волосат.

Глаза ее чуть погрустнели при мысли о чернокудрявости Гувера, она отвела взгляд и увидела в углу щуплую фигуру и печальное лицо Бернарда Маркса.

— Бернард! — Она подошла к нему. — А я тебя ищу. — Голос ее раздался звонко, покрывая гуденье скоростного идущего вверх лифта. Мужчины с любопытством оглянулись. — Я насчет нашей экскурсии в Нью-Мексико. — Уголком глаза она увидела, что Бенито Гувер удивленно открыл рот. «Удивляется, что не с ним горю желанием повторить поездку», — подумала она с легкой досадой. Затем вслух еще горячей продолжала: — Прямо мечтаю слетать на недельку с тобой в июле. (Как бы ни было, она открыто демонстрирует сейчас, что неверна Генри Фостеру. На радость Фанни, хотя новым партнером будет все же Бернард.) То есть, — Ленайна подарила Бернарду самую чарующе-многозначительную из своих улыбок, — если ты меня еще не расхотел.

Бледное лицо Бернарда залилось краской. «С чего он это?» — подумала она, озадаченная и в то же время тронутая этим странным свидетельством силы ее чар.

— Может, нам бы об этом потом, не сейчас, — пробормотал он, запинаясь от смущения.

«Как будто я что-нибудь стыдное сказала, — недоумевала Ленайна. — Так сконфузился, точно я позволила себе непристойную шутку: спросила, кто его мать или тому подобное».

— Не здесь, не при всех... — Он смолк, совершенно потерявшись.

Ленайна рассмеялась хорошим, искренним смехом.

— Какой же ты потешный! — сказала она, от души веселясь. — Только по крайней мере за неделю предупредишь меня, ладно? — продолжала она, отсмеявшись. — Мы ведь «Синей Тихоокеанской» полетим? Она с Черинг-Тийской башни * отправляется? Или из Хэмпстеда?

Не успел еще Бернард ответить, как лифт остановился.

— Крыша! — объявил скрипучий голосок.

Лифт обслуживало обезьяноподобное существо, одетое в черную форменную куртку минус-эпсилон-полукретина.

— Крыша!

Лифтер распахнул дверцы. В глаза ему ударило сиянье погожего летнего дня, он встрепенулся, заморгал.

— О-о, крыша! — повторил он восхищенно. Он как бы

очнулся внезапно и радостно от глухой, мертвящей спячки. — Крыша!

Подняв свое личико к лицам пассажиров, он заулыбался им с каким-то собачьим обожаньем и надеждой. Те вышли из лифта, переговариваясь, пересмеиваясь. Лифтер глядел им вслед.

— Крыша? — произнес он вопросительно.

Тут послышался звонок, и с потолка кабины, из динамика, зазвучала команда, очень тихая и очень повелительная:

— Спускайся вниз, спускайся вниз. На девятнадцатый этаж. Спускайся вниз. На девятнадцатый этаж. Спускайся...

Лифтер захлопнул дверцы, нажал кнопку и в тот же миг канул в гудящий сумрак шахты, в сумрак обычной своей спячки.

Тепло и солнечно было на крыше. Успокоительно жужжали пролетающие вертопланы; рокотали ласково и густо ракетопланы, невидимо несущиеся в ярком небе, километрах в десяти над головой. Бернард набрал полную грудь воздуха. Устремил взгляд в небо, затем на голубые горизонты, затем на Ленайну.

— Красота какая! — голос его слегка дрожал.

Она улыбнулась ему задушевно, понимающе.

— Погода просто идеальная для гольфа, — упоенно молвила она. — А теперь, Бернард, мне надо лететь. Генри сердится, когда я заставляю его ждать. Значит, сообщишь мне заранее о дате поездки. — И, приветно махнув рукой, она побежала по широкой плоской крыше к ангарам.

Бернард стоял и глядел, как мелькают, удаляясь, белые чулочки, как проворно разгибаются и сгибаются — раз-два, раз-два — загорелые коленки и плавней, колебательней движутся под темно-зеленым жакетом плисовые, в обтяжку шорты. На лице Бернарда выражалось страданье.

— Ничего не скажешь, хороша, — раздался за спиной у него громкий и жизнерадостный голос.

Бернард вздрогнул, оглянулся. Над ним сияло красное щекастое лицо Бенито Гувера — буквально лучилось дружелюбием и сердечностью. Бенито славился своим добродушием. О нем говорили, что он мог бы хоть всю жизнь прожить без сомы. Ему не приходилось, как другим, глушить приступы дурного или злого настроения. Для Бенито действительность всегда была солнечна.

— И пневматична жутко! Но послушай, — продолжал Бенито, посерьезнев, — у тебя вид такой хмурый! Таблетка

сомы, вот что тебе нужно. — Из правого кармана брюк он извлек флакончик. — Сомы грамм — и нету др... Куда ж ты?

Но Бернард, отстранившись, торопливо шагал уже прочь.

Бенито поглядел вслед, подумал озадаченно: «Что это с парнем творится?» — покачал головой и решил, что Бернарду и впрямь, пожалуй, влили спирту в кровезаменитель. «Видно, повредили мозг бедняге».

Он спрятал сому, достал пачку жевательной секс-гормональной резинки, сунул брикетик за щеку и неторопливо двинулся к ангарам, жуя на ходу.

Фостеру выкатили уже из ангара вертоплан, и, когда Ленайна подбежала, он сидел в кабине, ожидая. Она села рядом.

— На четыре минуты опоздала, — кратко констатировал Генри. Запустил моторы, включил верхние винты. Машина взмыла вертикально. Генри нажал на акселератор; гуденье винтов из густого шмелиного стало осиным, затем истончилось в комариный писк; тахометр показывал, что скорость подъема равна почти двум километрам в минуту. Лондон шел вниз, уменьшаясь. Еще несколько секунд, и огромные плосковерхие здания обратились в кубистические подобья грибов, торчащих из садовой и парковой зелени. Среди них был гриб повыше и потоньше — это Черинг-Тийская башня взносила на тонкой ноге свою бетонную тарель, блестящую на солнце.

Как дымчатые торсы сказочных атлетов, висели в синих высях сытые громады облаков. Внезапно из облака выпала, жужжа, узкая алого цвета букашка и устремилась вниз.

— «Красная Ракета» прибывает из Нью-Йорка, — сказал Генри. Взглянул на часики, прибавил: — На семь минут запаздывает, — и покачал головой. — Эти атлантические линии возмутительно непунктуальны.

Он снял ногу с акселератора. Шум лопастей понизился на полторы октавы — пропев снова осой, винты загудели шершнем, шмелем, хрущом и, еще басовей, жуком-рогачом. Подъем замедлился; еще мгновенье — и машина повисла в воздухе. Генри двинул от себя рычаг; щелкнуло переключение. Сперва медленно, затем быстрей, быстрей завертелся передний винт и обратился в зыбкий круг. Все резче засвистел в расчалках ветер. Генри следил за стрелкой; когда она коснулась метки «1200», он выключил верхние винты. Теперь машину несла сама поступательная тяга.

Ленайна глядела в смотровое окно у себя под ногами, в полу. Они пролетали над шестикилометровой парковой зоной, отделяющей Лондон-центр от первого кольца пригородов-спутников. Зелень кишела копошащимися куцыми фигурками. Между деревьями густо мелькали, поблескивали башенки центробежной лапты. В районе Шепардс-Буш две тысячи бета-минусовых смешанных пар играли в теннис на римановых поверхностях. Не пустовали и корты для эскалаторного хэндбола, с обеих сторон окаймляющие дорогу от Ноттинг-Хилла до Уилсдена. На Илингском стадионе дельты проводили гимнастический парад и праздник песнословия.

— Какой у них гадкий цвет — хаки, — выразила вслух Ленайна гипнопедический предрассудок своей касты.

В Хаунслоу на семи с половиной гектарах раскинулась ощущальная киностудия. А неподалеку армия рабочих в хаки и черном обновляла стекловидное покрытие Большой западной магистрали. Как раз в этот момент открыли летку одного из передвижных плавильных тиглей. Слепяще-раскаленным ручьем тек по дороге каменный расплав; асбестовые тяжкие катки двигались взад-вперед; бело клубился пар из-под термозащищенной поливальной цистерны.

Целым городком встала навстречу фабрика Телекорпорации в Бретфорде.

— У них, должно быть, сейчас пересменка, — сказала Ленайна.

Подобно тлям и муравьям, роились у входов лиственно-зеленые гамма-работницы и черные полукретины или стояли в очередях к монорельсовым трамваям. Там и сям в толпе мелькали темно-красные бета-минусовики. Кипело движение на крыше главного здания: одни вертопланы садились, другие взлетали.

— А, ей-Форду, хорошо, что я не гамма, — проговорила Ленайна.

Десятью минутами поздней, приземлившись в Сток-Поджес, они начали уже свой первый круг гольфа с препятствиями.

2

Бернард торопливо шел по крыше, пряча глаза, если и встречался взглядом с кем-либо, то бегло, тут же снова

потупляясь. Шел, точно за ним погоня и он не хочет видеть преследователей: а вдруг они окажутся еще враждебней даже, чем ему мнится, и тяжелее тогда станет ощущение какой-то вины и еще беспомощнее одиночество.

«Этот несносный Бенито Гувер!» А ведь Гувера не злоба толкала, а добросердечие. Но положение от этого лишь намного хуже. Не желающие зла точно так же причиняют ему боль, как и желающие. Даже Ленайна приносит страдание. Он вспомнил те недели робкой нерешительности, когда он глядел издали и тосковал, не отваживаясь подойти. Что если напорешься на унизительный, презрительный отказ? Но если скажет «да» — какое счастье! И вот Ленайна сказала «да», а он по-прежнему несчастлив, несчастлив потому, что она нашла погоду «идеальной для гольфа», что бегом побежала к Генри Фостеру, что он, Бернард, показался ей «потешным» из-за нежелания при всех говорить о самом интимном. Короче, потому несчастен, что она вела себя, как всякая здоровая и добродетельная жительница Англии, а не как-то иначе, странно, ненормально.

Он открыл двери своего ангарного отсека и подозвал двух лениво сидящих дельта-минусовиков из обслуживающего персонала, чтобы выкатили вертоплан на крышу. Персонал ангаров составляли близнецы из одной группы Бокановского — все тождественно маленькие, черненькие и безобразненькие. Бернард отдавал им приказания резким, надменным, даже оскорбительным тоном, к какому прибегает человек, не слишком уверенный в своем превосходстве. Иметь дело с членами низших каст было Бернарду всегда мучительно. Правду ли, ложь представляли слухи насчет спирта, по ошибке влитого в его кровезаменитель (а такие ошибки случались), но физические данные у Бернарда едва превышали уровень гаммовика. Бернард был на восемь сантиметров ниже, чем определено стандартом для альф, и соответственно щуплее нормального. При общении с низшими кастами он всякий раз болезненно осознавал свою невзрачность. «Я — это я; уйти бы от себя». Его мучило острое чувство неполноценности. Когда глаза его оказывались вровень с глазами дельтовика (а надо бы сверху вниз глядеть), он неизменно чувствовал себя униженным. Окажет ли ему должное уважение эта тварь? Сомнение его терзало. И не зря. Ибо гаммы, дельты и эпсилоны приучены были в какой-то мере связывать кастовое превосходство с крупнотелостью.

Да и во всем обществе чувствовалось некоторое гипнопедическое предубеждение в пользу рослых, крупных. Отсюда смех, которым женщины встречали предложение Бернарда; отсюда шуточки мужчин, его коллег. Из-за насмешек он ощущал себя чужим, а стало быть, и вел себя как чужой — и этим усугублял предубеждение против себя, усиливал презрение и неприязнь, вызываемые его щуплостью. Что в свою очередь усиливало его чувство одиночества и чуждости. Из боязни наткнуться на неуважение он избегал людей своего круга, а с низшими вел себя преувеличенно гордо. Как жгуче завидовал он таким, как Генри Фостер и Бенито Гувер! Им-то не надо кричать для того, чтобы эпсилон исполнил приказание; для них повиновенье низших каст само собою разумеется; они в системе каст — словно рыбы в воде — настолько дома, в своей уютной, благодетельной стихии, что не ощущают ни ее, ни себя в ней.

С прохладцей, неохотно, как показалось ему, обслуга выкатила вертоплан на крышу.

— Живей! — произнес Бернард раздраженно.

Один из близнецов взглянул на него. Не скотская ли издевочка мелькнула в пустом взгляде этих серых глаз?

— Живей! — крикнул Бернард с каким-то уже скрежетом в голосе. Влез в кабину и полетел на юг, к Темзе.

Институт технологии чувств помещался в шестидесятиэтажном здании на Флит-стрит. Цокольный и нижние этажи были отданы редакциям и типографиям трех крупнейших лондонских газет, здесь издавались «Ежечасные радиовести» для высших каст, бледно-зеленая «Гамма-газета», а также «Дельта-миррор», выходящая на бумаге цвета хаки и содержащая слова исключительно односложные. В средних двадцати двух этажах находились разнообразные отделы пропаганды: телевизионной, ощущальной, синтетически-голосовой и синтетически-музыкальной. Над ними помещались исследовательские лаборатории и защищенные от шума кабинеты, где занимались своим тонким делом звукосценаристы и творцы синтетической музыки. На долю института приходились верхние восемнадцать этажей.

Приземлившись на крыше здания, Бернард вышел из кабины.

— Позвоните мистеру Гельмгольцу Уотсону, — велел он дежурному гамма-плюсовику, — скажите ему, что мистер Бернард Маркс ожидает на крыше.

Бернард присел, закурил сигарету.

Звонок застал Гельмгольца Уотсона за рабочим столом.

— Передайте, что я сейчас поднимусь, — сказал Гельмгольц и положил трубку; дописав фразу, он обратился к своей секретарше тем же безразлично-деловым тоном: — Будьте так добры прибрать мои бумаги, — и, без внимания оставив ее лучезарную улыбку, энергичным шагом направился к дверям.

Гельмгольц был атлетически сложен, грудь колесом, плечист, массивен, но в движениях быстр и пружинист. Мощную колонну шеи венчала великолепная голова. Темные волосы вились, крупные черты лица отличались выразительностью. Он был красив резкой мужской красотой, настоящий альфа-плюсовик «от темени до пневматических подошв», как говаривала восхищенно секретарша. По профессии он был лектор-преподаватель, работал на институтской кафедре творчества и прирабатывал как технолог-формовщик чувств: сочинял ощущальные киносценарии, сотрудничал в «Ежечасных радиовестях», с удивительной легкостью и ловкостью придумывал гипнопедические стишки и рекламные броские фразы.

«Способный малый», — отзывалось о нем начальство. «Быть может, — и тут старшие качали головой, многозначительно понизив голос, — немножко даже чересчур способный».

Да, немножко чересчур; правы старшие. Избыток умственных способностей обособил Гельмгольца и привел почти к тому же, к чему привел Бернарда телесный недостаток. Бернарда отгородила от коллег невзрачность, щуплость, и возникшее чувство обособленности (чувство умственно-избыточное по всем нынешним меркам) в свою очередь стало причиной еще большего разобщения. А Гельмгольца — того талант заставил тревожно ощутить свою озабоченность и одинокость. Общим у обоих было сознание своей индивидуальности. Но физически неполноценный Бернард всю жизнь страдал от чувства отчужденности, а Гельмгольц совсем лишь недавно, осознав свою избыточную умственную силу, одновременно осознал и свою несхожесть с окружающими. Этот теннисист-чемпион, этот неутомимый любовник (говорили, что за каких-то неполных четыре года он переменил шестьсот сорок девушек), этот деятельнейший член комиссий и душа общества внезапно обнаружил, что спорт, женщины, общественная деятельность служат ему лишь плохонькой за-

меной чего-то другого. По-настоящему, глубинно его влечет иное. Но что именно? Вот об этом-то и хотел опять поговорить с ним Бернард, вернее, послушать, что скажет друг, ибо весь разговор вел неизменно Гельмгольц.

При выходе из лифта Уотсону преградили путь три обворожительных сотрудницы Синтетически-голосового отдела.

— Ах, душка Гельмгольц, пожалуйста, поедем с нами в Эксмур на ужин-пикничок, — стали они умоляюще льнуть к нему.

— Нет, нет, — покачал он головой, пробиваясь сквозь девичий заслон.

— Мы только тебя одного приглашаем!

Но даже эта заманчивая перспектива не поколебала Гельмгольца.

— Нет, — повторил он, решительно шагая. — Я занят.

Но девушки шли следом. Он сел в кабину к Бернарду, захлопнул дверцу. Вдогонку Гельмгольцу полетели прощальные укоры.

— Ох эти женщины! — сказал он, когда машина поднялась в воздух. — Ох эти женщины! — И покачал опять головой, нахмурился. — Беда прямо.

— Спасенья нет, — поддакнул Бернард, а сам подумал: «Мне бы иметь столько девушек и так запросто». Ему неудержимо захотелось похвастаться перед Гельмгольцем.

— Я беру Ленайну Краун с собой в Нью-Мексико, — сказал он как можно небрежней.

— Неужели, — произнес Гельмгольц без всякого интереса. И продолжал после небольшой паузы: — Вот уже недели две, как я отставил и все свои свидания и заседания. Ты не представляешь, какой из-за этого поднят шум в институте. Но игра, по-моему, стоит свеч. В результате... — Он помедлил. — Необычный получается результат, весьма необычный.

Телесный недостаток может повести к своего рода умственному избытку. Но получается, что и наоборот бывает. Умственный избыток может вызвать в человеке сознательную, целенаправленную слепоту и глухоту умышленного одиночества, искусственную холодность аскетизма.

Остаток краткого пути они летели молча. Потом, удобно расположась на пневматических диванах в комнате у Бернарда, они продолжили разговор.

— Приходилось ли тебе ощущать, — очень медленно заговорил Гельмгольц, — будто у тебя внутри что-то такое

есть и просится на волю, хочет проявиться? Будто некая особенная сила пропадает в тебе попусту, вроде как река стекает вхолостую, а могла бы вертеть турбины. — Он вопросительно взглянул на Бернарда.

— Ты имеешь в виду те эмоции, которые можно было перечувствовать при ином образе жизни?

Гельмгольц отрицательно мотнул головой.

— Не совсем. Я о странном ощущении, которое бывает иногда, будто мне дано что-то важное сказать и дана способность выразить это что-то, но только не знаю, что именно, и способность моя пропадает без пользы. Если бы по-другому писать... Или о другом о чем-то... — Он надолго умолк. — Видишь ли, — произнес он наконец, — я ловок придумывать фразы, слова, заставляющие встрепенуться, как от резкого укола, такие внешне новые и будоражащие, хотя содержание у них гипнопедически-банальное. Но этого мне как-то мало. Мало, чтобы фразы были хороши; надо, чтобы целость, суть, значительна была и хороша.

— Но, Гельмгольц, вещи твои и в целом хороши.

Гельмгольц пожал плечами.

— Для своего масштаба. Но масштаб-то у них крайне мелкий. Маловажные я даю вещи. А чувствую, что способен дать что-то гораздо более значительное. И более глубокое, взволнованное. Но что? Есть ли у нас темы более значительные? А то, о чем пишу, может ли оно меня взволновать? При правильном их применении слова способны быть всепроникающими, как рентгеновские лучи. Прочтешь — и ты уже пронизан и пронзен. Вот этому я и стараюсь среди прочего научить моих студентов — искусству всепронизывающего слова. Но на кой нужна пронзительность статье об очередном фордослужении или о новейших усовершенствованиях в запаховой музыке? Да и можно ли найти слова по-настоящему пронзительные — подобные, понимаешь ли, самым жестким рентгеновским лучам, — когда пишешь на такие темы? Можно ли сказать нечто, когда перед тобой ничто? Вот к чему в конце концов сводится дело. Я стараюсь, силюсь...

— Тшш! — произнес вдруг Бернард и предостерегающе поднял палец. — Кто-то там, по-моему, за дверью, — прошептал он.

Гельмгольц встал, на цыпочках подошел к двери и распахнул ее рывком. Разумеется, никого там не оказалось.

— Прости, — сказал Бернард виновато, с глупо-скон-

фуженным видом. — Должно быть, нервы расшатались. Когда человек окружен недоверием, то начинает сам не доверять.

Он провел ладонью по глазам, вздохнул, голос его звучал горестно. Он продолжал оправдываться.

— Если бы ты знал, что я перетерпел за последнее время, — сказал он почти со слезами. На него нахлынула, его затопила волна жалости к себе. — Если бы ты только знал!

Гельмгольц слушал с чувством какой-то неловкости. Жалко ему было бедняжку Бернарда. Но в то же время и стыдновато за друга. Не мешало бы Бернарду иметь немного больше самоуважения.

Глава пятая

1

К восьми часам стало смеркаться. Из рупоров на башне Гольфклуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Ленайна и Генри прекратили игру и направились к домам клуба. Из-за ограды Треста внутренней и внешней секреции слышалось тысячеголосое мычание скота, чье молоко и чьи гормоны шли основным сырьем на большую фабрику в Фарнам-Ройал.

Непрестанный вертопланный гул полнил сумерки. Через каждые две с половиной минуты раздавался звонок отправления и сиплый гудок монорельсовой электрички, это низшие касты возвращались домой, в столицу, со своих игровых полей.

Ленайна и Генри сели в машину, взлетели. На двухсотметровой высоте Генри убавил скорость, и минуту-две они висели над меркнущим ландшафтом. Как налитая мраком заводь, простирался внизу лес от Бернам-Бичез к ярким западным небесным берегам. На горизонте там рдела последняя малиновая полоса заката, а выше небо тускнело, от оранжевых через желтые переходя к водянистым бледно-зеленым тонам. Правей, к северу, электрически сияла над деревьями фарнам-ройалская фабрика, свирепо сверкала всеми окнами своих двадцати этажей. Прямо под ногами виднелись строения Гольф-клуба — обширные, казарменного вида постройки для низших каст и за разделяющей стеной дома поменьше, для альф

и для бет. На подходах к моновокзалу черно было от муравьиного кишенья низших каст. Из-под стеклянного свода вынесся на темную равнину освещенный поезд. Проводив его к юго-востоку, взгляд затем уперся в здания-махины Слауского крематория. Для безопасности ночных полетов четыре высоченные дымовые трубы подсвечены были прожекторами, а верхушки обозначены багряными сигнальными огнями. Крематорий высился, как веха.

— Зачем эти трубы обхвачены как бы балкончиками? — спросила Ленайна.

— Фосфор улавливать, — лаконично стал объяснять Генри. — Поднимаясь по трубе, газы проходят четыре разные обработки. Раньше при кремации пятиокись фосфора выходила из кругооборота жизни. Теперь же более девяноста восьми процентов пятиокиси улавливается. Что позволяет ежегодно получать без малого четыреста тонн фосфора от одной только Англии. — В голосе Генри было торжество и гордость, он радовался этому достижению всем сердцем, точно своему собственному. — Как приятно знать, что и после смерти мы продолжаем быть общественно полезными. Способствуем росту растений.

Ленайна между тем перевела взгляд ниже, туда, где виден был моновокзал.

— Приятно, — кивнула она. — Но странно, что от альф и бет растения растут не лучше, чем от этих противненьких гамм, дельт и эпсилонов, что копошатся вон там.

— Все люди в физико-химическом отношении равны, — нравоучительно сказал Генри. — Притом даже эпсилоны выполняют необходимые функции.

«Даже эпсилоны...» Ленайна вдруг вспомнила, как она, младшеклассница тогда, проснулась за полночь однажды и впервые услыхала наяву шепот, звучавший все ночи во сне. Лунный луч, шеренга белых кроваток; тихий голос произносит вкрадчиво (слова те после стольких повторений остались незабыты, сдалались незабываемы): «Каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим. Даже от эпсилонов польза. Мы не смогли бы обойтись без эпсилонов. Каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим...» Ленайна вспомнила, как она удивилась сразу, испугалась; как полчаса не спала и думала, думала; как под действием этих бесконечных повторений мозг ее упокаивался, постепенно, плавно, и наползал, заволакивал сон...

— Наверно, эпсилона и не огорчает, что он эпсилон, — сказала она вслух.

— Разумеется, нет. С чего им огорчаться? Они же не знают, что такое быть не-эпсилоном. Мы-то, конечно, огорчались бы. Но ведь у нас психика иначе сформирована. И наследственность другая.

— А хорошо, что я не эпсилон, — сказала Ленайна с глубочайшим убеждением.

— А была бы эпсилоном, — сказал Генри, — и благодаря воспитанию точно так же радовалась бы, что ты не бета и не альфа.

Он включил передний винт и направил машину к Лондону. За спиной, на западе почти уже угасла малиновая с оранжевым заря; по небосклону в зенит всползла темная облачная гряда. Когда пролетали над крематорием, вертоплан подхватило потоком горячего газа из труб и тут же снова опустило прохладным нисходящим током окружающего воздуха.

— Чудесно колыхнуло, прямо как на американских горках, — засмеялась Ленайна от удовольствия.

— А отчего колыхнуло, знаешь? — произнес Генри почти с печалью. — Это окончательно, бесповоротно испарялась человеческая особь. Уходила вверх газовой горячей струей. Любопытно бы знать, кто это сгорел — мужчина или женщина, альфа или эпсилон?..

Он вздохнул, затем решительно и бодро закончил мысль:

— Во всяком случае, можем быть уверены в одном: кто б ни был тот человек, жизнь он прожил счастливую. Теперь каждый счастлив.

— Да, теперь каждый счастлив, — эхом откликнулась Ленайна. Эту фразу им повторяли по сто пятьдесят раз еженощно в течение двенадцати лет.

Приземляясь в Вестминстере на крыше сорокаэтажного жилого дома, где проживал Генри, они спустились прямиком в столовый зал. Отлично там поужинали в веселой и шумной компании. К кофе подали им сому. Ленайна приняла две полуграммовых таблетки, а Генри — три. В двадцать минут десятого они направились через улицу в Вестминстерское аббатство — в новооткрытое там кабаре. Небо почти расчистилось; настала ночь, безлунная и звездная; но этого, в сущности, удручающего факта Ленайна и Генри, к счастью, не заметили. Космическая тьма не видна была за световой рекламой. «КЭЛВИН СТОУПС И ЕГО ШЕСТНАДЦАТЬ СЕКСОФОНИСТОВ», — зазывно горели гигантские буквы на фасаде обновленного аббатства. «ЛУЧШИЙ В ЛОНДОНЕ ЦВЕТО-

ЗАПАХОВЫЙ ОРГАН. ВСЯ НОВЕЙШАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА».

Они вошли. На них дохнуло теплом и душным ароматом амбры и сандала. На купольном своде аббатства цветовой орган в эту минуту рисовал тропический закат. Шестнадцать сексофонистов исполняли номер, давно всеми любимый: «Обшарьте целый свет — такой бутыли нет, как милая бутыль моя». На лощеном полу двигались в файв-степе четыреста пар. Ленайна с Генри тут же составили четыреста первую. Как мелодичные коты под луной, взвывали сексофоны, стонали в альтовом и теноровом регистрах, точно в смертной муке любви. Изобилуя обертонами, их вибрирующий хор рос, возносился к кульминации, звучал все громче, громче, и наконец по взмаху руки дирижера грянула финальная сверхчеловеческая, неземная нота, отбросив в небытие шестнадцать дудящих людишек, грянул гром в ля-бемоль мажоре. Затем, почти в бездыханности, почти в темноте, последовало плавное спадание, диминуэндо-медленное, четвертями тона, нисхожденье в доминантовый аккорд, нескончаемо и тихо шепчущий поверх биенья ритма (в размере 5/4) и наполняющий секунды напряженным ожиданием. И вот томленье разрешилось, взорвалось, брызнуло солнечным восходом, и все шестнадцать заголосили:

Бутыль моя, зачем нас разлучили?
Укупорюсь опять в моей бутыли.
Там вечная весна, небес голубизна,
Лазурное блаженство забытья.
Обшарьте целый свет — такой бутыли нет,
Как милая бутыль моя.

Ленайна и Генри замысловато двигались по кругу вместе с остальными четырьмястами парами и в то же время пребывали в другом мире, в теплом, роскошно цветном, бесконечно радушном, праздничном мире сомы. Как добры, как хороши собой, как восхитительно забавны все вокруг! «Бутыль моя, зачем нас разлучили?..» Но для Ленайны и для Генри разлука эта кончилась... Они уже укупорились наглухо, надежно — вернулись под ясные небеса, в лазурное забытье. Изнемогшие шестнадцать положили свои сексофоны, и аппарат синтетической музыки вступил самоновейшим медленным мальтузианским блюзом, и колыхало, баюкало Генри с Ленайной, словно

пару эмбрионов-близнецов на обутыленных волнах кровезаменителя.

— Спокойной ночи, дорогие друзья. Спокойной ночи, дорогие друзья, — стали прощаться репродукторы, смягчая приказ музыкальной и милой учтивостью тона. — Спокойной ночи, дорогие...

Послушно, вместе со всеми остальными Ленайна и Генри покинули Вестминстерское аббатство. Угнетающе дальние звезды уже переместились в небесах на порядочный угол. Но хотя завеса рекламных огней поредела, Ленайна с Генри по-прежнему блаженно не замечали ночи.

Повторная доза сомы, проглоченная за полчаса перед окончанием танцев, отгородила молодую пару и вовсе уж непроницаемой стеной от реального мира. Укупоренные, пересекли они улицу; укупоренные, поднялись к себе на двадцать девятый этаж. И однако, несмотря на укупоренность и на второй грамм сомы, Ленайна не забыла принять все предписанные правилами противозачаточные меры. Годы интенсивной гипнопедии в сочетании с мальтузианским тренажем, проводимым трижды в неделю с двенадцати до семнадцати лет, выработали в Ленайне навык, почти такой же автоматический, непроизвольный, как мигание.

— Да, кстати, — сказала она, вернувшись из ванной, — Фанни Краун интересуется, где ты раздобыл этот мой прелестный синсафьяновый патронташ.

2

Раз в две недели, по четвергам, Бернарду положено было участвовать в сходке единения. В день сходки, перед вечером, он пообедал с Гельмгольцем в «Афродитеуме» * (куда Гельмгольца недавно приняли, согласно второму параграфу клубного устава), затем простился с другом, сел на крыше в вертакси и велел пилоту лететь в Фордзоновский дворец * фордослужений. Поднявшись метров на триста, вертоплан понесся к востоку, и на развороте предстала глазам Бернарда великолепная громадина дворца. В прожекторной подсветке снежно сиял на Ладгейтском холме фасад «Фордзона» — триста двадцать метров искусственного белого каррарского мраморв; по четырем углам взлетно-посадочной площадки рдели в вечернем небе гигантские знаки «Т», а из двадцати четырех огромных золотых труб-рупоров лилась, рокоча, торжественная синтетическая музыка.

— Опаздываю, будь ты неладно, — пробормотал Бернард, увидев циферблат Большого Генри * на дворцовой башне. И в самом деле, не успел он расплатиться с таксистом, как зазвучали куранты.

— Форд, — буркнул густейший бас из золотых раструбов. — Форд, форд, форд... — и так девять раз. Бернард поспешил к лифтам.

В нижнем этаже дворца — грандиозный актовый зал для празднования Дня Форда и других массовых фордослужений. А над залом — по сотне на этаж — семь тысяч помещений, где группы единения проводят дважды в месяц свои сходки. Бернард мигом спустился на тридцать четвертый этаж, пробежал коридор, приостановился перед дверью № 3210, собравшись с духом, открыл ее и вошел.

Слава Форду, не все еще в сборе. Три стула из двенадцати, расставленных по окружности широкого стола, еще не заняты. Он поскорей, понезаметней сел на ближайший и приготовился встретить тех, кто придет еще позже, укоризненным качаньем головы.

— Ты сегодня в какой гольф играл — с препятствиями или в электромагнитный? — повернувшись к нему, спросила соседка слева.

Бернард взглянул на нее (господи Форде, это Моргана Ротшильд) и, краснея, признался, что не играл ни в какой. Моргана раскрыла глаза изумленно. Наступило неловкое молчание.

Затем Моргана подчеркнуто повернулась к своему соседу слева, не уклоняющемуся от спорта.

«Хорошенькое начало для сходки», — горько подумал Бернард, предчувствуя уже свою очередную неудачу — неполноту единения. Оглядеться надо было, прежде чем кидаться к столу! Ведь можно же было сесть между Фифи Брэдлоо и Джоанной Дизель. А вместо этого он слепо сунулся к Моргане. К Моргане! О господи! Эти черные ее бровищи, вернее, одна слитная бровища, потому что брови срослись над переносицей. Господи Форде! А справа — Клара Детердинг. Допустим, что у нее брови не срослись. Но Клара уж чересчур, чрезмерно пневматична. А вот Джоанна и Фифи — абсолютно в меру. Тугие блондиночки, не слишком крупные... И уже уселся между ними Том Кавагучи, верзила этот косолапый.

Последней пришла Сароджини Энгельс.

— Ты опоздала, — сурово сказал председатель группы. — Прошу, чтобы это не повторялось больше.

Сароджини извинилась и тихонько села между Джимом Бокановским и Гербертом Бакуниным. Теперь состав был полон, круг единения сомкнут и целостен. Мужчина, женщина, мужчина, женщина — чередованье это шло по всему кольцу. Двенадцать сопричастников, чающих единения, готовых слить, сплавить, растворить свои двенадцать раздельных особей в общем большом организме.

Председатель встал, осенил себя знаком «Т» и включил синтетическую музыку — квазидуховой и суперструнный ансамбль, щемяще повторяющий под неустанное, негромкое биенье барабанов колдовски-неотвязную короткую мелодию первой Песни единения. Опять, опять, опять — и не в ушах уже звучал этот пульсирующий ритм, а под сердцем где-то; звон и стон созвучий не головой воспринимались, а всем сжимающимся нутром.

Председатель снова сотворил знаменье «Т» и сел. Фордослужение началось. В центре стола лежали освященные таблетки сомы. Из рук в руки передавалась круговая чаша клубничной сомовой воды с мороженым, и, произнеся: «Пью за мое растворение», каждый из двенадцати в свой черед осушил эту чашу. Затем под звуки синтетического ансамбля пропели первую Песнь единения:

Двенадцать воедино слей,
Сбери нас, Форд, в поток единый,
Чтоб понесло нас, как твоей
Сияющей автомашиной...

Двенадцать зовущих к слиянию строф. Затем настало время пить по второй. Теперь тост гласил: «Пью за Великий Организм». Чаша обошла круг. Не умолкая играла музыка. Били барабаны. От звенящих, стенящих созвучий замирало, млело, таяло нутро. Пропели вторую Песнь единения, еще двенадцать куплетов.

Приди, Великий Организм,
И раствори в себе двенадцать.
Большая, слившаяся жизнь
Должна со смерти лишь начаться.

Сома стала уже оказывать свое действие. Заблестели глаза, разрумянились щеки, внутренним светом вселюбия и доброты озарились лица и заулыбались счастливо, сердечно. Даже Бернард и тот ощутил некоторое размягчение. Когда Моргана Ротшильд взглянула на него, лучась улыб-

кой, он улыбнулся в ответ, как только мог лучисто. Но эта бровь, черная сплошная бровь, увы, бровища не исчезла; он не мог, не мог отвлечься от нее, как ни старался. Размягчение оказалось недостаточным. Возможно, если бы он сидел между Джоанной и Фифи... По третьей стали пить. «Пью за близость Его Пришествия!» — объявила Моргана, чья очередь была пускать чашу по кругу. Объявила громко, ликующе. Выпила и передала Бернарду. «Пью за близость Его Пришествия», — повторил он, искренне силясь ощутить близость Высшего Организма; но бровища чернела неотступно, и для Бернарда Пришествие оставалось до ужаса неблизким. Он выпил, передал чашу Кларе Детердинг. «Опять не сольюсь, — подумал. — Уж точно не сольюсь». Но продолжал изо всех сил улыбаться лучезарно.

Чаша пошла по кругу. Председатель поднял руку, и по ее взмаху запели хором третью Песнь единения.

Его пришествие заслышав,
Истай, восторга не тая!
В великом Организме Высшем
Я — это ты, ты — это я!

Строфа следовала за строфой, и голоса звучали все взволнованней. Воздух наэлектризованно вибрировал от близости Пришествия. Председатель выключил оркестр, и за финальной нотой финальной строфы настала полная тишина — тишь напрягшегося ожидания, дрожью, мурашками, морозом подирающего по спине. Председатель протянул руку; и внезапно Голос, глубокий звучный Голос, музыкальней всякого человеческого голоса, гуще, задушевней, богаче трепетной любовью, и томлением, и жалостью, таинственный, чудесный, сверхъестественный Голос раздался над их головами. «О Форд, Форд, Форд», — очень медленно произносил он, постепенно понижаясь, убывая. Сладостно растекалась в слушателях теплота — от солнечного сплетения к затылку и кончикам пальцев рук, ног; слезы подступали; сердце, все нутро взмывало и ворочалось. «О Форд!» — они истаивали; «Форд!» — растворялись, растворялись. И тут, внезапно и ошеломительно:

— Слушайте! — трубно воззвал Голос. — Слушайте!

Они прислушались. Пауза, и Голос сник до шепота, — до шепота, который потрясал сильнее вопля:

— Шаги Высшего Организма...

И опять:

— Шаги Высшего Организма...

И совсем уж замирая:

— Шаги Высшего Организма слышны на ступенях.

И вновь настала тишина; и напряженье ожидания, на миг ослабевшее, опять возросло, натянулось почти до предела. Шаги Высшего Организма — о, их слышно, их слышно теперь, они тихо звучат на ступенях, близясь, близясь, сходя по невидимым этим ступеням. Шаги Высшего, Великого... И напряжение внезапно достигло предела. Расширив зрачки, раскрыв губы, Моргана Ротшильд поднялась рывком.

— Я слышу его! — закричала она. — Слышу!

— Он идет! — крикнула Сароджини.

— Да, он идет. Я слышу. — Фифи Брэдлоо и Том Кавагучи вскочили одновременно.

— О, о, о! — нечленораздельно возгласила Джоанна.

— Он близится! — завопил Джим Бокановский.

Подавшись вперед, председатель нажал кнопку, и ворвался бедлам медных труб и тарелок, исступленный бой тамтамов.

— Близится! Ай! — взвизгнула, точно ее режут, Клара Детердинг.

Чувствуя, что пора и ему проявить себя, Бернард тоже вскочил и воскликнул:

— Я слышу, он близится!

Но неправда. Ничего он не слышал, и к нему никто не близился. Никто — невзирая на музыку, несмотря на растущее вокруг возбуждение. Но Бернард взмахивал руками, Бернард кричал, не отставая от других: и когда те начали приплясывать, притопывать, пришаркивать, то и он затанцевал и затоптался.

Хороводом пошли они по кругу, каждый положив руки на бедра идущему перед ним, каждый восклицая и притопывая в такт музыке, отбивая, отбивая этот такт на ягодицах впереди идущего; закружили, закружили хороводом, хлопая гулко и все как один — двенадцать пар ладоней по двенадцати плотным задам. Двенадцать как один, двенадцать как один. «Я слышу, слышу, он идет». Темп музыки ускорился; быстрее затопали ноги, быстрей, быстрей забили ритм ладони. И тут мощный синтетический бас зарокотал, возвещая наступленье единения, финальное слиянье Двенадцати в Одно, в осуществленный, воплощенный Высший Организм. «Пей-гу-ляй-гу», — запел бас под ярые удары тамтамов:

Пей-гу-ляй-гу, веселись,
Друг-подруга единись.
Слиться нас Господь зовет,
Обновиться нам дает.

— Пей-гу-ляй-гу, ве-се-лись, — подхватили пляшущие литургический запев, — друг-по-дру-га е-ди-нись...

Освещение начало медленно меркнуть, но в то же время теплеть, делаться краснее, рдяней, и вот уже они пляшут в вишневом сумраке Эмбрионария. «Пей-гу-ляй-гу...» В своем бутыльном, кровяного цвета мраке плясуны двигались вкруговую, отбивая, отбивая неустанно такт. «Ве-се-лись...» Затем хоровод дрогнул, распался, разделился, пары опустились на диваны, образующие внешнее кольцо вокруг стола и стульев. «Друг-по-дру-га...» Густо, нежно, задушевно ворковал могучий Голос; словно громадный негритянский голубь в красном сумраке благодетельно парил над лежащими теперь попарно плясунами.

Они стояли на крыше; Большой Генри только что проблаговестил одиннадцать. Ночь наступила тихая и теплая.

— Как дивно было! — сказала Фифи Брэдлоо, обращаясь к Бернарду. — Ну просто дивно!

Взгляд ее сиял восторгом, но в восторге этом не было ни следа волнения, возбуждения, ибо где полная удовлетворенность, там возбуждения уже нет. Восторг ее был тихим экстазом осуществленного слияния, покоем не пустоты, не серой сытости, а гармонии, жизненных энергий, приведенных в равновесие. Покой обогащенной, обновленной жизни. Ибо сходка единения не только взяла, но и дала, опустошила для того лишь, чтобы наполнить. Фифи всю, казалось, наполняло силами и совершенством; слиянье для нее еще длилось.

— Ведь правда же, дивно? — не унималась она, устремив на Бернарда свои сверхъестественно сияющие глаза.

— Да, именно дивно, — солгал он, глядя в сторону; ее преображенное лицо было ему и обвинением, и насмешливым напоминанием о его собственной неслиянности. Бернард был сейчас все так же тоскливо отъединен от прочих, как и в начале сходки, еще даже горше обособлен, ибо опустошен, но не наполнен, сыт, но мертвой сытостью. Оторван и далек в то время, когда другие растворялись в Высшем Организме; одинок даже в объятиях Морганы, одинок, как еще никогда в жизни, и безнадежней прежнего

замурован в себе. Из вишневого сумрака в мир обычных электрических огней Бернард вышел с чувством отчужденности, обратившимся в настоящую муку. Он был до крайности несчастен, и, возможно (в том обвиняло сиянье глаз Фифи), — возможно, по своей же собственной вине.

— Именно дивно, — повторил он; но маячило в его мозгу по-прежнему одно — бровь Морганы.

Глава шестая

1

Чудно́й, чудно́й, чудно́й — такое сложилось у Ленайны мнение о Бернарде. Чудной настолько, что в последовавшие затем недели она не раз подумывала, а не отменить ли поездку в Нью-Мексико и не слетать ли взамен с Бенито Гувером на Северный полюс. Но только была она уже на полюсе — недавно, прошлым летом, с Джорджем Эдзелом — и безотрадно оказалось там. Заняться нечем, отель до жути устарелый — спальни без телевизоров, и запахового органа нет, а только самая наидряннейшая синмузыка и всего-навсего двадцать пять эскалаторных кортов на двести с лишним отдыхающих. Нет, снова на полюс — брр! Притом она разочек только летала в Америку. И то на два лишь дня, на уикенд. Дешевая экскурсия в Нью-Йорк с Жаном Жаком Хабибуллой — или с Бокановским Джонсом? Забыла уже. Да и какая разница? А полететь туда теперь на целую неделю — так заманчиво! Да к тому же из этой недели три дня, если не больше, провести в индейской резервации! Во всем их Центре лишь человек пять-шесть побывали в диких заповедниках. А Бернард как психолог-высшекастовик имеет право на пропуск к дикарям — среди ее знакомых чуть ли не единственный с таким правом. Так что случай — из ряда вон. Но и странности у Бернарда настолько из ряда вон, что Ленайна всерьез колебалась: не пренебречь ли этой редкостной возможностью и не махнуть ли все-таки на полюс с волосатеньким Бенито? По крайней мере Бенито нормален. А вот Бернард...

Для Фанни-то все его чудаковатости объяснялись одним — добавкой спирта в кровезаменитель. Но Генри, с которым Ленайна как-то вечером в постели озабоченно стала обсуждать своего нового партнера, — Генри сравнил бедняжку Бернарда с носорогом.

— Носорога не выдрессируешь, — пояснил Генри в своей лаконично-энергичной манере. — Бывают и среди людей почти что носороги; формировке поддаются весьма туго. Бернард из таких горемык. Счастье его, что он работник неплохой. Иначе Директор давно бы с ним распростился. А впрочем, — прибавил Генри в утешение, — он, по-моему, вреда не причинит.

Вреда-то, может, и не причинит; но беспокойство очень даже причиняет. Взять хотя бы эту его манию уединяться, удаляться от общества. Ну чем можно заняться, уединясь вдвоем? (Не считая секса, разумеется, но невозможно же заниматься все время только этим.) Ну, правда, чем заняться, уйдя от общества? Да практически нечем. День, который они впервые проводили вместе, выдался особенно хороший. Ленайна предложила поплавать, покупаться в Торкийском пляжном клубе и затем пообедать в «Оксфорд-юнионе». Но Бернард возразил, что и в Торки [1], и в Оксфорде будет слишком людно.

— Ну тогда в Сент-Андрус [2], поиграем там в электромагнитный гольф.

Но опять не хочет Бернард: не стоит, видите ли, на гольф тратить время.

— А на что же его тратить? — спросила Ленайна не без удивления.

На пешие, видите ли, прогулки по Озерному краю *— именно это предложил Бернард. Приземлиться на вершине горы Скиддо и побродить по вересковым пустошам.

— Вдвоем с тобой, Ленайна.

— Но, Бернард, мы всю ночь будем вдвоем.

Бернард покраснел, опустил глаза.

— Я хочу сказать — побродим, поговорим вдвоем, — пробормотал он.

— Поговорим? Но о чем?

Бродить и говорить — разве так проводят люди день? В конце концов она убедила Бернарда, как тот ни упирался, слетать в Амстердам на четвертьфинал чемпионата по борьбе среди женщин-тяжеловесов.

— Опять в толпу, — ворчал Бернард. — Вечно в толпе.

И до самого вечера хмурился упрямо; не вступал в разговоры с друзьями Ленайны, которых они встречали во мно-

---

[1] Город на южном побережье Англии.

[2] Город на восточном побережье Шотландии.

жестве в баре «Сомороженое» в перерывах между схватками, и наотрез отказался полечить свою хандру сомовой водой с малиновым пломбиром, как ни убеждала Ленайна.

— Предпочитаю быть самим собой, — сказал он. — Пусть хмурым, но собой. А не кем-то другим, хоть и развеселым.

— Дорога таблетка к невеселому дню, — блеснула Ленайна перлом мудрости, усвоенной во сне.

Бернард с досадой оттолкнул протянутый фужер (полграмма сомы в сливочно-малиновом растворе).

— Не надо раздражаться, — сказала Ленайна. — Помни: «Сому ам! — и нету драм».

— Замолчи ты, ради Форда! — воскликнул Бернард.

Ленайна пожала плечами.

— Лучше полграмма, чем ругань и драма, — возразила она с достоинством и выпила фужер сама.

На обратном пути через Ла-Манш Бернард из упрямства выключил передний винт, и вертоплан повис всего метрах в тридцати над волнами. Погода стала уже портиться; подул с юго-запада ветер, небо заволоклось.

— Гляди, — сказал он повелительно Ленайне.

Ленайна поглядела и отшатнулась от окна:

— Но там ведь ужас!

Ее устрашила ветровая пустыня ночи, черная вздымающаяся внизу вода в клочьях пены, бледный, смятенный, чахлый лик луны среди бегущих облаков.

— Включим радио. Скорей! — Она потянулась к щитку управления, к ручке приемника, повернула ее наудачу.

— «...Там вечная весна, — запели, тремолируя, шестнадцать фальцетов, — небес голубиз...»

— Ик! — щелкнуло и пресекло руладу. Это Бернард выключил приемник.

— Я хочу спокойно глядеть на море, — сказал он. — А этот тошный вой даже глядеть мешает.

— Но они очаровательно поют. И я не хочу глядеть.

— А я хочу, — не уступал Бернард. — От моря у меня такое чувство... — Он помедлил, поискал слова. — Я как бы становлюсь более собой. Понимаешь, самим собой, не вовсе без остатка подчиненным чему-то. Не просто клеточкой, частицей общественного целого. А на тебя, Ленайна, неужели не действует море?

Но Ленайна повторяла со слезами:

— Там ведь ужас, там ужас. И как ты можешь говорить, что не желаешь быть частицей общественного целого!

Ведь каждый трудится для всех других. Каждый нам необходим. Даже от эпсилонов...

— Знаю, знаю, — сказал Бернард насмешливо. — «Даже от эпсилонов польза». И даже от меня. Но чихал я на эту пользу!

Ленайну ошеломило услышанное фордохульство.

— Бернард! — воскликнула она изумленно и горестно. — Как это ты можешь?

— Как это могу я? — Он говорил уже спокойней, задумчивей. — Нет, по-настоящему спросить бы надо: «Как это я не могу?» — или, вернее (я ведь отлично знаю, отчего я не могу), «А что бы, если бы я мог, если б я был свободен, а не сформован по-рабьи?»

— Но, Бернард, ты говоришь ужаснейшие вещи.

— А ты бы разве не хотела быть свободной?

— Не знаю, о чем ты говоришь. Я и так свободна. Свободна веселиться, наслаждаться. Теперь каждый счастлив.

— Да, — засмеялся Бернард. — «Теперь каждый счастлив». Мы вдалбливаем это детям начиная с пяти лет. Но разве не манит тебя другая свобода — свобода быть счастливой как-то по-иному? Как-то, скажем, по-своему, а не на общий образец?

— Не знаю, о чем ты, — повторила она и, повернувшись к нему, сказала умоляюще: — О Бернард, летим дальше! Мне здесь невыносимо.

— Разве ты не хочешь быть со мной?

— Да хочу же! Но не среди этого ужаса.

— Я думал, здесь... думал, мы сделаемся ближе друг другу, здесь, где только море и луна. Ближе, чем в той толпе, чем даже дома у меня. Неужели тебе не понять?

— Ничего не понять мне, — решительно сказала она, утверждаясь в своем непонимании. — Ничего. И непонятней всего, — продолжала она мягче, — почему ты не примешь сому, когда у тебя приступ этих мерзких мыслей. Ты бы забыл о них тут же. И не тосковал бы, а веселился. Со мною вместе. — И сквозь тревогу и недоумение она улыбнулась, делая свою улыбку чувственной, призывной, обольстительной.

Он молча и очень серьезно смотрел на нее, не отвечая на призыв, смотрел пристально. И через несколько секунд Ленайна дрогнула и отвела глаза с неловким смешком; хотела замять неловкость и не нашлась, что сказать. Пауза тягостно затянулась.

Наконец Бернард заговорил, тихо и устало.

— Ну ладно, — произнес он, — летим дальше. — И, выжав педаль акселератора, послал машину резко ввысь. На километровой высоте он включил передний винт. Минуты две они летели молча. Затем Бернард неожиданно начал смеяться. «По-чудному как-то, — подумалось Ленайне, — но все же засмеялся».

— Лучше стало? — рискнула она спросить.

Вместо ответа он снял одну руку со штурвала и обнял ее этой рукой, нежно поглаживая груди.

«Слава Форду, — подумала она, — вернулся в норму».

Еще полчаса — и они уже в квартире Бернарда. Он проглотил сразу четыре таблетки сомы, включил телевизор и радио и стал раздеваться.

— Ну как? — спросила Ленайна многозначительно-лукаво, когда назавтра они встретились под вечер на крыше. — Ведь славно же было вчера?

Бернард кивнул. Они сели в машину. Вертоплан дернулся, взлетел.

— Все говорят, что я ужасно пневматична, — задумчивым тоном сказала Ленайна, похлопывая себя по бедрам.

— Ужасно, — подтвердил Бернард, но в глазах его мелькнула боль.

«Будто о куске мяса говорят», — подумал он.

Ленайна поглядела на него с некоторой тревогой:

— А не кажется тебе, что я чересчур полненькая?

«Нет», — успокоительно качнул он головой. («Будто о куске мяса...»)

— Я ведь как раз в меру?

Бернард кивнул.

— По всем статьям хороша?

— Абсолютно по всем, — заверил он и подумал: «Она и сама так на себя смотрит. Ей не обидно быть куском мяса».

Ленайна улыбнулась торжествующе. Но, как оказалось, прежде времени.

— А все же, — продолжал он, помолчав, — пусть бы кончилось у нас вчера по-другому.

— По-другому? А какие другие бывают концы?

— Я не хотел, чтобы кончилось у нас вчера постелью, — уточнил он.

Ленайна удивилась.

— Пусть бы не сразу, не в первый же вечер.

— Но чем же тогда?..

В ответ Бернард понес несусветную и опасную чушь. Ленайна мысленно заткнула себе уши поплотней; но отдельные фразы то и дело прорывались в ее сознание.

— ...попробовать бы, что получится, если застопорить порыв, отложить исполнение желания...

Слова эти задели некий рычажок в ее мозгу.

— Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня, — с важностью произнесла она.

— Двести повторений дважды в неделю с четырнадцати до шестнадцати с половиной лет, — сухо отозвался он на это. И продолжал городить свой дикий вздор.

— Я хочу познать страсть, — доходили до Ленайны фразы. — Хочу испытать сильное чувство.

— Когда страстями увлекаются, устои общества шатаются, — молвила Ленайна.

— Ну и пошатались бы, что за беда.

— Бернард!

Но Бернарда не унять было.

— В умственной сфере и в рабочие часы мы взрослые. А в сфере чувства и желания — младенцы.

— Господь наш Форд любил младенцев.

Словно не слыша, Бернард продолжал:

— Меня осенило на днях, что возможно ведь быть взрослым во всех сферах жизни.

— Не понимаю, — твердо возразила Ленайна.

— Знаю, что не понимаешь. Потому-то мы и легли сразу в постель, как младенцы, а не повременили с этим, как взрослые.

— Но было же славно, — не уступала Ленайна. — Ведь славно?

— Еще бы не славно, — ответил он, но таким скорбным тоном, с такой унылостью в лице, что весь остаток торжества Ленайны улетучился.

«Видно, все-таки показалась я ему слишком полненькой».

— Предупреждала я тебя, — только и сказала Фанни, когда Ленайна поделилась с ней своими печалями. — Это все спирт, который влили ему в кровезаменитель.

— А все равно он мне нравится, — не сдалась Ленайна. — У него ужасно ласковые руки. И плечиками вздергивает до того мило. — Она вздохнула. — Жалко лишь, что он такой чудной.

2

Перед дверью директорского кабинета Бернард перевел дух, расправил плечи, зная, что за дверью его ждет неодобрение и неприязнь, и готовя себя к этому. Постучал и вошел.

— Нужна ваша подпись на пропуске, — сказал он как можно беззаботнее и положил листок Директору на стол.

Директор покосился на Бернарда кисло. Но пропуск был со штампом канцелярии Главноуправителя, и внизу размашисто чернело: Мустафа Монд. Все в полнейшем порядке. Придраться было не к чему. Директор поставил свои инициалы — две бледных приниженных буковки в ногах у жирной подписи Главноуправителя — и хотел уже вернуть листок без всяких комментариев и без напутственного дружеского «С Фордом!», но тут взгляд его наткнулся на слово «Нью-Мексико».

— Резервация в Нью-Мексико? — произнес он, и в голосе его неожиданно послышалось — и на лице, поднятом к Бернарду, изобразилось — взволнованное удивление.

В свою очередь удивленный, Бернард кивнул. Пауза. Директор откинулся на спинку кресла, хмурясь.

— Сколько же тому лет? — проговорил он, обращаясь больше к себе самому, чем к Бернарду. — Двадцать, пожалуй. Если не все двадцать пять. Я был тогда примерно в вашем возрасте... — Он вздохнул, покачал головой.

Бернарду стало неловко в высшей степени. Директор, человек предельно благопристойный, щепетильно корректный, и на тебе — совершает такой вопиющий ляпсус! Бернарду хотелось отвернуться, выбежать из кабинета. Не то чтобы он сам считал в корне предосудительным вести речь об отдаленном прошлом — от подобных гипнопедических предрассудков он уже полностью освободился, как ему казалось. Конфузно ему стало оттого, что Директор был ему известен как ярый враг нарушений приличия, и вот этот же самый Директор нарушал теперь запрет. Что же его понудило, толкнуло предаться воспоминаниям? Подавляя неловкость, Бернард жадно слушал.

— Мне, как и вам, — говорил Директор, — захотелось взглянуть на дикарей. Я взял пропуск в Нью-Мексико и отправился туда на краткий летний отдых. С девушкой, моей очередной подругой. Она была бета-минусовичка и, кажется... (он закрыл глаза), кажется, русоволосая. Во вся-

ком случае, пневматична, чрезвычайно пневматична — это я помню. Ну-с, глядели мы там на дикарей, на лошадях катались и тому подобное. А потом, в последний уже почти день моего отпуска, потом вдруг... пропала без вести моя подруга. Мы с ней поехали кататься на одну из этих мерзких гор, было невыносимо жарко, душно, и, поев, мы прилегли и уснули. Вернее, я уснул. Она же, видимо, встала и пошла прогуляться. Когда я проснулся, ее рядом не было. А разразилась ужасающая гроза, буквально ужасающая. Лило, грохотало, слепило молниями; лошади наши сорвались с привязи и ускакали; я упал, пытаясь удержать их, и ушиб колено, да так, что вконец охромел. Но все же я искал, звал, разыскивал. Нигде ни следа. Тогда я подумал, что она, должно быть, вернулась одна на туристский пункт отдыха. Чуть не ползком стал спускаться обратно в долину. Колено болело мучительно, а свои таблетки сомы я потерял. Спускался я не один час. Уже после полуночи добрался до пункта. И там ее не было; там ее не было, — повторил Директор. Помолчал. — На следующий день провели поиски. Но найти мы ее не смогли. Должно быть, упала в ущелье куда-нибудь, или растерзал ее кугуар. Одному Форду известно. Так или иначе, происшествие ужасное. Расстроило меня чрезвычайно. Я бы даже сказал, чрезмерно. Ибо, в конце концов, несчастный случай такого рода может произойти с каждым; и, разумеется, общественный организм продолжает жить, несмотря на смену составляющих его клеток. — Но, по-видимому, это гипнопедическое утешение не вполне утешало Директора. Опустив голову, он тихо сказал: — Мне даже снится иногда, как я вскакиваю от удара грома, а ее нет рядом; как ищу, ищу, ищу ее в лесу. — Он умолк, ушел в воспоминания.

— Большое вы испытали потрясение, — сказал Бернард почти с завистью.

При звуке его голоса Директор вздрогнул и очнулся; бросил какой-то виноватый взгляд на Бернарда, опустил глаза, побагровел; метнул на Бернарда новый взгляд — опасливый — и с гневным достоинством произнес:

— Не воображайте, будто у меня с девушкой было что-либо неблагопристойное. Ровно ничего излишне эмоционального или не в меру продолжительного. Взаимопользование наше было полностью здоровым и нормальным. — Он вернул Бернарду пропуск. — Не знаю, зачем я рассказал вам этот незначительный и скучный эпизод.

И с досады на то, что выболтал постыдный свой

секрет, Директор вдруг свирепо накинулся на Бернарда:

— И я хотел бы воспользоваться случаем, мистер Маркс (в глазах Директора теперь была откровенная злоба), чтобы сообщить вам, что меня нимало не радуют сведения, которые я получаю о вашем внеслужебном поведении. Вы скажете, что это меня не касается. Нет, касается. На мне лежит забота о репутации нашего Центра. Мои работники должны вести себя безупречно, в особенности члены высших каст. Формирование альфовиков не предусматривает бессознательного следования инфантильным нормам поведения. Но тем сознательнее и усерднее должны альфовики следовать этим нормам. Быть инфантильными, младенчески нормальными даже вопреки своим склонностям — их прямой долг. Итак, вы предупреждены. — Голос Директора звенел от гнева, уже вполне самоотрешенного и праведного, был уже голосом всего осуждающего Общества. — Если я опять услышу о каком-либо вашем отступлении от младенческой благовоспитанности и нормальности, то осуществлю ваш перевод в один из филиалов Центра, предпочтительно в Исландию. Честь имею. — И, повернувшись в своем вращающемся кресле прочь от Бернарда, он взял перо, принялся что-то писать.

«Привел в чувство голубчика», — думал Директор. Но он ошибался: Бернард вышел гордо, хлопнув дверью, ликуя от мысли, что он один геройски противостоит всему порядку вещей; его окрыляло, пьянило сознание своей особой важности и значимости. Даже мысль о гонениях не угнетала, а скорей бодрила. Он чувствовал в себе довольно сил, чтобы бороться с бедствиями и преодолевать их, даже Исландия его не пугала. И тем увереннее был он в своих силах, что ни на секунду не верил в серьезность опасности. За такой пустяк людей не переводят. Исландия — не больше чем угроза. Бодрящая, живительная угроза. Шагая коридором, он даже насвистывал.

Вечером он поведал Гельмгольцу о стычке с Директором, и отвагою дышала его повесть. Заканчивалась она так:

— А в ответ я попросту послал его в Бездну Прошлого и круто вышел вон. И точка.

Он ожидающе глянул на Гельмгольца, надеясь, что друг наградит его должной поддержкой, пониманием, восхищением. Но не тут-то было. Гельмгольц сидел молча, уставившись в пол.

Он любил Бернарда, был благодарен ему за то, что с ним единственным мог говорить о вещах по-настоящему важ-

ных. Однако были в Бернарде неприятнейшие черты. Это хвастовство, например. И чередуется оно с приступами малодушной жалости к себе. И эта удручающая привычка храбриться после драки, задним числом выказывать необычайное присутствие духа, ранее отсутствовавшего. Гельмгольц терпеть этого не мог — именно потому, что любил Бернарда. Шли минуты. Гельмгольц упорно не поднимал глаз. И внезапно Бернард покраснел и отвернулся.

3

Полет был ничем не примечателен. «Синяя Тихоокеанская ракета» в Новом Орлеане села на две с половиной минуты раньше времени, затем потеряла четыре минуты, попав в ураган над Техасом, но, подхваченная на 95-м меридиане попутным воздушным потоком, сумела приземлиться в Санта-Фе с менее чем сорокасекундным опозданием.

— Сорок секунд на шесть с половиной часов полета. Не так уж плохо, — отдала должное экипажу Ленайна.

В Санта-Фе и заночевали. Отель там оказался отличный — несравненно лучше, скажем, того ужасного «Полюсного сияния», где Ленайна так томилась и скучала прошлым летом. В каждой спальне здесь подача сжиженного воздуха, телевидение, вибровакуумный массаж, радио, кипящий раствор кофеина, подогретые противозачаточные средства и на выбор восемь краников с духами. В холле встретила их синтетическая музыка, не оставляющая желать лучшего. В лифте плакатик доводил до сведения, что при отеле шестьдесят эскалаторно-теннисных кортов, и приглашал в парк, на гольф — как электромагнитный, так и с препятствиями.

— Но это просто замечательно! — воскликнула Ленайна. — Прямо ехать никуда больше не хочется. Шестьдесят кортов!..

— А в резервации ни одного не будет, — предупредил Бернард. — И ни духов, ни телевизора, ни даже горячей воды. Если ты без этого не сможешь, то оставайся и жди меня здесь.

Ленайна даже обиделась:

— Отчего же не смогу? Я только сказала, что тут замечательно, потому что... ну потому, что замечательная же вещь прогресс.

— Пятьсот повторений, раз в неделю, от тринадцати до семнадцати, — уныло пробурчал Бернард себе под нос.

— Ты что-то сказал?

— Я говорю, прогресс — замечательная вещь. Поэтому, если тебе не слишком хочется в резервацию, то и не надо.

— Но мне хочется.

— Ладно, едем, — сказал Бернард почти угрожающе.

На пропуске полагалась еще виза Хранителя резервации, и утром они явились к нему. Негр, эпсилон-плюсовик, отнес в кабинет визитную карточку Бернарда, и почти сразу же их пригласили туда.

Хранитель был коренастенький альфа-минусовик, короткоголовый блондин с круглым красным лицом и гудящим, как у лектора-гипнопеда, голосом. Он немедленно засыпал их нужной и ненужной информацией и непрошеными добрыми советами. Раз начав, он уже не способен был остановиться.

— ...пятьсот шестьдесят тысяч квадратных километров и разделяется на четыре обособленных участка, каждый из которых окружен высоковольтным проволочным ограждением.

Тут Бернард почему-то вспомнил вдруг, что в ванной у себя дома не завернул, забыл закрыть одеколонный краник.

— Ток в ограду поступает от Гранд-Каньонской гидростанции.

«Пока вернусь в Лондон, вытечет на колоссальную сумму», — Бернард мысленно увидел, как стрелка расходомера ползет и ползет по кругу, муравьино, неустанно.

«Быстрей позвонить Гельмгольцу».

— ...пять с лишним тысяч километров ограды под напряжением в шестьдесят тысяч вольт.

Хранитель сделал драматическую паузу, и Ленайна учтиво изумилась:

— Неужели!

Она понятия не имела, о чем гудит Хранитель. Как только он начал разглагольствовать, она незаметно проглотила таблетку сомы и теперь сидела, блаженно не слушая и ни о чем не думая, но неотрывным взором больших синих глаз выражая упоенное внимание.

— Прикосновение к ограде влечет моментальную смерть, — торжественно сообщил Хранитель. — Отсюда вытекает невозможность выхода из резервации.

Слово «вытекает» подстегнуло Бернарда.

— Пожалуй, — сказал он, привставая, — мы уже отняли у вас довольно времени.

(Черная стрелка спешила, ползла юрким насекомым, сгрызая время, пожирая деньги Бернарда.)

— Из резервации выход невозможен, — повторил Хранитель, жестом веля Бернарду сесть; и, поскольку пропуск не был еще завизирован, Бернарду пришлось подчиниться.

— Для тех, кто там родился, — а не забывайте, дорогая моя девушка, — прибавил он, масляно глядя на Ленайну и переходя на плотоядный шепот, — не забывайте, что в резервации дети все еще родятся, именно рож-да-ют-ся, как ни отталкивающе это звучит...

Он надеялся, что непристойная тема заставит Ленайну покраснеть; но она лишь улыбнулась, делая вид, что слушает и вникает, и сказала:

— Неужели!

Хранитель разочарованно продолжил:

— Для тех, повторяю, кто там родился, вся жизнь до последнего дня должна протечь в пределах резервации.

Протечь... Сто кубиков одеколона каждую минуту. Шесть литров в час.

— Пожалуй, — опять начал Бернард, — мы уже...

Хранитель, наклоняясь вперед, постучал по столу указательным пальцем.

— Вы спросите меня, какова численность жителей резервации. А я отвечу вам, — прогудел он торжествующе, — я отвечу, что мы не знаем. Оцениваем лишь предположительно.

— Неужели!

— Именно так, милая моя девушка.

Шесть помножить на двадцать четыре, нет, уже тридцать шесть часов протекло почти. Бернард бледнел, дрожал от нетерпения. Но Хранитель неумолимо продолжал гудеть:

— ...тысяч примерно шестьдесят индейцев и метисов... полнейшие дикари... наши инспектора навещают время от времени... никакой иной связи с цивилизованным миром... по-настоящему хранят свой отвратительный уклад жизни... вступают в брак, но вряд ли вам, милая девушка, знаком этот термин; живут семьями... о научном формировании психики нет и речи... чудовищные суеверия... христианство, тотемизм, поклонение предкам... говорят лишь на таких вымерших языках, как зуньи, испанский, атапаскский... дикобразы, пумы и прочее свирепое зверье... заразные болезни... жрецы... ядовитые ящерицы...

— Неужели!

Наконец им все же удалось уйти. Бернард кинулся к телефону. Скорей, скорей; но чуть не целых три минуты его соединяли с Гельмгольцем.

— Словно мы уже среди дикарей, — пожаловался он Ленайне. — Безобразно медленно работают!

— Прими таблетку, — посоветовала Ленайна.

Он отказался, предпочитая злиться. И наконец его соединили, Гельмгольц слушает; Бернард объяснил, что случилось, и тот пообещал незамедлительно, сейчас же слетать туда, закрыть кран, да-да, сейчас же, но сообщил, кстати, Бернарду, что Директор Инкубатория вчера вечером объявил...

— Как? Ищет психолога на мое место? — повторил Бернард горестным голосом. — Уже и решено? Об Исландии упомянул? Господи Форде! В Исландию... — Он положил трубку, повернулся к Ленайне. Лицо его было как мел, вид — убитый.

— Что случилось? — спросила она.

— Случилось... — Он тяжело опустился на стул. — Меня отправляют в Исландию.

Часто он, бывало, раньше думал, что не худо бы перенести какое-нибудь суровое испытание, мучение, гонение, причем без сомы, опираясь лишь на собственную силу духа; ему прямо мечталось об ударе судьбы. Всего неделю назад, у Директора, он воображал, будто способен бесстрашно противостоять насилию, стоически, без слова жалобы, страдать. Угрозы Директора только окрыляли его, возносили над жизнью. Но, как теперь он понял, потому лишь окрыляли, что он не принимал их полностью всерьез; он не верил, что Директор в самом деле будет действовать. Теперь, когда угрозы, видимо, осуществлялись, Бернард пришел в ужас. От воображаемого стоицизма, от сочиненного бесстрашия не осталось и следа.

Он бесился на себя: какой же я дурак! Бесился на Директора: как это несправедливо — не дать возможности исправиться (а он теперь не сомневался, что хотел, ей-Форду, хотел исправиться). И в Исландию, в Исландию...

Ленайна покачала головой.

— «Примет сому человек — время прекращает бег, — напомнила она. — Сладко человек забудет и что было, и что будет».

В конце концов она уговорила его проглотить четыре таблетки сомы. И в несколько минут прошлое с будущим

исчезло; розово расцвел цвет настоящего. Позвонил портье отеля и сказал, что по распоряжению Хранителя прилетел за ними охранник из резервации и ждет с вертопланом на крыше. Они без промедления поднялись туда. Очень светлый мулат в гамма-зеленой форме поприветствовал их и ознакомил с программой сегодняшней экскурсии.

В первой половине дня — облет и обзор сверху десяти-двенадцати основных поселений-пуэбло, затем приземление и обед в долине Мальпаис. Там неплохой туристский пункт, а наверху, в пуэбло, у дикарей летнее празднество должно быть. Закончить день там будет интереснее всего.

Они сели в вертоплан, поднялись в воздух. Через десять минут они были уже над рубежом, отделяющим цивилизацию от дикости. Пересекая горы и долы, солончаки и пески, леса и лиловые недра каньонов, через утесы, острые пики и плоские месы [1] гордо и неудержимо по прямой шла вдаль ограда — геометрический символ победной воли человека. А у ее подножия там и сям белела мозаика сухих костей, темнел еще не сгнивший труп на рыжеватой почве, отмечая место, где коснулся смертоносных проводов бык или олень, кугуар, дикобраз или койот или слетел на мертвечину гриф и сражен был током, словно небесной карой за прожорливость.

— Нету им науки, — сказал зеленый охранник-пилот, указывая на белые скелеты внизу. — Неграмотная публика, — прибавил он со смехом, будто торжествуя личную победу над убитыми током животными.

Бернард тоже засмеялся; после принятых двух граммов сомы шуточка мулата показалась забавной. А посмеявшись, тут же и уснул и сонный пролетел над Таосом и Тесукве; над Намбе, Пикурисом и Похоакве, над Сиа и Кочити, над Лагуной, Акомой * и Заколдованной Месой, над Зуньи, Сиболой и Охо-Кальенте, когда же проснулся, вертоплан стоял уже на земле, Ленайна с чемоданами в руках входила в квадратное зданьице, а зеленый пилот говорил на непонятном языке с хмурым молодым индейцем.

— Прилетели, — сказал пилот вышедшему из кабины Бернарду. — Мальпаис, туристский пункт. А ближе к вечеру в пуэбло будет пляска. Он проведет вас. — Мулат кивнул на индейца. — Потеха там, думаю, будет. — Он широко ухмыльнулся. — Они все делают потешно. — И с этими словами он сел в кабину, запустил моторы. — Завтра я вер-

---

[1] Меса — плосковерхий холм-останец.

нусь. Не беспокойтесь, — сказал он Ленайне, — они не тронут; дикари полностью ручные. Химические бомбы отучили их кусаться. — Ухмыляясь, он включил верхние винты, нажал на акселератор и улетел.

Глава седьмая

Меса была как заштилевший корабль среди моря светло-бурой пыли, вернее, среди извилистого неширокого пролива. Между крутыми его берегами, по дну долины косо шла зеленая полоса — река с приречными полями. А на каменном корабле месы, на носу корабля, стояло поселение-пуэбло Мальпаис и казалось скальным выростом четких, прямых очертаний. Древние дома вздымались многоярусно, как ступенчатые усеченные пирамиды. У подошвы их был ералаш низеньких построек, путаница глиняных заборов, и затем отвесно падали обрывы на три стороны в долину. Несколько прямых столбиков дыма таяло в безветренной голубой вышине.

— Странно здесь, — сказала Ленайна. — Очень странно. «Странно» было у Ленайны словом осуждающим.

— Не нравится мне. И человек этот не нравится. — Она кивнула на индейца-провожатого.

Неприязнь была явно обоюдной: даже спина индейца, шедшего впереди, выражала враждебное, угрюмое презрение.

— И потом, — прибавила она вполголоса, — от него дурно пахнет.

Бернард не стал отрицать этот факт. Они продолжали идти.

Неожиданно воздух весь ожил, запульсировал, словно наполнившись неустанным сердцебиением. Это сверху, из Мальпаиса, донесся барабанный бой. Они ускорили шаги, подчиняясь ритму таинственного этого сердца. Тропа привела их к подножию обрыва. Над ними возносил свои борта почти на сотню метров корабль месы.

— Ах, зачем с нами нет вертоплана, — сказала Ленайна, обиженно глядя на голую кручу. — Ненавижу пешее карабканье. Стоя под горой, кажешься такою маленькой.

Прошагали еще некоторое расстояние в тени холма, обогнули скальный выступ и увидели рассекающую склон ложбину, овражную промоину. Стали подниматься по ней, как по корабельному трапу. Тропинка шла крутым зиг-

загом. Пульс барабанов делался иногда почти неслышен, а порой казалось, что они бьют совсем где-то рядом.

На половине подъема орел пролетел мимо них, так близко, что в лицо им дохнул холодноватый ветер крыльев. Куча костей валялась в расщелине. Все было угнетающе-странным, и от индейца пахло все сильнее. Наконец они вышли наверх, в яркий солнечный свет. Меса лежала перед ними плоской каменной палубой.

— Как будто мы на диске Черинг-Тийской башни, — обрадовалась Ленайна.

Но недолго пришлось ей радоваться этому успокоительному сходству. Мягкий топот ног заставил их обернуться. Темно-коричневые, обнаженные от горла до пупка и разрисованные белыми полосами («...как теннисные корты на асфальте», — рассказывала потом Ленайна), с лицами, нелюдски заляпанными алым, черным и охряным, по тропе навстречу им бежали два индейца. В их черные косы были вплетены полоски лисьего меха и красные лоскуты. Легкие, индюшиного пера накидки развевались за плечами; окружая голову, пышнели высокие короны перьев. На бегу звенели и бряцали серебряные их браслеты, тяжелые мониста из костяных и бирюзовых бус. Они бежали молча, спокойно в своих оленьих мокасинах. Один держал метелку из перьев; у другого в каждой руке было три или четыре толстых веревки. Одна веревка косо дернулась, извилась, и Ленайна вдруг увидела, что это змеи.

Бегущие близились, близились; их черные глаза смотрели на Ленайну, но как бы совершенно не видя, как будто она пустое место. Змея, дернувшись, опять обвисла. Индейцы пробежали мимо.

— Не нравится мне, — сказала Ленайна. — Не нравится мне.

Но еще меньше понравилось ей то, что встретило при входе в пуэбло, где индеец их оставил, а сам пошел сказать о гостях. Грязь их встретила, кучи отбросов, пыль, собаки, мухи. Лицо Ленайны сморщилось в гадливую гримасу. Она прижала к носу платочек.

— Да как они могут так жить? — воскликнула она негодуя, не веря глазам.

Бернард пожал философски плечами.

— Они ведь не со вчерашнего дня так живут, — сказал он. — За пять-шесть тысяч лет попривыкли, должно быть.

— Но чистота — залог благофордия, — не успокаивалась Ленайна.

— Конечно. И без стерилизации нет цивилизации, — насмешливо процитировал Бернард заключительную фразу второго гипнопедического урока по основам гигиены. — Но эти люди никогда не слышали о господе нашем Форде, они не цивилизованы. Так что не имеет смысла...

— Ой! — Она схватила его за руку. — Гляди.

С нижней террасы соседнего дома сходил очень медленно по лесенке почти нагой индеец — спускался с перекладины на перекладину с трясучей осторожностью глубокой старости. Лицо его было изморщинено и черно, как обсидиановая маска. Беззубый рот ввалился. По углам губ и с боков подбородка торчали редкие длинные щетинки, белесо поблескивая на темной коже. Незаплетенные волосы свисали на плечи и грудь седыми космами. Тело было сгорбленное, тощее — кожа, присохшая к костям. Мешкотно, медлительно спускался он, останавливаясь на каждой перекладинке.

— Что с ним такое? — шепнула пораженная Ленайна, широкоглазая от ужаса.

— Старость, вот и все, — ответил Бернард самым небрежным тоном. Он тоже был ошеломлен, но крепился и не подавал вида.

— Старость? — переспросила она. — Но и наш Директор стар, многие стары; но у них же ничего подобного.

— Потому что мы не даем им дряхлеть. Мы ограждаем их от болезней. Искусственно поддерживаем их внутренне-секреторный баланс на юношеском уровне. Не позволяем магниево-кальциевому показателю упасть ниже цифры, соответствующей тридцати годам. Вливаем им молодую кровь. Постоянно стимулируем у них обмен веществ. И, конечно, они выглядят иначе. Отчасти потому, — прибавил он, — что они в большинстве своем умирают задолго до возраста, какого достигла эта развалина. У них молодость сохраняется почти полностью до шестидесяти лет, а затем хруп! — и конец.

Но Ленайна не слушала. Она смотрела на старика. Медленно, медленно спускался он. Ноги его коснулись наконец земли. Тело повернулось. Глубоко запавшие глаза были еще необычайно ясны. Они неторопливо поглядели на Ленайну, не выразив ни удивления, ничего, словно ее здесь и не было. Сутуло, медленно старик проковылял мимо и скрылся.

— Но это ужас, — прошептала Ленайна. — Это страх и ужас. Нельзя было нам сюда ехать.

Она сунула руку в карман за сомой и обнаружила, что по оплошности, какой с ней еще не случалось, забыла свой флакончик на туристском пункте. У Бернарда карманы тоже были пусты.

Приходилось противостоять ужасам Мальпаиса без крепительной поддержки. А ужасы наваливались на Ленайну один за другим. Вон две молодые женщины кормят грудью младенцев — Ленайна вспыхнула и отвернулась. Никогда в жизни не сталкивалась она с таким непристойным зрелищем. А тут еще Бернард, вместо того чтобы тактично не заметить, принялся вслух комментировать эту омерзительную сценку из быта живородящих. У него уже кончилось действие сомы, и, стыдясь слабонервности, проявленной утром в отеле, он теперь всячески старался показать, как он силен и независим духом.

— Что за чудесная, тесная близость существ, — восхитился он, намеренно порывая с приличиями. — И какую должна она порождать силу чувства! Я часто думаю: быть может, мы теряем что-то, не имея матери. И, возможно, ты теряешь что-то, лишаясь материнства. Вот представь, Ленайна, ты сидишь там, кормишь свое родное дитя...

— Бернард! Как не стыдно!

В это время прошла перед ними старуха с воспалением глаз и болезнью кожи, и Ленайна уж и возмущаться перестала.

— Уйдем отсюда, — сказала она просяще. — Мне противно.

Но тут вернулся провожатый и, сделав знак, повел их узкой улочкой между домами. Повернули за угол. Дохлый пес валялся на куче мусора; зобастая индианка искала в голове у маленькой девочки. Проводник остановился у приставной лестницы, махнул рукою сперва вверх, затем вперед. Они повиновались этому молчаливому приказу — поднялись по лестнице и через проем в стене вошли в длинную узкую комнату; там было сумрачно и пахло дымом, горелым жиром, заношенной, нестираной одеждой. Сквозь дверной проем в другом конце комнаты падал на пол свет солнца и доносился бой барабанов, громкий, близкий.

Пройдя туда, они оказались на широкой террасе. Под ними, плотно окруженная уступчатыми домами, была площадь, толпился у домов народ. Пестрые одеяла, перья в черных волосах, мерцанье бирюзы, темная кожа, влажно блестящая от зноя. Ленайна снова прижала к носу платок. Посреди площади виднелись из-под земли две круговые

каменные кладки, накрытые плоскими кровлями, видимо, верха двух подземных помещений; в центре каждой кровли — круглой, глиняной, утоптанной — открытый люк, и торчит из темноты оттуда деревянная лестница. Там, внизу, играют на флейтах, но звук их почти заглушен ровным, неумолимо-упорным боем барабанов.

Барабаны Ленайне понравились. Она закрыла глаза, и рокочущие барабанные раскаты заполнили ее сознание, заполонили, и вот уже остался в мире один этот густой рокот. Он успокоительно напоминал синтетическую музыку на сходках единения и празднования Дня Форда. «Пей-гу-ляй-гу», — мурлыкнула Ленайна. Ритм в точности такой же.

Раздался внезапный взрыв пения: сотни мужских голосов в унисон металлически-резко взяли несколько свирепых длинных нот. И — тишина, раскатистая тишина барабанов; затем пронзительный, заливчатый хор женщин дал ответ. И снова барабаны; и опять дикое, медное утвержденье мужского начала.

Странно? Да, странно. Обстановка странная, и музыка, и одежда странная, и зобы, и кожные болезни, и старики. Но в самом хоровом действе вроде ничего такого уж и странного.

— Похоже на праздник песнословия у низших каст, — сказала Ленайна Бернарду.

Однако сходство с тем невинным праздником тут же стало и кончаться. Ибо неожиданно из круглых подземелий повалила целая толпа устрашающих чудищ. В безобразных масках или размалеванные до потери человеческого облика, они пустились в причудливый пляс — вприхромку, топочуще, с пением; сделали по площади круг, другой, третий, четвертый, убыстряя пляску с каждым новым кругом; и барабаны убыстрили ритм, застучавший лихорадочно в ушах; и народ запел вместе с плясунами, громче и громче; и сперва одна из женщин испустила истошный вопль, а за ней еще, еще; затем вдруг головной плясун выскочил из круга, подбежал к деревянному сундуку, стоявшему на краю площади, откинул крышку и выхватил оттуда двух черных змей.

Громким криком отозвалась площадь, и остальные плясуны все побежали к нему, протягивая руки. Он кинул змей тем, что подбежали первыми, и опять нагнулся к сундуку. Все новых змей — черных, коричневых, крапчатых — доставал он, бросал плясунам. И танец начался снова, в

ином ритме. Со змеями в руках пошли они по кругу, змеисто сами извиваясь, волнообразно изгибаясь в коленях и бедрах. Сделали круг, и еще. Затем, по знаку головного, один за другим побросали змей в центр площади; поднялся из люка старик и сыпнул на змей кукурузной мукой, а из другого подземелья вышла женщина и окропила их водой из черного кувшина. Затем старик поднял руку, и — жуткая, пугающая — мгновенно воцарилась тишина. Смолкли барабаны, жизнь словно разом оборвалась. Старик простер руки к отверстиям, устьям подземного мира. И медленно возносимые — а кем, сверху не видно — возникли два раскрашенных изваяния; из первого люка — орел, из второго — нагой человек, пригвожденный к кресту. Изваяния повисли, точно сами собой держась в воздухе и глядя на толпу. Старик хлопнул в ладоши. Из толпы выступил юноша лет восемнадцати в одной лишь набедренной белой повязке и встал перед стариком, сложив руки на груди, склонив голову. Старик перекрестил его. Медленно юноша пошел вокруг кучи змей, спутанно шевелящейся. Совершил один круг, начал другой, и в это время, отделясь от плясунов, рослый человек в маске койота направился к нему с ременной плетью в руке. Юноша продолжал идти, как бы не замечая человека-койота. Тот поднял плеть; долгий миг ожидания, резкое движенье, свист плети, хлесткий удар по телу. Юноша дернулся весь; но он не издал ни звука, он продолжал идти тем же неторопливым, мерным шагом. Койот хлестнул опять, опять; каждый удар толпа встречала коротким общим вздохом и глухим стоном. Юноша продолжал идти. Два, три, четыре раза обошел он круг. Кровь струилась по телу. Пятый, шестой раз обошел. Ленайна вдруг закрыла лицо руками, зарыдала.

— Пусть прекратят, пусть прекратят, — взмолилась она.

Но плеть хлестала неумолимо. Седьмой круг сделал юноша. И тут пошатнулся и — по-прежнему без звука — рухнул плашмя, лицом вниз. Наклонясь над ним, старик коснулся его спины длинным белым пером, высоко поднял это перо, обагренное, показал людям и трижды тряхнул им над змеями. Несколько капель упало с пера; и внезапно барабаны ожили, рассыпались тревожной дробью; раздался гулкий клич. Плясуны кинулись, похватали змей и пустились бегом. За ними побежала вся толпа — мужчины, женщины, дети. Через минуту площадь была уже пуста, только юноша недвижно лежал там, где лег. Три ста-

рухи вышли из ближнего дома, подняли его с трудом и внесли туда. Над площадью остались нести караул двое — орел и распятый; затем и они, точно насмотревшись вдоволь, неспешно канули в люки, в подземное обиталище.

Ленайна по-прежнему плакала.

— Невыносимо, — всхлипывала она, и Бернард был бессилен ее утешить. — Невыносимо! Эта кровь! — Она передернулась. — О, где моя сома!

У них за спиной, в комнате, раздались шаги.

Ленайна не пошевелилась, сидела, спрятав лицо в ладони, погрузившись в свое страдание. Бернард оглянулся.

На террасу вышел молодой человек в одежде индейца; но косы его были цвета соломы, глаза голубые, и бронзово загорелая кожа была кожей белого.

— День добрый и привет вам, — сказал незнакомец на правильном, но необычном английском языке. — Вы цивилизованные? Вы оттуда, из Заоградного мира?

— А вы-то сами?.. — изумленно начал Бернард.

Молодой человек вздохнул, покачал головой.

— Пред вами несчастливец. — И, указав на кровь в центре площади, произнес голосом, вздрагивающим от волнения: — «Видите вон то проклятое пятно?»[1]

— Лучше полграмма, чем ругань и драма, — машинально откликнулась Ленайна, не открывая лица.

— Там бы по праву следовало быть мне, — продолжал незнакомец. — Они не захотели, чтобы жертвой был я. А я бы десять кругов сделал, двенадцать, пятнадцать. Палохтива сделал только семь. Я дал бы им вдвое больше крови. Просторы обагрянил бы морей. — Он распахнул руки в широком жесте, тоскливо уронил их опять. — Но не позволяют мне. Нелюбим я за белокожесть. От века нелюбим. Всегда. — На глазах у него выступили слезы; он отвернулся, стыдясь этих слез.

От удивления Ленайна даже горевать перестала. Отняв ладони от лица, она взглянула на незнакомца.

— То есть вы хотели, чтобы плетью били вас?

Молодой человек кивнул, не оборачиваясь.

— Да. Для блага пуэбло — чтоб дожди шли и тучнела кукуруза. И в угоду Пуконгу и Христу. И чтобы показать, что могу выносить боль не крикнув. Да. — Голос его зазвенел, он гордо расправил плечи, гордо, непокорно вздернул голову, повернулся. — Показать, что я мужчи... — Ему пе-

[1] «Макбет» (акт V, сц. 1). В речи молодого человека часты шекспировские слова и фразы.

рехватило дух, он так и застыл, не закрыв рта: впервые в жизни увидел он девушку с лицом не бурым, а светлым, с золотисто-каштановой завивкой, и глядит она с дружелюбным интересом (вещь небывалая!). Ленайна улыбнулась ему; такой привлекательный мальчик, подумала она, и тело по-настоящему красиво. Темный румянец залил щеки молодого человека; он опустил глаза, поднял опять, увидел все ту же улыбку и до того уже смутился, что даже отвернулся, сделал вид, будто пристально разглядывает что-то на той стороне площади.

Выручил его Бернард — своими расспросами. Кто он? Каким образом? Когда? Откуда? Не отрывая взгляда от Бернарда (ибо так тянуло молодого человека к улыбке Ленайны, что он просто не смел повернуть туда голову), он стал объяснять. Он с Линдой — Линда его мать (Ленайна поежилась) — они здесь чужаки. Линда прилетела из Того мира, давно, еще до его рожденья, вместе с отцом его. (Бернард навострил уши.) Пошла гулять одна в горах, что к северу отсюда, и сорвалась, упала и поранила голову. («Продолжайте, продолжайте», — возбужденно сказал Бернард). Мальпаисские охотники наткнулись на нее и принесли в пуэбло. А отца его Линда больше так и не увидела. Звали отца Томасик. (Так, так, имя Директора — Томас.) Он, должно быть, улетел себе обратно в Заоградный мир, а ее бросил — черствый, жестокий сердцем человек.

— В Мальпаисе я и родился, — закончил он. — В Мальпаисе. — И грустно покачал головой.

Хибара за пустырем на окраине пуэбло. Какое убожество, грязь!

Пыльный пустырь завален мусором. У входа в хибару два оголодалых пса роются мордами в мерзких отбросах. А внутри — затхлый, гудящий мухами сумрак.

— Линда! — позвал молодой человек.

— Иду, — отозвался из другой комнатки довольно сиплый женский голос.

Пауза ожидания. В мисках на полу — недоеденные остатки.

Дверь отворилась. Через порог шагнула белесоватая толстуха-индианка и остановилась, пораженно выпучив глаза, раскрыв рот. Ленайна с отвращением заметила, что двух передних зубов во рту нет. А те, что есть, жуткого

цвета... Брр! Она гаже того старика. Жирная такая. И все эти морщины, складки дряблого лица. Обвислые щеки в лиловых пятнах прыщей. Красные жилки на носу, на белках глаз. И эта шея, эти подбородки; и одеяло накинуто на голову, рваное, грязное. А под коричневой рубахой-балахоном эти бурдюки грудей, это выпирающее брюхо, эти бедра. О, куда хуже старика, куда гаже! И вдруг существо это разразилось потоком слов, бросилось к ней с распахнутыми объятиями и — господи Форде! как противно, вот-вот стошнит — прижало к брюху, к грудям и стало целовать. Господи! слюнявыми губами, и от тела запах скотский, видимо, не принимает ванны никогда, и разит изо рта ядовитой этой мерзостью, которую подливают в бутыли дельтам и эпсилонам (а Бернарду не влили, неправда), буквально разит алкоголем. Ленайна поскорей высвободилась из объятий.

На нее глядело искаженное, плачущее лицо.

— Ох, милая, милая вы моя, — причитало, хлюпая, существо. — Если б вы знали, как я рада! Столько лет не видеть цивилизованного лица. Цивилизованной одежды. Я уж думала, так и не суждено мне увидать опять настоящий ацетатный шелк. — Она стала щупать рукав блузки. Ногти ее были черны от грязи. — А эти дивные вискозноплисовые шорты! Представьте, милая, я еще храню, прячу в сундуке свою одежду, ту, в которой прилетела. Я покажу вам потом. Но, конечно, ацетат стал весь как решето. А такой прелестный у меня белый патронташ наплечный — хотя, должна признаться, ваш сафьяновый зеленый еще даже прелестнее. Ах, подвел меня мой патронташ! — Слезы опять потекли по щекам. — Джон вам, верно, рассказал уже. Что мне пришлось пережить — и без единого грамма сомы. Разве что Попе принесет мескаля выпить. Попе ходил ко мне раньше. Но выпьешь, а после так плохо себя чувствуешь от мескаля, и от пейотля* тоже; и притом назавтра протрезвишься, и еще ужаснее, еще стыднее делается. Ах, мне так стыдно было. Подумать только — я, бета, и ребенка родила; поставьте себя на мое место. (Ленайна поежилась.) Но, клянусь, я тут не виновата; я до сих пор не знаю, как это стряслось; ведь я же все мальтузианские приемы выполняла, знаете, по счету: раз, два, три, четыре — всегда, клянусь вам, и все же забеременела; а, конечно, абортариев здесь нет и в помине. Кстати, абортарий наш и теперь в Челси? (Ленайна кивнула.) И, как раньше, освещен весь прожекторами по вторникам

и пятницам? (Ленайна снова кивнула.) Эта дивная из розового стекла башня! — Бедная Линда, закрыв глаза, экстатически закинув голову, воскресила в памяти светлое виденье абортария. — А вечерняя река! — прошептала она. — Крупные слезы медленно выкатились из-под ее век. — Летишь, бывало, вечером обратно в город из Сток-Поджес. И ждет тебя горячая ванна, вибровакуумный массаж... Но что уж об этом. — Она тяжко вздохнула, покачав головой, открыла глаза, сопнула носом раз-другой, высморкалась в пальцы и вытерла их о подол рубахи. — Ох, простите меня, — воскликнула она, заметив невольную гримасу отвращения на лице Ленайны. — Как я могла так... Простите. Но что делать, если нет носовых платков? Я помню, как переживала раньше из-за всей этой нечистоты, сплошной нестерильности. Меня с гор принесли сюда с разбитой головой. Вы не можете себе представить, что они прикладывали к моей ране. Грязь, буквальнейшую грязь. Учу их: «Без стерилизации нет цивилизации». Говорю им: «Смой стрептококков и спирохет. Да здравствует ванна и туалет», как маленьким детям. А они, конечно, не понимают. Откуда им понять? И в конце концов я, видимо, привыкла. Да и как можно держать себя и вещи в чистоте, если нет крана с горячей водой? А поглядите на одежду здешнюю. Эта мерзкая шерсть — это вам не ацетат. Ей износу нет. А и порвется, так чини ее изволь. Но я ведь бета; я в Зале оплодотворения работала; меня не учили заплаты ставить. Я другим занималась. Притом чинить ведь вообще у нас не принято. Начинает рваться — выбрось и новое купи. «Прорехи зашивать — беднеть и горевать». Верно же? Чинить старье — антиобщественно. А тут все наоборот. Живешь, как среди ненормальных. Все у них по-безумному. — Она оглянулась, увидела, что Бернард с Джоном вышли и прохаживаются по пустырю, но понизила тем не менее голос, пододвинулась близко, так что ядовито-алкогольное ее дыхание шевельнуло прядку у Ленайны на щеке, и та сжалась вся. — Послушайте, к примеру, — зашептала Линда сипло, — как они тут взаимопользуются. Ведь каждый принадлежит всем остальным, ведь по-цивилизованному так? Ведь так же? — напирала она, дергая Ленайну за рукав.

Ленайна кивнула, полуотвернувшись, делая украдкой вдох, набирая воздуху почище.

— А здесь, — продолжала Линда, — каждый должен принадлежать только одному, и никому больше. Если же

ты взаимопользуешься по-цивилизованному, то считаешься порочной и антиобщественной. Тебя ненавидят, презирают. Один раз явились сюда женщины со скандалом: почему, мол, их мужчины ко мне ходят? А почему б им не ходить? И как накинутся женщины на меня скопом... Нет, невыносимо и вспоминать. — Линда, содрогнувшись, закрыла лицо руками. — Здешние женщины ужасно злобные. Безумные, безумные и жестокие. И понятия, конечно, не имеют о мальтузианских приемах, о бутылях, о раскупорке. И потому рожают беспрерывно, как собаки. Прямо омерзительно. И подумать, что я... О господи, господи Форде. Но все же Джон был мне большим утешением. Не знаю, как бы я тут без него. Хотя он и переживал страшно всякий раз, как придет мужчина... Даже когда совсем еще был малышом. Однажды (он тогда уже подрос) чуть было не убил бедного Попе — или Вайхусиву? — за то лишь, что они ко мне ходили. Сколько ему втолковывала, что у цивилизованных людей иначе и нельзя, но так и не втолковала. Безумие, видимо, заразительно. Джон, во всяком случае, заразился от индейцев. Он водится с ними. Несмотря на то что они всегда относились к нему по-свински, не позволяли быть наравне с остальными мальчиками. Но это в некотором смысле к лучшему, потому что облегчало мне задачу — позволяло хоть слегка формировать его. Но вы себе вообразить не может, как это трудно. Ведь столького сама не знаешь; от меня и не требовалось знать. Допустим, спрашивает ребенок, как устроен вертоплан или кем создан мир, — ну, что будешь ему отвечать, если ты бета и работала в Зале оплодотворения? Ну, что ему ответишь?

Глава восьмая

Джон с Бернардом прохаживались взад-вперед на пустыре, среди пыли и мусора. (В отбросах рылось теперь уже четыре собаки.)

— Так трудно мне представить, постигнуть, — говорил Бернард. — Мы словно с разных планет, из разных столетий. Мать, и грязь вся эта, и боги, и старость, и болезни... — Он покачал головой. — Почти непостижимо. Немыслимо понять, если вы не поможете, не объясните.

— Что объясню?

— Вот это. — Он указал на пуэбло. — И это. — Кивнул на хибару. — Все. Всю вашу жизнь.

— Но что ж тут объяснять?

— Все с самого начала. С первых ваших воспоминаний.

— С первых моих... — Джон нахмурился. Долго молчал, припоминая.

Жара. Наелись лепешек, сладкой кукурузы.

— Иди сюда, малыш, приляг, — сказала Линда.

Он лег возле, на большой постели.

— Спой, — попросил, и Линда запела. Спела «Да здравствует ванна и туалет» и «Баю-баю, тили-тили, скоро детке из бутыли». Голос ее удалялся, слабел...

Он вздрогнул и проснулся от громкого шума. У постели стоит человек, большущий, страшный. Говорит что-то Линде, а Линда смеется. Закрылась одеялом до подбородка, а тот стягивает. У страшилы волосы заплетены, как два черных каната, и на ручище серебряный браслет с голубыми камешками. Браслет красивый; но ему страшно; он жмется лицом к материну боку. Линда обнимает его рукой, и страх слабеет. Другими, здешними словами, которые не так понятны, Линда говорит:

— Нет, не при Джоне.

Человек смотрит на него, опять на Линду, тихо говорит несколько слов.

— Нет, — говорит Линда. — Но тот наклоняется к нему, лицо громадно, грозно; черные канаты кос легли на одеяло.

— Нет, — говорит опять Линда и сильней прижимает Джона к себе. — Нет, нет.

Но страшила берет его за плечо, больно берет. Он вскрикивает. И другая ручища берет, подымает. Линда не выпускает, говорит:

— Нет, нет.

Тот говорит что-то коротко, сердито, и вот уже отнял Джона.

— Линда, Линда. — Джон бьет ногами, вырывается; но тот несет его за дверь, сажает на пол там среди комнаты и уходит к Линде, закрыв за собой дверь. Он встает, он бежит к двери. Поднявшись на цыпочки, дотягивается до деревянной щеколды. Двигает ее, толкает дверь, но дверь не поддается.

— Линда, — кричит он.

Не отвечает Линда.

Вспоминается обширная комната, сумрачная; в ней

стоят деревянные рамы с навязанными нитями, и у рам много женщин — одеяла ткут, сказала Линда. Она велела ему сидеть в углу с другими детьми, а сама пошла помогать женщинам. Он играет с мальчиками, долго. Вдруг у рам заговорили очень громко, и женщины отталкивают Линду прочь, а она плачет, идет к дверям. Он побежал за ней. Спрашивает, почему на нее рассердились.

— Я сломала там что-то, — говорит Линда. И сама рассердилась. — Откуда мне уметь их дрянные одеяла ткать, — говорит — Дикари противные.

— А что такое дикари? — спрашивает он.

Дома у дверей ждет Попе и входит вместе с ними. Он принес большой сосуд из тыквы, полный воды не воды — вонючая такая, и во рту печет, так что закашляешься. Линда выпила, и Попе выпил, и Линда смеяться стала и громко говорить; а потом с Попе ушла в другую комнату. Когда Попе отправился домой, он вошел туда. Линда лежала в постели, спала так крепко, что не добудиться было.

Попе часто приходил. Ту воду в тыкве он называл «мескаль», а Линда говорила, что можно бы называть «сома», если бы от нее не болела голова. Он терпеть не мог Попе. Он всех их не терпел — мужчин, ходивших к Линде. Как-то, наигравшись с детьми — было, помнится, холодно, на горах лежал снег, — он днем пришел домой и услыхал сердитые голоса в другой комнате. Женские голоса, а слов не понял; но понял, что это злая ругань. Потом вдруг — грох! — опрокинули что-то; завозились, еще что-то шумно упало, и точно мула ударили хлыстом, но только звук мягче, мясистей; и крик Линды; «Не бейте, не бейте!» Он кинулся туда. Там три женщины в темных одеялах. А Линда — на постели. Одна держит ее за руки. Другая легла поперек, на ноги ей, чтоб не брыкалась. Третья бьет ее плетью. Раз ударила, второй, третий; и при каждом ударе Линда кричит. Он плача стал просить бьющую, дергать за кромку одеяла:

— Не надо, не надо.

Свободной рукой женщина отодвинула его. Плеть снова хлестнула, опять закричала Линда. Он схватил огромную коричневую руку женщины обеими своими и укусил что было силы. Та охнула, вырвала руку, толкнула его так, что он упал. И ударила трижды плетью. Ожгло огнем — больней всего на свете. Снова свистнула, упала плеть. Но закричала на этот раз Линда.

— Но за что они тебя, Линда? — спросил он вечером. Красные следы от плети на спине еще болели, жгли, и он плакал. Но еще и потому плакал, что люди такие злые и несправедливые, а он малыш и драться с ними слаб. Плакала Линда. Она хоть и взрослая, но от троих отбиться разве может? И разве это честно — на одну втроем?

— За что они тебя, Линда?

— Не знаю. Не понимаю. — Трудно было разобрать ее слова, она лежала на животе, лицом в подушку. — Мужчины, видите ли, принадлежат им, — говорила Линда, точно не к нему обращаясь вовсе, а к кому-то внутри себя. Говорила долго, непонятно; а кончила тем, что заплакала громче прежнего.

— О, не плачь, Линда, не плачь.

Он прижался к ней. Обнял рукой за шею.

— Ай, — взвизгнула Линда, — не тронь. Не тронь плечо. Ай! — и как пихнет его от себя, он стукнулся головой о стену.

— Ты, идиотик! — крикнула Линда и вдруг принялась его бить. Шлеп! Шлеп!..

— Линда! Не бей, мама!

— Я тебе не мама. Не хочу быть твоей матерью.

— Но, Линд... — Она шлепнула его по щеке.

— В дикарку превратилась, — кричала она. — Рожать начала, как животные... Если б не ты, я бы к инспектору пошла, вырвалась отсюда. Но с ребенком как же можно. Я бы не вынесла позора.

Она опять замахнулась, и он заслонился рукой.

— О, не бей, Линда, не надо.

— Дикаренок! — Она отдернула его руку от лица.

— Не надо. — Он закрыл глаза, ожидая удара.

Но удара не было. Помедлив, он открыл глаза и увидел, что она смотрит на него. Улыбнулся ей робко. Она вдруг обняла его и стала целовать.

Случалось, Линда по нескольку дней не вставала с постели. Лежала и грустила. Или пила мескаль, смеялась, смеялась, потом засыпала. Иногда болела. Часто забывала умыть его, и нечего было поесть, кроме черствых лепешек. И помнит он, как Линда в первый раз нашла этих сереньких тлей у него в голове, как она заахала, запричитала.

Сладчайшею отрадой было слушать, как она рассказывает о Том, о Заоградном мире.

— И там правда можно летать когда захочешь?

— Когда захочешь.

И рассказывала ему про дивную музыку, льющуюся из ящичка, про прелестные разные игры, про вкусные блюда, напитки, про свет — надавишь в стене штучку, и он вспыхивает, — и про живые картины, которые не только видишь, но и слышишь, обоняешь, осязаешь пальцами, и про ящик, создающий дивные запахи, и про голубые, зеленые, розовые, серебристые дома, высокие, как горы, и каждый счастлив там, и никто никогда не грустит и не злится, и каждый принадлежит всем остальным, и экран включишь — станет видно и слышно, что происходит на другом конце мира. И младенцы все в прелестных, чистеньких бутылях, все такое чистое, ни вони и ни грязи, и никогда никто не одинок, а все вместе живут, и радостные все, счастливые, как на летних плясках в Мальпаисе, здесь, но гораздо счастливее, и счастье там всегда, всегда... Он слушал и заслушивался.

Порою также, когда он и другие дети садились, устав от игры, кто-нибудь из стариков племени заводил на здешнем языке рассказ о великом Претворителе Мира, о долгой битве между Правой Рукой и Левой Рукой, между Хлябью и Твердью; о том, как Авонавилона * задумался в ночи и сгустились его мысли во Мглу Возрастания, а из той туманной мглы сотворил он весь мир; о Матери-Земле и Отце-Небе; об Агаюте и Марсайлеме — близнецах Войны и Удачи; об Иисусе и Пуконге; о Марии и об Этсанатлеи — женщине, вечно омолаживающей себя; о лагунском Черном Камне, о великом Орле и Богоматери Акомской. Диковинные сказы, звучавшие еще чудесней оттого, что сказывали их здешними словами, не полностью понятными. Лежа в постели, он рисовал в воображении Небо и Лондон, Богоматерь Акомскую и длинные ряды младенцев в чистеньких бутылях, и как Христос возносится и Линда взлетает; воображал всемирного начальника инкубаториев и великого Авонавилону.

Много ходило к Линде мужчин. Мальчишки стали уже тыкать на него пальцами. На своем, на здешнем, языке они называли Линду скверной; ругали ее непонятно, однако он знал, что слова это гнусные. Однажды запели о ней

песню, и опять, и опять — не уймутся никак. Он стал кидать в них камнями. А они — в него; острым камнем рассекли ему щеку. Кровь текла долго; он весь вымазался.

Линда научила его читать. Углем она рисовала на стене картинки — сидящего зверька, младенца в бутыли; а под ними писала: КОТ НЕ СПИТ. МНЕ ТУТ РАЙ. Он усваивал легко и быстро. Когда выучился читать все, что она писала на стене, Линда открыла свой деревянный сундук и достала из-под тех красных куцых штанов, которых никогда не надевала, тоненькую книжицу. Он ее и раньше не раз видел. «Будешь читать, когда подрастешь», — говорила Линда. Ну вот и подрос, подумал он гордо.

— Вряд ли эта книга тебя очень увлечет, — сказала Линда. — Но других у меня нет. — Она вздохнула. — Видел бы ты, какие прелестные читальные машины у нас в Лондоне!

Он принялся читать. «Химическая и бактериологическая обработка зародыша. Практическое руководство для бета-лаборантов эмбрионария». Четверть часа ушло на одоленье слов этого заглавия. Он швырнул книжку на пол.

— Дрянь ты, а не книга! — сказал он и заплакал.

По-прежнему мальчишки распевали свою гнусную дразнилку о Линде. Смеялись и над тем, какой он оборванный. Линда не умела чинить рваное. В Заоградном мире, говорила она ему, если что порвется, сразу же выбрасывают и надевают новое. «Оборвыш, оборвыш!» — дразнили мальчишки. «Зато я читать умею, — утешал он себя, — а они нет. Не знают даже, что значит — читать». Утешаясь этим, было легче делать вид, что не слышишь насмешек. Он снова попросил у Линды ту книжку.

Чем злее дразнились мальчишки, тем усерднее читал он книгу. Скоро уже он разбирал в ней все слова. Даже самые длинные. Но что они обозначают? Он спрашивал у Линды; но даже когда она и в состоянии была ответить, то ясности особой не вносила. Обычно же ответить не могла.

— Что такое химикаты? — спрашивал он.

— А это соли магния или спирт, которым глушат рост и отупляют дельт и эпсилонов, или углекислый кальций для укрепления костей и тому подобные вещества.

— А как делают химикаты, Линда? Где их добывают?

— Не знаю я. Они во флаконах. Когда флакон кончается, то спускают новый из Химикатохранилища. Там их и делают, наверное. Или же с фабрики получают. Не знаю. Я химией не занималась. Я работала всегда с зародышами.

И так вечно, что ни спроси. Никогда Линда не знает. Старики племени отвечают куда определеннее.

«Семена людей и всех созданий, семя солнца и земли и неба — все семена сгустил Авонавилона из Мглы Возрастания. Есть у мира четыре утробы; в нижнюю и поместил он семена. И постепенно взрастали они...»

Придя как-то домой (Джон прикинул позже, что было это на тринадцатом году жизни), он увидел, что в комнате на полу лежит незнакомая книга. Толстая и очень старая на вид. Переплет обгрызли мыши; порядком растрепана вся. Он поднял книгу, взглянул на заглавный лист: «Сочинения Уильяма Шекспира в одном томе».

Линда лежала в постели, потягивая из чашки мерзкий свой вонючий мескаль.

— Ее Попе принес, — сказала Линда сиплым, грубым, чужим голосом. — Валялась в Антилопьей киве [1], в одном из сундуков. Сотни лет уже провалялась, говорят. И не врут, наверно, потому что полистала я, а там полно вздора. Нецивилизованность жуткая. Но тебе пригодится — для тренировки в чтении. — Она допила, опустила чашку на пол, повернулась на бок, икнула раза два и заснула.

Он раскрыл книгу наугад:

Похоти рабой
Жить, прея в сальной духоте постели,
Елозя и любясь в свиной грязи... [2]

Необычайные эти слова раздались, раскатились громово в мозгу, как барабаны летних плясок, но барабаны говорящие; как хор мужчин, поющий Песнь зерна, красиво, красиво до слез; как волшба старого Митсимы над молитвенными перьями и резными палочками, костяными и каменными фигурками: кьятла тсилу силокве силокве силокве. Кьяи силу силу, тситль — но сильнее, чем волшба Митси-

---

[1] Кива — подземное обрядовое помещение у индейцев-пуэбло.
[2] Слова Гамлета, обращенные к королеве (акт III, сц. 4).

мы, потому что эти слова больше значат и обращены к нему, говорят ему чудесно и наполовину лишь понятно — грозная, прекрасная новая волшба, говорящая о Линде; о Линде, что храпит в постели, и пустая чашка рядом на полу; о Линде и о Попе, о них обоих.

Все горячей ненавидел он Попе. Да, можно улыбаться, улыбаться — и быть мерзавцем. Безжалостным, коварным, похотливым. Слова он понимал не до конца. Но их волшба была могуча, они звучали в памяти, и было так, словно теперь только начал он по-настоящему ненавидеть Попе, потому что не мог раньше облечь свою ненависть в слова. А теперь есть у него слова, волшебные, поющие, гремящие, как барабаны. Слова эти и странный, странный сказ, из которого слова взяты (темен ему этот сказ, но чудесен, все равно чудесен), они обосновали ненависть, сделали ее острей, живей; самого даже Попе сделали живей.

Однажды, наигравшись, он пришел домой — дверь спальной комнатки растворена, и он увидел их, спящих вдвоем в постели, — белую Линду и рядом Попе, почти черного; Линда лежит у Попе на руке, другая темная рука на груди у нее, и одна из длинных кос индейца упала ей на горло, точно черная змея хочет задушить. На полу возле постели — тыква, принесенная Попе, и чашка. Линда храпит.

Сердце в нем замерло, исчезло, и осталась пустота. Пустота, озноб, мутит слегка, и голова кружится. Он прислонился к стене. Безжалостный, коварный, похотливый... Волшбой, поющим хором, барабанами гремят слова. Озноб ушел, ему стало вдруг жарко, щеки загорелись, комната поплыла перед нем, темнея. Он скрежетнул зубами. «Я убью его, убью, убью». И загремело в мозгу:

Когда он в лежку пьян, когда им ярость
Владеет или кровосмесный пыл...[1]

Волшба — на его стороне, волшба все проясняет, и дает приказ. Он шагнул обратно, за порог. «Когда он в лежку пьян...» У очага на полу — мясной нож. Поднял его и на цыпочках — опять в дверь спальной комнаты. «Когда он в лежку пьян, в лежку пьян...» Бегом к постели,

---

[1] «Гамлет» (акт III, сц. 3).

ткнул ножом, — ага, кровь! — снова ткнул (Попе взметнулся тяжко, просыпаясь), хотел в третий раз ударить, но почувствовал, что руку его схватили, сжали и — ох! — выворачивают. Он пойман, двинуться не может, черные медвежьи глазки Попе глядят в упор, вплотную. Он не выдержал их взгляда, опустил глаза. На левом плече у Попе — две ножевых ранки.

— Ах, кровь течет! — вскрикнула Линда. — Кровь течет! (Вида крови она не выносит.)

Попе поднял свободную руку — чтобы ударить, конечно. Джон весь напрягся в ожидании удара. Но рука взяла его за подбородок, повернула лицом к себе, и опять пришлось смотреть глаза в глаза. Долго, нескончаемо долго. И вдруг, как ни пересиливал себя, он заплакал. Попе рассмеялся.

— Ступай, — сказал он по-индейски. — Ступай, отважный Агаюта.

Он выбежал в другую комнату, пряча постыдные слезы.

— Тебе пятнадцать лет, — сказал старый Митсима индейскими словами. — Теперь можно учить тебя гончарству.

Они намесили глины, присев у реки.

— С того начинаем, — сказал Митсима, взявши в ладони ком влажной глины, — что делаем подобие луны. — Старик сплюснул ком в круглую луну, загнул края, и луна превратилась в неглубокую чашку.

Медленно и неумело повторил Джон точные, тонкие движения стариковских рук.

— Луна, чашка, а теперь змея. — Взяв другой ком глины, Митсима раскатал его в длинную колбаску, свел ее в кольцо и налепил на ободок чашки. — И еще змея. И еще. И еще. — Кольцо за кольцом наращивал Митсима бока сосуда; узкий внизу, сосуд выпукло расширялся, опять сужался к горлышку. Митсима мял, прихлопывал, оглаживал, ровнял; и вот наконец стоит перед ним мальпаисский сосуд для воды, но не черный, обычный, а кремово-белый и еще мягкий на ощупь. А рядом — его собственное изделие, кривобокая пародия на сосуд Митсимы. Сравнив их, Джон поневоле рассмеялся.

— Но следующий будет лучше, — сказал он, намешивая еще глины.

Лепить, придавать форму, ощущать, как растет уменье

и сноровка в пальцах, было необычайно приятно.

— А, бе, це, витамин Д, — напевал он, работая. — Жир в тресковой печени, а треска в воде.

Пел и Митсима — песню о том, как добывают медведя. Весь день они работали, и весь тот день переполняло Джона чувство глубокого счастья.

— А зимой, — сказал старый Митсима, — научу тебя делать охотничий лук.

Долго стоял он у дома; наконец, обряд внутри кончился. Дверь распахнулась, стали выходить. Первым шел Котлу, вытянув правую руку и сжав в кулак, точно неся в ней драгоценный камень. За ним вышла Кьякиме, тоже вытянув сжатую руку. Они шли молча, и молча следовали за ними братья, сестры, родичи и толпа стариков.

Вышли из пуэбло, прошли месу. Встали над обрывом — лицом к утреннему солнцу. Котлу раскрыл ладонь. На ладони лежала горстка кукурузной муки; он дохнул на нее, прошептал несколько слов и бросил эту щепоть белой пыли навстречу встающему солнцу. То же сделала и Кьякиме. Выступил вперед отец ее и, держа над собой оперенную молитвенную палочку, произнес длинную молитву, затем бросил и палочку навстречу солнцу.

— Кончено, — возгласил старый Митсима. — Они вступили в брак.

— Одного я не понимаю, — сказала Линда, возвращаясь в пуэбло вместе с Джоном, — зачем столько шума и возни по пустякам. В цивилизованных краях, когда парень хочет девушку, он просто... Но куда же ты, Джон?

Но Джон бежал не останавливаясь, не желая слушать, прочь, прочь, куда-нибудь, где нет никого.

Кончено. В ушах раздавался голос старого Митсимы. Кончено, кончено... Издали, молча, но страстно, отчаянно и безнадежно он любил Кьякиме. А теперь кончено. Ему было шестнадцать лет.

В полнолуние в Антилопьей киве тайны будут звучать, тайны будут вершиться и передаваться. Они сойдут в киву мальчиками, а поднимутся оттуда мужчинами. Всем им было боязно, и в то же время нетерпение брало. И вот наступил этот день. Солнце село, показалась луна. Он шел вместе с остальными. У входа в киву стояли темной груп-

пой мужчины; уходила вниз лестница, в освещенную красную глубь. Идущие первыми стали уже спускаться. Внезапно один из мужчин шагнул вперед, взял его за руку и выдернул из рядов. Он вырвал руку, вернулся, пятясь, на свое место. Но мужчина ударил его, схватил за волосы.

— Не для тебя это, белобрысый!

— Не для сына блудливой сучки, — сказал другой. Подростки засмеялись.

— Уходи отсюда. — И видя, что он медлит, стоит неподалеку, опять крикнули мужчины: — Уходи!

Один из них нагнулся, поднял камень, швырнул.

— Уходи отсюда, уходи!

Камни посыпались градом. Окровавленный, побежал он в темноту. А из красных недр кивы доносилось пение. Уже все подростки туда спустились. Он остался совсем один.

Совсем один, за чертой пуэбло, на голой скальной равнине месы. В лунном свете скала — точно кости, побелевшие от времени. Внизу, в долине, воют на луну койоты. Ушибы от камней болят, кровь еще течет; но не от боли он рыдает, а оттого, что одинок, что выгнан вон, в этот безлюдный, кладбищенский мир камня и лунного света. Он опустился на край обрыва, спиной к луне. Глянул вниз, в черную тень месы, в черную сень смерти. Один только шаг, один прыжок... Он повернул к свету правую руку. Из рассеченной кожи на запястье сочилась еще кровь. Каждые несколько секунд падала капля, темная, почти черная в мертвенном свете. Кап, кап, кап. Завтра, и снова завтра, снова завтра...

Ему открылись Время, Смерть, Бог.

— Всегда, всегда один и одинок.

Эти слова Джона щемящим эхом отозвались в сердце Бернарда. Один и одинок...

— Я тоже одинок, — вырвалось у него. — Страшно одинок.

— Неужели? — удивился Джон. — Я думал, в Том мире... Линда же говорит, что там никто и никогда не одинок.

Бернард смущенно покраснел.

— Видите ли, — пробормотал он, глядя в сторону, — я, должно быть, не совсем такой, как большинство. Если раскупориваешься не таким...

— Да, в этом все дело, — кивнул Джон. — Если ты

не такой, как другие, то обречен на одиночество. Относиться к тебе будут подло. Мне ведь нет ни к чему доступа. Когда мальчиков посылали провести ночь на горах — ну, чтобы увидеть там во сне тайного твоего покровителя, твое священное животное, — то меня не пустили с ними; не хотят приобщать меня к тайнам. Но я сам все равно приобщился. Пять суток ничего не ел, а затем ночью один поднялся на те вон горы. — Он указал рукой.

Бернард улыбнулся снисходительно:

— И вам явилось что-нибудь во сне?

Джон кивнул.

— Но что явилось, открывать нельзя. — Он помолчал, потом продолжал негромко: — А однажды летом я сделал такое, чего другие никто не делали: простоял под жарким солнцем, спиной к скале, раскинув руки, как Иисус на кресте...

— А с какой стати?

— Хотел испытать, каково быть распятым. Висеть на солнцепеке.

— Да зачем вам это?

— Зачем?.. — Джон помялся. — Я чувствовал, что должен. Раз Иисус вытерпел. И потом, я тогда худое сделал... И еще тосковал я, вот еще почему.

— Странный способ лечить тоску, — заметил Бернард. Но, чуть подумав, решил, что все же в этом есть некоторый смысл. Чем глотать сому...

— Стоял, пока не потерял сознание, — сказал Джон. — Упал лицом в камни. Видите метину? — Он поднял со лба густые желто-русые пряди. На правом виске обнажился неровный бледный шрам.

Бернард глянул и, вздрогнув, быстренько отвел глаза. Воспитание, формирование сделало его не то чтобы жалостливым, но до крайности брезгливым. Малейший намек на болезнь или рану вызывал в нем не просто ужас, а отвращение и даже омерзение. Брр! Это как грязь, или уродство, или старость. Он поспешно сменил тему разговора.

— Вам не хотелось бы улететь с нами в Лондон? — спросил он, делая этим первый ход в хитрой военной игре, стратегию которой начал втихомолку разрабатывать, как только понял, кто является так называемым отцом этого молодого дикаря. — Вы бы не против?

Лицо Джона все озарилось.

— А вы правда возьмете с собой?

— Конечно, то есть если получу разрешение.

— И Линду возьмете?

— Гм... — Бернард заколебался. Взять это отвратное существо? Нет, немыслимо. А впрочем, впрочем... Бернарда вдруг осенило, что именно ее отвратность может оказаться мощнейшим козырем в игре.

— Ну конечно же! — воскликнул он, чрезмерной и шумной сердечностью заглаживая свое колебание.

Джон глубоко и счастливо вздохнул:

— Подумать только, осуществится то, о чем мечтал всю жизнь. Помните, что говорит Миранда [1]?

— Кто?

Но молодой человек, видимо, не слышал переспроса.

— «О чудо! — произнес он, сияя взглядом, разрумянившись. — Сколько вижу я красивых созданий! Как прекрасен род людской!» — Румянец стал гуще; Джон вспомнил о Ленайне — об ангеле, одетом в темно-зеленую вискозу, с лучезарно юной, гладкой кожей, напоенной питательными кремами, с дружелюбной улыбкой. Голос его дрогнул умиленно. — «О дивный новый мир...» — Но тут он вдруг осекся; кровь отхлынула от щек, он побледнел как смерть. — Она за вами замужем? — выговорил он.

— За мной — что?

— Замужем. Вступила с вами в брак. Это провозглашается индейскими словами и нерушимо вовек.

— Да нет, какой там брак! — Бернард невольно рассмеялся.

Рассмеялся и Джон, но по другой причине — от буйной радости.

— «О дивный новый мир, — повторил он. — О дивный новый мир, где обитают такие люди. Немедля же в дорогу!»

— У вас крайне эксцентричный способ выражаться, — сказал Бернард, озадаченно взирая на молодого человека. — Да и не лучше ли подождать с восторгами, увидеть прежде этот дивный мир?

Глава девятая

Ленайна чувствовала себя вправе — после дня, наполненного странным и ужасным, — предаться абсолютнейшему сомотдыху. Как только вернулись на туристский

---

[1] Героиня шекспировской «Бури». Далее следуют ее слова (акт V, сц. 1).

пункт, она приняла шесть полуграммовых таблеток сомы, легла в кровать и минут через десять плыла уже в лунную вечность. Очнуться, очутиться опять во времени ей предстояло лишь через восемнадцать часов, а то и позже.

А Бернард лежал, бессонно глядя в темноту и думая. Было уже за полночь, когда он уснул. Далеко за полночь; но бессонница дала плоды — он выработал план действий.

На следующее утро, точно в десять часов, мулат в зеленой форме вышел из приземлившегося вертоплана. Бернард ждал его среди агав.

— Мисс Краун отдыхает, — сказал Бернард. — Вернется из сомотдыха часам к пяти, не раньше. Так что у нас в распоряжении семь часов.

(«Слетаю в Санта-Фе, — решил Бернард, — сделаю там все нужное и вернусь, а она еще спать будет».)

— Безопасно ей будет здесь одной? — спросил он мулата.

— Как в кабине вертоплана, — заверил тот.

Сели в машину, взлетели. В десять тридцать четыре они приземлились на крыше сантафейского почтамта; в десять тридцать семь Бернарда соединили с канцелярией Главноуправителя на Уайтхолле [1]; в десять тридцать девять он уже излагал свое дело четвертому личному секретарю Его Фордейшества; в десять сорок четыре повторял то же самое первому секретарю, а в десять сорок семь с половиной в его ушах раздался звучный бас самого Мустафы Монда.

— Я взял на себя смелость предположить, — запинаясь, докладывал Бернард, — что вы, Ваше Фордейшество, сочтете случай этот представляющим достаточный научный интерес...

— Да, случай, я считаю, представляет достаточный научный интерес, — отозвался бас. — Возьмите с собой в Лондон обоих индивидуумов.

— Вашему Фордейшеству известно, разумеется, что мне будет необходим специальный пропуск...

— Соответствующее распоряжение, — сказал Мустафа, — уже передается в данный момент Хранителю резервации. К нему и обратитесь безотлагательно. Всего наилучшего.

Трубка замолчала. Бернард положил ее и побежал на крышу.

---

[1] Улица в Лондоне, где расположены британские правительственные учреждения.

— Летим к Хранителю, — сказал он мулату в зеленом.

В десять пятьдесят четыре Хранитель тряс руку Бернарду, здороваясь.

— Рад вас видеть, мистер Маркс, рад вас видеть, — гудел он почтительно. — Мы только что получили специальное распоряжение...

— Знаю, — не дал ему кончить Бернард. — Я разговаривал сейчас по телефону с Его Фордейшеством. — Небрежно-скучающий тон Бернарда давал понять, что разговоры с Главноуправителем — вещь для Бернарда самая привычная и будничная. Он опустился в кресло. — Будьте добры совершить все формальности. Поскорей, будьте добры, — повторил он с нажимом. Он упивался своей новой ролью.

В три минуты двенадцатого все необходимые бумаги были уже у него в кармане.

— До свидания, — покровительственно кивнул он Хранителю, проводившему его до лифта. — До свидания.

В отеле, расположенном неподалеку, он освежил себя ванной, вибровакуумным массажем, выбрился электролизной бритвой, прослушал утренние известия, провел полчасика у телевизора, отобедал не торопясь, со вкусом, и в половине третьего полетел с мулатом обратно в Мальпаис.

— Бернард, — позвал Джон, стоя у туристского пункта. — Бернард!

Ответа не было. Джон бесшумно взбежал на крыльцо в своих оленьих мокасинах и потянул дверную ручку. Дверь заперта.

Уехали! Улетели! Такой беды с ним еще не случалось. Сама приглашала прийти, а теперь нет их. Он сел на ступеньки крыльца и заплакал.

Полчаса прошло, прежде чем он догадался заглянуть в окно. И сразу увидел там небольшой зеленый чемодан с инициалами Л. К. на крышке. Радость вспыхнула в нем пламенем. Он схватил с земли голыш. Зазвенело, падая, разбитое стекло. Мгновенье — и он уже в комнате. Раскрыл зеленый чемодан, и тут же в ноздри, в легкие хлынул запах Ленайны, ее духи, ее эфирная сущность. Сердце забилось гулко; минуту он был близок к обмороку. Наклонясь к драгоценному вместилищу, он стал перебирать, вынимать, разглядывать. Застежки-молнии на вискозных шортах озадачили его сперва, а затем — когда решил загадку

молний — восхитили. Дерг туда, дерг обратно, жжик-жжик, жжик-жжик; он был в восторге. Зеленые туфельки ее — ничего чудесней в жизни он не видел. Развернув комбилифчик с трусиками, он покраснел, поспешно положил на место; надушенный ацетатный носовой платок поцеловал, а шарфик повязал себе на шею. Раскрыл коробочку — и окутался облаком просыпавшейся ароматной пудры. Запорошил все пальцы себе. Он вытер их о грудь свою, о плечи, о загорелые предплечья. Как пахнет! Он закрыл глаза; он потерся щекой о запудренное плечо. Прикосновение гладкой кожи, аромат этой мускусной пыльцы, будто сама Ленайна здесь.

— Ленайна! — прошептал он. — Ленайна!

Что-то ему послышалось, он вздрогнул, оглянулся виновато. Сунул вынутые воровским образом вещи обратно, придавил крышкой; опять прислушался и огляделся. Ни звука, ни признака жизни. Однако ведь он явственно слышал — не то вздох, не то скрип половицы. Он подкрался на цыпочках к двери, осторожно отворил, за дверью оказалась широкая лестничная площадка. А за площадкой — еще дверь, приоткрытая. Он подошел, открыл пошире, заглянул.

Там, на низкой кровати, сбросив с себя простыню, в комбинированной розовой пижамке на молниях лежала и спала крепким сном Ленайна — и была так прелестна в ореоле кудрей, так была детски-трогательна, со своим серьезным личиком и розовыми пальчиками ног, так беззащитно и доверчиво разбросала руки, что на глаза Джону навернулись слезы.

С бесконечными и совершенно ненужными предосторожностями — ибо досрочно вернуть Ленайну из ее сомотдыха мог разве что гулкий пистолетный выстрел — он вошел, он опустился на колени у кровати. Глядел, сложив молитвенно руки, шевеля губами. «Ее глаза», — шептал он.

Ее глаза, лицо, походка, голос;
Упомянул ты руки — их касанье
Нежней, чем юный лебединый пух,
А перед царственной их белизною
Любая белизна черней чернил...[1]

Муха, жужжа, закружилась над ней; взмахом руки он отогнал муху. И вспомнил:

---

[1] «Троил и Крессида» (акт I, сц. 1).

Мухе — и той доступно сесть
На мраморное чудо рук Джульетты,
Мухе — и той дозволено похитить
Бессмертное благословенье с губ,
Что разалелись от стыда, считая
Грехом невольный этот поцелуй;
О чистая и девственная скромность![1]

Медленно-медленно, неуверенным движением человека, желающего погладить пугливую дикую птицу, которая и клюнуть может, он протянул руку. Дрожа, она остановилась в сантиметре от сонного локтя, почти касаясь. Посметь ли! Посметь ли осквернить прикосновеньем низменной руки... Нет, нельзя. Слишком опасна птица и опаслива. Он убрал руку. Как прекрасна Ленайна! Как прекрасна!

Затем он вдруг поймал себя на мысли, что стоит лишь решительно и длинно потянуть вниз эту застежку у нее на шее... Он закрыл глаза, он тряхнул головой, как встряхивается, выходя из воды, ушастый пес. Пакостная мысль! Стыд охватил его. «О чистая и девственная скромность!..»

В воздухе послышалось жужжание. Опять хочет муха похитить бессмертное благословенье? Или оса? Он поднял глаза — не увидел ни осы, ни мухи. Жужжание делалось все громче, и стало ясно, что оно идет из-за ставней, снаружи. Вертоплан! В панике Джон вскочил на ноги, метнулся вон, выпрыгнул в разбитое окно и, пробежав по тропке между высокими агавами, поспел как раз к приземленью вертоплана.

Глава десятая

На всех четырех тысячах электрических часов во всех четырех тысячах залов и комнат Центра стрелки показывали двадцать семь минут третьего. В «нашем трудовом улье», как любил выражаться Директор, стоял рабочий шум. Все и вся трудилось, упорядоченно двигалось. Под микроскопами, яростно двигая длинными хвостиками, сперматозоиды бодливо внедрялись в яйцеклетки и оплодотворенные яйца разрастались, делились или же, пройдя бокановскизацию, почковались, давая целые популяции близне-

---

[1] «Ромео и Джульетта» (акт III, сц. 3).

цов. С урчанием шли эскалаторы из Зала предопределения вниз, в Эмбрионарий, и там, в вишневом сумраке, прея на подстилках из свиной брюшины, насыщаясь кровезаменителем и гормонами, росли зародыши или, отравленные спиртом, прозябали, превращались в щуплых эпсилонов. С тихим рокотом ползли конвейерные ленты незаметно глазу — сквозь недели, месяцы и сквозь биологические эры, повторяемые эмбрионами в своем развитии, — в Зал раскупорки, где новораскупоренные младенцы издавали первый вопль изумления и ужаса.

Гудели в подвальном этаже электрогенераторы, мчались вверх и вниз грузоподъемнички. На всех одиннадцати этажах Младопитомника было время кормления. Восемнадцать сотен снабженных ярлыками младенцев дружно тянули из восемнадцати сотен бутылок свою порцию пастеризованного млечного продукта.

Над ними в спальных залах, на десяти последующих этажах, малыши и малышки, кому полагался по возрасту послеобеденный сон, и во сне этом трудились не менее других, хотя и бессознательно, усваивали гипнопедические уроки гигиены и умения общаться, основы кастового самосознания и начала секса. А еще выше помещались игровые залы, где по случаю дождя девятьсот детишек постарше развлекались кубиками, лепкой, прятками и эротической игрой.

Жж-жж! — деловито, жизнерадостно жужжал улей. Весело напевали девушки над пробирками; насвистывая, занимались своим делом предназначатели; а какие славные остроты можно было слышать над пустыми бутылями в Зале раскупорки! Но у Директора, входящего с Генри Фостером в Зал оплодотворения, лицо выражало серьезность, деревянную суровость.

— ...В назидание всем, — говорил Директор. — И в этом зале, поскольку здесь наибольшее у нас число работников высших каст. Я велел ему явиться сюда в два тридцать.

— Работник он очень хороший, — лицемерно свеликодушничал Генри.

— Знаю. Но тем оправданнее будет суровость наказания. Повышенные умственные данные налагают и повышенную нравственную ответственность. Чем одаренней человек, тем способнее он разлагать окружающих. Лучше, чтобы пострадал один, но спасены были от порчи многие. Рассудите дело беспристрастно, мистер Фостер, и вы согла-

ситесь, что нет преступления гнусней, чем нарушение общепринятых норм поведения. Убийство означает гибель особи, а, собственно, что для нас одна особь? — Взмахом руки Директор охватил ряды микроскопов, пробирки, инкубаторы. — Мы с величайшей легкостью можем сотворить сколько угодно новых. Нарушение же принятых норм ставит под угрозу нечто большее, чем жизнь какой-то особи, наносит удар всему Обществу. Да, всему Обществу, — повторил он. — Но вот и сам преступник.

Бернард приближался уже к ним, шел между рядами оплотворителей. Вид у него был бойкий, самоуверенный, но из-под этой маскировки проглядывала тревога.

— Добрый день, Директор, — произнес он до нелепости громко; заметив это сам, он тут же сбавил тон чуть не до шепота и пискнул: — Вы назначили мне встречу здесь.

— Да, — сказал Директор важно и зловеще. — Назначил встречу здесь. Вы вернулись, как я понимаю, из своего отпуска.

— Да, — сказал Бернард.

— Так-с-сс, — змеино протянул звук «с» Директор и, внезапно повысив голос, трубно воззвал:

— Леди и джентльмены, дамы и господа.

Вмиг прекратилось мурлыканье лаборанток над пробирками, сосредоточенное посвистывание микроскопистов. Наступило молчание; лица всех обратились к Директору.

— Дамы и господа, — повторил он еще раз. — Простите, что прерываю ваш труд. Меня к тому вынуждает тягостный долг. Под угрозу поставлены безопасность и стабильность Общества. Да, поставлены под угрозу, дамы и господа. Этот человек, — указал он обвиняюще на Бернарда, — человек, стоящий перед вами, этот альфа-плюсовик, которому так много было дано и от которого, следовательно, так много ожидалось, этот ваш коллега грубо обманул доверие Общества. Своими еретическими взглядами на спорт и сому, своими скандальными нарушениями норм половой жизни, своим отказом следовать учению Господа нашего Форда и вести себя во внеслужебные часы «как дитя в бутыли», — Директор осенил себя знаком Т, — он разоблачил себя, дамы и господа, как враг Общества, как разрушитель Порядка и Стабильности, как злоумышленник против самой Цивилизации. Поэтому я намерен снять его, отстранить с позором от занимаемой должности; я намерен немедленно осуществить его пере-

вод в третьестепенный филиал, причем как можно более удаленный от крупных населенных центров, так будет в интересах Общества. В Исландии ему представится мало возможностей сбивать людей с пути своим фордохульственным примером.

Директор сделал паузу; скрестив руки на груди, повернулся величаво к Бернарду.

— Можете ли вы привести убедительный довод, который помешал бы мне исполнить вынесенный вам приговор?

— Да, могу! — не сказал, а крикнул Бернард.

Несколько опешив, но все еще величественно, Директор промолвил:

— Так приведите этот довод.

— Пожалуйста. Мой довод в коридоре. Сейчас приведу. — Бернард торопливо пошел к двери, распахнул ее. — Входите, — сказал он, и довод явился и предстал перед всеми.

Зал глухо ахнул, по нему прокатился ропот удивления и ужаса; взвизгнула юная лаборантка; кто-то вскочил на стул, чтобы лучше видеть, и при этом опрокинул две пробирки, полные сперматозоидов. Оплывшая, обрюзгшая — устрашающее воплощение безобразной немолодости среди этих молодых, крепкотелых, туголицых, — Линда вошла в зал, кокетливо улыбаясь своей щербатой, линялой улыбкой и роскошно, как ей казалось, колебля на ходу свои окорока. Бернард шел рядом с ней.

— Вот он, — указал Бернард на Директора.

— Будто я уж такая беспамятная, — даже обиделась Линда и, повернувшись к Директору, воскликнула: — Ну конечно, я узнала, Томасик, я бы тебя узнала среди тысячи мужчин! А неужели ты меня забыл? Не узнаешь? Не помнишь меня, Томасик? Твою Линдочку. — Она глядела на него, склонив голову набок, продолжая улыбаться, но на лице Директора застыло такое отвращение, что улыбка Линды делалась все неуверенней, растерянней и угасла наконец. — Не помнишь, Томасик? — повторила она дрожащим голосом. В глазах ее была тоска и боль. Дряблое, в пятнах лицо перекосилось горестной гримасой. — Томасик! — Она протянула к нему руки. Раздался чей-то смешок.

— Что означает, — начал Директор, — эта чудовищная...

— Томасик! — она подбежала, волоча свою накидку-

одеяло, бросилась Директору на шею, уткнулась лицом ему в грудь.

Зал взорвался безудержным смехом.

— ...эта чудовищная шутка? — возвысил голос Директор. Весь побагровев, он вырвался из объятий. Она льнула к нему цепко и отчаянно.

— Но я же Линда. Я же Линдочка.

Голос ее тонул в общем смехе.

— Но я же родила от тебя, — прокричала она, покрывая шум. И внезапно, грозно воцарилась тишина; все смолкли, пряча глаза в замешательстве. Директор побледнел, перестал вырываться, так и замер, ухватясь за руки Линды, глядя на нее остолбенело.

— Да, родила, стала матерью.

Она бросила это, как вызов, в потрясенную тишину; затем, отстранясь от Директора, объятая стыдом, закрыла лицо, зарыдала.

— Я не виновата, Томасик. Я же всегда выполняла все приемы. Всегда-всегда... Я не знаю, как это... Если бы ты только знал, Томасик, как ужасно... Но все равно он был мне утешением. — И, повернувшись к двери, позвала:

— Джон! Джон!

Джон тут же появился на пороге, остановился, осмотрелся, затем быстро, бесшумно в своих мокасинах пересек зал, опустился на колени перед Директором и звучно произнес:

— Отец мой!

Слово это (ибо ругательство «отец» менее прямо, чем «мать», связанное с мерзким и аморальным актом деторождения, звучит не столь похабно, сколь попросту навозно), комически-грязное это словцо разрядило атмосферу напряжения, ставшего уже невыносимым. Грянул хохот-рев, оглушительный и нескончаемый. «Отец мой» — и кто же? Директор! Отец! О господи Фо-хо-хо-хо!.. Да это ж фантастика! Все новые, новые приступы, взрывы — лица раскисли от хохота, слезы текут. Еще шесть пробирок спермы опрокинули. Отец мой!

Бледный, вне себя от унижения, Дирекор огляделся затравленно вокруг дикими глазами.

Отец мой! Хохот, начавший было утихать, раскатился опять, громче прежнего. Зажав руками уши, Директор кинулся вон из зала.

Глава одиннадцатая

После скандала в Зале оплодотворения все высшекастовое лондонское общество рвалось увидеть этого восхитительного дикаря, который упал на колени перед Директором Инкубатория (вернее сказать, перед бывшим Директором, ибо бедняга тотчас ушел в отставку и больше уж не появлялся в Центре), который бухнулся на колени и обозвал Директора отцом, — юмористика почти сказочная! Линда же, напротив, не интересовала никого. Назваться матерью — это уже не юмор, а похабщина. Притом она ведь не настоящая дикарка, а из бутыли вышла, сформирована, как все, и подлинной эксцентричностью понятий блеснуть не может. Наконец — и это наивесомейший резон, чтобы не знаться с Линдой, — ее внешний вид. Жирная, утратившая свою молодость, со скверными зубами, с пятнистым лицом, с безобразной фигурой — при одном взгляде на нее буквально делается дурно. Так что лондонские сливки общества решительно не желали видеть Линду. Да и Линда со своей стороны нимало не желала их видеть. Для нее возврат в цивилизацию значил возвращение к соме, означал возможность лежать в постели и предаваться непрерывному сомотдыху без похмельной рвоты или головной боли, без того чувства, какое бывало всякий раз после пейотля, будто совершила что-то жутко антиобщественное, навек опозорившее. Сома не играет с тобой таких шуток. Она — средство идеальное, а если, проснувшись наутро, испытываешь неприятное ощущение, то неприятное не само по себе, а лишь сравнительно с радостями забытья. И поправить положение можно — можно сделать забытье непрерывным. Линда жадно требовала все более крупных и частых доз сомы. Доктор Шоу вначале возражал; потом махнул рукой. Она глотала до двадцати граммов ежесуточно.

— И это ее прикончит в месяц-два, — доверительно сообщил доктор Бернарду. — В один прекрасный день ее дыхательный центр окажется парализован. Дыхание прекратится. Наступит конец. И тем лучше. Если бы мы умели возвращать молодость, тогда бы дело другое. Но мы не умеем.

Ко всеобщему удивлению (ну и пускай себе спит Линда и никому не мешает), Джон пытался возражать.

— Ведь закармливая этими таблетками, вы укорачиваете ей жизнь!

— В некотором смысле укорачиваем, — соглашался доктор Шоу, — но в другом даже удлиняем. (Джон глядел на него непонимающе.) Пусть сома укорачивает временное протяжение вашей жизни на столько-то лет, — продолжал врач. — Зато какие безмерные вневременные протяжения она способна вам дарить. Каждый сомотдых — это фрагмент того, что наши предки называли вечностью.

— «Вечность была у нас в глазах и на устах»[1], — пробормотал Джон, начиная понимать.

— Как? — не расслышал доктор Шоу.

— Ничего. Так.

— Конечно, — продолжал доктор Шоу, — нельзя позволять людям то и дело отправляться в вечность, если они выполняют серьезную работу. Но поскольку у Линды такой работы нет...

— Все равно, — не успокаивался Джон, — по-моему, нехорошо это.

Врач пожал плечами.

— Что ж, если вы предпочитаете, чтобы она вопила и буянила, домогаясь сомы...

В конце концов Джону пришлось уступить. Линда добилась своего. И залегла окончательно в своей комнатке на тридцать восьмом этаже дома, в котором жил Бернард. Радио, телевизор включены круглые сутки, из краника чуть-чуть покапывают духи пачули, и тут же под рукой таблетки сомы — так лежала она у себя в постели; и в то же время пребывала где-то далеко, бесконечно далеко, в непрерывном сомотдыхе, в ином каком-то мире, где радиомузыка претворялась в лабиринт звучных красок, трепетно скользящий лабиринт, ведущий (о, какими прекрасно-неизбежными извивами!) к яркому средоточью полного, уверенного счастья; где танцующие телевизионные образы становились актерами в неописуемо дивном суперпоющем ощущальном фильме; где аромат каплющих духов разрастался в солнце, в миллион сексофонов, — в Попе, обнимающего, любящего, но неизмеримо сладостней, сильней — и нескончаемо.

— Нет, возвращать молодость мы не умеем. Но я крайне рад этой возможности понаблюдать одряхление на человеке. Сердечное спасибо, что пригласили меня. — И доктор Шоу горячо пожал Бернарду руку.

---

[1] Слова Клеопатры. «Антоний и Клеопатра» (акт I, сц. 3).

Итак, видеть жаждали Джона. А поскольку доступ к Джону был единственно через его официального опекуна и гида Бернарда, то к Бернарду впервые в жизни стали относиться по-человечески, даже более того, словно к очень важной особе. Теперь и речи не было про спирт, якобы подлитый в его кровезаменитель; не было насмешек над его наружностью. Генри Фостер весь излучал радушие; Бенито Гувер подарил шесть пачек секс-гормональной жевательной резинки; пришел помощник Предопределителя и чуть ли не подобострастно стал напрашиваться в гости — на какой-либо из званых вечеров, устраиваемых Бернардом. Что же до женщин, то Бернарду стоило лишь поманить их приглашением на такой вечер, и доступна делалась любая.

— Бернард пригласил меня на будущую среду, познакомит с Дикарем, — объявила торжествующе Фанни.

— Рада за тебя, — сказала Ленайна. — А теперь признайся, что ты неверно судила о Бернарде. Ведь правда же, он мил?

Фанни кивнула.

— И не скрою, — сказала Фанни, — что я весьма приятно удивлена.

Начальник Укупорки, Главный предопределитель, трое заместителей помощника Главного оплодотворителя, профессор ощущального искусства из Института технологии чувств, Настоятель Вестминстерского храма песнословия, Главный бокановскизатор — бесконечен был перечень светил и знатных лиц, бывавших на приемах у Бернарда.

— А девушек я на прошлой неделе имел шесть штук, — похвастался Бернард перед Гельмгольцем. — Одну в понедельник, двух во вторник, двух в пятницу и одну в субботу. И еще по крайней мере дюжина набивалась, да не было времени и желания...

Гельмгольц слушал молча, с таким мрачным неодобрением, что Бернард обиделся.

— Тебе завидно, — сказал Бернард.

— Нет, попросту грустновато, — ответил он.

Бернард ушел рассерженный. Никогда больше, дал он себе зарок, никогда больше не заговорит он с Гельмгольцем.

Шли дни. Успех кружил Бернарду голову, как шипучий пьянящий напиток, и (подобно всякому хорошему опьяняющему средству) полностью примирил его с порядком вещей, прежде таким несправедливым. Теперь этот мир

был хорош, поскольку признал Бернардову значимость. Но, умиротворенный, довольный своим успехом, Бернард однако не желал отречься от привилегии критиковать порядок вещей. Ибо критика усиливала в Бернарде чувство значимости, собственной весомости. К тому же критиковать есть что — в этом он убежден был искренно. (Столь же искренне ему хотелось и нравилось иметь успех, иметь девушек по желанию.) Перед теми, кто теперь любезничал с ним ради доступа к Дикарю, Бернард щеголял язвительным инакомыслием. Его слушали учтиво. Но за спиной у него покачивали головами и пророчили: «Этот молодой человек плохо кончит». Пророчили тем увереннее, что сами намерены были в должное время позаботиться о плохом конце. «И не выйдет он вторично сухим из воды — не вечно ему козырять дикарями», — прибавляли они. Пока же этот козырь у Бернарда был, и с Бернардом держались любезно. И Бернард чувствовал себя монументальной личностью, колоссом — и в то же время ног под собой не чуял, был легче воздуха, парил в поднебесье.

— Он легче воздуха, — сказал Бернард, показывая вверх.

Высоко-высоко там висел привязанный аэростат службы погоды и розово отсвечивал на солнце, как небесная жемчужина.

«...упомянутому Дикарю, — гласила инструкция, данная Бернарду, — надлежит наглядно показать цивилизованную жизнь во всех ее аспектах...»

Сейчас Дикарю показывали ее с высоты птичьего полета — со взлетно-посадочного диска Черинг-Тийской башни. Экскурсоводами служили начальник этого аэропорта и штатный метеоролог. Но говорил главным образом Бернард. Опьяненный своей ролью, он вел себя так, словно был по меньшей мере Главноуправителем. Он парил в поднебесье.

Оттуда, из этих небес, упала на диск «Бомбейская Зеленая ракета». Пассажиры сошли. Из восьми иллюминаторов салона выглянули восемь одетых в хаки бортпроводников — восьмерка тождественных близнецов-дравидов.

— Тысяча двести пятьдесят километров в час, — внушительно сказал начальник аэропорта. — Скорость приличная, не правда ли, мистер Дикарь?

— Да, — сказал Дикарь. — Однако Ариель способен был в сорок минут всю землю опоясать[1].

«Дикарь, — писал Бернард Мустафе Монду в своем отчете, — выказывает поразительно мало удивления или страха перед изобретениями цивилизации. Частично это объясняется, без сомнения, тем, что ему давно рассказывала о них Линда, его м...».

Мустафа Монд нахмурился. «Неужели этот дурак думает, что шокирует меня, если напишет слово полностью?»

«Частично же тем, что интерес его сосредоточен на фикции, которую он именует душой и упорно считает существующей реально и помимо вещественной среды; я же убеждаю его в том, что...»

Главноуправитель пропустил, не читая, Бернардовы рассуждения и хотел уже перевернуть страницу в поисках чего-либо конкретней, интересней, как вдруг наткнулся взглядом на весьма странные фразы. «...хотя должен признаться, — прочел он, — что здесь я согласен с Дикарем и тоже нахожу нашу цивилизованную безмятежность чувств слишком легко нам достающейся, слишком, как выражается Дикарь, дешевой; и, пользуясь случаем, я хотел бы привлечь внимание Вашего Фордейшества к...»

Мустафа не знал, гневаться ему или смеяться. Этот нуль суется читать лекции о жизнеустройстве ему, Мустафе Монду! Такое уж ни в какие ворота не лезет! Да он с ума сошел! «Человечку необходим урок», — решил Главноуправитель; но тут же густо рассмеялся, закинув голову. И мысль об уроке отодвинулась куда-то вдаль.

Посетили небольшой завод осветительных устройств для вертопланов, входящий в Корпорацию электрооборудования. Уже на крыше были встречены и главным технологом, и администратором по кадрам (ибо рекомендательное письмо-циркуляр Главноуправителя обладало силой магической). Спустились в производственные помещения.

---

[1] Такой скоростью полета обладал, точнее говоря, Пак — персонаж «Сна в летнюю ночь» (см. акт II, сц. 1, с. 175).

— Каждый процесс, — объяснял администратор, — выполняется по возможности одной группой Бокановского.

И действительно, холодную штамповку выполняли восемьдесят три чернявых, круглоголовых и почти безносых дельтовика. Полсотни четырехшпиндельных токарно-револьверных автоматов обслуживались полусотней горбоносых рыжих гамм. Персонал литейной составляли сто семь сенегальцев-эпсилонов, с бутыли привычных к жаре. Резьбу нарезали тридцать три желто-русые, длинноголовые, узкобедрые дельтовички, ростом все как одна метр шестьдесят девять сантиметров (с допуском плюс-минус 20 мм). В сборочном цехе два выводка гамма-плюсовиков карликового размера стояли на сборке генераторов. Ползла конвейерная лента с грузом частей; по обе стороны ее тянулись низенькие рабочие столы; и друг против друга стояли сорок семь темноволосых карликов и сорок семь светловолосых. Сорок семь носов крючком — и сорок семь курносых; сорок семь подбородков, выдающихся вперед, — и сорок семь срезанных. Проверку собранных генераторов производили восемнадцать схожих как две капли воды курчавых шатенок в зеленой гамма-форме; упаковкой занимались тридцать четыре коротконогих левши из разряда «дельта-минус», а погрузкой в ожидающие тут же грузовики и фургоны — шестьдесят три голубоглазых, льнянокудрых и веснушчатых эпсилон-полукретина.

«О дивный новый мир...» Память злорадно подсказала Дикарю слова Миранды. «О дивный новый мир, где обитают такие люди».

— И могу вас заверить, — подытожил администратор на выходе из завода, — с нашими рабочими практически никаких хлопот. У нас всегда...

Но Дикарь уже убежал от своих спутников за лавровые деревца, и там его вырвало так, будто не на твердой земле он находился, а в вертоплане, попавшем в болтанку.

«Дикарь, — докладывал письменно Бернард, — отказывается принимать сому, и, по-видимому, его очень удручает то, что Линда, его м..., пребывает в постоянном сомотдыхе. Стоит отметить, что, несмотря на одряхление и крайне отталкивающий вид его м..., Дикарь зачастую ее навещает и весьма привязан к ней — любопытный пример того, как ранняя обработка психики способна смягчить

и даже подавить естественные побуждения (в данном случае — побуждение избежать контакта с неприятным объектом)».

В Итоне они приземлились на крыше школы. Напротив, за прямоугольным двором, ярко белела на солнце пятидесятидвухэтажная Лаптонова Башня. Слева — колледж, а справа — Итонский храм песнословия возносили свои веками освященные громады из железобетона и витагласа[1]. В центре прямоугольника, ограниченного этими четырьмя зданиями, стояло причудливо-старинное изваяние господа нашего Форда из хромистой стали.

Вышедших из кабины Дикаря и Бернарда встретили доктор Гэфни, ректор и мисс Кийт, директриса.

— А близнецов у вас здесь много? — тревожно спросил Дикарь, когда приступили к обходу.

— О нет, — ответил ректор. — Итон предназначен исключительно для мальчиков и девочек из высших каст. Одна яйцеклетка — один взрослый организм. Это, разумеется, затрудняет обучение. Но поскольку нашим питомцам предстоит брать на плечи ответственность, принимать решения в непредвиденных и чрезвычайных обстоятельствах, бокановскизация для них не годится. — Ректор вздохнул.

Бернарду между тем весьма пришлась по вкусу мисс Кийт.

— Если вы свободны вечером в любой понедельник, среду или пятницу, милости прошу, — говорил он ей. — Субъект, знаете ли, занятный, — прибавил он, кивнув на Дикаря. — Оригинал.

Мисс Кийт улыбнулась (и Бернард счел улыбку очаровательной), промолвила: «Благодарю вас», сказала, что с удовольствием принимает приглашение.

Ректор открыл дверь в аудиторию, где шли занятия с плюс-плюс-альфами. Послушав минут пять, Джон озадаченно повернулся к Бернарду.

— А что это такое — элементарная теория относительности? — шепотом спросил он. Бернард начал было объяснять, затем предложил пойти лучше послушать, как обучают другим предметам.

В коридоре, ведущем в географический зал для

[1] Стекло, пропускающее ультрафиолетовые лучи.

минус-бет, они услышали за одной из дверей звонкое сопрано:

— Раз, два, три, четыре, — и тут же новую, устало-раздраженную команду: — Отставить.

— Мальтузианские приемы, — объяснила директриса. — Наши девочки, конечно, в большинстве своем неплоды. Как и я сама, — улыбнулась она Бернарду. — Но есть у нас учениц восемьсот нестерилизованных, и они нуждаются в постоянной тренировке.

В географическом зале Джон услышал, что «дикая резервация — это местность, где вследствие неблагоприятных климатических или геологических условий не окупились бы расходы на цивилизацию». Щелкнули ставни; свет в зале погас; и внезапно на экране, над головой у преподавателя, возникли penitentes[1], павшие ниц пред богоматерью Акомской (знакомое Джону зрелище); стеная, каялись они в грехах перед распятым Иисусом, перед Пуконгом в образе орла. А юные итонцы в зале надрывали животики от смеха. Penitentes поднялись, причитая, на ноги, сорвали с себя верхнюю одежду и узловатыми бичами принялись себя хлестать. Смех в зале до того разросся, что заглушил даже стоны бичующихся, усиленные звукоаппаратурой.

— Но почему они смеются? — спросил Дикарь с недоумением и болью в голосе.

— Почему? — Ректор обернулся к нему, улыбаясь во весь рот. — Да потому что смешно до невозможности.

В кинематографической полумгле Бернард отважился на то, на что в прошлом вряд ли решился бы даже в полной темноте. Окрыленный своей новой значимостью, он обнял директрису за талию. Талия гибко ему покорилась. Он хотел уже сорвать поцелуйчик-другой или нежно щипнуть, но тут снова щелкнули, открылись ставни.

— Пожалуй, продолжим осмотр, — сказала мисс Кийт, вставая.

— Вот здесь у нас, — указал ректор, пройдя немного по коридору, — гипнопедическая аппаратная.

Вдоль трех стен помещения стояли стеллажи с сотнями проигрывателей — для каждой спальной комнаты свой проигрыватель; четвертую стену всю занимали полки-ячейки с бумажными роликами, содержащими разнообразные гипнопедические уроки.

---

[1] Кающиеся *(исп.)*.

— Ролик вкладываем сюда, — сказал Бернард, перебивая ректора, — нажимаем эту кнопку...

— Нет, вон ту, — поправил досадливо ректор.

— Да, вон ту. Ролик разматывается, печатная запись считывается, световые импульсы преобразуются селеновыми фотоэлементами в звуковые волны и...

— И происходит обучение во сне, — закончил доктор Гэфни.

— А Шекспира они читают? — спросил Дикарь, когда, направляясь в биохимические лаборатории, они проходили мимо школьной библиотеки.

— Ну разумеется, нет, — сказала директриса, зардевшись.

— Библиотека наша, — сказал доктор Гэфни, — содержит только справочную литературу. Развлекаться наша молодежь может в ощущальных кинозалах. Мы не поощряем развлечений, связанных с уединением.

По остеклованной дороге прокатили мимо пять автобусов, заполненных мальчиками и девочками; одни пели, другие сидели в обнимку, молча.

— Возвращаются из Слау, из крематория, — пояснил ректор (Бернард в это время шепотом уговаривался с директрисой о свидании сегодня же вечером). — Смертовоспитание начинается с полутора лет. Каждый малыш дважды в неделю проводит утро в Умиральнице. Там его ожидают самые интересные игрушки и шоколадные пирожные. Ребенок приучается воспринимать умирание, смерть как нечто само собою разумеющееся.

— Как любой другой физиологический процесс, — вставила авторитетно директриса.

Итак, с нею договорено. В восемь часов вечера, в «Савое».

На обратном пути в Лондон они сделали краткую остановку на крыше Брентфордской фабрики телеоборудования.

— Подожди, пожалуйста, минутку, я схожу позвоню, — сказал Бернард.

Ожидая, Дикарь глядел вокруг. Главная дневная смена как раз кончилась. Рабочие низших каст толпились, выстраивались в очередь у моновокзала — сотен семь или восемь гамм, дельт и эпсилонов обоего пола, то есть не более дюжины одноликих и однорослых выводков.

Длинной гусеницей ползла очередь к окошку. Вместе с билетом кассир совал каждому картонную коробочку.

— Что в этих... этих малых ларчиках? — вспомнив слово из «Венецианского купца», спросил Дикарь возвратившегося Бернарда.

— Дневная порция сомы, — ответил Бернард слегка невнятно; он подкреплял энергию — жевал Гуверову сексгормональную резинку. — Кончил смену — получай сому. Четыре полуграммовых таблетки. А по субботам — шесть.

Он взял Джона дружески под руку и направился с ним к вертоплану.

Ленайна вошла в раздевальню, напевая.

— У тебя такой довольный вид, — сказала Фанни.

— Да, у меня радость, — отвечала Ленайна. (Жжик! — расстегнула она молнию.) — Полчаса назад позвонил Бернард. (Жжик, жжик! — сняла она шорты.) У него непредвиденная встреча. (Жжик!) Попросил сводить Дикаря вечером в ощущалку. Надо скорей лететь. — И она побежала в ванную кабину.

«Везет же девушке», — подумала Фанни, глядя вслед Ленайне. Подумала без зависти; добродушная Фанни просто констатировала факт. Действительно, Ленайне повезло. Не на одного лишь Бернарда, но в щедрой мере и на нее падали лучи славы Дикаря (самая модная, самая громкая сенсация момента!) и озаряли ее малозначительную личность. Ведь сама руководительница Фордианского союза женской молодежи [1] попросила ее прочесть лекцию о Дикаре! Ведь Ленайну пригласили на ежегодный званый обед клуба «Афродитеум»! Ведь ее уже показывали в «Ощущальных новостях» — зримо, слышимо и осязаемо явили сотням миллионов жителей планеты!

Едва ль менее лестной для Ленайны была благосклонность видных лиц. Второй секретарь Главноуправителя пригласил ее на ужин-завтрак. Один из своих уикендов Ленайна провела с верховным судьей, другой — с архипеснословом Кентерберийским. Ей то и дело звонил глава Корпорации секреторных продуктов, а с заместителем управляющего Европейским банком она слетала в Довиль [2].

— Чудесно, что и говорить. Но, — призналась Ленайна

[1] Здесь и в других местах автор иронически переиначивает названия известных буржуазных учреждений и организаций (Христианский союз женской молодежи, клуб «Атенум» и т. д.).

[2] Приморский город во Франции.

подруге, — у меня какое-то такое чувство, точно я получаю все это обманом. Потому что первым делом, конечно, все они допытываются, какой из Дикаря любовник. И приходится отвечать, что не знаю. — Она поникла головой. — Конечно, почти никто не верит мне. Но это правда. И жаль, что правда, — прибавила она грустно и вздохнула. — Он страшно же красивый, верно?

— А разве ты ему не нравишься? — спросила Фанни.

— Иногда мне кажется — нравлюсь, а иногда нет. Он избегает меня все время; стоит мне войти в комнату, как он уходит; не коснется рукой никогда, глядит в сторону. Но, бывает, обернусь неожиданно и ловлю его взгляд на себе; и тогда — ну, сама знаешь, какой у мужчин взгляд, когда им нравишься.

Фанни кивнула.

— Так что не пойму я, — дернула Ленайна плечом. Она недоумевала, она была сбита с толку и удручена. — Потому что, понимаешь, Фанни, он-то мне нравится.

«Нравится все больше, все сильней. И вот теперь свидание», — думала она, прыскаясь духами после ванны. Здесь, и здесь, и здесь чуточку... Наконец, наконец-то свидание! Она весело запела:

Крепче жми меня, мой кролик,
Целуй до истомы.
Ах, любовь острее колик
И волшебней сомы.

Запаховый орган исполнил восхитительно бодрящее «Травяное каприччио» — журчащие арпеджио тимьяна и лаванды, розмарина, мирта, эстрагона; ряд смелых модуляций по всей гамме пряностей, кончая амброй; и медленный возврат через сандал, камфару, кедр и свежескошенное сено (с легкими порою диссонансами — запашком ливера, слабеньким душком свиного навоза), возврат к цветочным ароматам, с которых началось каприччио. Повеяло на прощанье тимьяном; раздались аплодисменты; свет вспыхнул ярко. В аппарате синтетической музыки завертелся ролик звукозаписи, разматываясь. Трио для экстраскрипки, супервиолончели и гипергобоя наполнило воздух своей мелодической негой. Тактов тридцать или сорок, а затем на этом инструментальном фоне запел совершенно сверхчеловеческий голос: то грудной, то головной, то чистых, как флейта, тонов, то насыщенный томящими обертонами, голос этот без усилия переходил от рекордно

басовых нот к почти ультразвуковым переливчатым верхам, далеко превосходящим высочайшее «до», которое, к удивлению Моцарта, пронзительно взяла однажды Лукреция Аюгари * единственный в истории музыки раз — в 1770 году, в Герцоргской опере города Пармы.

Глубоко уйдя в свои пневматические кресла, Ленайна и Дикарь обоняли и слушали. А затем пришла пора глазам и коже включиться в восприятие.

Свет погас; из мрака встали жирные огненные буквы: **ТРИ НЕДЕЛИ В ВЕРТОПЛАНЕ. СУПЕРПОЮЩИЙ, СИНТЕТИКО-РЕЧЕВОЙ, ЦВЕТНОЙ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ ОЩУЩАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ. С СИНХРОННЫМ ОРГАНО-ЗАПАХОВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ.**

— Возьмитесь за шишечки на подлокотниках кресла, — шепнула Ленайна. — Иначе не дойдут ощущальные эффекты.

Дикарь взялся пальцами за обе шишечки.

Тем временем огненные буквы погасли; секунд десять длилась полная темнота; затем вдруг ослепительно великолепные в своей вещественности — куда живей живого, реальней реального — возникли стереоскопические образы великана-негра и золотоволосой юной круглоголовой бета-плюсовички. Негр и бета сжимали друг друга в объятиях.

Дикарь вздрогнул. Как зачесались губы! Он поднял руку ко рту; щекочущее ощущение пропало; опустил руку на металлическую шишечку — губы опять защекотало. А орган между тем источал волны мускуса. Из репродукторов шло замирающее суперворкованье: «Оо-оо»; и сверхафриканский густейший басище (частотой всего тридцать два колебания в секунду) мычал в ответ воркующей золотой горлице: «Мм-мм». Опять слились стереоскопические губы — «Оо-ммм! Оо-ммм!» — и снова у шести тысяч зрителей, сидящих в «Альгамбре», зазудели эротогенные зоны лица почти невыносимо приятным гальваническим зудом. «Ооо...»

Сюжет фильма был чрезвычайно прост. Через несколько минут после первых воркований и мычаний (когда любовники спели дуэт, пообнимались на знаменитой медвежьей шкуре, каждый волосок которой — совершенно прав помощник Предопределителя! — был четко и раздельно осязаем), негр попал в воздушную аварию, ударился об землю головой. Бум! Какая боль прошила лбы у зрителей! Раздался хор охов и ахов.

От сотрясения полетело кувырком все формированье-

воспитанье негра. Он воспылал маниакально-ревнивой страстью к златоволосой бете. Она протестовала. Он не унимался. Погони, борьба, нападение на соперника; наконец, захватывающее дух похищение. Бета унесена ввысь, вертоплан три недели висит в небе, и три недели длится этот дико антиобщественный тет-а-тет блондинки с черным маньяком. В конце концов после целого ряда приключений и всяческой воздушной акробатики трем юным красавцам-альфовикам удается спасти девушку. Негра отправляют в Центр переформовки взрослых, и фильм завершается счастливо и благопристойно — девушка дарит своей любовью всех троих спасителей. На минуту они прерывают это занятие, чтобы спеть синтетический квартет под мощный супероркестровый аккомпанемент, в органном аромате гардений. Затем еще раз напоследок медвежья шкура — и под звуки сексофонов экран меркнет на финальном стереоскопическом поцелуе, и на губах у зрителей гаснет электрозуд, как умирающий мотылек, что вздрагивает, вздрагивает крылышками все слабей и бессильней — и вот уже замер, замер окончательно.

Но для Ленайны мотылек не оттрепетал еще. Зажегся уже свет, и они с Джоном медленно подвигались в зрительской толпе к лифтам, а призрак мотылька все щекотал ей губы, чертил на коже сладостно-тревожные ознобные дорожки. Щеки Ленайны горели, глаза влажно сияли, грудь вздымалась. Она взяла Дикаря под руку, прижала его локоть к себе. Джон покосился на нее, бледный, страдая, вожделея и стыдясь своего желания. Он недостоин, недос... Глаза их встретились на миг. Какое обещание в ее взгляде! Какие царские сокровища любви! Джон поспешно отвел глаза, высвободил руку. Он бессознательно страшился, как бы Ленайна не сделалась такой, какой он уже не будет недостоин.

— По-моему, это вам вредно, — проговорил он, торопясь снять с нее и перенести на окружающее вину за всякие прошлые или будущие отступления Ленайны от совершенства.

— Что вредно, Джон?

— Смотреть такие мерзкие фильмы.

— Мерзкие? — искренно удивилась Ленайна. — А мне фильм показался прелестным.

— Гнусный фильм, — сказал Джон негодующе. — Позорный.

— Не понимаю вас, — покачала она головой. Почему

Джон такой чудак? Почему он так упорно хочет все испортить?

В вертакси он избегал на нее смотреть. Связанный нерушимыми обетами, никогда не произнесенными, покорный законам, давно уже утратившим силу, он сидел отвернувшись и молча. Иногда — будто чья-то рука дергала тугую, готовую лопнуть струну — по телу его пробегала внезапная нервная дрожь.

Вертакси приземлилось на крыше дома, где жила Ленайна. «Наконец-то», — ликующе подумала она, выходя из кабины. Наконец-то, хоть он и вел себя сейчас так непонятно. Остановившись под фонарем, она погляделась в свое зеркальце. Наконец-то. Да, нос чуть-чуть лоснится. Она отряхнула пуховку. Пока Джон расплачивается с таксистом, можно привести лицо в порядок. Она заботливо прошлась пуховкой, говоря себе: «Он ужасно красив. Ему-то незачем робеть, как Бернарду. А он робеет... Любой другой давно бы уже. Но теперь наконец-то». Из круглого зеркальца ей улыбнулись нос и полщеки, уместившиеся там.

— Спокойной ночи, — произнес за спиной у нее сдавленный голос. Ленайна круто обернулась: Джон стоял в дверях кабины, глядя на Ленайну неподвижным взглядом; должно быть, он стоял так и глядел все время, пока она пудрилась, и ждал — но чего? — колебался, раздумывал, думал — но о чем? Что за чудак, уму непостижимый...

— Спокойной ночи, Ленайна, — повторил он, страдальчески морща лицо в попытке улыбнуться.

— Но, Джон... Я думала, вы... То есть, разве вы не?..

Дикарь, не отвечая, закрыл дверцу, наклонился к пилоту, что-то сказал ему. Вертоплан взлетел.

Сквозь окошко в полу Дикарь увидел лицо Ленайны, бледное в голубоватом свете фонарей. Рот ее открыт, она зовет его. Укороченная в ракурсе фигурка Ленайны понеслась вниз; уменьшаясь, стал падать во тьму квадрат крыши.

Через пять минут Джон вошел к себе в комнату. Из ящика в столе он вынул обгрызенный мышами том и, полистав с благоговейной осторожностью мятые, захватанные страницы, стал читать «Отелло». Он помнил, что, подобно герою «Трех недель в вертоплане», Отелло — чернокожий.

Ленайна отерла слезы, направилась к лифту. Спускаясь

с крыши на свой двадцать восьмой этаж, она вынула флакончик с сомой. Грамма, решила она, будет мало; печаль ее не из однограммовых. Но если принять два грамма, то, чего доброго, проспишь, опоздаешь завтра на работу. «Приму полтора», — и она вытряхнула на ладонь три таблетки.

Глава двенадцатая

Бернарду пришлось кричать сквозь запертую дверь; Дикарь упорно не открывал.

— Но все уже собрались и ждут тебя.

— Пускай ждут на здоровье, — глухо донеслось из-за двери.

— Но, Джон, ты ведь отлично знаешь, — (как, однако, трудно придавать голосу убедительность, когда кричишь), — что я их пригласил именно на встречу с тобой.

— Прежде надо было меня спросить, хочу ли я с ними встретиться.

— Ты ведь никогда раньше не отказывался.

— А вот теперь отказываюсь. Хватит.

— Но ты же не подведешь друга, — льстиво проорал Бернард. — Ну сделай одолжение, Джон.

— Нет.

— Ты это серьезно?

— Да.

— Но мне что же прикажешь делать? — простонал в отчаянии Бернард.

— Убирайся к черту! — рявкнуло раздраженно за дверью.

— Но у нас сегодня сам архипеснослов Кентерберийский! — чуть не плача, крикнул Бернард.

— Аи яа таква! — Единственно лишь на языке зуньи способен был Дикарь с достаточной силой выразить свое отношение к архипеснослову. — Хани! — послал он новое ругательство и добавил со свирепой насмешкой: — Сонс эсо це-на. — И плюнул на пол, как плюнул бы Попе.

Так и пришлось сникшему Бернарду вернуться ни с чем и сообщить нетерпеливо ожидающим гостям, что Дикарь сегодня не появится. Весть эта была встречена негодованием. Мужчины гневались, поскольку впустую потратили свои любезности на замухрышку Бернарда с его дурной

репутацией и еретическими взглядами. Чем выше их положение в общественной иерархии, тем сильней была их досада.

— Сыграть такую шуточку со мной! — восклицал архипеснослов. — Со мной!

Дам же бесило то, что ими под ложным предлогом попользовался жалкий субъект, хлебнувший спирта во младенчестве, человечек с тельцем гамма-минусовика. Это просто безобразие — и они возмущались все громче и громче. Особенно язвительна была итонская директриса.

Только Ленайна молчала. Она сидела в углу бледная, синие глаза ее туманились непривычной грустью, и эта грусть отгородила, обособила ее от окружающих. А шла она сюда, исполненная странным чувством буйной и тревожной радости. «Еще несколько минут, — говорила она себе, входя, — и я увижу его, заговорю с ним, скажу (она уже решилась ему открыться), что он мне нравится — больше всех, кого я знала в жизни. И тогда, быть может, он мне скажет...»

— Скажет — что? Ее бросало в жар и краску.

«Почему он так непонятно вел себя после фильма? Так по-чудному. И все же я уверена, что на самом деле ему нравлюсь. Абсолютно уверена...»

И в этот-то момент вернулся Бернард со своей вестью: Дикарь не выйдет к гостям.

Ленайна испытала внезапно все то, что обычно испытывают сразу после приема препарата ЗБС (заменитель бурной страсти), — чувство ужасной пустоты, теснящую дыхание тоску, тошноту. Сердце словно перестало биться.

«Возможно, оттого не хочет выйти, что не нравлюсь я ему», — подумала она. И тотчас же возможность эта сделалась в ее сознании неопровержимым фактом: не нравится она ему. Не нравится...

— Это уж он Форд знает, что себе позволяет, — говорила между тем директриса заведующему крематориями и утилизацией фосфора. — И подумать, что я даже...

— Да, да, — слышался голос Фанни Краун, — насчет спирта все чистейшая правда. Знакомая моей знакомой как раз работала тогда в эмбрионарии. Знакомая сама слышала от этой знакомой...

— Скверная шуточка, скверная, — поддакнул архипеснослову Генри Фостер. — Вам небезынтересно будет узнать, что бывший наш Директор, если бы не ушел, то перевел бы его в Исландию.

Пронзаемый каждым новым словом, тугой воздушный шар Бернардова самодовольства съеживался на глазах, соча газ из тысячи проколов. Смятенный, потерянный, бледный и жалкий, Бернард метался среди гостей, бормотал бессвязные извинения, заверял, что в следующий раз Дикарь непременно будет, усаживал и упрашивал угоститься каротинным сандвичем, отведать пирога с витамином А, выпить искусственного шампанского. Гости ели, но Бернарда уже знать не хотели; пили и либо ему грубили, либо же переговаривались о нем громко и оскорбительно, точно его не было с ними рядом.

— А теперь, друзья мои, — плотно подзакусив, промолвил архипеснослов Кентерберийский этим своим великолепным медным голосом, что вершит и правит празднованиями Дня Форда, — теперь, друзья мои, пора уже, я думаю... — Он встал с кресла, поставил бокал, стряхнул с пурпурного вискозного жилета крошки и направил стопы свои к выходу.

Бернард ринулся на перехват:

— Неужели?.. Ведь так еще рано... Я питал надежду, что ваше...

Да, каких только надежд он не питал, после того как Ленайна сообщила ему по секрету, что архипеснослов примет приглашение, если таковое будет послано. «А знаешь, он очень милый». И показала Бернарду золотую Т-образную застежечку, которую архипеснослов подарил ей в память уикенда, проведенного Ленайной в его резиденции. «Званый вечер с участием архипеснослова Кентерберийского и м-ра Дикаря» — эти триумфальные слова красовались на всех пригласительных билетах. Но именно этот-то вечер избрал Дикарь, чтобы запереться у себя и отвечать на уговоры ругательствами «Хани!» и даже «Сонс эсо це-на!» (счастье Бернарда, что он не знает языка зуньи). То, что должно было стать вершинным мигом всей жизни Бернарда, стало мигом его глубочайшего унижения.

— Я так надеялся... — лепетал он, глядя на верховного фордослужителя молящими и горестными глазами.

— Молодой мой друг, — изрек архипеснослов торжественно-сурово; все кругом смолкло. — Позвольте преподать вам совет. Добрый совет. — Он погрозил Бернарду пальцем. — Исправьтесь, пока еще не поздно. — В голосе его зазвучали гробовые ноты. — Прямыми сделайте стези ваши, молодой мой друг. — Он осенил Бернарда знаком Т

и отворотился от него. — Ленайна, радость моя, — произнес он, меняя тон. — Прошу со мной.

Послушно, однако без улыбки и без восторга, совершенно не сознавая, какая оказана ей честь, Ленайна пошла следом. Переждав минуту из почтения к архипеснослову, двинулись к выходу и остальные гости. Последний хлопнул, уходя, дверью. Бернард остался один.

Совершенно убитый, он опустился на стул, закрыл лицо руками и заплакал. Поплакав несколько минут, он прибегнул затем к средству действеннее слез — принял четыре таблетки сомы.

Наверху, в комнате у себя, Дикарь был занят чтением «Ромео и Джульетты».

Вертоплан доставил архипеснослова и Ленайну на крышу Собора песнословия.

— Поторопитесь, молодой мой... то есть Ленайна, — позвал нетерпеливо архипеснослов, стоя у дверей лифта. Ленайна, замешкавшаяся на минуту — глядевшая на луну, — опустила глаза и поспешила к лифту.

«Новая биологическая теория» — так называлась научная работа, которую кончил в эту минуту читать Мустафа Монд. Он посидел, глубокомысленно хмурясь, затем взял перо и поперек заглавного листа начертал: «Предлагаемая автором математическая трактовка концепции жизненазначения является новой и весьма остроумной, но еретической и по отношению к общественному порядку опасной и потенциально разрушительной. Публикации не подлежит (эту фразу он подчеркнул). Автора держать под надзором. Потребуется, возможно, перевод его на морскую биостанцию на острове Святой Елены». А жаль, подумал он, ставя свою подпись. Работа сделана мастерски. Но только позволь им начать рассуждать о назначении жизни — и Форд знает, до чего дорассуждаются. Подобными идеями легко сбить с толку тех высшекастовиков, чьи умы менее устойчивы, разрушить их веру в счастье как Высшее Благо и убедить в том, что жизненная цель находится где-то дальше, где-то вне нынешней сферы людской деятельности; что назначенье жизни состоит

не в поддержании благоденствия, а в углублении, облагорожении человеческого сознания, в обогащении человеческого знания. И вполне возможно, подумал Главноуправитель, что такова и есть цель жизни. Но в нынешних условиях это не может быть допущено. Он снова взял перо и вторично подчеркнул слова «Публикации не подлежит», еще гуще и чернее; затем вздохнул. «Как бы интересно стало жить на свете, — подумал он, — если бы можно было отбросить заботу о счастье».

Закрыв глаза, с восторженно-сияющим лицом, Дикарь тихо декламировал в пространство:

Краса бесценная и неземная,
Все факелы собою затмевая,
Она горит у ночи на щеке,
Как бриллиант в серьге у эфиопки...[1]

Золотой Т-образный язычок блестел у Ленайны на груди. Архипеснослов игриво взялся за эту застежечку, игриво дернул, потянул.

— Я, наверно... — прервала долгое свое молчание Ленайна. — Я, пожалуй, приму грамма два сомы.

Бернард к этому времени уже крепко спал и улыбался своим райским снам. Улыбался, радостно улыбался. Но неумолимо каждые тридцать секунд минутная стрелка электрочасов над его постелью совершала прыжочек вперед, чуть слышно щелкнув. Щелк, щелк, щелк, щелк... И настало утро. Бернард вернулся в пространство и время — к своим горестям. В полном унынии отправился он на службу, в Воспитательный центр. Недели опьянения кончились; Бернард очутился в прежней житейской оболочке; и, упавшему на землю с поднебесной высоты, ему, как никогда, тяжело было влачить эту постылую оболочку.

К Бернарду, подавленному и протрезвевшему, Дикарь неожиданно отнесся с сочувствием.

— Теперь ты снова похож на того, каким был в Мальпаисе, — сказал он, когда Бернард поведал ему о печальном финале вечера. — Помнишь наш первый разговор? На пустыре у нас. Ты теперь опять такой.

Да, потому что я опять несчастен.

---

[1] «Ромео и Джульетта» (акт I, сц. 5).

— По мне лучше уж несчастье, чем твое фальшивое, лживое счастье прошлых недель.

— Ты б уж молчал, — горько сказал Бернард. — Ведь сам же меня подкосил. Отказался сойти к гостям и всех их превратил в моих врагов.

Бернард сознавал, что слова его несправедливы до абсурда; он признавал в душе — и даже признал вслух — правоту Дикаря, возражавшего, что грош цена приятелям, которые, чуть что, превращаются во врагов и гонителей. Но сознавая и признавая все это, дорожа поддержкой, сочувствием друга и оставаясь искренне к нему привязанным, Бернард упрямо все же затаил на Дикаря обиду и обдумывал, как бы расквитаться с ним. На архипеснослова питать обиду бесполезно; отомстить Главному укупорщику или помощнику Предопределителя у Бернарда не было возможности. Дикарь же в качестве жертвы обладал тем огромным преимуществом, что был в пределах досягаемости. Одно из главных назначений друга — подвергаться (в смягченной и символической форме) тем карам, что мы хотели бы, да не можем обрушить на врагов.

Второй жертвой-другом у Бернарда был Гельмгольц. Когда, потерпев крушение, он пришел к Гельмгольцу, чтобы возобновить дружбу, которую в дни успеха решил разорвать, Гельмгольц встретил его радушно, без слова упрека, словно не было у них никакой ссоры. Бернард был тронут и в то же время унижен этим великодушием, этой сердечной щедростью, тем более необычайной (и оттого вдвойне унизительной), что объяснялась она отнюдь не воздействием сомы. Простил и забыл Гельмгольц трезвый и будничный, а не Гельмгольц, одурманенный таблеткой. Бернард, разумеется, был благодарен (дружба с Гельмгольцем теперь — утешение огромное) и, разумеется, досадовал (а приятно будет как-нибудь наказать друга за его великодушие и благородство).

В их первую же встречу Бернард излил перед другом свои печали и услышал слова ободрения. Лишь спустя несколько дней он узнал, к своему удивлению — и стыду тоже, — что не один теперь в беде. Гельмгольц сам оказался в конфликте с Властью.

— Из-за своего стишка, — объяснил Гельмгольц. — Я читаю третьекурсникам спецкурс по технологии чувств. Двенадцать лекций, из них седьмая — о стихах. Точнее, «О применении стихов в нравственной пропаганде и рекламе». Я всегда обильно ее иллюстрирую конкретными

примерами. В этот раз пришла мне мысль попотчевать студентов стишком, только что сочиненным. Мысль сумасшедшая, конечно, но уж очень захотелось. — Гельмгольц засмеялся. — К тому же, — прибавил он более серьезным тоном, — хотелось проверить себя как специалиста: смогу ли я внушить то чувство, какое испытывал сам, когда писал. Господи Форде! — засмеялся он опять. — Какой поднялся шум! Шеф вызвал меня к себе и пригрозил немедленно уволить. Отныне я взят на заметку.

— А о чем твой стишок? — спросил Бернард.

— О ночной уединенности.

Бернард поднял брови.

— Если хочешь, прочту. — И Гельмгольц начал:

Кончено заседание.
В Сити — полночный час.
Палочки барабанные
Немы. Оркестр угас.
Сор уснул на панели.
Спешка прекращена.
Там, где толпы кишели,
Радуется тишина.
Радуется и плачет,
Шепотом или навзрыд.
Что она хочет и значит?
Голосом чьим говорит?
Вместо одной из многих
Сюзанн, Марианн, Услад
(У каждой плечи и ноги
И аппетитный зад), —
Со мной разговор затевает,
Все громче свое запевает
Химера? абсурд? пустота? —
И ею ночь городская
Гуще, плотней занята,
Чем всеми теми многими,
С кем спариваемся мы.
И кажемся мы убогими
Жителями тьмы.

Я привел им это в качестве примера, а они донесли шефу.

— Что ж удивляться, — сказал Бернард. — Стишок этот идет вразрез со всем, что они с детства усвоили

во сне. Вспомни, им по крайней мере четверть миллиона раз повторили в той или иной форме, что уединение вредно.

— Знаю. Но мне хотелось проверить действие стиха на слушателях.

— Ну вот и проверил.

В ответ Гельмгольц только рассмеялся.

— У меня такое ощущение, — сказал он, помолчав, — словно брезжит передо мной что-то, о чем стоит писать. Словно начинает уже находить применение бездействовавшая во мне сила — та скрытая, особенная сила. Что-то во мне пробуждается.

«Попал в беду, а рад и светел», — подумал Бернард.

Гельмгольц с Дикарем сдружились сразу же. Такая тесная завязалась у них дружба, что Бернарда даже кольнула в сердце ревность. За все эти недели ему не удалось так сблизиться с Дикарем, как Гельмгольцу с первого же дня. Глядя на них, слушая их разговоры, Бернард иногда жалел сердито, что свел их вместе. Этого чувства он стыдился и пытался его подавить то сомой, то усилием воли. Но волевые усилия мало помогали, а сому непрерывно ведь не будешь глотать. И гнусная зависть, ревность мучили снова и снова.

В третье свое посещенье Дикаря Гельмгольц прочел ему злополучный стишок.

— Ну, как впечатление? — спросил он, кончив.

Дикарь покрутил головой.

— Вот послушай-ка лучше, — сказал он и, отомкнув ящик, вынув заветную замызганную книгу, раскрыл ее и стал читать:

Птица звучного запева,
Звонкий заревой трубач!
Вострубм, воспой, восплачь
С веток Фениксова древа...[1]

Гельмгольц слушал с растущим волнением. Уже с первых строк он встрепенулся; улыбнулся от удовольствия, услышав «ухающая сова»; от строки «Хищнокрылые созданья» щекам вдруг стало жарко, а при словах «Скорбной музыкою смерти» он побледнел, вдоль спины дернуло не испытанным еще ознобом. Дикарь читал дальше:

---

[1] Дикарь читает стихотворение Шекспира «Феникс и голубка».

Стало Самости тревожно,
Что смешались «я» и «ты»;
Разделяющей черты
Уж увидеть невозможно.
Разум приведен в тупик
Этим розного слияньем...

— «Слиться нас господь зовет», — перебил Бернард, хохотнув ехидно. — Хоть пой эту абракадабру на сходках единения. — Он мстил обоим — Дикарю и Гельмгольцу.

В течение последующих двух-трех встреч он часто повторял свои издевочки. Месть несложная и чрезвычайно действенная, ибо и Гельмгольца, и Дикаря ранило до глубины души это осквернение, растаптыванье хрусталя поэзии. Наконец Гельмгольц пригрозил вышвырнуть Бернарда из комнаты, если тот перебьет Джона снова. Но как ни странно, а прервал в следующий раз чтение сам Гельмгольц, и еще более грубым образом.

Дикарь читал «Ромео и Джульетту» — с дрожью, с пылом страсти, ибо в Ромео видел самого себя, а в Джульетте — Ленайну. Сцену их первой встречи Гельмгольц прослушал с недоуменным интересом. Сцена в саду восхитила его своей поэзией; однако чувства влюбленных вызвали улыбку. Так взвинтить себя из-за взаимопользования — смешновато как-то. Но, если взвесить каждую словесную деталь, что за превосходный образец инженерии чувств!

— Перед стариканом Шекспиром, — признал Гельмгольц, — лучшие наши специалисты — ничто.

Дикарь торжествующе улыбнулся и продолжил чтение. Все шло гладко до той последней сцены третьего акта, где супруги Капулетти понуждают дочь выйти замуж за Париса. На протяжении всей сцены Гельмгольц поерзывал; когда же, прочувственно передавая мольбу Джульетты, Дикарь прочел:

Все мое горе видят небеса.
Ужели нету жалости у неба?
О, не гони меня, родная мать!
Отсрочку дай на месяц, на неделю;
А если нет, то брачную постель
Стелите мне в могильном мраке склепа,
Где погребен Тибальт... [1]

[1] «Ромео и Джульетта» (акт III, сц. 5).

Тут уж Гельмгольц безудержно расхохотался: отец и мать (непотребщина в квадрате!) тащат, толкают дочку к взаимопользованию с неприятным ей мужчиной! А дочь, идиотка этакая, утаивает, что взаимопользуется с другим, кого (в данный момент, во всяком случае) предпочитает! Дурацки-непристойная ситуация, в высшей степени комичная. До сих пор Гельмгольцу еще удавалось героическим усилием подавлять разбиравший его смех; но «родная мать» (страдальчески, трепетно произнес это Дикарь) и упоминание о мертвом Тибальте, лежащем во мраке склепа — очевидно, без кремации, так что весь фосфор пропадает зря, — мать с Тибальтом доконали Гельмгольца. Он хохотал и хохотал, уже и слезы текли по лицу, и все не мог остановиться; а Дикарь глядел на него поверх страницы, бледнея оскорбленно, и наконец с возмущением захлопнул книгу, встал и запер ее в стол — спрятал бисер от свиней.

— И однако, — сказал Гельмгольц отдышавшись, извинясь и несколько смягчив Дикаря, — я вполне сознаю, что подобные нелепые, безумные коллизии необходимы драматургу; ни о чем другом нельзя написать по-настоящему захватывающе. Ведь почему этот старикан был таким замечательным технологом чувств? Потому что писал о множестве вещей мучительных, бредовых, которые волновали его. А так и надо — быть до боли взволнованным, задетым за живое; иначе не изобретешь действительно хороших, всепроникающих фраз. Но «отец»! Но «мать»! — Он покачал головой. — Уж тут, извини, сдержать смех немыслимо. Да и кого из нас взволнует то, попользуется парень девушкой или нет? (Дикаря покоробило, но Гельмгольц, потупившийся в раздумье, ничего не заметил.) — Нет, — подытожил он со вздохом, — сейчас такое не годится. Требуется иной род безумия и насилия. Но какой именно? Что именно? Где его искать? — Он помолчал; затем, мотнув головой, сказал наконец: — Не знаю. Не знаю.

Глава тринадцатая

В красном сумраке эмбрионария замаячил Генри Фостер.

— В ощущалку вечером махнем?

Ленайна молча покачала головой.

— А с кем ты сегодня? — Ему интересно было знать, кто из его знакомых с кем взаимопользуется. — С Бенито?

Она опять качнула головой.

Генри заметил усталость в этих багряных глазах, бледность под ало-волчаночной глазурью, грусть в уголках неулыбающегося малинового рта.

— Нездоровится тебе, что ли? — спросил он слегка обеспокоенно (а вдруг у нее одна из немногочисленных еще оставшихся заразных болезней?).

Но снова Ленайна покачала головой.

— Все-таки зайди к врачу, — сказал Генри. — «Прихворну хотя бы чуть, сразу к доктору лечу», — бодро процитировал он гипнопедическую поговорку, для вящей убедительности хлопнув Ленайну по плечу. — Возможно, тебе требуется псевдобеременность. Или усиленная доза ЗБС. Иногда, знаешь, обычной бывает недоста...

— Ох, замолчи ты ради Форда, — вырвалось у Ленайны. И она повернулась к бутылям на конвейерной ленте, от которых отвлек ее Генри.

Вот именно, ЗБС ей нужен, заменитель бурной страсти! Она рассмеялась бы Генри в лицо, да только боялась расплакаться. Как будто мало у нее своей БС! С тяжелым вздохом набрала она в шприц раствора.

— Джон, — шепнула она тоскующе, — Джон...

«Господи Форде, — спохватилась она, — сделала я уже этому зародышу укол или не сделала? Совершенно не помню. Еще вторично впрысну, чего доброго». Решив не рисковать этим, она занялась следующей бутылью. (Через двадцать два года восемь месяцев и четыре дня молодой, подающий надежды альфа-минусовик, управленческий работник в Мванза-Мванза, умрет от сонной болезни — это будет первый случай за полстолетия с лишним.) Вздыхая, Ленайна продолжала действовать иглой.

— Но это абсурд — так себя изводить, — возмущалась Фанни в раздевальне час спустя. — Просто абсурд, — повторила она. — И притом из-за чего? Из-за мужчины, одного какого-то мужчины.

— Но я именно его хочу.

— Как будто не существуют на свете миллионы других.

— Но их я не хочу.

— А ты прежде попробуй, потом говори.

— Я пробовала.

— Ну скольких ты перепробовала? — Фанни пожала насмешливо плечиком. — Одного, двух?

— Несколько десятков. Но эффекта никакого.

— Пробуй не покладая рук, — назидательно сказала

Фанни. Но было видно, что в ней уже поколебалась вера в этот рецепт. — Без усердия ничего нельзя достичь.

— Усердие усердием, но я...

— Выбрось его из мыслей.

— Не могу.

— А ты сому принимай.

— Принимаю.

— Ну и продолжай принимать.

— Но в промежутках он не перестает мне нравиться. И не перестанет никогда.

— Что ж, если так, — сказала Фанни решительно, — тогда просто-напросто пойди и возьми его. Все равно, хочет он или не хочет.

— Но если бы ты знала, какой он ужасающий чудак!

— Тем более необходима с ним твердость.

— Легко тебе говорить.

— Знать ничего не знай. Действуй. — Голос у Фанни звучал теперь фанфарно, словно у лекторши из ФСЖМ [1], проводящей вечернюю беседу с двенадцатилетними бета-минусовичками. — Да, действуй, и безотлагательно. Сейчас.

— Боязно мне, — сказала Ленайна.

— Прими сперва таблетку сомы — и все дела. Ну, я пошла мыться. — Подхватив мохнатую простыню, Фанни зашагала к кабинкам.

В дверь позвонили, и Дикарь вскочил и бросился открывать, он решил наконец сказать Гельмгольцу, что любит Ленайну, и теперь ему уж не терпелось.

— Я предчувствовал, что ты придешь, — воскликнул он, распахивая дверь.

На пороге, в белом, ацетатного атласа матросском костюме и в круглой белой шапочке, кокетливо сдвинутой на левое ухо, стояла Ленайна.

Дикарь так и ахнул, точно его ударили с размаха.

Полграмма сомы оказалось Ленайне достаточно, чтобы позабыть колебанья и страхи.

— Здравствуй, Джон, — сказала она с улыбкой и прошла в комнату.

Машинально закрыл он дверь и пошел следом. Ленайна села. Наступило длинное молчание.

— Ты вроде бы не рад мне, Джон, — сказала наконец Ленайна.

---

[1] Фордианский союз женской молодежи.

— Не рад? — В глазах Джона выразился упрек; он вдруг упал перед ней на колени, благоговейно поцеловал ей руку. — Не рад? О, если бы вы только знали, — прошептал он и, набравшись духу, взглянул ей в лицо. — О восхитительнейшая Ленайна, достойная самого дорогого, что в мире есть. — (Она улыбнулась, обдав его нежностью.) — О, вы так совершенны (приоткрыв губы, она стала наклоняться к нему), так совершенны и так несравненны (ближе, ближе); чтобы создать вас, у земных созданий взято все лучшее (еще ближе...) — Дикарь внезапно поднялся с колен. — Вот почему, — сказал он, отворачивая лицо, — я хотел сперва совершить что-нибудь... Показать то есть, что достоин вас. То есть я всегда останусь недостоин. Но хоть показать, что не совсем уж... Свершить что-нибудь.

— А зачем это необходимо... — начала и не кончила Ленайна. В голосе ее прозвучала раздраженная нотка. Когда наклоняешься, тянешься губами ближе, ближе, а вдруг дуралей-партнер вскакивает и ты как бы проваливаешься в пустоту, то поневоле возьмет досада, хотя в крови твоей и циркулирует полграмма сомы.

— В Мальпаисе, — путано бормотал Дикарь, — надо принести шкуру горного льва, кугуара. Когда сватаешься то есть. Или волчью.

— В Англии нет львов, — сказала Ленайна почти резко.

— Да если б и были, — неожиданно проговорил Дикарь с брезгливым возмущением, — то их бы с вертопланов, наверное, стреляли, газом бы травили. Не так бы я сражался со львом, Ленайна. — Расправив плечи, расхрабрившись, он повернулся к Ленайне и увидел на лице у нее досаду и непонимание. — Я что угодно совершу, — продолжал он в замешательстве, все больше путаясь. — Только прикажите. Среди забав бывают и такие, где нужен тяжкий труд. Но оттого они лишь слаще. Вот и я бы. Прикажи вы только, я полы бы мел.

— Но на это существуют пылесосы, — сказала недоуменно Ленайна. — Мести полы нет необходимости.

— Необходимости-то нет. Но низменная служба бывает благородно исполнима. Вот и я хотел бы исполнить благородно.

— Но раз у нас есть пылесосы...

— Не в том же дело.

— И есть эпсилон-полукретины, чтобы пылесосить, — продолжала Ленайна, — то зачем это тебе, ну зачем?

— Зачем? Но для вас, Ленайна. Чтобы показать вам, что я...

— И какое отношение имеют пылесосы ко львам?..

— Показать, как сильно...

— Или львы к нашей встрече?.. — Она раздражалась все больше.

— ...как вы мне дороги, Ленайна, — выговорил он с мукой в голосе.

Волна радости затопила Ленайну, волна румянца залила ей щеки.

— Ты признаешься мне в любви, Джон?

— Но мне еще не полагалось признаваться, — вскричал Джон, чуть ли не ломая себе руки. — Прежде следовало... Слушайте, Ленайна, в Мальпаисе влюбленные вступают в брак.

— Во что вступают? — Ленайна опять уже начинала сердиться: что это он мелет?

— Навсегда. Дают клятву жить вместе навек.

— Что за бредовая мысль! — Ленайна не шутя была шокирована.

— «Пускай увянет внешняя краса, но обновлять в уме любимый облик быстрей, чем он ветшает» [1].

— Что такое?

— И Шекспир ведь учит: «Не развяжи девичьего узла до совершения святых обрядов во всей торжественной их полноте...» [2]

— Ради Форда, Джон, говори по-человечески. Я не понимаю ни слова. Сперва пылесосы, теперь узлы. Ты с ума меня хочешь свести. — Она рывком встала и, словно опасаясь, что и сам Джон ускользнет от нее, как ускользает смысл его слов, схватила Джона за руку. — Отвечай мне прямо — нравлюсь я тебе или не нравлюсь?

Пауза; чуть слышно он произнес:

— Я люблю вас сильней всего на свете.

— Тогда почему же молчал, не говорил! — воскликнула она. И так выведена была Ленайна из себя, что острые ноготки ее вонзились Джону в кожу. — Городишь чепуху об узлах, пылесосах и львах. Лишаешь меня радости все эти недели.

Она выпустила его руку, отбросила ее сердито от себя.

— Если бы ты мне так не нравился, — проговорила

---

[1] «Троил и Крессида» (акт III, сц. 2).

[2] «Буря» (акт IV, сцена 1).

она, — я бы страшно на тебя разозлилась.

И вдруг обвила его шею, прижалась нежными губами к губам. Настолько сладостен, горяч, электризующ был этот поцелуй, что Джону не могли не вспомниться стереоскопически зримые и осязаемые объятия в «Трех неделях на вертоплане». Воркование блондинки и мычанье негра. Ужас, мерзость... он попытался высвободиться, но Ленайна обняла еще тесней.

— Почему ты молчал? — прошептала она, откинув голову и взглянув на него. В глазах ее был ласковый укор.

«Ни злобный гений, пламенящий кровь, ни злачный луг, ни темная пещера, — загремел голос поэзии и совести, — ничто не соблазнит меня на блуд и не расплавит моей чести в похоть»[1]. «Ни за что, ни за что», — решил Джон мысленно.

— Глупенький, — шептала Ленайна. — Я так тебя хотела. А раз и ты хотел меня, то почему же?..

— Но, Ленайна, — начал он; она тут же разомкнула руки, отшагнула от него, и он подумал на минуту, что Ленайна поняла его без слов. Но она расстегнула белый лакированный пояс с кармашками, аккуратно повесила на спинку стула.

— Ленайна, — повторил он, предчувствуя недоброе.

Она подняла руку к горлу, дернула молнию, распахнув сверху донизу свою белую матроску; тут уж предчувствие сгустилось в непреложность.

— Ленайна, что вы делаете!

Жжик, жжик! — прозвучало в ответ. Она сбросила брючки клеш и осталась в перламутрово-розовом комби. На груди блестела золотая Т-образная застежка, подарок архипеснослова.

«Ибо эти соски, что из решетчатых окошек разят глаза мужчин...»[2] Вдвойне опасной, вдвойне обольстительной становилась она в ореоле певучих, гремучих, волшебных слов. Нежна, мягка, но как разяща! Вонзается в мозг, пробивает, буравит решимость. «Огонь в крови сжирает, как солому, крепчайшие обеты. Будь воздержней, не то...»[3]

Жжик! Округлая розовость комби распалась пополам, как яблоко, разрезанное надвое. Сбрасывающее движенье рук, затем ног — правой, левой — и комби легло безжиз-

---

[1] «Буря» (акт IV, сц. 1).

[2] «Тимон Афинский» (акт. IV, сц. 3).

[3] «Буря» (акт IV. сц. 1).

ненно и смято на пол. В носочках, туфельках и в белой круглой шапочке набекрень Ленайна пошла к Джону.

— Милый! Милый мой! Почему же ты раньше молчал! — Она распахнула руки.

Но, вместо того чтобы ответить: «Милая!» — и принять ее в объятия, Дикарь в ужасе попятился, замахав на нее, точно отгоняя опасного и напирающего зверя. Четыре попятных шага, и он уперся в стену.

— Любимый! — сказала Ленайна и, положив Джону руки на плечи, прижалась к нему.

— Обними же меня, — приказала она. — Крепче жми меня, мой кролик. — У нее в распоряжении тоже была поэзия, слова, которые поют, колдуют, бьют в барабаны. — Целуй, — она закрыла глаза, обратила голос в дремотный шепот, — целуй до истомы. Ах, любовь острее...

Дикарь схватил ее за руки, оторвал от своих плеч, грубо отстранил, не разжимая хватки.

— Ай, мне больно, мне... ой! — Она вдруг замолчала. Страх заставил забыть о боли — открыв глаза, она увидела его лицо; нет, чье-то чужое, бледное, свирепое лицо, перекошенное, дергающееся в необъяснимом, сумасшедшем бешенстве. Оторопело она прошептала:

— Но что с тобой, Джон?

Он не отвечал, упирая в нее свой исступленный взгляд. Руки, сжимающие ей запястья, дрожали. Он дышал тяжело и неровно. Слабый, чуть различимый, но жуткий, послышался скрежет его зубов.

— Да что с тобой? — вскричала она.

И словно очнувшись от этого вскрика, он схватил ее за плечи и затряс.

— Блудница! Шлюха! Наглая блудница!

— Ой, не на-а-адо! — Джон тряс ее, и голос прерывался блеюще.

— Шлюха!

— Прошу-у те-бя-а-а.

— Шлюха мерзкая!

— Лучше полгра-а-амма, чем...

Дикарь с такой силой оттолкнул ее, что она не удержалась на ногах, упала.

— Беги, — крикнул он, грозно высясь над нею. — Прочь с глаз моих, не то убью. — Он сжал кулаки.

Ленайна заслонилась рукой.

— Умоляю тебя, Джон...

— Беги. Скорее!

Загораживаясь рукой, устрашенно следя за каждым его движением, она вскочила на ноги и, пригибаясь, прикрывая голову, бросилась в ванную.

Дикарь дал ей, убегающей, шлепок, сильный и звонкий, как выстрел.

— Ай! — сделала скачок Ленайна.

Запершись в ванной от безумца, отдышавшись, она повернулась к зеркалу спиной, взглянула через левое плечо. На жемчужной коже отчетливо алел отпечаток пятерни. Она осторожно потерла алый след.

А за стенкой Дикарь мерил шагами комнату под стучащие в ушах барабаны, в такт колдовским словам: «Пичугой малой, золоченой мушкой — и теми откровенно правит похоть, — сумасводяще гремели слова. — Разнузданней хоря во время течки и кобылиц раскормленных ярей. Вот что такое женщины — кентавры, и богова лишь верхняя их часть, а ниже пояса — все дьяволово. Там ад и мрак, там серная геенна смердит, и жжет, и губит. Тьфу, тьфу, тьфу! Дай-ка, друг аптекарь, унцию цибета — очистить воображение» [1].

— Джон! — донесся робеюще-вкрадчивый голосок из ванной. — Джон!

«О сорная трава, как ты прекрасна, и ароматна так, что млеет сердце. На то ль предназначали эту книгу, чтобы великолепные листы носили на себе клеймо «блудница»? Смрад затыкает ноздри небесам...» [2].

Но в ноздрях у Джона еще благоухали духи Ленайны, белела пудра на его куртке, там, где касалось ее бархатистое тело. «Блудница наглая, блудница наглая, — неумолимо стучало в сознании. — Блудница...»

— Джон, мне бы одежду мою.

Он поднял с пола брючки клеш, комби, матроску.

— Открой! — сказал он, толкая ногой дверь.

— Нет уж, — испуганно и строптиво ответил голосок.

— А как же передать?

— В отдушину над дверью.

Он протянул туда одежки и снова зашагал смятенно взад-вперед по комнате. «Блудница наглая, блудница наглая. Как зудит в них жирнозадый бес любострастия...» [3]

— Джон...

---

[1] «Король Лир» (акт IV, сц. 6).

[2] «Отелло» (акт IV, сц. 2).

[3] «Троил и Крессида» (акт V, сц. 2).

Он не ответил. «Жирнозадый бес».

— Джон...

— Что нужно? — угрюмо спросил он.

— Мне бы еще мой мальтузианский пояс.

Сидя в ванной, Ленайна слушала затем, как он вышагивает за стеной. Сколько еще будет длиться это шаганье? Вот так и ждать, пока ему заблагорассудится уйти? Или, повременив, дав его безумию утихнуть, решиться на бросок из ванной к выходу?

Эти ее тревожные раздумья прервал телефонный звонок, раздавшийся в комнате. Шаги прекратились. Голос Джона повел диалог с тишиной.

— Алло.

.....

— Да.

.....

— Да, если не присвоил сам себя.

.....

— Говорю же вам — да. Мистер Дикарь вас слушает.

.....

— Что? Кто заболел? Конечно, интересует.

.....

— Больна серьезно? В тяжелом? Сейчас же буду у нее...

.....

— Не дома у себя? А где же она теперь?

.....

— О боже! Дайте адрес!

.....

— Парк-Лейн, дом три? Три? Спасибо.

Стукнула трубка. Торопливые шаги. Хлопнула дверь. Тишина. В самом деле ушел?

С бесконечными предосторожностями приоткрыла она дверь на полсантиметра; глянула в щелочку — там пусто; осмелев, открыла дверь пошире и выставила голову; вышла наконец на цыпочках из ванной; с колотящимся сердцем постояла несколько секунд, прислушиваясь; бросилась к наружной двери, открыла, выскользнула, затворила, кинулась бегом. Только в лифте, уносящем ее вниз, почувствовала она себя в безопасности.

Глава четырнадцатая

Умиральница на Парк-Лейн представляла собой дом-башню, облицованный лимонного цвета плиткой. Когда

Дикарь выходил из вертакси, с крыши взлетела вереница ярко раскрашенных воздушных катафалков и понеслась над парком на запад, к Слаускому крематорию. Восседающая у входа в лифт вахтерша дала ему нужные сведения, и он спустился на восемнадцатый этаж, где лежала Линда в палате 81 (одной из палат скоротечного угасания, как пояснила вахтерша).

В большой этой палате, яркой от солнца и от желтой краски, стояло двадцать кроватей, все занятые. Линда умирала отнюдь не в одиночестве и со всеми современными удобствами. В воздухе не умолкая звучали веселые синтетические мелодии. У каждой скоротечницы в ногах постели помещался телевизор, непрерывно, с утра до ночи, включенный. Каждые четверть часа аромат, преобладавший в запаховой гамме, автоматически сменялся новым.

— Мы стремимся, — любезно стала объяснять медсестра, которая встретила Дикаря на пороге палаты, — мы стремимся создать здесь вполне приятную атмосферу, — нечто среднее, так сказать, между первоклассным отелем и ощущальным кинодворцом.

— Где она? — перебил Дикарь, не слушая.

— Вы, я вижу, торопитесь, — обиженно заметила сестра.

— Неужели нет надежды? — спросил он.

— Вы хотите сказать — надежды на выздоровление?

Он кивнул.

— Разумеется, нет ни малейшей. Когда уж направляют к нам, то...

На бледном лице Дикаря выразилось такое горе, что она остановилась, изумленная.

— Но что с вами? — спросила сестра. Она не привыкла к подобным эмоциям у посетителей. (Да и посетителей такого рода бывало здесь немного; да и зачем бы им сюда являться?) — Вам что, нездоровится?

Он мотнул головой.

— Она моя мать, — произнес он чуть слышно.

Сестра вздрогнула, глянула на него с ужасом и тут же потупилась. Лицо ее и шея запылали.

— Проведите меня к ней, — попросил Дикарь, силясь говорить спокойно.

Все еще краснея от стыда, она пошла с ним вдоль длинного ряда кроватей. К Дикарю поворачивались лица — свежие, без морщин (умирание шло так быстро, что не успевало коснуться щек, гасило лишь мозг и сердце). Дикаря

провожали тупые, безразличные глаза впавших в младенчество людей. Его от этих взглядов пробирала дрожь.

Кровать Линды была крайняя в ряду, стояла у стены. Лежа высоко на подушках, Линда смотрела полуфинал южноамериканского чемпионата по теннису на римановых поверхностях. Фигурки игроков беззвучно метались по освещенному квадрату телеэкрана, как рыбы за стеклом аквариума — немые, но мятущиеся обитатели другого мира.

Линда глядела с зыбкой, бессмысленной улыбкой. На ее тусклом, оплывшем лице было выражение идиотического счастья. Веки то и дело смыкались, она слегка задремывала. Затем, чуть вздрогнув, просыпалась, опять в глазах ее мелькали, рыбками носились теннисные чемпионы; в ушах пело «Крепче жми меня, мой кролик», исполняемое электронным синтезатором «Супер-Вокс-Вурлицериана» *; из вентилятора над головой шел теплый аромат вербены — и все эти образы, звуки и запахи, радужно преображенные сомой, сплетались в один чудный сон, и Линда снова улыбалась своей щербатой, блеклой, младенчески-счастливой улыбкой.

— Я вас покину, — сказала сестра. — Сейчас придет моя группа детей. И надо следить за пациенткой № 3. — Она кивнула на кровать ближе к двери. — С минуты на минуту может кончиться. А вы садитесь, будьте как дома. — И ушла бодрой походкой.

Дикарь сел у постели.

— Линда, — прошептал он, взяв ее за руку.

Она повернулась на звук своего имени. Мутный взгляд ее просветлел узнавая. Она улыбнулась, пошевелила губами; затем вдруг уронила голову на грудь. Уснула. Он вглядывался, проницая взором усталую дряблую оболочку, мысленно видя молодое, светлое лицо, склонявшееся над его детством; закрыв глаза, вспоминал ее голос, ее движения, всю их жизнь в Мальпаисе. «Баю-баю, тили-тили, скоро детке из бутыли...» Как она красиво ему пела! Как волшебно странны и таинственны были они, детские эти стишки!

А, бе, це, витамин Д —
Жир в тресковой печени, а треска в воде.

В памяти оживал поющий голос Линды, и к глазам подступали горячие слезы. А уроки чтения: «Кот не спит. Мне тут рай», а «Практическое руководство для бета-лаборантов эмбрионария». А ее рассказы в долгие вечера

у очага или в летнюю пору на кровле домишка — о Заоградном мире, о дивном, прекрасном Том мире, память о котором, словно память о небесном рае добра и красоты, до сих пор жива в нем невредимо, не оскверненная и встречей с реальным Лондоном, с этими реальными цивилизованными людьми.

За спиной у него внезапно раздались звонкие голоса, и он открыл глаза, поспешно смахнул слезы, оглянулся. В палату лился, казалось, нескончаемый поток, состоящий из восьмилетних близнецов мужского пола. Близнец за близнецом, близнец за близнецом — как в кошмарном сне. Их личики (вернее, бесконечно повторяющееся лицо, одно на всех) таращились белесыми выпуклыми глазками, ноздрястые носишки были как у курносых мопсов. На всех форма цвета хаки. Рты у всех раскрыты. Перекрикиваясь, тараторя, ворвались они в палату и закишели повсюду. Они копошились в проходах, карабкались через кровати, пролезали под кроватями, заглядывали в телевизоры, строили рожи пациенткам.

Линда их удивила и встревожила. Кучка их собралась у ее постели, пялясь с испуганным и тупым любопытством зверят, столкнувшихся нос к носу с неведомым.

— Глянь-ка, глянь! — переговаривались они тихо. — Что с ней такое? Почему она жирнющая такая?

Им не приходилось видеть ничего подобного — у всех и всегда ведь лицо молодое, кожа тугая, тело стройное, спина прямая. У всех лежащих здесь шестидесятилетних скоротечниц внешность девочек. Сравнительно с ними Линда в свои сорок четыре года — обрюзглое дряхлое чудище.

— Какая страховидная, — шептались дети. — Ты на ее зубы глянь!

Неожиданно из-под кровати, между стулом Джона и стеной, вынырнул курносый карапуз и уставился на спящее лицо Линды.

— Ну и... — начал он, но завизжал, не кончив. Ибо Дикарь поднял его за шиворот, пронес над стулом и отогнал подзатыльником.

На визг прибежала старшая медсестра.

— Как вы смеете трогать ребенка! — накинулась она на Дикаря. — Я не позволю вам бить детей.

— А вы зачем пускаете их к кровати? — Голос Дикаря дрожал от возмущения. — И вообще зачем тут эти чертенята? Это просто безобразие!

— Как безобразие? Вы что? Им же здесь прививают

смертонавыки. Имейте в виду, — сказала она зло, — если вы и дальше будете мешать их смертовоспитанию, я пошлю за санитарами и вас выставят отсюда.

Дикарь встал и шагнул к старшей сестре. Надвигался он и глядел так грозно, что та отшатнулась в испуге. С превеликим усилием он сдержал себя, молча повернулся, сел опять у постели.

Несколько ободрясь, но еще нервозно, неуверенно сестра сказала:

— Я вас предупредила. Так что имейте в виду.

Но все же она увела чересчур любознательных близнецов в дальний конец палаты, там другая медсестра организовала уже круговую сидячую игру в «поймай молнию».

— Беги, милая, подкрепись чашечкой кофеинораствора, — велела ей старшая сестра. Велела — и от этого вернулись к старшей уверенность и бодрый настрой.

— Ну-ка, детки! — повела она игру.

А Линда, пошевелившись неспокойно, открыла глаза, огляделась зыбким взглядом и опять забылась сном. Сидя рядом, Дикарь старался снова умилить душу воспоминаниями. «А, бе, це, витамин Д», — повторял он про себя, точно магическое заклинание. Но волшба не помогала. Милые воспоминания отказывались оживать; воскресало в памяти лишь ненавистное, мерзкое, горестное. Попе с пораненным и кровоточащим плечом; Линда в безобразно пьяном сне, и мухи жужжат над мескалем, расплесканным на полу у постели: мальчишки, орущие ей вслед позорные слова.. Ох, нет, нет! Он зажмурился, замотал головой, гоня от себя эти образы. «А, бе, це, витамин Д...» Он силился представить, как, посадив на колени к себе, обняв, она поет ему, баюкает, укачивает: «А, бе, це, витамин Д, витамин Д, витамин Д...»

Волна суперэлектронной музыки поднялась к томящему крещендо; и в системе запахоснабжения вербена разом сменилась густой струею пачулей. Линда заворочалась, проснулась, уставилась непонимающе на полуфиналистов в телевизоре, затем, подняв голову, вдохнула обновленный аромат и улыбнулась ребячески-блаженно.

— Попе! — пробормотала она и закрыла глаза. — О, как мне хорошо, как... — Со вздохом она опустилась на подушку.

— Но, Линда! — произнес Джон. — Неужели ты не узнаешь меня? — Так мучительно он гонит от себя былую мерзость; почему же у Линды опять Попе на уме

и на языке? Чуть не до боли сжал Дикарь ее вялую руку, как бы желая силой пробудить Линду от этих постыдных утех, от низменных и ненавистных образов прошлого, вернуть Линду в настоящее, в действительность; в страшную действительность, в ужасную, но возвышенную, значимую, донельзя важную именно из-за неотвратимости и близости того, что наполняет эту действительность ужасом. — Неужели не узнаешь меня, Линда?

Он ощутил слабое ответное пожатие руки. Глаза его наполнились слезами. Он наклонился, поцеловал Линду.

Губы ее шевельнулись.

— Попе! — прошептала она, и точно ведром помоев окатили Джона.

Гнев вскипел в нем. Яростное горе, которому вот уже дважды помешали излиться слезами, обратилось в горестную ярость.

— Но я же Джон! Я Джон! — И в страдании, в неистовстве своем он схватил ее за плечо и потряс.

Веки Линды дрогнули и раскрылись; она увидела его, узнала — «Джон!» — но перенесла это лицо, эти реальные, больно трясущие руки в воображаемый, внутренний свой мир дивно претворенной супермузыки и пачулей, расцвеченных воспоминаний, причудливо смещенных восприятий. Это Джон, ее сын, но ей вообразилось, что он вторгся в райский Мальпаис, где она наслаждалась сомотдыхом с Попе. Джон сердится, потому что она любит Попе; Джон трясет ее, потому что Попе с ней рядом в постели, — и разве в этом что-то нехорошее, разве не все цивилизованные люди так любятся?

— Каждый принадлежит вс...

Голос ее вдруг перешел в еле слышное, задыхающееся хрипенье; рот раскрылся, отчаянно хватая воздух, но легкие словно разучились дышать. Она тужилась крикнуть — и не могла издать ни звука; лишь выпученные глаза вопили о лютой муке. Она подняла руки к горлу, скрюченными пальцами ловя воздух, — воздух, который не могла уже поймать, которым кончила уже дышать.

Дикарь вскочил, нагнулся ближе.

— Что с тобой, Линда? Что с тобой? — В голосе его была мольба; он словно хотел, чтобы его разуверили, успокоили.

Во взгляде Линды он прочел невыразимый ужас и, как показалось ему, упрек. Она приподнялась, упала опять в подушки, лицо все искажено, губы синие.

Дикарь кинулся за помощью.

— Скорей, скорей! — кричал он. — Скорее же!

Стоявшая в центре игрового круга старшая сестра обернулась к Дикарю. На лице ее мелькнуло удивление и тут же уступило место осуждению.

— Не кричите! Подумайте о детях, — сказала она, хмурясь. — Вы можете расстроить... Да что это вы делаете? (Он ворвался в круг.) Осторожней! (Задетый им ребенок запищал.)

— Скорее, скорее! — Дикарь схватил ее за рукав, потащил за собой. — Скорей! Произошло несчастье. Я убил ее.

К тому времени, как он вернулся к материной постели, Линда была уже мертва.

Дикарь застыл в оцепенелом молчании, затем упал у изголовья на колени и, закрыв лицо руками, разрыдался.

В нерешимости сестра стояла, глядя то на коленопреклоненного (постыднейшая невоспитанность!), то на близнецов (бедняжки дети!), которые, прекратив игру, пялились с того конца палаты, таращились и глазами, и ноздрями на скандальное зрелище. Заговорить с ним? Попытаться его урезонить? Чтобы он вспомнил, где находится, осознал, какой роковой вред наносит бедным малюткам, как расстраивает все их здоровые смертонавыки этим своим отвратительным взрывом эмоций... Как будто смерть — что-то ужасное, как будто из-за какой-то одной человеческой особи нужно рыдать! У детей могут возникнуть самые пагубные представления о смерти, могут укорениться совершенно неверные, крайне антиобщественные рефлексы и реакции.

Подойдя вплотную к Дикарю, она тронула его за плечо.

— Нельзя ли вести себя прилично! — негромко, сердито сказала она. Но тут, оглянувшись, увидела, что игровой круг распадается, что полдесятка близнецов уже поднялось на ноги и направляется к Дикарю. Еще минута, и... Нет, этим рисковать нельзя; смертовоспитание всей группы может быть отброшено назад на шесть-семь месяцев. Она поспешила к своим питомцам, оказавшимся под такой угрозой.

— А кому дать шоколадное пирожное? — спросила она громко и задорно.

— Мне! — хором заорала вся группа Бокановского. И тут же кровать № 20 была позабыта.

«О Боже, Боже, Боже...» — твердил мысленно Дикарь. В сумятице горя и раскаяния, наполнявшей его мозг, одно лишь четкое осталось это слово.

— Боже! — прошептал он. — Боже...

— Что это он бормочет? — звонко раздался рядом голосок среди трелей супермузыки.

Сильно вздрогнув, Дикарь отнял руки от лица, обернулся. Пятеро одетых в хаки близнецов — в правой руке у всех недоеденное пирожное, и одинаковые лица по-разному измазаны шоколадным кремом — стояли рядком и таращились на него, как мопсы.

Он повернулся к ним — они дружно и весело оскалили зубки. Один ткнул в Линду недоеденным пирожным.

— Умерла уже? — спросил он.

Дикарь молча поглядел на них. Молча встал, молча и медленно пошел к дверям.

— Умерла уже? — повторил любознательный близнец, семеня у Дикаря под локтем.

Дикарь покосился на него и, по-прежнему молча, оттолкнул прочь. Близнец упал на пол и моментально заревел. Дикарь даже не оглянулся.

Глава пятнадцатая

Низший обслуживающий персонал Парк-лейнской умиральницы состоял из двух групп Бокановского, а именно из восьмидесяти четырех светло-рыжих дельтовичек и семидесяти восьми чернявых длинноголовых дельтовиков. В шесть часов, когда заканчивался их рабочий день, обе эти близнецовые группы собирались в вестибюле умиральницы и помощник подказначея выдавал им дневную порцию сомы.

Выйдя из лифта, Дикарь очутился в их гуще. Но мыслями его по-прежнему владели смерть, скорбь, раскаяние; рассеянно и машинально он стал проталкиваться сквозь толпу.

— Чего толкается? Куда он прется?

Из множества ртов (с двух уровней — повыше и пониже) звучали всего лишь два голоса — тоненький и грубый. Бесконечно повторяясь, точно в коридоре зеркал, два лица — гладкощекий, веснушчатый лунный лик в оранжевом облачке волос и узкая, клювастая, со вчера небритая физиономия — сердито поворачивались к нему со всех сторон. Ворчанье, писк, острые локти дельт, толкающие под ребра, заставили его очнуться. Он огляделся и с тошнотным чувством ужаса и отвращения увидел, что снова его

окружает неотвязный бред, круглосуточный кошмар роящейся, неразличимой одинаковости. Близнецы, близнецы... Червячками кишели они в палате Линды, оскверняя таинство ее смерти. И здесь опять кишат, но уже взрослыми червями, ползают по его горю и страданию. Он остановился, испуганными глазами окинул эту одетую в хаки толпу, над которой возвышался на целую голову. «Сколько вижу я красивых созданий! — всплыли в памяти, дразня и насмехаясь, поющие слова. — Как прекрасен род людской! О дивный новый мир...» [1]

— Начинаем раздачу сомы! — объявил громкий голос. — Прошу в порядке очереди. Без задержек.

В боковую дверь уже внесли столик и стул. Объявивший о раздаче бойкий молодой альфовик принес с собой черный железный сейфик. Толпа встретила раздатчика негромким и довольным гулом. О Дикаре уже забыли. Внимание сосредоточилось на черном ящике, поставленном на стол. Альфовик отпер его. Поднял крышку.

— О-о! — выдохнули разом все сто шестьдесят две дельты, точно перед ними вспыхнул фейерверк.

Раздатчик вынул горсть коробочек.

— Ну-ка, — сказал он повелительно, — прошу подходить. По одному, без толкотни.

По одному и без толкотни близнецы стали подходить. Двое чернявых, рыжая, еще чернявый, за ним три рыжие, за ними...

Дикарь все глядел. «О дивный мир! О дивный новый мир...» Поющие слова зазвучали уже по-иному. Уже не насмешкой над ним, горюющим и кающимся, не злорадной и наглой издевкой. Не дьявольским смехом, усугубляющим гнусное убожество, тошное уродство кошмара. Теперь они вдруг зазвучали трубным призывом к обновлению, к борьбе. «О дивный новый мир!» Миранда возвещает, что мир красоты возможен, что даже этот кошмар можно преобразить в нечто прекрасное и высокое. «О дивный новый мир!» Это призыв, приказ.

— Кончайте толкотню! — гаркнул альфовик. Захлопнул крышку ящика. — Я прекращу раздачу, если не восстановится порядок.

Дельты поворчали, потолкались и успокоились. Угроза подействовала. Остаться без сомы — какой ужас!

— Вот так-то, — сказал альфовик и опять открыл ящик.

---

[1] Слова Миранды в «Буре» (акт V, сц. 1).

Линда жила и умерла рабыней; остальные должны жить свободными, мир нужно сделать прекрасным. В этом его долг, его покаяние. И внезапно Дикаря озарило, что́ именно надо сделать, точно ставни распахнулись, занавес отдернулся.

— Следующий, — сказал раздатчик.

— Остановитесь! — воскликнул Дикарь громогласно. — Остановитесь!

Он протиснулся к столу; дельты глядели на него удивленно.

— Господи Форде! — пробормотал раздатчик. — Это Дикарь. — Раздатчику стало страшновато.

— Внемлите мне, прошу вас, — произнес горячо Дикарь. — Приклоните слух... — Ему никогда прежде не случалось говорить публично, и очень трудно было с непривычки найти нужные слова. — Не троньте эту мерзость. Это яд, это отрава.

— Послушайте, мистер Дикарь, — сказал раздатчик, улыбаясь льстиво и успокоительно. — Вы мне позволите...

— Отрава и для тела, и для души.

— Да, но позвольте мне, пожалуйста, продолжить мою работу. Будьте умницей. — Осторожным, мягким движением человека, имеющего дело с заведомо злобным зверем, он погладил Дикаря по руке. — Позвольте мне только...

— Ни за что! — крикнул Дикарь.

— Но поймите, дружище...

— Не раздавайте, а выкиньте вон всю эту мерзкую отраву.

Слова «выкиньте вон» пробили толщу непонимания, дошли до мозга дельт. Толпа сердито загудела.

— Я пришел дать вам свободу, — воскликнул Дикарь, поворачиваясь опять к дельтам. — Я пришел...

Дальше раздатчик уже не слушал; выскользнув из вестибюля в боковую комнату, он спешно залистал там телефонную книгу.

— Итак, дома его нет. И у меня его нет, и у тебя нет, — недоумевал Бернард. — И в «Афродитеуме», и в Центре, и в институте его нет. Куда ж он мог деваться?

Гельмгольц пожал плечами. Они ожидали, придя с работы, застать Дикаря в одном из обычных мест встречи, но тот как в воду канул. Досадно — они ведь собрались слетать сейчас в Биарриц на четырехместном спортолете Гельмгольца. Так и к обеду можно опоздать.

— Подождем еще пять минут, — сказал Гельмгольц. — И если не явится, то...

Зазвенел телефон. Гельмгольц взял трубку.

— Алло. Я вас слушаю. — Длинная пауза, и затем: — Форд побери! — выругался Гельмгольц. — Буду сейчас же.

— Что там такое? — спросил Бернард.

— Это знакомый — из Парк-лейнской умиральницы. Там у них Дикарь буйствует. Видимо, помешался. Времени терять нельзя. Летишь со мной?

И они побежали к лифту.

— Неужели вам любо быть рабами? — услышали они голос Дикаря, войдя в вестибюль умиральницы. Дикарь раскраснелся, глаза горели страстью и негодованием. — Любо быть младенцами? Вы — сосунки, могущие лишь вякать и мараться, — бросил он дельтам в лицо, выведенный из себя животной тупостью тех, кого пришел освободить. Но оскорбления отскакивали от толстого панциря; в непонимающих взглядах была лишь тупая и хмурая неприязнь.

— Да, сосунки! — еще громче крикнул он. Скорбь и раскаяние, сострадание и долг — теперь все было позабыто, все поглотила густая волна ненависти к этим недочеловекам. — Неужели не хотите быть свободными, быть людьми? Или вы даже не понимаете, что такое свобода и что значит быть людьми? — Гнев придал ему красноречия, слова лились легко. — Не понимаете? — повторил он и опять не получил ответа. — Что ж, хорошо, — произнес он сурово. — Я научу вас, освобожу вас наперекор вам самим. — И, растворив толчком окно, выходящее во внутренний двор, он стал горстями швырять туда коробочки с таблетками сомы. При виде такого святотатства одетая в хаки толпа окаменела от изумления и ужаса.

— Он сошел с ума, — прошептал Бернард, широко раскрыв глаза. — Они убьют его. Они...

Толпа взревела, грозно качнулась, двинулась на Дикаря.

— Спаси его Форд, — сказал Бернард, отворачиваясь.

— На Форда надейся, а сам не плошай! — И со смехом (да, с ликующим смехом!) Гельмгольц кинулся на подмогу сквозь толпу.

— Свобода, свобода! — восклицал Дикарь, правой рукой вышвыривая сому, а левой, сжатой в кулак, нанося удары по лицам, неотличимым одно от другого. — Свобода!

И внезапно рядом с ним оказался Гельмгольц. «Молодчина Гельмгольц!» И тоже стал швырять горстями отраву в распахнутое окно.

— Да, люди, люди! — И вот уже выкинута вся сома. Дикарь схватил ящик, показал дельтам черную его пустоту:

— Вы свободны!

С ревом, с удвоенной яростью толпа опять хлынула на обидчиков.

— Они пропали, — вырвалось у Бернарда, в замешательстве стоявшего в стороне от схватки. И, охваченный внезапным порывом, он бросился было на помощь друзьям; остановился, колеблясь; устыженно шагнул вперед; снова замялся и так стоял в муке стыда и боязни — без него ведь их убьют, а если присоединится, самого его убить могут. Но тут (благодарение Форду!) в вестибюль вбежали полицейские в очкастых свинорылых противогазных масках.

Бернард метнулся им навстречу. Замахал руками — теперь и он участвовал, делал что-то! Закричал.

— Спасите! Спасите! — все громче и громче, точно этим криком и сам спасал. — Спасите! Спасите!

Оттолкнув его, чтоб не мешал, полицейские принялись за дело. Трое, действуя заплечными распылителями, заполнили весь воздух клубами парообразной сомы. Двое завозились у переносного устройства синтетической музыки. Еще четверо — с водяными пистолетами в руках, заряженными мощным анестезирующим средством, — врезались в толпу и методически стали валить с ног самых ярых бойцов одного за другим.

— Быстрей, быстрей! — вопил Бернард. — Быстрей, а то их убьют. Упп... — Раздраженный его криками, один из полицейских пальнул в него из водяного пистолета. Секунду-две Бернард покачался на ногах, ставших ватными, желеобразными, жидкими, как вода, и мешком свалился на пол.

Из музыкального устройства раздался Голос. Голос Разума, Голос Добросердия. Зазвучал синтетический «Призыв к порядку» № 2 (средней интенсивности).

— Друзья мои, друзья мои! — воззвал Голос из самой глубины своего несуществующего сердца с таким бесконечно ласковым укором, что даже глаза полицейских за стеклами масок на миг замутились слезами. — Зачем вся эта сумятица? Зачем? Соединимся в счастье и добре. В счастье и добре, — повторил Голос. — В мире и покое. — Голос дрогнул, сникая до шепота, истаивая. — О, как хочу я,

чтоб вы были счастливы, — зазвучал он опять с тоскующей сердечностью. — Как хочу я, чтобы вы были добры! Прошу вас, прошу вас, отдайтесь добру и...

В две минуты Голос, при содействии паров сомы, сделал свое дело. Дельты целовались в слезах и обнимались по пять-шесть близнецов сразу. Даже Гельмгольц и Дикарь чуть не плакали. Из хозяйственной части принесли упаковки сомы; спешно организовали новую раздачу, и под задушевные, сочно-баритональные напутствия Голоса дельты разошлись восвояси, растроганно рыдая.

— До свидания, милые-милые мои, храни вас Форд! До свидания, милые-милые мои, храни вас Форд. До свидания, милые-милые...

Когда ушли последние дельты, полицейский выключил устройство. Ангельский Голос умолк.

— Пойдете по-хорошему? — спросил сержант. — Или придется вас анестезировать? — Он с угрозой мотнул своим водяным пистолетом.

— Пойдем по-хорошему, — ответил Дикарь, утирая кровь с рассеченной губы, с исцарапанной шеи, с укушенной левой руки. Прижимая к разбитому носу платок, Гельмгольц кивнул подтверждающе.

Очнувшись, почувствовав под собой ноги, Бернард понезаметней направился в этот момент к выходу.

— Эй, вы там! — окликнул его сержант, и свинорылый полисмен пустился следом, положил руку Бернарду на плечо.

Бернард обернулся с невинно-обиженным видом. Что вы! У него и в мыслях не было убегать.

— Хотя для чего я вам нужен, — сказал он сержанту, — понятия не имею.

— Вы ведь приятель задержанных?

— Видите ли... — начал Бернард и замялся. Нет, отрицать невозможно. — А что в этом такого? — спросил он.

— Пройдемте, — сказал сержант и повел их к ожидающей у входа полицейской машине.

Глава шестнадцатая

Всех троих пригласили войти в кабинет Главноуправителя.

— Его Фордейшество спустится через минуту. — И дворецкий в гамма-ливрее удалился.

— Нас будто не на суд привели, а на кофеинопитие, — сказал со смехом Гельмгольц, погружаясь в самое роскошное из пневматических кресел. — Не вешай носа, Бернард, — прибавил он, взглянув на друга, зеленовато-бледного от тревоги. Но Бернард не поднял головы; не отвечая, даже не глядя на Гельмгольца, он присел на самом жестком стуле в смутной надежде как-то отвратить этим гнев Власти.

А Дикарь неприкаянно бродил вдоль стен кабинета, скользя рассеянным взглядом по корешкам книг на полках, по нумерованным ячейкам с роликами звукозаписи и бобинами для читальных машин. На столе под окном лежал массивный том, переплетенный в мягкую черную искусственную кожу, на которой были вытиснены большие золотые знаки Т. Дикарь взял том в руки, раскрыл. «Моя жизнь и работа», писание Господа нашего Форда. Издано в Детройте Обществом фордианских знаний. Полистав страницы, прочтя тут фразу, там абзац, он сделал вывод, что книга неинтересная, и в это время отворилась дверь, и энергичным шагом вошел Постоянный Главноуправитель Западной Европы.

Пожав руки всем троим, Мустафа Монд обратился к Дикарю.

— Итак, вам не очень-то нравится цивилизация, мистер Дикарь.

Дикарь взглянул на Главноуправителя. Он приготовился лгать, шуметь, молчать угрюмо; но лицо Монда светилось беззлобным умом, и ободренный Дикарь решил говорить правду напрямик.

— Да, не нравится.

Бернард вздрогнул, на лице его выразился страх. Что подумает Главноуправитель? Числиться в друзьях человека, который говорит, что ему не нравится цивилизация, говорит открыто, и кому? Самому Главноуправителю! Это ужасно.

— Ну что ты, Джон... — начал Бернард. Взгляд Мустафы заставил его съежиться и замолчать.

— Конечно, — продолжал Дикарь, — есть у вас и хорошее. Например, музыка, которой полон воздух...

— «Порой тысячеструнное бренчанье кругом, и голоса порой звучат»[1].

Дикарь вспыхнул от удовольствия.

---

[1] «Буря» (акт III, сц. 2).

— Значит, и вы его читали? Я уж думал, тут, в Англии, никто Шекспира не знает.

— Почти никто. Я один из очень немногих, с ним знакомых. Шекспир, видите ли, запрещен. Но поскольку законы устанавливаю я, то я могу и нарушать их. Причем безнаказанно, — прибавил он, поворачиваясь к Бернарду. — Чего, увы, о вас не скажешь.

Бернард еще безнадежней и унылей поник головой.

— А почему запрещен? — спросил Дикарь. Он так обрадовался человеку, читавшему Шекспира, что на время забыл обо всем прочем.

Главноуправитель пожал плечами.

— Потому что он — старье; вот главная причина. Старье нам не нужно.

— Но старое ведь бывает прекрасно.

— Тем более. Красота притягательна, и мы не хотим, чтобы людей притягивало старье. Надо, чтобы им нравилось новое.

— Но ваше новое так глупо, так противно. Эти фильмы, где все только летают вертопланы и ощущаешь, как целуются. — Он сморщился брезгливо. — Мартышки и козлы! — Лишь словами Отелло мог он с достаточной силой выразить свое презрение и отвращение.

— А ведь звери это славные, нехищные, — как бы в скобках, вполголоса заметил Главноуправитель.

— Почему вы не покажете людям «Отелло» вместо этой гадости?

— Я уже сказал — старья мы не даем им. К тому же они бы не поняли «Отелло».

Да, это верно. Дикарь вспомнил, как насмешила Гельмгольца Джульетта.

— Что ж, — сказал он после паузы, — тогда дайте им что-нибудь новое в духе «Отелло», понятное для них.

— Вот именно такое нам хотелось бы написать, — вступил наконец Гельмгольц в разговор.

— И такого вам написать не дано, — возразил Монд. — Поскольку, если оно и впрямь будет в духе «Отелло», то никто его не поймет, в какие новые одежды ни рядите. А если будет ново, то уж никак не сможет быть в духе «Отелло».

— Но почему не сможет?

— Да, почему? — подхватил Гельмгольц. Он тоже отвлекся на время от неприятной действительности. Не забыл о ней лишь Бернард, совсем позеленевший

от злых предчувствий; но на него не обращали внимания.

— Почему?

— Потому что мир наш — уже не мир «Отелло». Как для «фордов» необходима сталь, так для трагедий необходима социальная нестабильность. Теперь же мир стабилен, устойчив. Люди счастливы; они получают все то, что хотят, и не способны хотеть того, чего получить не могут. Они живут в достатке, в безопасности; не знают болезней; не боятся смерти; блаженно не ведают страсти и старости; им не отравляют жизнь отцы с матерями; нет у них ни жен, ни детей, ни любовей — и, стало быть, нет треволнений; они так сформованы, что практически не могут выйти из рамок положенного. Если же и случаются сбои, то к нашим услугам сома. А вы ее выкидываете в окошко, мистер Дикарь, во имя свободы. Свободы! — Мустафа рассмеялся. — Вы думали, дельты понимают, что такое свобода! А теперь надеетесь, что они поймут «Отелло»! Милый вы мой мальчик!

Дикарь промолчал. Затем сказал упрямо:

— Все равно «Отелло» — хорошая вещь, «Отелло» лучше ощущальных фильмов.

— Разумеется, лучше, — согласился Главноуправитель. — Но эту цену нам приходится платить за стабильность. Пришлось выбирать между счастьем и тем, что называли когда-то высоким искусством. Мы пожертвовали высоким искусством. Взамен него у нас ощущалка и запаховый орган.

— Но в них нет и тени смысла.

— Зато в них масса приятных ощущений для публики.

— Но ведь это... это бредовой рассказ кретина[1].

— Вы обижаете вашего друга мистера Уотсона, — засмеявшись, сказал Мустафа. — Одного из самых выдающихся специалистов по инженерии чувств...

— Однако он прав, — сказал Гельмгольц хмуро. — Действительно, кретинизм. Пишем, а сказать-то нечего...

— Согласен, нечего. Но это требует колоссальной изобретательности. Вы делаете вещь из минимальнейшего количества стали — создаете художественные произведения почти что из одних голых ощущений.

Дикарь покачал головой.

---

[1] «Макбет» (акт V, сц. 5):

Жизнь — это бредовой
Рассказ кретина; ярости и шуму
Хоть отбавляй, а смысла не ищи.

— Мне все это кажется просто гадким.

— Ну разумеется. В натуральном виде счастье всегда выглядит убого рядом с цветистыми прикрасами несчастья. И, разумеется, стабильность куда менее колоритна, чем нестабильность. А удовлетворенность совершенно лишена романтики сражений со злым роком, нет здесь красочной борьбы с соблазном, нет ореола гибельных сомнений и страстей. Счастье лишено грандиозных эффектов.

— Пусть так, — сказал Дикарь, помолчав. — Но неужели нельзя без этого ужаса — без близнецов? — Он провел рукой по глазам, как бы желая стереть из памяти эти ряды одинаковых карликов у сборочного конвейера, эти близнецовые толпы, растянувшиеся очередью у входа в Брентфордский моновокзал, эти человечьи личинки, кишащие у смертного одра Линды, эту атакующую его одноликую орду. Он взглянул на свою забинтованную руку и поежился. — Жуть какая!

— Зато польза какая! Вам, я вижу, не по вкусу наши группы Бокановского; но, уверяю вас, они — фундамент, на котором строится все остальное. Они — стабилизирующий гироскоп, который позволяет ракетоплану государства устремлять свой полет, не сбиваясь с курса. — Главноуправительский бас волнительно вибрировал; жесты рук изображали ширь пространства и неудержимый лет ракетоплана; ораторское мастерство Мустафы Монда достигало почти уровня синтетических стандартов.

— А разве нельзя обойтись вовсе без них? — упорствовал Дикарь. — Ведь вы можете получать что угодно в ваших бутылях. Раз уж на то пошло, почему бы не выращивать всех плюс-плюс-альфами?

— Ну нет, нам еще жить не надоело, — отвечал Монд со смехом. — Наш девиз — счастье и стабильность. Общество же, целиком состоящее из альф, обязательно будет нестабильно и несчастливо. Вообразите вы себе завод, укомплектованный альфами, то есть индивидуумами разными и розными, обладающими хорошей наследственностью и по формовке своей способными — в определенных пределах — к свободному выбору и ответственным решениям. Вы только вообразите.

Дикарь попробовал вообразить, но без особого успеха.

— Это же абсурд. Человек, сформованный, воспитанный как альфа, сойдет с ума, если его поставить на работу эпсилон-полукретина, сойдет с ума или примется крушить и рушить все вокруг. Альфы могут быть вполне

добротными членами общества, но при том лишь условии, что будут выполнять работу альф. Только от эпсилона можно требовать жертв, связанных с работой эпсилона, — по той простой причине, что для него это не жертвы, а линия наименьшего сопротивления, привычная жизненная колея, по которой он движется, по которой двигаться обречен всем своим формированием и воспитанием. Даже после раскупорки он продолжает жить в бутыли — в невидимой бутыли рефлексов, привитых эмбриону и ребенку. Конечно, и каждый из нас, — продолжал задумчиво Главноуправитель, — проводит жизнь свою в бутыли. Но если нам выпало быть альфами, то бутыли наши огромного размера, сравнительно с бутылями низших каст. В бутылях поменьше объемом мы страдали бы мучительно. Нельзя разливать альфа-винозаменитель в эпсилон-мехи. Это ясно уже теоретически. Да и практикой доказано. Кипрский эксперимент дал убедительные результаты.

— А что это был за эксперимент? — спросил Дикарь.

— Можете назвать его экспериментом по винорозливу, — улыбнулся Мустафа Монд. — Начат он был в 473-м году эры Форда. По распоряжению Главноуправителей мира остров Кипр был очищен от всех его тогдашних обитателей и заново заселен специально выращенной партией альф численностью в двадцать две тысячи. Им дана была вся необходимая сельскохозяйственная и промышленная техника и предоставлено самим вершить свои дела. Результат в точности совпал с теоретическими предсказаниями. Землю не обрабатывали как положено; на всех заводах бастовали; законы в грош не ставили, приказам не повиновались; все альфы, назначенные на определенный срок выполнять черные работы, интриговали и ловчили как могли, чтобы перевестись на должность почище, а все, кто сидел на чистой работе, вели встречные интриги, чтобы любым способом удержать ее за собой. Не прошло и шести лет, как разгорелась самая настоящая гражданская война. Когда из двадцати двух тысяч девятнадцать оказались перебиты, уцелевшие альфы обратились к Главноуправителям с единодушной просьбой снова взять в свои руки правление. Просьба была удовлетворена. Так пришел конец единственному в мировой истории обществу альф.

Дикарь тяжко вздохнул.

— Оптимальный состав народонаселения, — говорил далее Мустафа, — смоделирован нами с айсберга, у кото-

рого восемь девятых массы под водой, одна девятая над водой.

— А счастливы ли те, что под водой?

— Счастливее тех, что над водой. Счастливее, к примеру, ваших друзей, — кивнул Монд на Гельмгольца и Бернарда.

— Несмотря на свой отвратный труд?

— Отвратный? Им он вовсе не кажется таковым. Напротив, он приятен им. Он не тяжел, детски прост. Не перегружает ни головы, ни мышц. Семь с половиной часов умеренного, неизнурительного труда, а затем сома в таблетках, игры, беззапретное совокупление и ощущалки. Чего еще желать им? — вопросил Мустафа. — Ну правда, они могли бы желать сокращения рабочих часов. И, разумеется, можно бы и сократить. В техническом аспекте проще простого было бы свести рабочий день для низших каст к трем-четырем часам. Но от этого стали бы они хоть сколько-нибудь счастливей? Отнюдь нет. Эксперимент с рабочими часами был проведен еще полтора с лишним века назад. Во всей Ирландии ввели четырехчасовой рабочий день. И что же это дало в итоге? Непорядки и сильно возросшее потребление сомы — и больше ничего. Три с половиной лишних часа досуга не только не стали источником счастья, но даже пришлось людям глушить эту праздность сомой. Наше Бюро изобретений забито предложениями по экономии труда. Тысячами предложений! — Монд широко взмахнул рукой. — Почему же мы не проводим их в жизнь? Да для блага самих же рабочих; было бы попросту жестоко обрушивать на них добавочный досуг. То же и в сельском хозяйстве. Вообще можно было бы индустриально синтезировать все пищевые продукты до последнего кусочка, пожелай мы только. Но мы не желаем. Мы предпочитаем держать треть населения занятой в сельском хозяйстве. Ради их же блага — именно потому, что сельскохозяйственный процесс получения продуктов берет больше времени, чем индустриальный. Кроме того, нам надо заботиться о стабильности. Мы не хотим перемен. Всякая перемена — угроза для стабильности. И это вторая причина, по которой мы так скупо вводим в жизнь новые изобретения. Всякое чисто научное открытие является потенциально разрушительным; даже и науку приходится иногда рассматривать как возможного врага. Да, и науку тоже.

Науку?.. Дикарь сдвинул брови. Слово это он знает.

Но не знает его точного значения. Старики-индейцы о науке не упоминали. Шекспир о ней молчит, а из рассказов Линды возникло лишь самое смутное понятие: наука позволяет строить вертопланы, наука поднимает на смех индейские пляски, наука оберегает от морщин и сохраняет зубы. Напрягая мозг, Дикарь старался вникнуть в слова Главноуправителя.

— Да, — продолжал Мустафа Монд. — И это также входит в плату за стабильность. Не одно лишь искусство несовместимо со счастьем, но и наука. Опасная вещь наука; приходится держать ее на крепкой цепи и в наморднике.

— Как так? — удивился Гельмгольц. — Но ведь мы же вечно трубим: «Наука превыше всего». Это же избитая гипнопедическая истина.

— Внедряемая трижды в неделю, с тринадцати до семнадцати лет, — вставил Бернард.

— А вспомнить всю нашу институтскую пропаганду науки...

— Да, но какой науки? — возразил Мустафа насмешливо. — Вас не готовили в естествоиспытатели, и судить вы не можете. А я был неплохим физиком в свое время. Слишком даже неплохим; я сумел осознать, что вся наша наука — нечто вроде поваренной книги, причем правоверную теорию варки никому не позволено брать под сомнение и к перечню кулинарных рецептов нельзя ничего добавлять иначе, как по особому разрешению главного повара. Теперь я сам — главный повар. Но когда-то я был пытливым поваренком. Пытался варить по-своему. По неправоверному, недозволенному рецепту. Иначе говоря, попытался заниматься подлинной наукой. — Он замолчал.

— И чем же кончилось? — не удержался Гельмгольц от вопроса.

— Чуть ли не тем же, чем кончается у вас, молодые люди, — со вздохом ответил Главноуправитель. — Меня чуть было не сослали на остров.

Слова эти побудили Бернарда к действиям бурным и малопристойным.

— Меня сошлют на остров? — Он вскочил и подбежал к Главноуправителю, отчаянно жестикулируя. — Но за что же? Я ничего не сделал. Это все они. Клянусь, это они. — Он обвиняюще указал на Гельмгольца и Дикаря. — О, прошу вас, не отправляйте меня в Исландию. Я обещаю, что исправлюсь. Дайте мне только возможность.

Прошу вас, дайте мне исправиться. — Из глаз его потекли слезы. — Ей-форду, это их вина, — зарыдал он. — О, только не в Исландию. О, пожалуйста, ваше Фордейшество, пожалуйста... — И в припадке малодушия он бросился перед Мондом на колени. Тот пробовал поднять его, но Бернард продолжал валяться в ногах; молящие слова лились потоком. В конце концов Главноуправителю пришлось нажатием кнопки вызвать четвертого своего секретаря.

— Позовите трех служителей, — приказал Мустафа, — отведите его в спальную комнату. Дайте ему вдосталь подышать парами сомы, уложите в постель, и пусть проспится.

Четвертый секретарь вышел и вернулся с тремя близнецами-лакеями в зеленых ливреях. Кричащего, рыдающего Бернарда унесли.

— Можно подумать, его убивают, — сказал Главноуправитель, когда дверь за Бернардом закрылась. — Имей он хоть крупицу смысла, он бы понял, что наказание его является, по существу, наградой. Его ссылают на остров. То есть посылают туда, где он окажется в среде самых интересных мужчин и женщин на свете. Это все те, в ком почему-либо развилось самосознание до такой степени, что они стали непригодными к жизни в нашем обществе. Все те, кого не удовлетворяет правоверность, у кого есть свои самостоятельные взгляды. Словом, все те, кто собой что-то представляет. Я почти завидую вам, мистер Уотсон.

Гельмгольц рассмеялся.

— Тогда почему же вы сами не на острове? — спросил он.

— Потому что все-таки предпочел другое, — ответил Главноуправитель. — Мне предложили выбор — либо ссылка на остров, где я смог бы продолжать свои занятия чистой наукой, либо же служба при Совете Главноуправителей с перспективой занять впоследствии пост Главноуправителя. Я выбрал второе и простился с наукой. Временами я жалею об этом, — продолжал он, помолчав. — Счастье — хозяин суровый. Служить счастью, особенно счастью других, гораздо труднее, чем служить истине, если ты не сформован так, чтобы служить слепо. — Он вздохнул, опять помолчал, затем заговорил уже бодрее. — Но долг есть долг. Он важней, чем собственные склонности. Меня влечет истина. Я люблю науку. Но истина грозна; наука опасна для общества. Столь же опасна, сколь была благотворна. Наука дала нам самое устойчивое равновесие

во всей истории человечества. Китай по сравнению с нами был безнадежно неустойчив; даже первобытные матриархии были не стабильней нас. И это, повторяю, благодаря науке. Но мы не можем позволить, чтобы наука погубила свое же благое дело. Вот почему мы так строго ограничиваем размах научных исследований, вот почему я чуть не оказался на острове. Мы даем науке заниматься лишь самыми насущными сиюминутными проблемами. Всем другим изысканиям неукоснительнейше ставятся препоны. А занятно бывает читать, — продолжил Мустафа после короткой паузы, — что писали во времена Господа нашего Форда о научном прогрессе. Тогда, видимо, воображали, что науке можно позволить развиваться бесконечно и невзирая ни на что. Знание считалось верховным благом, истина — высшей ценностью; все остальное — второстепенным, подчиненным. Правда, и в те времена взгляды начинали уже меняться. Сам Господь наш Форд сделал многое, чтобы перенести упор с истины и красоты на счастье и удобство. Такого сдвига требовали интересы массового производства. Всеобщее счастье способно безостановочно двигать машины; истина же и красота — не способны. Так что, разумеется, когда властью завладевали массы, верховной ценностью становилось всегда счастье, а не истина с красотой. Но, несмотря на все это, научные исследования по-прежнему еще не ограничивались. Об истине и красоте продолжали толковать так, точно они оставались высшим благом. Это длилось вплоть до Девятилетней войны. Война-то заставила запеть по-другому. Какой смысл в истине, красоте или познании, когда кругом лопаются сибиреязвенные бомбы? После той войны и была впервые взята под контроль наука. Люди тогда готовы были даже свою жажду удовольствий обуздать. Все отдавали за тихую жизнь. С тех пор мы науку держим в шорах. Конечно, истина от этого страдает. Но счастье процветает. А даром ничто не дается. За счастье приходится платить. Вот вы и платите, мистер Уотсон, потому что слишком заинтересовались красотой. Я же слишком увлекся истиной и тоже поплатился.

— Но вы ведь не отправились на остров, — произнес молчаливо слушавший Дикарь.

Главноуправитель улыбнулся.

— В том и заключалась моя плата. В том, что я остался служить счастью. И не своему, а счастью других. Хорошо еще, — прибавил он после паузы, — что в мире столько

островов. Не знаю, как бы мы обходились без них. Пришлось бы, вероятно, всех еретиков отправлять в умертвительную камеру. Кстати, мистер Уотсон, подойдет ли вам тропический климат? Например, Маркизские острова или Самоа? Или же дать вам атмосферу пожестче?

— Дайте мне климат крутой и скверный, — ответил Гельмгольц, вставая с кресла. — Я думаю, в суровом климате лучше будет писаться. Когда кругом ветра и штормы...

Монд одобрительно кивнул.

— Ваш подход мне нравится, мистер Уотсон. Весьма и весьма нравится — в такой же мере, в какой по долгу службы я обязан вас порицать. — Он снова улыбнулся. — Фолклендские острова вас устроят?

— Да, устроят, пожалуй, — ответил Гельмгольц. — А теперь, если позволите, я пойду к бедняге Бернарду, погляжу, как он там.

Глава семнадцатая

— Искусством пожертвовали, наукой, — немалую вы цену заплатили за ваше счастье, — сказал Дикарь, когда они с Главноуправителем остались одни. — А может, еще чем пожертвовали?

— Ну, разумеется, религией, — ответил Мустафа. — Было некое понятие, именуемое Богом — до Девятилетней войны. Но это понятие, я думаю, вам очень знакомо.

— Да... — начал Дикарь и замялся. Ему хотелось бы сказать про одиночество, про ночь, про плато месы в бледном лунном свете, про обрыв и прыжок в черную тень, про смерть. Хотелось, но слов не было. Даже у Шекспира слов таких нет.

Главноуправитель тем временем отошел в глубину кабинета, отпер большой сейф, встроенный в стену между стеллажами. Тяжелая дверца открылась.

— Тема эта всегда занимала меня чрезвычайно, — сказал Главноуправитель, роясь в темной внутренности сейфа. Вынул оттуда толстый черный том. — Ну вот, скажем, книга, которой вы не читали.

Дикарь взял протянутый том.

— «Библия, или Книги Священного писания Ветхого и Нового завета», — прочел он на титульном листе.

— И этой не читали, — Монд протянул потрепанную, без переплета книжицу.

— «Подражание Христу»*.

— И этой, — вынул Монд третью книгу.

— Уильям Джеймс * «Многообразие религиозного опыта».

— У меня еще много таких, — продолжал Мустафа Монд, снова садясь. — Целая коллекция порнографических старинных книг. В сейфе Бог, а на полках Форд, — указал он с усмешкой на стеллажи с книгами, роликами, бобинами.

— Но если вы о Боге знаете, то почему же не говорите им? — горячо сказал Дикарь. — Почему не даете им этих книг?

— По той самой причине, по которой не даем «Отелло», — книги эти старые; они — о Боге, каким он представлялся столетия назад. Не о Боге нынешнем.

— Но ведь Бог не меняется.

— Зато люди меняются.

— А какая от этого разница?

— Громаднейшая, — сказал Мустафа Монд. Он встал, подошел опять к сейфу. — Жил когда-то человек — кардинал Ньюмен *. Кардинал, — пояснил Монд в скобках, — это нечто вроде теперешнего архипеснослова.

— «Я, Пандульф, прекрасного Милана кардинал»[1]. Шекспир о кардиналах упоминает.

— Да, конечно. Так, значит, жил когда-то кардинал Ньюмен. Ага, вот и книга его. — Монд извлек ее из сейфа. — А кстати, выну и другую. Написанную человеком по имени Мен де Биран *. Он был философ. Что такое философ, знаете?

— Мудрец, которому и не снилось, сколько всякого есть в небесах и на земле, — без промедления ответил Дикарь[2].

— Именно. Через минуту я вам прочту отрывок из того, что ему, однако, снилось. Но прежде послушаем старого архипеснослова. — И, раскрыв книгу на листе, заложенном бумажкой, он стал читать: — «Мы не принадлежим себе, равно как не принадлежит нам то, что мы имеем. Мы себя не сотворили, мы главенствовать над собой не можем. Мы не хозяева себе. Бог нам хозяин. И разве такой взгляд

---

[1] «Король Иоанн» (акт III, сц. 1).

[2] Дикарь помнит слова Гамлета:

Немало есть такого в небесах
И на земле, что и не снилось нашей,
Горацио, философии.

на вещи не составляет счастье наше? Разве есть хоть кроха счастья или успокоения в том, чтобы полагать, будто мы принадлежим себе? Полагать так могут люди молодые и благополучные. Они могут думать, что очень это ценно и важно: делать все, как им кажется, по-своему, ни от кого не зависеть, быть свободным от всякой мысли о незримо сущем, от вечной и докучной подчиненности, вечной молитвы, от вечного соотнесения своих поступков с чьей-то волей. Но с возрастом и они в свой черед обнаружат, что независимость — не для человека, что она для людей не естественна и годится разве лишь ненадолго, а всю жизнь с нею не прожить...» — Мустафа Монд замолчал, положил томик и стал листать страницы второй книги. Ну вот, например, из Бирана, — сказал он и снова забасил: — «Человек стареет; он ощущает в себе то всепроникающее чувство слабости, вялости, недомогания, которое приходит с годами; и, ощутив это, воображает, что всего-навсего прихворнул; он усыпляет свои страхи тем, что, дескать, его бедственное состояние вызвано какой-то частной причиной, и надеется причину устранить, от хвори исцелиться. Тщетные надежды! Хворь эта — старость; и грозный она недуг. Говорят, будто обращаться к религии в пожилом возрасте заставляет людей страх перед смертью и тем, что будет после смерти. Но мой собственный опыт убеждает меня в том, что религиозность склонна с годами развиваться в человеке совершенно помимо всяких таких страхов и фантазий; ибо, по мере того как страсти утихают, а воображение и чувства реже возбуждаются и становятся менее возбудимы, разум наш начинает работать спокойней, меньше мутят его образы, желания, забавы, которыми он был раньше занят; и тут-то является Бог, как из-за облака; душа наша воспринимает, видит, обращается к источнику всякого света, обращается естественно и неизбежно; ибо теперь, когда все, дававшее чувственному миру жизнь и прелесть, уже стало от нас утекать, когда чувственное бытие более не укрепляется впечатлениями изнутри или извне, — теперь мы испытываем потребность опереться на нечто прочное, неколебимое и безобманное — на реальность, на правду бессмертную и абсолютную. Да, мы неизбежно обращаемся к Богу; ибо это религиозное чувство по природе своей так чисто, так сладостно душе, его испытывающей, что оно возмещает нам все наши утраты». — Мустафа Монд закрыл книгу, откинулся в кресле. — Среди множества прочих вещей, сокрытых в небесах и на земле,

этим философам не снилось и все теперешнее, — он сделал рукой охватывающий жест, — мы, современный мир. «От Бога можно не зависеть лишь пока ты молод и благополучен; всю жизнь ты независимым не проживешь». А у нас теперь молодости и благополучия хватает на всю жизнь. Что же отсюда следует? Да то, что мы можем не зависеть от Бога. «Религиозное чувство возместит нам все наши утраты». Но мы ничего не утрачиваем, и возмещать нечего; религиозность становится излишней. И для чего нам искать замену юношеским страстям, когда страсти эти в нас не иссякают никогда? Замену молодым забавам, когда мы до последнего дня жизни резвимся и дурачимся по-прежнему? Зачем нам отдохновение, когда наш ум и тело всю жизнь находят радость в действии? Зачем успокоение, когда у нас есть сома? Зачем неколебимая опора, когда есть прочный общественный порядок?

— Так, по-вашему, Бога нет?

— Вполне вероятно, что он есть.

— Тогда почему?..

Мустафа не дал ему кончить вопроса.

— Но проявляет он себя по-разному в разные эпохи. До эры Форда он проявлял себя, как описано в этих книгах. Теперь же...

— Да, теперь-то как? — спросил нетерпеливо Дикарь.

— Теперь проявляет себя своим отсутствием; его как бы и нет вовсе.

— Сами виноваты.

— Скажите лучше, виновата цивилизация. Бог несовместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем. Приходится выбирать. Наша цивилизация выбрала машины, медицину, счастье. Вот почему я прячу эти книжки в сейфе. Они непристойны. Они вызвали бы возмущение у чита...

— Но разве не естественно чувствовать, что Бог есть? — не вытерпел Дикарь.

— С таким же правом можете спросить: «Разве не естественно застегивать брюки молнией?» — сказал Главноуправитель саркастически. — Вы напоминаете мне одного из этих пресловутых мудрецов — напоминаете Бредли. Он определял философию как отыскивание сомнительных причин в обоснованье того, во что веришь инстинктивно. Как будто можно верить инстинктивно! Веришь потому, что тебя так сформировали, воспитали. Обоснование сомнительными причинами того, во что веришь по другим сомни-

тельным причинам, — вот как надо определить философию. Люди верят в Бога потому, что их так воспитали.

— А все равно, — не унимался Дикарь, — в Бога верить естественно, когда ты одинок, совсем один в ночи, и думаешь о смерти...

— Но у нас одиночества нет, — сказал Мустафа. — Мы внедряем в людей нелюбовь к уединению и так строим их жизнь, что оно почти невозможно.

Дикарь хмуро кивнул. В Мальпаисе он страдал потому, что был исключен из общинной жизни, а теперь, в цивилизованном Лондоне, — оттого, что нельзя никуда уйти от этой общественной жизни, нельзя побыть в тихом уединении.

— Помните в «Короле Лире»? — произнес он, подумав. — «Боги справедливы, и обращаются в орудья кары пороки, услаждающие нас; тебя зачал он в темном закоулке — и был покаран темной слепотой». И Эдмунд в ответ говорит (а Эдмунд ранен, умирает): «Да, это правда. Колесо судьбы свершило полный круг, и я сражен»[1]. Что вы на это скажете? Есть, стало быть, Бог, который управляет всем, наказывает, награждает?

— Есть ли? — в свою очередь спросил Монд. — Ведь можете услаждаться с девушкой-неплодой сколько и как вам угодно, не рискуя тем, что любовница вашего сына впоследствии вырвет вам глаза. «Колесо судьбы свершило полный круг, и я сражен». Но сражен ли современный Эдмунд? Он сидит себе в пневматическом кресле в обнимку с девушкой, жует секс-гормональную резинку и смотрит ощущальный фильм. Боги справедливы. Не спорю. Но божий свод законов диктуется в конечном счете людьми, организующими общество; Провидение действует с подсказки человека.

— Вы уверены? — возразил Дикарь. — Вы так уж уверены, что ваш Эдмунд в пневматическом кресле не понес кару столь же тяжкую, как Эдмунд, смертельно раненный, истекающий кровью? Боги справедливы. Разве не обратили они пороки, услаждающие современного Эдмунда, в орудья его унижения?

— Унижения? Соотносительно с чем? Как счастливый, работящий, товаропотребляющий гражданин Эдмунд стоит очень высоко. Конечно, если взять иной, отличный от нашего, критерий оценки, то не исключено, что можно

---

[1] «Король Лир» (акт V, сц. 3).

будет говорить об унижении. Но надо ведь держаться одного набора правил. Нельзя играть в электромагнитный гольф по правилам эскалаторного хэндбола.

— «Но ценность независима от воли, — процитировал Дикарь из «Троила и Крессиды». — Достойное само уж по себе достойно, не только по оценке чьей-нибудь»[1].

— Ну-ну-ну, — сказал Мустафа. — Утверждение весьма спорное, не так ли?

— Если бы вы допустили к себе мысль о Боге, то не унижались бы до услаждения пороками. Был бы тогда у вас резон, чтобы стойко переносить страдания, совершать мужественные поступки. Я видел это у индейцев.

— Не сомневаюсь, — сказал Мустафа Монд. — Но мы-то не индейцы. Цивилизованному человеку нет нужды переносить страдания, а что до совершения мужественных поступков, то сохрани Форд от подобных помыслов. Если люди начнут действовать на свой риск, весь общественный порядок полетит в тартарары.

— Ну а самоотречение, самопожертвование? Будь у вас Бог, был бы тогда резон для самоотречения.

— Но индустриальная цивилизация возможна лишь тогда, когда люди не отрекаются от своих желаний, а, напротив, потворствуют им в самой высшей степени, какую только допускают гигиена и экономика. В самой высшей, иначе остановятся машины.

— Был бы тогда резон для целомудрия! — проговорил Дикарь, слегка покраснев.

— Но целомудрие рождает страсть, рождает неврастению. А страсть с неврастенией порождают нестабильность. А нестабильность означает конец цивилизации. Прочная цивилизация немыслима без множества услаждающих пороков.

— Но в Боге заключается резон для всего благородного, высокого, героического. Будь у вас...

— Милый мой юноша, — сказал Мустафа Монд. — Цивилизация абсолютно не нуждается в благородстве или героизме. Благородство, героизм — это симптомы политической неумелости. В правильно, как у нас, организованном обществе никому не доводится проявлять эти качества. Для их проявления нужна обстановка полнейшей нестабильности. Там, где войны, где конфликт между долгом и верностью, где противление соблазнам, где защита тех,

---

[1] «Троил и Крессида» (акт II, сц. 2).

кого любишь, или борьба за них, — там, очевидно, есть некий смысл в благородстве и героизме. Но теперь нет войн. Мы неусыпнейше предотвращаем всякую чрезмерную любовь. Конфликтов долга не возникает; люди так сформованы, что попросту не могут иначе поступать, чем от них требуется. И то, что от них требуется, в общем и целом так приятно, стольким естественным импульсам дается теперь простор, что, по сути, не приходится противиться соблазнам. А если все же приключится в кои веки неприятность, так ведь у вас всегда есть сома, чтобы отдохнуть от реальности. И та же сома остудит ваш гнев, примирит с врагами, даст вам терпение и кротость. В прошлом, чтобы достичь этого, вам требовались огромные усилия, годы суровой нравственной выучки. Теперь же вы глотаете две-три таблетки — и готово дело. Ныне каждый может быть добродетелен. По меньшей мере половину вашей нравственности вы можете носить с собою во флакончике. Христианство без слез — вот что такое сома.

— Но слезы ведь необходимы. Вспомните слова Отелло: «Если каждый шторм кончается такой небесной тишью, пусть сатанеют ветры, будя смерть»[1]. Старик-индеец нам сказывал о девушке из Мацаки. Парень, захотевший на ней жениться, должен был взять мотыгу и проработать утро в ее огороде. Работа вроде бы легкая; но там летали мухи и комары, не простые, а волшебные. Женихи не могли снести их укусов и жал. Но один стерпел — и в награду получил ту девушку.

— Прелестно! — сказал Главноуправитель. — Но в цивилизованных странах девушек можно получать и не мотыжа огороды; и нет у нас жалящих комаров и мух. Мы всех их устранили столетия тому назад.

— Вот, вот, устранили, — кивнул насупленно Дикарь. — Это в вашем духе. Все неприятное вы устраняете — вместо того, чтобы научиться стойко его переносить. «Благородней ли терпеть судьбы свирепой стрелы и каменья или, схватив оружие, сразиться с безбрежным морем бедствий...»[2] А вы и не терпите, и не сражаетесь. Вы просто устраняете стрелы и каменья. Слишком это легкий выход.

Он замолчал — вспомнил о матери. О том, как в комнатке на тридцать восьмом этаже Линда дремотно плыла

---

[1] «Отелло» (акт II, сц. 1).
[2] «Гамлет», (акт III, сц. 1).

в море поющих огней и ароматных ласк, уплывала из времени и пространства, из тюрьмы своего прошлого, своих привычек, своего обрюзгшего, дряхлеющего тела. Да и ее милый Томасик, бывший Директор Инкубатория и Воспитательного Центра, до сих пор ведь на сомотдыхе — заглушил сомой унижение и боль и пребывает в мире, где не слышно ни тех ужасных слов, не издевательского хохота, где нет перед ним мерзкого лица, липнущих к шее дряблых, влажных рук. Директор отдыхает в прекрасном мире...

— Вам бы именно слезами сдобрить вашу жизнь, — продолжал Дикарь, — а то здесь слишком дешево все стоит.

(«Двенадцать с половиной миллионов долларов, — возразил Генри Фостер, услышав ранее от Дикаря этот упрек. — Двенадцать с половиной миллиончиков, и ни долларом меньше. Вот сколько стоит новый наш Воспитательный Центр».)

— «Смертного и хрупкого себя подставить гибели, грозе, судьбине за лоскуток земли»[1]. Разве не заманчиво? — спросил Дикарь, подняв глаза на Мустафу. — Если даже оставить Бога в стороне, хотя, конечно, за Бога подставлять себя грозе был бы особый резон. Разве нет смысла и радости в жизненных грозах?

— Смысл есть, и немалый, — ответил Главноуправитель. — Время от времени необходимо стимулировать у людей работу надпочечников.

— Работу чего? — переспросил непонимающе Дикарь.

— Надпочечных желез. В этом одно из условий крепкого здоровья и мужчин, и женщин. Потому мы и ввели обязательный прием ЗБС.

— Зебеэс?

— Заменителя бурной страсти. Регулярно, раз в месяц. Насыщаемым организм адреналином. Даем людям полный физиологический эквивалент страха и ярости — ярости Отелло, убивающего Дездемону, и страха убиваемой Дездемоны. Даем весь тонизирующий эффект этого убийства — без всяких сопутствующих неудобств.

— Но мне любы неудобства.

— А нам — нет, — сказал Главноуправитель. — Мы предпочитаем жизнь с удобствами.

— Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзии, настоящей опасности, хочу свободы, и добра, и греха.

---

[1] «Гамлет» (акт IV, сц. 4).

— Иначе говоря, вы требуете права быть несчастным, -- сказал Мустафа.

— Пусть так, — с вызовом ответил Дикарь. — Да, я требую.

— Прибавьте уж к этому право на старость, уродство, бессилие; право на сифилис и рак; право на недоедание; право на вшивость и тиф; право жить в вечном страхе перед завтрашним днем; право мучиться всевозможными лютыми болями.

Длинная пауза.

— Да, это все мои права, и я их требую.

— Что ж, пожалуйста, осуществляйте эти ваши права, — сказал Мустафа Монд, пожимая плечами.

Глава восемнадцатая

Дверь не заперта, приоткрыта; они вошли.

— Джон!

Из ванной донесся неприятный характерный звук.

— Тебе что, нехорошо? — громко спросил Гельмгольц.

Ответа не последовало. Звук повторился. затем снова; наступила тишина. Щелкнуло, дверь ванной отворилась, и вышел Дикарь, очень бледный.

— У тебя, Джон, вид совсем больной! — сказал Гельмгольц участливо.

— Съел что-нибудь неподходящее? — спросил Бернард.

Дикарь кивнул.

— Я вкусил цивилизации.

— ??

— И отравился ею; душу загрязнил. И еще, — прибавил он, понизив голову, — я вкусил своей собственной скверны.

— Да, но что ты съел конкретно?.. Тебя ведь сейчас...

— А сейчас я очистился, — сказал Дикарь. — Я выпил теплой воды с горчицей.

Друзья поглядели на него удивленно.

— То есть ты намеренно вызвал рвоту? — спросил Бернард.

— Так индейцы всегда очищаются. — Джон сел, вздохнул, провел рукой по лбу. — Передохну. Устал.

— Немудрено, — сказал Гельмгольц.

Сели и они с Бернардом.

— А мы пришли проститься, — сказал Гельмгольц. — Завтра утром улетаем.

— Да, завтра улетаем, — сказал Бернард; Дикарь еще не видел у него такого выражения — решительного, успокоенного. — И, кстати, Джон, — продолжал Бернард, подавшись к Дикарю и рукой коснувшись его колена, — прости меня, пожалуйста, за все вчерашнее. — Он покраснел. — Мне так стыдно, — голос его задрожал, — так...

Дикарь не дал ему договорить, взял руку его, ласково пожал.

— Гельмгольц — молодчина. Ободрил меня, — произнес Бернард. — Без него я бы...

— Да ну уж, — сказал Гельмгольц.

Помолчали. Грустно было расставаться, потому что они привязались друг к другу, но и хорошо было всем троим чувствовать свою сердечную приязнь и грусть.

— Я утром был у Главноуправителя, — нарушил наконец молчание Дикарь.

— Зачем?

— Просился к вам на острова.

— И разрешил он? — живо спросил Гельмгольц.

Джон покачал головой:

— Нет, не разрешил.

— А почему?

— Сказал, что хочет продолжить эксперимент. Но будь я проклят, — взорвался бешено Дикарь, — будь я проклят, если дам экспериментировать над собой и дальше! Хоть проси меня все Главноуправители мира. Завтра я тоже уберусь отсюда.

— А куда? — спросили Гельмгольц с Бернардом.

Дикарь пожал плечами.

— Мне все равно куда. Куда-нибудь, где смогу быть один.

От Гилфорда авиатрасса Лондон — Портсмут идет вдоль Уэйской долины к Годалмингу, а оттуда над Милфордом и Уитли к Хейлзмиру и дальше, через Питерсфилд, на Портсмут. Почти параллельно этой воздушной линии легла трасса возвратная — через Уорплесдон, Тонгам, Патнам, Элстед и Грейшот. Между Хогсбэкской грядой и Хайндхедом были места, где эти трассы раньше проходили всего в шести-семи километрах друг от друга. Близость, опасная для беззаботных летунов, в особенности ночью или когда принял полграмма лишних. Случались аварии.

даже катастрофы. Решено было отодвинуть трассу Портсмут — Лондон на несколько километров к западу. И вехами старой трассы между Грейшотом и Тонгамом остались четыре покинутых авиамаяка. Небо над ними тихо и пустынно. Зато над Селборном, Борденом и Фарнамом теперь не умолкает гул и рокот вертопланов.

Дикарь избрал своим прибежищем старый авиамаяк, стоящий на гребне песчаного холма между Патнамом и Элстедом. Маяк построен из железобетона и отлично сохранился.

«Слишком даже здесь уютно будет, — подумал Дикарь, оглядев помещение, — слишком по-цивилизованному». Он успокоил свою совесть, решив тем строже держать себя в струне и очищение совершать тем полнее и тщательнее. Первую ночь здесь он провел без сна всю напролет. Простоял на коленях, молясь — то небесам (у которых некогда молил прощенья преступный Клавдий), то Авонавилоне (по-зунийски), то Иисусу и Пуконгу, то своему заветному хранителю — орлу. Временами Джон раскидывал руки, точно распятый, и подолгу держал их так, и боль постепенно разрасталась в жгучую муку; не опуская дрожащих рук, он повторял сквозь стиснутые зубы (а пот ручьями тек по лицу): «О, прости меня! О, сделай меня чистым! О, помоги мне стать хорошим!» Повторял снова и снова, почти уже теряя сознание от боли.

Когда наступило утро, он почувствовал, что имеет теперь право жить на маяке; да, имеет — даром что в окнах почти все стекла уцелели, даром что вид с верхней площадки открывается великолепный. Потому Дикарь и выбрал этот маяк и потому чуть было сразу же и не ушел отсюда. Вид сверху так чудесен — глазам как бы предстает воплощенье божества. Но кто Дикарь такой, чтобы нежить взор беспрерывным зрелищем красоты? Кто он такой, чтобы жить в зримом присутствии Бога? Ему бы по его заслугам обитать в свином хлеву, в слепой норе... Тело Дикаря одеревенело, плечи ныли после долгой ночной муки, но этим-то и был он внутренне ободрен, и, поднявшись на верх своей башни, он окинул взглядом яркий рассветный мир, в котором обрел право жить. На северном горизонте тянулась Хогсбэкская меловая гряда, за ее восточной оконечностью вставали семь узких небоскребов, составляющих Гилфорд. При виде их Дикарь поморщился; но он вскоре с ними примирится, ибо по ночам они сверкают огнями, как веселые и симметричные созвездия, или же

в сплошной прожекторной подсветке высятся, наподобие светозарных перстов, указующих вверх, в непроницаемые тайны неба (хоть жеста этого никто в Англии теперь не понимает, кроме Дикаря).

В долине, отделяющей Хогсбэкскую гряду от холма с маяком, виден Патнам — скромный девятиэтажный поселочек с силосными башнями, птицефермой и фабричкой, производящей витамин Д. А на юг от маяка пологие вересковые склоны спускаются к прудам.

За цепочкою прудов, над лесом встает четырнадцатиэтажной башней Элстед. Подернутые смутной английской дымкой, Хайндхед и Селборн манят глаз в голубую романтическую даль. Но не только дали манят; приманчива и близь. Леса, открытые пространства, поросшие вереском и желтым от цветов утесником, группы сосен, поблескивающие пруды с прибрежными березами, с кувшинками и зарослями камыша — все это красиво и поражает глаз, привыкший к бесплодию американской пустыни. А уединенность какая! Целыми днями не увидишь человеческой фигурки. От маяка всего лишь четверть часа лететь до Черинг-Тийской лондонской башни; но даже и холмы Мальпаиса не пустыннее этих суррейских вересковых пустошей. Толпы, ежедневно устремляющиеся из Лондона, летят играть в электромагнитный гольф или в теннис. В Патнаме игровых полей нет; ближайшие римановы поверхности находятся в Гилфорде, а здесь — только цветы да пейзажи. Так что лететь сюда незачем. Первые дни Дикарь прожил, никем не тревожимый.

Большую часть денег, что по прибытии в Англию Джон получил на личные расходы, он потратил теперь, покидая Лондон. Купил четыре одеяла из вискозной шерсти, нужный инструмент, гвоздей, веревок и бечевок, клею, спичек (с намереньем, однако, смастерить потом дрель для добывания огня), купил простейшую кухонную утварь, пакетов двадцать семян и десять килограммов пшеничной муки. «Нет, не нужен мне мучной суррогат из синтетического крахмала и пакли, — твердо заявил он продавцу. — Пусть суррогат питательней, не надо». Но полигормональное печенье и витаминизированную эрзац-говядину ему все-таки всучили. Тьфу, цивилизованная гадость! «С голоду помру, а не притронусь. Я им покажу!» — давал он мысленно свирепый зарок. И себе покажет тоже, слабаку!

Он пересчитал деньги. Осталось мало, но все же

хватит, наверное, чтобы перебиться до весны. А там огород даст ему независимость от внешнего мира. И можно пока что охотиться. Тут кругом водятся кролики, и на прудах есть дикая птица. Он принялся не мешкая делать лук и стрелы.

Поблизости от маяка росли ясени, а для стрел была целая заросль молодого, прямого орешника. Он начал с того, что срубил ясенек, снял со ствола, свободного от сучьев, кору, стал осторожно и тонко, как учил старый Митсима, обстругивать и выстругал шестифутовое, в собственный рост, древко с довольно толстой средней частью и суженными, гибкими, упругими концами. Работалось сладко и радостно. После всех этих бездельных недель в Лондоне, где только кнопки нажимай да выключателями щелкай, он изголодался по труду, требующему сноровки и терпения.

Он почти уже кончил строгать, как вдруг поймал себя на том, что напевает! Поет! Он виновато покраснел, точно разоблачил себя внезапно, застиг на месте преступления. Ведь не петь и веселиться он сюда приехал, а спасаться от цивилизованной скверны, заразы, чтобы стать здесь чистым и хорошим; чтобы покаянным трудом загладить свою вину. Смятенно он спохватился, что углубясь в работу, забыл то, о чем клялся постоянно помнить, — бедную Линду забыл, и свою убийственную к ней жестокость, и этих мерзких близнецов, кишевших, точно вши, у ее одра, оскорбительно, кощунственно кишевших. Он поклялся помнить и неустанно заглаживать вину. А теперь вот сидит, строгает весело и поет, да-да, поет...

Он пошел, открыл пачку горчицы, поставил чайник на огонь.

Получасом позже проезжали мимо, направляясь в Элстед, трое патнамских сельхозрабочих-близнецов, минусдельтовиков, и на холме увидели такое зрелище: стоит у маяка парень, обнаженный до пояса, и хлещет себя веревочным бичом. Спина у парня вся в багровых поперечных полосах, и струйками сочится кровь. Остановив свой грузовик на обочине, они стали глядеть издали с разинутыми ртами и считать удары. Один, два, три... После восьмого удара парень прервал бичевание, отбежал к опушке, и там его стошнило. Затем он схватил бич и захлестал себя снова. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

— Форд! — пошептал водитель. Братья его были ошарашены не меньше.

— Фордики-моталки! — вырвалось у них.

Через три дня, как стервятники на падаль, налетели репортеры.

Древко было уже закалено, высушено над слабым, из сырых веток, огнем — лук был готов. Дикарь занялся стрелами. Он огладил ножом и высушил тридцать ореховых прутов, снабдил их острыми гвоздями-наконечниками, а на другом конце каждой стрелы аккуратно сделал выемку для тетивы. Совершив ночной набег на патнамскую птицеферму, он запасся перьями в количестве, достаточном для целого арсенала арбалетов и луков. За опереньем стрел и застал Дикаря репортер, прилетевший первым. Он подошел сзади бесшумно на своих пневматических подошвах.

— Здравствуйте, мистер Дикарь, — произнес он. — Я из «Ежечасных радиовестей».

Дикарь вскинулся, как от змеиного укуса, вскочил, рассыпая стрелы, перья, опрокинув клей, уронив кисть для клея.

— Прошу извинить, — искренне и сокрушенно сказал репортер. — Я вовсе не хотел... — Он коснулся своей шляпы — алюминиевого цилиндра, в котором был смонтирован приемопередатчик. — Простите, что не снимаю шляпы. Слегка тяжеловата. Как я уже сказал, я представляю «Ежечасные...»

— Что надо? — спросил Дикарь, грозно хмурясь.

Репортер ответил самой своей обворожительной улыбкой.

— Ну разумеется, наши читатели с огромным интересом... — Он склонил голову на бочок, улыбка его сделалась почти кокетливой. — Всего лишь несколько слов, мистер Дикарь. — Последовал ряд быстрых ритуальных жестов: мигом размотаны два проводка от поясной портативной батареи и воткнуты сразу с обоих боков алюминиевой шляпы-цилиндра; нажата пружинка на тулье цилиндра — и тараканьими усами выросли антенны; нажата другая, спереди на полях — и, как чертик из коробочки, выскочил микрофон, закачался у репортера пред носом; опущены радионаушники, нажат включатель слева на тулье — и в цилиндре раздалось слабое осиное жужжанье; повернута ручка справа — к жужжанию присоединились легочные хрипы, писк, икота, присвист.

— Алло, — сказал репортер в микрофон, — алло, алло... — В цилиндре вдруг раздался звон. — Это ты, Эдзел? Говорит Примо Меллон. Да, дело в шляпе. Сейчас мистер

16 Заказ 122

Дикарь возьмет микрофон, скажет несколько слов. Пожалуйста, мистер Дикарь. — Он взглянул на Дикаря, одарил его еще одной своей победительной улыбкой. — Объясните в двух словах нашим читателям, зачем вы поселились здесь. Почему так внезапно покинули Лондон. (Не уходи с приема, Эдзел!) И, конечно же, зачем бичуетесь. (Дикарь вздрогнул: откуда им про бич известно?) Все мы безумно жаждем знать разгадку бича. А потом что-нибудь о цивилизации. «Мое мнение о цивилизованной девушке» — в этом духе. Пять-шесть слов всего, не больше...

Дикарь исполнил просьбу с огорошивающей пунктуальностью. Пять слов он произнес — и не больше, — тех самых индейских слов, которые услышал от него Бернард в ответ на просьбу выйти к важному гостю — архипеснослову Кентерберийскому.

— Хани! Сонс эсо це-на! — И, схватив репортера за плечи, повернул его задом к себе (зад оказался заманчиво выпуклым), примерился и дал пинка со всей силой и точностью чемпиона-футболиста.

Восемь минут спустя на улицах Лондона уже продавали новейший выпуск «Ежечасных радиовестей». Через первую полосу было пущено жирно: «Загадочный ДИКАРЬ ФУТБОЛИТ нашего корреспондента. СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ».

«Что верно, то верно — сногсшибательная», — подумал репортер, когда по возвращении в Лондон прочел заголовок. Осторожненько, морщась от боли, он сел обедать.

Не устрашенные этим предостерегающим ударом по копчику коллеги, еще четверо репортеров — из нью-йоркской «Таймс», франкфуртского «Четырехмерного континуума», бостонской «Фордианской науки», а также из «Дельта миррор» — явились в этот день на маяк, и Дикарь встречал их со все возрастающей свирепостью.

— Закоснелый глупец! — с безопасного расстояния кричал ему корреспондент «Фордианской науки», потирая свои ягодицы. — Прими сому!

— Убирайся! — Дикарь погрозил кулаком.

Ученый репортер отошел еще дальше и снова закричал:

— Прими два грамма, и зло обратится в нереальность.

— Кохатва иятгокяй! — послал ему в ответ Дикарь зловеще и язвительно.

— Боль — всего лишь обман чувств.

— Ах, всего лишь? — и Дикарь, схватив палку, шагнул к репортеру — тот шарахнулся к своему вертоплану.

После этого Дикарь был на время оставлен в покое. Прилетали, правда, вертопланы, кружили любознательно над башней. Дикарь послал стрелу в самый ближний и назойливый. Стрела пробила алюминиевый пол кабины; раздался вопль, и машина газанула ввысь со всей прытью, на какую была способна. С тех пор вертопланы держались на почтительной дистанции от маяка. Не обращая внимания на их зудливый рокот, сравнивая себя мысленно со стойким индейским женихом, не поддающимся кровожадному гнусу, Дикарь вскапывал свой огород. Позудев над головой и, видимо, соскучась, вертопланное комарье улетало; небеса на целые часы пустели, затихали, только жаворонок пел.

Было безветренно и душно, пахло грозой. Все утро он копал и теперь прилег отдохнуть на полу. И внезапно им овладел образ Ленайны — реальной, в туфельках, нагой, осязаемой, благоуханной. «Милый! Обними же меня!» — зазвучало в ушах. Блудница наглая! Ох, но обвившиеся руки, приподнявшиеся груди, приникшие губы! Вечность была у нас в глазах и на устах. Ленайна... Нет, нет, нет, нет! Он вскочил на ноги и как был, полуголый, выбежал во двор. На краю пустоши кучно росли сизые можжевеловые кусты. Он грудью кинулся на можжевельник, хватая в объятия не бархатное желанное тело, а охапку жестких игл. Тысяча острых уколов его обожгла. Он попытался вернуться мыслью к бедной Линде, задыхающейся немо, к скрюченным ее пальцам, к диким от ужаса глазам Линды. Линды, о которой он поклялся помнить. Но по-прежнему владел им образ Ленайны, которую он поклялся забыть. Даже колющие, жалящие иголки можжевельника не могли погасить этот образ, живой, неотступный. «Милый, милый... А раз и ты хотел меня, то почему же...»

Бич висел на гвозде за дверью — на случай нового вторжения репортеров. Вне себя Дикарь бросился к бичу, схватил, взмахнул. Узловато перевитая веревка впилась в тело.

— Шлюха! Шлюха! — восклицал он при каждом ударе, точно под бичом была Ленайна (и как он яростно и сам того не сознавая желал, чтобы она явилась!), белая, горячая, душистая, бесстыжая. — Распутница! — И взывал в отчаянии: — О Линда, прости меня! Прости меня, Боже!

16*

Я скверный. Я мерзкий. Я... Нет же, нет, шлюха ты, шлюха!

Из своего укрытия, хитро устроенного в лесу, метрах в трехстах от маяка, Дарвин Бонапарт, самый искусный из репортеров — кинохотников за крупной дичью, видел все происходящее. Его уменье и терпенье были наконец-то вознаграждены. Три дня просидел он внутри своего скрадка, имеющего вид высокого дубового пня, три ночи прополз на животе среди утесника и вереска, пряча микрофоны в кусточках, присыпая провода серым мелким песком. Трое суток жесточайших неудобств. Зато теперь настал звездный миг — миг самой крупной удачи (успел подумать Дарвин Бонапарт, приводя в действие аппаратуру), самой крупной с тех пор, как удалось снять тот знаменитый стереовоющий фильм о свадьбе горилл. «Прелестно! — мысленно воскликнул Бонапарт, когда Дикарь начал свой поразительный спектакль. — Прелестно!» Он тщательно навел телескопические камеры, прильнул к визиру, следуя за движениями Дикаря; надел насадку, чтобы крупным планом снять перекошенное бешено лицо (превосходно!); на полминуты включил ускоренную съемку (замедленность движений даст изумительный комический эффект!); послушал удары, стоны, дикие бредовые слова, записываемые на звуковую дорожку, попробовал слегка их усилить (да, так будет, безусловно, лучше); восхитился контрастом, услыхав и записав в промежутке затишья звонкое пение жаворонка; подумал: вот если бы Дикарь повернулся, дал заснять крупным планом кровь на спине; и почти тотчас (везет же сегодня!) Дикарь услужливо повернулся, как надо, и подарил великолепный кадр.

«Грандиозно! — поздравил себя Дарвин, кончив съемку. — Просто грандиозно!» Он вытер потное лицо. Присоединят на студии ощущальные эффекты, и замечательный получится фильм. Почти не хуже «Любовной жизни кашалота», а этим что-нибудь да сказано!

Через двенадцать дней «Неистовый Дикарь» был выпущен Ощущальной корпорацией на экраны всех первоязрядных кинодворцов Западной Европы — смотрите, слушайте, ощущайте!

Фильм подействовал незамедлительно и мощно. На следующий же день после премьеры, под вечер, уединение Джона было нарушено целой ордой вертопланов.

Джон копал гряды — и в то же время вскапывал усердно свой духовный огород, ворошил, ворочал мысли. «Смерть», — и он вонзил лопату в землю. «И каждый

день прошедший освещал глупцам дорогу в смерть и прах могилы»[1]. Вон и в небе дальний гром рокочет подтверждающе. Джон вывернул лопатой ком земли. Почему Линда умерла? Почему ей дали постепенно превратиться в животное, а затем... Он поежился. В целуемую солнцем падаль. Яростно нажав ступней, он вогнал лопату в плотную почву. «Мы для богов, что мухи для мальчишек; себе в забаву давят нас они»[2]. И рокот в небе — подтверждением этих слов, которые правдивей самой правды. Однако тот же Глостер назвал богов вечноблагими. И притом «сон — лучший отдых твой, ты то и дело впадаешь в сон — и все же трусишь смерти, которая не более чем сон»[3]. Не более. Уснуть. И видеть сны, быть может. Лезвие уперлось в камень; нагнувшись, он отбросил камень прочь. Ибо в том смертном сне какие сны приснятся?

Рокот над головой обратился в рев; и Джона вдруг покрыла тень, заслонившая солнце. Он поднял глаза, пробуждаясь от мыслей, отрываясь от копки; взглянул недоуменно, все еще блуждая разумом и памятью в мире слов, что правдивей правды, среди необъятностей божества и смерти; взглянул — и увидел близко над собой нависшие густо вертопланы. Саранчовой тучей они надвигались, висели, опускались повсюду на вереск. Из брюха каждого севшего саранчука выходила парочка — мужчина в белой вискозной фланели и женщина в пижамке из ацетатной чесучи (по случаю жары) или в плисовых шортах и майке. Через несколько минут уже десятки зрителей стояли, образовав у маяка широкий полукруг, глазея, смеясь, щелкая камерами, кидая Джону, точно обезьяне, орехи, жвачку, полигормональные пряники. И с каждой минутой благодаря авиасаранче, летящей беспрерывно из-за Хогсбэкской гряды, число их росло. Они множились, будто в страшном сне, десятки становились сотнями.

Дикарь отступил к маяку и, как окруженный собаками зверь, прижался спиной к стене, в немом ужасе переводя взгляд с лица на лицо, словно лишась рассудка.

Метко брошенная пачка секс-гормональной резинки ударила Дикаря в щеку. Внезапная боль вывела его из оцепенения, он очнулся, гнев охватил его.

— Уходите! — крикнул он.

---

[1] «Макбет» (акт V, сц. 5).
[2] «Король Лир» (акт IV, сц. 1).
[3] «Мера за меру» (акт III, сц. 1).

Обезьяна заговорила! Раздались аплодисменты, смех.

— Молодец, Дикарь! Ура! Ура!

И сквозь разноголосицу донеслось:

— Бичеванье покажи нам, бичеванье!

Показать? Он сдернул бич с гвоздя и потряс им, грозя своим мучителям.

Жест этот был встречен насмешливо-одобрительным возгласом толпы.

Дикарь угрожающе двинулся вперед. Вскрикнула испуганно женщина. Кольцо зрителей дрогнуло, качнулось перед Дикарем и опять застыло. Ощущенье своей подавляющей численности и силы придало этим зевакам храбрости, которой Дикарь от них не ожидал. Не зная, что делать, он остановился, огляделся.

— Почему вы мне покоя не даете? — В гневном этом вопросе прозвучала почти жалобная нотка.

— На вот миндаль с солями магния! — сказал стоящий прямо перед Дикарем мужчина, протягивая пакетик. — Ей-форду, очень вкусный, — прибавил он с неуверенной, умиротворительной улыбкой. — А соли магния сохраняют молодость.

Дикарь не взял пакетика.

— Что вы от меня хотите? — спросил он, обводя взглядом ухмыляющиеся лица. — Что вы от меня хотите?

— Бича хотим, — ответила нестройно сотня голосов. — Бичеванье покажи нам. Хотим бичеванья. — Хо-тим бича, — дружно начала группа поодаль, неторопливо и твердо скандируя. — Хо-тим би-ча.

Другие тут же подхватили, как попугаи, раскатывая фразу все громче, и вскоре уже все кольцо ее твердило:

— Хо-тим би-ча!

Кричали все как один; и, опьяненные криком, шумом, чувством ритмического единения, они могли, казалось, скандировать так бесконечно. Но на двадцать примерно пятом повторении случилась заминка. Из-за Хогсбэкской гряды прилетел очередной вертоплан и, повисев над толпой, приземлился в нескольких метрах от Дикаря, между зрителями и маяком. Рев воздушных винтов на минуту заглушил скандирование; но, когда моторы стихли, снова зазвучало: «Хотим би-ча, хо-тим би-ча», — с той же громкостью, настойчивостью и монотонностью.

Дверца вертоплана открылась, и вышел белокурый и румяный молодой человек, а за ним — девушка в зеленых шортах, белой блузке и жокейском картузике.

При виде ее Дикарь вздрогнул, подался назад, побледнел.

Девушка стояла, улыбаясь ему — улыбаясь робко, умоляюще, почти униженно. Вот губы ее задвигались, она что-то говорит; но слов не слышно за скандирующим хором.

— Хо-тим би-ча! Хо-тим би-ча!

Девушка прижала обе руки к груди, слева, и на кукольно красивом, нежно-персиковом ее лице выразилась горестная тоска, странно не вяжущаяся с этим личиком. Синие глаза ее словно бы стали больше, ярче; и внезапно две слезы скатились по щекам. Она опять проговорила что-то; затем быстро и пылко протянула руки к Дикарю, шагнула.

— Хо-тим би-ча! Хо-тим би...

И неожиданно зрители получили желаемое.

— Распутница! — Дикарь кинулся к ней, точно полоумный. — Хорек блудливый! — И, точно полоумный, ударил ее бичом.

Перепуганная, она бросилась было бежать, споткнулась, упала в вереск.

— Генри, Генри! — закричала она. Но ее румяный спутник пулей метнулся за вертоплан — подальше от опасности.

Кольцо зрителей смялось, с радостным кличем бросились они все разом к магнетическому центру притяжения. Боль ужасает людей — и притягивает.

— Жги, похоть, жги! — Дикарь исступленно хлестнул бичом.

Алчно сгрудились зеваки вокруг, толкаясь и топчась, как свиньи у корыта.

— Умертвить эту плоть! — Дикарь скрипнул зубами, ожег бичом собственные плечи. — Убить, убить!

Властно притянутые жутью зрелища, приученные к стадности, толкаемые жаждой единения, неискоренимо в них внедренной, зрители невольно заразились неистовством движений Дикаря и стали ударять друг друга — в подражание ему.

— Бей, бей, бей... — кричал Дикарь, хлеща то свою мятежную плоть, то корчащееся в траве гладкотелое воплощенье распутства.

Тут кто-то затянул:

— Бей-гу-ляй-гу...

И вмиг все подхватили, запели и заплясали.

— Бей-гу-ляй-гу, — пошли они хороводом, хлопая друг друга в такт, — ве-се-лись...

Было за полночь, когда улетел последний вертоплан.

Изнуренный затянувшейся оргией чувственности, одурманенный сомой, Дикарь лежал среди вереска, спал. Проснулся — солнце уже высоко. Полежал, щурясь, моргая по-совиному, не понимая; затем внезапно вспомнил все.

— О Боже, Боже мой! — Он закрыл лицо руками.

Под вечер из-за гряды показались вертопланы, летящие темной тучей десятикилометровой длины. (Во всех газетах была описана вчерашняя оргия единения.)

— Дикарь! — позвали лондонец и лондонка, приземлившиеся первыми. — Мистер Дикарь!

Ответа нет.

Дверь маяка приоткрыта. Они толкнули ее, вошли в сумрак башни. В глубине комнаты — сводчатый выход на лестницу, ведущую в верхние этажи. Высоко за аркой там виднеются две покачивающиеся ступни.

— Мистер Дикарь!

Медленно-медленно, подобно двум неторопливым стрелкам компаса, ступни поворачиваются вправо — с севера на северо-восток, восток, юго-восток, юг; остановились, повисели и так же неспешно начали обратный поворот. Юг, юго-восток, восток...

ОЛДОС **ХАКСЛИ**

ОБЕЗЬЯНА И СУЩНОСТЬ

Перевод И. Русецкого

I. ТЭЛЛИС

В этот день был убит Ганди *, однако на холме Кэлвери[1] гуляющих гораздо больше занимало содержимое корзин со съестным, нежели значение, в общем-то, заурядного события, свидетелями которого они оказались. Что бы ни утверждали астрономы, Птолемей был совершенно прав: центр вселенной находится здесь, а не где-то там. Пусть Ганди мертв, но и за письменным столом у себя в кабинете, и за столиком в студийном кафе Боб Бриггз умел говорить только о себе.

— Ты всегда мне помогал, — заверил меня Боб, приготовившись не без удовольствия поведать очередную главу своей биографии.

В сущности, я прекрасно знал — а сам Боб и подавно, — что на самом-то деле никакая помощь ему не нужна. Он любил попадать в переплет; более того, любил поплакаться о своих затруднениях. Как сами неприятности, так и несколько драматизированное их изложение позволяли ему почувствовать себя всеми поэтами-романтиками, вместе взятыми: покончившим с собой Беддоузом *, состоявшим во внебрачной связи Байроном *, Китсом, зачахшим из-за Фанни Браун *, Гарриет *, погибшей из-за Шелли. А чувствуя себя всеми поэтами-романтиками сразу, Боб мог хотя бы ненадолго позабыть о двух главных причинах своих невзгод: о том, что он был начисто лишен их таланта и — почти начисто — их сексуальности.

— Мы дошли до точки, — сказал Боб (трагизм, с которым он произнес эти слова, навел меня на мысль, что актер из него вышел бы гораздо более сильный, чем киносценарист), — мы с Элейн дошли до точки и почувствовали себя, словно... словно Мартин Лютер.

— Мартин Лютер? — с некоторым удивлением переспросил я.

— Знаешь: ich kann nicht anders *. Мы не могли,

[1] Название района в Лос-Анджелесе, в переводе с английского — Голгофа. — *Здесь и далее прим. перев.*

просто не могли ничего больше сделать, кроме как отправиться в Акапулько.

А Ганди, подумал я, не оставалось ничего, кроме как пассивно противиться угнетению, отправиться в тюрьму и в конце концов дать себя застрелить.

— Итак, мы сели в самолет и улетели в Акапулько, — продолжал Боб.

— Наконец-то!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Но ты ведь уже давненько об этом подумывал, верно?

Боб недовольно поморщился. Мне же вспомнились все наши предыдущие разговоры на эту тему. Следует ли ему сделать Элейн своей любовницей или нет? (Он ставил вопрос в этакой очаровательной старомодной манере.) Следует ему просить у Мириам развода или нет?

Речь шла о разводе с женщиной, которая до сих пор в самом прямом смысле оставалась для него тем, чем была всегда — его единственной любовью; однако в другом, но тоже не менее прямом смысле его единственной любовью была Элейн; причем она стала бы таковой в еще большей степени, решись он наконец (а именно поэтому он и не мог решиться) «сделать ее своей любовницей». Быть или не быть — этот монолог длился уже почти два года и затянулся бы еще лет на десять, будь у Боба возможность гнуть свою линию и дальше. Боб любил, чтобы его затяжные и по преимуществу мнимые неприятности не приобретали нестерпимо плотского оттенка, который мог подвергнуть его сомнительную мужественность очередному унизительному испытанию. Хотя Элейн и находилась под впечатлением красноречия своего поклонника, а также его барочного профиля и ранней седины, ее, по-видимому, все же утомили эти нескончаемые, но исключительно платонические неприятности. Бобу был поставлен ультиматум: или Акапулько, или полный разрыв.

Словом, он был осужден на нарушение супружеской верности так же бесповоротно, как Ганди на пассивность, тюрьму и смерть, но, судя по всему, опасения Боба были глубже, сильнее и в ходе событий вполне подтвердились. Хотя бедолага Боб и не рассказал мне о том, что произошло в Акапулько, однако история получилась явно трогательная и нелепая — об этом красноречиво свидетельствовало то обстоятельство, что Элейн, по словам Боба, «ведет себя странно» и ее уже несколько раз видели в обществе омерзительного молдавского боярина, имя которого я, к счастью,

позабыл. Мириам же не ограничилась тем, что не дала Бобу развода: воспользовавшись отсутствием супруга, а также его доверенностью, она перевела на свое имя ранчо, два автомобиля, четыре многоквартирных дома, несколько весьма выгодно расположенных участков земли в Палм-Спрингсе, равно как и все его сбережения. А он между тем задолжал правительству тридцать три тысячи долларов подоходного налога. Однако когда Боб попросил у продюсера обещанные двести пятьдесят долларов прибавки к недельному жалованью, последовало долгое, полное скрытого смысла молчание.

— Ну так как же, Лу?

Внушительно цедя слова, Лу Лаблин ответил:

— Боб, сегодня, в этой студии, прибавки не получил бы даже Иисус Христос.

Сказано это было вполне дружеским тоном, но, когда Боб попытался настаивать, Лу треснул кулаком по столу и заявил, что тот ведет себя не по-американски. Это решило дело.

Боб продолжал рассказывать. Какой сюжет для большого религиозного полотна! — подумал я. Христос выпрашивает у Лаблина жалкую прибавку в двести пятьдесят долларов в неделю и получает решительный отказ. Это была бы одна из излюбленных тем Рембрандта: на ее основе он создал бы десятки рисунков, офортов и полотен. Иисус печально удаляется во мрак неуплаченного подоходного налога, а в золотом луче прожектора, сияя драгоценными каменьями и металлическими бликами, Лу в громадном тюрбане торжествующе усмехается тому, как он обошелся с Мужем Скорбей.

Потом я представил себе, как трактовал бы этот сюжет Брейгель*. Большая панорама студии: полным ходом идут съемки мьюзикла стоимостью в три миллиона долларов, в котором точно воспроизводятся все мельчайшие детали; две-три тысячи превосходно загримированных актеров; а в нижнем правом углу зритель после долгих поисков обнаруживает наконец Лаблина величиной с кузнечика, глумящегося над еще более тщедушным Иисусом.

— Но у меня была совершенно потрясающая идея сценария, — говорил Боб с тем жизнерадостным воодушевлением, которое для отчаявшегося человека служит альтернативой самоубийству. — Мой агент в восторге: считает, что я смогу продать ее за пятьдесят-шестьдесят тысяч.

И он начал рассказывать.

Все еще размышляя о Христе, стоящем перед Лаблином, я вообразил, как это написал бы Пьеро *: блистательно выверенная композиция, равновесие пустот и тел, гармоничных и контрастных тонов, все фигуры пребывают в несокрушимом покое. На головах у Лу и его ассистентов должны быть головные уборы фараонов в виде громадных перевернутых конусов из белого или цветного фетра, которые в мире Пьеро подчеркивают два обстоятельства — четкую геометрическую природу человеческого тела и причудливость жителей Востока. Несмотря на шелковистую легкость, складки каждого одеяния неизбежны и определенны, словно вырезанные из порфира силлогизмы, а все полотно пронизано присутствием платоновского божества *, которое с помощью математики навсегда превращает хаос в упорядоченность и красоту искусства.

Однако от Парфенона и «Тимея» * формальная логика приводит к тирании, которая в «Государстве» провозглашена идеальной формой правления. В политике эквивалент теоремы — это армия с безукоризненной дисциплиной, а эквивалент сонета или картины — полицейское государство, находящееся под властью диктатуры. Марксист называет себя «научным», а фашист к этому определению добавляет еще одно: он поэт — научный поэт — новой мифологии. Претензии того и другого вполне оправданны: и тот, и другой в реальной жизни прибегают к приемам, доказавшим свою эффективность в лаборатории или башне из слоновой кости *. Они упрощают, отделяют и исключают все, что неприменимо для их целей, и готовы пренебречь чем угодно как несущественным; они навязывают свои способы и подтасовывают факты, чтобы доказывать свои излюбленные гипотезы; они отправляют в мусорную корзину все, чему, по их мнению, недостает совершенства. А поскольку они действуют как подлинные мастера своего дела, как серьезные мыслители и опытные экспериментаторы, тюрьмы переполнены, политические еретики гибнут на каторге, права и желания простых людей попираются, Ганди погибают насильственной смертью, а миллионы школьных учителей и радиодикторов от восхода до заката твердят о непогрешимости сильных мира сего, которые в данную минуту оказались у власти.

— И в конце концов, — продолжал Боб, — я не вижу причин, почему кино не должно быть произведением искусства. Этот проклятый торгашеский дух...

Он говорил с праведным негодованием посредственного художника, который обрушивается на козла отпущения, выбранного им, чтобы иметь, на кого свалить плачевные последствия собственной бесталанности.

— Как ты думаешь, Ганди интересовался искусством? — спросил я.

— Ганди? Разумеется, нет.

— Пожалуй, ты прав, — согласился я. — Ни искусством, ни наукой. Потому-то мы его и убили.

— Мы?

— Да, мы. Умные, деятельные, вперед смотрящие почитатели порядка и совершенства. А Ганди был просто реакционер, веривший лишь в людей. В маленьких, убогих людишек, которые сами управляют собою в своих деревушках и поклоняются брахману, являющемуся также и атманом *. Такого терпеть было нельзя. Неудивительно, что мы его укокошили.

Я говорил и одновременно размышлял, что это еще не все. Еще была непоследовательность, почти измена. Человек, который верил лишь в людей, дал втянуть себя в массовое нечеловеческое безумие национализма, в якобы сверхчеловеческое, а на самом деле дьявольское стремление учредить народное государство. Он дал втянуть себя во все это, воображая, что ему удастся унять безумие и все, что есть в государстве сатанинского, превратить в некое подобие человеческого. Однако национализм и политика силы оказались ему не по зубам. Святой может исцелить наше безумие не из середки, не изнутри, а только снаружи, находясь вне нас. Если он станет деталью машины, одержимой коллективным сумасшествием, случится одно из двух. Он либо останется самим собой, и тогда машина будет какое-то время его использовать, а потом, когда он сделается бесполезен, выбросит или уничтожит. В противном случае он будет переделан по образу и подобию механизма, с которым и против которого работает, и тогда мы увидим, что святая инквизиция в союзе с каким-нибудь тираном готовит торжество привилегий церкви.

— Так вот, возвращаясь к их торгашескому духу, — проговорил Боб. — Позволь привести тебе пример...

Но я думал о том, что мечта о порядке порождает тиранию, мечта о красоте — чудовищ и насилие. Недаром Афина, покровительница искусств, является также богиней военных наук, божественной начальницей любого генерального штаба. Мы убили Ганди, потому что после короткой

(и смертельной) политической игры он отказался от нашей мечты о народном порядке, о социальной и экономической красоте; потому что он попытался напомнить нам о конкретном и всеобъемлющем факте существования реальных людей и внутреннего Света.

Заголовки, которые я видел этим утром в газетах, были иносказательны, они содержали не только сам факт, но и аллегорию и пророчество. Этим символичным актом мы, так стремящиеся к миру, отвергли единственное средство его достижения и предостерегли всех, кому случится в будущем отстаивать иные пути, нежели те, что неизбежно ведут к войне.

— Ладно, если ты допил кофе, то пошли, — сказал Боб.

Мы встали и выбрались на солнце. Боб взял меня за руку и пожал ее.

— Ты очень мне помог, — снова заверил он.

— Хотелось бы надеяться, Боб.

— Но ведь так оно и есть, так и есть.

Быть может, оно действительно так и было: выплеснув свои неприятности перед благожелательным слушателем, он почувствовал себя лучше, как-то приблизился к поэтам-романтикам.

Несколько минут мы молча шли мимо проекционных и домиков администраторов в стиле Чурригеры *. На дверях самого большого из них висела внушительная бронзовая табличка с надписью «Лу Лаблин».

— Как насчет прибавки? — поинтересовался я. — Может, зайдем, попробуем еще разок?

Боб скорбно усмехнулся, и снова наступило молчание. Когда он наконец заговорил, голос его звучал задумчиво:

— Бедный старина Ганди! Мне кажется, самым большим его секретом было умение ничего не желать для себя.

— Да, пожалуй, это один из его секретов.

— Боже, как хочется иметь поменьше желаний!

— Мне тоже, — с жаром согласился я.

— Ведь когда наконец получаешь желаемое, всегда оказывается, что это вовсе не то, о чем ты мечтал.

Боб вздохнул и опять замолк. Он явно размышлял об Акапулько, об ужасной необходимости перейти от затяжного к неминуемому, от смутного и показного к слишком уж конкретно плотскому.

Миновав улицу с административными домиками, мы пересекли стоянку для машин и углубились в ущелье между высоченными звуковыми павильонами. Мимо проехал

трактор с низким прицепом, на котором стояла нижняя половина западной двери итальянского собора XIII века.

— Это для «Екатерины Сиенской» *.

— А что это?

— Новый фильм Гедды Бодди. Два года назад я сделал сценарий. Потом его передали Стрейгеру. А после его переписала команда О'Тула — Менендеса — Богуславского. Мерзость!

Мимо прогрохотал еще один прицеп с верхней половиной соборной двери и кафедрой работы Никколо Пизано *.

— Если вдуматься, она в некотором смысле очень похожа на Ганди, — проговорил я.

— Кто? Гедда?

— Нет, Екатерина.

— А, понимаю. Я думал, ты говоришь про набедренную повязку.

— Я говорю о святых в политике, — пояснил я. — С нею, конечно, не расправились, но лишь потому, что она рано умерла. Последствия ее политики просто не успели проявиться. У тебя было все это в сценарии?

Боб покачал головой.

— Слишком грустно. Публика любит, чтобы звездам сопутствовала удача. И потом, разве можно говорить о церковной политике? Получится нечто явно антикатолическое, что может легко превратиться в антиамериканское. Нет, мы не рискуем, а сосредоточиваемся на парне, которому она диктует свои письма. Он без памяти влюблен, но все это очень возвышенно и духовно, а когда она умирает, он уединяется и молится перед ее портретом. Там есть еще другой парень, который на самом деле за ней ухаживал. Она упоминет об этом в письмах. Играется это так, как того заслуживает. Они все еще надеются заполучить Хамфри...

Громкий гудок заставил Боба подпрыгнуть.

— Осторожно!

Боб схватил меня за руку и дернул назад. Из двора позади сценарного отдела на дорогу вылетел двухтонный грузовик.

— Смотреть надо, куда прете! — проезжая мимо нас, заорал водитель.

— Идиот! — огрызнулся Боб и обратился ко мне: — Видел, что он везет? Сценарии. — Он покачал головой. — Их сожгут. Чего они и заслуживают. Литературы тут на миллион долларов.

Он рассмеялся с мелодраматической горечью.

Проехав ярдов двадцать, грузовик резко свернул вправо. По-видимому, скорость была слишком высока: под действием центробежной силы с полдюжины лежавших сверху сценариев высыпались на дорогу. Словно пленники инквизиции, чудом спасшиеся от костра, подумал я.

— Парень не умеет водить, — проворчал Боб. — В один прекрасный день кого-нибудь задавит.

— Давай-ка посмотрим, кому удалось спастись.

Я поднял ближайший том.

— «Девушка не уступит мужчине», сценарий Альбертины Кребс.

Боб припомнил сценарий. Гадость.

— А что ты скажешь об «Аманде»? — Я перелистал несколько страниц. — Похоже, мьюзикл. Стихи какие-то:

Амелия хочет есть,
Но Аманда хочет мужчину...

— Не надо! — не дал мне закончить Боб. — Он стоил четыре с половиной миллиона в период битвы за повышение курса доллара.

Я бросил «Аманду» и поднял еще один раскрывшийся том. Мне бросилось в глаза, что переплет у него зеленый, а не обычный для студии темно-красный.

— «Обезьяна и сущность», — прочел я вслух сделанную от руки надпись на обложке.

— «Обезьяна и сущность»? — несколько удивленно переспросил Боб.

Я перевернул форзац.

— «Новый киносценарий Уильяма Тэллиса, ранчо Коттонвуд, Мурсия, Калифорния». А здесь карандашная приписка: «Уведомление об отклонении послано двадцать шестого ноября сорок седьмого года. Конверт с обратным адресом отсутствует. Сжечь». Последнее слово подчеркнуто дважды.

Такое добро они получают тысячами, — пояснил Боб.

Я принялся листать сценарий.

— Снова стихи.

— О господи! — с отвращением воскликнул Боб.

Я начал читать:

О

Но это ж ясно.
Это знает каждый школьник.

Цель обезьяной выбрана, лишь средства — человеком.
Кормилец Papio[1] и бабуинский содержанец,
Несется к нам на все готовый разум.
Он здесь, воняя философией, тиранам славословит;
Здесь, Пруссии клеврет, с общедоступной «Историей»
Гегеля под мышкой,
Здесь, с медициной вместе, готов ввести гормоны
половые от Обезьянего Царя.
Он здесь, с риторикою вместе: слагает вирши он,
она их следом пишет;
Здесь, с математикою вместе, готов направить все
свои ракеты
На дом сиротский, что за океаном;
Он здесь — уже нацелился, и фимиам курит благочестиво,
И ждет, что Богородица скомандует: «Огонь!»

Я умолк. Мы с Бобом вопросительно переглянулись.

— Что ты об этом думаешь? — поинтересовался он в конце концов.

Я пожал плечами. Я действительно не знал, что думать.

— Во всяком случае, не выбрасывай, — попросил Боб. — Хочу просмотреть остальное.

Мы двинулись в путь, еще раз завернули за угол и оказались у францисканского монастыря, окруженного пальмами; это и было здание, где размещались сценаристы.

— Тэллис, — пробормотал Боб, когда мы вошли. — Уильям Тэллис... — Он покачал головой. — Никогда о нем не слышал. Кстати, Мурсия — это где?

В следующее воскресенье мы уже знали ответ — не теоретически, из карты, а практически: мы отправились туда на «бьюике» Боба (точнее, Мириам) со скоростью восемьдесят миль в час. Мурсия, штат Калифорния, представляла собой две красные заправочные колонки и крошечную бакалейную лавчонку на юго-западной оконечности пустыни Мохаве.

Долгая засуха кончилась два дня назад. Небо было все еще затянуто тучами, с запада устойчиво дул холодный ветер. Под шапкой сероватых облаков горы Сан-Габриэль казались призрачными и белели свежевыпавшим снегом. Однако далеко в пустыне, на севере, сверкала длинная узкая полоса золотого солнца. Вокруг преобладали темно-серые и серебряные, а также бледно-золотые и желтовато-

[1] Павиан *(лат.)*.

коричневые цвета пустынной растительности — полыни, чертополоха и гречихи; кое-где виднелись раскорячившиеся юкки — у одних стволы были гладкими, у других покрыты высохшими колючками, а концы их изломанных ветвей украшали гроздья шипов зеленоватого металлического оттенка.

Глухой старик, которому нам пришлось кричать в ухо, в конце концов понял, о чем мы его спрашиваем. Ранчо Коттонвуд? Еще бы не знать! Нужно проехать примерно милю на юг по этой грязной дороге, потом повернуть на восток, проехать еще три четверти мили вдоль оросительной канавы — и все. Старик собрался было сообщить нам еще какие-то подробности, но Бобу стало невтерпеж. Он выжал сцепление, и мы уехали.

Вдоль канавы росли посаженные человеческой рукой ивы и тополя, пытавшиеся среди этой суровой пустынной растительности жить другой, более легкой и приятной жизнью. Сейчас они были безлисты — скелеты деревьев, белеющие на фоне неба, но мне ясно виделось, какой сочной будет через три месяца зелень их молодых листьев в лучах палящего солнца.

Слишком быстро ехавшую машину неожиданно тряхнуло на выбоине. Боб чертыхнулся.

— Не понимаю, как нормальный человек мог поселиться в конце такой дороги.

— Вероятно, он просто ездит медленнее, — осмелился предположить я.

Боб не удостоил меня даже взглядом. Машина продолжала грохотать на той же скорости. Я попытался сосредоточиться на пейзаже.

Тем временем пустыня бесшумно, но необычайно стремительно преобразилась. Тучи разогнало, и солнце освещало теперь ближайшие к нам обрывистые и иззубренные холмы, которые неизвестно почему вздымались среди бескрайней равнины, словно острова. Еще минуту назад они были черны и мертвы. Теперь — внезапно ожили; перед ними еще лежала тень, за ними клубилась тьма. Они словно светились сами по себе.

Я тронул Боба за руку и указал на холмы:

— Теперь понимаешь, почему Тэллис поселился в конце этой дороги?

Боб быстро посмотрел в сторону, объехал упавшую юкку, еще раз на долю секунды задержал взгляд на пустыне и снова перевел глаза на дорогу.

— Это напоминает мне одну гравюру Гойи — ты знаешь, о чем я говорю. Женщина едет верхом на жеребце, а тот, повернув голову и захватив зубами край ее платья, старается стащить всадницу с седла или разорвать ее одежду. Она смеется, радуется как сумасшедшая. А на заднем плане — равнина с такими же, как здесь, торчащими холмами. Но если к холмам Гойи присмотреться, то видишь, что это вовсе не холмы, а припавшие к земле животные — наполовину крысы, наполовину ящерицы величиною с гору. Я купил Элейн репродукцию этой гравюры.

Снова наступило молчание, и я подумал, что Элейн не поняла намека. Она позволила жеребцу стащить себя на землю и лежала, безудержно хохоча, а крупные зубы уже рвали ее корсаж, в клочья раздирали юбку, пощипывали нежную кожу; это было страшно и восхитительно — трепет перед неминуемой болью. А потом, в Акапулько, огромные крысы-ящерицы восстали от своего каменного сна, и бедняга Боб внезапно оказался не в окружении прелестных и томных граций или роя смешливых купидонов с розовыми попками, а среди чудовищ.

Тем временем мы добрались до места. За росшими вдоль канавы деревьями, под высоченным тополем стоял белый каркасный дом, по одну сторону которого виднелась ветряная мельница, по другую — амбар из рифленого железа. Ворота были закрыты. Боб остановил машину, и мы вылезли. К столбу ворот была прибита белая доска. На ней красовалась выведенная неумелой рукой ярко-красная надпись:

Пиявки лобзанья, и спрута объятья,
И ласки гориллы, от похоти шалой...
А люди вам нравятся — ваши собратья?
Да нет, пожалуй.

Это про тебя, ступай отсюда.

— Похоже, мы приехали правильно, — заметил я.

Боб кивнул. Мы открыли ворота, прошли по плотно утоптанной земле широкого двора и постучались. Дверь отворилась почти мгновенно: на пороге стояла полная пожилая женщина в очках, одетая в голубое хлопчатобумажное платье в цветочек и видавшую виды красную кофту. Женщина дружелюбно улыбнулась и спросила:

— Сломалась машина?

Мы отрицательно покачали головами, и Боб объяснил, что мы приехали к мистеру Тэллису.

— К мистеру Тэллису?

Улыбка на лице нашей собеседницы увяла; женщина посерьезнела и покачала головой.

— Разве вы не знаете? — спросила она. — Мистер Тэллис оставил нас полтора месяца назад.

— Вы имеете в виду умер?

— Оставил нас, — повторила она и принялась рассказывать.

Мистер Тэллис снял дом на год. Они же с мужем переехали в старую лачугу за амбаром. Правда, уборная там снаружи, но они к этому привыкли, еще когда жили в Северной Дакоте, да и зима, по счастью, выдалась теплая. Во всяком случае, они радовались деньгам — при теперешних-то ценах! — да и мистер Тэллис был очень мил, особенно когда они поняли, что он любит уединение.

— Должно быть, это он повесил объявление на воротах?

Пожилая леди кивнула и объяснила, что это-де такая уловка и что снимать доску она не намерена.

— Он долго болел? — поинтересовался я.

— Совсем не болел, — отозвалась она. — Хотя постоянно твердил про больное сердце.

Из-за него-то мистер Тэллис и оставил этот мир. В ванной. Она нашла его там однажды утром, принеся ему из лавки кварту молока и дюжину яиц. Он был уже холодный как камень. Наверное, пролежал всю ночь. В жизни она не испытывала подобного потрясения. А сколько хлопот потом — никто ведь не знал, есть ли у него где-нибудь родня. Вызвали врача, затем шерифа и, только получив разрешение суда, похоронили беднягу, который к тому времени уже отнюдь не благоухал. А потом его книги, бумаги и одежду сложили в коробки и запечатали, и теперь все это хранится где-то в Лос-Анджелесе — на случай, если объявится наследник. Теперь они с мужем снова перебрались в дом, и она чувствует себя неловко, потому что бедный мистер Тэллис заплатил вперед и мог бы жить здесь еще четыре месяца. Но, с другой стороны, конечно, она рада, потому что пошли дожди, иногда и снег, и уборная в доме, а не во дворе, как когда они жили в лачуге, — большое дело.

Она замолчала и перевела дух. Мы с Бобом переглянулись.

— Раз так, мы, пожалуй, поедем, — сказал я.

Однако пожилая леди и слышать об этом не хотела.

— Зайдите, — принялась настаивать она, — ну зайдите же.

Мы немного помялись, но уступили и прошли вслед за нею через крошечную прихожую в гостиную. В углу горела керосиновая печка; жаркий воздух был насыщен почти осязаемым запахом жареного и пеленок. У окна в качалке сидел похожий на гнома старичок и читал воскресный комикс. Рядом с ним бледная девушка с озабоченным лицом — на вид ей было не больше семнадцати — держала на одной руке младенца, а другой застегивала розовую кофточку. Ребенок срыгнул: в уголках рта у него появились пузырьки молока. Оставив последнюю пуговицу незастегнутой, юная мама нежно утерла надутые губки младенца. Из открытой двери в соседнюю комнату доносилось свежее сопрано, исполнявшее под гитару «И час грядет» *.

— Это мой муж, мистер Коултон, — объявила пожилая женщина.

— Рад познакомиться, — не отрывая глаз от комикса, проговорил гном.

— А это наша внучка Кейти. Она в прошлом году вышла замуж.

— Вижу, — отозвался Боб. Он поклонился девушке и отпустил ей одну из своих знаменитых обаятельных улыбок. Кейти взглянула на него, словно он был предметом меблировки, застегнула последнюю пуговицу, молча повернулась и полезла по крутой лестнице на верхний этаж.

— А это, — указывая на нас с Бобом, продолжала м-с Коултон, — друзья мистера Тэллиса.

Нам пришлось объяснить, что это не совсем так. Нам известна лишь работа мистера Тэллиса: она нас так заинтересовала, что мы приехали сюда в надежде познакомиться с ним и вот узнали трагическую весть о его кончине.

Мистер Коултон поднял взгляд от газеты.

— Шестьдесят шесть, — сказал он. — Ему было всего шестьдесят шесть. А мне — семьдесят два. В октябре исполнилось.

Он торжествующе хихикнул, словно одержал победу, и вернулся к своему Смерчу Гордону — неуязвимому, бессмертному Смерчу, вечно странствующему рыцарю дев, но, увы, не таких, каковы они на самом деле, а таких, какими видятся идеалистам от бюстгальтерного производства.

— Я просмотрел то, что мистер Тэллис прислал к нам на студию, — проговорил Боб.

Гном опять поднял глаза.

— Вы киношник? — осведомился он.

Боб подтвердил.

Музыка в соседней комнате внезапно оборвалась на середине фразы.

— Важная шишка? — спросил мистер Коултон.

С очаровательной напускной скромностью Боб заверил его, что он всего-навсего сценарист, режиссурой балуется лишь от случая к случаю.

Гном медленно покивал головой.

— Я читал в газете, что Голдвин* сказал, будто всем важным шишкам наполовину срежут жалованье.

Его глазки радостно блеснули, и он опять торжествующе хихикнул. Затем, внезапно потеряв интерес к реальности, он вернулся к своим мифам.

Иисус перед Лаблином! Я попытался уйти от болезненной темы, осведомившись у м-с Коултон, знала ли она, что Тэллис интересовался кино. Однако пока я задавал этот вопрос, ее внимание привлекли шаги в соседней комнате.

Я обернулся. В дверях, одетая в черный свитер и клетчатую юбку, стояла — кто? Леди Гамильтон* в 16 лет, Нинон де Ланкло* того периода, когда Колиньи* лишил ее девственности, la petite Морфиль[1], Анна Каренина в классной комнате.

— Это Рози, — гордо объявила м-с Коултон, — наша вторая внучка. Рози учится пению, хочет стать киноактрисой, — доверительно сообщила она Бобу.

— Как интересно! — с энтузиазмом воскликнул Боб, поднявшись и пожимая руку будущей леди Гамильтон.

— Может, вы что-нибудь ей посоветуете? — предложила любящая бабка.

— Буду счастлив.

— Принеси еще стул, Рози.

Девушка вскинула ресницы и бросила на Боба короткий, но внимательный взгляд.

— Не возражаете, если мы посидим на кухне? — спросила она.

— Ну разумеется, нет!

Они скрылись в глубине дома. Глянув в окно, я увидел, что холмы снова в тени. Крысы-ящерицы закрыли глаза и притворились мертвыми — но только чтобы усыпить бдительность жертвы.

---

[1] Крошка Морфиль *(франц.)*.

— Это больше чем удача, — говорила м-с Коултон, — это перст провидения! Как раз когда Рози нужна поддержка, появляется важная шишка из кино.

— Как раз когда кино вот-вот прогорит, как и эстрада, — не поднимая глаз от страницы, вмешался гном.

— Почему ты так говоришь?

— Это не я, это Голдвин, — ответил старик.

Из кухни донесся смех, на удивление младенческий. Боб явно делал успехи. Я почувствовал приближение второй поездки в Акапулько — с последствиями, еще более катастрофическими, чем после первой.

Бесхитростная сводница м-с Коултон радостно улыбнулась.

— Мне нравится ваш приятель, — сказала она. — Умеет обращаться с детьми. Никакого дешевого форса.

Я молча проглотил скрытый укор и опять спросил, знает ли она, что мистер Тэллис интересовался кино.

Она кивнула. Да, он говорил ей, что послал что-то на одну из студий. Хотел немного подзаработать. Не для себя — он хоть и потерял почти все, что у него когда-то было, но на жизнь ему хватало. Нет, ему нужны были деньги, чтобы посылать в Европу. Он был женат на немецкой девушке — давно, еще перед первой мировой войной. Потом они развелись, и она с ребенком осталась в Германии. А теперь в живых осталась одна внучка. Мистер Тэллис хотел, чтобы она приехала сюда, но в Вашингтоне не разрешили. Поэтому ему оставалось лишь послать ей побольше денег, чтобы она могла нормально питаться и закончить учение. Вот он и написал для кино эту штуку.

Ее слова вдруг напомнили мне эпизод из сценария Тэллиса — что-то о детях послевоенной Европы, продававших себя за плитку шоколада. Не была ли его внучка одной из таких девочек? «Ich давать тебе Schokolade, du давать мне Liebe [1]. Поняла?» Они понимали прекрасно. Плитка до и две после.

— А что случилось с его женой? И с родителями внучки? — спросил я.

— Они оставили нас, — ответила м-с Коултон. — Кажется, они были евреи или что-то в этом роде.

— Заметьте, — внезапно вмешался гном, — я не против евреев. Но все же... — Он помолчал. — Может, Гитлер был не такой уж болван.

---

[1] Я... шоколад, ты... любовь *(нем.)*.

Я понял, что на сей раз он вынес вердикт всяческим возмутителям спокойствия.

Из кухни снова послышался взрыв детского веселья. Шестнадцатилетняя леди Гамильтон смеялась так, словно ей было лет одиннадцать. А между тем насколько точно выверен и технически совершенен был взгляд, которым она встретила Боба! Сильнее всего в Рози настораживало, конечно, то, что она была невинной и одновременно искушенной, расчетливой искательницей приключений и вместе с тем школьницей с косичками.

— Он женился вторично, — продолжала пожилая леди, не обращая внимания ни на хихиканье, ни на антисемитизм. — На актрисе. Он мне говорил, как ее звали, да я позабыла. Но это продолжалось недолго. Она сбежала с каким-то типом. И правильно, я считаю, раз у него осталась жена в Германии. Не нравится мне, когда разводятся да выходят за чужих мужей.

Наступило молчание; я мысленно пытался представить биографию м-ра Тэллиса, которого в жизни не видел. Молодой человек из Новой Англии *. Из хорошей семьи, образован неплохо, но без педантичности. Одарен, но не настолько, чтобы променять досужую жизнь на тяготы профессионального писательства. Из Гарварда отправился в Европу, вел приятную жизнь, везде знакомился с самыми интересными людьми. А потом в Мюнхене — я в этом убежден — он влюбился. Мысленно я представил себе девушку в немецком эквиваленте одежд статуи Свободы — дочь какого-нибудь преуспевающего художника либо покровителя искусств. Одно из тех почти бесплотных созданий, которые были зыбким продуктом вильгельмовского благосостояния и культуры *; существо, одновременно неуверенное и впечатлительное, очаровательно непредсказуемое и убийственно идеалистическое, tief [1] и немецкое. Тэллис влюбился, женился, несмотря на холодность жены произвел ребенка и едва не задохнулся в гнетущей душевности домашней атмосферы. Какими свежими и здоровыми в сравнении с этим показались ему воздух Парижа и окружение молодой бродвейской актрисы, которую он встретил, приехав туда отдохнуть.

La belle Américaine,
Qui rend les hommes fous,

---

[1] Глубокое *(нем.)*.

Dans deux ou trois semaines
Partira pour Corfou [1].

Но эта не уехала на Корфу, а если и уехала, то в обществе Тэллиса. И она не была ни холодной, ни зыбкой, ни неуверенной, ни впечатлительной, ни глубокой, ни душевной; снобизма от искусства в ней тоже не было. К несчастью, она была до некоторой степени сукой. И с годами степень эта все росла. К тому времени, как Тэллис с нею развелся, она превратилась в суку окончательно.

Оглянувшись назад с выгодной позиции 1947 года, придуманный мною Тэллис мог весьма отчетливо увидеть все, что он наделал: ради физического удовольствия, сопровождавшегося возбуждением и исполнением эротических мечтаний, обрек жену и дочь на смерть от руки маньяков, а внучку — на ласки первого попавшегося солдата или спекулянта с полными карманами леденцов либо способного прилично накормить.

Романтические фантазии! Я повернулся к м-с Коултон.

— Жаль, что я его не знал, — проговорил я.

— Он вам понравился бы, — убежденно ответила она. — Мистер Тэллис нам всем нравился. Я хочу вам коечто сказать, продолжала она. — Всякий раз, когда я езжу в Ланкастер, в дамский бридж-клуб, я захожу на кладбище навестить его.

— И я уверен, что это ему противно, — добавил гном.

— Но Элмер! — протестующе воскликнула его жена.

— Да я же слышал, как мистер Тэллис сам говорил об этом, — не сдавался мистер Коултон. — И не раз. «Если я умру здесь, — говорил он, — то пусть меня схоронят в пустыне».

— То же самое он написал в сценарии, который прислал на студию, — подтвердил я.

— Правда? — в голосе м-с Коултон послышалось явное недоверие.

— Да, он даже описал могилу, в какой хотел бы лежать. Одинокую могилу под юккой.

— Я мог бы ему объяснить, что это незаконно, — вставил гном. — С тех пор как владельцы похоронных контор

---

[1] Влюбленных до истерики
Мужчин намучив всласть,
Красотка из Америки
На Корфу собралась *(франц.)*.

протащили в Сакраменто[1] свое предложение. Я знаю случай, когда человека пришлось выкопать через двадцать лет после того, как его похоронили за теми холмами. — Он махнул рукой в сторону гойевских ящеровидных крыс. — Чтобы все уладить, племяннику пришлось выложить триста долларов.

При этом воспоминании гном хихикнул.

— А вот я не хочу, чтобы меня хоронили в пустыне, — категорично заявила его жена.

— Почему?

— Слишком одиноко, — ответила она. — Просто ужасно.

Пока я раздумывал, о чем говорить дальше, по лестнице с пеленкой в руке спустилась бледная юная мать. На секунду остановившись, она заглянула в кухню.

— Послушай-ка, Рози, — проговорила она низким сердитым голосом, — теперь тебе неплохо бы для разнообразия поработать.

С этими словами она отвернулась и направилась в прихожую, где через открытую дверь виднелись все удобства ванной комнаты.

— Опять у него понос, — проходя мимо бабки, с горечью констатировала она.

Раскрасневшаяся, с горящими глазами, будущая леди Гамильтон вышла из кухни. За нею в дверном проеме показался будущий Гамильтон, который изо всех сил пытался представить себе, как он станет лордом Нельсоном.

— Бабуля, мистер Бриггз считает, что сможет устроить мне кинопробу, — сообщила девушка.

Вот идиот! Я встал.

— Нам пора, Боб, — сказал я, понимая, что уже слишком поздно.

Через приоткрытую дверь из ванной доносилось хлюпанье стираемых в тазу пеленок.

— Слушай, — шепнул я Бобу, когда мы проходили мимо.

— Что слушать? — удивился он.

Я пожал плечами. У них есть уши, а не слышат.

Таким образом, в тот раз мы ближе всего подобрались к Тэллису во плоти. В том, что написано ниже, читатель найдет отражение его мыслей. Я публикую текст «Обезьяны

---

[1] Административный центр штата Калифорния.

и сущности» таким, каким он ко мне попал, без каких бы то ни было переделок и комментариев.

II. СЦЕНАРИЙ

Титры; в конце — под аккомпанемент труб и хора ликующих ангелов имя ПРОДЮСЕРА.

Музыка меняется; и если бы Дебюсси * был жив, он сделал бы ее невероятно утонченной, аристократичной, начисто лишив вагнеровской похотливости * и развязности, равно как штраусовской вульгарности *. Дело в том, что на экране — предрассветный час, причем снятый не на «Техниколоре» [1], а на кое-чем получше. Кажется, ночь замешкалась во мраке почти гладкого моря, однако по краям неба прозрачно-бледная зелень — чем ближе к зениту, тем голубее. На востоке еще видна утренняя звезда.

Рассказчик

Невыразимая красота, непостижимый покой...
Но, увы, на нашем экране
Этот символ символов,
Наверное, будет похож
На иллюстрацию миссис Имярек
К стихотворению Эллы
Уилер Уилкокс *.
Из всего высокого, что есть в природе,
Искусство слишком часто производит
Только смешное.
Но нужно идти на риск,
Потому что вам, сидящим в зале,
Как угодно, любою ценой,
Ценою стишков Уилкокс или еще похуже,
Как-то нужно напомнить,
Вас нужно заставить вспомнить,
Вас нужно умолить, чтобы вы захотели
Понять, что есть что.

По мере того как Рассказчик говорит, символ символов вечности постепенно исчезает, и на экране появляется пе-

---

[1] Фирменное название системы цветного кино.

реполненный зал роскошного кинотеатра. Свет становится ярче, и мы вдруг видим, что зрители — это хорошо одетые бабуины обоих полов и всех возрастов, от детей до впавших в детство.

Рассказчик

Но человек —
Гордец с недолгой и непрочной властью —
Не знает и того, в чем убежден.
Безлика его сущность перед небом,
Она так корчит рожи обезьяньи,
Что ангелы рыдают.

Новый кадр: обезьяны внимательно смотрят на экран. На фоне декораций, какие способны выдумать только Семирамида* или Метро-Голдвин-Майер[1], мы видим полногрудую молодую бабуинку в перламутровом вечернем платье, с ярко накрашенными губами, мордой, напудренной лиловой пудрой, и горящими, подведенными черной тушью глазами. Сладострастно покачиваясь — насколько позволяют ей короткие ноги, — она выходит на ярко освещенную сцену ночного клуба и под аплодисменты нескольких сотен пар волосатых рук приближается к микрофону в стиле Людовика XV*. За ней на легкой стальной цепочке, прикрепленной к собачьему ошейнику, выходит на четвереньках Майкл Фарадей*.

Рассказчик

«Не знает и того, в чем убежден...» Едва ли следует добавлять: то, что мы называем знанием, — лишь другая форма невежества, разумеется, высокоорганизованная, глубоко научная, но именно поэтому и более полная, более чреватая злобными обезьянами. Когда невежество было просто невежеством, мы уподоблялись лемурам, мартышкам и ревунам. Сегодня же благодаря нашему знанию — высшему невежеству — человек возвысился до такой степени, что самый последний из нас — это бабуин, а самый великий — орангутан или, если он возвел себя в ранг спасителя общества, даже самая настоящая горилла.

---

[1] Название одной из самых известных голливудских киностудий.

Юная бабуинка тем временем дошла до микрофона. Обернувшись, она замечает, что Фарадей стоит на коленях, пытаясь распрямить согнутую ноющую спину.

— Место, сэр, место!

Тон у нее повелительный; она наносит старику удар своим хлыстом с коралловой ручкой. Фарадей отшатывается и опять опускается на четвереньки; публика в зале радостно хохочет. Бабуинка посылает ей воздушный поцелуй, затем, подвинув микрофон поближе, обнажает свои громадные зубы и альковным контральто начинает с придыханием самоновейший шлягер.

Любовь, любовь, любовь,
Любовь, ты — квинтэссенция
Всего, о чем я думаю, что совершаю я.
Хочу, хочу, хочу,
Хочу детумесценции [1],
Хочу тебя.

Крупный план: лицо Фарадея, на котором последовательно появляются изумление, отвращение, негодование и, наконец, такие стыд и мука, что по морщинистым щекам начинают катиться слезы.

Монтажная композиция: кадры, изображающие радиослушателей в Земле Радиофицированной.

Полная бабуинка-домохозяйка жарит колбасу, а динамик дарит ей воображаемое исполнение и реальное обострение самых сокровенных ее желаний.

Маленький бабуинчик встает в кроватке, достает с комода портативный радиоприемник и настраивает его на обещание детумесценции.

Бабуин-финансист средних лет отрывается от биржевых бюллетеней и слушает: глаза закрыты, на губах экстатическая улыбка. Хочу, хочу, хочу, хочу.

Двое бабуинов-подростков неумело обнимаются под музыку в стоящей у обочины машине. «Хочу тебя-а». Рты и лапы крупным планом.

Снова кадры с плачущим Фарадеем. Певица оборачивается, замечает его искаженное лицо, в гневе вскрикивает и принимается бить старика: один жестокий удар следует за другим; публика оглушительно рукоплещет. Золотые и яшмовые стены ночного клуба тают, и в течение несколь-

---

[1] Спад напряжения половых органов *(физиол.)*.

ких секунд мы видим обезьяну и ее мудрого пленника на фоне рассветного полумрака первого эпизода. Затем фигуры постепенно исчезают, и перед нами остается лишь символ символов вечности.

Рассказчик

Море, яркая звезда, бескрайний кристалл неба — ну, конечно, вы их помните! Конечно! Неужели же вы забыли, неужели никогда так и не открыли для себя того, что лежит за пределами умственного зоосада, за пределами сумасшедшего дома, что внутри вас, за пределами всего этого Бродвея * театриков воображения, в которых яркими огнями всегда горит лишь ваше имя?

Камера проходит по небу, и вот линию горизонта разрывает черный иззубренный силуэт скалистого острова. Мимо острова плывет большая четырехмачтовая шхуна. Камера приближается, и мы видим, что шхуна идет под новозеландским флагом и называется «Кентербери». Капитан и кучка пассажиров стоят у поручней, напряженно глядя на восток. Сквозь их бинокли нам видна линия голого побережья. И тут почти внезапно из-за силуэтов далеких гор встает солнце.

Рассказчик

Только что народившийся яркий день — это двадцатое февраля две тысячи сто восьмого года, а мужчины и женщины на палубе — это члены новозеландской экспедиции по вторичному открытию Северной Америки. Обойденная воюющими сторонами в третьей мировой войне — вряд ли нужно говорить, что не из соображений гуманности, а просто потому, что, так же как и Экваториальная Африка, она находилась слишком далеко, чтобы кто-нибудь стал тратить время на ее уничтожение, — Новая Зеландия выжила и даже скромненько процветала в своей изоляции, которая из-за опасного уровня радиоактивного заражения в остальных частях света была почти абсолютной в течение более ста лет. Теперь опасность миновала, и первые исследователи отправились вновь открывать Америку,

но на этот раз с запада. А тем временем на другой стороне планеты чернокожие люди спустились по Нилу и пересекли Средиземное море. Как прекрасны ритуальные пляски в населенных летучими мышами залах Матери Парламентов *! А лабиринты Ватикана — что за превосходное место для проведения долгих и замысловатых обрядов обрезания женщин! Мы всегда получаем именно то, что просим.

Экран темнеет, слышен гром орудийной пальбы. Когда свет загорается снова, позади группы бабуинов в мундирах, опустившись на корточки, сидит на привязи доктор Альберт Эйнштейн *.

Камера движется по узкой полосе ничейной земли, усеянной камнями, сломанными деревьями и трупами, и останавливается на другой группе животных — с другими знаками отличия и под другим флагом, однако с таким же доктором Альбертом Эйнштейном, на такой же привязи, точно так же сидящим на корточках подле их высоченных сапог. Под взъерошенными волосами на добром, наивном лице выражение болезненного смущения. Камера перемещается туда и обратно, от одного Эйнштейна к другому. Крупный план: два одинаковых лица уставились друг на друга сквозь частокол начищенных кожаных сапог своих хозяев.

На звуковой дорожке голос, саксофоны и виолончели дружно тоскуют по детумесценции.

— Это ты, Альберт? — неуверенно спрашивает один из Эйнштейнов.

Другой медленно кивает.

— Боюсь, что да, Альберт.

Внезапный ветер полощет в небе флаги враждующих армий. Цветные узоры на флагах раскрываются, затем флаги опять сворачиваются, вновь разворачиваются и опять свертываются.

Рассказчик

Вертикальные полосы, горизонтальные полосы, крестики и нолики, орлы и молоты. Чисто условные знаки.

Но всякая реальность, если к ней привязан знак, уже зависит от своего знака. Госвами и Али жили мирно*. Но у меня есть флаг, у тебя есть флаг, у всех бабуино-божественных детей есть флаги. Даже Али и Госвами имеют флаги, и вот, благодаря этому оправдывается многое: например, тот у кого есть крайняя плоть, выпускает кишки тому, у кого ее нет, обрезанец стреляет в необрезанца, насилует его жену и поджаривает его детей на медленном огне.

Но тем временем над флагами плывут громады облаков, за облаками — голубая пустота, символ нашей безликой сущности, а у основания флагштока растет пшеница, и изумрудный рис, и просо. Хлеб для плоти и хлеб для духа. Нам нужно сделать выбор между хлебом и флагами. И вряд ли нужно добавлять, что мы почти единодушно выбираем флаги.

Камера опускается от флагов к Эйнштейнам, а с них переходит на обильно украшенных знаками отличия генштабистов на заднем плане. Неожиданно оба фельдмаршалиссимуса одновременно подают какую-то команду. Мгновенно с обеих сторон появляются бабуины-техники с моторизованными аэрозольными установками. На баках с аэрозолем одной армии написано слово «Супертуляремия», на баках противника — «Сап повышенного качества, 99,44% чистоты гарантируется». У каждой группы техников с собой талисман — Луи Пастер* на цепочке. Звуковая дорожка напоминает о девушке-бабуинке: «Хочу, хочу, хочу, хочу детумесценции...» Вскоре эти сладострастные напевы переходят в мелодию «Земля надежды и славы»*, исполняемую сводным духовым оркестром и четырнадцатитысячным хором.

Рассказчик

Что за земля, ты спросишь? Я отвечу:
Любая старая земля.
И слава, ясно, Обезьяньему Царю.
Что ж до надежды,
Ее — будь счастливо твое сердечко — нет вообще,
Есть лишь катастрофически большая вероятность
Внезапного конца

Или мучительнейшей, дюйм за дюймом,
Последней и неисцелимой
Детумесценции.

Крупный план: лапы и вентили; затем камера отъезжает. Из баков вырываются клубы желтого дыма и лениво ползут по ничейной земле навстречу друг другу.

Рассказчик

Сап, друзья мои, сап — болезнь лошадиная, у людей встречается редко. Но не бойтесь: наука легко может превратить ее в болезнь универсальную. А вот и ее симптомы. Дикие боли во всех суставах. Гнойники по телу. Под кожей — твердые узелки, которые в конце концов прорываются и превращаются в шелушащиеся язвы. Тем временем воспаляется слизистая оболочка носа, откуда начинает обильно выделяться зловонный гной. В ноздрях вскоре образуются язвы, которые поражают окружающие кости и хрящи. С носа инфекция переходит на глаза, рот, глотку и бронхиальное дерево. Через три недели большинство больных умирает. Позаботиться о том, чтобы умирали все поголовно, было поручено группе блестящих молодых докторов наук, которые служат сейчас вашему правительству. И не только ему, а всем другим, избранным или самолично назначившим себя огранизаторами всемирной коллективной шизофрении. Биологи, патологи, физиологи — вот они идут домой, к семьям, после тяжелого трудового дня в лабораториях. Объятия сладкой женушки, возня с детками. Спокойный обед с друзьями, затем вечер камерной музыки, а может, умный разговор о политике или философии. В одиннадцать — постель и привычный экстаз супружеской любви. А утром, после апельсинового сока и овсяных хлопьев, они опять спешат на службу — выяснять, каким образом еще большее число семей, таких же, как их собственные, можно отравить еще более смертоносным штаммом bacillus mallei [1].

Маршалиссимусы снова выкрикивают команду. Обезьяны в сапогах, отвечающие за запас гениев в каждой армии, резко щелкают бичами и дергают за сворки.

Крупный план: Эйнштейны пробуют сопротивляться.

---

[1] Бациллы сапа (*лат.*).

— Нет, нет... не могу. Говорю же, не могу.
— Предатель!
— Где твой патриотизм?
— Грязный коммунист!
— Вонючий буржуа! Фашист!
— Красный империалист!
— Капиталист-монополист!
— Получай же!
— Получай!

Избитых, исполосованных плетьми, полузадушенных Эйнштейнов подтаскивают наконец к неким подобиям караульных будок. Внутри будок — приборные панели с циферблатами, кнопками и тумблерами.

Рассказчик

Но это ж ясно.
Это знает каждый школьник.
Цель обезьяной выбрана, лишь средства — человеком.
Кормилец Papio и бабуинский содержанец,
Несется к нам на все готовый разум.
Он здесь, воняя философией, тиранам славословит;
Здесь Пруссии клеврет, с общедоступной «Историей» Гегеля под мышкой;
Здесь, с медициной вместе, готов ввести гормоны половые от Обезьяньего Царя.
Он здесь, с риторикою вместе: слагает вирши он, она их следом пишет,
Здесь, с математикою вместе, готов направить все свои ракеты
На дом сиротский, что за океаном;
Он здесь — уже нацелился, и фимиам курит благочестиво,
И ждет, что Богородица скомандует: «Огонь!»

Духовой оркестр уступает место самому заунывному из «Вурлитцеров», вместо «Земли надежды и славы» звучит «Христово воинство»*. В сопровождении его высокопреподобия настоятеля и капитула величественно шествует его преосвященство бабуин-епископ Бронкса [1], держа посох в унизанной перстнями лапе; он собирается

[1] Административный округ Нью-Йорка, в котором находятся главным образом жилые кварталы.

благословить обоих фельдмаршалиссимусов на их патриотические начинания.

Рассказчик

Церковь и государство,
Алчность и коварство —
Два бабуина в одной верховной горилле.

Omnes[1]

Аминь, аминь.

Епископ

In nominem Babuini[2].

На звуковой дорожке звучит лишь vox humana[3] и ангельские голоса певчих.

«Крест (dim) святой (pp) нас в битву (ff) за собой ведет»[4].

Огромные лапы ставят Эйнштейнов на ноги; крупным планом камера показывает, как эти лапы сжимают кисти ученых. Пальцы, которые писали уравнения и исполняли музыку Иоганна Себастьяна Баха, направляемые обезьянами, хватаются за рукояти рубильников и с ужасом и отвращением опускают их вниз. Слышен негромкий щелчок, затем надолго наступает тишина, которую в конце концов прерывает голос Рассказчика.

Рассказчик

Даже реактивным снарядам, летящим со сверхзвуковой скоростью, требуется определенное время, чтобы достичь цели. Давайте-ка поэтому перекусим, ребята, в ожидании Судного дня!

---

[1] Все (*лат.*).
[2] Во имя Бабуина (*лат.*).
[3] Название одного из регистров органа (*лат.* — человеческий голос).
[4] Третья и четвертая строки англиканского гимна с указаниями для исполнителей (затихая, очень тихо, очень громко).

Обезьяны открывают ранцы, швыряют Эйнштейнам по куску хлеба, несколько морковок и кусочков сахара, а сами наваливаются на ром и копченую колбасу.

Наплыв: палуба шхуны, ученые экспедиции тоже завтракают.

Рассказчик

Это — некоторые из переживших Судный день. Что за милые люди! И цивилизация, которую они представляют, тоже милая. Конечно, ничего особенно захватывающего и эффектного. Ни Парфенонов или Сикстинских капелл *, ни Ньютонов, Моцартов и Шекспиров, но зато ни Эццелино *, ни Наполеонов, Гитлеров и Джеев Гулдов *, ни инквизиции и НКВД, ни чисток, ни погромов, ни судов Линча *. Ни высот, ни бездн, но зато вдоволь молока для детей, сравнительно высокий интеллектуальный коэффициент и все прочее — спокойно, провинциально, весьма уютно, разумно и гуманно.

Один из стоящих на палубе подносит к глазам бинокль и всматривается в берег, до которого всего мили две. Внезапно у него вырывается радостное и удивленное восклицание.

— Взгляните-ка! — Он передает бинокль одному из спутников. — Там, на гребне холма.

Тот смотрит.

Крупный план: низкие холмы. На верхушке одного из них на фоне неба вырисовываются три нефтяные вышки, словно оборудование модернизированной Голгофы повышенной производительности.

— Нефть! — возбужденно восклицает второй наблюдатель. — И вышки еще стоят.

— Еще стоят?

Общее изумление.

— Это означает, — говорит старый геолог профессор Крейги, — что взрывов здесь практически не было.

— Взрывы совершенно не обязательны, — объясняет его коллега с кафедры ядерной физики. — Радиоактивное заражение действует не хуже и на гораздо больших площадях.

— Вы, похоже, забыли о бактериях и вирусах, — вступает в разговор биолог, профессор Грэмпиен. Он говорит тоном человека, который почувствовал себя ущемленным.

Его молодая жена — она всего-навсего антрополог и не может поэтому внести в спор свою лепту — ограничивается тем, что бросает на физика злобный взгляд.

Ботаник мисс Этель Хук, которой твидовый костюм придает весьма спортивный, а очки в роговой оправе — весьма интеллигентный вид, напоминает, что тут почти наверняка и в больших масштабах имело место заражение растений. За подтверждением она оборачивается к своему коллеге доктору Пулу; тот одобрительно кивает.

— Болезни продовольственных культур, — наставительно сообщает он, — должны быть рассчитаны на длительный эффект, едва ли менее серьезный, нежели эффект, производимый расщепляемыми веществами или искусственными пандемиями. Возьмем, к примеру, картофель...

— Ну, стоит ли заниматься всякой мудреной галиматьей? — грубовато выпаливает механик экспедиции доктор Кадворт. — Перережьте водоснабжение, и через неделю все будет кончено. Без водички — кверху лапками птички, — в восторге от своей шутки, оглушительно хохочет он.

Тем временем психолог доктор Шнеглок сидит и слушает с улыбкой, едва маскирующей презрение.

— А к чему заниматься водоснабжением? — осведомляется он. — Нужно лишь пригрозить соседу оружием массового уничтожения. Остальное предоставьте панике. Вспомните-ка, что, к примеру, сделала психологическая подготовка с Нью-Йорком. Коротковолновые трансляции из-за океана, заголовки в вечерних газетах. В результате восемь миллионов жителей тут же принялись затаптывать друг друга насмерть на мостах и в туннелях. Выжившие рассеялись за городом — словно саранча, словно полчища чумных крыс. Они заражали воду. Распространяли брюшной тиф, дифтерит, венерические болезни. Кусали, рвали, грабили, убивали, насиловали. Питались дохлыми собаками и трупами детей. По ним без предупреждения открывали огонь фермеры, их избивала дубинками полиция, обстреливала из пулеметов национальная гвардия [1], их вешали комитеты самообороны. То же самое происходило в Чикаго, Детройте, Филадельфии, Вашинг-

[1] В США — внутренние войска, подчиняющиеся администрации штата.

тоне, Лондоне, Париже, Бомбее, Шанхае, Токио, Москве, Киеве и Сталинграде — в каждой столице, в каждом промышленном центре, в каждом порту, на каждом железнодорожном узле, во всем мире. Цивилизация была разрушена без единого выстрела. Никак не могу понять: почему военные считают, что без бомб не обойтись?

Рассказчик

Любовь изгоняет страх, страх в свой черед изгоняет любовь. И не только любовь. Страх изгоняет ум, доброту, изгоняет всякую мысль о красоте и правде. Остается лишь немое или нарочито юмористическое бездумие человека, который прекрасно знает, что непотребное Нечто сидит в углу его комнаты и что дверь заперта, а окон и вовсе нет. И вот оно набрасывается на него. Человек чувствует пальцы на своем рукаве, в нос ему бьет смрадное дыхание — это помощник палача чуть ли не с нежностью наклонился к нему. «Твоя очередь, приятель. Будь добр, сюда». На секунду тихий ужас человека превращается в ярость — сколь неистовую, столь же тщетную. И нет уже человека, живущего среди себе подобных, нет разумного существа, членораздельно разговаривающего с другим разумным существом, — есть лишь капкан и в нем окровавленное животное, которое бьется и визжит. Ведь в конце концов страх изгоняет и человеческую сущность. А страх, милые мои друзья, страх — это основа основ, фундамент современной жизни. Страх перед разрекламированной техникой, которая, поднимая уровень нашей жизни, увеличивает вероятность нашей насильственной смерти. Страх перед наукой, которая одной рукой отбирает больше, нежели столь щедро дает другой. Страх перед явно гибельными институтами, за которые мы в нашей самоубийственной преданности готовы убивать и умирать. Страх перед великими людьми, под возгласы всенародного одобрения возвышенными нами до власти, которую они неминуемо используют, чтобы убивать нас или превращать в рабов. Страх перед войной, которой мы не хотим, и тем не менее делаем все, чтобы ее развязать.

Пока Рассказчик говорит, на экране наплыв: бабуины и пленные Эйнштейны завтракают под открытым небом.

Они со смаком едят и пьют, а тем временем на звуковой дорожке первые два такта «Христова воинства» повторяются опять и опять, быстрее и быстрее, громче и громче. Внезапно музыку прерывает первый страшный взрыв. Темнота. Затем долгие и оглушительные взрывы, грохот, визг, вой. Потом наступает тишина, экран светлеет, и снова на нем предрассветный час и утренняя звезда; слышна нежная музыка.

Рассказчик

Невыразимая красота, непостижимый покой...

Далеко на горизонте в небо вздымается столб розоватого дыма, приобретает форму громадной поганки и висит, заслоняя одинокую планету.

Наплыв: все та же сцена завтрака. Все бабуины мертвы. Оба Эйнштейна, в кошмарных ожогах, лежат под останками того, что еще недавно было цветущей яблоней. Из стоящего неподалеку бака все еще выползает «Сап повышенного качества».

На заднем плане — огромная канализационная труба, расколотая со стороны моря.

Рассказчик

Парфенон, Колизей * —
О слава Греции, величье и т. д.
Есть и другие —
Фивы * и Копан *, Ареццо * и Аджанта *;
То — города, что брали силой небо
И спящую Божественную мудрость.
Виктория же славу заслужила,
Бесспорно, лишь одним ватерклозетом,
А Франклин Делано снискал величье
Сей исполинской сточною трубою *,
Давно сухой, разбитой... Ихавод!*
Презервативы из нее давно
(Нетонущие, как надежда или похоть)
Сей дикий брег не убеляют, словно россыпь
То ль анемонов, то ли маргариток.

Первый Эйнштейн

— За что? Почему?

Второй Эйнштейн

— Мы же никому не делали зла...

Первый Эйнштейн

— Жили только ради истины...

Рассказчик

Вот потому-то вы и умираете на жестокой службе у бабуинов. Паскаль объяснил все это еще более трехсот лет назад. «Из истины мы делаем идола, но истина без сострадания — это не Бог, а лишь мысленное его отображение, это идол, которого мы не должны любить и которому не должны поклоняться». Вы жили ради поклонения идолу. Но в конечном счете имя каждого идола — Молох *. Вот так-то, друзья мои, вот так-то.

Подхваченные внезапным порывом ветра, неподвижные клубы ядовитого газа бесшумно ползут, его зеленовато-гнойные кольца крутятся вокруг цветов яблони, потом опускаются и окутывают распростертые фигуры. Сдавленные хрипы возвещают о том, что наука двадцатого века наложила на себя руки.

Наплыв: мыс на побережье Южной Калифорнии, милях в двадцати западнее Лос-Анджелеса. Ученые экспедиции высаживаются из вельбота.

Тем временем ученые во главе с доктором Крейги пересекли пляж, взобрались на пологую скалу и движутся песчаной, выветренной равниной к далеким нефтяным вышкам на холмах.

Камера задерживается на докторе Пуле, главном ботанике экспедиции. Словно пасущаяся овца, он переходит от растения к растению, рассматривая цветы через лупу, собирая образцы в специальную коробку и делая пометки в черной книжечке.

Рассказчик

А вот и наш герой — Алфред Пул, доктор наук, более известный своим студентам и младшим коллегам как Тихоня-Пул. Это прозвище, увы, к нему весьма подходит. Как видите, он не урод, член Новозеландского королевского общества[1] и, безусловно, не дурак, однако в практической жизни ум его словно бы лежит под спудом, а привлекательность никак не может раскрыться. Он живет как будто за стеклянной стеной: его всем видно, и сам он всех видит, но вот вступить в контакт не в состоянии. А виной тому — и доктор Шнеглок с кафедры психологии охотно вам все объяснит, — виной тому его преданная и глубоко вдовствующая мать, эта святая, этот нравственный оплот, этот вампир, до сих пор занимающий председательское место за обеденным столом сына и собственными руками стирающий его шелковые сорочки и самоотверженно штопающий его носки.

Кипя энтузиазмом, в кадре появляется мисс Хук.

— Ну разве не интересно, Алфред? — восклицает она.

— Очень, — учтиво отвечает доктор Пул.

— Увидеть Yucca gloriosa[2] на ее родине, в естественной обстановке — ну кто мог предположить, что нам представится такой случай? И Artemisia tridentata[3]!

— На Artemisia еще есть несколько цветков, — замечает доктор Пул. — Вы не заметили в них ничего необычного?

Мисс Хук разглядывает цветки, потом отрицательно качает головой.

— Они гораздо крупнее тех, что описаны в старинных учебниках, — с явно сдерживаемым волнением говорит он.

— Гораздо крупнее? — повторяет она. Ее лицо оживляется. — Алфред, неужели вы думаете?..

— Готов поспорить, — кивает доктор Пул, — это тетраплоидия *. Вызвана гамма-облучением.

— О, Алфред! — в восторге восклицает мисс Хук.

Рассказчик

В своем твидовом костюме и роговых очках Этель Хук являет собой образец необычайно цветущей, удивительно

---

[1] Название научного общества.

[2] Юкка глориоза (*лат*) — древовидное растение семейства агавовых.

[3] Трехзубчатая полынь (*лат.*).

расторопной и чрезвычайно английской девушки — на такой вам и в голову не придет жениться, если только вы сами не столь же цветущи, не в той же мере англичанин и не расторопны в еще большей степени. Видимо, именно потому в свои тридцать пять Этель еще не замужем. Еще нет, но она смеет надеяться, что скоро положение изменится. И хотя милый Алфред еще не сделал ей предложения, она точно знает (и знает, что он тоже знает): его матери этого очень хочется, а ведь Алфред — образцово послушный сын. К тому же у них так много общего: ботаника, университет, поэзия Вордсворта *. Она уверена, что прежде чем они вернутся в Окленд, обо всем уже будет договорено — скромная церемония, совершенная милым доктором Трильямсом, медовый месяц в Южных Альпах [1], возвращение в чудный домик в Маунт-Идене, а через полтора года первый ребенок...

•

В кадре остальные члены экспедиции, карабкающиеся на холм с нефтяными вышкам. Идущий впереди профессор Крейги останавливается, утирает лоб и пересчитывает своих подопечных.

— А где Пул? — спрашивает он. — И Этель Хук?

Кто-то делает движение рукой, и на дальнем плане мы видим фигурки ботаников.

В кадре снова профессор Крейги: он прикладывает руки рупором ко рту и зовет:

— Пул! Пул!

— Чего вы не дадите им немножко полюбезничать? — добродушно осведомляется Кадворт.

— Вот еще! Полюбезничать! — насмешливо фыркает доктор Шнеглок.

— Но ведь она явно к нему неравнодушна.

— Где двое, там и шашни.

— Уж будьте уверены, она заставит его сделать предложение.

— С таким же успехом можно ожидать, что он переспит с собственной матерью, — многозначительно замечает доктор Шнеглок.

— Пул! — снова кричит профессор Крейги и, повернув-

---

[1] Горы в Новой Зеландии.

шись к остальным, раздраженно добавляет: — Терпеть не могу, когда кто-то отстает. В незнакомой стране... Кто его знает...

И снова принимается орать.

В кадре опять доктор Пул и мисс Хук. Услышав крики, они отрываются от своей тетраплоидной Artemisia, машут руками и спешат вдогонку остальным. Внезапно доктор Пул замечает нечто, заставляющее его громко вскрикнуть.

— Смотрите! — Он указывает пальцем.

— Что это?

— Echinocactus hexaedrophorus [1], да какой красивый!

Средний план: доктор Пул замечает среди зарослей полыни полуразрушенный домик. Крупный план: кактус у двери между двумя камнями. В кадре снова доктор Пул. Из висящего на поясе кожаного футляра он достает длинный и узкий садовый совок.

— Вы хотите его выкопать?

Вместо ответа он подходит к кактусу и присаживается на корточки.

— Профессор Крейги рассердится, — протестует мисс Хук.

— Догоните и успокойте его.

Несколько секунд мисс Хук озабоченно смотрит на доктора Пула.

— Мне так не хочется оставлять вас одного, Алфред.

— Вы говорите, словно я пятилетний ребенок, — раздраженно отвечает он. — Ступайте, я сказал.

Он отворачивается и принимается выкапывать кактус.

Мисс Хук подчиняется не сразу, а какое-то время молча смотрит на него.

Рассказчик

Трагедия — это фарс, вызывающий у нас сочувствие, фарс — трагедия, которая происходит не с нами. Этакая твидовая и радостная, цветущая и расторопная мисс Хук — объект самого легкого сатирического жанра и вместе с тем субъект личного дневника. Какие пылающие закаты видела она и безуспешно пыталась описать! Какие бархатные, сладострастные летние ночи! Какие чудные, поэтичные весенние дни! И, разумеется, потоки чувств,

[1] Вид кактуса.

искушения, надежды, страстный стук сердца, унизительные разочарования! И вот теперь, после всех этих лет, после стольких заседаний комитета, стольких прочитанных лекций и проверенных экзаменационных работ, теперь наконец, двигаясь Его неисповедимыми путями, она чувствует, что Бог сделал ее ответственной за этого беспомощного и несчастного человека. Он несчастлив и беспомощен — потому-то она и любит его, безо всякой романтики, конечно, совсем не так, как того кудрявого негодяя, который пятнадцать лет назад лишил ее покоя, а потом женился на дочери богатого подрядчика, но любит тем не менее искренне, крепко, покровительственно и нежно.

— Ладно, — наконец соглашается она. — Я пойду. Но обещайте, что вы недолго.

— Конечно, недолго.

Она поворачивается и уходит. Доктор Пул смотрит ей вслед, затем, оставшись один и облегченно вздохнув, снова принимается копать.

Рассказчик

«Никогда, — повторяет он про себя, — никогда! И пусть мать говорит что угодно». Он уважает мисс Хук как ботаника, полагается на нее как на организатора и восхищается ею как особой возвышенной, тем не менее мысль о том, чтобы стать с нею плотью единой, так же невозможна для него, как, скажем, попрание категорического императива.

Внезапно сзади, из развалин домика, преспокойно выходят трое мужчин злодейской наружности — чернобородых, грязных и оборванных; несколько секунд они стоят неподвижно, а потом набрасываются на ничего не подозревающего ботаника и, прежде чем тот успевает вскрикнуть, заталкивают ему в рот кляп, связывают руки за спиной и утаскивают в лощину, подальше от глаз его спутников.

Наплыв: панорама Южной Калифорнии с пятидесятимильной высоты, из стратосферы. Камера приближается к земле; слышен голос Рассказчика.

Рассказчик

Над морем облака и тускло-золотые горы,
Долины в черно-синей тьме,
Сушь рыжих, словно львы, равнин,
Речная галька, белизна песка,
И Город Ангелов[1] посередине.
Полмиллиона всяческих строений,
Пять тысяч миль проспектов, улиц,
Автомобилей полтора мильона,
И больше, чем везде: чем в Акроне — резиновых изделий,
Чем у Советов — целлюлозы,
Чем у Нью-Рошелле — всякого нейлона,
Чем в Буффало — бюстгальтеров,
Чем в Денвере — дезодорантов,
Чем где угодно — апельсинов,
Там девушки и выше, и красивей —
На Западе, в Великой Мерзополии.

Теперь камера уже всего в пяти милях от земли, и нам становится все яснее, что Великая Мерзополия теперь лишь тень города, что один из крупнейших в мире оазисов превратился в грандиозное скопление руин среди полного запустения. На улицах ничто не шелохнется. На бетоне выросли песчаные дюны. Бульваров, обсаженных пальмами и перечными деревьями, нет и в помине.

Камера опускается к большому прямоугольному кладбищу, лежащему между железобетонными башнями Голливуда и Уилширского бульвара. Мы приземляемся, проходим под сводчатыми воротами; камера движется между надгробными памятниками. Миниатюрная пирамида. Готическая караульная будка. Мраморный саркофаг, поддерживаемый плачущими серафимами. Статуя Гедды Бодди больше натуральной величины. «Всеми признанная, — гласит надпись на пьедестале, — любимица публики номер один. „Впряги звезду в свою колесницу“». Мы впрягаем и движемся дальше, как вдруг среди этого запустения видим группку людей. Она состоит из четырех мужчин, заросших густыми бородами и довольно-таки грязных, и двух молодых женщин; все они возятся с лопатами — кто внутри открытой могилы, кто рядом, все одеты в одинаково ветхие домотканые рубахи и штаны. Поверх этих непритязательных

[1] Лос-Анджелес.

одежд на каждом надет небольшой квадратный фартук, на котором алой шерстью вышито слово «нет». Кроме того, у девушек на рубахах, на каждой груди, нашито по круглой заплате с такой же надписью, а сзади, на штанах, две заплаты побольше — на каждой ягодице. Таким образом, три недвусмысленных отказа встречают нас, когда девушки приближаются, и еще два — на манер парфянских стрел *, — когда удаляются.

На крыше ближайшего мавзолея, наблюдая за работающими, сидит мужчина, которому уже перевалило за сорок; он высок, крепок, темноглаз и горбонос, словно алжирский пират. Вьющаяся черная борода оттеняет его влажные, красные и полные губы. Одет он несколько несообразно: в немного узкий для него светло-серый костюм покроя середины двадцатого века. Когда мы видим мужчину в первый раз, он сосредоточенно стрижет ногти.

В кадре снова могильщики. Один из них, самый молодой и красивый, поднимает голову, исподтишка бросает взгляд на сидящего на крыше надсмотрщика и, увидев, что тот занят ногтями, с вожделением смотрит на пухленькую девушку, которая налегает на лопату рядом с ним. Крупный план: две запрещающие заплаты «нет» и еще одно «нет» становятся тем больше, чем с большей жадностью он смотрит. Предвкушая восхитительное прикосновение, он делает ладонь чашечкой и для пробы нерешительно протягивает руку, но тут же, внезапно поборов искушение, резко ее отдергивает. Закусив губу, молодой человек отворачивается и с удвоенным рвением вновь принимается копать.

Вдруг одна из лопат ударяется обо что-то твердое. Слышится радостный крик, и работа закипела. Через несколько минут наверх поднимается красивый гроб красного дерева.

— Ломайте.

— Хорошо, вождь.

Раздаются скрип и треск ломающегося дерева.

— Мужчина или женщина?

— Мужчина.

— Прекрасно! Вываливайте.

С криками «раз-два, взяли!» работники переворачивают гроб; труп вываливается на землю. Старший из бородатых могильщиков становится рядом с ним на колени и начинает методично снимать с тела часы и драгоценности.

Благодаря искусству бальзамировщика и сухому климату останки директора пивоваренной корпорации «Золотое правило» выглядят так, словно их предали земле только вчера. Щеки директора, нарумяненные специалистом из похоронного бюро, все еще младенчески розовы. Уголки губ, подтянутые вверх для создания вечной улыбки, придают круглому, блинообразному лицу приводящее в бешенство загадочное выражение мадонны Бельтраффио *.

Внезапно на плечи стоящего на коленях могильщика обрушивается удар арапника. Камера отъезжает, и мы видим вождя: в грозной позе, с плетью в руке, он стоит на своей мраморной горе Синайской *, словно воплощение божественного отмщения.

— Отдай кольцо!

— Какое кольцо? — заикаясь, спрашивает могильщик.

Вместо ответа вождь наносит ему еще несколько ударов.

— Не надо! Ох, не надо! Я отдам, отдам! Не надо!

Преступник засовывает два пальца за щеку и несколько неуклюже выуживает оттуда красивое бриллиантовое кольцо, которое покойный пивовар купил себе во время второй мировой войны, когда дела шли так замечательно.

— Положи туда, вместе с другими вещами, — приказывает вождь и, после того как приказ выполнен, с мрачным удовольствием добавляет: — Двадцать пять плетей — вот что ты получишь сегодня вечером.

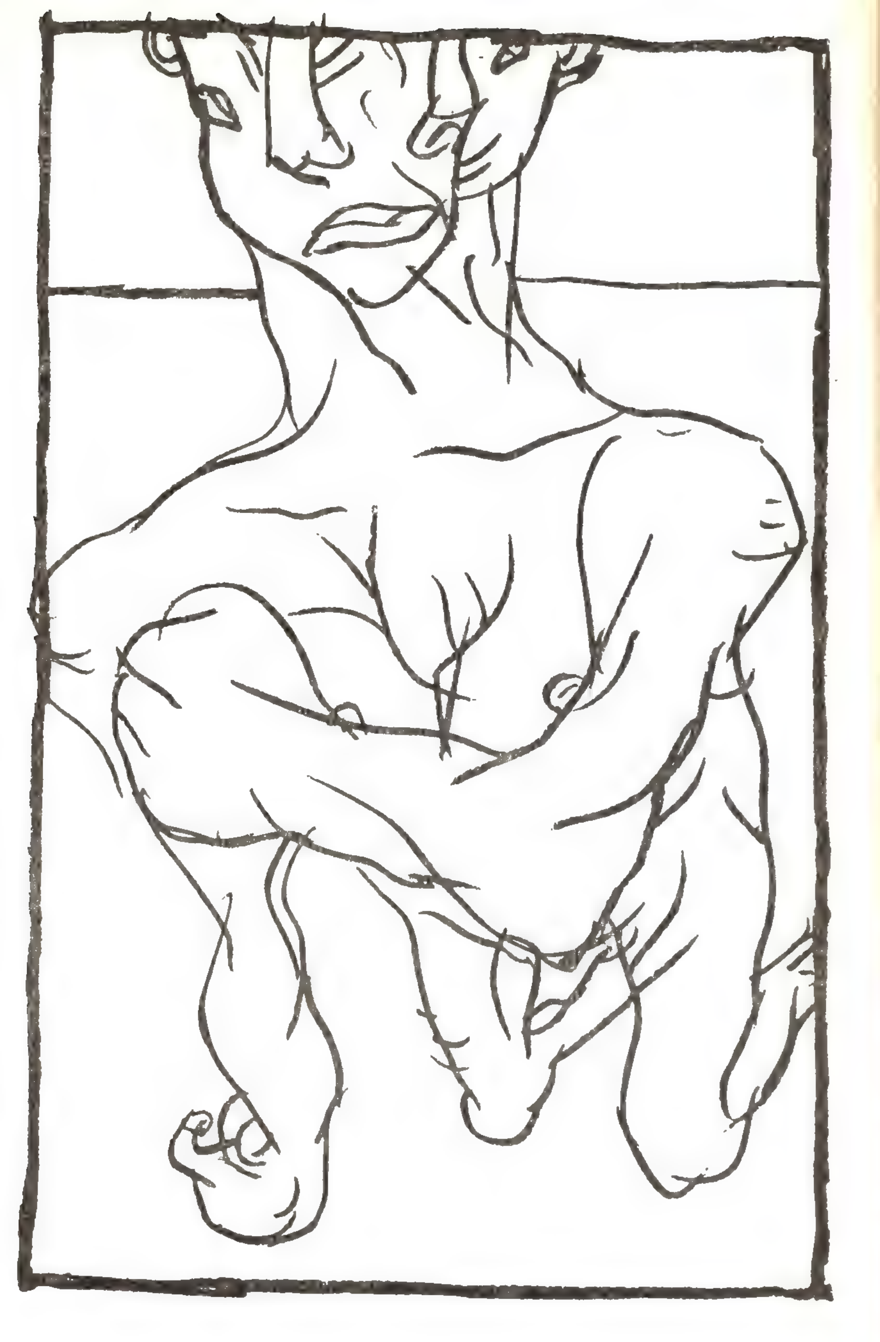
Громко стеная, могильщик молит о снисхождении — только на этот раз. Учитывая, что завтра Велиалов день... К тому же он стар, он честно трудился всю жизнь, дослужился до помощника надзирателя...

— Такова демократия, — обрывает его вождь. — Перед законом все мы равны. А закон гласит: все принадлежит пролетариату, иными словами, государству. А какое наказание ждет того, кто ограбил государство? — В безмолвном горе гробовщик вскидывает на него взгляд. — Так какое? — занося плеть, рявкает вождь.

— Двадцать пять плетей, — слышится почти беззвучный ответ.

— Правильно! С этим мы разобрались, не так ли? А теперь посмотрим, как там у него с одеждой.

Та из девушек, что помоложе и постройнее, наклоня-



ется и ощупывает черный двубортный пиджак трупа.

— Вещь неплохая, — говорит она. — И никаких пятен. Из него ничего не вытекло.

— Я примерю, — решает вождь.

Не без труда могильщики снимают с покойника брюки, пиджак и рубашку, после чего сбрасывают оставшееся в нижнем белье тело обратно в могилу и засыпают его землей. Тем временем вождь берет одежду, критически хмыкает, затем скидывает жемчужно-серый пиджак, принадлежавший когда-то начальнику производства «Западно-шекспировской киностудии», и всовывает руки в более консервативное одеяние, хорошо сочетавшееся с портетом и «Золотым правилом».

Рассказчик

Поставьте себя на его место. Быть может, вы не знаете, что хорошая чесальная машина состоит из барабана и двух подающих валиков, а также разнообразных игольчатых и чистильных валиков, курьерчиков, приемных барабанов и тому подобного. А если у вас нет чесальных машин или механических ткацких станков, если у вас нет электродвигателей, чтобы приводить их в движение, нет динамо-машин, чтобы вырабатывать электричество, нет угля, чтобы поднимать пар, нет печей, чтобы плавить сталь, — что ж, в этом случае, чтобы иметь приличную одежду, вам, очевидно, остается рассчитывать на кладбища, где зарыты те, кто пользовался всеми этими благами. Но пока повсюду наблюдалась высокая радиация, даже кладбищами нельзя было пользоваться. В течение трех поколений жалкие остатки человечества, пережившие заключительную фазу технического прогресса, кое-как перебивались в полном одичании. Только в последние тридцать лет они смогли без опасений пользоваться погребенными остатками du confort moderne [1].

Крупный план: нелепая фигура вождя, одетого в пиджак человека, чьи руки были гораздо короче, а живот гораздо толще, чем у него. На звук шагов вождь оборачивается. В кадре, снятом дальним планом с места вождя, мы

[1] Современных удобств (*франц.*).

видим, как доктор Пул со связанными за спиной руками устало бредет по песку. За ним движутся три его стража. Стоит ему споткнуться или замедлить шаг, как они тычут его в зад покрытыми иголками листьями юкки и громко хохочут, когда он вздрагивает.

В молчаливом изумлении вождь следит за их приближением.

— Во имя Велиала, что это? — наконец осведомляется он.

Группка останавливается у подножия мавзолея. Три стража кланяются вождю и начинают рассказывать. На своей лодчонке они ловили рыбу у Редондо-Бич, как вдруг увидели выплывающий из тумана огромный, странный корабль; они тут же подгребли к берегу, чтобы их не заметили. Из развалин старого дома они наблюдали, как чужаки высадились на берег. Тринадцать человек. А потом этот мужчина и с ним женщина добрели до самого порога их убежища. Женщина ушла, а когда мужчина стал рыться маленькой лопаткой в грязи, они набросились на него сзади, сунули в рот кляп, связали и вот привели для допроса.

Следует долгое молчание; наконец вождь спрашивает:

— По-английски говоришь?

— Говорю, — запинаясь, отвечает доктор Пул.

— Хорошо. Развяжите и поднимите его сюда.

Стражи поднимают доктора Пула, да так бесцеремонно, что он приземляется у ног вождя на четвереньки.

— Ты священник?

— Священник? — с тревожным удивлением переспрашивает доктор Пул и отрицательно качает головой.

— Тогда почему у тебя нет бороды?

— Я... я бреюсь.

— Так, значит, ты не... — вождь проводит пальцем по щеке и подбородку доктора Пула. — Понятно, понятно. Встань.

Доктор Пул повинуется.

— Откуда ты?

— Из Новой Зеландии, сэр.

Доктор Пул с трудом сглатывает; ему хотелось бы, чтобы во рту не было так сухо, а голос не дрожал так от ужаса.

— Из Новой Зеландии? Это далеко?

— Очень.

— Ты приплыл на большом корабле? Парусном?

Доктор Пул кивает и в менторской манере, к которой всегда прибегает, когда общение грозит сделаться затруднительным, принимается объяснять, почему они не смогли пересечь Тихий океан на пароходе.

— Нам негде было бы пополнять запасы топлива. Наши судоходные компании используют пароходы только в каботажном плавании.

— Пароходы? — повторяет вождь, и на лице у него появляется интерес. — У вас все еще есть пароходы? Но значит, у вас не было Этого?

Доктор Пул озадачен.

— Я не совсем уловил, — говорит он. — Чего этого?

— Этого. Ну, знаете, когда Он одержал верх.

Подняв руки ко лбу, надсмотрщик с помощью указательных пальцев изображает рожки. Подчиненные преданно следуют его примеру.

— Вы имеете в виду дьявола? — с сомнением в голосе осведомляется доктор Пул.

Собеседник кивает.

— Но ведь... То есть я хочу сказать...

Рассказчик

Наш друг — праведный конгрегационалист *, но, увы, либерал. А это значит, что он никогда не отдавал Князю мира сего онтологически * ему должного. Проще говоря, доктор Пул в Него не верит.

— Да, Он пришел к власти, — объясняет вождь. — Выиграл битву и овладел всеми. Это случилось в день, когда люди совершили все это.

Широким всеобъемлющим жестом он обводит запустение, бывшее когда-то Лос-Анджелесом. Лицо доктора Пула проясняется: он понял.

— Ясно, вы имеете в виду третью мировую войну. Нет, нам посчастливилось: мы вышли сухими из воды. Благодаря своеобразному географическому положению, — тем же менторским тоном добавляет он, — Новая Зеландия не имела стратегического значения для...

Эту многообещающую лекцию вождь обрывает вопросом:

— Значит, у вас остались поезда?

— Да, поезда у нас остались, — несколько раздраженно отвечает доктор Пул. — Но, как я говорил...

— И паровозы в самом деле работают?

— Конечно, работают. Как я говорил...

К изумлению доктора Пула, вождь издает восторженный вопль и хлопает его по плечу.

— Тогда ты можешь помочь нам снова все это наладить. Как в добрые старые дни... — Он делает пальцами рожки. — У нас будут поезда, настоящие поезда! — В порыве восторженного предвкушения вождь притягивает к себе доктора Пула, обнимает его и целует в обе щеки. Съежившись от неловкости, которая усугубляется еще и отвращением (великий человек моется редко, к тому же изо рта у него пахнет крайне скверно), доктор Пул высвобождается.

— Но я не инженер, — протестует он. — Я ботаник.

— А что это?

— Ботаник — это человек, который знает все про строение и механизмы...

— Заводов? — с надеждой спрашивает вождь.

— Нет, я не договорил — про строение и механизмы жизнедеятельности растений. Ну, которые с листьями, стеблями и цветками, хотя, — поспешно добавляет доктор Пул, — не следует забывать и о тайнобрачных. Честно говоря, тайнобрачные — мои любимцы. Как вам, наверное, известно, Новая Зеландия особенно богата тайнобрачными...

— Да, но как же с паровозами?

— С паровозами? — презрительно переспрашивает доктор Пул. — Говорю же вам, я не отличу паровой турбины от дизеля.

— Значит, ты не можешь помочь нам снова пустить поезда?

— Исключено.

Не говоря ни слова, вождь поднимает правую ногу, упирает ее доктору Пулу в низ живота и резко распрямляет колено.

Крупный план: доктор Пул, потрясенный, весь в царапинах, однако невредимый поднимается с кучи песка, на которую упал. За кадром слышен голос вождя, зовущего людей, которые взяли доктора Пула в плен.

Средний план: могильщики и рыбаки бегут на его зов. Вождь указывает на доктора Пула.

— Заройте его.

— Живьем или мертвого? — глубоким контральто осведомляется толстушка.

Вождь смотрит на нее — кадр снят с места, где он стоит. Пересилив себя, вождь отворачивается. Губы его шевелятся. Он повторяет соответствующий отрывок из краткого катехизиса: «В чем сущность женщины? Ответ: женщина — сосуд Нечистого, источник всех уродств, враг человечества и...»

— Живьем или мертвого? — повторяет толстушка.

Вождь пожимает плечами.

— Как хотите, — с деланным безразличием отвечает он.

Толстушка принимается хлопать в ладоши.

— Вот здорово! — восклицает она и поворачивается к остальным: — Пошли, ребята, позабавимся.

Они обступают доктора Пула, поднимают его, вопящего благим матом, с земли и опускают ногами вперед в полузасыпанную могилу директора пивоваренной корпорации «Золотое правило». Толстушка придерживает доктора, а мужчины начинают сбрасывать сухую землю в могилу. Вскоре он зарыт уже по пояс.

На звуковой дорожке крики жертвы и возбужденный смех палачей понемногу стихают; тишину нарушает голос Рассказчика.

Рассказчик

Жестокость, сострадание — лишь гены.
Все люди милосердны, все убийцы.
Собачек гладят и Дахау строят,
Сжигают города и пестуют сирот,
Все против линчеванья, но за Ок-Ридж *.
Все филантропии полны — потом, а вот НКВД — сейчас.
Кого травить мы станем, а кого жалеть?
Тут дело лишь в сиюминутных нормах,
В словах на целлюлозе и в радиокрике,
В причастности — иль к яслям коммунистов, иль к
первому причастию,
И лишь в познанье сущности своей
Любой из нас перестает быть обезьяной.

На звуковой дорожке — опять смех вперемешку с мольбами о пощаде. Внезапно раздается голос вождя:

— Отойдите! Мне не видно.

Могильщики повинуются. В наступившем молчании вождь смотрит вниз, на доктора Пула.

— Ты разбираешься в растениях, — наконец говорит он. — Почему б тебе не выпустить там корешки?

Слушатели одобрительно гогочут.

— Что же ты не расцветаешь хорошенькими розовыми цветочками?

Крупный план: страдальческое лицо доктора Пула.

— Пощадите, пощадите...

Его голос забавно срывается; новый взрыв веселья.

— Я могу быть вам полезен. Могу научить, как получать хорошие урожаи. У вас будет больше еды.

— Больше еды? — с внезапным интересом переспрашивает вождь, потом свирепо хмурится: — Врешь!

— Нет, клянусь всемогущим Господом!

Слышен возмущенный, протестующий ропот.

— Может, в Новой Зеландии он и всемогущ, — отчеканивает вождь, — но не здесь — с тех пор, как случилось Это.

— Но я же в самом деле могу вам помочь.

— Ты готов поклясться именем Велиала?

Отец доктора Пула был священнослужителем, да и сам он регулярно посещает церковь, однако сейчас он горячо и прочувственно клянется:

— Клянусь Велиалом. Клянусь именем всемогущего Велиала.

Все присутствующие делают пальцами рожки. Долгое молчание.

— Выкапывайте.

— Но, вождь, это же нечестно! — протестует толстушка.

— Выкапывай, сосуд греха!

Тон вождя настолько убедителен, что все начинают яростно копать, и не проходит и минуты, как доктор Пул вылезает из могилы и, покачиваясь, останавливается у подножия мавзолея.

— Благодарю, — с трудом выдавливает он; колени его подгибаются, и ботаник теряет сознание.

Слышен всеобщий презрительно-добродушный смех. Наклонившись со своего мраморного постамента, вождь протягивает девушке бутылку:

— Эй ты, рыжий сосуд! Дай-ка ему хлебнуть вот этого, — приказывает он. — Он должен очнуться и встать на ноги. Мы возвращаемся в центр.

Девушка присаживается на корточки рядом с доктором Пулом, приподнимает безжизненное тело, опирает болтающуюся голову доктора о запреты на своей груди и вливает в него укрепляющее.

Наплыв: улица, четверо бородачей несут вождя на носилках. Остальные, увязая ногами в песке, плетутся сзади. Тут и там, под навесами разрушенных заправочных станций, в зияющих дверных проемах учреждений, видны груды человеческих костей.

Средний план: доктор Пул, держа в правой руке бутылку, движется нетвердой походкой и с большим чувством напевает «Энни Лори»*. Он выпил на пустой желудок — а ведь желудок этот принадлежит человеку, чья мать всегда была ревностной поборницей трезвости, — и крепкое красное вино подействовало быстро.

За красотку Энни Лори
Я и жизнь свою отдам...

В конце заключительной фразы в кадре появляются две девушки-могильщицы. Подойдя сзади к певцу, толстушка дружески хлопает его по спине. Доктор Пул вздрагивает, оборачивается, и на лице его внезапно появляется тревога. Однако улыбка девушки успокаивает его.

— Я Флосси, — сообщает она. — Надеюсь, ты не держишь на меня зла за то, что я хотела тебя зарыть?

— О нет, нисколько, — уверяет доктор Пул тоном человека, который говорит девушке, что не возражает, если она закурит.

— Я ведь ничего против тебя не имею, — уверяет Флосси.

— Разумеется.

— Просто захотелось посмеяться, вот и все.

— Конечно, конечно.

— Люди ужасно смешные, когда их зарывают в землю.

— Ужасно, — соглашается доктор Пул и выдавливает из себя нервный смешок. Почувствовав, что ему недостает смелости, он подбадривает себя глотком из бутылки.

— Ну, до свидания, — прощается толстушка. — Мне нужно сходить поговорить с вождем насчет надставки рукавов на его новом пиджаке.

Она снова хлопает доктора Пула по спине и убегает.

Доктор остается с ее подругой. Украдкой бросает на нее взгляд. Ей лет восемнадцать, у нее рыжие волосы, ямочки на щеках и юное стройное тело.

— Меня зовут Лула, — начинает она. — А тебя?

— Алфред, — отвечает доктор Пул. — Моя мать — большая поклонница «In Memoriam»*, — поясняет он.

— Алфред, — повторяет рыжеволосая. — Я буду звать тебя Алфи. Вот что я скажу тебе, Алфи: не очень-то мне нравятся эти публичные погребения. Не знаю, чем я отличаюсь от других, но мне не смешно. Не вижу в них ничего забавного.

— Рад слышать, — отвечает доктор Пул.

— Знаешь, Алфи, ты и в самом деле счастливчик, — после короткого молчания заключает она.

— Счастливчик?

Лула кивает:

— Во-первых, тебя вырыли, такого мне видеть не приходилось; во-вторых, ты попал прямо на обряды очищения.

— Обряды очищения?

— Да, завтра ведь Велиалов день. Велиалов день, — повторяет она, заметив на лице собеседника недоумение. — Только не говори мне, будто не знаешь, что происходит в канун Велиалова дня.

Доктор Пул отрицательно качает головой.

— Но когда же у *вас* происходит очищение?

— Ну, мы каждый день принимаем ванну, — объясняет доктор Пул, который успел еще раз убедиться, что Лула этого явно не делает.

— Да нет, — нетерпеливо перебивает она. — Я имею в виду очищение расы.

— Расы?

— Да разве же, черт побери, ваши священники оставляют в живых младенцев-уродов?

Молчание. Через несколько секунд доктор Пул задает встречный вопрос:

— А что, здесь рождается много уродов?

Лула кивает.

— С тех пор, как случилось Это, когда Он пришел к власти, — она делает рожки. — Говорят, раньше такого не было.

— Кто-нибудь рассказывал тебе о воздействии гамма-излучения?

— Гамма-излучения? Что это?

— Из-за него-то у вас и рождаются уроды.

— Ты что, хочешь сказать, что дело тут не в Велиале? — в ее голосе звучит негодование и подозрительность; она

смотрит на доктора Пула, как святой Доминик на еретика-альбигойца *.

— Нет, конечно же, нет, — спешит успокоить девушку доктор Пул. — Он первопричина, это само собой. — Ботаник неумело и неуклюже показывает рожки. — Я просто имею в виду природу вторичной причины — средство, которое Он использовал, чтобы осуществить свой провиденциальный замысел, — понимаешь, что я хочу сказать?

Его слова и скорее даже благочестивый жест рассеивают подозрения Лулы. Лицо ее проясняется, и она одаривает доктора Пула очаровательнейшей улыбкой. Ямочки на ее щеках приходят в движение, словно пара прелестных крошечных существ, ведущих свою, тайную жизнь независимо от остального лица. Доктор Пул улыбается ей в ответ, но тотчас же отводит глаза, краснея при этом до корней волос.

Рассказчик

Из-за безмерного уважения к матери наш бедный друг в свои тридцать восемь лет все еще холост. Он преисполнен неестественного почтения к браку и вот уже полжизни сгорает на тайном огне. Полагая, что предложить какой-нибудь добродетельной молодой леди разделить с ним постель — это кощунство, он под панцирем академической респектабельности скрывает мир страстей, в котором за эротическими фантазиями следует мучительное раскаяние, а юношеские желания непрерывно борются с материнскими наставлениями. А здесь перед ним Лула — девушка без малейших претензий на образованность или воспитанность, Лула au naturel [1], пахнущая мускусом, что, если вдуматься, тоже имеет свою прелесть. Что ж тут удивительного, если он краснеет и (против воли, так как ему хочется смотреть на нее) отводит глаза.

В порядке утешения и в надежде набраться смелости доктор Пул снова прибегает к бутылке. Внезапно улица сужается и превращается в тропинку между песчаными дюнами.

— После вас, — учтиво поклонившись, говорит доктор Пул.

---

[1] В естественном виде *(франц.)*.

Девушка улыбается, принимая любезность, к которой здесь, где мужчины шествуют впереди, а сосуды Нечистого следуют за ними, она совершенно не привыкла.

В кадре зад Лулы, наблюдаемый глазами идущего следом доктора Пула. «Нет-нет, нет-нет, нет-нет», — мелькает в ритме шагов. Крупным планом доктор Пул, глаза ботаника широко раскрыты; с его лица камера вновь переходит на Лулин зад.

Рассказчик

Это символ, зримый, осязаемый символ его сознания. Принципы, находящиеся в разладе с вожделением, его мать и седьмая заповедь *, наложенные на его фантазии, и жизнь, как она есть.

Дюны становятся ниже. Дорога снова достаточно широка, чтобы идти рядом. Доктор Пул украдкой бросает взгляд на лицо спутницы и видит, что оно погрустнело.

— В чем дело? — заботливо спрашивает он, с невероятной смелостью добавляет: — Лула, — и берет ее за руку.

— Ужасно, — в тихом отчаянье роняет она.

— Что ужасно?

— Все. Не хочется думать обо всем этом, но раз уж не повезло, то от этих мыслей не отвяжешься. Разве только с ума не сходишь. Думаешь и думаешь о ком-то, хочешь и хочешь. А знаешь, что нельзя. И боишься до смерти того, что с тобой могут сделать, если проведают. Можно отдать все на свете за пять минут — пять минут свободы. Но нет, нет, нет. И ты сжимаешь кулаки и держишься — кажется, вот-вот разорвешься на части. А потом вдруг, после всех этих мучений, вдруг... — она замолкает.

— Что вдруг? — спрашивает доктор Пул.

Она бросает на него быстрый взгляд, однако видит на лице собеседника лишь совершенно невинное непонимание.

— Никак я тебя не раскушу. Ты сказал правду вождю? Ну, насчет того, что ты не священник, — наконец отвечает она и вся вспыхивает.

— Если ты мне не веришь, — с пьяной галантностью отвечает доктор Пул, — я готов доказать.

Несколько секунд Лула смотрит на него, потом встряхивает головой и в каком-то ужасе отворачивается. Ее пальцы нервно разглаживают фартук.

— А все же, — продолжает он, ободренный ее внезапной застенчивостью, — ты так и не сказала, что же такое вдруг происходит.

Лула оглядывается — не слышит ли кто — потом почти шепчет:

— Вдруг Он начинает овладевать всеми. Он заставляет всех думать об этих вещах по целым неделям, а это ведь против закона, это дурно. Мужчины безумеют до того, что начинают распускать руки и называют тебя сосудом, словно священники.

— Сосудом?

— Сосудом Нечистого, — кивает девушка.

— А, понимаю.

— А потом наступает Велиалов день, — помолчав, продолжает она. — И тогда... Ну, ты сам знаешь, что это означает. А потом, если ребенок получится, Он способен покарать тебя за то, что сам же заставил совершить. — Она вздрагивает и делает рожки. — Я знаю, мы должны принимать любую Его волю, но я так надеюсь, что если когда-нибудь рожу ребенка, то с ним будет все в порядке.

— Ну конечно, все будет в порядке, — восклицает доктор Пул. — Ведь у тебя же все в порядке.

Восхищенный собственной дерзостью, он смотрит на нее.

В кадре — крупным планом то, на что он смотрит: «Нет, нет, нет, нет, нет, нет...»

Лула печально качает головой:

— Вот тут ты неправ. У меня лишняя пара сосков.

— Ох! — произносит доктор Пул таким тоном, что сразу становится ясно: мысль о матери мгновенно свела на нет воздействие красного вина.

— В этом нет ничего особенно плохого, — поспешно добавляет Лула. — Они бывают даже у лучших людей. Это совершенно законно. Можно иметь и три пары сосков. И по семь пальцев на руках и ногах. А вот все, что свыше этого, должно быть уничтожено при очищении. Взять мою подружку Полли — она недавно родила. Первенца. У него четыре пары сосков, а на руках нет больших пальцев. Вот ей надеяться не на что. Малыш, считай, уже приговорен. А ей побрили голову.

— Побрили голову?

— Так поступают со всеми женщинами, чьих детей уничтожают.

— Но зачем?

— Просто чтобы напомнить им, что Он враг, — пожимает плечами Лула.

Рассказчик

«Если говорить прямо, — сказал как-то Шредингер *, — хотя, быть может, и несколько упрощенно, губительность брака между двоюродными братом и сестрой может быть усугублена тем, что их бабка долгое время работала в рентгеновском кабинете. Этот вопрос не должен никого тревожить лично. Но любая возможность постепенного вырождения рода человеческого из-за нежелательных скрытых мутаций должна быть предметом забот всего мирового сообщества». Должна быть, но — об этом можно и не упоминать — таковой не является. Ок-Ридж работает в три смены, в Камберленде строится атомная электростанция, а по ту сторону занавеса — бог его знает, что там строит Капица * на горе Арарат, какие сюрпризы эта чудная русская душа, о которой так поэтично писал Достоевский, готовит для русских тел и туш капиталистов и социал-демократов.

Песок снова мешает идти. Доктор Пул и Лула опять движутся по тропинке, змеящейся меж дюнами, и внезапно остаются одни, словно посреди Сахары.

В кадре то, что представляется взору доктора Пула: нет-нет, нет-нет... Лула останавливается и поворачивается к нему: нет, нет, нет. Камера переходит на ее лицо, и он замечает на нем трагическое выражение.

Рассказчик

Седьмая заповедь, жизнь, как она есть. Но есть еще один факт, на который нельзя реагировать простым узковедомственным отрицанием вожделения или периодическими взрывами похоти; этот факт — личность.

— Я не хочу, чтобы меня постригли, — срывающимся голосом говорит Лула.

— Но этого не сделают.

— Сделают.

— Это невозможно, этого не должно быть... — и, удив-

ленный собственной смелостью, доктор Пул добавляет: — Такие прекрасные волосы.

Все с тем же трагическим видом Лула качает головой.

— Я чувствую, — говорит она, — нутром чувствую. Я просто знаю: у него будет больше семи пальцев. Они убьют его, обрежут мне волосы, накажут плетьми, а ведь Он сам заставляет нас делать это.

— Что «это»?

Несколько секунд она молча смотрит на него, потом с выражением ужаса на лице опускает глаза.

— А все потому, что Он хочет, чтобы мы были несчастны.

Спрятав лицо в ладони, Лула безудержно рыдает.

Рассказчик

Вино внутри, а тут напоминает мускус
О близких, теплых, зрелых и округлых — разве
Что несъедобных фактах... А она все плачет...

Доктор Пул обнимает девушку; она рыдает у него на плече, а он гладит ее волосы с нежностью нормального мужчины, каким мгновенно стал наш ботаник.

— Не плачь, — шепчет он, — не плачь. Все будет хорошо. Я буду с тобой. Я не позволю ничего с тобой сделать.

Постепенно она дает себя утешить. Рыдания становятся не такими отчаянными и мало-помалу стихают. Лула поднимает глаза; несмотря на слезы, ее улыбка настолько недвусмысленна, что всякий на месте доктора Пула незамедлительно воспользовался бы таким приглашением. Он колеблется, и, по мере того как проходят секунды, выражение ее лица меняется, она опускает ресницы, уже стыдясь признания, которое вдруг показалось ей слишком откровенным, и отворачивается.

— Извини, — шепчет она и принимается смахивать слезы грязными, словно у ребенка, костяшками пальцев.

Доктор Пул достает платок и ласково вытирает ей глаза.

— Ты такой милый, — говорит она. — Совсем не похож на здешних мужчин.

Она снова улыбается ему. На щеках у нее, словно пара очаровательных зверьков, выбирающихся из норки, появляются ямочки.

Доктор Пул — настолько порывисто, что даже не успевает удивиться своему поступку, — берет в ладони лицо девушки и целует ее в губы.

Несколько секунд Лула сопротивляется, но потом сдается до такой степени безоговорочно, что ее капитуляция выглядит гораздо более решительной, нежели его штурм.

На звуковой дорожке «Хочу детумесценции» переходит в «Liebestod» из «Тристана»*.

Внезапно Лула вздрагивает и словно коченеет. Оттолкнув доктора Пула, она бросает на него дикий взгляд, затем отворачивается и смотрит через плечо с выражением вины и ужаса.

— Лула!

Он пробует привлечь ее к себе, но она вырывается и убегает по узкой тропинке.

«Нет-нет, нет-нет, нет-нет...»

Наплыв: угол Пятой улицы и Першинг-сквер. Как и прежде, Першинг-сквер — основа и средоточие культурной жизни города. Из неглубокого колодца перед зданием филармонии две женщины достают бурдюками воду и переливают ее в глиняные кувшины, которые уносят другие женщины. На перекладине, перекинутой между двумя ржавыми фонарными столбами, висит туша только что забитого быка. Рядом в туче мух стоит мужчина и ножом вычищает внутренности.

— Неплохо выглядит, — добродушно говорит вождь.

Мясник ухмыляется и окровавленными пальцами делает рожки.

Несколькими ярдами далее расположены общинные печи. Вождь приказывает остановиться и милостиво принимает ломоть свежеиспеченного хлеба. Пока он ест, в кадре появляется около десятка мальчиков, пошатывающихся под тяжестью чрезмерного для них груза топлива из расположенной поблизости Публичной библиотеки. Они сваливают ношу на землю и, подгоняемые пинками и руганью взрослых, спешат за новой порцией. Один из пекарей отворяет дверцу топки и лопатой бросает книги в огонь.

Доктор Пул как ученый и библиофил возмущается и протестует:

— Но это же ужасно!

Вождь только посмеивается.

— Туда — «Феноменология духа»*, оттуда — хлеб. И притом чертовски вкусный.

Вождь откусывает еще ломоть. Тем временем доктор Пул нагибается и буквально выхватывает из пламени чудесный томик Шелли в одну двенадцатую листа.

— Слава б... — начинает он, но, вспомнив, по счастью, где находится, вовремя спохватывается. Засунув томик в карман, он обращается к вождю: — Но как же культура? Как же всеобщее наследие, как же человеческая мудрость, доставшаяся с таким трудом? Как же все то лучшее, о чем думали...

— Они не умеют читать, — с набитым ртом отвечает вождь. — Впрочем, это не совсем так. Мы учим их всех читать вот это.

Он указывает пальцем. Средний план, снятый с его точки: Лула с ямочками и всем прочим, но при этом с крупным «нет» на фартуке и двумя «нет» поменьше на груди.

— Вот все, что им нужно уметь прочесть. А теперь вперед, — приказывает он носильщикам.

В кадре носилки, которые протаскивают через дверной проем в то, что осталось от бывшей кофейни Билтмора. Здесь, в зловонном полумраке, два-три десятка женщин средних лет, молоденьких и просто девочек деловито ткут на примитивных станках вроде тех, какими пользуются индейцы Центральной Америки.

— Ни у одного из этих сосудов в последний раз детей не было, — объясняет вождь доктору Пулу. Потом хмурится и качает головой: — Они или производят на свет чудовищ или бесплодны. Одному Велиалу ведомо, откуда нам брать рабочую силу.

Они движутся вглубь кофейни, минуют группу трех-четырехлетних детишек, за которыми присматривает пожилой сосуд с волчьей пастью и четырнадцатью пальцами на руках, и входят во второй зал, чуть меньше первого.

За кадром слышен хор юных голосов, декламирующих в унисон первые фразы краткого Катехизиса *.

— Вопрос: какова главная цель человека? Ответ: главная цель человека — умилостивить Велиала, мольбою отвратить Его злобу и как можно дольше избегать умерщвления.

Крупным планом лицо доктора Пула, на котором удивление постепенно сменяется ужасом. Затем дальний план с точки, где он стоит. Выстроившись в пять рядов по двенадцать человек в каждом, шестьдесят мальчиков и девочек тринадцати — пятнадцати лет застыли по стойке смир-

но и монотонно бубнят резкими визгливыми голосами. Лицом к ним на помосте сидит жирный человечек в длинном одеянии из черных и белых козлиных шкур и меховой шапке с жесткой кожаной оторочкой, к которой прикреплены средних размеров рожки. Его безбородое желтоватое лицо лоснится от обильного пота, который он беспрестанно утирает мохнатым рукавом своей рясы.

В кадре снова вождь; он наклоняется, трогает доктора Пула за плечо и шепчет:

— Это наш ведущий знаток сатанинских наук. Говорю тебе, что касается зловредного животного магнетизма, тут он просто мастер.

За кадром бессмысленно тараторят дети:

— Вопрос: на какую участь осужден человек? Ответ: Велиал для своего удовольствия из всех насельников земли выбрал лишь ныне живущих, чтоб осудить их на вечные муки.

— А почему у него рога? — осведомляется доктор Пул.

— Он — архимандрит, — поясняет вождь. — Его должны вот-вот пожаловать третьим рогом.

Средний план: помост.

— Прекрасно, — произносит знаток сатанинских наук тонким визгливым голосом, похожим на голос невероятно самодовольного ребенка. — Прекрасно! — Он утирает лоб. — А теперь скажите, почему вы осуждены на вечные муки?

Короткое молчание. Потом, сперва вразнобой, затем громко и отчетливо, дети отвечают:

— Велиал * развратил и растлил нас во всем нашем бытии. За этот разврат мы и осуждены Велиалом по заслугам.

Учитель одобрительно кивает и елейно скрипит:

— Такова непостижимая справедливость Повелителя Мух *.

— Аминь, — отзываются дети и делают рожки.

— А как насчет вашего долга по отношению к ближнему?

— Мой долг по отношению к ближнему, — звучит хор, — прикладывать все усилия, чтобы не дать ему сделать со мною то, что я сам хотел бы сделать с ним; повиноваться всем моим господам; всегда держать свое тело в целомудрии, исключая две недели после Велиалова дня, и исполнять свой долг в том звании, на которое Велиал соизволил меня обречь.

— Что есть церковь?

— Церковь — это тело, Велиал — его голова, а все одержимые — его члены.

— Очень хорошо, — снова утирая пот с лица, говорит наставник. — А теперь мне нужен юный сосуд.

Пробежав взглядом по рядам учеников, он указывает пальцем:

— Ты. Третий слева во втором ряду. Светловолосый сосуд. Подойди.

В кадре снова группа людей с носилками. В предвкушении развлечения носильщики ухмыляются, и даже полные губы вождя — очень красные и влажные на фоне черных завитков усов и бороды — расплываются в улыбке. Но Лула не улыбается. Она побледнела, прижала ладони ко рту и широко раскрытыми глазами наблюдает за происходящим с ужасом человека, которому уже доводилось проходить через подобное испытание. Доктор Пул смотрит на нее, потом на жертву; в кадре, снятом с его точки, мы видим, как девочка медленно приближается к помосту.

— Ближе, — повелительно скрипит детский голос. — Стань рядом со мной. А теперь повернись к классу.

Девочка повинуется.

Средний план: высокая, стройная девочка лет пятнадцати с лицом скандинавской мадонны. «Нет», — провозглашает фартук, подвязанный к поясу ее измятых шорт. «Нет, нет», — гласят заплаты на ее юных грудях.

Наставник осуждающе указывает на нее пальцем.

— Посмотрите, — сморщив лицо в гримасу отвращения, говорит он. — Видели вы что-либо столь же отталкивающее?

Он поворачивается к классу и скрипит:

— Мальчики, те из вас, кто ощущает зловредный животный магнетизм, исходящий из этого сосуда, поднимите руки.

Класс, снятый дальним планом. Все без исключения мальчики поднимают руки. На их лицах выражение той злобной похотливой радости, с какою правоверные наблюдают, как их духовные пастыри мучают козлов отпущения — еретиков или же еще более сурово наказывают отступников, угрожающих существующему порядку.

В кадре снова наставник. Он лицемерно вздыхает и качает головой.

— Этого-то я и боялся, — говорит он и поворачива-

ется к стоящей рядом с ним на помосте девочке. — А теперь скажи мне, в чем сущность женщины?

— Сущность женщины? — нерешительно переспрашивает девочка.

— Да, сущность женщины. Поторапливайся!

С выражением ужаса в голубых глазах она смотрит на мастера и отворачивается. Лицо ее покрывается мертвенной бледностью. Губы начинают дрожать, девушка с усилием сглатывает слюну.

— Женщина, — начинает она, — женщина...

Голос ее срывается, глаза наполняются слезами; отчаянно силясь сдержаться, она стискивает кулаки и кусает губы.

— Дальше! — взвизгивает наставник. Взяв с пола ивовый прут, он наносит девочке сильный удар по голым икрам. — Дальше!

— Женщина, — снова начинает девочка, — это сосуд Нечистого, источник всех уродств и... и... Ой!

Она вздрагивает от нового удара.

Знаток наук разражается смехом, класс вторит ему.

— Враг... — подсказывает он.

— Ага, враг человечества, наказанный Велиалом и призывающий кару на всех, кто поддается Велиалу в ней.

Долгое молчание.

— Ну, — говорит наконец наставник, — видишь, какова ты? Все сосуды таковы. А теперь ступай, ступай! — с внезапным гневом скрипит он и опять принимается ее сечь.

Плача от боли, девочка спрыгивает с помоста и бежит на свое место в строю.

В кадре снова вождь. Лоб его нахмурен, он недоволен.

— Ох, уж эти мне передовые методы обучения! — обращается он к доктору Пулу. — Никакой дисциплины. Не знаю, куда мы идем. Вот когда я был мальчишкой, наш старый наставник привязывал их к скамье и обрабатывал розгой. «Я научу тебя быть сосудом», — приговаривал он, и — раз! раз! раз! Велиал мой, как они выли! Вот так и надо учить, я считаю. Ладно, хватит с меня этого, — добавляет он. — Пошли скорее!

Носилки выплывают из кадра; камера задерживается на Луле, которая с болью и сочувствием глядит на залитое слезами лицо и вздрагивающие плечи маленькой жертвы во втором ряду. Чьи-то пальцы прикасаются к руке Лулы. Она вздрагивает, испуганно оборачивается, но, увидев перед собой доброе лицо доктора Пула, успокаивается.

— Я полностью с тобой согласен, — шепчет он. — Это дурно, несправедливо.

Быстро оглянувшись вокруг, Лула осмеливается ответить ему слабой благодарной улыбкой.

— Нам пора идти, — говорит она.

Они спешат за остальными. Вслед за носилками выходят из кофейни, поворачивают направо и входят в коктейль-бар. Огромная куча человеческих костей в углу зала доходит чуть ли не до потолка. Сидя на корточках в густой белой пыли, десятка два ремесленников выделывают чашки из черепов, вязальные спицы — из локтевых костей, флейты — из берцовых, ложки, рожки для обуви и домино — из тазовых и втулки для кранов — из бедренных.

Объявляется перерыв; один из рабочих играет «Хочу детумесценции» на флейте из большеберцовой кости, а другой тем временем подносит вождю великолепное ожерелье из позвонков разной величины — от детских затылочных до поясничных боксера-тяжеловеса.

Рассказчик

«...и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи»[1]. Сухие кости тех, кто умирали тысячами, миллионами в течение трех светлых летних деньков, которые у вас еще впереди. «И сказал мне: „Сын человеческий! оживут ли кости сии?“[2]. Я ответил отрицательно. Потому что, хотя Барух * и может помочь нам не попасть (возможно) в подобное хранилище костей, он бессилен отвести от нас ту, другую, более медленную и гнусную гибель...

В кадре носилки, которые несут по ступеням к главному входу. Вонь здесь неимоверная, грязь — неописуемая. Крупный план: две крысы, гложущие баранью кость; рой мух над гноящимися веками маленькой девочки. Камера отъезжает, дальний план: несколько десятков женщин, половина из которых с выбритыми головами, сидят на ступенях, на полу среди отбросов, на распотрошенных остатках бывших кроватей и диванов. Каждая из них

---

[1] Иезекииль, 37: 1—3.
[2] Иезекииль, 37 : 3.

нянчит младенца, всем младенцам по два с половиной месяца, младенцы у бритоголовых матерей — уродцы. Кадры, снятые крупным планом: личики с заячьей губой, тельца с обрубками вместо рук и ног, ручонки с гроздьями пальцев, грудки, украшенные сдвоенными сосками; за кадром — голос Рассказчика.

Рассказчик

Это другая погибель — на сей раз не от чумы, не от яда, не от огня, не от искусственно вызванного рака, а от бесславного разрушения самой сущности биологического вида. Эта страшная и совершенно негероическая смерть, предопределенная при рождении, может быть результатом как развития атомной промышленности, так и атомной войны. В мире, питающемся энергией атомного распада, бабка каждого человека так или иначе имела дело с рентгеновским излучением. И не только бабка — дед, отец, мать, три, четыре, пять поколений предков каждого человека, которые все ненавидят Меня.

С очередного уродца камера вновь переходит на доктора Пула, который стоит, прижав платок к своему слишком чувствительному носу, и с ужасом и смущением смотрит на происходящее вокруг.

— Все дети выглядят словно они одного возраста, — обращается он к стоящей рядом Луле.

— А ты как думал? Они же все родились между десятым и семнадцатым декабря.

— Но в таком случае... — страшно смутившись, запинается доктор Пул. — Похоже, — поспешно добавляет он, — что здесь все совсем не так, как в Новой Зеландии.

Несмотря на выпитое вино, он вспоминает о своей седовласой матери за океаном и, виновато покраснев, кашляет и отводит глаза.

— А вон Полли! — восклицает его спутница и спешит на другой конец зала.

Пробираясь между сидящими на корточках и лежащими матерями и бормоча извинения, доктор Пул движется вслед за нею.

Полли сидит на набитом соломой мешке рядом с бывшей кассой. Ей лет восемнадцать-девятнадцать, она невысока и хрупка, голова у нее выбрита, словно у приготовленного

к казни преступника. Красота ее лица — в тонких чертах и огромных ясных глазах. С болезненным замешательством она поднимает их на Лулу, а потом равнодушно, безо всякого выражения, переводит их на лицо незнакомца, стоящего рядом.

— Милая!

Лула наклоняется и целует подругу. «Нет, нет», — видит доктор Пул. Лула садится рядом с Полли и обнимает ее, стараясь утешить. Полли утыкается лицом в плечо девушки, обе плачут. Словно разделяя их горе, уродец на руках у Полли просыпается и принимается жалобно попискивать. Полли поднимает голову с плеча подруги, ее лицо залито слезами; она бросает взгляд на безобразного младенца, расстегивает рубашку и, отодвинув красное «нет», дает грудь. Ребенок с неистовой жадностью принимается сосать.

— Я люблю его, — всхлипывает Полли. — Не хочу, чтобы его убили.

— Милая! — только и находит что сказать Лула. — Милая!

Громкий голос обрывает ее:

— Тихо там! Тихо!

Другие голоса подхватывают:

— Тише!

— Тихо там!

— Тише! Тише!

Разговоры резко стихают, и наступает долгое выжидательное молчание. Затем раздается звук рога и чей-то удивительно детский, но тоже весьма уверенный голос объявляет:

— Его преосвященство архинаместник Велиала, владыка земли, примас Калифорнии, слуга пролетариата, епископ Голливудский!

Дальний план: парадная лестница гостиницы. В длинной мантии из англо-нубийского козлиного меха и золотой короне с четырьмя длинными, острыми рогами величественно спускается архинаместник. Служка держит над ним большой зонт из козлиной шкуры, за ним следуют два-три десятка церковных сановников — от трехрогих патриархов до однорогих пресвитеров и безрогих послушников. Все они — от архинаместника и ниже — безбороды, потны, толстозады, у всех них одинаковое флейтовое контральто.

Вождь встает с носилок и идет навстречу носителю духовной власти.

Рассказчик

Церковь и государство,
Алчность и коварство —
Два бабуина
В одной верховной горилле.

Вождь почтительно склоняет голову. Архинаместник вздевает руки к тиаре, притрагивается к двум передним рогам и возлагает получившие духовный заряд пальцы на лоб вождя.

— Да не пронзят тебя никогда рога Его.

— Аминь, — отзывается вождь, выпрямляется и добавляет уже не почтительным, а оживленным и деловым тоном: — Для вечера все готово?

Голосом десятилетнего мальчика, в котором, однако, слышится тягучая и велеречивая вкрадчивость видавшего виды священнослужителя, давно привыкшего играть роль высшего существа, стоящего в отдалении от своих собратьев и над ними, архинаместник отвечает, что все в порядке. Под личным наблюдением трехрогого инквизитора и патриарха Пасадены группа посвященных служек и послушников проехала по всем поселениям и провела ежегодную перепись. Все матери уродцев помечены. Им побрили головы и осуществили предварительное бичевание. На сегодняшний день все виновные переправлены в один из трех центров очищения, расположенных в Риверсайде, Сан-Диего и Лос-Анджелесе. Ножи и освященные воловьи жилы готовы, и, если Велиалу будет угодно, церемония начнется в назначенный час. К завтрашнему дню очищение страны будет завершено.

Архинаместник еще раз делает рожки и на несколько секунд застывает в молчании. Затем, открыв глаза, поворачивается к свите и скрипит:

— Забирайте бритых, забирайте эти оскверненные сосуды, эти живые свидетельства Велиаловой злобы и отведите их на место позора.

Дюжина пресвитеров и послушников сбегают с лестницы в толпу матерей.

— Живей! Живей!

— Во имя Велиала!

Медленно, неохотно, безволосые женщины поднимаются. Прижимая свою маленькую изуродованную ношу к на-

литой молоком груди, они идут к дверям — в молчании, которое говорит о горе красноречивей любого крика.

Средний план: Полли на мешке с соломой. Молодой послушник подходит и грубо ставит ее на ноги.

— Вставай! — голосом сердитого и злобного ребенка кричит он. — Поднимайся, вместилище мерзости!

Он бьет Полли по щеке. Девушка отшатывается в ожидании следующего удара и почти бегом присоединяется к подругам по несчастью, толпящимся у входа.

Наплыв: ночное небо, сквозь тонкие полоски облаков просвечивают звезды, ущербная луна клонится к западу. Долгое молчание, затем слышится отдаленное пение. Постепенно мы начинаем различать слова: «Слава Велиалу, Велиалу в безднах!» — которые повторяются снова и снова.

Рассказчик

Перед глазами лапа обезьянья
Затмила звезды, и луну, и даже
Сам космос. Пять вонючих пальцев —
Весь мир.

Тень от лапы бабуина приближается к камере, растет, становится все более угрожающей и в конце концов закрывает все тьмой.

В кадре — лос-анджелесский Колизей изнутри. В дымном и неверном свете факелов видны лица членов Великой Конгрегации. Ярус над ярусом, они напоминают ряды гаргулий *, извергающих из черных глазниц, трепещущих ноздрей, полуоткрытых губ под монотонное пение: «Слава Велиалу, Велиалу в безднах!» — продукты ритуальной религии: беспочвенную веру, сверхчеловеческое возбуждение, коллективное слабоумие. Внизу, на арене, сотни бритоголовых девушек и женщин, каждая с маленьким уродцем на руках, стоят на коленях перед главным алтарем. Жуткие в своих ризах из англо-нубийского меха и тиарах с золочеными рогами, на верху лестницы, ведущей к престолу, двумя группами стоят патриархи и архимандриты, пресвитеры и послушники и высокими дискантами поют антифоны * под аккомпанемент флейт, сделанных из костей, и целой батареи ксилофонов.

Полухорие 1

Слава Велиалу,

Полухорие 2

Велиалу в безднах!

Пауза. Мелодия песнопения меняется: наступает новая часть службы.

Полухорие 1

Это ужасно,

Полухорие 2

Ужасно, ужасно

Полухорие 1

Попасть в руки —

Полухорие 2

Огромные и волосатые —

Полухорие 1

В руки живого зла!

Полухорие 2

Аллилуйя!

Полухорие 1

В руки врага человеческого —

Полухорие 2

В любимые нами руки

Полухорие 1

Мятежника, восставшего против порядка вещей.

Полухорие 2

С коим мы вступили в сговор против самих себя;

Полухорие 1

Во власть Великой Мясной Мухи — Повелителя Мух,

Полухорие 2

Вползающего в сердце;

Полухорие 1

Нагого червя, что бессмертен,

Полухорие 2

И, бессмертный, есть источник нашей вечной жизни;

Полухорие 1

Князя воздушных сил,

Полухорие 2

Спитфайра * и Штукаса *, Вельзевула и Азазела *.
Аллилуйя!

Полухорие 1

Владыки этого мира

Полухорие 2

И его растлителя,

Полухорие 1

Великого Господина Молоха,

Полухорие 2

Покровителя всех народов,

Полухорие 1

Господина нашего Маммоны,

Полухорие 2

Вездесущего,

Полухорие 1

Люцифера * всемогущего

Полухорие 2

В церкви, в государстве,

Полухорие 1

Велиала

Полухорие 2

Трансцендентного,

Полухорие 1

Но столь же имманентного.

Вместе

В руки Велиала, Велиала, Велиала, Велиала.

Пение замирает; два безрогих послушника спускаются с лестницы, хватают ближайшую бритоголовую женщину, ставят на ноги и ведут ее, оцепеневшую от ужаса, наверх, где на последней ступени лестницы стоит патриарх Пасадены и правит лезвие длинного мясницкого ножа. Замерев от страха и раскрыв рот, коренастая мать-мексиканка смотрит на него. Один из послушников берет у нее ребенка и подносит патриарху.

Крупным планом: типичный продукт прогрессивной технологии — маленький монголоид-идиот с заячьей губой. За кадром пение хора.

Полухорие 1

Вот знак враждебности Велиала —

Полухорие 2

Мерзость, мерзость;

Полухорие 1

Вот плод благоволения Велиала —

Полухорие 2

Нечистоты из нечистот;

Полухорие 1

Вот кара за послушание Его воле —

Полухорие 2

На земле, равно как и в аду.

Полухорие 1

Кто источник всех уродств?

Полухорие 2

Мать.

Полухорие 1

Кто избранный сосуд греховности?

Полухорие 2

Мать.

Полухорие 1

Кто проклятие нашего рода?

Полухорие 2

Мать.

Полухорие 1

Одержимая, одержимая —

Полухорие 2

Изнутри и снаружи:

Полухорие 1

Ее инкуб — объект, ее субъект — суккуб *

Полухорие 2

И оба они — Велиал;

Полухорие 1

Одержимая Мясной Мухой,

Полухорие 2

Ползущей и жалящей,

Полухорие 1

Одержимая тем, что непреоборимо

Полухорие 2

Толкает ее, гонит ее,

Полухорие 1

Словно вонючего хорька,

Полухорие 2

Словно свинью в течке,

Полухорие 1

Вниз по наклонной

Полухорие 2

В невыразимую мерзость,

Полухорие 1

Откуда после долгого барахтанья,

Полухорие 2

После множества больших глотков пойла

Полухорие 1

Выныривает через девять месяцев мать

Полухорие 2

И приносит эту чудовищную насмешку над человеком.

Полухорие 1

Каково же будет искупление?

Полухорие 2

Кровь.

Полухорие 1

Как умилостивить Велиала?

Полухорие 2

Одной лишь кровью.

Камера переходит от престола к ярусам, где бледные гаргульи голодными глазами уставились вниз в предвкушении экзекуции. И вдруг они разверзают черные пасти и начинают петь в унисон — сначала неуверенно, потом все тверже и громче.

— Кровь, кровь, кровь, это кровь, кровь, кровь, это кровь...

В кадре снова престол. За кадром — бессмысленное, нечеловеческое пение.

Патриарх передает оселок одному из прислуживающих ему архимандритов, берет левой рукой младенца за шею и насаживает его на нож. Младенец взвизгивает и умолкает.

Патриарх поворачивается, выпускает с полпинты крови на алтарь и отбрасывает трупик в темноту. Пение вздымается неистовым крещендо:

— Кровь, кровь, кровь, это кровь, кровь, кровь...

— Увести, — повелительно скрипит патриарх.

Охваченная ужасом мать поворачивается и сбегает по ступеням. За нею спешат два послушника, яростно бичуя ее освященными воловьими жилами. Пение перемежается пронзительными криками. Со стороны аудитории слышится стон — полусоболезнующий, полуудовлетворенный. Раскрасневшись и немного задыхаясь от столь непривычных усилий, послушники хватают другую женщину — на этот раз юную девушку, хрупкую, стройную, почти девочку. Они тащат жертву по ступеням, лица ее не видно. Но вот один из послушников отступает чуть в сторону, и мы узнаем Полли. Ребенка — без больших пальцев на руках и с восемью сосками — подносят к патриарху.

Полухорие 1

Мерзость, мерзость! Каково же будет искупление?

Полухорие 2

Кровь.

Полухорие 1

Как умилостивить Велиала?

На этот раз отвечает весь зал:

— Одной лишь кровью, кровью, кровью, этой кровью...

Левая рука патриарха сжимается на шейке ребенка.

— Нет! Нет! Пожалуйста, не надо!

Полли бросается к малышу, но послушники ее оттаскивают. Под ее рыдания патриарх рассчитанно неторопливо насаживает ребенка на нож, после чего отшвыривает тельце во тьму за алтарем.

Слышится громкий крик. Средний план: в первом ряду зрителей доктор Пул теряет сознание.

В кадре «Греховная Греховных» изнутри. Это небольшое святилище, расположенное вдоль длинного края арены, сбоку от алтаря; оно представляет собой продолговатое здание из необожженного кирпича с престолом в одном конце и раздвижными дверьми в другом. Они сейчас приоткрыты, чтобы было видно происходящее на арене. Посреди комнаты на ложе развалился архинаместник. Неподалеку от него безрогий послушник жарит на угольной жаровне поросячьи ножки; чуть поодаль двурогий архимандрит выбивается из сил, пытаясь привести в чувство доктора Пула, который без признаков жизни лежит на носилках. Наконец холодная вода и несколько хлестких пощечин производят желаемый эффект. Ботаник вздыхает, открывает глаза, уклоняется от очередной пощечины и садится.

— Где я? — спрашивает он.

— В «Греховная Греховных», — отзывается архимандрит. — А это — его высокопреосвященство.

Доктор Пул узнает великого человека и догадывается почтительно склонить голову.

— Принеси табурет, — командует архинаместник.

Появляется табурет. Наместник кивает на него головой; доктор Пул с трудом встает на ноги, пошатываясь, пересекает комнату и садится. И сразу же особенно громкий вопль заставляет его обернуться.

Дальним планом — главный алтарь, снятый с точки доктора Пула. Патриарх как раз отшвыривает очередного уродца в темноту, а его прислужники бичуют воющую мать.

В кадре опять доктор Пул: он вздрагивает и закрывает лицо руками. За кадром слышно монотонное пение: «Кровь, кровь, кровь».

— Ужасно! — восклицает доктор Пул. — Ужасно!

— Но ведь ваша религия тоже не чурается крови, — иронически улыбнувшись, замечает архинаместник. — «Омыли одежды свои кровью Агнца» [1]. Не так ли?

— Совершенно точно, — признает доктор Пул. — Но мы же не совершаем омовений на самом деле. Только говорим о них или — еще чаще — поем.

Доктор Пул отводит взгляд. Молчание. Подходит послушник с большим блюдом и вместе с двумя бутылками ставит его на стол подле ложа. Настоящей старинной вилкой двадцатого века (подделка под раннегеоргианскую *) архинаместник подцепляет свиную ножку и принимается ее глодать.

— Угощайтесь, — проглотив кусок, скрипит он и, указывая на бутылку, добавляет: — А вот вино.

Доктор Пул, который невероятно голоден, с готовностью принимает приглашение; снова наступает молчание, нарушаемое лишь громким чавканьем да песнопениями с требованием крови.

— Вы, разумеется, в это не верите, — с набитым ртом констатирует наконец архинаместник.

— Ну что вы, уверяю вас... — протестует доктор Пул.

Он с таким рвением готов подчиниться, что его собеседник останавливает его сальной рукой:

— Ну-ну-ну! Мне просто хотелось бы объяснить вам, что у нас есть веские причины исповедовать нашу веру. Она, дорогой мой сэр, весьма разумна и практична. — Архинаместник замолкает, отпивает из бутылки и берет еще одну ножку. — Вы, как я понимаю, знакомы со всемирной историей?

— Чисто дилетантски, — скромно отвечает доктор Пул. Впрочем, он, пожалуй, может похвастать тем, что прочел почти все известные книги по этому вопросу — к примеру, «Взлет и падение России» Грейвза, «Крах западной цивилизации» Бейсдоу, неподражаемое «Вскрытие Европы» Брайта, не говоря уже о совершенно восхитительной и — несмотря на то, что это роман — по-настоящему правдивой книге старика Персивала Потта «Последние дни Кони-Айленда». — Вы, разумеется, ее знаете?

---

[1] Откровение, 7, 14.

Архинаместник отрицательно качает головой.

— Я не знаю ничего из опубликованного после Этого, — лаконично отвечает он.

— Какой же я идиот! — восклицает доктор Пул, в который уж раз сожалея о своей чрезмерной разговорчивости — он прячет за нею застенчивость столь сильную, что, не скрывай он ее, она тут же лишит его дара речи.

— Но я читал довольно много из того, что было издано раньше, — продолжает архинаместник. — У нас тут, в Южной Калифорнии, были очень недурные библиотеки. Сейчас они уже почти все выработаны. Боюсь, теперь нам придется искать топливо в более отдаленных местах. Но пока мы пекли хлеб, мне удалось спасти для нашей семинарии несколько тысяч томов.

— Словно церковь в средневековье, — с воодушевлением культурного человека говорит доктор Пул. — У цивилизации нет лучшего друга, нежели религия. Вот этого-то мои друзья-агностики никогда... — внезапно сообразив, что догматы его церкви не совсем совпадают с теми, какие исповедуются здесь, он останавливается и, пытаясь скрыть замешательство, припадает к бутылке.

Однако архинаместник, по счастью, слишком занят своими мыслями, чтобы оскорбиться или даже заметить эту faux pas [1].

— Читаю я историю, — продолжает он, — и вот что вижу. Человек противостоит природе. «Я» противостоит установленному порядку, Велиал (рука небрежно изображает рожки) противостоит тому, другому. Битва длится сто тысяч лет или около того, и никто не может взять верх. А потом, три века назад, все внезапно и неудержимо пошло в одну сторону. Еще ножку?

Доктор Пул берет вторую ножку, его собеседник — третью.

— Сначала медленно, потом все быстрей и быстрей человек начинает торить дорогу наперекор установленному порядку. — Архинаместник на секунду смолкает и выплевывает хрящик. — Все гуще и гуще устилая пройденный путь представителями рода человеческого, Повелитель Мух, одновременно являющийся Мясной Мухой, гнездящейся в сердце у каждого индивидуума, продолжает свой победный марш по земле и становится вскоре ее безусловным хозяином.

---

[1] Оплошность *(франц.)*.

Увлекшись своим визгливым красноречием и позабыв на миг о том, что он не на кафедре собора святого Азазела, архинаместник широким взмахом отводит руку в сторону. С его вилки слетает свиная ножка. Добродушно хохотнув над своей неловкостью, он поднимает ее с пола, вытирает о рукав своей козлиной сутаны, надкусывает и продолжает:

— Все началось с машин и первых кораблей с зерном из Нового Света. Появилась пища для голодных, и с плеч у людей спала тяжкая ноша. «Благодарим Тебя, Боже, что насытил Ты нас земных твоих благ...», и так далее, и тому подобное. — Архинаместник язвительно смеется. — Нет нужды говорить, что никто ничего не получает даром. Щедрость господня имеет свою цену, и Велиалу известно, что цена эта высока. Возьмем, к примеру, машины. Велиал прекрасно понимал: когда непосильный труд будет немного облегчен, плоть подчинится железу, а ум станет рабом колес. Он знал, что если машина защищена от неумелого обращения, то она должна также быть защищена от людей искусных, талантливых, вдохновенных. Если продукт нехорош — вам возвращают ваши денежки, причем возвращают вдвое, найди вы в нем хоть намек на гений или индивидуальность! А тут — прекрасная еда из Нового Света. «Благодарим Тебя, Боже...» Но Велиал знал, что кормление есть размножение. В прежние дни, когда люди занимались любовью, они просто увеличивали процент детской смертности и уменьшали среднюю продолжительность жизни. Но после появления кораблей с зерном все стало иначе. Совокупление увеличивало население — да еще как!

Архинаместник снова визгливо смеется.

Наплыв: в кадре, снятом через сильный микроскоп, сперматозоиды, яростно старающиеся достичь своей конечной цели — большого лунообразного яйца, находящегося в левом верхнем углу кадра. На звуковой дорожке тенор допевает последние пассажи Листовской симфонии «Фауст»: «La femme éternelle toujours nous élève. La femme éternelle toujours...»*. Другой кадр: вид с воздуха на Лондон 1800 года. Затем — опять дарвиновская гонка на выживание и самосохранение. Снова вид Лондона, но уже в 1990 году, потом опять сперматозоиды и снова Лондон, каким увидели

его германские летчики в 1940 году. Наплывом крупный план: архинаместник.

— Господи, — произносит он слегка дрожащим голосом, который всегда считается уместным для подобных фраз, — благодарим тебя за все эти бессмертные души, поселенные в тела, что год за годом становятся все более хворыми, захудалыми и паршивыми, поскольку все, что предсказывает Велиал, неизбежно сбывается. Планета перенаселена. Пятьсот, восемьсот, иногда даже вся тысяча человек на квадратную милю плодородной земли, а скверное земледелие уже начинает ее губить. Повсюду эрозия, повсюду выщелачивание минеральных солей. Пустыни наступают, леса хиреют. Даже в Америке, даже в этом Новом Свете, бывшем когда-то надеждой Старого Света. Спираль промышленности стремится вверх, спираль плодородия почвы — вниз. Больше и лучше, богаче и могущественнее, и вдруг — почти внезапно — голоднее и голоднее. Да, Велиал все это предвидел — переход от голода к ввозу пищи, от ввоза пищи — к резкому росту населения, от роста населения — опять к голоду. Опять к голоду. К новому голоду, голоду высшему — к голоду невероятно индустриализованных пролетариев, голоду жителей городов, у которых есть и деньги, и все удобства, и автомобили, и радиоприемники, и любые мыслимые приспособления, к голоду, вызывающему тотальные войны, которые в свою очередь влекут за собой еще более жестокий голод.

Архинаместник останавливается и опять отхлебывает из бутылки.

— И запомните, — продолжает он, — что Велиал мог добиться своего даже без искусственного сапа, даже без атомной бомбы. Быть может, немного медленнее, но столь же неизбежно люди уничтожили бы себя, уничтожив мир, в котором жили. Деваться им было некуда. Велиал уже поддел их обоими рогами. Если бы им удалось соскользнуть с рога тотальной войны, они оказались бы на роге голодной смерти. А начни они умирать от голода, у них появилось бы искушение прибегнуть к войне. И попытайся они найти мирный и разумный выход из создавшегося положения, наготове был еще один более коварный рог — самоуничтожение. С самого начала промышленной революции Он предвидел: Благодаря чудесам новой техники люди станут столь невообразимо самоуверенными, что потеряют всякое чувство реальности. Именно это и произошло. Эти жалкие рабы колес и гроссбухов стали поздравлять

себя с тем, что покорили природу. Покорители природы, как же! В действительности же они просто нарушили равновесие в природе и вот-вот уже должны были начать расхлебывать последствия. Только подумайте, что они понаделали за полтораста лет до Этого. Загадили реки, истребили диких зверей, уничтожили леса, смыли пахотный слой земли в море, сожгли океан нефти, разбазарили полезные ископаемые, которые накапливались в течение целых геологических эпох. Разгул преступного тупоумия. И они называли это прогрессом! Прогресс, — повторяет архинаместник, — прогресс! Говорю вам, столь невероятная выдумка не могла родиться в простом человеческом мозгу — слишком уж много в ней дьявольской язвительности. Без посторонней помощи тут не обошлось. Без милости Велиала, которая всегда готова низойти, на тех, конечно, кто готов к сотрудничеству. А кто не готов?

— Да, кто не готов? — хихикнув, повторяет доктор Пул, который чувствует, что должен как-то исправить свою оплошность насчет церкви в средневековье.

— Он вложил им в головы две великие идеи: прогресс и национализм. Прогресс — это измышления о том, будто можно получить что-то, ничего не отдав взамен, будто можно выиграть в одной области, не заплатив за это в другой, будто только ты постигаешь смысл истории, будто только ты знаешь, что случится через пятьдесят лет, будто ты можешь — вопреки опыту — предвидеть все последствия того, что делаешь сейчас, будто впереди — утопия и раз идеальная цель оправдывает самые гнусные средства, то твое право и долг — грабить, обманывать, мучить, порабощать и убивать всех, кто, по твоему мнению (которое, само собой разумеется, непогрешимо), мешает продвижению к земному раю. Вспомните высказывание Карла Маркса: «Насилие — это повивальная бабка истории» *. Он мог бы добавить — но Велиалу, конечно, не хотелось выпускать кошку из мешка раньше времени, — добавить, что история — это повивальная бабка насилия. Повивальная бабка вдвойне, поскольку технический прогресс сам по себе дает людям в руки средства огульного уничтожения, тогда как миф о прогрессе в политике и нравственности служит оправданием тому, что средства эти используются на всю мощь. Говорю вам, дорогой мой сэр, если в историке нет набожности, значит, он сумасшедший. Чем дольше изучаешь новейшую историю, тем явственней ощущаешь присутствие направляющей руки Велиала. — Архинамест-

ник показывает рожки, освежается глотком вина и продолжает: — А потом еще национализм — измышления о том, будто государство, подданым которого ты оказался, единственное настоящее божество, а остальные государства — божества фальшивые, будто у всех этих божеств — настоящих или фальшивых, неважно — умственное развитие малолетних преступников и будто любой конфликт на почве престижа, власти или денег — это крестовый поход во имя добра, правды и красоты. Тот факт, что сто́ит в какой-то момент истории появиться таким измышлениям, как они принимаются всеми за чистую мо́нету, — лучшее доказательство существования Велиала, лучшее доказательство того, что в конечном счете битву выиграл Он.

— Я что-то не совсем улавливаю, — говорит доктор Пул.

— Но это ж очевидно! Положим, у вас есть два принципа. Каждый из них в корне абсурден, и каждый ведет к явно губительным действиям. Тем не менее все просвещенное человечество внезапно решает принять эти принципы в качестве линий поведения. Почему? Кто предложил, подсказал, вдохновил? Ответ может быть только один.

— Так вы имеете в виду... Вы думаете, что это дьявол?

— А кто ж еще желает вырождения и исчезновения рода человеческого?

— Верно, верно, — соглашается доктор Пул. — Но все равно как протестант я не могу...

— В самом деле? — саркастически осведомляется архинаместник. — В таком случае вы умнее, чем Лютер, умнее, чем вся христианская церковь. А известно ли вам, сэр, что начиная со второго века ни один правоверный христианин не считал, что человек может быть одержим богом? Он мог быть одержим лишь дьяволом. А почему люди верили в это? Потому что факты не позволяли им верить во что-либо иное. Велиал — это факт, Молох — это факт, одержимость дьяволом — тоже факт.

— Я не согласен, — кричит доктор Пул. — Как ученый я...

— Как ученый вы обязаны принять рабочую гипотезу, которая объясняет факты наиболее правдоподобно. Итак, каковы же факты? Первый вытекает из опыта и наблюдений: никто не хочет страдать, терпеть унижения, быть изувеченным или убитым. Второй факт — исторический, и суть его в том, что в определенные периоды подавляющее большинство людей исповедовало такие вероучения и действо-

вало таким образом, что в результате не могло получиться ничего другого, кроме постоянных страданий, повсеместных унижений и всеобщего уничтожения. Правдоподобно объяснить это можно лишь тем, что они были одержимы или вдохновляемы чужим сознанием — сознанием, которое желало их гибели, причем более сильно, нежели они сами желали себе счастья и выживания.

Молчание.

— Но все же, — осмеливается наконец возразить доктор Пул, — эти факты можно объяснить и по-другому.

— Но не так правдоподобно и далеко не так просто, — настаивает архинаместник. — А потом, не надо забывать и о других доказательствах. Возьмем первую мировую войну. Если бы народы и политики не были одержимы дьяволом, они бы послушались Бенедикта XV * или маркиза Лэнсдауна *, пришли к соглашению, договорились о мире без победы. Но не смогли, просто не смогли. Оказались не в состоянии действовать в своих же собственных интересах. Им приходилось делать то, что диктовал им сидевший у них внутри Велиал, а он желал коммунистической революции, желал фашистской реакции на эту революцию, желал Муссолини, Гитлера, Политбюро, желал голода, инфляции, кризиса, желал вооружения как лекарства от безработицы, желал преследований евреев и кулаков, желал, чтобы нацисты и коммунисты поделили Польшу, а потом пошли друг на друга войной. Да, и Он желал полного возрождения рабства в самой жестокой его форме. Он желал депортаций и массовой нищеты. Желал концентрационных лагерей, и газовых камер, и крематориев. Желал массированных бомбовых ударов по площадям — восхитительно сочное выражение! Желал, чтобы в один миг было уничтожено благосостояние, накапливавшееся веками, равно как и все возможности для будущего процветания, порядочности, свободы и культуры. Велиал желал всего этого, поскольку, въевшись Великой Мясной Мухой в сердца политиков и генералов, журналистов и простых людей, он мог легко сделать так, чтобы католики не обращали внимания на папу, чтобы Лэнсдауна объявили плохим патриотом, чуть ли не предателем. И война длилась целых четыре года, а потом все пошло в точном соответствии с планом. Положение в мире неуклонно менялось от плохого к худшему, и по мере того, как оно ухудшалось, мужчины и женщины все покорнее подчинялись приказам Нечистого Духа. Былая вера в ценность каждой отдельной

души человеческой исчезла, былые сдерживающие начала перестали действовать, былые раскаяние и сострадание растаяли как дым. Все, что Тот, другой, вложил людям в головы, вытекло наружу, а образовавшийся вакуум заполнился безрассудными мечтаниями о прогрессе и национализме. По этим мечтаниям выходило, что простые люди, жившие сейчас, здесь, не лучше муравьев или клопов и обращаться с ними нужно соответственно. Вот с ними и стали обращаться соответственно, да еще как соответственно!

Архинаместник издает резкий смешок, кладет себе последнюю ножку и продолжает:

— В то время старина Гитлер представлял собою вполне приличный образчик бесноватого. Конечно, он не был одержим до такой степени, как это было со многими великими вождями народов в период между тысяча девятьсот сорок пятым годом и началом третьей мировой войны, но для своего времени он был выше среднего уровня — это бесспорно. С большим правом, чем любой из его современников, он мог заявить: «Не я, но Велиал во мне». Другие были одержимы лишь частично, лишь в определенные отрезки времени. Возьмем для примера ученых. В большинстве своем они хорошие люди, действующие из самых лучших побуждений. Но Он все равно завладел ими, завладел до такой степени, что они перестали быть людьми и превратились в специалистов. Отсюда и сап, и эти самые бомбы. А потом, вспомните-ка этого человека... Ну как бишь его? Он еще так долго был президентом Соединенных Штатов...

— Рузвельт? — высказывает предположение доктор Пул.

— Правильно, Рузвельт. Так вот, помните, что он повторял на протяжении всей второй мировой войны? «Безоговорочная капитуляция, безоговорочная капитуляция». Безоговорочное наущение — вот что это было. Прямое, безоговорочное наущение!

— Это вы только так говорите, — протестует доктор Пул. — А где доказательства?

— Доказательства? — подхватывает архинаместник. — Доказательством служит вся последующая история. Ведь что получилось, когда эти слова превратились в политику и стали проводиться в жизнь? Безоговорочная капитуляция — и сколько миллионов новых заболеваний туберкулезом? Сколько миллионов детей вынуждены были кормиться воровством или продавать себя за плитку шоколада?

А несчастьям детей Велиал особенно рад. Безоговорочная капитуляция — и Европа разрушена, в Азии хаос, везде голод, революция, тирания. Безоговорочная капитуляция — и масса ни в чем не повинных людей испытывает муки, худшие, чем в любой другой период истории. А как вам хорошо известно, Велиал больше всего любит мучения невинных. И наконец, произошло Это. Безоговорочная капитуляция — и бах! Его намерения осуществились. И все это случилось без какого-либо чуда или нарочитого вмешательства, совершенно естественно. Чем больше думаешь о том, как осуществляется Его промысел, тем более непостижимым и чудесным он кажется. — Архинаместник благочестиво изображает рожки. Пауза. Потом он поднимает руку и говорит: — Послушайте!

Несколько секунд все сидят молча. Неясное, монотонное пение становится слышнее. «Кровь, кровь, кровь, это кровь...» Доносится слабый крик — еще одного уродца насадили на нож патриарха, затем слышатся глухие удары воловьими жилами по телу и несколько громких, почти нечеловеческих воплей на фоне возбужденного рева толпы.

— Трудно поверить, что Он создал нас, не прибегая к чуду, — задумчиво продолжает архинаместник. — Однако же создал, создал. Самым естественным образом, используя людей и их науку в качестве орудий. Он создал совершенно новую человеческую породу — людей с испорченной кровью, живущих в убожестве, людей, которых ждет лишь еще большее убожество и еще более испорченная кровь, вплоть до полного исчезновения. Да, дело страшное — попасть в лапы к Живому Злу.

— Тогда зачем же вы продолжаете ему поклоняться? — спрашивает доктор Пул.

— А зачем вы бросаете пищу рычащему тигру? Чтобы купить себе передышку. Чтобы хоть на несколько минут отодвинуть ужас неизбежности. Отодвинуть могилу, а в действительности — ад, хоть еще немного пожить на земле.

— Вряд ли это стоит труда, — философски замечает доктор Пул тоном только что отобедавшего человека.

Особенно пронзительный вопль заставляет его обернуться к двери. Несколько секунд он молча ждет. Выражение ужаса у него на лице уступает место любознательности ученого.

— Начинаете привыкать, а? — добродушно осведомляется архинаместник.

Рассказчик

Привычка, совесть... Совесть — ты из нас
То трусов, то святых, но человеков ладишь,
Привычка же — папистов, протестантов,
Садистов, бэббитов*, словаков или шведов;
Кто убивает кулаков, евреев душит,
Кто за идею яростно кромсает
Плоть трепетную, будучи уверен,
Что это — ради высших идеалов.

Да, друзья мои, вспомните, каким негодованием вы преисполнились, когда турки вырезали армян больше, чем обычно*, как благодарили Господа, что живете в протестантской, прогрессивной стране, где такое просто не может произойти — не может, потому что мужчины здесь носят цилиндры и каждый день ездят на службу поездом восемь двадцать три. А теперь поразмыслите немного об ужасах, которые вы уже воспринимаете как нечто само собой разумеющееся, о вопиющих нарушениях элементарных норм порядочности, которые творились с вашего ведома (а быть может, и вашими собственными руками), о зверствах, которые ваша дочурка дважды в неделю видит в кинохронике и считает их заурядными и скучными. Если так пойдет и дальше, то через двадцать лет ваши дети будут смотреть по телевизору бои гладиаторов, а когда приестся и это, начнутся трансляции массовых распятий тех, кто отказывается нести воинскую службу, или же цветные передачи о том, как в Тегусигальпе заживо сдирают кожу с семидесяти тысяч человек, подозреваемых в антигондурасских действиях.

Тем временем в «Греховная Греховных» доктор Пул все еще смотрит в приоткрытые двери. Архинаместник ковыряет в зубах. Уютная послеобеденная тишина. Внезапно доктор Пул поворачивается к собеседнику.

— Там что-то происходит! — возбужденно восклицает он. — Они встают с мест!

— Я уже давно жду этого, — не переставая ковырять в зубах, отзывается архинаместник. — Это кровь так действует. Кровь, ну и, конечно, бичевание.

— Они прыгают на арену, — продолжает доктор Пул. — Бегают друг за другом. Что же это?.. О боже, из-

вините, — поспешно добавляет он. — Но в самом деле... — В невероятном возбуждении он отходит от двери. — Ведь есть же какие-то пределы?

— Вот тут вы неправы, — отзывается архинаместник. — Пределов нет. Каждый способен на что угодно, буквально на что угодно.

Доктор Пул не отвечает. Помимо его желания какая-то сила неудержимо тянет его на прежнее место: он возвращается к двери и жадно, с ужасом смотрит на происходящее на арене.

— Это чудовищно! — восклицает он. — Просто отвратительно!

Архинаместник тяжело поднимается с ложа и, отворив дверцу маленького шкафчика в стене, достает оттуда бинокль и протягивает его доктору Пулу.

— Попробуйте, — говорит он. — Бинокль ночного видения. Стандартный, морской — таким пользовались на флоте до Этого. Вам все будет видно.

— Неужели вы считаете?..

— Не только считаю, — с иронической, но благосклонной улыбкой отзывается архинаместник, — но и наблюдал собственными глазами. Взгляните, попробуйте. В Новой Зеландии вы такого не видели.

— Разумеется, нет, — отвечает доктор Пул тоном, каким произнесла бы это его матушка, однако подносит бинокль к глазам.

Дальний план с точки, где он стоит. На арене — сатиры и нимфы; одни преследуют, другие, для пущего возбуждения немного посопротивлявшись, сдаются в плен, одни губы уступают другим, окруженным волосами, томящиеся груди уступают нетерпеливым грубым рукам, и все это под аккомпанемент разноголосых криков, визга и пронзительного смеха.

В кадре снова архинаместник: лицо его морщится от презрительного отвращения.

— Как кошки, — цедит он. — Только у кошек хватает скромности не заниматься своими ухаживаниями в стае. Все еще сомневаетесь насчет Велиала, даже теперь?

Молчание.

— Такое началось после... Этого? — спрашивает доктор Пул.

— Через два поколения.

— Два поколения! — присвистывает доктор Пул. — Вот в этой мутации рецессивных признаков * нет. А они...

то есть я хочу сказать, что в другое время они ведут себя так же?

— Только эти пять недель — и все. А совокупляться мы разрешаем лишь в течение двух недель.

— Но почему же?

Архинаместник делает рожки:

— Из принципиальных соображений. Они должны быть наказаны за то, что были наказаны. Это закон Велиала. И должен сказать, мы их действительно наказываем, если они нарушают правила.

— Понятно, понятно, — соглашается доктор Пул, с неловкостью вспомнив о сценке, разыгравшейся в дюнах между ним и Лулой.

— Это довольно сложно для тех, кто склонен к старомодной системе спаривания.

— И много у вас таких?

— Пять-десять процентов населения. Мы называем их «бешеными».

— И не позволяете?..

— Если они попадаются к нам в руки, мы с них спускаем шкуру.

— Но это же чудовищно!

— Конечно, — соглашается архинаместник. — Но вспомните вашу историю. Если вы хотите добиться солидарности, вам нужен или внешний враг, или угнетенное меньшинство. Внешних врагов у нас нет, поэтому приходится извлекать из «бешеных» все, что можно. Для нас они — то же самое, чем были для Гитлера евреи, для Ленина и Сталина — буржуазия, чем были еретики в католических странах и паписты в протестантских. Если что не так — виноваты «бешеные». Не представляю, что бы мы без них делали.

— Но неужели вам никогда не приходит в голову подумать о том, что чувствуют они?

— А зачем? Прежде всего таков закон. Заслуженное наказание за то, что ты был наказан. Во-вторых, если они будут проявлять осторожность, то избегнут наказания. От них требуется лишь не рожать детей, когда не положено, и скрывать, что они влюбились и находятся в постоянных сношениях с особой противоположного пола. И потом, если они не хотят соблюдать осторожность, то всегда могут сбежать.

— Сбежать? Куда?

— На севере, неподалеку от Фресно, есть небольшая

община. На восемьдесят пять процентов — «бешеные». Конечно, путь туда опасен. Очень мало воды по дороге. И если мы ловим беглецов, то хороним их заживо. Но они вполне вольны пойти на этот риск. А потом, есть еще священство. — Архинаместник показывает рожки. — Будущее каждого смышленого мальчика с ранними задатками «бешеного» обеспечено: мы делаем из него священнослужителя.

Следующий вопрос доктор Пул осмеливается задать лишь через несколько секунд.

— Вы имеете в виду, что?..

— Вот именно, — отвечает архинаместник. — Ради Царства Ада. Не говоря уже о чисто практических соображениях. В конце концов, должен же кто-то управлять общиной, а миряне делать это не в состоянии.

На секунду шум на арене становится просто оглушительным.

— Тошнотворно! — в порыве сильнейшего омерзения скрипит архинаместник. — Но это пустяки по сравнению с тем, что будет потом. Как я благодарен, что меня уберегли от подобного позора! Это ведь не они — это враг рода человеческого, вселившийся в их отвратительные тела. Будьте добры, взгляните вон туда, — архинаместник притягивает к себе доктора Пула и указывает на кого-то своим толстым пальцем. — Вон там, слева от главного алтаря, некто обнимается с маленьким рыжеволосым сосудом. И это вождь, вождь! — насмешливо подчеркивает он. — Что за правитель будет из него в течение следующих двух недель?

Подавив в себе искушение пройтись по поводу человека, который хоть временно и отошел от дел, но вскоре снова обретет всю полноту власти, доктор Пул нервно хихикает.

— Да, он явно отдыхает от государственных забот.

Рассказчик

Но почему, почему он должен отдыхать непременно с Лулой? Низкая тварь, вероломная шлюха! Но в этом есть хоть одно утешение — и для застенчивого человека, мучимого желаниями, которые он не осмеливается удовлетворить, утешение весьма существенное — поведение Лулы говорит о ее доступности, в Новой Зеландии, в академических кругах, поблизости от матушки об этом можно лишь тайно мечтать как о чем-то прекрасном, но не-

сбыточном. Причем доступна, оказывается, не только Лула. То же самое, и не менее активно, не менее громогласно, демонстрируют и мулатки, и Флосси, и пухленькая немочка с волосами цвета меда, и необъятная армянская матрона, и светловолосая девчушка с большими голубыми глазами...

— Да, это наш вождь, — горько говорит архинаместник. — Пока дьявол не покинет его и всех остальных свиней, властвовать будет церковь.

Несмотря на непреоборимое желание быть сейчас на арене с Лулой, а если на то пошло, то и с кем угодно, безнадежно воспитанный доктор Пул высказывает подходящее случаю замечание о духовной власти и временном могуществе.

Не обращая на его слова внимания, архинаместник отрывисто бросает:

— Ну, пора браться за дело.

Он подзывает послушника, берет у него сальную свечку и идет к алтарю, находящемуся в восточном конце святилища. Там стоит свеча из желтого пчелиного воска, фута четыре высотой и непропорционально толстая. Архинаместник преклоняет колена, зажигает эту свечу, делает пальцами рожки и возвращается к месту, где стоит доктор Пул, который широко раскрытыми глазами, словно зачарованный ужасом и собственным вожделением, наблюдает происходящий на арене спектакль.

— Посторонитесь, пожалуйста.

Доктор Пул отходит.

Послушник отодвигает сначала одну половинку двери, затем другую. Архинаместник выходит вперед и, остановившись в дверном проеме, прикасается к золоченым рогам на тиаре. Музыканты, стоящие на ступенях главного престола, пронзительно дуют в свои флейты из бедренных костей. Шум толпы смолкает, и лишь время от времени тишина нарушается мерзкими выкриками радости или боли, которые, видимо, никак не сдержать — слишком уж они яростны. Священники начинают антифон.

Полухорие 1

Пришло время,

Полухорие 2

Ведь Велиал безжалостен,

Полухорие 1

Время конца времен

Полухорие 2

В хаосе похоти.

Полухорие 1

Пришло время,

Полухорие 2

А Велиал ведь у вас в крови,

Полухорие 1

Время, когда рождаются в вас

Полухорие 2

Не ваши, чужие

Полухорие 1

Зудящие лишаи,

Полухорие 2

Распухший червь.

Полухорие 1

Пришло время,

Полухорие 2

Ведь Велиал ненавидит вас,

Полухорие 1

Время смерти души,

Полухорие 2

Время гибели человека,

Полухорие 1

Приговоренного желанием,

Полухорие 2

Казненного удовольствием;

Полухорие 1

Время, когда враг

Полухорие 2

Одерживает победу,

Полухорие 1

Когда бабуин становится хозяином

Полухорие 2

И зачинаются чудовища.

Полухорие 1

Не по вашей воле, но по Его

Полухорие 2

Ждет вас вечная гибель.

Громко и единодушно толпа подхватывает:

— Аминь!

— Да будет на вас его проклятие, — произносит архинаместник своим пронзительным голосом, затем переходит в другой конец святилища и взгромождается на трон, стоящий рядом с алтарем. Снаружи слышатся неясные крики, которые становятся все громче и громче; внезапно святилище заполняется толпой беснующихся. Они бросаются к алтарю, срывают друг с друга фартуки и сваливают их в груду у подножия трона. «Нет, нет, нет» — и на каждое «нет» раздается победное «да!», сопровождающееся недвусмысленным жестом в сторону ближайшего представителя противоположного пола. Вдалеке монотонно, снова и снова повторяя слова, поют священники: «Не по вашей воле, но по Его ждет вас вечная гибель».

Крупный план: доктор Пул наблюдает за происходящим из угла святилища.

В кадре снова толпа: одно бессмысленное, искаженное экстазом лицо сменяется другим. И вдруг лицо Лулы: глаза сияют, губы полуоткрыты, ямочки на щеках живут полной жизнью. Она поворачивает голову и замечает доктора Пула:

— Алфи!

Ее тон и выражение лица вызывают столь же восторженный ответ:

— Лула!

Они бросаются друг к другу и страстно обнимаются. Идут секунды. На звуковой дорожке раздаются вазелиноподобные напевы «Страстной пятницы» из «Парсифаля» *.

Лица отодвигаются друг от друга, камера отъезжает.

— Скорей, скорей!

Лула хватает доктора Пула за руку и тащит к алтарю.

— Фартук, — командует она.

Доктор Пул опускает взгляд на ее фартук, затем, сделавшись таким же красным, как вышитое «нет», отводит глаза и мямлит:

— Но это же... это непристойно...

Он протягивает руку, отдергивает и наконец решается. Взявшись двумя пальцами за уголок фартука, он раза два слабо и нерешительно дергает.

— Сильней, — кричит девушка, — еще сильней!

С почти безумной яростью — ведь он срывает не только фартук, но и влияние своей матушки, все запреты, все условности, на которых вырос, — доктор Пул делает, как ему сказано. Фартук отрывается гораздо легче, нежели он предполагал, и ботаник едва не падает навзничь. С трудом удержавшись на ногах, он стоит и сконфуженно смотрит то на фартук, олицетворяющий седьмую заповедь, то на смеющееся лицо Лулы, то снова на алый запрет. Чередование кадров: «нет» — ямочки, «нет» — ямочки, «нет»...

— Да! — восторженно кричит Лула. — Да!

Она выхватывает фартук у него из рук и бросает к подножию трона. Затем с криком «Да!» яростно срывает заплаты с груди и, повернувшись к алтарю, становится перед свечой на колени.

Средний план: коленопреклоненная Лула со спины. Вдруг в кадр влетает какой-то седобородый мужчина, срывает оба «нет» с ее домотканых штанов и тащит девушку к выходу из святилища.

Лула бьет его по лицу, толкает изо всех сил, вырывается и снова бросается в объятия к доктору Пулу.

— Да? — шепчет она.

И он восторженно отвечает:

— Да!

Они целуются, дарят друг другу восторженную улыбку и уходят в темноту за раздвижными дверьми. Когда они проходят мимо трона, архинаместник наклоняется и, иронически улыбаясь, похлопывает доктора Пула по плечу.

— Как там насчет моего бинокля? — спрашивает он.

Наплыв: ночь, чернильные тени и полосы лунного света. Вдали — громада разрушающегося музея округа Лос-Анджелес. Нежно обнявшиеся Лула и докор Пул входят в кадр, затем исчезают в непроницаемой тьме. Силуэты муж-

чин, бегущих за женщинами, женщин, набрасывающихся на мужчин, на секунду появляются и пропадают. На фоне музыки «Страстной пятницы» то громче, то тише слышится хор ворконтни и стонов, непристойных выкриков и протяжных воплей мучительного наслаждения.

Рассказчик

Возьмем птиц. Сколько изысканности в их любви, сколько старомодного рыцарства! И хотя гормоны, вырабатываемые в организме племенной курицы, располагают ее к половому возбуждению, воздействие их не столь сильно и не столь кратковременно, как воздействие гормонов яичника, поступающих в кровь самки млекопитающего в период течки. К тому же по вполне понятным причинам петух не в состоянии навязать свое желание не расположенной к нему курице. Этим объясняется наличие у самцов птиц яркого оперения и инстинкта ухаживания. Этим же объясняется и явное отсутствие этих привлекательных свойств у самцов млекопитающих. Ведь если любовные желания самки и ее привлекательность для самцов предопределены исключительно химически, как это имеет место у млекопитающих, то к чему самцам такое мужское достоинство, как способность к предварительному ухаживанию?

У людей каждый день в году потенциально брачный. Девушки в течение нескольких дней химически не предрасположены принять ухаживания первого попавшегося мужчины. Организм девушки вырабатывает гормоны в дозах, достаточно небольших для того, чтобы даже наиболее темпераментные из них имели определенную свободу выбора. Вот почему в отличие от своих млекопитающих собратьев мужчина всегда должен был домогаться женщины. Но теперь гамма-лучи все изменили. Унаследованные стереотипы физического и умственного поведения мужчины приобрели иную форму. Благодаря полному триумфу современной науки секс стал делом сезонным, романтику поглотила случка, а химическая готовность женщины к совокуплению сделала ненужными ухаживания, рыцарственность, нежность, да и саму любовь.

В этот миг из мрака появляются сияющая Лула и довольно растрепанный доктор Пул. Дородный мужчина,

временно оставшийся без пары, проходит мимо. Завидев Лулу, он останавливается. Челюсть у него отвисает, глаза расширяются, дыхание становится прерывистым.

Доктор Пул бросает на незнакомца взгляд, потом с беспокойством обращается к своей спутнице:

— Думаю, неплохо будет прогуляться в ту сторону...

Ни слова не говоря, незнакомец набрасывается на него, отшвыривает в сторону и заключает Лулу в объятия. Какое-то время она сопротивляется, но затем категорический императив химических веществ в крови заставляет ее прекратить борьбу.

Со звуками, какие издает тигр во время кормежки, незнакомец поднимает девушку и уносит во тьму.

Доктор Пул, успевший к этому времени подняться с земли, делает движение, словно хочет броситься за ними, чтобы отомстить, чтобы спасти невинную жертву. Но страх и скромность заставляют его замедлить шаг. Ведь если он пойдет за ними, бог знает, на что он там натолкнется. А потом, этот мужчина — волосатая груда костей и мышц... Вообще-то, наверное, лучше... Он в нерешительности останавливается, не зная, что предпринять. Внезапно из музея выбегают две хорошенькие мулатки и, обняв доктора Пула своими шоколадными руками, принимаются целовать.

— Какой большой и красивый негодник! — раздается в унисон их хриплый шепот.

Какое-то мгновение доктор Пул колеблется между сдерживающими воспоминаниями о матушке, верностью Луле, предписываемой всеми поэтами и романистами, с одной стороны, и теплыми, упругими фактами, какие они есть, — с другой. Секунды через четыре внутреннего конфликта он, как и следовало ожидать, выбирает факты. Ботаник улыбается, начинает отвечать на поцелуи, шепча слова, которые изумили бы мисс Хук и просто убили бы его мать, обнимает девушек и принимается ласкать их груди руками, которые прежде не делали ничего подобного — разве что в постыдных мечтаниях. Звуки, сопровождающие процесс повального совокупления, на несколько секунд делаются громче, потом стихают. Некоторое время стоит полная тишина.

В сопровождении архимандритов, служек, пресвитеров и послушников в кадре величественно движутся архинаместник и патриарх Пасадены. Завидев доктора Пула и мулаток, они останавливаются. С гримасой омерзения

патриарх сплевывает на землю. Архинаместник, как человек более терпимый, лишь иронически улыбается.

— Доктор Пул! — окликает он своим странным фальцетом.

Словно услыхав голос матушки, доктор Пул с виноватым выражением опускает свои неугомонные руки и, повернувшись к архинаместнику, пытается принять вид воплощенной невинности. «Девушки? — словно говорит его улыбка. — Кто они? Да я даже не знаю, как их зовут. Мы тут просто поболтали немного о высших тайнобрачных — и все».

— Какой большой... — начинает хриплый голос.

Громко кашлянув, доктор Пул пытается уклониться от сопровождающих эти слова объятий.

— Не обращайте на нас внимания, — любезно говорит архинаместник. — В конце концов, Велиалов день бывает лишь раз в году.

Подойдя поближе, он прикасается к золотым рогам на тиаре и возлагает руки на голову доктора Пула.

— Твое обращение было внезапным и чудесным, — произносит он с неожиданной профессиональной елейностью. — Да, чудесным, — и, резко сменив тон, добавляет: — Кстати, ваши новозеландские друзья доставили нам кое-какие хлопоты. Сегодня днем их заметили на Беверли-Хиллз. Думаю, они вас искали.

— Да, наверно.

— Но они вас не найдут, — мило продолжает архинаместник. — С ними справился отряд служек под предводительством одного из наших инквизиторов.

— Что случилось? — тревожно осведомляется доктор Пул.

— Наши устроили засаду и осыпали их стрелами. Одного убили, остальные скрылись, прихватив с собой раненых. Не думаю, чтобы они побеспокоили нас снова. Но на всякий случай... — Он кивает головой двоим из сопровождающих. — Значит, так, вы отвечаете, чтобы его никто не освободил и сам он не сбежал, понятно?

Два послушника склоняют головы.

— А теперь, — повернувшись к доктору Пулу, заключает архинаместник, — можете зачинать уродцев сколько душе угодно.

Он подмигивает, треплет доктора Пула по щеке, затем берет под руку патриарха и в сопровождении свиты удаляется.

Доктор Пул смотрит им вслед, потом бросает смущенный взгляд на своих охранников.

Его шею обвивают шоколадные руки.

— Какой большой...

— Ну что вы в самом деле! Не на публике же! Не под носом же у этих!

— Какая разница?

И прежде чем он успевает ответить, представители «жизни, как она есть» в два счета снова подступают к нему, хитроумно обвивают его руками и, словно наполовину упирающегося, наполовину счастливого и на все согласного Лаокоона*, уводят во мрак. Послушники с отвращением одновременно сплевывают.

Рассказчик

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle...[1]

Его перебивает взрыв бешено-похотливых воплей.

Рассказчик

*Когда гляжу я в пруд в своем саду**
(Или в чужом — в любом саду довольно
И нор угрей, и лун в воде), *мне мнится,*
Я вижу Нечто с граблями — оно
Там, в тине, в имманентности, в мерцанье
Небесных лун-угрей *в меня все метит* —
В меня — святого, дивного! И все же,
Коль совесть нечиста — что за докука!
Не лучше, впрочем, и когда чиста.
Что ж удивляться, если пруд ужасный
На грабли тянет нас? И Нечто бьет,
И я, неловкий человек, в грязи
Иль в жидком лунном свете, благодарно
Других отыскиваю, чтоб слепую
Иль ослепительную жизнь влачить.

Наплыв: средним планом доктор Пул, спящий на песке, нанесенном ветром к подножию высокой бетонной стены. В двадцати футах от него спит один из охранников. Другой поглощен чтением старинного экземпляра «Вечного

[1] «Ночь свадебной была, торжественной, священной» *(франц.)*.

янтаря» *. Солнце уже высоко. Крупный план: маленькая зеленая ящерка забирается на откинутую руку доктора Пула. Он лежит неподвижно, как мертвый.

Рассказчик

Это блаженствующее существо явно не доктор биологии Алфред Пул. Ведь сон — это одно из непременных условий переселения душ, первейшее орудие божественной имманентности. Когда мы спим, мы перестаем жить и вместо нас живет (да еще как счастливо!) безымянный Некто, который пользуется возможностью, чтобы восстановить ясность ума, а также исцелить заброшенное и измученное самим собою тело.

От завтрака до отхода ко сну вы можете любым доступным вам способом насиловать природу и отрицать факт существования вашей безликой сущности. Но даже самая рассерженная обезьяна устает в конце концов корчить рожи — ей нужен сон. И пока она спит, живущее в ней сострадание хочешь не хочешь защищает ее от самоубийства, которое она с таким неистовым рвением пыталась совершить в часы бодрствования. Но солнце встает опять, наша обезьяна опять просыпается и возвращается к своей личности и свободе волеизъявления — к еще одному дню ужимок и гримас или, если она того захочет, к началу самопознания, к первым шагам к освобождению.

Переливы возбужденного женского смеха прерывают Рассказчика. Спящий вздрагивает, а после второго, более громкого взрыва смеха просыпается, садится и в замешательстве оглядывается вокруг, не соображая, где он. Опять звучит смех. Проснувшийся оборачивается.

Дальний план с точки, где он сидит: две его темнокожие ночные подруги вылетают из-за дюны и мгновенно исчезают в развалинах музея. Храня сосредоточенное молчание, их по пятам преследует вождь. Все трое скрываются из вида.

Спящий послушник просыпается и поворачивается к своему напарнику.

— Что там такое? — спрашивает он.

— Обычное дело, — отзывается тот, не отрываясь от «Вечного янтаря».

В этот миг в пустынных залах музея раздаются пронзи-

тельные вопли. Послушники смотрят друг на друга, потом сплевывают в унисон.

В кадре опять доктор Пул.

— Боже мой! Боже мой! — громко стонет он и закрывает лицо руками.

Рассказчик

В пресыщенность этого утра, наступившего после того, что было вчера, впусти терзающую тебя совесть и принципы, впитанные тобою, когда ты сидел у матери на коленях, а то и лежал на них (головой вниз и с задранным подолом рубашонки), получая заслуженную порку, производимую печально и набожно, но вспоминавшуюся тобой — ирония судьбы! — как предлог и аккомпанемент бесчисленных эротических снов наяву, за которыми, естественно, следовали угрызения совести, а они в свою очередь влекли за собою мысль о наказании со всеми сопутствующими ощущениями. И так далее, до бесконечности. Так вот, как я уже говорил, впусти одно в другое, и в результате ты, скорее всего, обратишься в иную веру. Но в какую? Совершенно не понимая, в чем он теперь убежден, наш бедный герой этого не знает. А вот идет человек, от которого он в последнюю очередь может ждать каких-либо объяснений.

При последних словах Рассказчика в кадре появляется Лула.

— Алфи! — радостно восклицает она. — Я тебя искала.

На несколько секунд в кадре появляются послушники: бросив на нее взгляд, полный омерзения, вызванного вынужденным воздержанием, они сплевывают.

Тем временем, взглянув на «желанья утоленного черты» *, доктор Пул виновато отводит глаза.

— Доброе утро, — в полном соответствии с этикетом говорит он. — Надеюсь... ты спала хорошо?

Лула присаживается рядом с ним, открывает кожаную сумку, которую носит на плече, и достает оттуда полбуханки хлеба и с полдюжины крупных апельсинов.

— В эти дни никто ничего не готовит, — объясняет она. — Один большой пикник, пока не наступят холода.

— О да, безусловно, — отвечает доктор Пул.

— Ты, наверное, ужасно голоден, — продолжает Лула. — После прошлой ночи.

Она улыбается, и ямочки вылезают из укрытия.

От смущения доктора Пула бросает в жар, он вспыхивает и пытается сменить тему:

— Хорошие апельсины. В Новой Зеландии они растут плохо, разве что на самом...

— Держи! — прерывает его Лула.

Она протягивает ему краюху хлеба, отламывает такую же себе и впивается в нее крепкими белыми зубами.

— Вкусно, — с набитым ртом говорит она. — Почему не ешь?

Доктор Пул, который вдруг почувствовал, что голоден как волк, но для сохранения приличий не желает признаваться в этом, изящно отщипывает кусочек корочки.

Лула прижимается к ботанику и кладет голову ему на плечо.

— Здорово было, правда, Алфи? — она откусывает кусок хлеба и, не дожидаясь ответа, продолжает: — С тобой гораздо лучше, чем с другими. Тебе тоже так показалось?

Она бросает на него нежный взгляд.

Крупный план с места, где сидит Лула: лицо доктора Пула, выражающее мучительную неловкость.

— Алфи! — восклицает она. — Что случилось?

— Поговорим лучше о чем-нибудь другом, — в конце концов выдавливает он.

Лула выпрямляется и несколько секунд молча, внимательно разглядывает его.

— Ты слишком много думаешь, — изрекает она наконец. — Думать не надо. Если думаешь, то здорово уже не получится. — Внезапно лицо ее темнеет и она тихо продолжает: — Если думаешь, это ужасно, ужасно. Ужасно попасть в руки Живого Зла. Когда я вспомню, что они сделали с Полли и ее малышом...

Лула вздрагивает, глаза ее наполняются слезами, и она отворачивается.

Рассказчик

И опять эти слезы, этот признак личности — при виде их появляется сочувствие, которое сильнее, чем чувство вины.

Позабыв про послушников, доктор Пул притягивает Лулу к себе и, пытаясь ее утешить, что-то шепчет, гла-

дит ее, словно успокаивая плачущего ребенка. Ему это удается: через несколько минут Лула уже лежит у него на руке. Умиротворенно вздохнув, она открывает глаза, смотрит на него и улыбается с нежностью, к которой ямочки добавляют капельку восхитительного озорства.

— Об этом я мечтала всегда.

— Правда?

— Но такого со мной никогда не было — не могло быть. Пока не пришел ты... — Она проводит рукой по его щеке и продолжает: — Вот было бы хорошо, если бы у тебя не росла борода. А то ты будешь похож на других. Но ты не такой, как они, ты совсем на них не похож.

— Не так уж и не похож, — говорит доктор Пул.

Нагнувшись, он целует глаза девушки, ее шею, губы, затем выпрямляется и смотрит на нее с выражением торжествующей мужественности.

— Не тем не похож, а этим, — поясняет она, снова похлопав его по щеке. — Мы с тобой сидим, разговариваем, и мы счастливы, потому что ты — это ты, а я — это я. Такого тут не бывает. Разве что... — Она замолкает, и лицо ее темнеет. — Ты знаешь, что бывает с людьми, которых называют «бешеными»? — спрашивает она шепотом.

На этот раз приходит очередь доктора Пула сказать, что, мол, не надо слишком много думать. Свои слова он подкрепляет действиями.

Объятия крупным планом. Затем камера переходит на послушников, с отвращением наблюдающих за сценой. Когда они сплевывают, в кадр входит еще один послушник.

— Приказ его высокопреосвященства, — объявляет он и делает пальцами рожки. — Это задание отменяется. Вам велено возвращаться в центр.

Наплыв: корабль «Кентербери». Раненого матроса, из плеча у которого все еще торчит стрела, обвязали тросом и поднимают из вельбота на палубу шхуны. Там уже лежат две другие жертвы калифорнийскийх лучников — доктор Кадворт раненный в левую ногу, и мисс Хук. У девушки в правом боку глубоко засела стрела. Врач с мрачным видом наклоняется над ней.

— Морфий, — приказывает он санитару. — И поскорее в операционную.

Тем временем звучат громкие слова команды, и мы внезапно слышим стук вспомогательного двигателя и лязг якорной цепи, наматывающейся на шпиль.

Этель Хук открывает глаза и осматривается. На ее бледном лице появляется выражение отчаяния.

— Неужели вы собираетесь уйти и оставить его здесь? — спрашивает она. — Это невозможно! — Девушка пытается приподняться на носилках, но движение причиняет ей такую боль, что она со стоном падает назад.

— Тише, тише, — успокаивает врач, протирая ей руку спиртом.

— Но ведь он, может быть, еще жив, — слабо протестует Этель. — Мы не должны бросать его, не должны умывать руки.

— Лежите тихо, — говорит врач и, взяв у санитара шприц, вводит иглу ей в руку.

Под все усиливающийся грохот якорной цепи наплыв: Лула и доктор Пул.

— Есть хочется, — садясь, говорит Лула.

Взяв сумку, она вынимает остатки хлеба, разламывает его на две части, большую отдает доктору Пулу, а сама откусывает от меньшей. Прожевав, собирается откусить еще, но передумывает. Повернувшись к своему другу, она берет его за руку и целует ее.

— Это еще зачем? — спрашивает доктор Пул.

Лула пожимает плечами:

— Не знаю. Просто вдруг захотелось. — Она съедает еще немного хлеба, затем, задумчиво помолчав, поворачивается к Пулу с видом человека, который внезапно совершил важное и неожиданное открытие: — Алфи, мне кажется, я никогда больше не скажу «да» никому, кроме тебя.

Доктор Пул глубоко тронут, он наклоняется и прижимает руку девушки к своему сердцу.

— По-моему, я только сейчас понял, что такое жизнь, — говорит он.

— Я тоже.

Лула прижимается к нему, и, словно скупец, которого все время тянет пересчитывать свои сокровища, доктор Пул запускает пальцы в ее волосы, отделяет прядь за прядью, поочередно поднимает локоны, беззвучно падающие назад.

Рассказчик

Вот так, согласно диалектике чувства, эти двое вновь открыли для себя тот синтез химического и личного,

который мы называем моногамией или романтической любовью. Раньше у Лулы гормоны исключали личность, а у доктора Пула личность никак не могла прийти в согласие с гормонами. Теперь начинает появляться великое единство.

Доктор Пул засовывает руку в карман и вытаскивает томик, спасенный им вчера от сожжения. Он открывает его, листает и принимается читать вслух:

Стекает аромат с ее волос *,
С ее одежд, и если развилось
Кольцо на лбу у ней — благоуханье
Пронзает ветра встречного дыханье,
Душа же источает дух лесной
И дикий, как у соков, что весной
Кипят, в застывших почках созревая .

— Что это? — спрашивает Лула.

— Это ты! — доктор Пул наклоняется и целует ее волосы. — «Душа же источает дух лесной и дикий...» Душа, — шепотом повторяет он.

— Что такое душа? — спрашивает Лула.

— Это... — Он замолкает, потом, решив предоставить ответ Шелли, продолжает читать:

Так, смертная, стоит она, являя
Собой любовь, свет, жизнь и божество.
Всегда сиять в ней будет волшебство,
Свет вечности, благое торжество,
Что третьей сфере * не дает покоя,
Мечты в ней отраженье золотое
И отсветы немеркнущей любви...

— Но я ни слова не поняла, — жалуется Лула.

— До сегодняшнего дня я тоже не понимал, — с улыбкой отзывается доктор Пул.

Наплыв: «Греховная Греховных» две недели спустя. Несколько сот бородатых мужчин и неряшливых женщин стоят в двух параллельных очередях ко входу в святилище. Камера проходит по веренице угрюмых, грязных лиц

и останавливается на Луле и докторе Пуле, которые как раз проходят в раздвижную дверь.

Внутри мрачно и тихо. Те, кто еще два дня назад были нимфами и скачущими сатирами, пара за парой, шаркая ногами, уныло движутся мимо алтаря, мощная свеча на котором уже погашена с помощью жестяного колпачка. У подножия пустующего трона архинаместника лежит груда сброшенных седьмых заповедей. По мере того как процессия проходит мимо, архимандрит, отвечающий за общественную нравственность, протягивает каждому мужчине фартук, а женщине — фартук и четыре круглые заплатки.

— Выход через боковую дверь, — всякий раз повторяет он.

В эту дверь покорно выходят и Лула с доктором Пулом, когда подходит их очередь. Снаружи, на солнышке, десятка два послушников не покладая рук действуют иголками и нитками, пришивая фартуки к поясам, а заплатки — сзади к штанам и спереди к рубахам.

Камера задерживается на Луле. К ней подходят три молодых семинариста в тогенбургских[1] сутанах. Одному она подает фартук, двум другим — заплаты. Все трое принимаются за дело — одновременно и невероятно проворно. «Нет», «нет» и «нет».

— Повернитесь, пожалуйста.

Передав остальные заплатки, девушка повинуется, и пока специалист по фартукам отходит, чтобы обслужить доктора Пула, другие два работают иглами до того усердно, что уже через полминуты Лула становится столь же недоступной сзади, сколь и спереди.

— Есть!

— Готово!

Портняжки из духовных расступаются; крупным планом — дело их рук: «нет», «нет». В кадре снова послушники: сплюнув в унисон, они дают тем самым выход своим чувствам и поворачиваются к дверям святилища:

— Следующая леди, пожалуйста.

С выражением крайнего уныния на лицах вперед выходят две неразлучные мулатки.

В кадре снова доктор Пул. В фартуке и с двухнедельной бородкой он подходит к ожидающей его Луле.

— Сюда, пожалуйста, — раздается пронзительный голос.

---

[1] От названия местности в Швейцарии, известной своими тканями.

Они молча становятся в другую очередь. В ней несколько сотен людей покорно ожидают, когда им даст назначение старший помощник великого инквизитора, отвечающий за общественные работы. С тремя рогами, облаченный во внушительную занскую[1] сутану, великий человек вместе с двумя двурогими служками сидит за большим столом, на котором стоят несколько картотечных шкафчиков, спасенных из конторы страховой компании «Провидение».

Двадцатисекундная монтажная композиция: Лула и доктор Пул в течение часа медленно приближаются к источнику власти. И вот наконец их очередь. Крупный план: специальный помощник великого инквизитора приказывает доктору Пулу явиться в развалины административного корпуса Университета Южной Калифорнии к директору по производству продуктов питания. Этот джентльмен позаботится о том, чтобы ботаник получил лабораторию, участок земли для опытов и до четырех человек для неквалифицированной работы.

— До четырех человек, — повторяет священнослужитель, — хотя обычно...

— Ох, разрешите, я пойду туда работать, — без спроса вмешивается Лула. — Прошу вас.

Специальный помощник великого инквизитора бросает на нее испепеляющий взгляд и поворачивается к служкам:

— А это еще что за юный сосуд Нечистого духа, скажите на милость?

Один из служек достает из картотеки карточку Лулы и сообщает необходимую информацию. Сосуд восемнадцати лет от роду, пока стерилен, есть сведения, что был замечен в связи в неположенное время с одним из печально известных «бешеных», который позже был ликвидирован при попытке сопротивления аресту. Однако вина указанного сосуда доказана не была, его поведение, в общем, удовлетворительно. В прошлом году упомянутый сосуд использовался на раскопке кладбищ, в следующий сезон должен быть использован так же.

— Но я хочу работать с Алфи, — возражает Лула.

— Ты, кажется, забываешь, что у нас демократия, — вмешивается первый служка.

— Демократия, — добавляет его коллега, — при кото-

[1] От названия швейцарской породы коз, славящихся короткой густой шерстью.

рой каждый пролетарий пользуется неограниченной свободой.

— Подлинной свободой.

— Свободно исполняя волю пролетариата.

— A vox proletariatus, vox Diaboli [1].

— Тогда как, разумеется, vox Diaboli, vox Ecclesiae [2].

— А мы здесь как раз и представляем церковь.

— Так что сама понимаешь.

— Но я устала от кладбищ, — настаивает девушка. — Мне бы для разнообразия выкапывать что-нибудь живое.

Следует короткое молчание. Затем специальный помощник великого инквизитора наклоняется и, достав из-под стула весьма внушительную освященную воловью жилу, кладет ее перед собою на стол. Повернувшись к своим подчиненным, он произносит:

— Поправьте меня, если я ошибусь, но, насколько мне известно, всякому сосуду, отвергающему пролетарскую свободу, полагается двадцать пять ударов за каждый проступок такого рода.

Снова наступает молчание. Бедная Лула широко раскрытыми глазами смотрит на орудие наказания, затем отводит взгляд, пытается что-то сказать, с трудом сглатывает слюну и снова пробует раскрыть рот.

— Я не возражаю, — наконец выдавливает она. — Я действительно хочу свободы.

— Свободы отправляться раскапывать кладбища?

Девушка кивает.

— Достойный сосуд! — хвалит специальный помощник.

Лула поворачивается к доктору Пулу; несколько секунд они молча смотрят друг другу в глаза.

— До свидания, Алфи, — наконец шепчет она.

— До свидания, Лула.

Проходит еще несколько секунд, после чего девушка опускает глаза и уходит.

— А теперь, — обращается к доктору Пулу специальный помощник, — можно вернуться к делу. Как я уже говорил, в обычное время больше двух рабочих вам не дали бы. Я выражаюсь ясно?

Доктор Пул наклоняет голову.

---

[1] Глас пролетариата — глас дьявола (*лат.*).

[2] Глас дьявола — глас церкви (*лат.*).

Наплыв: лаборатория, в которой второкурсники Университета Южной Калифорнии изучали когда-то основы биологии. Оборудована лаборатория как обычно: раковины, столы, бунзеновские горелки*, весы, клетки для мышей и морских свинок, аквариумы для головастиков. Однако все здесь покрыто толстым слоем пыли, на полу валяется с полдюжины скелетов с полуистлевшими остатками штанов, свитеров, нейлоновых чулок, бюстгальтеров и дешевых побрякушек.

Дверь отворяется; входит доктор Пул в сопровождении директора по производству продуктов питания — пожилого седобородого человека в домотканых штанах, стандартном фартуке и визитке, принадлежавшей когда-то какому-нибудь англичанину-дворецкому, служившему у администратора киностудии.

— Боюсь, тут немного грязно, — извиняющимся тоном говорит директор. — Но я сегодня же днем велю убрать эти кости, а завтра сосуды-поденщицы вытрут столы и вымоют пол.

— Конечно, конечно, — отвечает доктор Пул.

Наплыв: это же помещение неделю спустя. Скелеты убраны, и попечением сосудов-поденщиц пол, стены и мебель почти чисты. У доктора Пула трое высокопоставленных посетителей. Архинаместник, с четырьмя рогами и в коричневом англо-нубийском одеянии Общества Молоха, сидит рядом с вождем, который облачен в сверкающий медалями мундир контр-адмирала военно-морского флота Соединенных Штатов, недавно извлеченный из могилы в Форест-Лоун. В почтительном отдалении и несколько сбоку от глав церкви и государства сидит директор по производству пищевых продуктов, все еще выряженный дворецким. Лицом к ним, в позе французского академика, готовящегося прочесть свое последнее творение кружку избранных и привилегированных слушателей, сидит доктор Пул.

— Можно начинать? — осведомляется он.

Главы церкви и государства смотрят друг на друга, затем поворачиваются к доктору Пулу и одновременно кивают.

— «Заметки об эрозии почв и патологии растений в Южной Калифорнии, — громко начинает доктор Пул. — С предварительным отчетом о положении сельского хозяйства и планом его будущего совершенствования. Подготовлено доктором наук Алфредом Пулом, адъюнктом кафедры ботаники Оклендского университета».

По мере того как он читает, в кадре появляется наплыв: склон у подножия гор Сан-Габриэль. Если не считать нескольких торчащих тут и там кактусов, это мертвая, искореженная земля, залитая солнцем. Склон изборожден сетью оврагов. Некоторые из них пока еще в начальной стадии эрозии, другие уже глубоко врезались в землю. Над одним из этих странной формы каньонов угрожающе нависает когда-то прочный дом, теперь уже частично обрушившийся. У подножия холма, на равнине, стоят мертвые каштаны наполовину в высохшей грязи, которая залила их в период дождей. За кадром слышится громкий, монотонный голос доктора Пула:

— При подлинном симбиозе наблюдается взаимополезное сосуществование связанных между собою организмов. Паразитизм же заключается в том, что один организм живет за счет другого. Такая однобокая форма сосуществования в конце концов оказывается гибельной для обеих сторон: смерть хозяина неизбежно приводит к смерти паразита, который и убил своего хозяина. Современный человек и планета, хозяином которой он еще недавно себя считал, сосуществуют не как партнеры по симбиозу, а как ленточный червь и собака, как грибок и зараженная им картофелина.

В кадре снова вождь. В дебрях его курчавой черной бороды в мощнейшем зевке открывается красногубый рот. За кадром доктор Пул продолжает читать:

— Игнорируя очевидный факт, что подобное расточение природных ресурсов в конечном счете приведет к гибели его цивилизации и даже к исчезновению всего людского рода, современный человек поколение за поколением продолжал использовать землю так, что...

— А покороче нельзя? — осведомляется вождь.

Для начала доктор Пул оскорбляется. Затем, вспомнив, что он осужденный на смерть пленник, проходящий испытание у дикарей, выдавливает нервную улыбку.

— Возможно, будет лучше, если мы прямо перейдем к разделу о патологии растений, — предлагает он.

— Мне плевать, — отзывается вождь, — главное, чтоб покороче.

— Нетерпеливость, — сентенциозно пищит архинаместник, — один из наиболее почитаемых Велиалом пороков.

Тем временем доктор Пул пролистывает несколько страниц и снова принимается за чтение:

— При существующем состоянии почвы урожай с квад-

ратного акра будет ненормально низким, даже если бы основные пищевые культуры были совершенно здоровыми. Но они не здоровы. Оценив урожай на полях, исследовав зерно, плоды и клубни, находящиеся в хранилищах, изучив образцы растений с помощью незначительно поврежденного микроскопа, изготовленного еще до Этого, я пришел к выводу, что количество и разнообразие болезней растений, свирепствующих в данном районе, можно объяснить лишь одним: намеренным заражением культур посредством применения грибковых бомб, бактериологических аэрозолей и выбросов зараженной вирусом тли и других насекомых. Как иначе объяснить распространение и необычайную вирулентность таких микроорганизмов, как Giberella Saubinettii и Puccinia graminis? А вирусные мозаичные болезни? А Bacillus amylovorus, Bacillus carotovorus Pseudomonas citri, Pseudomonas tumefasiens, Bacterium[1]...

Архинаместник прерывает перечисление, которое делает доктор Пул:

— А вы еще утверждаете, что люди не одержимы Велиалом! — восклицает он, качая головой. — Невероятно, до какой степени предубеждение может ослепить даже самых умных и высокообразованных...

— Да, да, это все мы слышали, — нетерпеливо перебивает его вождь. — Хватит болтать, ближе к делу! Что вы против всего этого можете предпринять?

Доктор Пул откашливается.

— Работа предстоит долгая и весьма трудоемкая.

— Но мне нужно больше еды сейчас, — безапелляционно заявляет вождь. — Уже в этом году.

Предчувствуя недоброе, доктор Пул волей-неволей объясняет, что болезнеустойчивые разновидности растений можно вывести и испытать лет за десять-двенадцать. А ведь остается еще вопрос с землей: эрозия разрушает ее, эрозию нужно остановить любой ценой. Но террасирование, осушение и компостирование земли — это огромный труд, которым нужно заниматься непрерывно, год за годом. Даже в прежние времена людям не удавалось сделать все необходимое для сохранение плодородности почвы.

— Это не потому, что они не могли, — вмешивается архинаместник. — Так было потому, что они не хотели.

---

[1] Латинские названия возбудителей болезней сельскохозяйственных культур.

Между второй и третьей мировыми войнами у людей имелось и необходимое время, и оборудование. Но они предпочли забавляться игрой в политику с позиции силы, и что в итоге? — Отвечая на свой вопрос, архинаместник загибает толстые пальцы: — Растущее недоедание. Все бóльшая политическая нестабильность. И в конце концов — Это. А почему они предпочли уничтожить себя? Потому что такова была воля Велиала, потому что Он овладел...

Вождь протестующе поднимает руки:

— Ладно, ладно. Это не лекция по апологетике или натуральной демонологии. Мы пытаемся что-нибудь сделать.

— А работа, к сожалению, займет немало времени, — говорит доктор Пул.

— Сколько?

— Значит, так. Лет через пять можно обуздать эрозию. Через десять будет ощутимое улучшение. Через двадцать какая-то часть вашей земли вернет плодородие процентов на семьдесят. Через пятьдесят...

— Через пятьдесят лет, — перебивает его архинаместник, — число уродств у людей по сравнению с нынешним удвоится. А через сто лет победа Велиала будет окончательной. Окончательной! — с детским смешком повторяет он, затем показывает рожки и встает. — Но пока я за то, чтобы этот джентльмен делал все, что может.

Наплыв: голливудское кладбище. Камера проезжает мимо надгробий, с которыми мы познакомились в предыдущее посещение.

Средний план: статуя Гедды Бодди. Камера проезжает сверху вниз по изваянию, пьедесталу и надписи.

«...всеми признанная любимица публики номер один. „Впряги звезду в свою колесницу“».

За кадром слышится звук втыкаемой в почву лопаты и шуршание песка и гравия, когда землю отбрасывают в сторону.

Камера отъезжает, и мы видим Лулу, которая, стоя в трехфутовой яме, устало копает.

Звук шагов заставляет ее поднять голову. В кадре появляется Флосси, уже знакомая нам толстушка.

— Как идет, нормально? — спрашивает она.

Вместо ответа Лула кивает и тыльной стороной ладони утирает лоб.

— Когда дойдешь до жилы, дай нам знать, — требует толстушка.

— Это будет не раньше чем через час, — угрюмо отвечает Лула.

— Ничего, детка, не сдавайся, — утешает Флосси с приводящей в бешенство сердечностью человека, стремящегося подбодрить товарища. — Приналяг, докажи им, что сосуд может сделать не меньше мужчины! Если будешь хорошо работать, — бодро продолжает она, — может, надзиратель разрешит тебе взять нейлоновые чулки. Смотри, какие мне достались сегодня утром!

Флосси вытаскивает из кармана желанный трофей. Не считая некоторой зелени в районе носка, чулки в превосходном состоянии.

— Ах! — с завистью и восхищением вскрикивает Лула.

— А вот с драгоценностями нам не повезло, — пряча чулки, жалуется Флосси. — Только обручальное кольцо да паршивый браслет. Ладно, будем надеяться, эта не подведет. — Толстушка похлопывает по мраморному животу «любимицы публики номер один». — Ну, мне пора назад. Мы откапываем сосуд, похороненный под красным каменным крестом. Знаешь, такой высокий крест у северных ворот.

Лула кивает и говорит:

— Как только лопата упрется, я за вами приду.

Насвистывая песенку «Гляжу на дивные рога», толстушка выходит из кадра. Лула вздыхает и снова принимается копать.

Чей-то голос необычайно нежно произносит ее имя. Она резко вздрагивает и оборачивается на звук.

Средний план с точки, где стоит Лула: доктор Пул осторожно выходит из-за гробницы Родольфа Валентино *.

В кадре снова Лула. Она вспыхивает, потом делается мертвенно бледной. Рука ее прижимается к сердцу.

— Алфи, — шепчет она.

Доктор Пул входит в кадр, спрыгивает к ней в яму и, ни слова не говоря, обнимает девушку. Их поцелуй полон страсти. Затем она утыкается лицом ему в плечо.

— Я думала, что никогда больше тебя не увижу, — прерывающимся голосом говорит Лула.

— За кого ты меня принимаешь?

Ботаник опять целует ее, потом, отодвинув девушку от себя, вглядывается ей в лицо.

— Ты почему плачешь? — спрашивает он.

— Ничего не могу с собой поделать.

— Оказывается, ты еще красивее, чем мне запомнилась.

Не в силах говорить, Лула качает головой.

— Улыбнись, — велит доктор Пул.

— Не могу.

— Улыбнись, улыбнись. Я хочу снова их увидеть.

— Что увидеть?

— Улыбнись!

Лула улыбается — вымученно, но в то же время нежно и страстно. Ямочки на щеках пробуждаются от долгой печальной спячки.

— Вот они! — в восторге кричит он. — Вот они!

Осторожно, словно слепой, читающий Геррика * по системе Брайля, доктор Пул проводит пальцами по ее щеке. Лула улыбается уже не так вымученно; под его прикосновением ямочки становятся глубже. Он радостно смеется.

Насвистываемая кем-то за кадром мелодия «Гляжу на дивные рога» от далекого pianissimo переходит к piano, потом к mezzo forte [1]. На лице у Лулы появляется ужас.

— Быстрей, быстрей! — шепчет она.

С поразительным проворством доктор Пул выкарабкивается из ямы.

К тому времени, как толстушка снова появляется в кадре, он стоит, с хорошо выверенной небрежностью прислонившись к памятнику «любимицы публики номер один». Внизу, в яме, Лула копает как одержимая.

— Забыла тебе сказать: через полчаса у нас перерыв на завтрак, — начинает Флосси, но, увидев доктора Пула, удивленно вскрикивает.

— Доброе утро, — учтиво говорит доктор Пул.

Наступает молчание. Флосси переводит взгляд с доктора Пула на Лулу и обратно.

— А что вы тут делаете? — подозрительно осведомляется она.

— Зашел по пути в собор святого Азазела, — отвечает он. — Архинаместник велел мне передать, что хочет, чтобы я присутствовал на трех его лекциях для семинаристов. Тема — «Велиал в истории».

— Интересно вы идете к собору.

---

[1] Очень тихо... тихо... довольно громко *(ит.)*.

— Я искал вождя, — объясняет доктор Пул.
— Его здесь нет, — говорит толстушка.
Снова наступает молчание.
— В таком случае я пошел, — заявляет наконец доктор Пул. — Не стану отрывать вас, юные леди, от ваших занятий, — добавляет он с деланной и совершенно неубедительной бодростью. — Будьте здоровы. Будьте здоровы.
Он кланяется девушкам и, напустив на себя беспечный вид, уходит. Флосси молча смотрит ему вслед, потом строго говорит Луле:
— Послушай-ка, детка...
Лула перестает копать и поднимает голову.
— В чем дело, Флосси? — невинно спрашивает она.
— В чем дело? — насмешливо переспрашивает та. — Скажи-ка, что написано у тебя на фартуке?
Лула смотрит на фартук, потом на Флосси. От смущения лицо ее краснеет.
— Так что же там написано? — настаивает толстушка.
— «Нет»!
— А на этих заплатах?
— «Нет»! — повторяет Лула.
— А на других, сзади?
— «Нет»!
— «Нет, нет, нет, нет», — многозначительно произносит толстушка. — Когда закон говорит «нет», значит, нет. Ты знаешь это не хуже меня, не так ли?
Лула молча кивает.
— Скажи, знаешь или нет? — настаивает Флосси. — Вслух скажи.
— Да, знаю, — едва слышно выдавливает в конце концов Лула.
— Прекрасно. Тогда не прикидывайся, что тебя не предупредили. И если этот чужак — «бешеный» будет еще тут околачиваться, скажи мне. Уж я-то с ним разберусь.
Наплыв: собор святого Азазела изнутри. Бывший храм пресвятой Марии Гваделупской претерпел лишь небольшие внешние изменения. Стоящие в боковых нефах гипсовые фигуры святого Иосифа, Марии Магдалины, святого Антония Падуанского и святой Розы Лимской просто-напросто выкрашены в красный цвет и снабжены рогами. На алтаре все осталось без изменений, только распятие уступило место паре огромных рогов, вырезанных из кедра и увешанных кольцами, наручными часами, брасле-

тами, цепочками, серьгами и ожерельями, отрытыми на кладбищах и снятыми со скелетов или взятыми из заплесневелых останков шкатулок для драгоценностей.

Посреди собора сидят, опустив головы, человек пятьдесят семинаристов в тогенбургских одеяниях и вместе с ними доктор Пул, которому борода и твидовый костюм придают нелепый вид; архинаместник произносит заключительные слова лекции:

— Ибо, как могли они, если бы пожелали, жить по заведенному порядку, так, живя по Велиалу, все они осуждены и неизбежно будут осуждены на смерть. Аминь.

Долгое молчание. Наконец встает наставник послушников. Громко шурша мехом, семинаристы следуют его примеру и парами чинно направляются к западному входу.

Доктор Пул, уже собравшийся было идти за ними, слышит, как его окликает по имени высокий детский голосок. Обернувшись, он видит архинаместника, который подзывает его, стоя на ступенях престола.

— Ну как вам понравилась лекция? — скрипит великий человек подошедшему доктору Пулу.

— Замечательно!

— Вы не льстите?

— Нет, честно и откровенно.

Архинаместник радостно улыбается.

— Счастлив слышать, — говорит он.

— Особенно мне понравилось то, что вы сказали о религии в девятнадцатом и двадцатом веках — об отходе от Иеремии к Книге Судей, от личного и поэтому всеобщего к национальному и поэтому междоусобному.

Архинаместник кивает:

— Да, тогда все висело на волоске. Если бы люди держались личного и всеобщего, они жили бы в согласии с заведенным порядком и с Повелителем Мух было бы покончено. Но, по счастью, у Велиала множество союзников — нации, церкви, политические партии. Он воспользовался их предубеждениями. Он заставил идеологию работать на себя. К тому времени, когда люди создали атомную бомбу, он повернул их умонастроения вспять, и они стали такими, какими были перед девятисотым годом до Рождества Христова *.

— И еще, — продолжает доктор Пул, — мне понравилось то, что вы сказали относительно контактов между Востоком и Западом — как Он заставил каждую сторону

взять худшее из того, что мог предложить партнер. И вот Восток взял западный национализм, западное вооружение, западное кино и западный марксизм, а Запад — восточный деспотизм, восточные предрассудки и восточное безразличие к жизни индивидуума. Короче, Он проследил, чтобы человечество прогадало и тут, и там.

— Вы только представьте, что было бы, если бы произошло обратное! — пищит архинаместник. — Восточный мистицизм следит за тем, чтобы западная наука использовалась как надо, восточное искусство жить облагораживает западную энергию, западный индивидуализм сдерживает восточный тоталитаризм. — В благоговейном ужасе архинаместник качает головой. — Да это был бы просто рай земной! К счастью, благодать Велиала оказалась сильнее благодати того, другого.

Архинаместник визгливо хихикает, затем, положив руку на плечо доктора Пула, идет с ним к ризнице.

— Знаете, Пул, — говорит он, — я чувствую, что полюбил вас. — Доктор Пул смущенно бормочет слова благодарности. — Вы умны, хорошо образованы, знаете многое, о чем мы и понятия не имеем. Вы могли бы быть весьма мне полезны, а я со своей стороны — вам. Разумеется, если вы станете одним из нас, — добавляет он.

— Одним из вас? — неуверенно переспрашивает доктор Пул.

— Да, одним из нас.

Крупный план: лицо доктора Пула, который вдруг все понял. Он издает испуганное восклицание.

— Не скрою, — продолжает архинаместник, — что сопряженная с этим хирургическая операция не безболезненна и даже не лишена опасности. Однако преимущества, которые вы получите, войдя в число священнослужителей, столь велики, что сводят на нет незначительный риск и неудобства. Не следует также забывать...

— Но, ваше преосвященство... — пробует возразить доктор Пул.

Архинаместник останавливает его жестом пухлой, влажной руки.

— Минутку, — сурово говорит он.

Вид у него столь грозный, что доктор Пул спешит извиниться:

— Простите, пожалуйста.

— Пожалуйста, мой дорогой Пул, пожалуйста.

И снова архинаместник — сама любезность и снисходительность.

— Как я сказал, — продолжает он, — не следует забывать, что, пройдя, если можно так выразиться, физиологическое обращение, вы будете избавлены от искушений, которых, по всей вероятности, не избегнете, оставшись нормальной особью мужского пола.

— Конечно, конечно, — соглашается доктор Пул. — Но, уверяю вас...

— Когда речь идет об искушении, — сентенциозно заявляет архинаместник, — никто не вправе никого уверять в чем бы то ни было.

Доктор Пул вспоминает о недавнем разговоре с Лулой на кладбище и чувствует, что заливается краской.

— Не слишком ли огульно это утверждение? — без особой убежденности спрашивает он.

Архинаместник качает головой:

— В таких делах и речи не может быть об огульности. И позвольте напомнить вам, что происходит с теми, кто поддается подобным искушениям. Воловьи жилы и похоронная команда всегда наготове. Именно поэтому, ради ваших же интересов, ради вашего будущего счастья и спокойствия духа я советую, нет, прошу, умоляю вас вступить в наши ряды.

Молчание. Доктор Пул с трудом сглатывает слюну.

— Я хотел бы подумать, — наконец говорит он.

— Разумеется, — соглашается архинаместник. — Не спешите. Можете думать неделю.

— Неделю? За неделю я не успею обдумать все как следует.

— Пусть будет две недели, — соглашается архинаместник, а когда доктор Пул отрицательно качает головой, добавляет: — Пусть будет хоть месяц, хоть полтора, если желаете. Я не тороплюсь. Я беспокоюсь только за вас. — Он похлопывает доктора Пула по плечу. — Да, дорогой мой, за вас.

Наплыв: доктор Пул работает на опытном участке — высаживает помидорную рассаду. Прошло почти полтора месяца. Его каштановая борода стала гораздо пышнее, а твидовый пиджак и брюки — гораздо грязнее по сравнению с прошлым его появлением в кадре. На нем серая домотканая рубаха и мокасины местного производства.

Посадив последний кустик, он выпрямляется, потягивается, потирает занемевшую спину, затем медленно идет

в конец огорода, останавливается и задумчиво всматривается в пейзаж.

Дальний план: глазами доктора Пула мы видим широкую панораму брошенных фабрик и разваливающихся домов на фоне гор, которые хребет за хребтом уходят к востоку. Густо синеют островки тени; в ослепительном золотом свете отдаленные предметы кажутся маленькими, но очень резкими и отчетливыми, словно отраженные в выпуклом зеркале. На переднем плане почти горизонтальные солнечные лучи, точно резец осторожного гравера, открывают неожиданное богатство текстуры даже совершенно голых клочков выжженной земли.

Рассказчик

Бывают минуты — и это одна из таких минут, — когда мир кажется прекрасным, как нарочно, как будто все вокруг решило продемонстрировать тем, у кого открыты глаза, свою сверхъестественную реальность, которая лежит в основе всех внешних ее проявлений.

Губы доктора Пула шевелятся; мы слышим его шепот:

Любовь, восторг и красота *
Под солнцем будут жить всегда.
Они сильнее нас — ведь мы
Не терпим света, дети тьмы.

Доктор Пул поворачивается и идет ко входу в сад. Прежде чем открыть калитку, он осторожно оглядывается вокруг. Вражеских соглядатаев не видно. Успокоившись, он выскальзывает из калитки и сразу сворачивает на тропинку, вьющуюся меж дюнами. Губы его снова шевелятся.

...Я — мать твоя Земля;*
В моих холодных венах вплоть до жилки
Громаднейшего дерева, чьи листья
Дрожали в воздухе морозном, радость
Струилась, словно в человеке кровь,
Когда с груди моей ты тучей славной
Поднялся, радости чистейший дух.

С тропинки доктор Пул выходит на улочку; по ее сторонам стоят небольшие дома; рядом с каждым — свой

гараж, вокруг каждого — клочок голой земли, бывший когда-то газоном или клумбой.

— «Радости чистейший дух», — повторяет доктор Пул и, вздохнув, качает головой.

Рассказчик

Радости? Но ведь радость давным-давно убита. Остался лишь хохот демонов, толпящихся вокруг позорных столбов, да вой одержимых, спаривающихся во тьме. Радость — она ведь только для тех, чья жизнь не противоречит заведенному в мире порядку. Для вас же, умников, которые считают, что порядок этот можно улучшить, для вас, сердитых, мятежных и непокорных, радость очень скоро становится незнакомкой. Те, кто обречен пожинать плоды ваших фантастических затей, не будут даже подозревать о ее существовании. Любовь, радость и мир — вот плоды духа, являющегося вашей сущностью и сущностью мира. А плоды обезьяньего склада ума, плоды мартышечьей самонадеянности и протеста — это ненависть, постоянное беспокойство и непрестанные беды, смягчаемые лишь еще более страшным безумием.

Тем временем доктор Пул продолжает бормотать на ходу:

Мир полон лесорубов, что грустящих *
Дриад любви с дерев сгоняют жизни
И соловьев распугивают в чащах.

Рассказчик

Лесорубов с топорами, людей с ножами, убивающих дриад, людей со скальпелями и хирургическими ножницами, распугивающих соловьев.

Доктор Пул вздрагивает и ускоряет шаг, словно человек, почувствовавший за спиной чье-то недоброжелательное присутствие. Потом вдруг останавливается и снова оглядывается.

Рассказчик

В городе, вмещающем два с половиной миллиона скелетов, присутствие нескольких тысяч живых людей едва заметно. Ничто не шелохнется. Полная тишина среди этих уютных буржуазных развалин кажется нарочитой и даже несколько заговорщицкой.

Доктор Пул, пульс которого участился от надежды и страха перед разочарованием, сворачивает с улицы и идет по дорожке, ведущей к гаражу № 1993. Двери его открыты и болтаются на ржавых петлях. Доктор Пул входит в затхлый полумрак. Пробивающийся через дырочку в западной стене гаража тонкий карандашный луч закатного солнца падает на левое переднее колесо четырехдверного седана «шевроле супер де люкс» и лежащие рядом на земле два черепа — один взрослый, другой, очевидно, детский. Ботаник открывает единственную незаклиненную дверцу машины и вглядывается в царящую внутри тьму.

— Лула!

Он залезает в машину, садится рядом с девушкой на заднее сиденье с разодранной обивкой и берет ее руку в свои ладони.

— Милая!

Лула молча смотрит на него. В глазах у нее выражение, граничащее с ужасом.

— Значит, тебе все же удалось улизнуть?

— Флосси что-то подозревает.

— Да черт с ней, с этой Флосси! — отвечает доктор Пул тоном, который, по его мнению, должен звучать беззаботно и успокоительно.

— Она задает всякие вопросы, — продолжает Лула. — Я сказала ей, что иду поискать иголки и ножи.

— А нашла только меня.

Он нежно улыбается и подносит ее руку к губам, но Лула качает головой:

— Алфи, прошу тебя!

В ее голосе звучит мольба. Так и не поцеловав, доктор Пул отпускает ее руку.

— И все же ты меня любишь, правда?

Глазами, широко открытыми от испуга и замешательства, она смотрит на него, потом отворачивается.

— Не знаю, Алфи, не знаю.

— А вот я знаю, — решительно говорит доктор Пул. — Знаю, что люблю тебя. Знаю, что хочу быть с тобой. Всегда. Пока смерть нас не разлучит, — добавляет он со всем пылом застенчивого сексуалиста [1], внезапно принявшего сторону реальности и моногамии.

Лула снова качает головой:

— Я знаю только, что не должна быть здесь.

— Что за чушь!

— Нет, не чушь. Я сейчас не должна быть здесь. И в другие разы не должна была приходить. Это против закона. Это в разлад со всем, что думают люди. Он этого не позволяет, — после секундной паузы добавляет она. На лице у нее появляется выражение крайнего отчаяния. — Но почему ж тогда Он создал меня такой, что я так отношусь к тебе? Почему он создал меня наподобие этих... этих... — Она не в силах произнести мерзкое слово. — Я знала одного из них, — тихо продолжает она. — Он был милый, почти как ты. А потом они убили его.

— Что толку думать о других? — говорит доктор Пул. — Лучше подумаем о нас. Подумаем, как счастливы мы могли бы быть — и были — два месяца назад. Помнишь? Лунный свет... А каким темным был мрак! «Душа же источает дух лесной и дикий...»

— Но тогда мы не поступали дурно.

— И сейчас не поступаем.

— Нет, сейчас совсем не то.

— То же самое, — настаивает доктор Пул. — Я не чувствую никакой разницы. И ты тоже.

— Я чувствую, — возражает Лула не слишком громко и потому без убежденности.

— Нет, не чувствуешь.

— Чувствую.

— Нет. Ты только что сама сказала. Ты не такая, как остальные, слава богу!

— Алфи!

Чтобы загладить вину, она делает рожки.

— Их превратили в животных, — продолжает он. — А тебя нет. Ты нормальный человек с нормальными человеческими чувствами.

— Нет.

— Да, не спорь.

— Это неправда, — стонет Лула, — неправда.

---

[1] Человек, приписывающий сексуальность всем живым организмам.

Она закрывает лицо руками и начинает плакать.

— Он убьет меня, — рыдает она.

— Кто убьет?

Лула поднимает голову и с опаской смотрит через плечо, в заднее стекло машины.

— Он. Он знает все, что мы делаем, все, даже то, что мы только думаем или чувствуем.

— Может, и знает, — говорит доктор Пул, чьи либерально-протестантские воззрения на Дьявола за последние недели существенно изменились. — Но если мы чувствуем, и думаем, и делаем правильно, Он нас не тронет.

— Но как это — правильно? — спрашивает Лула.

Несколько секунд он молча улыбается.

— Здесь и сейчас правильно вот что, — говорит наконец доктор Пул и, обняв Лулу за плечи, притягивает ее к себе.

— Нет, Алфи, нет!

Охваченная паникой, она пытается высвободиться, но он крепко держит ее.

— Вот это — правильно, — повторяет он. — Быть может, это правильно не всегда и не везде. Но здесь и сейчас — наверняка.

Он говорит сильно и очень убежденно. Еще никогда за всю его изменчивую и противоречивую жизнь ему не доводилось мыслить столь ясно и действовать столь решительно.

Лула внезапно уступает:

— Алфи, ты уверен, что это правильно? Совершенно уверен?

— Совершенно, — отвечает он с высоты нового для него чувства самоутверждения и с нежностью гладит ее волосы.

— «Так, смертная, — шепчет он, — она стоит, являя собой любовь, свет, жизнь и божество. Она — весны и утра воплощенье, она — младой апрель»*.

— Еще, — шепчет Лула.

Глаза ее закрыты, на лице выражение сверхъестественной безмятежности, какая бывает порой на лицах у мертвых.

Доктор Пул начинает опять:

Мы станем говорить, и дум напев,
В словах ненужных робко замерев,
Вновь оживет в проникновенных взорах,
Гармония беззвучная которых

Пронзает сердце. Мы с тобой сольем
Дыханье наше, грудь к груди прижмем,
Чтоб кровь забилась в унисон, а губы,
Не прибегая к звукам речи грубой,
Затмят слова, что жгли их так доныне;
Как с гор ручьи встречаются в долине,
Так, тихие покинув тайники,
Сольются наших жизней родники,
И станут страсти золотой струею,
И станем мы с тобой душой одною,
Живущей в двух телах... Зачем же в двух?

Долгое молчание. Внезапно Лула открывает глаза, несколько мгновений пристально смотрит на доктора Пула, потом обнимает его и жарко целует в губы. Но стоит ему прижать ее к себе чуть покрепче, как она вырывается и отодвигается на свой конец сиденья. Он пытается придвинуться, но она не пускает.

— Это не может быть правильно, — говорит она.

— Но это правильно.

Лула качает головой:

— Это слишком прекрасно, я была бы слишком счастлива, если бы так оно и было. А Он не хочет, чтобы мы были счастливы. — Пауза. — Почему ты сказал, что Он нас не тронет?

— Потому что есть кое-что посильнее Его.

— Посильнее? — она качает головой. — Он все время боролся с этим — и победил.

— Только потому, что люди помогли ему победить. И не забывай, что победить раз и навсегда Он не может.

— Почему же?

— Потому что Он не может не поддаться искушению и не довести зло до предела. А когда зло доходит до предела, оно всегда уничтожает само себя. И после этого снова появляется обычный порядок вещей.

— Когда еще это будет...

— В масштабах всего мира и в самом деле не скоро. Однако для отдельных людей — тебя и меня, например, — хоть сейчас. Что бы Велиал ни сделал с остальным миром, мы с тобой всегда можем действовать во имя естественного порядка вещей, а не против него.

Снова наступает молчание.

— Мне кажется, я все же тебя не понимаю, — наконец говорит Лула, — но это не важно. — Она опять пододви-

гается ближе, кладет голову ему на плечо и продолжает: — Теперь для меня ничто не важно. Пускай Он убьет меня, если захочет. Это не имеет значения. Во всяком случае, сейчас.

Он берет ее лицо в ладони, приближает к своему, наклоняется для поцелуя, и в этот миг экран темнеет и превращается в безлунную ночь.

Рассказчик

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Но на этот раз торжественность свадебной ночи не нарушается ни бешено-похотливыми воплями, ни Liebestod, ни саксофонными мольбами о детумесценции. Пропитавшая эту ночь музыка чиста, но не наглядна, точна и определенна, но лишь в отношении реальности, которой нет названия, всеобъемлюща и плавна, но не вязка, свободна от малейшей тенденции властно прилипать ко всему, до чего бы она ни дотронулась и что бы ни охватила. Это музыка, пронизанная духом Моцарта, хрупкая и радостная, несмотря на свою причастность к трагедии, музыка сродни веберовской *, аристократичная и утонченная и тем не менее способная на безрассудное веселье, равно как и самое точное понимание мировых страданий. Нет ли в ней намека на то, что в «Ave Verum, Corpus [1]» и в соль-минорном квинтете лежит вне пределов мира «Don Giovanni»? * Нет ли тут намека на то, что уже (иногда у Баха и у Бетховена — в той конечной цельности искусства, которая сродни святости) выходит за пределы романтического сплава трагического и смешного, человеческого и демонического? И когда в темноте голос влюбленного снова шепчет слова: «...она стоит, являя собой любовь, свет, жизнь и божество», то не начинается ли уже здесь понимание того, что, кроме «Эпипсихидиона», есть еще и «Адонаис»* и, кроме «Адонаиса», — беззвучная доктрина чистого сердца?

Наплыв: лаборатория доктора Пула. Солнечный свет льется сквозь высокие окна и ослепительно сияет на сделанном из нержавеющей стали тубусе микроскопа, стоящего на рабочем столе. Комната пуста.

---

[1] «Слава тебе, пресвятое тело» *(лат.)* — католическое песнопение, причастный кант, переложенный на музыку Моцартом.

Внезапно молчание нарушается звуком шагов, дверь открывается, и в лабораторию заглядывает директор по производству продуктов питания — все тот же дворецкий в мокасинах.

— Пул, — начинает он, — его высокопреосвященство пожаловали, чтобы...

Он останавливается, и на лице у него появляется удивление.

— Его тут нет, — говорит он архинаместнику, который вслед за ним входит в комнату.

Великий человек поворачивается к сопровождающим его двум служкам и приказывает:

— Посмотрите, может быть, доктор Пул на опытном участке.

Служки кланяются, скрипят в унисон: «Слушаюсь, ваше высокопреосвященство» — и уходят.

Архинаместник садится и изящным жестом приглашает директора последовать его примеру.

— Кажется, я вам еще не говорил, что пытаюсь убедить нашего друга принять постриг, — сообщает он.

— Я надеюсь, ваше высокопреосвященство не имеет в виду лишить нас его неоценимой помощи в деле производства продуктов питания, — взволнованно отзывается директор.

Архинаместник успокаивает собеседника:

— Я прослежу, чтобы у него всегда было время помочь вам дельным советом. Однако я хочу быть уверен, что его способности пойдут на пользу церкви.

Служки снова входят и кланяются.

— Ну?

— На участке его нет, ваше высокопреосвященство.

Архинаместник сердито хмурится, директор корчится под его взглядом.

— Вы как будто говорили, что в этот день он обычно работает в лаборатории?

— Так точно, ваше высокопреосвященство.

— Почему же его нет?

— Не представляю, ваше высокопреосвященство. Он никогда не менял расписания без моего ведома.

Молчание.

— Мне это не нравится, — сообщает наконец архинаместник. — Очень не нравится. — Он поворачивается к служкам: — Бегом в центр, отправьте полдюжины верховых на его поиски.

Служки кланяются, издают синхронный писк и исчезают.

— Что же касается вас, — повернувшись к перепуганному бледному директору, говорит архинаместник, — то, если что-нибудь случится, вы за это ответите.

Величественный и гневный, он поднимается и шествует к выходу.

Наплыв: монтажная композиция.

Лула со своей кожаной сумкой на плече и доктор Пул с ранцем, состоявшим на вооружении в армии еще до Этого, карабкаются через обвал, перегородивший одну из великолепно спроектированных автотрасс, которые еще бороздят отроги гор Сан-Габриэль.

Открытый всем ветрам гребень горы. Двое беглецов смотрят вниз, на необозримый простор пустыни Мохаве.

Следущий кадр: сосновый лес на северном склоне. Ночь. В пробивающейся сквозь кроны полосе лунного света доктор Пул и Лула спят, укрывшись домотканым одеялом.

Скалистое ущелье, по дну которого течет ручей. Любовники остановились: они пьют и наполняют водой бутылки.

А теперь мы в предгорьях, лежащих выше уровня пустыни. Идти среди кустиков полыни, зарослей юкки и можжевельника несложно. В кадр входят доктор Пул и Лула; камера следит, как они шагают по склону.

— Натерла ноги? — озабоченно спрашивает доктор Пул.

— Нет, ничего, — бодро улыбается Лула и качает головой.

— Думаю, нам нужно скоро делать привал и перекусить.

— Как скажешь, Алфи.

Он извлекает из кармана старинную карту и изучает ее на ходу.

— До Ланкастера еще миль тридцать, — говорит он. — Восемь часов ходу. Нужно подкрепиться.

— А как далеко мы будем завтра? — спрашивает Лула.

— Немного дальше Мохаве. А потом, по моим расчетам, нам потребуется не меньше двух дней, чтобы пересечь Техачапи и добраться до Бейкерсфилда. — Он засовывает

карту в карман и продолжает: — Мне удалось выудить из директора довольно много всяких сведений. По его словам, на севере люди относятся весьма дружелюбно к беглецам из Южной Калифорнии. Не выдают их даже после официального запроса правительства.

— Слава Вел... то есть слава богу! — восклицает Лула.

Снова наступает молчание. Вдруг Лула останавливается:

— Смотри! Что это?

Она протягивает руку, и с точки, где она стоит, мы видим невысокую юкку, а под ней — изъеденную ветрами бетонную плиту, которая нависла над старой могилой, заросшей сорной травой и гречихой.

— Здесь кто-то похоронен, — говорит доктор Пул.

Они подходят ближе; на плите, снятой крупным планом, мы видим надпись, которую читает за кадром доктор Пул:

Уильям Тэллис

1882—1948

Не сомневайся, сердце, не грусти!*
Уж нет твоих надежд; они отсюда
Ушли, теперь тебе пора идти!

В кадре снова двое влюбленных.

— Должно быть, он был очень печальным человеком, — говорит Лула.

— Может, не таким уж печальным, как ты думаешь, — отвечает доктор Пул, снимая тяжелую укладку и садясь на землю рядом с могилой.

Пока Лула достает из сумки хлеб, овощи, яйца и полоски вяленого мяса, доктор Пул листает томик Шелли.

— Вот, нашел, — наконец говорит он. — Эта строфа идет после той, что выбита здесь.

Краса, все приводящая в движенье,
Свет, чья улыбка вечно молода,
И милость, что проклятию рожденья
Не уничтожить, — ты, любовь, тверда,
Сквозь жизни ткань, что долгие года
Ткут человек и зверь, земля и море,

Горишь светло иль тускло, но всегда
Желанно — ты, со смертной тучей споря,
Ее развеешь надо мной в просторе.

Наступает молчание. Лула протягивает доктору Пулу крутое яйцо. Он разбивает его о надгробие, принимается чистить и бросает белые кусочки скорлупы на могилу.

КОММЕНТАРИИ

ЭДВАРД МОРГАН ФОРСТЕР (1879—1970)

МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Повесть была включена Форстером в сборник его рассказов «Небесный автобус», вышедший в 1911 г. в лондонском издательстве «Сиджвик энд Джексон». Написана она несколько раньше. В предисловии к сборнику своих рассказов, опубликованном в лондонском издательстве «Пингвин» в 1947 г., Форстер отметил, что повесть стала откликом на ранние фантастические произведения Уэллса. На русском языке впервые опубликована в сборнике «Гости страны фантазии». М., «Мир», 1972.

45 *Левиафан (библ.)* — огромное морское чудовище.

53 *Человек — мера всех вещей — прав.:* Человечество мера всех вещей, как эстетическая, так и научная — слова Равессана-Мольена *(наст. имя* Жана Гаспара Феликса Лаше, 1813—1890), французского философа и археолога.

57 *Уэссекс... Когда-то он представлял собой сильное государство* — имеется в виду королевство западных саксов, основанное в VI в.; захватив территории других королевств, создало единое английское королевство в IX в.

59 *Альфред Великий, изгнавший датчан* — Альфред (ок. 849—ок. 900), король Уэссекса с 871 г., при котором происходила консолидация англосаксонских королевств вокруг Уэссекса; после упорной борьбы с датчанами около 886 г. получил власть над Юго-Западом Англии. Известен также своей просветительской деятельностью. Н. Г. Чернышевский сопоставлял его с Петром I.

64 *Урсин Захариус* (1534—1583) — немецкий религиозный реформатор, последователь Кальвина.

Хёрн Лафкадио (1850—1904) — американский писатель, знаток Японии, ее обычаев и культуры; автор книги «Взгляд на незнакомую Японию» (1894), а также многих мистических рассказов. Представляется, что упомянутые персонажи вряд ли когда-либо высказывались о Французской революции, как это можно предположить из текста повести.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский историк и публицист; выступал с романтической критикой капиталистического прогресса. В «Истории Французской революции» (1873) показал неизбежность краха феодализма; в работе «Чартизм» (1840) выступил против язв современной ему буржуазной действительности, но вскоре стал доказывать невозможность демократического строя. Широко известно его исследование «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841), где он выдвинул идеалистическую теорию, что лишь герои являются творцами истории. Концепция «культа героев» была широко использована в буржуазной историографии.

Мирабо Оноре Габриель Рикетти (1749—1791) — один из самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции; во время Французской революции представлял интересы либерального дворянства и верхушки буржуазии; напуганный размахом революции, искал союза с королевской властью, был разоблачен Маратом, но сумел сохранить доверие большинства в Национальном собрании. После падения монархии его прах, первоначально захороненный в Пантеоне, был перенесен на кладбище для преступников.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС (1866—1946)

СПЯЩИЙ ПРОБУЖДАЕТСЯ

В 1898—1899 гг. в выпусках английского журнала «Грэфик» был опубликован роман Уэллса «Когда спящий проснется», а в 1910 г. в издательстве «Томас Нелсон энд санс» был опубликован переработанный вариант этого романа, но уже под названием «Спящий пробуждается». В предисловии к нему Уэллс отметил, что это «наиболее амбициозное и наименее убедительное из моих произведений». Далее Уэллс пояснил, что роман был написан в 1898 г., когда он «был измучен работой и отчаянно нуждался в отдыхе». Обстоятельства препятствовали переработке этой книги, и ее новое издание было опубликовано, как мы уже сказали, лишь в 1910 г. Новое издание содержало на 6000 слов меньше, чем первое, хотя в первом издании было 24 главы, а во втором — 25 (глава 23 была поделена на две). Изменения касались таких моментов, писал Уэллс, как, например, отношений Эллен Уоттон и Грехэма («без сексуальной подоплеки»), а также «каких-то неоправданных предположений, будто народ победил Острога. Мой Грехэм умирает, как это происходит со всеми подобными ему людьми, не будучи уверен ни в победе, ни в поражении». На русском языке роман был опубликован под редакцией Е. Замятина (Пб., «Всемирная литература», 1919).

90 *День юбилея Виктории* — речь идет об английской королеве Виктории (р. в 1819 г., годы правления 1837—1901). Ее второй юбилей торжественно отмечался в Англии в 1897 г.

Вестминстер — английский парламент.

93 *Рип Ван Винкль* — герой одноименного рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859): Рип скрылся от своей сварливой жены в Катскильских горах (штат Нью-Йорк), где заснул; проснувшись, он обнаружил, что проспал двадцать лет. За это время жена его умерла, дом разрушился, и мир полностью переменился.

Королевская коллегия врачей — профессиональная организация английских врачей и хирургов.

117 *Атлас (греч. миф.)* — гигант, сын титана Япета и нимфы Климены, брат Прометея. Первоначально его представляли в виде морского гиганта, несущего на себе небо и землю, позднее находящимся на земле и подпирающим небо.

130 *Тангейзер* (ок. 1205—1270) — немецкий поэт-миннезингер, выходец из рыцарской среды, побывавший в крестовом походе; участник так называемой «Вартбургской войны» — состязания поэтов и певцов близ Эйзенаха; растратил свое состояние, впал в нужду и должен был скитаться как странствующий рыцарь. В своих стихах он жаловался на жестокость судьбы, голод и холод, но встречаются у него и хороводные и любовные

песни, в которых сказывается его чувственная и жизнерадостная натура. Народная фантазия в Южной Германии связала его имя с преданиями о горе Герзельберг (что примерно означает «непотухшая огненная зола»), недалеко от Эйзенаха и от Вартбурга. Эта гора похожа на продолговатый гроб, и в народе ее называют Венериной горой, там есть пещера, где слышится шум подземных вод. Народная фантазия различила в этом стоны грешников и нечестивые клики адской радости, а во мраке грота — адское пламя. Гора считалась входом в чистилище и местом обитания германской языческой богини Гольды или классической Венеры. Она, по преданию, завлекла к себе в грот Тангейзера. Там в забавах и развлечениях он провел семь лет, но боязнь того, что он погубил свою душу, заставила его расстаться с богиней и отправиться в Рим к папе Урбану замаливать грехи. Папа отверг моления Тангейзера и, воткнув в землю посох, сказал, что скорее этот посох даст побеги, чем Бог простит Тангейзера. Последний вернулся в Венерин грот, а посох вскоре зацвел. Папа не смог найти грешника, и Тангейзер, по преданию, должен остаться в гроте до Страшного суда, когда будет решена его участь. Рихард Вагнер в опере «Тангейзер, или Состязание песенников в Вартбурге» (1845) соединил легенду о Тангейзере с легендой о «Вартбургской войне», а личность Тангейзера с личностью легендарного миннезингера Генриха фон Офтердингена. Романтическая опера Вагнера сильно оживила интерес к личности Тангейзера.

131 *Утопия Беллами* — имеется в виду социально-утопический роман «Взгляд в прошлое» (1888) американского писателя Эдуарда Беллами (1850—1898), где показано социалистическое общество США, достигнутое путем мирной эволюции.

Болгарская война... турецкие зверства — речь идет о Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Имеется также в виду восстание против турецкого ига в Боснии и Герцеговине (1875—1878) и Болгарии (1876), участники которого при вступлении на турецкий престол Абдул-Хамида получили амнистию. Кроме того, султан обещал ввести в Турции конституцию по европейскому образцу. Но, несмотря на это, турки жестоко расправились с болгарами, пытавшимися восстать в районе Филиппополя. Там в одном округе число жертв доходило до 12 тыс. Европа была возмущена действиями турок. Английский премьер-министр Гладстон опубликовал брошюру «Болгарские ужасы и восточный вопрос», которая была переведена на многие европейские языки. В ней он требовал полного изъятия Болгарии, Боснии и Герцеговины из управления Турцией.

199 *Собор Святого Павла* — главный собор англиканской церкви, достопримечательность Лондона. Сооружен по проекту архитектора Кристофера Рена в 1675—1710 гг.

202 *Город Сибарис* — древнегреческая колония на побережье Тарентского залива (Италия). В VI—VII вв. до н. э. город славился богатством и любовью к роскоши; отсюда «сибарит».

203 *Гётевская Маргарита* — образ соблазненной и покинутой девушки, как пишет известный советский литературовед А. А. Аникст, полный непреходящей человеческой прелести и художественной красоты.

204 *Первая французская империя* — Первая империя во Франции (1799—1814) утвердилась 9—10 ноября 1799 г., ее возглавил Наполеон Бонапарт, в 1804 г. провозглашенный императором; моды времен этой империи отличались подражанием античным образцам.

205 *Поэт-лауреат* — пожизненное почетное звание, которое присваивают

известным в Англии поэтам; раньше его давали придворным поэтам, которые должны были сочинять стихи по случаю коронации, рождения наследника престола и т. д. Поэты-лауреаты получают 99 фунтов стерлингов в год.

Клуб роялистов Алой Розы — имеются в виду приверженцы английского дома герцогов Ланкастеров (у них в гербе алая роза), которые участвовали в войне Алой и Белой (дом Йорков) Розы (1455—1485), междоусобной феодальной войне за престол. Эта война окончилась победой Генриха VII Тюдора, основателя династии Тюдоров.

Стюарт по крови — Стюарты, старинный шотландский род, из которого вышел ряд английских и шотландских королей; история этого дома — пример постоянной борьбы королевской власти с феодальным дворянством.

206 *Шелли Перси Биши* (1792—1822) — английский поэт-романтик, мировоззрение и творчество которого отличаются духом бунтарства против английского общества и его установлений. Для художественной манеры поэта характерны сложная символика, метафоричность, ассоциативность образов. Основные произведения: поэмы «Королева Маб» (1813), «Восстание Ислама» (1818), «Освобожденный Прометей» (1820), трагедия «Ченчи» (1819).

Хэзлитт Уильям (1778—1830) — английский писатель-романтик, выступавший против буржуазно-аристократической Англии («Политические опыты», 1819, «Дух времени», 1825). Еще в молодые годы высказывался против мальтузианства («Ответ на «Опыт о народонаселении» достопочтенного Т. Р. Мальтуса», 1807). Хэзлитту принадлежит также несколько работ по английской литературе («Образы в пьесах Шекспира», 1817 и др.). Однако его критика часто носит пессимистический характер, ряд исследователей его творчества объясняют это ярко выраженным индивидуализмом писателя.

Бёрнс Роберт (1759—1796) — шотландский поэт, основная тема творчества которого — личность, не скованная сословными предрассудками; его произведения проникнуты духом человеческой солидарности, порицанием стяжательских устремлений, жизнелюбием («Босая девушка», «Любовь», «Джон Ячменное Зерно», «Честная бедность» и др.). На русский язык стихи Бёрнса переводили Т. Л. Щепкина-Куперник, Э. Багрицкий, С. Я. Маршак.

210 *Калигула Гай Цезарь* (12—41) — римский император (с 37 г.) из династии Юлиев-Клавдиев; свое прозвание получил от слова «калига», что означает «солдатский сапожок» (их он носил в детстве, поскольку вырос в солдатском лагере). Стремился к неограниченной власти, истощил казну, устраивая игры и зрелища. Отличался непомерной жестокостью и развратом, был найден убитым в своем дворце в Риме. Как пишет Светоний, римский историк: «Лицо свое, уже от природы дурное и отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него пугающее и устрашающее выражение».

227 *Фехнер Густав Теодор* (1801—1887) — немецкий физик и философ-идеалист, а также писатель-сатирик; один из основателей экспериментальной психологии и эстетики, разрабатывал положения психофизики, изучающей соотношения психических и физических явлений.

Джеймс Уильям (1842—1910) — американский философ-идеалист и психолог, основатель прагматизма; согласно его учению, истинно то,

что отвечает успешности практического действия («Прагматизм», 1907).

Гарни Джордж Джулиан (1817—1897) — деятель английского рабочего движения, один из вождей левого крыла чартизма. В 40-х гг. сблизился с Марксом и Энгельсом, был членом Союза коммунистов. Во второй половине 50-х гг. в условиях спада чартистского движения отошел от прежней деятельности.

Месмеристы — сторонники австрийского врача (швейцарца по происхождению) Франца Антона Месмера (1734—1815), выдвинувшего, как считается, антинаучную теорию на основе понятия о «животном магнетизме». Ученый полагал, что «здоровье и болезнь человека» зависят от количества особой жидкости в теле, которое надо регулировать; от нее в свою очередь зависит сила, которую человек способен излучать на других людей.

232 *Король Артур* — легендарный король бриттов, сведения о котором восходят к V—VI вв.; основной персонаж кельтских народных сказаний, а также цикла рыцарских романов Круглого стола; согласно одному преданию, король Артур спит в долине Авалона (кельтское слово, означающее «остров яблок», то есть земной рай) и в нужный момент придет на помощь своему народу.

Фридрих Барбаросса (*букв.* «красная борода», ок. 1125—1190) — германский король с 1152 г., император с 1153 г. При нем Священная Римская империя достигла наивысшего расцвета; погиб во время третьего крестового похода (утонул в реке Салефа в Малой Азии); согласно преданию, спит в пещере на горе Куфхойзер и пробудится, когда его призовет на помощь народ.

233 *Маммона* — согласно христианским церковным текстам, злой дух, символ стяжательства и сребролюбия.

235 *Армия Спасения* — религиозная филантропическая организация евангелического толка; ее структура напоминает армию; имеет офицеров и рядовых, которые носят форму. Основана Уильямом Бутом в 1865 г. в Лондоне.

241 *Лучники Кресси* — в 1346 г. в битве при Кресси во время Столетней войны (1337—1453) с помощью лучников английские войска под командованием короля Эдуарда III победили французскую армию короля Филиппа VI. В этой битве французская конница не устояла против английской пехоты, оснащенной длинными луками, стрелявшими на 300 шагов. Победа позволила англичанам захватить город Кале и укрепиться в нем.

253 *Киплинг Джозеф Редьярд* (1865—1935) — английский писатель и поэт, придерживавшийся консервативно-охранительных общественных взглядов; автор сборников стихов «Чиновничьи песни и другие стихи» (1886), «Песни казармы» (1892), «Пять наций» (1903) и др., в которых изображение сильного, волевого человека соотносится с идеей служения Британской империи. Стихи Киплинга отличаются простым и ярко выраженным ритмом, близким к фольклорному, всегда сюжетны, по лексике напоминают разговорную речь, подкупают изображением стойкости простого человека.

258 *Фребель Фридрих* (1782—1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, разработал идею детского сада. Главное в его системе воспитания — это представление о деятельной природе ребенка; пропагандировал создание детских садов для воспитания ребенка и

совершенствования таких его качеств, как подвижность, непосредственность, любознательность; организовал подготовку воспитательниц — «садовниц»; создал методику работы с детьми. Недостаток его системы — жесткая регламентированность. В России с 70-х гг. XIX в. в ряде городов открывались в основном платные детские сады, создавались платные курсы для подготовки воспитательниц по методу Фребеля.

260 *Аллен Грант* (1848—1899) — английский писатель, автор книг по эстетике и ряда романов («Вавилон», «Африканский миллионер» и др.).

Ле Галиенна Ричард (1866—1947) — английский публицист и писатель, автор книги «Романтические девяностые» (1926) и др.

Годвин Уильям (1756—1836) — предшественник утопического социализма, крупнейший представитель предромантизма в Англии; начал как кальвинистский священник, но впоследствии стал атеистом. Его основные труды: трактат «Исследование о политической справедливости» (1793), психологический роман «Вещи как они есть, или Приключения Калеба Уильямса» (1794).

ОЛДОС ХАКСЛИ (1894—1963)

О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР

Роман впервые опубликован в 1932 г. в нью-йоркском издательстве «Гарден сити». На русском языке фрагменты романа (под названием «Прекрасный новый мир») впервые опубликованы в журнале «Интернациональная литература» (1935, № 8); затем текст романа с небольшими сокращениями был напечатан в журнале «Иностранная литература» (1988, № 4). В настоящем издании журнальный вариант перевода романа дополнен некоторыми опущенными ранее моментами, например предваряющей текст романа цитатой из Н. Бердяева. Заглавием его послужили слова Миранды, героини трагикомедии «Буря» Шекспира: «О чудо... Сколько вижу я красивых созданий! Как прекрасен род людской... О дивный новый мир, где обитают такие люди». Предисловие предпослано автором изданию романа 1946 г. (издательство «Харпер энд бразерс», Нью-Йорк—Лондон).

298 *Penitente (от исп.* penitentes) — кающиеся; здесь намек на членов общества флагеллантов (в основном испанцев) в штатах Нью-Мексико и Колорадо, бичующихся на страстной неделе религиозных аскетов-фанатиков ради искупления грехов. Движение флагеллантов возникло в XIII в. в городских низах Италии как протест против гнета церкви, феодалов и др. Римская католическая церковь в 1889 г. осудила движение кающихся, но оно тайно существует до сих пор.

Джордж Генри (1839—1897) — американский экономист; выдвигал идею «единого земельного налога» как средства достижения всеобщего достатка и «социального мира».

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — русский революционер, один из теоретиков анархизма, социолог, географ и геолог; был сторонником социальной революции, в которой видел сознательное выступление народа, оплодотворенное революционной мыслью. Основы человеческой нравственности находил в солидарности, справедливости и самопожертвовании, а истоки их — в инстинкте взаимопомощи, которые человек перенял из мира животных.

299 *Логос* — в древнегреческой философии одновременно «слово» (или «предложение», «высказывание», «речь») и «смысл» («понятие», «суждение», «основание»).

Николз Роберт (1893—1944) — английский поэт и драматург.

300 *Маркиз де Сад* — Донасьен Альфонс Франсуа де Сад (1740—1814), французский писатель, значительную часть жизни провел в тюрьмах за совершенные им преступления на сексуальной почве. Автор многочисленных романов, в которых содержится описание различного рода извращений, отсюда «садизм».

Бабёф попытался произвести экономическую революцию — Гракх Бабёф (1760—1787), французский коммунист-утопист. Во время Французской революции защищал интересы неимущих слоев населения, при Директории был одним из руководителей движения «Во имя равенства»; казнен.

301 *Тридцатилетняя война* — война (1618—1648) между габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии, которых поддерживали папство и Речь Посполитая) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания, за которыми стояли Англия, Голландия и Россия). Окончилась крахом планов Габсбургов создать «мировую империю»; политическим гегемоном стала Франция. Вестфальский мир закрепил это положение.

Маркиз Лэнсдаун — Генри Лэнсдаун (1845—1927), английский государственный деятель, был министром обороны и министром иностранных дел; старался предостеречь Германию от развязывания первой мировой войны.

Магдебург — город в Германии (в наст. время в ГДР), который в мае 1631 г. во время Тридцатилетней войны был почти полностью разрушен.

Прокруст в современном одеянье — Прокруст (*греч.* вытягиватель), разбойник, который укладывал схваченных им путников на ложе. Если они были малы для него, Прокруст растягивал их, если велики — отрубал ноги. В переносном смысле Прокрустово ложе — искусственная мерка, под которую стараются подогнать факты.

302 *Преподобные отцы, воспитавшие Вольтера* — Вольтер (*наст. имя* Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778), французский писатель и философ-просветитель, окончил иезуитский коллеж.

303 *«Железным занавесом» (как выразился мистер Черчилль)* — Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874—1965), известный государственный деятель Великобритании, один из лидеров консервативной партии произнес эти слова в американском городе Фултоне в 1946 г., подразумевая «барьер», который якобы воздвигли СССР и социалистические страны между Востоком и Западом. Однако впервые это выражение употребил в 1945 г. немецкий государственный деятель граф Шверин фон Крозиг.

Манхэттенские проекты — от проект Манхэттен — крупнейшее научно-промышленное предприятие в США по созданию атомной бомбы в начале 40-х гг.

304 *Евгеника* — теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения.

306 *Но утопии оказались гораздо более осуществимыми...* — цитата из сборника статей известного русского религиозного философа Николая Александровича Бердяева (1874—1948) «Новое средневековье» (раздел «Демократия, социализм и теократия»), Берлин, 1924, с. 121—122.

318 *Ленайна* — так произносится имя героини (англ. Lenina).

324 *Господь наш Форд выпустил на автомобильный рынок первую модель Т* — американский автомобильный магнат Генри Форд (1863—1947), с деятельности которого, по мнению героев романа, началась новая эра в истории человечества, основал свою автомобильную компанию «Форд мотор» в 1903 г., а свою первую серийную модель Т выпустил в 1909 г. Она продавалась, как считается, по весьма низкой цене, что и способствовало наступлению «бензинового века» в Америке. Действие в романе, как следует из текста, происходит в VII в. эры Форда.

331 *Ур Халдейский* — речь идет о городе Уре в южной Вавилонии. В 626 г. до н. э. халдеи, обитавшие у берегов Персидского залива, захватили этот город, а их царь Набапаласар стал основателем Нововавилонской династии. Ур Халдейский погребен под холмом Мукаяр. Во время раскопок обнаружены развалины храма местного бога Сина, некрополи с погребениями, или в круглых гробах, или под кирпичными сводами, или (бедных) в глиняных сосудах. При скелетах найдены остатки погребальных пелен, много глиняных и медных сосудов, глиняные клинописные таблички. Надписи говорят, что династии царей Ура были могущественными повелителями большей части южной Вавилонии.

Хараппа — главный центр хараппской цивилизации, то есть цивилизации долины реки Инд (3 тыс. — XVII—XVI вв. до н. э.); город имел регулярную застройку, прямоугольные кварталы, водопровод, канализацию, развитые ремесла; жители города поклонялись богине-матери, богу — прототипу Шивы, а также огню, деревьям и животным; письменных источников не сохранилось.

Фивы — крупный город и художественный центр в Древнем Египте. Известен с 3 тыс. до. н. э.; столица Египта в эпоху Среднего и Нового царства; сохранились грандиозные храмовые ансамбли (Карнак, Луксор), некрополи заупокойных храмов фараонов (Долина Царей и Долина Цариц).

Вавилон — древний город в Месопотамии на берегу Евфрата, впервые упоминается в 3 тыс. до н. э.; крупнейший политический, экономический, культурный центр Передней Азии; по преданию, при вавилонском царе Навуходоносоре II (VI—Vвв. до н. э.) были сооружены Вавилонская башня и висячие сады (одно из «семи чудес света»).

Кносс — древний город в северной части Крита, центр эгейской культуры, поселение существовало еще в период неолита; наивысший подъем имел место в 1600—1470 гг. до н. э., уже в раннерабовладельческий период там существовали многоэтажные сооружения, прямоугольные дворы, обширные склады, водостоки.

Микены — древний город в Южной Греции, крупный центр в эпоху бронзы; с XVII в. до н. э. — столица одного из раннеклассовых государств; в XVI—XVвв. до н. э. были возведены укрепления и дворец, затем циклопические стены и «Львиные ворота»; ок. 1200 г. до н. э. многие сооружения были разрушены пожаром и утеряли свое значение.

Иов (библ.) — житель города Уц, беседы которого с друзьями приве-

дены в «Книге Иова», философской поэме о проблемах зла и возмездия. Сюжетом поэмы явилось предание о споре между Богом и Сатаной из-за благочестия Иова. Книга говорит о безнаказанности зла на земле. Обычно в литературе или разговорной речи Иов — это страдающий праведник.

Гаутама — или Готама, согласно древнеиндийской мифологии, имя одного из семи великих мудрецов (риши).

Среднее царство — название периода в истории Древнего Египта (ок. 2050 до н. э. — ок. 1750—1700), когда было достигнуто объединение страны; для него характерны дальнейшее развитие производительных сил страны (расширение ирригации, применение бронзы), рост внутреннего и внешнего обмена, начало активной завоевательной политики в Нубии.

Паскалевы «Мысли» — сочинение французского ученого, религиозного философа, писателя Блеза Паскаля (1623—1662) «Мысли о религии и о некоторых других предметах» (изд. 1669, русск. пер. 1843). В нем автор рассуждает о противоречии между величием человека, единственного разумного в природе существа, и его ничтожеством, неспособностью противостоять страстям. Лишь христианство, по мнению автора, может примирить это неразрешимое противоречие.

«Страсти» — обычно музыкальное произведение на евангельский текст о предательстве Иуды и казни Христа.

344 *Мальтузианский пояс* — от имени Мальтуса (Томаса Роберта, 1766—1834), английского экономиста и священника, основоположника мальтузианства — реакционной буржуазной теории, утверждавшей, что в силу биологических особенностей людей население имеет тенденцию увеличиваться в геометрической прогрессии, тогда как средства существования могут возрастать лишь в арифметической прогрессии. Поэтому соответствие численности населения и количества средств существования должно регулироваться войнами, голодом, эпидемиями и т. д.

351 *Черинг-Тийская башня* — по форме сооружена в виде буквы Т, что, кроме намека на модель Т Форда, напоминает также усеченный крест; представляется, что автор расположил ее на месте Черинг-Кросс, перекрестка между Трафальгарской площадью и улицей Уайт-холл; этот перекресток при отсчете расстояния принимается за центр Лондона; английский король Эдуард I (1272—1307) воздвиг на этом месте готический крест, поскольку здесь останавливалась в последний раз процессия с гробом его жены Элеанор перед захоронением гроба в Вестминстерском аббатстве; в 1647 г. крест был разрушен, но в 1865 г. восстановлен.

364 *«Афродитеум»* — иронический намек на «Атенеум», клуб в Лондоне, членами которого являются преимущественно ученые и писатели, основан в 1824 г., *букв.* храм Афины.

Фордзоновский дворец — очевидно, здесь можно проследить аналогию со словом «Фордзон»: так называется сельскохозяйственный колесный трактор общего назначения, который выпускался компанией «Форд» в 1917—1928 гг. Во время первой мировой войны, как пишет Генри Форд в своей книге «Моя жизнь и работа» (1925), эти тракторы переправлялись в Англию, где ими вспахивали землю в старых латифундиях; тракторы в основном обслуживали женщины. Без этих тракто-

ров, считает Форд, Англия в те годы едва ли бы справилась с продовольственным кризисом. Кроме того, применение тракторов позволило не отвлекать рабочую силу с фабрик и заводов. Копия «Фордзона» выпускалась у нас в Ленинграде в 1923—1932 гг. под названием «Фордзон-Путиловец».

365 *«Большой Генри»* — аллюзия на «Биг Бен», колокол часов-курантов на здании парламента в Лондоне.

371 *Озерный край* — или Озерный округ, живописный район гор и озер на северо-западе Англии, где жили известные английские поэты-романтики У. Вордсворт, С. Кольридж, Р. Саути, воспевшие его в своих произведениях.

383 *Акома* — место в штате Нью-Мексико, где обитают индейцы племени кересан.

392 *Мескаль, пейотль* — невысокие растения из семейства кактусовых, применяются в медицине как стимулирующие и антиспазматические средства; мексиканские индейцы используют их сок как легкий опьяняющий напиток. Интересно отметить, что сам писатель испробовал на себе действие этого сока и даже написал об этом исследование.

398 *Авонавилона* — в мифологии индейцев Северной Америки верховное божество, создатель мира; в космогоническом мифе индейцев зуни Авонавилона силой мысли создал жизнетворные туманы, из собственного тела — небо и землю, из которых в самом нижнем из четырех покровов земли возникли племена людей и животных.

426 *Аюгари Лукреция* (1743—1783) — известная итальянская певица.

448 *Синтезатор «Супер-Вокс-Вурлицериана» — от* вурлитцер — электроорган со звукосветовым устройством.

469 *«Подражание Христу»* — собрание религиозно-нравственных наставлений и рассуждений о суетности земного; предполагают, что автором его является августинский монах Фома Кемпийский (1379—1471); тексты этого собрания написаны простым языком, с учетом психологии человека.

Уильям Джеймс... «Многообразие религиозного опыта» — значительное место в работах этого американского ученого занимают вопросы религии. Он считал религию психологической функцией людей, коренящейся в подсознательном, иррациональном опыте индивида; религиозные догматы, по его мнению, истинны в меру своей полезности. Указанное выше сочинение опубликовано в 1902 г. См. также коммент. к с. 227.

Кардинал Ньюмен — Джон Генри Ньюмен (1801—1890), английский теолог и церковный деятель; начав с попыток укрепления основ англиканской церкви, затем принял католичество. Его основные сочинения «Оправдание своей жизни» (1864) и «Грамматика согласия» (1870) имели широкое распространение в католической среде; считается одним из предтеч обновления и модернизации католицизма, так как защищал принцип свободной от схоластики «открытой теологии».

Биран Мен де (1766—1824) — французский философ, говоривший о необходимости воли в развитии мысли.

471 *Бредли Френсис Герберт* (1846—1924) — английский философ-идеалист.

ОЛДОС ХАКСЛИ

ОБЕЗЬЯНА И СУЩНОСТЬ

Роман написан в 1948 г. Впервые опубликован в Англии в издательстве «Чатто энд Уиндус» в 1949 г. На русском языке публикуется впервые. Названием романа послужили слова Изабеллы, героини сатирической комедии «Мера за меру» Шекспира (акт II, сцена 2). В нашем издании (см. с. 511) слова Изабеллы даны в переводе И. Русецкого, как и другие цитаты английских поэтов и писателей. Для сравнения приведем перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник:

Но гордый человек, что облечен
Минутным кратковременным величьем
И так в себе уверен, что не помнит,
Что хрупок как стекло, — он перед небом
Кривляется, как злая обезьяна,
И так, что плачут ангелы над ним,
Которые, будь смертными они,
Наверно бы до смерти досмеялись.

491 *Ганди Мохандас Карамчанд* (1869—1948) — идеолог и лидер национально-освободительного движения в Индии; сторонник учения непротивления злу насилием; выступал за независимость Индии от Великобритании; вдохновитель кампании за гражданское неповиновение; после получения Индией независимости (1947) боролся против индо-мусульманских погромов, призывая к терпимости в отношении мусульман; в 1948 г. был убит членом индусской шовинистической организации.

Беддоуз Томас Лоуэлл (1788—1824) — английский поэт, приверженец романтизма.

Байрон — возможно, что этот факт из жизни Джорджа Гордона Байрона (1788—1824) имеет отношение к итальянской графине Терезе Гвиччиоли, любовная связь поэта с которой началась в Италии в 1819 г. и продолжалась до его отъезда в Грецию в 1823 г., где он участвовал в национально-освободительном движении греческого народа и 19 апреля 1824 г. умер.

Китс, зачахший из-за Фанни Браун — Джон Китс (1795—1824), как считают, очень тяжело воспринял разрыв со своей невестой Фанни Браун, что ускорило его смерть.

Гарриет — имеется в виду Гарриет Уэстбрук, первая жена П. Б. Шелли (1792—1822), которая после ухода его от нее покончила с собой в 1816 г., утопившись в пруду Серпентайн в лондонском Гайд-парке.

492 *Ich kann nicht anders (нем.)* — «Иначе я не могу», слова крупнейшего деятеля Реформации, основателя протестантизма Мартина Лютера (1484—1546), произнесенные им в городе Вормсе на имперском рейхстаге в 1521 г.

493 *Брейгель* — имеется в виду Питер Брейгель Старший (между 1525 и 1530—1569), нидерландский живописец; в своем творчестве широко опирался на национальные традиции и фольклор; для его картин характерно переплетение трагизма и фантастического гротеска, лиричности и эпичности («Крестьянский танец», «Времена года», «Слепые» и др.).

494 *Пьеро* — имеется в виду Пьеро делла Франческа (ок. 1420—1492), итальянский художник периода раннего Ренессанса; его картинам присущи торжественность и гармония образов, ясность и продуманность построения, чистота красок («Крещение Христа» и др.).

Платоновское божество — имеется в виду Демиург из диалога «Тимей» Платона (см. ниже).

От Парфенона и «Тимея» — первое употреблено здесь в смысле символа красоты и гармонии; второе — «Тимей» — это диалог Платона, его единственный систематический очерк космологии. А. Ф. Лосев считает, что этот диалог необходимо рассматривать в сопоставлении с диалогами «Государство» и «Критий». Тогда в этой трилогии человек предстает «не только сопричастным материальной природе, но... выступает как общественная личность, мыслящая полисными категориями». Тимей — философ-пифагореец, современник Платона.

Башня из слоновой кости (фиг.) — убежище, уединенное место для размышлений; от названия неоконченного романа (1914) американского писателя Генри Джеймса (1843—1916). Впервые это выражение употребил французский критик, сторонник биографического метода в литературоведении Шарль Огюстен Сент-Бёв (1804—1869).

495 *Поклоняются брахману, являющемуся также и атманом* — в философии и религии индуизма «брахман» — центральное понятие, космическое духовное начало; «атман» — индивидуальное духовное начало; в индуизме утверждается постижение их тождества.

496 *Чурригера Хосе* (1665—1725) — испанский архитектор и скульптор эпохи позднего барокко; в его творчестве сочетались мотивы барокко, готики и платереско (*букв.* серебряная тарелка), стиля раннего Ренессанса в его испанском варианте.

497 *Екатерина Сиенская* — святая Екатерина Сиенская (1347—1380), итальянская святая, известная не только святостью и аскетичностью своей жизни, но и даром дипломатии. С ее помощью папа Григорий XI возвратился после долгого пребывания в Авиньоне обратно в Рим. Обширная переписка Екатерины Сиенской с папами и высокопоставленными вельможами, полная религиозного рвения, опубликована в 1860 г.

Пизано Никколо (ок. 1220 — между 1278—1284) — известный итальянский скульптор, предшественник Ренессанса; создавал величественные, пластически осязаемые образы (кафедра баптистерия в Пизе).

499 *Papio (лат.)* — павиан.

Но это ж ясно... — смысл этих слов Рассказчика сводится к следующему: человеческий разум становится прислужником всего низменного и отвратительного, что воплощает собой обезьянье начало в человеке. С этой целью разум спешит привлечь на помощь разные области человеческих знаний, в частности, философию и историю, что связано с именем Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831), автора таких известных исследований, как «Наука логики» (1812—1816), «Основы философии права» (1821), «Философия всемирной истории» (1822—1831) и ряда других. Отвлекаясь от их чисто научного содержания, принято считать, что Гегель выступает тут как носитель духа прусской государственности, прусской конституционной монархии, где свобода не может быть отделена от порядка и даже пруссачества. Принимая во внимание сказанное, становится понятным презрительный эпитет «прусский клеврет», которым Хаксли награ-

дил человеческий разум. Цель этого разума, по мнению писателя, глубоко безнравственна: призывая Богоматерь на помощь, он стремится погубить беззащитных людей. Роман Хаксли создавался в первые годы «холодной войны», и в нем, как представляется, отражены определенные настроения части интеллигенции Запада.

503 *«И час грядет»* — возможно, это строка из стихотворения Роберта Бёрнса, название которого С. Я. Маршак перевел как «Брюс — шотландцам». Оно написано в сентябре 1893 г., напечатано в Лондоне в 1894 г. По словам Бёрнса, он хотел подчеркнуть тему «свободы и независимости», упоминая известных шотландских героев Брюса и Уоллеса, сражавшихся с английским королем Эдуардом. Приводим строки из этого стихотворения в переводе С. Я Маршака:

Близок день, и час грядет.
Враг надменный у ворот.
Эдвард армию ведет —
Цепи и оковы.

504 *Голдвин* — возможно, Сэмюэль Голдвин (1882—1974), известный американский продюсер, работавший в Голливуде.

Леди Гамильтон — Эмма Лайон (1761—1815), в молодости служила няней в семье одного английского врача, затем принимала покровительство ряда состоятельных людей, была моделью некоторых картин известного английского художника Джорджа Ромни; вышла замуж за Александра Гамильтона (1730—1803), английского посланника в Неаполе. В 1798 г. она стала любовницей английского адмирала Нельсона, от которого у нее родилась дочь; умерла в нищете и безвестности. О ее жизни и отношениях с адмиралом Нельсоном рассказывается в фильме «Леди Гамильтон» (1940) английского режиссера венгерского происхождения Александра Корда, где главную роль сыграла знаменитая английская киноактриса Вивьен Ли.

Ланкло Нинон де (1620—1705) — французская красавица-куртизанка, отличавшаяся острым умом даже в глубокой старости. Ее салон посещали Мольер и молодой Вольтер.

Колиньи — имеется в виду Жан Колиньи-Салиньи (1617—1687), французский генерал, участник сражения при Сен-Готарде в 1664 г. во время войны Франции в союзе с Османской империей против Священной Римской империи.

506 *Новая Англия* — Новую Англию принято считать колыбелью американской истории и культуры, родиной многих традиционных американских понятий и политических установлений.

Вильгельмовского благосостояния и культуры — имеется в виду период пребывания на германском престоле кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна (род. в 1859 г., умер в 1941 г., годы царствования 1888—1918).

509 *Дебюсси Клод* (1862—1918) — французский композитор, основоположник импрессионизма в музыке.

Вагнеровская похотливость — музыка Рихарда Вагнера (1813—1883), немецкого композитора и дирижера, реформатора оперы, отличается огромной выразительностью и эмоциональной силой. Писал оперы на сюжеты из национальной мифологии («Тангейзер», 1844; тетралогия «Кольцо Нибелунгов», 1854—1874, и др.).

Штраусовская вульгарность — для музыки немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864—1949) характерны яркость и декоративность звучания; создал оперы «Саломея» (1905), «Электра» (1909), симфонические поэмы «Дон Жуан», «Дон Кихот» и др.

Уилкокс Элла Уилер (1850—1919) — американская поэтесса, автор сорока томов невыразительных сентиментальных стихотворений («Капли воды», 1872 и др.), а также рассказов и очерков.

511 *Семирамида* — легендарная царица Ассирии (IX в. до н. э.), мать Нинуса, основателя города Ниневия; вела войны с Мидией, по преданию с ее именем связано одно из «семи чудес света» — сооружение висячих садов в Вавилоне (см. коммент. к с. 331).

В стиле Людовика XV — имеется в виду стиль рококо (вторая четверть XVIII в.) с его сложнейшими резными и лепными узорами, завитками, масками, головками амуров и т. д., то есть стиль орнаментально-декоративного характера; называется также стилем маркизы Помпадур, по имени фаворитки Людовика XV.

Фарадей Майкл (1791—1867) — английский физик, основатель учения об электромагнитном поле, доказал тождественность различных видов электричества; предвидел существование электромагнитных волн; сделал много других научных открытий.

513 *Бродвей* — улица в Нью-Йорке, где находится множество театров, кино, ночных клубов, символ американской индустрии развлечений.

514 *Матерь Парламентов* — 1: английский парламент; 2: Англия; в Англии парламент был образован впервые в XIII в. как орган сословного представительства.

Эйнштейн Альберт (1879—1955) — физик-теоретик, создатель частной и общей теории относительности. Родился в Германии, жил в Швейцарии, США. В 1933 г. эмигрировал в США, где скончался.

515 *Госвами и Али жили мирно* — имеется в виду Индия и Пакистан; после второй мировой войны Англия была вынуждена предоставить Индии независимость; в 1947 г. было образовано два доминиона — Индийский Союз и Пакистан; в 1950 г. в Индии установлена Республика; в 1947 г. образовано государство Пакистан; автор рассматривает этот процесс со своей точки зрения.

Пастер Луи (1822—1895) — французский ученый, основатель современной микробиологии и иммунологии; ввел методы асептики и антисептики; создал в Париже институт микробиологии (Пастеровский институт).

«Земля надежды и славы» — стихотворение английского поэта Артура Бенсона (1862—1925); исполняется как торжественная песнь.

517 *«Христово воинство, вперед»* — название широко известного религиозного гимна (№ 391) Сэбина Бэринга Гулда (1834—1924), английского религиозного писателя и поэта.

519 *Сикстинская капелла* — бывшая домовая церковь в Ватикане (Рим), ныне музей произведений искусства эпохи Ренессанса; алтарная стена и свод расписаны Микеланджело (фреска «Страшный суд»).

Эццелино — Эццелино III да Романо, прозванный Свирепым (1194—1259), тиран Падуи и Вероны, прославившийся жестокостью.

Гулд Джей (1836—1892) — американский миллионер, биржевой игрок; символ спекуляции и продажности.

Суд Линча — расправа над неграми в США; от имени Чарлза Линча (1736—1796) — плантатора из штата Виргиния, известного своей жестокостью.

523 *Колизей* — огромный амфитеатр Флавиев в Риме; выдающийся памятник древнеримской архитектуры (75—80 гг.), на его арене происходили бои гладиаторов и другие зрелища.

Фивы — см. коммент. к с. 331.

Копан — древний город индейцев майя на территории современного Гондураса; расцвет города приходится на VII—VIII вв.; известен скульптурными памятниками (остатки пирамид, храмы, стелы с горельефными фигурами).

Ареццо — город в Италии, славится готическими соборами и палаццо.

Аджанта — населенный пункт в Западной Индии, где находится комплекс высеченных в скалах буддийских храмов (II в. до н. э. — VII в. н. э.) с декоративными росписями и скульптурами.

Франклин Делано снискал величье/Сей исполинской сточною трубою — Франклин Делано Рузвельт (1882—1945), президент США (1933—1945); приступил к исполнению обязанностей президента в период жестокой экономической депрессии; провел ряд внутренних реформ, так называемый «новый курс» — в банковской системе, промышленности и сельском хозяйстве; выдвинул программу общественных работ, предусматривающую строительство различных сооружений (отсюда и намек автора).

Ихавод — на древнееврейском языке означает «бесславный»; слово широко известно в США, поскольку так названо стихотворение поэта Джона Гринлифа Уиттьера (1807—1892), где отражено его разочарование действиями антирабовладельческих сил.

524 *Молох (библ.)* — согласно библейской мифологии, божество, в жертву которому приносили маленьких детей; в переносном смысле — ненасытная сила, требующая человеческих жертв.

525 *Тетраплоидия* — удвоенный по сравнению с нормальным набор хромосом, что увеличивает размеры организма и может быть следствием радиоактивного облучения.

526 *Вордсворт Уильям* (1770—1850) — английский поэт-романтик, чьи произведения отличает созерцательное отношение к жизни и природе. («Строки, написанные близ Тинтернского аббатства», 1798, и др.) В ряде стихотворений поэт идеализирует пассивное отношение к окружающей действительности («Замечание и ответ», 1798, и др.). Нередко поэт обращался к образам детей, которые, как он полагал, ближе всего божественному началу («Нас семеро» и др.). А. С. Пушкин оставил такие строки о Вордсворте:

...Вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.

(Сонет)

530 *На манер парфянских стрел* — парфянские воины, отступая, выпус-

кали по противнику град стрел; Парфия — царство, находившееся к юго-востоку от Каспийского моря в 250 до н. э. — 224 н. э.

531 *Бельтраффио Джованни Антонио* (1467—1516) — итальянский художник, ученик Леонардо да Винчи.

Гора Синайская — согласно Библии, здесь Бог вручил пророку Моисею скрижали с «10 заповедями».

535 *Конгрегационалист* — приверженец кальвинизма в англоязычных странах; конгрегационалистов отличает полная автономность общин.

Онтология — раздел философии, исследующий всеобщие основы и принципы бытия.

537 *Ок-Ридж* — город на юге США, где с 1946 г. действует Холифилдская национальная лаборатория, научно-исследовательский центр Управления энергетических (в том числе атомных) исследований и разработок США. Работами руководит фирма «Юнион Карбайд».

539 *«Энни Лори»* — известное в Шотландии стихотворение (ок. 1700), написанное Уильямом Дугласом. Энни Лори была одной из трех дочерей сэра Роберта Лори из Максуэлтона. В 1709 г. она вышла замуж, но, как говорят английские источники, не за автора стихотворения, а за сэра Александра Фергюссона и была бабушкой еще одного Александра Фергюссона, героя стихотворения Роберта Бёрнса «Свист».

540 *«In Memoriam»* — «In Memoriam A. H.» (1833—1850), популярная в Англии поэма английского поэта Алфреда Теннисона (1809—1892), посвященная памяти его друга Артура Генри Хэлэма, умершего в юности.

Как святой Доминик на еретика-альбигойца — святой Доминик (1170—1221), основатель религиозного ордена доминиканцев (1215); выступал против альбигойцев, участников еретического движения в Южной Франции (XII—XIII вв.), боровшихся против догматов католической церкви, церковного владения и десятины.

542 *Седьмая заповедь (библ.)* — не прелюбодействуй.

544 *Шредингер Эрвин* (1887—1961) — австрийский физик-теоретик, один из основоположников квантовой механики, написал книгу «Что такое жизнь? С точки зрения физика» (1944, русск. пер. 1972).

Капица Петр Леонидович (1894—1984) — советский физик, автор выдающихся научных открытий; в 1921 г. был направлен в научную командировку в Англию, где работал вместе со знаменитым ученым Резерфордом. В 1924—1932 гг. был помощником директора Кавендишской лаборатории, затем директором лаборатории имени Монда в Кембридже. В Москве возглавлял Институт физических проблем, которым руководил до последних дней жизни. Был действительным членом АН СССР и почетным членом академий ряда стран; лауреат Нобелевской премии.

546 *«Liebestod»* — песня любви и смерти из оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера.

«Феноменология духа» (1807) — одно из основных сочинений Гегеля.

548 *Катехизис* — обычно религиозная книга с изложением христианского вероучения в форме вопросов и ответов.

549 *Велиал* — в иудаистской и христианской мифологиях демон разрушения, дух небытия и лжи.

Повелитель Мух (библ.) — название сирофиникийского божества Ваалзевува (Вельзевула), считавшегося покровителем мух, рои которых являются ужасным бедствием в жарком климате Востока. В библейских книгах это имя встречается в двух смыслах: в Ветхом завете как имя местного божества филистимлян, известного в качестве оракула; в Новом завете в смысле Сатаны или главы злых духов или демонов; существует мнение, что иудейская демонология унизила Сатану до жалкого «повелителя мух», иногда также Вельзевул означает «бог навоза» или всяких нечистот и грязи; Вельзевул считался и виновником болезни бесноватых, обыкновенно удалявшихся от людей в нечистые места (кладбища и др.). Выражение «повелитель мух» нередко встречается в художественной литературе, так назван, например, роман современного английского писателя Уильяма Голдинга.

552 *Барух* — Бенедикт (Барух) Спиноза (1632—1677), нидерландский философ-атеист, был противником иудаизма. В своих философских воззрениях следовал пантеизму, считается радикальным представителем детерминизма и противником теологии. Его основные сочинения: «Богословско-политический трактат» (1670) и «Этика» (1667).

566 *Гаргулья* — устье водосточного желоба на нижнем краю готического здания, часто имеет вид фантастического чудовища или человеческой фигуры, держащей сосуд, из которого льется вода.

Антифон — песнопение, поочередно исполняемое солистом и хором или двумя хорами.

558 *«Спитфайр»* — английский истребитель.

«Штука» — немецкий пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-88».

Азазел (библ.) — означает козлоудаление или козлоотпущение («козел отпущения»). В день грехоотпущения, согласно закону Моисееву, избирались два козла: один для жертвоприношения, другой для отпущения в пустыню по предварительному возложению на него рук, что означало сложение на него грехов народа. Двумя этими животными наглядно преобразовывалась искупительная для людей жертва Христова, когда грехи и вины снимаются с верных, устраняются и исчезают. В более позднем еврейском предании Азазел — один из ангелов, сброшенных с неба во время войны титанов. Как злой гений Азазел упоминается и в апокрифической книге Еноха. Некоторые древние сектанты считали, что Азазел — имя Сатаны. Как одно из традиционных имен беса встречается в художественной литературе, например, в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (в итальянизированной форме — «Азазелло»).

559 *Люцифер* (*от лат.* Lucifer) — «светоносный», название утренней звезды, то есть планеты Венеры; в христианской традиции одно из обозначений Сатаны как горделивого и бессильного подражателя свету, который составляет «славу» божества.

562 *Инкубы и суккубы* — инкубы — в средневековой европейской мифологии мужские демоны, домогающиеся женской любви, в противоположность женским демонам суккубам, преследующим мужчин; от браков с инкубами рождались уроды и полузвери.

566 *Подделка под раннегеоргианскую* — то есть массивной и лапидарной формы с богатым декором.

568 *La femme éternelle toujours nous élève...(фр.)* — «Бессмертная женщина нас возвышает», последняя строка трагедии «Фауст» Гёте. «Фауст-симфония» (1854—1857) написана Ференцем Листом по этому произведению.

570 *Вспомните высказывание Карла Маркса «Насилие — это повивальная бабка истории»* — К. Маркс писал: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 23, с. 761).

572 *Бенедикт XV* — папа римский (1914—1922), выступал против первой мировой войны.

Маркиз Лэнсдаун — см. коммент. к с. 301.

575 *Бэббит* — мещанин и приспособленец; от имени Джорджа Бэббита, героя романа «Бэббит» (1922) американского писателя-сатирика Синклера Льюиса (1885—1951).

Когда турки вырезали армян больше, чем обычно — очевидно, намек на геноцид в Армении в 1915 г.

576 *Рецессивный признак* — один из двух родительских признаков, который подавляется в первом поколении; обычно проявляется у части особей начиная со второго поколения.

582 *Напевы «Страстной пятницы» из «Парсифаля»* — «Парсифаль», опера-мистерия Рихарда Вагнера, поставленная в 1882 г. в Байрейте; либретто композитора по эпической поэме Вольфрама фон Эшенбаха (1270—1220), баварского рыцаря и известного эпического поэта.

587 *Лаокоон* — троянский герой, согласно греческой мифологии, жрец Аполлона; пытался помешать троянцам втащить в город оставленного греками деревянного коня, в котором сидели греческие воины. Боги, предрешившие гибель Трои, наслали на Лаокоона двух огромных змей, удушивших его и двух его сыновей.

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle... (фр.) — «Ночь свадебной была, торжественной, священной», строка из стихотворения «Спящий Вооз» В. Гюго (из книги «Легенда веков», 1859—1887—1883). Для сравнения приводим строки из этого стихотворения в переводе Н. Рыковой:

И ночь была — как ночь таинственного брака
Летящих ангелов в ней узнавался след.

«Когда гляжу я в пруд в своем саду» — строка из трагедии «Герцогиня Амальфи» английского драматурга Джона Уэбстера (1580—1625); далее курсивом выделено продолжение этой строки.

588 *«Вечный янтарь»* (1944) — историко-эротический роман американской писательницы Кэтлин Уинзор.

589 *«Желанья утоленного черты»* — строка из стихотворения «Ответ на вопрос» английского поэта Уильяма Блейка (1757—1827).

593 *«Стекает аромат с ее волос»...* — отрывок из лирической поэмы «Эпипсихидион» (1821) П. Б. Шелли, в которой говорится не только об общности душ любящих друг друга людей, не только о любви платонической, но и о страстной, чувственной любви. Слово «эпипсихидион» на греческий манер сочинено самим Шелли и означает поэму о душе. Все произ-

ведение навеяно сочувствием поэта к судьбе молодой итальянки Эмилии Вивиани, насильно заточенной в монастырь. Но лирическая тема у Шелли перерастает в тему гражданскую, так как поэт выступает за право человека свободно жить, чувствовать и любить. *Третья сфера* — согласно учению Платона, к ней относится все видимое. Для сравнения приводим перевод К. Бальмонта:

Одежды теплым дышут ароматом,
Живет волна распущенных кудрей,
Озарены немеркнущим закатом,
Они горят в объятиях лучей.
И если прядь одна освободится,
Струей отдельной в воздухе блеснет,
Влюбленный ветер вкруг нея томится,
К любимице блестящей нежно льнет.
Смотри! Она стоит, и в форме смертной
Ты видишь свет, и жизнь, и божество,
Ты видишь образ пламенно-бессмертный,
Блаженства сверхземного торжество.
То высший Светоч, кормчий третьей сферы,
Предел всего, чем живо наше «я»,
То сон, что выше разума и меры,
Владыка волн тяжелых бытия.
. . . .

Мы будем говорить; потом, когда
Теченье мысли будет слишком нежно,
Уста вздохнут и смолкнут безмятежно,
И нашей страсти юная звезда
Зажжется в долгих взглядах; сердце станет
Шептáть слова, которых не забыть,
Другое сердце, дрогнув, нежно взглянет
И скажет: «Я хочу тебя любить», —
И тишина звучать не перестанет.
Прижмется к груди грудь; в блаженный миг
Смешаются дыхания стыдливо;
Уста к устам прильнут красноречиво,
И в каждом тот заветнейший родник,
Что в самой сокровенной келье бьется,
Для радости ликующей проснется,
И эти волны высшей красоты
Сольются в ярком свете чистоты,
Объятые одной безгрешной страстью,
Заискрятся как горные ключи,
Когда они бегут навстречу счастью,
Приветствуя весенние лучи.

597 *Бунзеновские горелки* — по имени Роберта Вильгельма Бунзена (1811—1899), известного немецкого химика.

601 *Родольфо Гульельми ди Валентино* (1895—1926) — популярный американский киноактер.

602 *Геррик Роберт* (1591—1674) — английский поэт, автор стихов на светские и религиозные сюжеты; его стихи о любви, о природе и радостях жизни на лоне природы отличаются легкостью и изяществом стиля.

По системе Брайля — Луи Брайль (1809—1852), французский тифлопедагог, разработавший рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых. В России первая книга на шрифте Брайля вышла в 1885 г.

604 *Перед девятисотым годом до Рождества Христова* — согласно данным истории, это конец бронзового века, «гомеровский период» в Греции (XI—IX вв. до н. э.).

607 *«Любовь, восторг и красота»...* — отрывок из стихотворения «Мимоза стыдливая» (1820) П. Б. Шелли. Интересно отметить, что К. Бальмонт, переводивший это стихотворение, назвал его просто «Мимоза». Приводим последние строки этого стихотворения в его переводе:

Счастье, любовь, красота — вам привет!
Нет перемены вам, смерти вам нет,
Только бессильны мы вас сохранить,
Рвем вашу тонкую светлую нить!

«...Я — мать твоя Земля...» — строки из философской драмы «Освобожденный Прометей» (1820) П. Б. Шелли, где образ героя трактуется как образ борца за счастье человечества. Для сравнения приводим перевод К. Бальмонта:

Я мать твоя, Земля,
Та, в чьей груди, в чьих жилах каменистых,
Во всех мельчайших фибрах — до листьев,
Трепещущих на призрачных вершинах
Деревьев высочайших, — билась радость,
Как будто кровь в живом и теплом теле,
Когда от этой груди ты воспрянул,
Как дух кипучий радости живой,
Как облако, пронизанное солнцем!

608 *«Мир полон лесорубов...»* — строки из стихотворения «Лесоруб и соловей» (1818) П. Б. Шелли. К. Бальмонт перевел это стихотворение под названием «Лесник и соловей». Приводим последние строки этого стихотворения в его переводе:

Напев Дриад — восторг самозабвенья,
Но в мире слишком много лесников,
Они не видят в песне — откровенья
И мучают звенящих соловьев.

611 *«Так, смертная, она стоит, являя собой любовь, свет, жизнь и божество...»* — строки из поэмы «Эпипсихидион» П. Б. Шелли.

613 *Музыка сродни веберовской* — Карл Мария фон Вебер (1786—1826), немецкий композитор, дирижер, пианист, основоположник немецкой романтической оперы («Вольный стрелок», 1821; «Оберон», 1826), автор романтически приподнятых, виртуозных фортепианных сочинений («Приглашение к танцу» и др.).

«Don Giovanni» — «Дон Жуан», точнее, «Наказанный распутник, или Дон Джованни», опера Моцарта, впервые поставлена в 1787 г. в Праге.

«Адонаис» — «Адонаис, Элегия на смерть Джона Китса» П. Б. Шелли, опубликована в 1821 г. Шелли считал Китса не только замечательным поэтом, но был возмущен той жестокой и несправедливой критикой произведений Китса, которая, по мнению Шелли, ускорила смерть поэта. В элегии оплакивание поэта музами и другими поэтами сменяется утверждением

бессмертия его творчества; именем Адонаис Шелли назвал Китса, возможно, в качества аллюзии на имя Адонис, как звали прекрасного юношу, согласно греческой мифологии погибшего на охоте от раны, нанесенной ему диким вепрем. Адониса горячо и безутешно оплакивали богини Афродита и Персефона. Из капель крови Адониса выросли розы.

616 *«Не сомневайся, сердце, не грусти!»* — строки из элегии «Адонаис». Для сравнения приводим перевод К. Бальмонта:

О сердце, что ж ты медлишь? Погляди,
Ушли твои надежды без возврата.
Куда умчалось все, и ты иди.
. . . .
Тот Свет, что нежно дышит во Вселенной,
Та красота, в которой все живет
И движется, та Благодать, что с пленной
Зловещей тьмой рожденья бой ведет,
Любовь, что свет сквозь ткани жизни льет, —
Сплетаемые воздухом, землею,
Людьми, зверьми, — и блеск различный шлет,
Как явит каждый зеркало собою, —
Все светит на меня, и смертность тает мглою.

Татьяна Шишкина

Содержание

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ XX ВЕКА

Готовится к изданию:

Вечер в 2217 году (Русская литературная утопия)

Гелиополис (Романы-антиутопии западногерманских писателей)

1984—1985 (Английские антиутопические романы)

О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР

Составитель *А. П. Шишкин*

Редактор *Т. В. Чугунова*
Художник *К. В. Победин*
Художественный редактор *С. В. Красовский*
Технические редакторы *Г. В. Лазарева Е. В. Левина*
Корректор *О. Е. Косова*

ИБ № 17963

Сдано в набор 14.11.89. Подписано в печать 12.02.90. Формат 84×108 $^1/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гознак. Гарнитура тип-таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 33,6. Усл. кр.-отт. 33,6. Уч.-изд. л. 35,97. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 1—48000 экз.). Заказ № 122. Цена 3 р. 90 к. Изд. № 46421.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по печати 119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17

Типография № 2 Госкомиздата РСФСР, 152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8